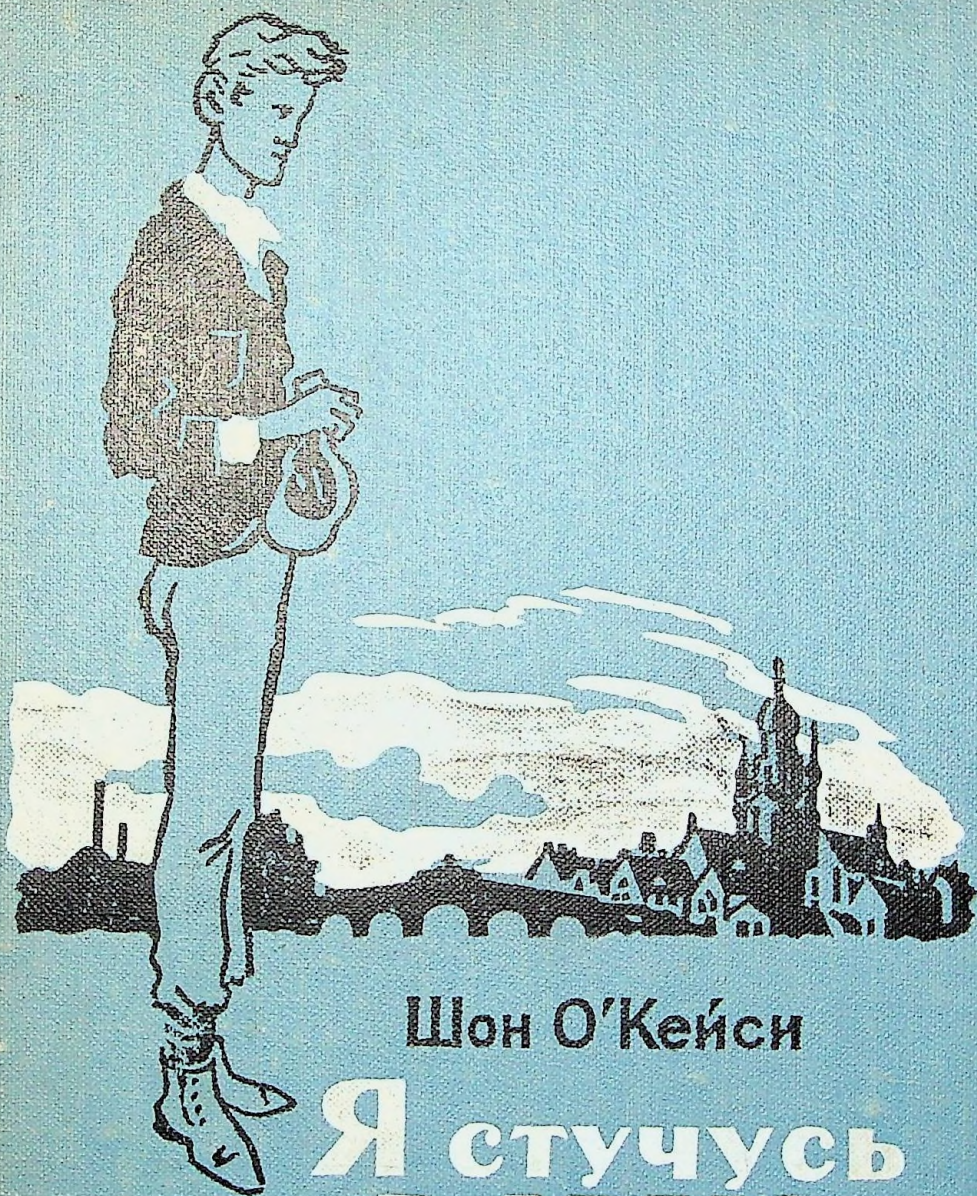


В.И.Ирл
0-50.



Шон О'Кейси

**Я стучусь
в дверь
На пороге**

SEAN O'CASEY

I KNOCK AT THE DOOR

LONDON, 1939

PICTURES IN THE HALLWAY

LONDON, 1942

И (ирл.)
0-52

Шон О'Кейси

Я стучусь в дверь ~ на пороге

*Перевод
с английского*



БИБЛИОТЕКА КГПИ

Инв. № 1640

1958

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1957

Перевод

*Н. Волжиной, Н. Дарузес, Е. Калашниковой,
И. Кашкина, М. Лорие, В. Топер, О. Холмской.*

Редактор перевода

И. КАШКИН

Вступительная статья

П. БАЛАШОВА

Художник

В. СМЕРНОВ

ЭПОПЕЯ ШОНА О'КЕЙСИ

Шон О'Кейси — талантливый писатель Зеленого острова, художник непокорной Ирландии, один из редких самородков веками угнетавшейся страны. У него поэтическое видение мира, свежий голос, приметный почерк, отличный от всех других.

Уроженец беспокойного Дублина легкой поступью шагает по улицам родного города, то мирного и будничного, то шумного и грозного манифестациями, кровавыми стычками, восстаниями. Он увлеченно ведет о нем неторопливый разговор, отдаваясь во власть воспоминаний, порою — зловеще-печальных, порою — забавных и веселых, и перед читателем его книг, словно огромный свиток, разворачиваются пестрые картины людских судеб, людских радостей и горестей, взрывов бурного народного негодования и ненависти к тем, кто унижает человеческое достоинство, лишает человека свободы.

Проявляя изобретательность в своих неустанных поисках колоритного, самобытного образа, обращаясь к созданиям народной фантазии, писатель творит, не скупясь на краски, иногда нанося их на полотно даже с избытком. Он искренне радуется буйному цветению жизни, ибо в нем нет ничего от схимника и аскета; он прославляет ее новые ростки, дерзко атакуя все темное, античеловечное, вносит элементы оптимизма в изображение трагикомических событий.

«Плох или хорош, прав или неправ, — говорит О'Кейси, — я остаюсь самим собой». Самобытность О'Кейси несомненна, хотя, конечно, и ему, подобно многим другим крупным художникам, в борьбе за утверждение собственной индивидуальности, в сложном процессе становления мировоззрения и мастерства, приходилось преодолевать наносные влияния, вытравливать крапинки инородного. Полемика со всем чуждым ведется писателем неустанно, с большим пылом и боевым задором, проникает во все звенья его творчества как необходимый художественный элемент, проявляясь в форме ядовитой иронии, уничтожающей насмешки, тонкой пародии.

О'Кейси есть что отстаивать, есть за что сражаться. Как бы тяжело ни складывались его жизненные обстоятельства — а жизнь не баловала мужественного писателя, — он никогда не поступался

своими идейно-художественными принципами, не отказывался от настойчивого желания раскрыть волнующую правду о своей угнетенной стране и судьбах своего народа. Стойкий и гордый, честный и неподкупный, О'Кейси идет своим трудным путем, отвергая смирение и кротость, противопоставляя им боевой дух протеста, волю к жизни, действенную и страстную мечту о свободе, за которую сражались и гибли лучшие сыны Ирландии.

Озираясь на пройденный путь, вспоминая о недавно пережитом, писатель не без горечи замечает: «Я никогда не праздновал дня рождения. Борьба за существование всегда была слишком тяжелой, чтобы можно было думать о днях рождения. По свидетельству о рождении, я родился в 1880 году... Мне так много лет, что я выбросил календарь и часы за окно, чтобы ничто не напоминало мне об уходящих годах, об уходящем времени».

Во все свои произведения, впечатляющие и поэтичные, писатель вкладывает богатый жизненный опыт, который он вынес из нелегких испытаний, выпавших на его долю.

С ранних лет О'Кейси терзали заботы о хлебе насущном; он добывал себе пропитание, сталкиваясь лицом к лицу с «хозяевами жизни», терпя жестокие лишения и невзгоды. Но как ни тяжела была жизнь, будущий писатель страстно тянулся к книгам, как растение тянется к свету, жадно их поглощая, овладевая бесценными сокровищами культуры. В самой жизни он также находил богатые оттенками краски. Не прошел мимо сознания художника и опыт общественной борьбы. Картины бурных стычек вставляли в его воображении. И сам он становится участником освободительной борьбы народа. Сначала О'Кейси индивидуалистически протестует против притеснения и несправедливости власть имущих, затем он участвует, например, в памятной стачке дублинских трамвайщиков 1913 года, из которой выносит ободряющее чувство товарищеского локтя, радостное сознание силы и сплоченности рабочих масс в борьбе. Именно в исторической борьбе ирландского народа за национальное и социальное раскрепощение писатель черпал свое вдохновение, хотя, возможно, перспективы этой борьбы не сразу предстали перед ним во всей широте и ясности.

О'Кейси вступил на литературное поприще как драматург. Он начал относительно поздно, но много успел. Его первые пьесы были приняты холодно: ожидаемая встреча автора со зрителем состоялась не сразу. Материальная поддержка, в которой тогда особенно остро нуждался О'Кейси, все не приходила. Но он не отчаивался, не сдавался. О'Кейси минуло сорок лет, когда его ранние пьесы «Тень стрелка», «Юнона и павлин», а затем «Плуг и звезды» проникли на сцену дублинского Театра аббатства в начале 20-х годов. Пьесы эти встретили понимание и одобрение широкого демократического зрителя, тогда как некоторые критики не оценили их замечательных художественных достоинств. И все же в

эти годы драматург впервые получил моральную поддержку и небольшую материальную помощь — проблема хлеба насущного вообще для писателя была долгое время очень мучительной. Путь О'Кейси был нелегок. Ему, по выражению Бернарда Шоу, подобно многим другим писателям, пришлось «пройти через мясорубку», но он не отступил от намеченных целей, остался верен демократическим убеждениям, отдал свое недюжинное дарование народу.

Многое испытавший драматург принес на сцену не только блестящие народного юмора, но и подлинное знание жизни, особенно тех ее сумрачных сторон, которые не находили места в произведениях иных ирландских писателей. Он видел удручающую бедность и страдания простых людей и не мог не говорить об этом. Обитатели дублинских окраин вторглись на сцену и предстали во всей их будничной обыденности, со всеми их тревогами и волнениями, которые они испытывали в дни кровавых столкновений — в дни так называемого «пасхального восстания» 1916 года и гражданской войны в Ирландии в начале двадцатых годов. Картины неприглядного быта жителей рабочих окраин, эпизоды тревожных дней повстанческой борьбы были слишком хорошо знакомы О'Кейси, чтобы он мог о них умалчивать. Они так и просились на сцену, и драматург вложил в свои трагикомические пьесы и иронию и вполне понятную горечь. С болью воспринимал драматург насмешки своих критиков, которые упорно не хотели понять его, обвиняли в преднамеренном желании эксплуатировать тему бедноты, издевательски награждали прозвищем драматического Понтия-Пилата. Конфликт О'Кейси с буржуазным обществом все возрастал и углублялся. Писатель все больше осознавал, что «пасхальное восстание» было предано «филистерской буржуазией», что лидеры возникшего в 1921 году «Ирландского свободного государства» пошли на сговор с английскими империалистами.

В 1926 году происходит крутой поворот в судьбе Шона О'Кейси. После горестных раздумий драматург приходит к твердому решению обречь себя на добровольное изгнание. Он покидает Дублин и перебирается в Лондон, надеясь обрести здесь больший простор для своего творчества. Великолепные памятники искусства Англии также манили его: Но, с болью простившись с берегами родной Ирландии и причалив к другим берегам, художник никогда не забывал своей родины. Всеми своими помыслами, всем сердцем О'Кейси оставался всегда с родным народом, и образ Инишфоллен — Ирландии заполняет все его книги.

Лишь глухие могли не услышать страстного и негодующего голоса писателя, обличающего в трагикомедии «Серебряный кубок» (1926) виновников первой мировой войны и близко принимающего к сердцу страдания и мытарства ирландского юноши Гарри Хигана. Цветущий, жизнерадостный юноша бездумно идет на войну ради чужих интересов. Но вот он надломлен, искалечен и никому не нужен. Драматург печалился и негодовал, горько

смеялся в этой своей трагикомедии, проникнутой подлинной тревогой за судьбы простых людей. И целый концерт «квакающих лягушек», как окрестил в ожесточенной полемике О'Кейси своих недоброжелательных и недобросовестных критиков, не в силах был заглушить голос писателя, провозглашавшего суровую правду о несправедливой войне.

Восхождение О'Кейси к вершинам драматургического мастерства сопряжено с большими поисками, с преодолением подъемов и спусков, с настойчивым стремлением подняться на новые кручи, откуда горизонты кажутся шире и яснее. Драматург не отгораживался от общественного опыта, а жадно впитывал его, и это облегчало плодотворные творческие поиски, расширяло круг тем, обуславливало появление новых героев. Он смело вводит язык улицы, изображая грубые и неприглядные стороны жизни. Он пишет по-английски — на этом языке теперь говорит большинство его народа, — но идиомы гэльского языка (родного языка ирландцев) даже теперь, как отмечал писатель, слышатся и чувствуются в английской речи, обиходной для многих ирландцев. Смело обращаясь к стихии народного языка, народной образной речи, О'Кейси, как придирчивый поэт, отбирает все весомое и ценное, все, что помогает передать его неистощимый оптимизм и жизнелюбие.

Одно из самых сильных орудий О'Кейси-драматурга — ирония. Мастер гротеска, шаржа, буффонады, О'Кейси ярко живописует свои трагикомедии. Он умеет передать лукавый народный юмор, поэтическую душу, талантливость своего народа. Обычно персонажами его драматических произведений являются представители ирландского народа, в большинстве своем дублинцы, городская беднота, но порой это «покровители» Ирландии, «знатоки» ее культуры, и тогда перед нами возникают метко схваченные типы «английских джентльменов».

О'Кейси продолжал развивать обличительные тенденции драмы «Серебряный кубок», находя вместе с тем новую тональность при изображении трагических перипетий жизни. Он, правда, по-прежнему не отгораживается от всего мрачного и сложного, но все уверенней звучит в его пьесах голос надежды. И пьеса «Звезда становится красной» (1939), отражающая порыв народных масс к будущему, и особенно пьеса «Красные розы для меня» (1942) — крупнейшее достижение драматурга — воссоздают картины острой социальной борьбы, сопровождающейся тяжелыми утратами, но справедливой и предвещающей конечную победу. Уверенность в исторической неизбежности победы народа логически вытекает из самого хода изображаемых им социальных столкновений.

Критики и писатели справедливо указывали на то, с каким тонким мастерством нарисовал О'Кейси в пьесе «Красные розы для меня» одну из своих самых выразительных сцен, символизирующую конечную победу народа: лица смертельно усталых людей, стоящих на дублинском мосту, как бы преображаются в лучах

заката, расцветают духовной красотой при мысли о будущем счастье, о грядущем освобождении. Без какой-либо фальшивой идеализации драматургу удастся вылепить в пьесе «Красные розы для меня» типичный образ ирландского рабочего Айамона, показать его разносторонние интересы, духовный рост, раскрепощение от цепких пережитков старины, мешавших ему встать на правильный путь борьбы. Трагедия разворачивается, как народная эпопея.

Изображая человеческие характеры в развитии социальной борьбы, О'Кейси не отказывается от показа лирических переживаний своих героев. Он часто вводит в свои пьесы лирические песни. То шутивно-задорные, то нежно-печальные, они сопутствуют развитию драматических коллизий, перекликаясь с настроениями героев, усиливая эмоциональную окраску пьесы. Как прощание с любимым, как светлая дань его образу, звучит песня, которую поет Шейла, невеста Айамона. И в словах этой песни, давшей название всей пьесе, скрыта сокровенная мысль автора: безгранично велика любовь народа к герою, который сражался за интересы народа и пал в борьбе. Эти строки звучат, как апофеоз моральной победы героя. Историческая правда на стороне борющегося народа, как ни тяжелы, как ни трагичны человеческие утраты.

* * *

В конце тридцатых годов, в пору своей творческой зрелости, Шон О'Кейси выпустил роман «Я стучусь в дверь» (1939), за которым последовали «На пороге» (1942) и другие четыре книги его автобиографической эпопеи. Он задумал большую социальную картину, и время для этого вполне приспело: у писателя возникла настоящая потребность оглянуться на пройденный путь и воссоздать образы близких ему людей, осмыслить события недавнего прошлого в свете накопленного опыта. Все, что было написано им раньше, имело самостоятельную художественную ценность и вместе с тем подводило к необходимости создания большого, всеохватывающего полотна, грандиозной эпопеи, которую мог создать уже искушенный мастер.

Так вот и возникла первая книга «Я стучусь в дверь» — замечательная и своеобразная интродукция к сложной прозаической симфонии, лирическое повествование о далеком детстве ирландского мальчика Джонни Кэссиди из бедных дублинских кварталов. В сущности это — трогательная исповедь, откровенный, бесстрашный, многоголосый, задорный и лукавый сказ, разросшийся в многотомную автобиографическую эпопею, которая воскрешает идущие чередой значительные общественные события, памятные исторические имена и лица.

Романом «Я стучусь в дверь» открывается цикл прозаических произведений, тесно спаянных общим замыслом и общностью судьбы главного героя и одновременно воспринимаемых каждое

в отдельности как законченное произведение. Сквозь восприятие героя — alter ego самого автора — прослеживается бурное течение жизни в Ирландии, начиная с восьмидесятых годов прошлого века, а затем и в Англии, начиная со второй половины двадцатых годов и до пятидесятых, и частично даже в Америке. Это как бы все новые и новые главы большой летописи, в которых запечатлен и причудливый мир воображения героя, и реальный мир конкретных исторических событий. Ненссякаемым потоком льются эти воспоминания — иногда простые и ясные, иногда чрезвычайно усложненные прихотливыми ассоциациями, не всегда доходчивыми для читателя, мало искушенного в истории Ирландии, в развитии ее общественной мысли.

История Ирландии — первой колонии Англии, является, как известно, историей борьбы ирландского народа за свою независимость. Цветущие долины Зеленого острова, служившие предметом вожделения завоевателей, превращались в безжизненную пустыню, подвергались ограблению, а коренные жители острова беспощадно истреблялись, оттеснялись в глухие леса, в болотные топи и дикие недоступные горы. Вслед за скандинавскими пиратами, совершавшими опустошительные набеги, на страну вместе со своими наемниками обрушились англичане, мечом и огнем утверждая свое «законное» и «вечное» право быть обладателями сокровищ и земель, принадлежавших ирландским кланам; в назидание всем непокорным они посылали карательные экспедиции и безжалостно уничтожали сопротивлявшихся. По свидетельству прогрессивного английского историка Т. А. Джексона, автора интересной, содержательной книги «Борьба Ирландии за независимость», эти опустошительные набеги и карательные экспедиции приводили к тому, что «Зеленый остров плодородия превращался в безжизненный остров». Как и везде, «цивилизаторская» миссия колонизаторов, угнетавших поработенные народы, якобы нуждавшиеся в высоком покровительстве, задерживала историческое развитие страны.

На это указывал еще Ф. Энгельс в своем письме к К. Марксу от 19 января 1870 года. «Чем основательнее я изучаю предмет, — писал Энгельс, — тем яснее становится для меня, что английское нашествие лишило Ирландию всякой возможности развития и отбросило ее на столетия назад, и притом тотчас же, начиная с XII века; при этом не следует, разумеется, забывать, что трехвековые нападения и грабежи датчан уже значительно истощили страну; но они все же прекратились больше чем за сто лет до нашествия англичан»¹.

Исключительную социальную остроту приобретал в Ирландии земельный вопрос, ибо лучшие земли ирландского крестьянства в

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Собрание сочинений, том XXIV, стр. 280.

ходе колонизации страны переходили в руки завоевателей. Владельцы обширных поместий, лендлорды, нередко управлявшие своими владениями из Лондона, сказочно богатели, а исконные владельцы этих земель разорялись вконец, попадая в кабальную зависимость от помещика, ведя полунищенское существование. Бедствующий ирландский крестьянин-арендатор — одна из типичных фигур ирландской деревни, перед ним вечно стоял призрак голодной смерти. В иных случаях эти арендаторы просто бесцеремонно сгонялись с земли, лишались каких-либо средств к существованию, пополняя огромную армию эмигрантов.

«Англия веками поработала Ирландию,— писал В. И. Ленин,— доводила ирландских крестьян до неслыханных мучений голода и вымирания от голода, сгоняла их с земли, заставляла сотнями тысяч и миллионами покидать родину и выселяться в Америку»¹.

На притеснения колонизаторов Ирландия отвечала восстаниями, которые следовали одно за другим, как только накапливались силы повстанцев. Все ухищрения британских политиков были направлены к тому, чтобы тем или иным путем ослабить, обескровить и разделить ряды повстанцев, затушить вспыхивавшее тут и там пламя национально-освободительной борьбы. Колонизаторы осуществляли испытанную политику кнута и пряника, политику игры на противоречиях и предрассудках по принципу «разделяй и властвуй». Они сеяли рознь между вождями кланов, сталкивали лбами протестантов и католиков и т. д. Несмотря на все это, Ирландия сопротивлялась. Из руин и пепла с течением лет вновь поднимались отряды повстанцев, оказывая упорное сопротивление колонизаторам.

Борьба ирландского народа за независимость принимала самые разнообразные формы: от более или менее крупных стычек местного характера до больших национальных восстаний, как восстание 40-х годов XVII века, которое Маркс назвал первым национальным восстанием в Ирландии.

В более чем скромных крестьянских хижинах арендаторов с крохотным участком земли под картофелем — основным продуктом их питания — зарождались думы об отпоре. Отсюда по дорогам и тропам ночами стекались на тайные сборища «Белые ребята», «Дубовые листья», «Стальные сердца» — народные крестьянские мстители восемнадцатого столетия. Лендлорду было выгодней пустить землю под пастбища для овец, и он сгонял арендаторов с земли, обрекая их на голодную смерть. И обреченные на гибель люди мстили ему, как только могли: угоняли скот, жгли усадьбы. Разрозненные местные движения при благоприятных обстоятельствах сливались воедино или давали толчок новому, еще более широкому движению, как, например, волонтерское движение в период войны Англии с колониальными владениями в Аме-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 20, стр. 130.

рике или восстание в конце XVIII века, подготовленное обществом «Объединенные ирландцы» во главе с Уолфом Тоном,— обществом, возникшим под влиянием французской буржуазной революции.

Автору романов «Я стучусь в дверь» и «На пороге» дорого историческое наследие, славные традиции освободительной борьбы ирландского народа. В той или иной связи в этих романах встают картины героического прошлого Ирландии, сохранившиеся в памяти народа. Писатель убедительно показывает, что эти традиции священны, что они живут и будут жить и что страстную мечту народа о свободе не искоренить никакими репрессиями. Казалось бы, реакция торжествует победу, пожиная плоды своих грязных происков и преступлений, но за обманчивым спокойствием всегда таится и зреет новая угроза, новая буря народного возмущения, еще более широкого и грозного, чем предыдущие. Исторические реминисценции и параллели возникают в обеих книгах с неизбежностью, они живут в них своей законной жизнью, напоминая о незыблемости национальных освободительных традиций. И душа героя, душа подрастающего Джонни, впитывает все, что доносится до него с бурлящих улиц Дублина. Мы видим, как жадно мальчик воспринимает все это, присматриваясь и прислушиваясь к происходящему, а автор рукою зрелого мастера наносит яркие мазки, восполняющие то, что в годы детства и юности вызывало у него лишь любопытство, но не могло быть еще до конца понято и осознано. Все это придает особую прелесть и своеобразие тону повествования и языку первых двух частей эпопеи.

Попадая на шумные улицы Дублина, озаренные огненными надписями из газовых рожков «Боже, храни королеву», присматриваясь к помпезному празднеству в честь этой «Королевы-Голодухи» (довольно прозрачное указание на массовое вымирание крестьян от голода при королеве Виктории), любознательный Джонни не может не прислушиваться к саркастическим замечаниям умудренного жизнью кондуктора, активного ирландского патриота, озабоченного освобождением родины от национального гнета, полного презрения к проявлениям верноподданических чувств «слизнявых» джентльменов. Разрушая старые каноны, романист развенчивает легенды о викторианском благоденствии в Ирландии.

Очень уместна в разгар парада показного благополучия трогательная песенка, которую вполголоса напевает кондуктор,— песенка об Уолфе Тоне, сердечная, раздумчивая, полная скрытой печали и восхищения этим казненным «бунтовщиком» и теми, кто его не забыл. «Отрадно видеть, что люди верны тому, кто погиб за свободу страны» — эти строки из песни звучат, как напоминание: то, что бережно хранится в думах народа, не может быть забыто. Искренняя песенка об Уолфе Тоне — одном из смелых и передовых людей своего времени, отдавшем жизнь за свободу своей

страны, является ярким контрастом насквозь фальшивым сценам помпезного празднества.

И образы других «бунтовщиков», таких, как Роберт Эммет, который был повешен и четвертован в начале XIX века, таких, как фении, насчитывавшие в своей среде бедных крестьян, батраков, рабочих, встают в сознании Джонни. Хотя восстания фениев (членов «Тайного революционного общества», или «Фенианского братства») были смяты в 1868 году — некоторые главари их были казнены, а другие брошены в тюрьмы и погибли в заточении, — мужественное поведение фениев, при всех недочетах их программы и узости заговорщицкой тактики, нашло глубокий отзвук в сердцах ирландского народа. Как известно, в защиту томящихся в тюрьмах фениев выступал Маркс.

Таковы примечательные явления ирландской истории, которых в той или иной форме касается О'Кейси в первой книге своей эпопеи.

Еще больший интерес у Джонни, особенно в пору его приобщения к политической жизни страны, во второй книге эпопеи возбуждает колоритная фигура Чарлза Парнелла. Один из видных ирландских парламентариев, прославившийся своими выступлениями в английском парламенте в защиту гомруля (самоуправления Ирландии) и остроумным применением совместно с Биггаром, другим ирландским депутатом, методов обструкции, Чарлз Парнелл был также председателем «Земельной лиги», пользовавшейся широкой популярностью в крестьянских массах и выступавшей с требованиями улучшения их судьбы.

Какими грозowymi разрядами была насыщена атмосфера в Ирландии к началу восьмидесятых годов, свидетельствуют все учащавшиеся из года в год выступления крестьян против лендлордов. То и дело в ночи раздавались выстрелы, как факелы вспыхивали усадьбы, широко применялись крестьянами меры бойкота, так возмущавшие любителей «тишины и порядка». Именно об этих «смутьянах и проходимцах», которые жгут поместья и убивают полицейских, с озлоблением вспоминает разгневанный «вислоусый джентльмен», реплики, брюзжание и образ мыслей которого дают читателю почувствовать, как сильны были социальные противоречия и контрасты в самой Ирландии. Известной поддержкой требований «Земельной лиги» и особенно своими выступлениями в парламенте талантливый оратор Чарлз Парнелл завоевал тогда большой авторитет. И хотя он придерживался умеренных взглядов и с опаской взирал на ширящееся революционное движение крестьянских масс, предпочитая ему, особенно в последний период своей деятельности, компромиссную тактику закулисных сговоров и соглашений, — английские реакционеры, при пособничестве ирландских предателей, пытались опорочить его, представить как морально разложившегося человека.

Джонни не раз предается размышлениям о Парнелле, этом «некоронованном короле Ирландии», стараясь разобраться в про-

тиворечивых оценках его личности. Сделать это было нелегко. Во всяком случае, Джонни иронически относится к тем газетам, «карикатуры которых из года в год служили полновесным отрицанием всего хорошего, мало-мальски хорошего, что ни на есть в Парнелле и его политике».

Мало-мальски хорошего! Писатель, следовательно, не безоговорочно принимает «некоронованного короля Ирландии», хотя и не углубляется в историю его возвышения и сложной политической карьеры, сложной игры в процессе борьбы за гомруль — игры, которая искусно велась ради политических выгод не только ирландскими, но и английскими буржуазными политиками, в частности и в особенности Гладстоном, сатирический портрет которого очень верно схвачен писателем. Что же касается Парнелла, то он дан в эмоциональном восприятии мальчика, который увидел в нем человека, выступавшего поборником свободной, независимой Ирландии; вот почему с таким волнением Джонни относится к его смерти и предпринимаемым его противниками попыткам очернить его личность.

Романы О'Кейси очень многогранны, так как внутренний мир героя изображен в них не изолированно, а в тесной связи с жизнью и обширными, порой сложными и трудно уловимыми ассоциациями и поэтическими видениями событий прошлого и настоящего. Таковы видения, возникающие в стенах Килмейнхэмской тюрьмы, когда образы «Непобедимых», смелых бунтовщиков, чьи анархические, террористические акты ничего не могли изменить, а приносили только вред, встают в воображении мальчика при виде мрачной камеры смертников. Таковы видения совсем отдаленных времен, как битва на реке Бойн.

Все эти напластования вводят в сложную духовную жизнь героя и воссоздают специфически ирландские картины прошлого и главным образом настоящего, ибо ретроспективный взгляд играет в романах подчиненную роль, оттеняя формирование личности героя. Герой этот не без роду и племени, он тесно связан со своей родиной, с ее прошлым, настоящим и будущим. Настоящее неудержимо врывается в его жизнь: это елейные наставления «духовных пастырей», за которыми мальчик видит суетность, корысть и злобу; это парадная блестящая иллюминация, оборачивающаяся взмахами полицейских дубинок, как только здравомыслящие люди высказывают неодобрение англо-бурской войне.

Из многообразных стилистических приемов О'Кейси нередко пользуется приемом пародии. С ее помощью писатель тонко иронизирует над своими противниками, высмеивает их манеру говорить, выворачивая наизнанку привычные речения, особенно библейские тексты. Его ирония метит в духовных и светских оруженосцев Джона Булля, в его резиденцию — Дублинский замок, в угодливых лакеев и их хозяев, она разит «паука, источающего библейский елей» — Гладстона; она защищает «святой народ святого острова, кишащего подлецами и прохвостами».

С уничтожающим сарказмом О'Кейси описывает, например, тюремную камеру и всевозможные пути, которые налагают на рвущихся к свободе людей. «Джонни с бьющимся сердцем сделал несколько шагов по камере. Все здесь было так чисто и аккуратно, маленький стул так натерт тряпкой, что блестел, словно тусклый алмаз, на полу ни пятнышка. В углу помойное ведро, словно часовой на часах, а на стене над ним полочка, и на ней кусок желтого мыла рядом с библией в черном переплете, чтобы показать, что чистоплотность сродни праведности; а в двери окошечко, чтобы воздух в камере всегда был свежий и здоровый. А на ночь зажгут крохотный язычок газа в углу — свет для сущих во тьме, маленький огненный столп узников, неопалимая купина арестантов, свет, что во тьме светит и просвещает всех, угодивших в каталажку; и кто узрит сей свет, тому не нужен свет солнца; свете тихий, светоч обетования, слава тебе, показавшему нам свет».

Стиль рассказчика принимает другую окраску, заметно меняется тембр его голоса, когда он с мягким юмором и суровой нежностью повествует о самом дорогом и заветном — о близком ему мире людей, о путях своего лирического героя, маленького Джонни, узнавшего безграничную ласку матери и жестокость того мира, который окружал бедный маленький домик в нищих кварталах Дублина. При этом автор избегает сентиментальной чувствительности, даже если касается тончайших струн человеческой души.

В рассказчике все время ощущается поэт-гражданин, умеющий под суровой сдержанностью угадать большое человеческое чувство. Герои эпопеи испытывают потрясающую нищету, на их долю выпадают тяжелые беды, но это не уничтожает их индивидуальности. И то, что автор показывает личную жизнь своих героев на широком социальном фоне, то, что он не изолирует их от всех уродств, жестокостей и произвола, от бурного столкновения с общественными силами, с религиозными предубеждениями, — все это не только не сказывается отрицательно на глубине психологического анализа внутренней жизни героев, но и помогает автору сделать его еще более полноценным.

В русле свободно разворачивающегося многопланового действия эпопеи привольно развивается, все расширяясь и углубляясь, чистая, как родник, лирическая тема человечности и благородства простых людей, тема красоты человека труда — качеств, которые проявлялись в повседневной жизни, под гнетом нищеты и забот о куске хлеба. Заботы эти столь тягостны, что, казалось бы, должны иссушить человеческую душу, сделать ее нечувствительной к людскому горю. Но этого не случается. И не потому, что писатель грешит против истины, а потому, что в простых людях Ирландии он открывает моральную цельность и стойкость.

Эти качества живых и типичных людей из народа ясно обнаруживаются уже в ранних пьесах Шона О'Кейси. В сумятице жизни, в столкновении смешного и печального, обыденного и ге-

ронического, трусливого и самоотверженного, среди комических персонажей и уродливых фигур псевдогероев автор подметил человеческие черты простых людей. Он берет их со всеми жизненными противоречиями и недостатками, неизжитыми иллюзиями, подмечает признаки их духовного роста, ясно показывает их здоровую основу, золотое сердце, человечность. Вот почему и Джонни предстает перед читателями не как пай-мальчик — он никогда им не был и никогда не будет, — а как непокорный человек, который выносит на своих плечах всю жестокость и несправедливость жизни, проявляет волю в борьбе за сохранение своей личности, вступая в жестокие поединки с хозяевами и лжепастырями. Он узнает мир с его неприглядной, жестокой стороны, но он видит и его светлые черты. Свободолюбивый и независимый, он рвется к книгам, к знаниям, отстаивает свое право быть человеком. Рано вступив на путь труда, он очень скоро убедился, как горек бывает хлеб, как унизительна подневольная работа, как отвратительны угодливость и лакейство, против которых он восставал всем своим существом, дерзко и возмущенно бунтуя, всякий раз подвергая себя опасности остаться без работы, без средств к существованию. Но эта суровая жизнь не убила в нем неодолимой жажды знания. Он закаляется в этой ожесточенной борьбе за жизнь, становится борцом за социальную справедливость и человечность.

«Стучите, и отворят вам», — гласит эпитафия к роману «Я стучусь в дверь». Очень интересно проследить за тем, как постепенно расширяется мир познания мальчика, испытывающего первые радости и первые горести, всегда защищенного непроницаемой стеной материнской любви. Писатель очень просто и сильно выражает эти чувства маленького Джонни, который старается подбодрить свою мать, когда она потрясена утратой близкого человека: «Джонни долго, долго ждал, когда мать отвернется от могилы; и тут он увидел, что слезы струятся у нее по лицу. Когда они медленно двинулись к выходу, он подкрался к ней ближе, ближе, стиснул ее пальцы и стал сжимать их все крепче, и крепче, и крепче, в мертвой тишине, нарушаемой только воркованием голубя да холодным свистом ветвей, сгибающихся под порывами ветра».

Один этот живописный отрывок мог бы служить великолепным сюжетом для большой картины художника. Чувства героев здесь переданы с такой выразительностью, что читатель ясно, почти физически ощущает унылый вой ветра, воркование горлинки и молчаливое участие мальчика.

Художник одинаково силен и в выражении горя и в выражении радости, но его героям приходится в жизни испытывать больше горя, чем радости. И О'Кейси пишет об этом с суровой сдержанностью, иногда даже яростью, но всегда с неизменным сочувствием к страданиям простых людей. Не понять этой ярко выраженной гуманистической устремленности писателя — значит не заметить драгоценных качеств его творчества, заключающего в себе

вместе с тем и страстный, гневный протест против порабощения человека человеком.

Подтрунивая над человечностью О'Кейси-художника, один из буржуазных критиков писал: «Его сострадание — громадная слеза, в которой мы, словно лилипуты, плывем, спасая собственную жизнь». Но даже в этой насмешливости скрыто невольное признание гуманизма О'Кейси, как бы предвзято ни была выражена эта мысль.

Рядом с лирическим героем эпопеи, по мере развития действия, вырастает образ матери — один из удачных и сильных образов эпопеи, нарисованный любовно, но без тени слащавой идеализации. Этот образ возникает на фоне будничной жизни, тяжелой и неприглядной, на фоне социальных столкновений, в многообразных проявлениях жизни, и прежде всего жизни в маленьком бедном домике, обитателям которого приходится всеми силами отстаивать человеческое достоинство. Мастер портрета, О'Кейси сразу же дает нам такой образ матери, который надолго остается в памяти. Внешняя красота озарена здесь внутренним светом живого чувства. У нее гладкие волосы, черные, как вороново крыло, разделенные прямым ровным пробором. Ее лучистые глаза «искрились, когда она смеялась, и горели суровым и скорбным огнем в часы тяжкого, безутешного горя». Рот этой женщины выражал все стороны ее души: «бесстрашие, упорство, стойкость, простодушную веселость, доброту и чистосердечие». Писатель отмечает ее легкую уверенную походку, ее заразительную веселость, ее «смех, который начинался звонкой трелью и завершался полновзвучным каскадом мелодичного хохота, такого заразительного, что его тотчас подхватывали все». Со всей отчетливостью обрисованы различные черты живого характера простой и душевно красивой женщины, ласковой и твердой, человеческой и суровой.

Всякий поймет волнение матери, которая тревожится за жизнь своего ребенка. И вот как своеобразно О'Кейси выражает динамику разговорной речи с неизбежными повторами, с идущей из глубины сердца мольбой. «Доктора, — сказала она, еле переводя дух, — позовите доктора, поскорей, пусть посмотрит моего ребенка, пусть поможет моему ребенку, пожалуйста, поскорей, он умирает, но его можно спасти, если доктор придет поскорей, проводите меня поскорей к нему или пусть он поскорей придет сюда, нельзя терять ни минуты, у ребенка круп, и он умирает, он сейчас умрет, если не придет доктор, ступайте позовите его, ступайте, ступайте позовите его поскорей.

И она ходила взад и вперед, взад и вперед по коридору и ждала, ждала, когда швейцар приведет доктора, не решаясь взглянуть на посиневшее личико, прикрытое шалью, стараясь не слышать хриплый, лающий кашель, от которого сотрясалось маленькое существо, лежавшее у нее на руках.

С подобной же эмоциональной выразительностью рисует писатель образ матери в минуты сурового негодования: такой мы ее

видим в схватке с несправедливостью и жестокостью злых обидчиков. Обычно мягкая и сердечная, она проявляет неуступчивость, и эта сторона ее натуры нам также хорошо понятна. На всем протяжении своего жизненного пути эта женщина, несшая тяжелое бремя труда и сохранившая благородную душу, оказывает своему сыну молчаливую, но сильную поддержку. В будничной жизни проявляется вся сила ее прекрасной души, вся сила характера, весь скромный героизм ее богатой и цельной натуры.

Миссис Кэссиди прожила почти восемьдесят лет, и пятьдесят из них, по признанию писателя, были «едва ли не ужасны». Тридцать пять лет или около этого она отдала заботам о сыне, пережив многих своих детей, безвременно ушедших в могилу. Ее образ проходит на протяжении двух последующих томов эпопеи, радуя своей силой и красотой. И вот иссякли силы этой стоической женщины, и сын провожает ее в последний путь, украсив гроб красной материей, словно красным флагом. Она не была наслышана и сведуща в вопросах политических, но «в своей смелости, в своей незыблемой и спокойной стойкости, в своей бесстрашной и радостной битве с тяжелой и зачастую жестокой жизнью она была душой социализма». Последнее прощание сына с матерью, его размышления о ее трудном и славном пути, его обобщения горького опыта ее жизни — одна из самых сильных и глубоко лиричных сцен автобиографической эпопеи.

В третьей книге эпопеи с характерным названием «Барабаны под окном» (1945) явственно звучит призыв к сопротивлению существующей несправедливости и выражена надежда, что в битвах будет завоеван тот день, когда «никто не будет сомневаться в завтрашнем куске хлеба, твердо зная, что, пока стоит земля, посея и жатва будут так же надежны, как смена зимы и лета...»

Здесь развертываются новые главы в жизни героя: он уже человек «кирки и лопаты», добывающий себе хлеб тяжелым физическим трудом, он проходит суровые жизненные университеты, близко сходится с рабочими, хорошо их узнает и надолго запоминает их рассказы и песни — песни пробужденной, осознающей свою силу Ирландии.

В изображаемых картинах схваток на улицах Дублина, длившейся пять месяцев забастовки трамвайщиков и других рабочих в 1913 году, трагических событий «пасхального восстания» 1916 года, разгромленного колонизаторами, — он видит отдельные вехи в движении народа на пути к своему будущему.

Чувством исторического оптимизма проникнут и следующий роман О'Кейси «Прощай, Ирландия!» (1949), отражающий новый этап в жизни героя: он пишет брошюру под названием «История Ирландской гражданской армии» и создает пьесы, идущие вразрез с эстетическими вкусами дублинских литературных законодателей.

В романе развенчивается политика закулисных сговоров и тайных интриг, демагогические маневры создателей так называемого «Ирландского свободного государства» — своеобразной сделки, заключенной в 1921 году между английскими империалистами и представителями ирландской буржуазии. Обличая буржуазных филистеров, предавших дело «пасхального восстания», писатель-гуманист с болью говорит о том, как в тяжелом раздумье он «часто бродил по кварталам нищеты, где нищие жители ютились в нищенских домах». Он смотрит правде в глаза, поднимая свой голос в защиту обездоленных.

Вот с какой художественной силой он передает свои впечатления:

«Шон часто блуждал, полный душевной боли, по этим застывшим в немой скорби улицам, где веяло обреченностью от полусгнивших домов, от мусора и нечистот, скопившихся на мостовой, от беспросветного человеческого существования; где единственным аристократическим признаком было обилие и многообразие дурных болезней; где раскрашенные изображения Святого сердца потускнели от проступавшей сквозь них сырости стен и стали такими же унылыми, блеклыми и сумрачными, как сами люди,— словно они разделяли нищету и горе тех, кто перед ними преклонял колена. И не раз во время этих блужданий слезы гнева закипали на глазах у Шона, и с горьким недоумением он думал о том, почему эти жалкие обглоданные жизнью люди не поднимутся в исступленном порыве и не уничтожат тех, кто сделал их такими, как они есть».

Глубоко задумываясь над судьбами движения родного народа к светлому будущему, писатель картинно уподобляет это движение трудному восхождению — через огонь и яростное сопротивление — на вершину горы. Гибнут передовые отряды и те, что идут вслед за ними, но, как ни тяжелы эти потери, народные массы, что стоят у подножья горы, все равно побеждают.

Писателю ясно: как ни гнетуща окружающая действительность,— правда победит. Надежда брезжит с востока, где «социализм обрел свою родину и социализм создал армию, чтобы охранять ее мир и покой». В главе «Грозная красота явилась в мир» он создает поэтичный образ Советской страны — «Утренней Звезды, надежды народов».

Как бы отвечая недругам Советской страны, всем, кто своими клеветническими наветами стремится бросить на нее тень, О'Кейси с убежденностью страстного борца выступает в защиту нового мира, воплощающего историческую справедливость. И до читателя явственно доносятся простые и весомые слова идущего от чистого сердца лирического монолога автора: «Ярким, немеркнувшим светом сияет Красная Звезда. Ни папе, ни королю, ни политикам, ни газетным вельможам уже не уничтожить ее и не заслонить от нас ее свет. Она — и вечерняя звезда, и утренняя, ясным, кратким сиянием встречающая наступление дня. Она светит стаду,

пасущемуся в лугах, матери, убаюкивающей свое дитя, девушке, надевающей свадебный убор, престарелой чете, коротающей вечер у камина, мальчуганам, играющим на улице, художнику, воплощающему на полотне свои красочные мечты, поэту, слагающему новую песню, скульптору, высекающему из каменной глыбы образ, который скрыт в ней и виден только ему одному; она озирает молот строителя городов и серп жнеца в поле, ученого, задумавшегося над неизведанными тайнами жизни, и влюбленного юношу, когда он целует свою милую на желтом прибрежном песке, играет с ней в прятки в густой ржи или бродит по городским улицам, не замечая того, что творится вокруг; свет ее согревает и шахтера в недрах земли, где залегают пласты напоенного солнцем угля, и воина, охраняющего безопасность родной страны, и врача, самоотверженно борющегося за то, чтобы вернуть здоровье больным и сохранить жизнь малым детям».

Призывом и верой проникнуты заключительные слова этого монолога: «Утренняя Звезда, надежда народов, озари нас своим светом... Источник радости, Красная Звезда, пусть твои пять лучей протянутся во все концы земли, неся свет тем, кто еще прозябает во мраке нищеты и угнетения».

Роман «Роза и корона» (1952) и завершающий эпопею роман «Заход солнца и вечерняя звезда» (1954) в художественных образах подводят итог жизни писателя в Англии в течение четверти века. Эти романы, как и предыдущие, представляют большой интерес широким охватом жизни, значительных исторических событий, мастерскими портретами политических деятелей и красочным, образным строем речи писателя. Особую ценность представляют зарисовки людей литературного мира, борьбы различных тенденций и направлений в современной литературе Англии, гуманистических и антигуманистических. О'Кейси создал уникальный по выразительности портрет Бернарда Шоу, с которым часто встречался и в ком всегда находил дружескую поддержку. Тон его романов боевой и оптимистический.

О'Кейси выступает против всех попыток очернить человека — отсюда его страстная полемика с литераторами типа Джорджа Оруэлла, со всеми, кто пытается принизить человека до уровня животного. Он выступал против него, так же как и против увлечения Кафкой или Кестлером, не по мелочному поводу, как стараются представить иные буржуазные критики, а из принципиальных соображений. Он видел в Оруэлле одного из представителей реакционного литературного направления, которое игнорирует голос народа, мотивы жизнеутверждения, противопоставляя им мотивы отчаяния, безысходности, смерти.

Многотомная эпопея О'Кейси заканчивается оптимистическим прославлением жизни. На склоне своих лет, когда еще надо так много сказать, так много сделать, писатель поднимает тост «за жизнь, за все, что было, за все, что есть, за все, что будет». Он стоит за гуманизм и человечность — это он очень недвусмысленно

подчеркивает в сборнике статей «Зеленая ворона» (1956), включающем также его ранние статьи о театре и драме, вошедшие в книгу «Летающая оса».

В небольшом английском городке Тотнесе, расположенном на зеленых просторах Девоншира, вдали от родных берегов, но неизменно связанный с ними всеми своими мыслями, в кругу дружной семьи живет и многие годы плодотворно трудится Шон О'Кейси — один из замечательнейших писателей современности, яркий выразитель прогрессивных устремлений ирландского народа, его национальных чаяний и национального характера.

Всеми средствами борется О'Кейси против разжигания военного психоза, за запрещение атомной бомбы. Он искренний и большой друг Советского Союза.

Писателю пошел уже восьмой десяток, но он молод духом и не утратил своего пылко-го темперамента и боевого задора. Он полон светлой веры в победу человечности, исторической справедливости. Он заставляет читателя вместе с ним глубоко задуматься о судьбах народа, изображенного в замечательной шеститомной эпопее, которая принадлежит к числу выдающихся явлений современной зарубежной литературы.

П. Балашов



**Я стучусь
в дверь**

Стучите, и отворят вам



РОЖДЕНИЕ

Дублине, в начале восьмидесятых годов, в последний день месяца марта, женщина, корчась в родовых муках, стискивала зубы, упиралась ногами в кровать, обливалась потом, и задыхалась, и кряхтела, сжималась в судорожный ком страданий и потуг, и стонала, и выталкивала, стонала и выталкивала, и выталкивала младенца в мир, где белые лошади, и черные лошади, и рыжие лошади, и белые с черным, и рыжие с белым лошади — цок-цок-цок — цокая по булыжнику, горделиво мчали кареты, коляски и ландо, медленно тащили конки, покорно и по-нуро везли тяжелые подводы, полки и телеги и резво выплясывали впереди веселых и беззаботных шарабанов.

Где, словно заводные куклы, маршировали солдаты в красных мундирах с желтой грудью, в синих куртках с белой грудью и в плотно облегающих штанах с красными, белыми или желтыми лампасами вдоль всего шва и каждый год, в день рождения ее величества королевы Виктории, выступали к Феникс-парку на смотр и маневры, с ружьями и пиками, саблями и пушками; салютуя, проходили мимо помоста ускоренным шагом или же рысью и, наконец, галопом, в стук копыт и грохоте подпрыгивающих пушек, и в сердцах солдат вспыхивала надежда на новую войну; а вернувшись в казармы по окончании праздника, они чистили взмыленных коней и протирали ружья, кляня про себя королевские дни рождения, из-за которых столько лишней грязи и хлопот.

Где великий поэт, по имени Теннисон, предвосхищая Голли-

вуд, снимал на студии своей души «Мод, приди в росистый сад, день рассеял мрак ночной» и посылал своих картонных королей и воинов и неприступных дев по путям и перепутьям, туда, где раскинулись парки богачей, и мужчины низко кланялись рыцарям, во весь опор скачущим мимо оград; а девушки улыбались, и вздыхали, и манили рыцарей, гарцевавших среди розовых и мальвовых кустов, нацепив на острия своих копий восхитительные букетики из цветов розмарина и руты.

Где силы растрчивались на священные тексты, душеспасительные брошюры и псалмы; и на приторные сказочки, которые то возносили мальчиков и девочек до небес, то низвергали в ад; где небесное воинство во всеоружии выстраивалось для боя на крокетной площадке; и весь пыл, ужас, смех, слезы, вражда, мир, поражение, победа, муки и кровавый пот войны между небом и адом тонули в розовом, сиреневом и палевом пикнике для раздушенных, изящных и сладкоречивых гостей.

Где верили, что, когда дети умирают от крупы, от туберкулеза или лихорадки, они умирают не от болезни, а просто бог берет их к себе.

Где Рэскин с нежной душой и руками христианина-искусника лепил свои метафоры из глины и мишуры, а мистер Пойнтер, президент Королевской академии, призвав на помощь всю силу своего воображения и подведя итог всему, что было, есть и будет в искусстве, живописал тупик своего посещения эскулапа.

Где люди по воскресным дням уповали только на господа бога, а в будни возлагали все надежды на турнюры, теннис и тюрьмы; на фэйфоклоки, фениев и фисгармонию; на пюзеизм¹, парфюмерию и пресуществление; на мелодрамы, медали и моды; на варьете, вакцины и волшебный фонарь; на апокалипсис, акушерок и аграрные беспорядки; на сбски, салфеточки и соревнования певцов; на кокетство, кружева и калейдоскопы; на мессу, мощну и монархию.

Где в каждом богоспасаемом доме, за каждым кустом, по милости Дарвина, пряталась обезьяна; обезьяна, которая внезапно высовывала лапу и вцеплялась в кружевной подол благоухающего платья, как только какая-нибудь леди наклонялась, чтобы сорвать веточку лаванды, и бедные леди, обезумев от страха, бежали в церковь и били, и били в набат, а духовные особы опрометью кидались к своим кафедрам и вопили — тише, успокойтесь, ибо нет ничего явного, чего нельзя было бы снова сделать тайным; и королева, принц-консорт, пэры, духовенство, члены палаты общин и народ глубоко зарыли в землю эту обезьяну, кость от кости и плоть от плоти нашей, которая на тысячи и тысячи веков удаляла их и им подобных от бога, отнимая блаженное чувство

¹ Учение богослова Э. Пюзея (1800—1882), проповедовавшего возрождение католических догматов и обрядности в англиканской церкви. — *Все примечания редакционные.*

близости к творцу вселенной, служившее и протестанту и катлику отмычкой к воротам царства небесного.

А женщина, корчась в родовых муках, стискивала зубы, упиралась ногами в кровать, обливалась потом и задыхалась, сжималась в судорожный ком страданий и потуг, и стонала, и выталкивала, и выталкивала плод, пока младенец мужского пола не вышел из ее утробы в мир; в мир, исполненный надежд, желаний, честолюбия и невежества других его обитателей, готовых затереть пришельца, оттеснить, уничтожить его, по привилегии, дарованной им богом только потому, что они пришли в этот мир немногим раньше. Все привилегии ополчились против него, но пузатый, худосочный, головастый новорожденный забарахтался среди чужих желаний, домогательств и надежд, расчистил себе местечко, отбиваясь от топчущих ног и хватающих рук, спал, пуская слюни, и сосал грудь, прибавлял по три, четыре, а то и пять унций в неделю, набирая их у своей матери и немного у окружающей жизни; и потихоньку, мало-помалу подрастал, проникаясь человеческой силой, невежеством и честолюбием.

Сорок лет было женщине, когда мальчику шел четвертый: гладкие волосы, все еще черные, как вороново крыло, разделенные прямым ровным пробором, собранные на затылке в скромный узел и заколотые двумя-тремя шпильками; небольшой нос с широкими ноздрями; глубоко посаженные лучистые карие глаза, которые искрились, когда она смеялась, и горели суровым и скорбным огнем в часы тяжкого, безутешного горя; глаза, которые, если приглядеться, казалось, таили отблеск заветных мечтаний, заслоненных более насущными заботами о муже, детях и доме. Но заметнее всего на ее лице был рот, потому что он выражал все стороны души этой женщины: бесстрашие, упорство, стойкость, простодушную веселость, доброту и чистосердечие. Маленькие сильные руки, которые умели и бережно промыть воспаленную рану и до блеска выскрести пол — сначала мокрой тряпкой, потом, отдирая грязь, намыленной щеткой, потом опять мокрой тряпкой и, наконец, сухой, вода ею взад и вперед ловкими круговыми движениями. Легкая, уверенная походка, несмотря на первые признаки полноты; свободное простенькое платье из черной шерсти, с узкой белой рюшью вокруг красивой и все еще гладкой шеи. Смех, который начинался звонкой трелью и завершался полнотонным каскадом мелодичного хохота, такого заразительного, что его тотчас подхватывали все.

И все это запало мальчику в душу, но понято было не в ту пору, а много лет спустя, когда упругая сила и обаяние молодости покинули ее и она двигалась уже не так свободно и легко, но все еще проворно и неутомимо, верная памяти тех, для кого свет мира сего погас и кто дальше и дальше уходил от нее в мрак минувшего; и все это снова ожило в его душе — ярко и с шемящей тоской, — когда она спокойно прислушивалась к последним слабым ударам своего собственного умирающего сердца.

Он был последыш, и она знала, что больше у нее детей не будет. Она родила семерых до него; три мальчика и одна девочка были живы, одна девочка и два мальчика умерли. Оба эти мальчика были Джоны, и муж ее решил, что и этого, последнего мальчика они назовут Джоном. Она долго колебалась. Ей казалось дерзостью, вызовом богу назвать новорожденного Джоном. Больше у нее детей наверняка не будет, и она хотела, чтобы этот ребенок, последний, остался жив. Оба младенца, рожденные ею и названные Джонни, умерли, умерли от одной и той же болезни, умерли от крупа.

Она помнила, как умер первый, умер раньше, чем она поняла, что он умирает, умер от крупа. Спустя два года родился еще мальчик, и они назвали его Джоном. Ее муж сказал, что у них непременно должен быть мальчик по имени Джон. И они назвали его Джоном, муж — с ожесточенным упрямством, она — с тревогой и страхом. Это был крепкий ребенок, — целый год, барахтаясь и брыкаясь, он прокладывал себе дорогу в мир; но вдруг его стало лихорадить, появился кашель, заслезились глаза. И однажды вечером, когда она подходила к его кровати, она остановилась в испуге, услышав сухой, лающий кашель. Она чуть было не выбежала из комнаты, лишь бы не слышать, потом медленно подошла к кровати и увидела, что он мечется, стараясь сбросить с себя одеяло, руки судорожно дергаются, глаза вытаращены, лицо посинело, а дыхание вырывается частыми, сдавленными хрипами. Она помнила, как в смертельном страхе схватила шляпу, накинула на плечи шаль, завернула маленькое тельце в одеяло, выбежала на улицу, вскочила в проезжавший мимо кэб, умоляя кучера ради бога ехать скорей, скорей, скорей в Аберкорнскую больницу.

— Бог может спасти его, если захочет, — шептала она всю дорогу до больницы. — Может спасти. Тот мальчик умер, но этот не умрет, нет, нет, нет, нет. Одним помыслом господь может вынуть из груди ребенка комок, который душит его, и он опять будет дышать легко и ровно.

А ребенку все трудней становилось дышать, и мучительный хрип задыхающегося ребенка причинял ей нестерпимую боль. Она взбежала по ступенькам крыльца и дергала, дергала, дергала колокольчик, потом бросилась в вестибюль мимо открывшего ей дверь швейцара.

— Доктора, — сказала она, еле переводя дух, — позовите доктора, поскорей, пусть посмотрит моего ребенка, пусть поможет моему ребенку, пожалуйста, поскорей, он умирает, но его можно спасти, если доктор придет поскорей, проводите меня поскорей к нему или пусть он поскорей придет сюда, нельзя терять ни минуты, у ребенка круп, и он умирает, он сейчас умрет, если не придет доктор, ступайте позовите его, ступайте, ступайте позовите его поскорей.

И она ходила взад и вперед, взад и вперед по коридору

и ждала, ждала, когда швейцар приведет доктора, не решаясь взглянуть на посиневшее личико, прикрытое шалью, стараясь не слышать хриплый, лающий кашель, от которого сотрясалось маленькое существо, лежавшее у нее на руках.

Швейцар вернулся и сказал, что доктор занят с больным и придет, как только освободится.

— Мой ребенок не может ждать, — гневно сказала она, — ему сейчас же надо помочь, пусть тот больной подождет, а мой ребенок задыхается и вот-вот умрет, слышите? Где доктор, я сама пройду к нему с ребенком.

Она подбежала к проходившей мимо сестре, прижала одной рукой ребенка к груди, а другой крепко схватила сестру за локоть.

— Доктора, ребенку нужен доктор, сестра, а то поздно будет, — просительно сказала она, — ребенок умирает от крупа. Видите, лицо посинело, он задыхается; сестра, пожалуйста, поскорей, он уже еле дышит, и если с ним что случится, больница отвечать будет; я давно, очень давно дожидаясь, ребенок задыхается, а никому и дела нет; у него круп, и я боюсь, что он сейчас умрет.

Сестра бережно подвела ее к скамье, стоявшей у стены, и бережно усадила.

— Сядьте вот тут, сядьте, — сказала сестра ласково, — а я сейчас позову доктора.

Она крикнула вслед уходившей сестре: — Скорей, скорей, а то и этот мой Джонни умрет от крупа.

И она опять молила бога, чтобы он поторопил доктора и чтобы ребенок не умер у нее на руках.

Вдруг она затаила дыхание, услышав странный, скребуший вздох, и сердце ее дрогнуло, оттого что маленькое тельце в ее руках судорожно вытянулось; тогда она поняла, что горе, которое она хотела отвлечь, постигло ее, и она прижала к груди свое сокровище, из которого ушла жизнь. Она с минуту сидела молча, не двигаясь, потом положила мертвого ребенка на скамью и взглянула в неподвижное багровое личико; закрыла остановившиеся глаза, положила по медяку на веки и привязала их носовым платком.

Немного спустя в коридоре показался доктор, а за ним шла сестра, и она крикнула им: — Вы не спешили, и бог опередил вас и взял ребенка.

Доктор подошел к ней, положил руку на сердце ребенка и сказал: — Да, он умер; но все наше искусство не спасло бы его.

И она ответила ему с горечью: — Никто из вас и пальцем не шевельнул.

Она взяла мертвого ребенка на руки и сказала, обращаясь к доктору и сестре: — Теперь откройте мне дверь, и я уйду от вас с миром.

спасти его, а сестра видела бы, что все его усилия напрасны; это все-таки было бы легче, чем чувствовать, как ребенок корчится у тебя на руках и умирает, а кругом никого из близких — ни друга, ни родни, кто пожалел бы и утешил.

— Ну вот,— сказал кучер,— прошли, теперь и мы потихоньку за ними поплетемся.

Он вскочил на козлы, крикнул «но-о!» и медленно поехал за демонстрантами, останавливая лошадь каждый раз, когда что-нибудь задерживало толпу, шагавшую гордо и воинственно, а в самой гуще ее шел вождь, в котором она видела живое воплощение духа своего и помыслов своих. Тихо плелся кэб за сотнями зажженных факелов, бросавших багровый свет на взволнованные лица, и над толпой пламенел огромный дымно-золотистый круг. Тихо плелся кэб за развевающимися желто-зелеными флагами, за оркестром, который играл столь оглушительно и рьяно, что многим в звуках марша чудился трубный глас, сзывающий всех на Страшный суд.

Наконец кэб свернул в переулок, проехал еще несколько улиц и остановился у дверей ее дома. Она вышла из кэба, нагнулась, взяла на руки маленькое неподвижное тело, завернутое в шаль, и спросила кучера, сколько с нее.— Полтора шиллинга,— сказал он и добавил: — Желаю ребеночку поскорей поправиться, мэм.— Потом, увидев личико, мелькнувшее в складках шали, он вскрикнул:— Господи помилуй, ребенок-то кончился!

Он молча взял шиллинг и шесть пенсов, приподнял шляпу, влез на козлы, разобрал вожжи и быстро покати́л прочь.

Она внесла ребенка в дом, положила его на кровать, потом пошла звать мужа. Он взглянул на нее и сказал шепотом: — Ему хуже? — Они вместе вошли в комнату, она сняла платок, которым было повязано лицо ребенка, и оба они долго и молча смотрели на застывшее детское личико.

— Как он вытянулся,— сказала она.

— Когда это случилось? — спросил он.

— В больнице, у меня на руках, и никто даже не взглянул на него,— ответила она.

Она почувствовала его руку, с нежностью обнявшую ее за плечи.

— Сью,— сказал он,— бедная моя, милая Сью.

Она задрожала и срывающимся голосом проговорила: — Вот и второй Джонни взят у нас. Должно быть, нехорошо мы сделали, что назвали его Джоном, после того как первый умер.

Рука, обнимавшая ее, крепче сжала ей плечи. Она взглянула на мужа и прочла на его лице выражение непоколебимой решимости.

— Сью,— ответил он,— у нас, может быть, родится еще ребенок, и, может быть, это будет мальчик. Если у нас родится еще ребенок и ребенок этот будет мальчик, мы назовем его Джоном.

СНАЧАЛА — ЗЕЛЕНЫЙ РОСТОК

Третий Джонни, преодолев упрямую настойчивость отца и суеверную тревогу матери, продвинулся чуть дальше по жизненному пути. Слабенький, еще не окрепший, он понемногу вращался в жизнь. — Сердце у него храброе, — говорила его мать, — всего труднее первые пять лет, и если он их переживет, слава господу богу. — Она следила за мальчиком с неослабной заботой. Ей нужно было думать и о других, но она никогда не забывала про Джонни, и редкие часы досуга, которые она урывала от хозяйства, были заполнены мыслями о том, как лучше и вернее поставить Джонни на ноги. Когда ему было всего шесть месяцев отроду, она, стиснув зубы, выхаживала его во время бронхита, но кашель прошел, и мальчик снова играл и смеялся, как другие дети; а где жизнь, там и надежда, слава господу богу. Остальные ворчали, что только и слышно — Джонни да Джонни, но мать отвечала им, что они уже подросли и оперились, а Джонни совсем еще птенчик. Но бог не забыл о нем и наконец послал ему испытание.

Когда Джонни исполнилось пять лет, мать заметила страдальческое выражение в его глазах. Жгучая, мучительная боль заставляла его сильно тереть их, долго и недоуменно плакать в солнечные часы дня и в долгие темные часы ночи. На глазных яблоках у него появились маленькие, твердые и блестящие зернышки, похожие на жемчуг. Он начал прятаться от света, постоянно жмурился, болезненно стонал, забившись куда-нибудь в самый темный угол. На много недель жизнь стала для него беспроектным мраком, прорезанным частыми вспышками боли. Из большого белого платка, сложенного в несколько раз, ему сделали повязку, обмотали ее вокруг головы, как тюрбан, чтобы уберечь его глаза от солнца, тускло глядевшего в окна маленького домика.

Джонни не сознавал опасности, у него не было ни страха перед слепотой, ни мысли, что для него это начало многолетних мучений, упорное и неодолимое препятствие, которое останется на всю жизнь. Ему было только обидно, что он не такой, как его сверстники, не такой, каким он сам был до этого, что он не может бегать, кричать и радоваться, когда светит солнце; не может, засыпая от усталости, ложиться в постель, когда зайдет солнце, и набираться сил для своей беготни, и смеха, и радости, когда солнце опять позовет всех веселиться и играть. В те времена о глазных болезнях задумывались мало, не больше чем о других немощах, если эти немощи не приковывали человека к постели. На пенни желтой мази, цинковой мази, цинковых капель с розовой водой — вот и все, чем лечили глаза, если не считать тех случаев, когда больной глаз приходилось удалять.

Только такие бичи человечества, как оспа, тиф, дифтерит и скарлатина, заставляли докторов мчаться сломя голову, не при-

чесавшись и без пиджака, трубить и трубить тревогу, чтобы люди накрепко запирались в домах, закрывали все окна и жгли серу, и тогда по всем комнатам плыли клубы серного дыма, словно фимиам над жертвенником в преисподней.

То было время, когда каждого ребенка раз в неделю непременно пичкали касторкой и отваром морского лука, сначала докрасна растерев ему поясницу чем-то колючим, как стальные опилки. Время, когда лишь немногие смельчаки, отринув грязь невежества, уходили куда-то и в самых заброшенных уголках земли пытались разгадать тайну жизни, болезни и смерти, не ища забвенья вместе с толпой, которая легко и приятно, гарцуя и пританцовывая, шествовала по жизненному пути под эгидой треуголок, красных мантий и черных мантий, твердивших о законах человеческих, и белоснежных стихарей; твердивших о законах божеских, и благоухающих шелковых юбок, твердивших о законах любви.

А Джонни видел все хуже и хуже, и боль в глазах становилась все сильней. Мать три раза в день промывала ему глаза тряпочкой из рюмки с цинковым раствором и розовой водой, а на ночь густо смазывала ему веки желтой мазью; но не было исцеления его недугу, и боль его не ослабевала. Братья и сестры, раздраженные его плачем, говорили матери, что от слез ему будет только хуже, и дразнили мальчика тем, что глаза у него становятся похожи на две дырки, прожженные в одеяле. По совету одной доброжелательной соседки, мать делала ему припарки из спитого чая: этим средством соседка вылечила когда-то своего ребенка; но не было исцеления его недугу, и боль его не ослабевала.

Потом один приятель его братьев сказал, что надо окунать мальчика головой в холодную воду несколько раз в день, чтобы он под водой держал глаза открытыми минут по пяти, и от этого самые слабые глаза окрепнут. Джонни схватили и, как он ни вопил и ни отбивался, сунули его головой в ведро с ледяной водой; засовывали все глубже и глубже, пока вода не покрыла глаза, и сердито кричали: — Открой глаза! Да открой же глаза, черт тебя возьми! Неужели ты не можешь открыть глаза, чтобы вода попала в них? — Он вырывался, перепуганный и озябший, а его толкали все глубже, вода затекла ему в ноздри и, булькая, полилась в горло; чуть не захлебнувшись, он вырвался, наконец, весь мокрый и дрожащий, а его упрекали и бранили за то, что он зажмурил глаза под водой; и все разуверились в этом способе лечения, сказав, что это пустая трата времени, раз мальчишку не заставишь открыть глаза, несостоящее дело, раз он жмурит глаза под водой; сам теперь будет виноват, если ослепнет; а Джонни, заупрямившись, не двигался с места, низко опустив голову на грудь, испуганный и потрясенный, и вода с намочших волос стекала струйками на спину и на живот, а он все кричал: — Где моя повязка, где моя повязка, завяжите мне глаза,

мне очень больно! — И недугу его не было исцеления, и боль его не ослабевала.

Тогда все отступились от него, говоря:— Ну и пусть его болеет, раз он не соглашается на то единственное, что могло бы помочь, не стоит его жалеть, мало мы с ним возились, что ли.— Одна только мать терзалась заботой, как бы помочь ему; только она одна с глубокой жалостью и неистощимым терпением стояла между ним и грозящей ему слепотой, которая сделала бы его беззащитным перед людьми и не снискала бы ему милости у бога; только она одна неустанно была тревогу, твердя об опасности всем, с кем встречалась, и неустанно искала помощи, чтобы спасти его от вечного мрака.

Однажды она вспомнила, что сестра говорила ей о каком-то ребенке, у которого болели глаза, что его куда-то возили лечить и что он выздоровел. Она сейчас же отправилась к сестре, взяв с собой Джонни; треть пути они проехали на конке, остальное прошли пешком до белого низенького домика, стоявшего на окраине города, за Долфинс-Барном на Тентерс-филдс, где раньше белили полотно. Там их напоили вкусным чаем с разогретыми в печи домашними булочками, которые так и таяли во рту, разжевать не успеешь.

— Тут нужен доктор,— сказала тетка.— Свези-ка ты его в больницу святого Марка по глазным и ушным болезням, что на Линкольн-плейс, рядом с Тринити-колледжем. Все, кроме немощных, платят за месячный билет полшиллинга, прием три раза в неделю. Поезжай в понедельник, среду или пятницу, тогда ты непременно попадешь к доктору Стори; это такой человек, каких на свете нет, он с глазами прямо чудеса творит. Если хочешь поскорей отделаться, лучше поезжай пораньше, к девяти: народу там с каждым днем становится больше и больше и всех пускают по очереди; бывает, что доктора очень долго возятся с больным, особенно если это что-нибудь с ушами; и самое лучшее, если ты сведишь туда Джонни; его посмотрят и скажут, можно ли его вылечить.

Мать Джонни встала, поблагодарила сестру и сказала, что ей пора домой, а Джонни она повезет в больницу в понедельник, пораньше утром. Тетка поцеловала Джонни, потихоньку сунула ему в карман новенький пенни и сказала, что бог милостив, он не допустит, чтобы Джонни ослеп.

Они простились и через Либертиз вышли на угол Мит-стрит и Томас-стрит. Здесь Джонни с матерью сели на конку и покатили по улице до вершины Корк-хилла: там была толпа, и конка остановилась.

— Это все бал,— сказал кондуктор,— бал у вице-короля, все дублинские зеваки сошлись поглядеть, как знатные господа едут пировать и веселиться в Дублинский замок¹.

¹ Резиденция английского королевского наместника в Дублине.

— Теперь мы сто лет простоим,— сказала женщина в углу.

— А почему бы и нам не полюбоваться на величие, которым держится страна, пока мистер Парнелл со своими голодранцами не вернул нас в первобытное состояние,— сказал прилично одетый господин, слякнявый и вислоусый, вставая со своего места в середине вагона и осторожно сходя на мостовую.

— Скоро придет времечко,— сказал кондуктор,— когда этот господин запоеет другую песню; а не запоеет, так вздернем его повыше, как Гилдероя¹,— и, прислонившись к дверям конки, он стал напевать:

Твоя душа, клан Оливер, мрачна, черна, как прах!
Со смертью Сарсфильда² ты стал спесив, клан Сассенах³
Мы знаем: дружелюбья к нам чужды вы с давних пор,
Но берегитесь — как и встарь, ирландский меч остер⁴.

Мать Джонни встала, сошла с конки и сняла Джонни.

— Протестантским мальчикам не годится слушать фениев⁵,— сказала она.— Если ты услышишь еще раз эту песню, шепчи про себя: «Боже, храни королеву».

Они попали в толпу и не могли выбраться, их донесло почти до самых ворот замка, и там они повстречали Эллу и Арчи, которые любовались на знатных господ, съезжавшихся на пышный ужин и веселый бал.

— Стань здесь, впереди меня,— сказала Элла, подталкивая Джонни,— только стой смирно и не вертись, сейчас мы посмотрим на нарядных леди и лордов, которые едут в замок.

— В понедельник утром я повезу Джонни в такую больницу, где лечат глаза и уши,— сказала мать, обращаясь к Арчи.

— Куда-нибудь да надо его повезти,— сказал Арчи,— он и днем плачет и ночью плачет, сил нет никаких терпеть.

— Когда я сюда шла,— сказала Элла,— кареты стояли по всей улице от ворот замка и дальше, по Дэйм-стрит, по Уэстморленд-стрит, и заворачивали на Сэквилл-стрит до самого Кавендиш-роу. Поглядите-ка, вон старый хрыч в ярко-синем мундире с золотым шитьем на груди, а с ним какая-то девчонка, чуть не на колени к нему уселась, вон в той коляске, только что проехали.

¹ Шотландский разбойник и конокрад, повешен в 1636 году; герой многих баллад.

² Сарсфильд, Патрик (умер в 1693 г.) — герой ирландских католиков, руководивший защитой крепости Лимерик во время осады ее войсками Вильгельма Оранского.

³ Сассенах (ирландск.) — сакс, англичанин.

⁴ Перевод О. Румера.

⁵ Фении — члены «Фенианского братства», основанного в 1857—1858 годах в Америке эмигрантами, бежавшими из Ирландии после поражения восстания 1848 года; ставили своей задачей освобождение Ирландии от английского ига.

— В объятых юности бесчувственный старик,— пробормотал Арчи.

— В понедельник разбуду Джонни пораньше,— сказала мать,— и свезу его в больницу, будь что будет.

— У старика алмазная звезда на синей ленте,— говорила Элла,— а кругом много-много золотого шитья. Орден Подвязки, что ли?

— Не Подвязки,— сказал Арчи.— Подвязку мало кому дают, кроме принцев королевской крови. Кавалеры ордена носят мантию пурпурного бархата, подбитую шелком. А ты, должно быть, видела орден святого Патрика, он на синей ленте с девизом «*Quis seragabit?*»¹; только не смыслят они ничего — по-настоящему надо бы зеленую ленту.

— Жалко, я раньше не знала про эту больницу,— сказала мать,— если бы начали лечить Джонни вовремя, не было бы у него таких ужасных болей.

— Поглядите-ка на этих ребят,— крикнула Элла,— все босиком, чуть не голые. Такое торжество,— что только смотрят матери, как им не стыдно!

— А людям заработок,— одобрительно сказал Арчи.— Даже фотографы попользуются: всякому лестно сняться после бала, после танцев, в свете утренней зари. Под старость каждому захочется поглядеть, каков он был во всей красе.

— Полшиллинга в месяц, прием три раза в неделю — это совсем недорого, если они хоть чем-нибудь помогут Джонни,— прошептала мать.

— На герцогинях-то какие платья, сотни фунтов стоят,— сказала Элла.

— А если мы получим гомруль, прощай царство, и сила, и слава,— прибавил Арчи.

— Ну что ж, в понедельник увидим, помогут ли они Джонни,— сказала мать, ласково кладя руку ему на голову.

— Вон сколько их едет,— оживленно воскликнула Элла,— вон какое их множество, едут, едут, мчатся, мчатся, по полям, по лугам, по улицам, на

Бал в Замке

Насколько можно было охватить дублинские улицы глазом или мыслью, это был сплошной поток кэбов, ландо, купе, карет и колясок, стремящихся к воротам Замка, и каждый экипаж был отягощен драгоценными телами и душами графов, баронов, епископов, посланников, судей, членов тайного совета, знатных и полужнатных, архидьяконов, духовных пастырей, лордов и леди,

матросы в синем и белом с золотом,
солдаты в черном и алом с золотом,

¹ «Кто разъединит?» (лат.)

суровые, под мухой, в кепи, киверах,
касках и медвежьих шапках,
с султанами и плюмажами, остриями и перьями.
Ни пылинки земного праха на лице и одежде,
все остальные в треуголках, чулках и при шпагах,
весело шли на поклон к своему господину,
с дамами в шелках и с дамами в атласах,
в поплине и блестящей парче,
в богатых кружевах из города Валансьена.
Гордясь тем, что род их живет столько веков,
они входили в замок или прогуливались,
беседуя о том, о сем, о прошлом и настоящем,
а солдаты отдавали им честь и тянулись перед ними,
тянулись изо всех сил,
проклиная всю свору неподвижными губами,
проклиная суматоху, из-за которой
им приходится стоять навывтяжку,
а грузные полицейские в темно-синем, сверкая серебром,
в блестящих кожаных поясах, туго стянутых на животе,
расхаживали туда и сюда, пыхтя и обливаясь потом,
оттесняя взбудораженных представителей рода человеческого,
сортировали и провожали драгоценный сброд через двор,
сдавая их на руки видным и дальновидным лакеям,
разряженным в бархат, желтый, красный и сизый,
в ливреях вишневого атласа,
толстые икры туго облиты белейшим шелком,
а головы в париках, в облаках пудры и в лентах,
с поклонами подталкивали они пестрое стадо к пастырю,
человеку, сотворенному богом наспех, усталому,
желавшему покончить со всем этим и отделаться поскорее,
возведенному в сан и облеченному властью,
скрывающему безобразную фигуру
под отличным костюмом черного бархата,
он был в чулках, с радугой лент на белоснежной рубашке,
и шпага с алмазами на эфесе
безжизненно висела у него на боку,
бледный от гордости и важности,
он показывал примерные па вступления на парад,
ковыляя впереди с красивым жезлом в руке,
словно посланник божий, он возвращался и снова шел вперед,
кивая, жестикулируя, делая знаки
(а кто-то пел за углом),

«Сыны Тирконнела, вы доблести полны,

Пусть лживый сакс трепещет, мы будем отмщены,

О'Доннелы, вперед, за честь своей страны»,

а он то уходил вперед, то возвращался и звал за собою
посланников, несущих добрую весть из далекой страны,
гордых баронов, благочестивых епископов,

а за ними длинную вереницу архидьяконов
и соборных настоятелей
со всякими титулованными,
в волнении шествующими голова в голову, с судьями,
между рядами парадных солдат
и матросов в параде,
с супругами в поплинах, атласах и шелках,
во всеоружии вееров и оборок,
за высоким жезлом в руке фигурки,
наряженной в богатый костюм из лучшего черного бархата,
твердыми стопами
по пышному ковру малинового цвета,
вперед, о Мармион¹, вперед и вверх,
по лестнице, вперед, вперед, до тронной залы,
где человек в костюме лучшего черного бархата
провозглашает первые имена страны
и мужчины в низком поклоне перегибаются пополам,
а веера и оборки сгибаются в талии; сгибая колено
и пятясь назад, опускаются как можно ниже в глубочайшем
реверансе

в честь королевского сана, олицетворенного вице-королем,
который стоит на троне, улыбаясь и хмурясь,
изнеженные душонки вееров и оборок дрожат от страха,
как бы не сделать промаха, не ударить лицом в грязь,
но дать понять, что они
всё знают и умеют отлично держаться здесь,
перед этой петушиной ногой в синей подвязке,
чей короткий кивок поглотил все поклоны и приседанья.
Твердо заучив наизусть, что благословен
не дающий, а берущий,
мудрые посланники и праведные епископы
вместе с высокочтенными баронами
и высокочестными судьями,
в сопровождении прочей крупной и мелкой знати,
присоединившись к блестящим чинам армии и флота,
спешили дальше, спешили мимо, спешили в бальный зал,
где шелка и атласы веяли веерами и вуалями,
в бальном зале с пальмами, канделябрами, чиппенделями,
где пары уже скользили по паркету в головокружительной
пляске

Мы живем с женой вдвоем,
Неказист наш ветхий дом,

Ножки взлетают из-под летящих оборок, и турнюры
подскакивают на пышных задах,

Джин — жене, а мне так ром,
И не надо нам хором,

¹ Герой поэмы Вальтера Скотта «Мармион», посол короля Генриха VIII в Шотландии.

в то время как высокопреподобия, просто преподобия и прочие тому подобия угрюмо слоняются среди чиппенделей, глухие к подмывающей музыке красномундирного, золотогалунного, туго обтянутого лосинами военного оркестра, увеселяющего публику,

Ха, ха, ха, да ты да я,
стаканчик, радость ты моя,

а гости, известные своей ученостью и благочестием, чинно беседуя, прогуливаются по берегам реки веселья, богато украшенным шератонами и чиппенделями¹, стараясь держаться подальше от искушения, а баронеты глазеют, и судьи поглядывают, а у матросов и солдат разгораются глаза при виде голых плеч и нежных белых грудей, обнажающихся все больше и больше при каждом движении кокетливого корсажа у знатных красоток, рдеющих от удовольствия и стыда показывать кавалерам свои прелести, чтобы помнили и после того, как кончится веселье,

Хорошо бы позабавиться с девицей,
с миленькой девицей;
в темной комнате, где жарко, как в теплице,
от одежды так легко освободиться...

Ха, ха, ха, да ты да я,
стаканчик, радость ты моя.

На диване хорошо расположиться,
у Венеры разным штучкам поучиться,
будем мы вдвоем без усталости резвиться,
можно так и кой-чего добиться...

Эх, да как приятно позабавиться с девицей,²

ножки взлетают из-под летящих оборок, пока духовные пастыри и учителя тоскливо слоняются под пальмами, склоняясь в мыслях к проверенной истине, что единственным способом удержать своих прихожан на расстоянии от преисподней было бы приложить им раскаленную докрасна кочергу к заднице, а на улицах под Млечным Путем и Плеядами ландо, купе, виктории, кареты, коляски и кэбы въезжают через ворота Замка во двор, вымощенный, подобно дороге в ад, добрыми и злыми намерениями, охраняемый конницей, пехотой и артиллерией, оплот верного Англии гарнизона, в окружении святых и ученых и чудесных круглых башен с милым, таким зеленым трилистником и лежащим волкодавом, арфой без короны и лучами ирландского солнца, — кстати сказать, ей-богу, в хорошеньком положении страна между

¹ Шератон и Чиппендейл — марки английской стильной мебели XVIII века.

² Перевод В. Рогова.

ними,— а в это время грузные полисмены в темно-синем с серебром, в кожаных поясах, туго стянутых на животе, расхаживают взад и вперед, потея и пыхтя, провожая и сортируя пышный цвет ирландского общества по узкой красной дорожке, которая ведет их в объятия человека в пышном костюме из лучшего черного бархата, и он подводит их к трону и к тому, кто сидит на троне из ясписа и сердолика, имея радугу подножием, подобную алым рубинам, белым жемчугам и синим сапфирам, и от многих старейшин с венцами на головах, восседающих вокруг трона, исходит глас, подобный грому, воспевающий: «Много дубовых у нас кораблей, дубовые головы у наших людей, держись, ребята, держись и до конца крепись, победа за тем, кто смелей, кто смелей». Солдаты отдавали честь и тянулись перед ними, тянулись изо всех сил, проклиная неподвижными губами восхитительную суету, держащую их в строю, навтыжку, пока не забрезжит день и не рассеются тени, а теперь нам пора, последний кэб уже въехал во двор, ворота закрылись, фонари потушены, и не увидишь, как танцует эта веселая публика, и голосов их больше не слышно, а мы теперь возвратимся туда же, откуда пришли, сказал Арчи, и они повернули к дому.

Еще две ночи мучений медленно проползли мимо Джонни, который сидел в кровати, корчась и скрипя зубами, а мать, накинув на плечи старое пальто, склонялась над ним в трепетном свете свечи и прикладывала к его глазам тряпочки, намоченные в холодной воде, стараясь смягчить боль, бледнея от сострадания, когда он умолял ее сделать хоть что-нибудь, чтобы эта боль прошла, и шепча ему, что в больнице для него сделают все, что только возможно, ему надо только потерпеть каких-нибудь два денька; а когда долгие часы уползли медленно и стыдливо прочь, утомление приглушило боль и мокрая голова мальчика зарылась глубже в намокшую подушку, мать обняла его и тихонько запела молитву: «Есть друг всем малым детям на небе голубом, его любовью вечной мы на земле живем. Друзья нас могут бросить, когда пройдут года, но друг небесный с нами останется всегда»,— и оба они задремали.

ПУТЬ К ИСЦЕЛЕНИЮ

В половине девятого утра, умытый и одетый, с толстой повязкой на глазах, Джонни неохотно пил чай с хлебом, потому что скоро его должны были отдать во власть тем, кто мог всячески пугать его и мучить, мог заставить его перенести полную меру страданий.

Держась за руку матери, он шел по улице как можно медленнее, чтобы то, что должно было случиться, случилось не слишком

скоро. В конце улицы он услышал, как остановилась конка, и мать подняла его на руки, усадила на сиденье и сказала, что, если он будет вести себя хорошо и слушаться доктора, она купит ему пирожное и домой они поедут опять на конке. Конка, которую тащили терпеливые, понурые клячи, дребезжала на ходу, останавливаясь время от времени, чтобы дать сойти одним пассажирам и сесть другим; и каждый раз, как нужно было взять с места, клячи налегали грудью, выбиваясь из сил. Подошел кондуктор с кожаной сумкой и блестящими серебряными щипцами и получил с них деньги за проезд: два пенса за билет для матери, пенс за полбилета для Джонни. Он услышал резкий, пронзительный лязг щипцов, когда кондуктор пробивал билеты, и мать отдала их Джонни и сказала, что у нее билет красный, а у него желтый; а на обратном пути, может быть, ты их сам увидишь, может быть, доктора так помогут тебе, что мы совсем снимем повязку, когда выйдем из больницы.

Они сошли на Уэстленд-роу, и мать повела его по Линкольн-плейс к больнице, невзрачному зданию, затертому среди других, с асфальтовой дорожкой и клумбами тощей герани перед подъездом, который был подстать окнам, большим, как витрины в бакалейной лавке.

Над большими окнами были крупные буквы: «Больница св. Марка. Прием по глазным и ушным болезням». Войдя внутрь, они очутились в длинном узком коридоре, разделенном на две части барьером из полированной сосны. В дальнем конце были две двери: через одну больные входили к докторам, а через другую выходили, когда доктор отпускал их до следующего раза. В коридоре стояли длинные, отполированные до блеска сосновые скамейки золотистого цвета, и на них сидело много народу — мужчин, женщин и детей, мало-помалу подвигавшихся к той двери, за которой были доктора. Ближе ко входу стояла громадная печка, а рядом с печкой — стол, на котором, как жертва на алтаре, лежала большая книга, заключающая в себе все, что было известно о больных, — фамилия, адрес, род занятий. За этим столом, непрерывно кашляя, сидел высокий, грузный и толстый человек лет шестидесяти пяти, с белой бородой, короткой бычьей шеей и крупной лысой головой, твердой, розовой и блестящей, как отполированная скамейка. Его звали Фрэнсис.

Мать Джонни ответила на все вопросы: сколько мальчику лет, где он живет, что у него болит и чем занимается отец. Они отдали полшиллинг и получили больничную карточку; на этой же карточке доктор прописывал лекарство для больных глаз.

Эти лекарства составляли и выдавали больным через задвижное окошко в аптеке, в маленьком, похожем на киоск чуланчике, отгороженном в углу коридора. Джонни с матерью сидели на скамейке с другими больными и дожидались своей очереди. Па-

циентов пускали группами, по пятеро и по шестеро зараз, а остальные подвигались вперед, ближе к двери.

Пока они ждали, подвигались вперед и снова ждали, мать прочла то, что было напечатано на карточке:

Больница св. Марка
по глазным и ушным болезням.
Прием амбулаторных больных,
состоящих под наблюдением
д-ра Стори,
по понедельникам, средам и пятницам
до 10 часов.

Все больные (кроме неимущих) платят полшillingа за лечебную карточку сроком на месяц от числа выдачи. Карточку надлежит содержать в чистоте, предъявлять в раскрытом виде и хранить по окончании курса лечения.

Джонни слушал, как люди вокруг него разговаривали о своих болезнях, страданиях и надеждах на поправку.

— Мне еще не один месяц сюда ходить, — услышал он чей-то голос, — когда-то еще дело пойдет на поправку. Я работаю в литейной, стальные опилки попали мне в глаз, пришлось их извлекать магнитом. Просто сил не было терпеть, когда они это проделывали.

— Перерезал жилку, — сказал другой голос, немного ближе, — чтобы отделить больной глаз от здорового, а теперь ему загорелось, хочет совсем вырезать слепой глаз; говорит, какой вам толк от мертвого глаза. Ну, а у меня на этот счет свое мнение: хоть он и слепой, а все не так безобразно, как совсем без глаза, если не очень разглядывать.

— Удивительное дело, — пробубнил третий голос, — докторов послушать, так без чего только человек не может обойтись!

— Есть такие живодеры, что в первую ночь сбегут от жены, только позволь им кромсать живого человека, — сказал первый голос.

— Наконец-то по-настоящему запахло весной, — сказал тихий голос немного поодаль. — Вчера в городском парке клумбы сплошь покрылись желтыми нарциссами. Я все время на них смотрела, пила чай с хлебом и все смотрела.

— А по мне, что ни говорите, лучше герань, красная герань, — ответил второй голос.

— Вот уж не знаю, право, — ответил мягкий голос, — по моему, герань, красная ли, другая ли какая, всегда смотрит как-то неприветливо, а нарциссы словно тебе рады, когда среди них гуляешь.

Наступило недолгое молчание, потом Джонни услышал, как второй голос сказал: — Может быть, ваша правда, а я все-таки больше люблю красную герань.

— Видите вы этого мужчину напротив нас? — сказала женщина, сидевшая рядом с матерью Джонни. — Взгляните на его карточку, она напечатана красными буквами. Только смотрите так, чтоб он не заметил. Видите?

— Да, — услышал он голос матери, — вижу, у него карточка напечатана красными буквами, а у нас — черными. Почему это, а?

— Потому что он нищий и не платит за лечение, как мы.

Джонни вспыхнул от гордости: он не нищий — и повернул карточку так, чтобы всем были видны черные буквы.

Неожиданно они очутились в кабинете, и сестра усадила их на отдельную скамью дожидаться доктора Стори. Всю эту комнату заливал режущий свет, потому что с северной стороны было окно во всю стену, от угла до угла и от потолка до пола. Слышалось непрерывное позвякивание инструментов, когда их брали с подносов и клали обратно. То и дело раздавалось звяк, звяк, и у Джонни на лбу выступил холодный пот. По стенам висели страшные рисунки, изображавшие болезни глаза и уха. Сестра в синем ситцевом платье в узенькую белую полоску торопливо двигалась по комнате, помогая докторам; и повсюду здесь была какая-то особенная тишина, по временам нарушаемая то стоном мужчины, то плачем ребенка, и Джонни весь сжимался от страха и ожидания.

Наконец к ним подошел доктор Стори, высокий, худой человек, с острым лицом и остроконечной рыжеватой бородкой, и сказал отрывисто: — Подведите мальчика поближе к окну.

Джонни подвели к окну и сняли повязку с глаз: свет, свет, проклятый, слепящий, режущий свет! Джонни посадили на стул; доктор сжал его между коленями; голову ему запрокинули назад как можно дальше; он чувствовал, как пальцы доктора вдавились ему в щеки под самыми глазами: свет, свет, проклятый, слепящий, режущий свет!

— Открой глаза, — сказал доктор Стори, — и взгляни в окно. Ну же, открой глаза, надо слушаться.

— Открой глаза, слушайся доктора, — сказала мать.

— Открой глаза, — сердито сказал доктор Стори, — сию минуту открой глаза.

Но проклятый, слепящий, режущий свет потоком боли вливался сквозь веки, и Джонни крепко зажмурил глаза. Мать испуганно потрясла его за плечо.

— Открой глаза, дрянной мальчишка, — сказала она.

Но он сидел неподвижно, молча, весь сжавшись и не открывая глаз.

Стори подозревал двух студентов. Один из них, став позади стула, взял Джонни за голову, другой за плечи, но он сидел, весь сжавшись, неподвижно и молча, и не открывал глаз. Из-за

его упрямства им пришлось прибегнуть к насилию: его сняли со стула, а мать, растерявшись, грозила ему самыми страшными наказаниями, дай только вернуться домой. Его положили на пол, растянули на спине, как лягушонка, студенты держали его за ноги, сестра — за руки, а доктор Стори, опустившись на колени, осторожно, но настойчиво давил ему на щеки под глазами до тех пор, пока Джонни не раскрыл глаза с отчаянным воплем, и Стори из крохотной стеклянной трубочки сейчас же пустил ему в глаза тоненькую струйку чего-то, похожего на прохладную воду, и оно, как целительный бальзам, растеклось по всему глазу, воспаленному и покрытому язвочками.

После этого он безмолвно подчинился более полному осмотру в темной комнате, полной отдельных маленьких кабинок, в которых ярко горели газовые рожки; и доктор Стори, надев на лоб круглое зеркало, укрепленное на ремне, заглянул ему в глаз, стараясь определить болезнь, которая отнимала у него зрение, принося лишь страдания и слезы. После двухчасового осмотра и лечения Стори вернулся к своему столу и кивком подозвал к себе мать Джонни. Она подошла, медленно и робко, и выслушала то, что говорил доктор.

— Мальчик не ослепнет, — сказал он, быстро заполняя листок, — но лечить его придется долго. Регулярно промывайте ему глаза горячей водой, очень горячей, как только можно терпеть, а потом лекарством, которое вам выдадут в аптеке. А самое главное, нужно втирать ему мазь под веки; не снаружи, понимаете, а изнутри — сколько захватите на кончик пальца, каждое утро и каждый вечер; повязку мальчику придется носить очень долго. Кормите его лучше и после каждой еды давайте ему по чайной ложке сиропа Парриша.

— А можно ему ходить в школу, доктор? — спросила мать.

— Нет, в школу нельзя, — сказал он сердито. — Глазам нужно дать полный отдых. В школу нельзя, и долго будет нельзя.

— Если он не будет ходить в школу, доктор, он вырастет неучем.

— Лучше быть неучем, чем слепым, — сказал доктор. — Мальчика надо приводить сюда по понедельникам, средам и пятницам, пока ему не станет лучше, а после того будете ходить раз в неделю. Возьмите эти лекарства в аптеке, — прибавил он, давая ей рецепт. — Делайте все, что я сказал вам, запаситесь терпением и не пускайте мальчика в школу.

И доктор Стори, элегантный, с изящными белыми руками и остроконечной рыжеватой бородкой, торопливо ушел к другим больным в сопровождении стайки студентов.

— Значит, плохо у меня с глазами, раз он не велел мне ходить в школу, — сказал Джонни матери, когда та получила в аптеке мазь, примочку, сироп и бинты.

Не надо ходить в школу — какая это была приятная мысль! Ни учителя, ни уроков, не надо больше забивать голову чтением,

письмом и арифметикой. Он больше не будет одним из маленьких рабов грифельной доски и ранца.

— Нехорошо,— шепнул он матери,— если я вырасту неучем и не буду уметь ни читать, ни писать. Правда, мама?

— Правда,— сказала она,— очень плохо, но, даст бог, ты поправишься и пойдешь в школу: не уметь читать и писать — это, может, не легче, чем быть слепым.

Потом сестра плотно забинтовала ему глаза, и мать повела его домой, и этим закончился его первый день в больнице, с которой ему предстояло впоследствии познакомиться так близко, что двери ее чуть ли не сами собой растворялись ему навстречу.

БЕДНЫЙ ПАПА

А все это время и даже раньше тот, кого звали Майкл, старик, муж его матери, отец, породивший его, лежал в большом волосяном кресле, поникнув перед тем, о чем все думали, но никто никогда не говорил.

Из Лимерика он был родом, пешком пришел в Дублин искать работы и поселился там. Много лет назад в Лимерике католик женился на девушке-протестантке; все дети выросли в лоне католической церкви, но отец-католик умер, когда Майклу еще не было года, и мать взрастила своего младшего в истинной, протестантской вере, которая была открыта святым апостолам раз и навсегда, до скончания века. Когда Майкл вырос, бог призвал его мать к себе. После этого его братья и сестры, католики, стали жестоко ссориться с ним из-за всего, что Христос сказал и что Христос сделал, и из-за скрытого смысла того, что Христос сказал и что Христос сделал, так что Майклу, видно, приходилось нелегко. И вот в один прекрасный день он, ни с кем не простившись и не сказавшись никому, обратил лицо свое к Дублину и покинул город Лимерик на веки веков, амнь.

Ров Бранденбургом¹ перейден,
Нас враг теснит со всех сторон,
Уж пал разбитый бастион.
О бедный город Лимерик!

Ирландцы с криком сквозь туман
Бросаются на англичан,
И с королем весь вражий стан
Бежит, покинув Лимерик!

Таков был незабвенный бой
За наш отцовский край родной.
По праву мы горды тобой,
О славный город Лимерик!²

¹ Бранденбуржцы принимали участие в походе Вильгельма Оранского в Ирландию.

² Перевод О. Румера.

Пришел он в Дублин и женился на Сьюзен, которая стала матерью его детей — и всех старших и Джонни-последыша. Из года в год соседи видели его в скромном костюме и полуцилиндре, с терновой тростью в руке. Каждую неделю он точно, как часы, приносил жене домой заработанные два фунта. Многие любили его, но всех отпугивала его привычка судить людей, когда мягко, а когда и безжалостно строго; все уважали его как человека, который каждому правду-матку режет в глаза, и все считали его ученым, потому что он вечно корпел над умными книгами и хорошо знал латынь и горячо желал, чтобы и другие, подобно ему, любили ученье ради ученья.

А теперь он полулежал в большом волосяном кресле, поникнув перед тем, о чем все думали, но никто никогда не говорил.

Рассказывали, что однажды он залез на лестницу, а она соскользнула, и он, падая, ударился спиной о стул и повредил себе позвоночник. Приходили доктора, осматривали его, спрашивали, что с ним такое, а он их всех разозлил, отвечая, что затем и посылают за доктором, чтобы он это выяснил. Доктора велели натирать ему все тело салом и ухаживали, так ничего и не поняв. И тонкос, нервное лицо, окаймленное мягкой темной бородкой, стало день ото дня худеть и терять краски; белые красивые руки все беспокойнее хватались за подлокотники кресла, и на чтение милых его сердцу книг уже не хватало сил. Он хотел, чтобы Элла читала ему Шекспира, потому что Сью, его жене, даже Диккенс давался нелегко (хотя про Фальстафа — она все хорошо знала); но Элла училась на учительницу, ей было некогда, а отец так близко подошел к краю могилы, что с ним уже не было ни интересно, ни приятно. И смерть оставалась смертью, жизнь — жизнью, а Элла — Эллой.

К тому же, с тех пор как он перестал вставать с кресла, в доме вздохнули свободнее. Мальчики стали приходить домой попозже, и от них слегка пахло вином, когда они с независимым видом стояли перед матерью, зная, что сверлящие глаза в соседней комнате потускнели и мучительно вглядываются в мрак, в безмолвную черноту, откуда зазвучит призывный голос господень, и что губы, с которых раньше слетели бы гневные слова порицания, теперь печально слагают слова смиренной любви к Иисусу Христу, сыну человеческого, сыну божью, пришедшему в мир спасти грешников.

Одно только утешало — если суждено ему умереть, он умрет, окруженный своими книгами. Они стояли в большом книжном шкафу, что пристроился в углублении стены возле камина, стояли тесно одна к другой, книги, которые он читал и перечитывал, над которыми столько думал: целый полк полемических трудов по богословию под командой «Истории реформации» д'Обинье, «Прений о вере» Милнера и «Протестантизма» Чиллингуорта, где доказывается, что в библии, и только в библии, изложена религия протестантов, и на первой странице — жирная физиономия са-

мого старикана; «Книга о мучениках» Фокса — сплошь про пытки, казни и геенну огненную; «Папизм — то же язычество; бывал ли святой Петр в Риме?» — и в ней картинка: богословы лупят друг друга книгами, а святые Петр и Павел смотрят на эту драку с облаков и смеются; прямо слышишь, как они приговаривают: поддай жару, ребята, так их! Надутые, как офицеры на параде, стояли в ряд английская библия, латинская Вульгата и дуэсское издание Ветхого завета, а справа от них — адъютант — словарь библейских цитат; рота солдат в красных мундирах — романы Диккенса, Скотта, Джордж Эллот, Мередита и Теккерея; собрание сочинений Шекспира; стихи Бернса, Китса, Мильтона, Грея и Попа; на самой верхней полке — толстяки-генералы: шесть или семь огромных томов «Упадка и гибели Римской империи»; лениво прислонившись к ним, стоял Локк — «Опыт о человеческом разуме» и целый отряд старых учебников Эллы и братьев в сопровождении книжек, полученных ими в награду в воскресной школе, с такими заглавиями, как: «С Иисусом Христом у зулусов», «Скромные венцы и как их заслужить», «Мальчики и девочки в библии», «Евангельский цветник для маленьких девочек», «Осада Гибралтара», «От Креси до Тель-эль-Кебира»; в уголке робко притаилась книжечка, называвшаяся «Мироздание утверждает бога», а в запертом ящике, касаться которого было запрещено всем, кроме главы дома, лежала таинственная книга — в ней, как говорил отец, содержалось опасное учение некоего епископа Беркли и, как добавляла мать, было написано, что ничего не существует и что весь мир — это только наши ощущения, а такие книги можно читать лишь умным людям, потому что они понимают, какая это бессмыслица.

Ее муж большую часть жизни провел среди своих книг, — и хотя приятно, говорила Элла, что твоего отца все уважают как ученого человека и знатока латыни, все же, когда приходит пора отдавать богу душу, проку от этого немного. А брат Майкл говорил, что «Опыт о человеческом разуме» Локка — сплошная чепуха: при одном виде этой книжки станешь молить бога, чтобы человеческий разум никогда не стал таким, каким он в ней описан.

Всего несколько раз Джонни близко сталкивался с отцом. Когда он немного подрос, отец уже был болен, а у него болели глаза; и отцу была невыносима мысль, что из-за зрения Джонни останется неучем, существом, не угодным господу, — поэтому они редко встречались. Однажды, когда дома никого не было, кроме матери, хлопотавшей около больного, его послали купить унцию прессованного жевательного табаку.

— Этот дурак не успеет из дому выйти, как забудет, зачем его послали, — сказал папа, когда мать заботливо надевала сыну шапку, а он весь трепетал от волнения и гордости.

— Нет, он не забудет, — сказала мать, — он вовсе не такой дурак, как ты думаешь, — и, наклонившись, она зашептала ему

на ухо: — Запомни хорошенько и всю дорогу повторяй: унцию прессованного жевательного табаку.

И он в страшном волнении побежал в лавчонку за три квартала от дома, крепко зажав деньги в кулачке, задыхаясь и борючая скороговоркой: унцию прессованного жевательного табаку, унцию прессованного жевательного табаку.

Потом в таком же волнении, запыхавшись, прибежал назад к матери, которая внимательно осмотрела пакетик и сказала, что все правильно. Она привела его к отцу, чтобы Джонни сам отдал ему покупку, и отец, сидевший в своем кресле, устало и молча взял пакетик у него из рук. Джонни стоял, опустив голову, глядя на худые колени, острым углом поднимавшие черные брюки, и на небольшие, тесно сдвинутые ноги в домашних туфлях на черно-красном коврике перед камином.

— Ну вот, отец, — сказала мать примирительным тоном, — видишь, он все сделал как нужно.

Тогда исхудалая нервная рука оторвалась от ручки кресла, и Джонни почувствовал, как она легла ему на голову, и отец произнес тихо и печально: — Да, он молодец и сын своего отца.

Не в силах от застенчивости поднять голову и взглянуть на отца, Джонни вышел из комнаты радостный, ликующий, шепотом повторяя: унцию прессованного жевательного табаку, унцию прессованного жевательного табаку.

В другой раз, когда забыли прикрыть дверь в гостиную, Джонни, проходя мимо, осмелился заглянуть туда. Отец сидел тихо-тихо в своем волосяном кресле с ножками красного дерева, в том кресле, что рассыпалось на куски после его смерти. Джонни успел разглядеть только тонкую белую исхудалую руку, вцепившуюся в ручку кресла, да прядь иссиня-черных волос, выбившуюся из-под ермолки, сшитой из красных, синих и белых клиньев. Вот он, бедный папа, — отец, как называла его мать в разговоре с Эллой и братьями, — сидит перед камином, и справа от него, на столике, — раскрашенная фарфоровая русалочка в стеклянной банке, а слева, на стене, — портрет королевы Виктории в день коронации.

Он, должно быть, почувствовал на себе взгляд сына, потому что голова в ермолке вдруг повернулась, и мальчик на одно страшное мгновение увидел белое, исхудалое, измученное лицо, на котором ярко блестели глубоко запавшие глаза, с мольбой и гневом устремленные на него. Джонни увидел, как синие вены вздулись на тонкой, впившейся в кресло руке, и слух его неприятно резнул слабый голос, пытавшийся крикнуть: — Уходи, уходи отсюда и сейчас же закрой дверь: детям здесь не место.

Джонни быстро закрыл дверь и, охваченный страхом перед непонятным, опрометью бросился через прихожую на улицу, прочь от комнаты, где бедный папа лежал в своем кресле, поникнув перед тем, о чем все думали, но никто никогда не говорил.

СМЕРТЬ ОТЦА

Однажды, очень холодным утром, мать разбудила Джонни, говоря: — Вставай, Джонни, вставай, мой бедный мальчик, у меня много дела, и тебе сегодня нужно умыться и позавтракать пораньше.

Он протираля загноившиеся глаза и зябко ежился в своей реденькой рубашке.

— У-у,— протянул он,— очень холодно.

— Теперь у нас часто будет холодно по утрам,— сказала мать, помогая ему натянуть штанишки и поправляя сбившуюся повязку на лбу.— Поди к Элле, пусть она сменит тебе повязку.

— Лучше ты, мама,— сказал он.— Элла не умеет, она мне больно голову сдавливает.

— Сегодня придется ей тобою заняться,— сказала мать,— а мне надо побыть с твоим бедным папой.

Он ощупью добрался до кухни, и тут Элла схватила его за руку, говоря: — Иди умываться, и давай я тебе промою глаза.— Она стала смывать засохший гной с его век горячей водой, такой горячей, как только можно терпеть, и все время ворчала:

— Недолго тебе осталось жить барчонком. Скоро все это бадовство кончится, придется самому о себе заботиться.

Она особенно энергично вымыла ему лицо и шею, безжалостно расчесала волосы, обмотала голову чистой тряпкой через левый глаз и накрепко завязала, нацепила на шею воротник, обдернула курточку и прошлась по ней щеткой.

— Ну вот,— сказала она,— теперь садись, ешь свой завтрак да благодари бога, что есть чем завтракать.

Джонни сел к кухонному столу — столько скребли и терли этот стол, что крышка чуть не насквозь протерлась. На столе была буханка белого хлеба, крошечный кусочек масла посреди тарелки, далеко-далеко от краев, и чашка с блюдцем, а на шестке коричневый чайник поблескивал от язычков пламени, то и дело вырывавшихся из жарко горящего угля. Том хмуро стоял у огня, опершись локтем о каминную полку. Арчи негромко барабанил пальцами по стеклу окна, выходившего на задний двор; и во всем доме была странная тишина — тишина, которая втекала в комнату и вытекала из нее всякий раз, как отворяли дверь; тишина, от которой весь дом затих и замер.

— Рано утром, в четыре минуты четвертого,— сказал Арчи,— только шепнул матери: «Обними меня, Сью», — и она даже позвать никого не успела, как все кончилось.

— Я очень рада,— сказала Элла вполголоса,— что мама решила заказать катафалк. На всех порядочных похоронах бывает катафалк.

— Местом мы владеем на вечные времена,— сказал Арчи,— там никого теперь нельзя хоронить, кроме нас.

Что-то налетело на них, швырнуло из одной неизвестности в другую. Не зная, как на это ответить, они отвечали молчанием, — те немногие слова, которые они произносили, были всего лишь невидимые пальцы, указывающие на тишину. Положенными словами и жестами они вверяли свою растерянность и молчание богу, хотя имя его не поминалось. Бог поможет, раз уж свалились на них такие заботы; ведь бог — надежная опора в беде: «Приди к нам утром, и вечером снова, приди, когда просим, приди без зова».

То, что выбило их из колеи, лежало в гостиной, в горнице, маленькой, устланной, готовой для гостей — таких, кому требовалось оказать почтение и кто был достоин увидеть все лучшее, чем владела семья. Волосной диван и кресла, полированный шкафчик красного дерева, над камином — красивая полка на тонких столбиках, и в нее вставлены два зеркала; на окнах занавески из сурового кружева, перехваченные посередине темно-красными шнурами. На столике у окна — большая стеклянная банка с чистой водой, в которой плавала раскрашенная фарфоровая русалочка: волосы у нее были желтые, вместо глаз — черные точки, большие груди с розовыми сосками и сине-желто-зеленый хвост, как у рыбы. В руке русалочка держала золотой гребень. Она смотрела из своей банки на всех, кто входил в комнату и кто выходил. Сейчас она смотрела своими черными точками на что-то, что лежало неподвижно на кровати в другом конце комнаты. Над кроватью висела большая картина «Лорд Нельсон перед Трафальгарским боем» — неустрашимый, вся грудь в орденах, он рвется вперед, к последней своей битве в этой жизни. Рядом с ним шагает человек в белой кастильской шляпе, зеленом спортуке и коричневых штанах до колен. Он смотрит Нельсону в лицо, всем своим видом выражая восхищение великим человеком, в честь которого написаны стихи «Так он на палубе пустой недвижимо стоял, пожар сраженья грозовой убитых озарял», — а рукою тот же человек в коричневых штанах до колен, на той же картине, отталкивает толстую суетливую рыбачку, которая пытается подойти поближе к герою-моряку, что — как жаль, как жаль! — «уплывает вдаль, в последний путь, сражаться за Англию нашу родную. Прямо напротив Нельсона, на другой стене, висел портрет королевы Виктории, разодетой в парчу по случаю дня коронации, и в ее голубых навывкате глазах — не веселая улыбка, а пышность, могущество, богатство и блеск ее колониальной и индийской империи.

И в этой-то комнате, под взглядами бумажного лорда Нельсона и королевы Виктории, под прикрытием арьергарда из своих нежно любимых книг, лежал Майкл О'Кэссиди из Лимерика. Он лежал вытянувшись, руки по швам, — крепко закрытые глаза глядят в прошлое, темная бородка расчесана волосок к волоску, — лежал под белоснежной простыней, убранный для перехода в лучшую жизнь, брэнная обложка из костей и коченеющей плоти:

мысль, знания, труд, смех, слезы, мужская сила, а теперь — только прах и тлен.

Он лежал холодный, застывший, тихий, в то время как жизнь вокруг спешила все для него уладить — поскорее заявить куда нужно о смерти; заказать могилу; выбрать гроб — тяжелый, дубовый, с медными ручками; нанять катафалк четверкой; сообщить священнику час похорон, чтобы он был на месте, когда придет время возвестить воскресение мертвых; проводить тех, кто уже поклонился покойнику, и встретить тех, кто пришел поклониться; выслушивать шепот вопросов и шепотом отвечать.

— Ни чуточки не изменился, хоть больше года был прикован к постели, потому у него, благодарение богу, и лицо такое спокойное; хороший был человек, теперь он радуется, где бы ни находился, ведь он говорил, что это сущее ханжество — осуждать католиков за поклонение мощам, когда мы сами рвем носовые платки на кусочки и храним их на память только оттого, что Муди и Сэнки¹ утирали ими лоб или нос после пустых речей и благочестивых серенад в Ротонде или в доме Христианского союза, где люди, набившись как сельди в бочке, все вместе молятся, чтобы багрец грехов их был убелен, как снег; да, если приглядеться, нос как будто заострился немного, нет, совсем немножко, только и заметно что вот отсюда, где я стою; «Сью», говорит, просто обнял ее за шею и сказал: «Милая Сью, милая, милая Сью», — вздохнул, потянулся и отдал богу душу; бледна немножко и осунулась, но держится бодро; просто на удивление, жестокий удар, но господь смягчит боль по соизволению своему; я так и ахнула: как можно говорить такие вещи, когда женщина только что потеряла мужа, еще и опомниться-то не успела, за минуту перед тем держал Сью за руку, да так крепко, совсем не к месту и даже глупо, когда душа полна сочувствия к такому горю, но луга ее оденутся стадами и долины покроются хлебом, и будут они смеяться и петь, непонятно, что общего между ее словами и тайной того неподвижного, что лежит под белоснежной простыней, и не слушала, как Сью ей рассказывала про болячку, которая появилась у него на спине, и доктора не могли понять, откуда она взялась, когда он уже лежал в постели, а сейчас он на этой постели лежит мертвый, слег, когда ноги не стали его держать, и таял день ото дня, а Сью без усталости за ним ухаживала, каждый божий вечер мазала ему ноги салом, все надеялась, что они оживут, потому что доктор сказал, чего не случается, попробовать никогда не мешает, и думал, и думал, как она без него будет, да еще с малым ребенком, а какой был храбрый человек, так до конца и не захотел, чтобы к нему позвали священника, потому-де, что нет посредника между богом и человеком, кроме сына человеческого Иисуса Христа, а священники только суетятся да отвлекают человека всякими пустяками, и тихо, без

¹ Известные евангелические проповедники конца XIX века.

мук отошел в лоно Иисусово, словно южный ветер, теплый, нежный, веет тихо, безмятежно; я знаю, он всегда посылал детей и в церковь, и в воскресную школу, и на уроки библии, а уж если погода мешала им пойти молиться богу в святом его храме, следил, чтобы они соблюдали день субботний — пели дома гимны под вечер, когда свет дневной уходит, водят тени хороводы, — значит, он считал, что нужно поклоняться богу в духе и в истине, где двое или трое собрались во имя его, наставлял детей путям господа, он же и есть камень, а вовсе не Петр, — тот, чуть ему что не по нраву, раздражался такими проклятиями, что у других апостолов, которые были к этому непривычны, волосы, небось, вставали дыбом, а когда грелся у костра, так чуть служаночка сказала, что, мол, речь его обличает, что он из Галилеи, да как услышал, что пропел петух, стал отпираться, будто он вовсе не он, а это так же дурно, как высказывать вперед и представляться не тем, что ты есть, вон как Кэти Джонстон: вечно ей нужно, чтоб все только на нее и смотрели, а турнюр-то у нее, сзади прямо гора получается, куда это годится, когда в доме покойник и все чинно и благородно, даже у Нельсона и у королевы Викторнии на лицах точно смирение написано, и всего-то она года два как из Баллины, а задается, будто всю жизнь прожила в Дублине, невдомек ей, что городская юбка на деревенских бедрах — все равно что на корове седло, а сама кашляет, и румянец такой, что ясно — чахотка, и жить ей осталось всего ничего, так и выходила бы замуж за слугу из сумасшедшего дома, хоть он и сам малость свихнулся, долго ли, когда день и ночь с сумасшедшими возишься; мать-то ее расхваливает его к месту и не к месту, а Кэт — та им крутит, как хочет, чуть он разнежится, сейчас велит ему башмачок ей завязать и юбку подымет, так что вся нога видна и белые оборки с кружевами, а не то попросит брошь застегнуть, только все это — штучки: она ее нарочно расстегнет, чтобы он мог руку ей за пазуху сунуть, а чуть он начнет пыхтеть, как паровоз, возьмет да сама и заколет брошь, спасибо, мол, очень хорошо, да еще смеется ему в глаза — видит, что он не в себе, рад бы сорвать с нее все до нитки да бросить ее на пол при всем народе; глядеть стыдно, как мужчина пятидесяти четырех лет выламывается, корчит из себя молодого да пялит глаза на женщину, которая ему в дочери годится; и то сказать, легко ли смазливой девчонке в двадцать три года на такое пойти, чтобы муж у нее был треска вяленая, ведь старик, он ее и поласкать-то как нужно не сумеет, и не подобало бы этого касаться сейчас, когда мы собрались здесь по такому случаю и сидим на жестких стульях, просто терпенья нет, хоть бы подушку, что ли, подложить, и ждем, пока принесут гроб и водворят покойника, чтобы ему удобнее было отойти в вечный дом свой, далеко от этого его дома, где уже никогда ему не будет части, и ни в чем, что делается под солнцем, дай бог, чтобы оно светило, когда беднягу в последний раз повезут по улицам и у лошадей вид будет покорный, но решитель-

ный — нипочем не повернут обратно, пока не довезут до места свой груз, который был когда-то человеком, как и я, хотя я-то женщина, а это совсем другое дело; вот я напьюсь чаю, а потом уж как-нибудь да проберусь вперед, поближе к священнику, когда он у могилы будет говорить что полагается, внушать, что все хорошо, когда ничего хорошего нет, уверять бога словами его же апостола, что видимость гроша медного не стоит и что смерть потеряла жало свое и поглощена могила победою.

ПОХОРОНЫ ОТЦА

Джонни смотрел, как на улицу заворачивают кэбы, и старался угадать, какие из них поедут на похороны его отца; красные кэбы с черной обивкой, черные кэбы с желтой обивкой, зеленые кэбы с красной обивкой и синие кэбы с коричневой обивкой. Первый остановился перед домом, где лежал его мертвый отец, а остальные выстроились позади, цепочкой растянувшись по улице, дожидаясь суматохи и спешки, когда вынесут гроб и станут устанавливать его на катафалк, который скоро прибудет. Извозчики слезли с козел и стояли по двое, по трое, прислонившись к стенам домов, образуя уродливый, неровный, ломаный фриз на фоне поблекших от солнца, слинявших от дождей кирпичных стен. Друзья и соседи собрались у подъезда и ждали неподвижно и молча. Тихий говор прошел по толпе, когда катафалк, похожий на огромный черный разукрашенный готический ларец, запряженный четверкой черных лошадей с черными султанами, неспешно и торжественно подкатил к дому и с достоинством занял свое место во главе поджидающих кэбов. Кучер катафалка и его помощник, оба в высоких черных блестящих цилиндрах и длинных, тяжелых синих ливреях с серебряными пуговицами, степенно слезли с высоких козел и стали у дверей, дожидаясь, когда их позовут в дом заколачивать гроб.

Из-за угла вдруг показался еще один кэб, быстрой рысью проехал по улице и остановился бок о бок с катафалком; извозчик, соскочив на землю, подошел к двум другим извозчикам, которые курили и беседовали, прислонившись к стене возле окошка. Он снял жесткий котелок и вытер пот со лба.

— Подпруга по дороге лопнула, — сказал он, — я, пока зашивал ее бечевкой, думал, что уж его и закопать успели и все молитвы прочли.

Другой извозчик вынул изо рта трубку, сплюнул на тротуар и ответил:

— Спешить некуда, Джим, еще и гроб не завинчивали. Просто удивительно, сколько людям нужно времени, чтобы проститься с покойником.

— Я бы и еще четверть часика подождал, — сказал третий извозчик, у которого шея была обмотана желтым шарфом, — если б

подвернулся какой-нибудь добрый иезуит да принес бы мне жбанчик пивца согреть нутро. Диддерэй-диддери-диддерум,— пробубнил он.

— Мы с Джеком,— сказал извозчик, который боялся опоздать,— здорово провели вчера вечерок. Как поставили одров на конюшню, сейчас же пропустили для начала две пинты у Дэмпси, потом еще три в «Виноградной лозе», полдюжины хватило у Хенесси да напоследок еще три в «Королевском дубе», ровно в одиннадцать, когда там уже ставни закрывали.

Извозчик в желтом шарфе потер руки, и в глазах у него блеснула зависть.

— Ничего себе порция для одного вечера,— пробормотал он,— диддерэй-диддери-диддерум.

Джонни, стоявший впереди катафалка около самых лошадей, увидел Коннора, с которым он учился в школе: не отходя от матери, тот наблюдал за ним и ухмылялся всякий раз, как Джонни на него взглядывал. Джонни подвинулся поближе к нему, чтобы Коннору было лучше видно, какой он молодец — стоит около самых лошадей, а они нетерпеливо роют землю копытами, и черные султаны колышутся всякий раз, как они вскидывают голову. Коннор подвинулся совсем близко к Джонни, но для верности не выпускал из рук материнскую юбку, растянув ее во всю ширину. Джонни почувствовал его голову у своего плеча и услышал, как он шепчет ему на ухо: — Поди потрогай лошадь, если ты такой храбрый.

Джонни заметил, что дети в толпе наблюдают за ним и за Коннором, он надулся от гордости и поправил жесткую креповую повязку на рукаве. Боязливо протянув вперед руку, он погладил ближайшую лошадь по ноге. Лошадь сильно вздрогнула и так яростно лягнула, что катафалк закачался, а Джонни в испуге отскочил назад.

— Га-а-а, паршивец ты этакий! — заорал извозчик в желтом шарфе. — Га-а-а, катись отсюда и не трогай лошадь, не то я тебе сыплю по заднице.

Джонни отступил на несколько шагов и повернулся спиной к Коннору, чтобы тот не видел его пристыженного, испуганного лица.

— Пятнадцать пинт за три часа,— сказал извозчик в котелке,— чего уж лучше, дай бог на дочкиной свадьбе так погулять. Домой-то мы добрались,— продолжал он,— добрались домой; только на это ушло у нас два часа, а ходьбы-то всего двадцать минут: битых два часа маялись, пока добрались.

— Пора бы уж им собирать своего старика,— сказал извозчик в желтом шарфе,— диддерэй-диддери-диддерум.

— Оба мы были хороши,— продолжал извозчик в котелке,— оба идем, спотыкаемся, он меня поддерживает, а я его, так и помогали друг другу. Всю дорогу пели «Поверженное сердце», упа-

дем и встанем, упадем и встанем; да, что ни говори, а вечерок выдался на славу.

— Мне на прошлой неделе не везло,— сказал третий извозчик,— седоки всё голь перекатная, только и глядят, как бы побольше сдачи получить.

Джонни почувствовал, что Коннор опять подошел к нему и сзади шепчет ему на ухо.

— Мама говорит,— шепнул он,— что неделька пройдет, перестанешь задаваться.

— А ты все равно не поедешь,— ответил Джонни,— я сам слышал, как моя мама говорила: эти Конноры, чего доброго, припрутся на похороны.

— Как же,— фыркнул Коннор,— врешь ты все. У тебя отец умер, так ты и заважничал, что в черном костюме, а мама говорит, он совсем и не новый, а просто перекрашенный.

Джонни повернул голову, посмотрел Коннору в глаза и процедил сквозь зубы: — Скажи спасибо, что у нас сегодня похороны, а то бы я пошел с тобой за угол, да и набил бы тебе морду.

— А по дороге домой,— сказал извозчик в котелке,— повстречались нам две расчудесные толстозадые шлюхи и очень были не прочь, чтобы мы пошли к ним, да только мы с Джеком никак не могли друг от дружки отцепиться, так у нас ничего и не вышло.

— Как еще они вас силком не уволокли,— сказал третий извозчик.

— Мы до того были пьяны,— продолжал извозчик в котелке,— что родную мать не узнали бы, но настолько пьяны мы все же не были.

— Уж я бы что-нибудь придумал,— сказал извозчик в желтом шарфе.— Как-нибудь уж я бы от него отцепился, диддерэй-диддерн-диддерум.

На порог выбежала женщина, огляделась по сторонам, увидела Джонни, торопливо поманила его и крикнула: — Иди скорей, Джонни, и поцелуй твоего бедного папу в последний разок, пока не завинтили гроб.

Джонни замер на месте, вздрогнул и растерянно посмотрел на женщину, стоявшую на пороге. Он попятился и ухватился за юбку миссис Коннор.

— Не пойду,— сказал он.— Я не хочу туда идти.

— Сейчас же иди, без разговоров,— сердито сказала женщина на пороге,— и простись с отцом, он теперь на небе и видит оттуда все твои проделки и слышит все твои дерзости.

— Я не пойду,— повторил он жалобно,— я боюсь и не пойду.

— Я бы не побоялся поцеловать своего отца, если б он умер,— услышал Джонни голос Коннора,— правда ведь, мама?

— Не бойся, сынок,— сказала миссис Коннор, глядя Джонни по голове,— он тебе ничего не сделает, а ты, когда вырастешь, будешь жалеть, что не поцеловал его на прощанье.

— Иди, когда зовут, негодный мальчишка,— крикнула женщина на пороге,— и не заставляй людей дожидаться.

Она подбежала к нему, но он увернулся и понесся по улице, с разбега налетел на извозчика в желтом шарфе, отдавлив ему ногу и ударил головой в живот.

— Ой, нога! — заорал тот. — Вот гаденыш, куда тебя черти несут?

— Это сынишка покойного,— сказала женщина, крепко схватив Джонни за руку,— он должен пойти поцеловать на прощанье отца, пока не завинтили гроб.

— А он вздумал удирать,— прорычал извозчик,— да еще людей с ног сбивает. Так-то он любит своего отца.

— Пустите меня, пустите,— взвизгнул Джонни, яростно отбиваясь ногами от женщины, тянувшей его к дому. — Я не пойду, я не хочу его целовать.

— Помучается же с тобою мать, когда ты подрастешь,— сказала она и, схватив Джонни в охапку, насильно втащила в дом.

Она крепко держала его за плечи в толпе, ожидавшей, пока завинтят крышку гроба. Когда он опять завизжал, мать Джонни оглянувшись, подошла и взяла его за руку.

— Отпустите, отпустите его, миссис Сондерс,— сказала она женщине. Потом наклонилась к нему, обняла его дрожащие плечи и стала часто, часто целовать, приговаривая: — Тише, тише, перестань, никто тебя не тронет.

Он обхватил ее руками, уткнулся лицом в ее юбку, и она чувствовала, как его пальцы сквозь юбку впиваются ей в бедро.

— Я не могу, я не могу,— рыдал он. — Не заставляй меня, мама, не заставляй меня его целовать, я боюсь целовать покойников.

Он почувствовал, как ее рука ласково, любовно стиснула его плечи, и его рыдания стали стихать.

— Никто тебя и не заставляет,— сказала она. — Я сама поцелую его за тебя на прощанье. А ты только дотронься до гроба кончиком пальца.

Она тихонько потянула вперед его руку, и он вздрогнул всем телом, когда кончик его пальца коснулся блестящей, холодной стенки гроба.

— Вот и молодец у меня сынок,— сказала она тихо,— а теперь я на прощанье поцелую папу за его мальчишка.

Она наклонилась и поцеловала то, что лежало в гробу, и он слышал, как она тихо прошептала: — Прощай, мой Майкл, моя любовь сойдет с тобой в могилу и вознесется с тобой к господу.

Она отошла от гроба, и Джонни почувствовал, как она дрожит. Он поднял голову и увидел, что губы у нее странно подергивались, когда она ровным голосом говорила ожидавшим факельщикам:

— Теперь можно закрывать его крышкой.

Факельщики выступили вперед, подняли крышку, прислоненную к стене позади гроба, неслышно и быстро опустили ее на

место и, достав из кармана отвертки, стали завинчивать гроб, наполняя напряженную тишину резким скрежетом винтов, вгрызавшихся в крепкие дубовые доски. Завинтив крышку, факельщики вышли на улицу и стали возле катафалка. Шестеро мужчин, двое в головах, двое в ногах и двое посредине, подняли гроб на плечи и, чудно изогнувшись, понесли покойника ногами вперед из его дома к катафалку, поджидавшему у подъезда, чтобы отвезти тело на кладбище.

Извозчик в желтом шарфе с довольным видом потирал руки.

— Теперь уж скоро и на свалку покатым,— пробормотал он оживленно,— диддерэй-диддери-диддерум.

Все трое вдруг заметили передний конец гроба, показавшийся в дверях. Они вынули руки из карманов и торопливо, вперевалку побежали к дверцам кэбов, высматривая своих седоков в толпе, валившей из дома вслед за гробом. Послышался прерывистый стук, когда дверцы кэбов открылись, и снова прерывистый и более громкий стук, когда седоки расселись по местам и дверцы захлопнулись. Шестеро мужчин, которые несли гроб, положив руки друг другу на плечи и отогнув головы, чтобы край гроба не задевал шею, медленно и мерно подошли к катафалку сзади; двое передних, наклонившись, поставили конец гроба на ролики на дне катафалка, средние двое пригнулись и выскользнули из-под гроба, задние подтолкнули свой конец, и гроб на роликах вкатился в катафалк, и один из факельщиков закрыл дверцу.

Мать посадила Джонни в карету, а потом села сама с его тремя братьями и сестрой, и все они разместились на сиденьях. Извозчики влезли на козлы, сняли с лошадей выцветшие синие, и зеленые, и красные попоны, ловко обернули ими колени, сели, собрали вожжи, подождали, когда катафалк и карета выедут на середину мостовой, а потом, подгоняя лошадей, потянулись следом и, неспешной рысцой затрусив по улице, повернули за угол и еще раз за угол, пока не очутились на той улице, откуда выехали; шагом проехали мимо дома умершего, а потом опять рысью покатали далеко, за много миль, на кладбище.

Джонни, зажатый между сестрой и братьями, потянулся к окну, но, когда он попробовал опустить стекло, сестра одернула его.

— Сиди, пожалуйста, смирно,— сказала она,— нельзя глазеть по сторонам, когда едешь хоронить отца. И не болтай ногами, ты так с меня все платье стянешь.

— Давай его сюда,— сказала мать,— здесь он и сидеть будет смирно и в окошко посмотрит.

Мать усадила его рядом с собой, и теперь он, немного вытянув шею, мог видеть проплывавший за окошком мир. Они медленно проехали мимо пустыря в конце улицы, где стояла огромная палатка баптистов. Он успел заметить длинное красное полотнище над входом с крупной надписью «Добро пожаловать». Он вспомнил тот вечер, когда, робко подкравшись, приподнял полу палатки,

чтобы хоть одним глазком увидеть теснившиеся в ней неясные фигуры — пятна тени в дымном свете керосиновых ламп. Он помнил, как отбивался и кричал: — Пустите меня, пустите меня, я маме скажу, — когда бледный маленький человечек с темной бородой и мутными глазами схватил его за руку и хотел втащить в палатку, приговаривая чудным вкрадчивым голосом: — Вот и еще возлюбленная овечка христова.

Катафалк, карета, коляски и кэбы катились по тесно застроенной улице, где дети играли и дрались перед сумрачными зданиями, в которых когда-то, как сказала его мать, жили все знатные лорды и леди Ирландии. Свернули на Кавендиш-роу, где дома и сейчас еще не утратили былого величия и стояли гордые, с массивными дверями и сверкающими окнами. Кое-где горничные, в черных или синих платьях, в белых фартуках и наколках с развевающимися лентами, чистили медные дощечки, крышки почтовых ящиков и тяжелые дверные молотки из бронзы и меди.

— Тут живут помещики, когда приезжают в город, — сказала мать.

— Смерти им все равно не миновать, так же как и нам, — сказала Элла, его сестра. — Из праха взяты и в прах возвратятся.

— Было бы несправедливо, если бы бог позволил им жить вечно, — сказала мать. — Сейчас мы едем по Онджер-стрит, — добавила она, взглянув в окошко.

— Нам еще далеко ехать? — спросил ее Джонни тревожно.

— Нет, теперь уже не очень далеко.

— Но ведь мы еще не скоро туда доедем, правда? Еще очень, очень не скоро?

— Доедем скорее, чем хотелось бы, — сказала она печально.

— На кладбище масса народу будет, — сказала Элла.

— Три коляски, двадцать шесть кэбов и шесть кабриолетов, и все полны, — сказал брат Майкл.

— По тому, сколько народу пришло на похороны, видно, как все его уважали, — сказала Элла.

— А он был такой неразговорчивый и никуда не ходил, — тихо проговорила мать.

— Да, скоро мы почувствуем, какая это утрата, — сказал Арчи.

— Нужно только держаться всем вместе, тогда будет легче, — сказала сестра.

— Только мне и будет не хватать его, — сказала мать, — мне и Джонни.

— Не бойся, мы о вас позаботимся, — сказала Элла. — Ты только не падай духом.

— Дружно, рука об руку, дружно, плечом к плечу, — добавил Том.

Карета остановилась у кладбища, они вышли, и через минуту на дороге стало тесно от людей, которых привезли коляски и кэбы. Из той коляски, что ехала сейчас же следом за каретой, вышел

высокий, худой, чернобородый священник и поспешил вперед, в ризницу, устроенную здесь заботами кладбищенских властей.

Через центральные ворота катафалк въехал на главную аллею, делившую кладбище на два огромных участка. Один из братьев Джонни достал из кармана документы и передал их толстому, торжественного вида человеку в высоком цилиндре и черных перчатках, с лицом, как застывшая маска. Человек взял бумаги, прочитал медную дощечку на гробе, чтобы удостовериться, что заключенное в нем тело принадлежит лицу, значащемуся в документах. Он кивнул головой, и гроб поставили на низкие дроги, запряженные гладкой и смирной черной лошадкой, покрытой черной, богато расшитой серебром попоной, так что видны были только ее глаза, уши и ноги. На лбу у нее был большой черный султан, как у лошади Черного принца во время битвы при Креси. Вверху, в сером небе, испещренном несмелыми голубыми просветами, темные тяжелые облака неслись, подгоняемые северным ветром, который дул ровно и неторопливо и только изредка, набравшись сил, налетал злобным порывом, наполняя кладбище яростным шелестом и холодным свистом сгибающихся ветвей. По временам хмурый луч капризно убежавшего солнца наискось прорезал небо, заливая кусочки кладбища наглым, глумливым светом, струясь и неспешно танцуя на плитах и на цветочном хламе, которым христиане усыпают погост, чтобы он выглядел как можно праздничней, веселей и беспечней; потом, озарив кладбище робким светом, солнце скрывалось, ускользало обратно за тучи, и гнетущая мгла, притаившаяся неподалеку, снова смыкалась и затягивала все вокруг. Франтоватые буки, увитые плющом дубы, темные коректные кипарисы — блюстители порядка — и пышные туи — стыдливые, блангонравные леди времен Георга, тайком танцующие тихий менуэт, — выстроились вдоль дорог и тропинок. Надгробные камни, высокие и приземистые, квадратные и круглые, старые, средних лет и новые, там и сям стройный обелиск, как высокий мальчик, глядящий через плечи товарищей, — словно сходились тесней, прислушивались, тянулись и пристально-пристально смотрели на новичка, которого сейчас зароют, гадая, кто он такой, откуда явился и не пострадают ли от предстоящей церемонии достоинство и покой погребенного под ними праха.

И вот процессия тронулась; толстый человек в цилиндре, с лицом, как застывшая маска, шел перед дрогами, держа в руке документы, указывая путь к секции F, участку B, могиле ОХ 5432/2345, где груз разлагающейся плоти будет храниться до дня воскресения мертвых; за лошадью в черной попоне, тащившей дроги под черным покровом, шли мать и Элла, а между ними Джонни; потом, следом за ними, все родственники покойного, а позади, растянувшись длинной лентой, друзья семьи молча и торжественно двигались по главной аллее к ризнице, где священник стоял в полном облачении, готовый принять тело брата своего для предания его земле. Тишину нарушал только глухой стук обер-

нутых тряпками копыт, воркование голубя, шелест листьев да холодный свист ветвей, сгибавшихся под внезапным порывом ветра.

Священник с большой бородой, в белом стихаре с черной епитрахилью, держа в руке требник, открытый на заупокойной службе, дождался, чтобы дроги подъехали ближе, потом повернулся и зашагал по правую руку от толстого человечка с лицом, как застывшая маска, читая громким и строгим голосом:

«Я есмь воскресение и жизнь, сказал господь. Верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовеки.

Нищими мы пришли в этот мир и нищими уйдем из него. Господь дал, господь и взял. Благословенно имя господне».

Дойдя до секции F, процессия свернула с главной аллеи направо, и около узкой дорожки, немного левее, они увидели у открытой могилы кучу свежевырытой земли. Низкие дроги под черным покровом остановились, четыре дюжих могильщика подняли гроб, захлестнули его веревками и поставили возле открытой могилы. Чернобородый священник осторожно пробирался между могил, стараясь не наступать на них, но поскользнулся на мокром дерне и чуть не упал в могилу, и один из могильщиков поддержал его, оттащил назад и снова поставил на ноги.

— Счастливо отделались, сэр,— сказал он, глядя, как священник торопливо счищает рукой следы глины, которые оставили пальцы могильщика на белом стихаре.

Джонни видел, как на лице священника промелькнул испуг, когда он поскользнулся, и подумал, как смешно было бы, если бы священник упал в могилу, и как бы они смеялись, вытаскивая его оттуда за белый стихарь и черную епитрахиль. Он фыркнул. Мать сердито дернула его за одну руку, сестра за другую, и он спрятался за них, весь красный от смущения и страха. По их лицам он понял, что было бы совсем не смешно, если бы священник в белом стихаре с черной епитрахилью упал в открытую могилу. Священник выпрямился, опять раскрыл требник на нужном месте и начал читать, а где-то ворковал голубь, и ветви деревьев, сгибаясь, холодным свистом отвечали на порыв налетевшего ветра.

«Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печальми: как цветок, он выходит и опадает, убегает как тень и не останавливается».

Могильщики опускали гроб все глубже и глубже в могилу, потом вытащили из-под него веревки. Один отступил в сторону, а другой стал у края могилы, без шляпы, держа наготове горсть земли, выжидая. Священник читал дальше:

«И как угодно было всемогущему богу по великой милости его призвать к себе душу ныне усопшего возлюбленного брата нашего, вот мы предаем его тело земле. Земля земле... [могильщик бросил немного земли на гроб] тлен тлену... [еще комья земли посыпались на гроб] прах праху...»

Могильщик бросил всю оставшуюся у него в горсти землю на гроб; потом, отойдя от могилы, он подошел к своему товарищу, и оба стали оглядывать толпу, стараясь угадать, как слышал потом Джонни, кто из собравшихся даст им на чай. Священник читал дальше:

«Я услышал голос свыше, говоривший мне:

«Блаженны отныне мертвые, умершие в законе господнем, так сказал господь, ибо отдохнут от трудов своих».

«Господи, помилуй нас,

Иисусе, помилуй нас».

Могильщики поспешно приблизились и стали быстро сбрасывать лопатами землю в открытую могилу, в напряженной и строгой тишине, опять нарушаемой только воркованием голубя да холодным свистом ветвей под налетевшим внезапно порывом ветра.

Джонни взглянул на мать, которая стояла неподвижно, глядя, как могильщики засыпают могилу, и увидел, что по щекам у нее струятся слезы. Он подобрался к ней ближе, ближе, правой рукой обхватил ее левую руку, стиснул, что было сил, ее пальцы и сжимал их все крепче, и крепче, и крепче.

Священник, опустив глаза и сложив руки, смотрел, как земля падает на гроб, ему, наверно, не терпелось, чтобы все поскорее кончилось, и было неприятно, что сырость от мокрой травы просачивается сквозь тонкие подошвы штиблет, так что ноги немеют и можно схватить простуду, и он вздрагивал всякий раз, как свистели ветви деревьев под налетевшим порывом ветра, и мечтал о своем кабинете с веселым огнем в камине, и о чае, горячем и крепком, в изящных чашках, и о жене, для которой жизнь делилась на две части: на дорогие ее сердцу домашние дела и дорогие ее сердцу приходские дела мужа.

Могила уже заполнялась,— могильщики работали быстро,— через несколько минут они начнут насыпать холмик, и можно будет незаметно уйти, и вспомнилось, что сегодня утром подскочили акции, значит, очистится сто тридцать пять фунтов и сколько-то шиллингов, а это, если подумать, не так уж плохо; и в четверг после вечерней службы нужно, наконец, сказать поденнице про эти две подушки из церкви, которые она снесла в заклад,— мало ли что еще ей вздумается взять, а их всего несколько дней как обтянули новой материей — вот уже до краев осталось каких-нибудь два фута; ноги застыли, и руки покалывает и ломит от сырости кладбища, где все продрогло насквозь и томится по тленью, и небытию, и тени, и тьме — лопаты уже прихлопывают холмик,— так до свиданья, возлюбленная, скорбящая сестра во Христе, и помните, в его власти дать вам утешение, ибо супруг ваш в раю и во сто крат счастливее нас, ищущих град сокрытый, имя же ему Сион, вовеки сияющий светом непреходящим, который переживет и солнце, и луну, и звезды, светящие днем и блещущие ночью, и

помните — град господень будет процветать, когда солнце, и луна, и звезды будут только прахом на улицах, зыбким прахом на улицах града господня,— так обратите же помыслы от горестей ваших к тому дню, когда Христос в облаках снова сойдет с небес от отца своего, и мертвые, кто познал блаженный союз с ним, выйдут из могил и воздадут почести господу своему, а сделав так, найдут возлюбленных своих, которых утратили и которых оставили на земле, и помните, пусть будет вера ваша тверда, тогда вы обнимете возлюбленного вашего, и он останется с вами вовеки, преображенный и в новом обличье, не отягченный ни мыслями о прошлом, ни мыслями о будущем, ибо растворятся они и забудутся в сиянии солнца, и луны, и звезд, которые будут только прахом на улицах града господня, и да пребудет милость господня с вами до тех пор; так прощайте же, возлюбленная сестра во Христе, ибо чай на столе и бисквиты готовы и пора мне идти домой.

Тяжело ступая, потому что ноги у него отекли и застыли от сырости, просочившейся сквозь тонкие подошвы штиблет, нетвердо ступая, потому что суставы одеревенели от холода, священник пробрался между могил, пересек главную аллею и скрылся в ризнице. Мать еще медлила у могилы, разбирая наспех положенные на нее цветы, и Джонни видел, как священник вышел из ризницы, размахивая на ходу кожаным чемоданчиком, и быстро зашагал по дороге, а потом скрылся из глаз за деревьями.

Элла тронула мать за плечо и сказала: — Пойдем, мама, и постарайся не падать духом.— Но мать все разбирала цветы на могиле, и Элла догнала братьев и медленно пошла с ними к главной аллее.

Джонни долго, долго ждал, когда мать отвернется от могилы; и тут он увидел, что слезы струятся у нее по лицу. Когда они медленно двинулись к выходу, он подкрался к ней ближе, ближе, стиснул ее пальцы и стал сжимать их все крепче, и крепче, и крепче, в мертвой тишине, нарушаемой только воркованием голубя да холодным свистом ветвей, сгибающихся под порывами ветра.

ВСЕ ВМЕСТЕ ДОМОЙ

Они брели по главной аллее, робя и страшась того нового, что войдет в жизнь, в поступки и мысли семьи теперь, когда что-то близкое и родное навсегда осталось позади. Смерть ворвалась в жизнь семьи и приостановила ее на время. Никогда уже ничего не будет, как раньше. Все придется строить и налаживать по-новому.

Вдруг Джонни заметил красный мундир солдата в толпе провожавших, на которых темные костюмы выглядели словно церковное облачение.

— Смотри, мама, солдат! — закричал он. — Смотри, солдат! У него на рукаве барабан и золотые пушки крест-накрест.

Джонни увидел, как вспыхнула Элла и как ухмыльнулись братья, а мать шикнула на него и сказала, что нельзя говорить так громко на кладбище.

Джонни не сводил глаз с солдата в красном мундире — у него были чудесные эполеты полумесяцем, сплошь зашитые белым позументом и усыпанные красными коронками, и белый позумент, весь в красных коронках, бежал по груди и по рукавам. А через плечо у него был шнур, завязанный чуть пониже левого плеча и спадавший двумя толстыми чудесными кистями из плетеных сине-желто-зеленых шнурков.

Это горнист, подумал Джонни, горнист, он каждое утро трубит зорю, чтобы пробудить остальных солдат от крепкого сна, так же как архангел Гавриил протрубит когда-нибудь в трубу и разбудит всех мертвых, которые тысячами лежат здесь, вокруг нас. Маленький мальчик, труби в рожок, коровы вышли в поле, овцы на лужок.

Он увидел, как его брат Том подошел к солдату и поздоровался с ним за руку, увидел, как Элла опять вспыхнула, когда солдат перевел взгляд на дорожку, по которой она шла рядом с матерью. Джонни слышал, как мать сказала сестре: — Напрасно он пришел на похороны; подумай, как отец огорчился бы, если б узнал, что ты с ним знакома, — ведь он крепко не любил солдат. Ты хоть не разговаривай с ним, пока мы здесь.

Джонни видел, как Элла упрямо трянула головой; но она смолчала.

Том вернулся к ним, и Джонни, оглянувшись, увидел, что солдат издала следует за ними.

— Поразительно, до чего высокая и сочная трава на кладбищах, — сказал Том.

— Такой травы, как на кладбище, нигде не найдешь, — сказал Арчи. — Они тут, наверно, хорошо зарабатывают на сене. У них все на счету, ничего не пропадает даром. А баланс их — поди проверь, они свои книги никому не показывают.

Когда они вышли через большие ворота к ожидавшей их карете, Том задержался немного, пропуская остальных вперед.

— Я, пожалуй, пройду пешком с горнистом Бенсоном, — сказал он, когда остальные расселись по местам, — тесновато будет, если я тоже сяду.

— Ах, нет, Том, — сказала мать жалобно, — пожалуйста, садись, хоть сегодня-то поедem все вместе домой.

Том с недовольной grimасой влез в карету и втиснулся в угол, а Джонни стал неслышно напевать про себя:

Вместе все пойдем домой,
Сплоченной компаньей,
Расставаться нам, друзья,

Нету основанья.

Мы, как плющ и гладь стены,
Неразлучны и дружны¹.

Карета еще постояла немного, пока извозчик влезал на козлы и усаживался. Джонни посмотрел на окошко кареты, увидел, что оно затянуто сверкающим синим небом, которое разрезал пополам черный пирамидальный тополь, словно темный ангел в узком костюме из черного-черного бархата стоял навтыжку, охраняя сон мертвецов.

Карета тронулась, и он стал смотреть на мать, сестру и братьев, которые сидели молча, думая о том, как смерть нарушила и перевернула размеренный порядок их жизни. Он чувствовал, словно вся печаль, заливавшая карету, шла из сердца его матери. Странная штука — смерть. Кто убил реполова? — Я, — сказал воробей, — да, стрелой своей я убил реполова. Джонни ясно вспомнил картинку в книге: реполов лежит на спине, лапки подогнуты и крепко вдавились в красную грудку, из которой торчит предательская стрела, и застывший клюв широко разинут. А в углу картинки, на дереве, — злодейского вида воробей, поджав лапку, самодовольно посматривает, точно совершил геройский подвиг. Сидит себе на ветке и глазеет, и насмехается, а под крылом держит предательский маленький лук.

— Я, кажется, еще никогда не видела такой глубокой могилы, — сказала Элла.

— В ней должны поместиться четверо, — сказал Майкл. — Когда продают место, так и говорят, что оно на четыре человека.

— Ведь это теперь собственность нашей семьи? — спросил Том.

— Безусловно, — ответил Арчи, — мы владеем местом на вечные времена.

— Мама, — сказал вдруг Джонни, — если бы птица захотела убить стрелой мальчика, ей очень туго пришлось бы натягивать лук?

— Право, не знаю, милый, — сказала она.

— Ты бы подумал, прежде чем говорить, — сказал Арчи, — ты ведь спрашиваешь, очень ли туго пришлось бы мальчику натягивать лук, если бы он захотел убить стрелой птицу?

— Нет, — ответил Джонни брату, — нет, совсем не то. Я говорю: птице очень туго пришлось бы натягивать лук, если бы она захотела убить стрелой мальчика? Мальчику-то, чтобы застрелить птицу, совсем не надо туго натягивать лук.

— Вот дурачок, — сказал Том, — ведь птица не может держать лук.

— А ты почему знаешь, — спросил Джонни, — а вдруг может?

— Ох, замолчи ты, — сказала Элла.

— Да, а почему он знает, что птица не может стрелять из лука?

¹ Перевод О. Румера.

Том сердито посмотрел на него и сказал, что знает — и все тут.

— Нет, а если, я просто так говорю, если б могла, — продолжал Джонни, — ей очень туго пришлось бы натягивать лук?

— А это смотря по тому, — засмеялся Арчи, — какая у тебя птица, самец или самочка.

— Ну и разговоры, а только что отца в могилу опустили.

— Незачем было брать его на кладбище, — проговорил Майкл, — и так уж он умничать стал не по летам.

— Ты теперь несколько дней води себя смирно, — сказала мать, — дай отцу немножко побыть спокойно у бога.

— Почему же немножко, мама? — спросил Джонни. — А учительница в воскресной школе говорит, что для бога все равно — мгновение или миллион лет.

— Можешь ты помолчать минутку? — сказала Элла сердито.

Джонни замолк. Он ненавидел их всех, кроме матери, ненавидел их большие головы, большие лица, большие руки, большие ноги. Он злился на них, но с ними не подерешься, они большие, любому из них ничего не стоит растоптать его своими большими ногами. Ему хотелось плюнуть им в лицо, надерзить им, но он крепко сжал губы и не ответил ни слова. А про себя он пел, громко пел: и все птицы в лесу плачут снова и снова, огорчила их весть о судьбе реполова, огорчила их весть о судьбе реполова. Если папе так хорошо, как они уверяют, и он успокоился в лоне Авраамовом, и если правда, что все мы там будем, чего же они сидят такие надутые, хмурые, скучные? Слова не дадут сказать маленькому, что ни скажешь — все не так. И потом они просто не понимают, ведь «Кто убил реполова» — похоронная песня, ну, конечно, конечно, похоронная.

Прильнув к окну, Джонни смотрел, как по улице взад и вперед бегут дребезжащие конки и кучера в одной руке держат вожжи, а другая лежит на рукоятке тормоза. Домой они ехали вдвое быстрее, чем на кладбище, и скоро увидели с одной стороны Тринити-колледж, а с другой — Ирландский королевский банк.

— Хотела бы я знать, удастся ли когда-нибудь гомрулерам превратить Ирландский королевский банк в Ирландский парламент? — тихо сказала мать, выглянув в окошко.

— Не дай бог, чтобы им удалось превратить такое прекрасное здание в рассадник хулиганства, — горячо сказала Элла.

— Парнелл — единственный джентльмен во всей этой шайке, — сказал Том. — Под него уже давно подкапывались. Китти О'Ши — это просто предлог, чтобы свалить его¹. А без него — что они могут? Стать шутами и клоунами в кукольном парламенте — не более того.

¹ В 1890 году Парнелл был осужден судом за «прелюбодеяние». Дело против него было поднято одним из членов Ирландской партии, капитаном О'Ши, просившим о разводе. Женитьба Парнелла на разведенной госпоже О'Ши дала повод для бешеной травли, поднятой против него его политическими врагами и католическим духовенством.

— Значит, он мало себя уважал, если связался с замужней женщиной,— сказала Элла.

— Если то, что о нем говорят, правда,— сказал Арчи,— ему как порядочному человеку следует сейчас же уйти.

— Ну, конечно,— сказал Том,— и отдать власть в руки всяких проходимцев!

— Не все они проходимцы,— сказал Арчи,— а если б и были, тем больше их заслуга, что сумели вылезти из грязи.

— Их заслуги тут нет,— сказал Том.— Это Парнелл, которого они теперь травят, вытащил их из грязи и поставил на ноги.

— Мог бы выбрать какую-нибудь незамужнюю женщину,— сказала Элла,— а замужних оставил бы в покое.

— Во всяком случае, сейчас ясно, какого люди мнения о твоём Парнелле,— сказал Майкл.

— Какие люди? Суеверные, невежественные мужики, которые трясутся от страха перед своими патерами? — огрызнулся Том.

— Почему ты знаешь, что они трясутся перед своими патерами? — спросил Майкл.

— А ты забыл, как один патер грозил, что не допустит к участию никого, кто посмеет сказать слово в защиту Парнелла? Надо читать газеты, дорогой мой.—И Том сплюнул в окно.

— А те, кто поддерживает его, они тоже трясутся перед своими патерами?

— Газеты, газеты надо читать, дорогой мой.

— Он не имеет права ставить себя в глупое положение ради замужней женщины,— не унималась Элла.

— Мы прекрасно знаем,— свирепо накинулся на нее Майкл,— что он не имеет права ставить себя в глупое положение из-за женщины, замужней или нет — все равно, так что не суйся ты, пожалуйста, с этой ерундой, а пусть лучше он ответит, — те, кто поддерживает Парнелла, тоже трясутся перед своими патерами?

— А ты не знаешь, что патеры проклинают Парнелла с амвонов? — спросил Том.

— Назови мне их, назови! — сказал Майкл, повышая голос.— Что за амвоны, какие амвоны, чьи амвоны?

— Газеты надо читать,— повторил Том,— читал бы газеты, так понимал бы кое-что.

— Ты, верно, думаешь, кроме тебя, никто газет не читает?

— Газеты надо читать, газеты надо читать,— тянул Том.

— О господи,— сказала мать умоляюще,— довольно вам ссориться, ведь мы только что отца схоронили.

Они замолчали и сидели хмурые всю дорогу, покуда карета не остановилась перед их домом, и они, надутые, скучные, угрюмые, вошли в подъезд. Том дал извозчику шиллинг, и тот сказал: — Очень благодарен, сэр, от души вам сочувствую,— и уехал.

Джонни остался было на улице, но скоро вышла сестра, схватила его за руку и повела в дом, приговаривая: — Идем, идем; нехорошо, что все видят, как ты околачиваешься на улице в день

похорон отца, и вообще тебе придется недельки две вести себя прилично.— Они вошли в комнату, где мать с отцом так долго спали вместе, и где отец больше года лежал больной, и где он в конце концов умер. Штору на единственном окне еще не поднимали, в комнате было темно и торжественно. Мать потянула за шнурок, штора со стуком полетела вверх, и свет ворвался в комнату, резко озарив унылую тоску, накопленную здесь болезнью и смертью и все еще цеплявшуюся за вещи, которые болезнь и смерть оставили после себя.

— Надо будет здесь как следует проветривать денька два,— сказала Элла, усаживаясь с братьями у огня, который соседи поддерживали в камине, пока они ездили на кладбище.

Джонни прошел к окну и стал смотреть на красное солнце в небе над домом напротив.

— На кладбище было так сыро и холодно, я совсем продрогла,— сказала Элла, приподнимая юбку, чтобы согреть ноги.

— Посмотри на солнце, мама,— воскликнул Джонни,— посмотри на солнце, оно совсем красное. Почему оно такое красное?

— Оно, наверно, озябло,— сказала мать, поглядев в окно,— и бог закутал его алым плащом.

— А бог любит все красное, мама?

— Да, да, конечно, любит; столько цветов и всяких других вещей на земле красного цвета.

— Бог любит красный цвет больше всего, мама?

— Вот уж не могу тебе сказать, Джонни; я думаю, он все цвета любит.

— Да, и желтый тоже, ведь лютики желтые, и первоцветы, и баранчики, и нарциссы, и... и одуванчики; желтый ему, наверно, тоже очень нравится; правда, мама?

— Да, Джонни, и желтый ему, наверно, нравится.

— А вот голубой, по-моему, не так, мама, голубые только фиалки и колокольчики,— ах, да, а небо-то я забыл, ведь небо все голубое, когда погода хорошая. Нет, он, наверно, больше всего любит голубой цвет; правда, мама?

— Может, выпьем чайку,— сказал Арчи,— и оставим в покое любимые краски господ бога?

— Накрывай на стол, Элла,— сказала мать,— попьем чаю, и каждому есть по яйцу, и еще осталось немного холодного мяса.

— И белый ему тоже как будто по душе,— продолжал Джонни,— ведь ромашки белые, и боярышник, и облака. Это очень странно, что он любит все белое. Почему он любит белое — ведь это почти что и не цвет; правда, мама? И черный он любит — вон какая ночь темная-темная, только он всегда немножко украшает ее золотой луной и серебряными звездами.

— Ох, перестань, Джонни, перестань сейчас же,— вмешался Майкл, которому, как и всем им, стало не по себе от этого непрерывного повторения слова бог: полчаса в обществе бога вполне достаточно на один день.

— Не твое дело,— сердито огрызнулся Джонни,— ты всегда меня останавливаешь, ничего сказать нельзя, а я не тебя и спрашивал.

— Велено перестать — значит, перестань,— сказал Майкл раздраженно,— и не смей дерзить.

— А если не перестану? — сказал Джонни вызывающе.

— Перестань! — заорал Майкл.— От земли не видать, а туда же, рассуждает.

Мать подошла к Джонни и, наклонившись, шепнула ему: — Помолчи, Джонни, мы обо всем поговорим как-нибудь, когда будем с тобой одни.

Джонни отвернулся от нее, ему очень хотелось заплакать, но он крепко стиснул зубы и опять стал смотреть в окно на красное солнышко в небе над домом напротив, в лучах которого крыши блестя, как начищенная бронза. Большие головы, большие руки, большие ноги, больно от их голосов, и щелчков, и насмешек. Будь он тоже большой или они тоже маленькие, он отплатил бы им щелчком за щелчок и насмешкой за насмешку. Он стал барабанить пальцами по стеклу, сначала тихо, а потом все громче, бормоча себе под нос: — Человечек вверх ползет через темный дымоход, шапка сдвинута назад, он ружье с собой несет, щеки жирные блестят, и от сажи черен зад.

— Перестань ты барабанить, ради Христа! — крикнула Элла.— И так мы сегодня намучились, а тут еще от этого стука в голове гудит.

— Да не придирайтесь вы все время к ребенку,— неожиданно перебила ее мать, потеряв терпение.— Стоит ему пошевелиться, как вы все на него нападаете. Что ж ему целый день сидеть сложа руки и проглотив язык?

— Напрасно ты за него заступаешься, когда знаешь, что он неправ,— возразила Элла.

— Уж и пальцем нельзя тронуть,— проворчал Майкл.

Они уселись за стол. Элла нарезала хлеб и намазала его маслом, мать разлила чай. Она дала каждому по яйцу, а самое маленькое взяла себе. Одну чашку чаю и несколько ломтиков хлеба с маслом она поставила на столик у окна и сказала Джонни: — Садись и поешь спокойно, здесь ты никому не будешь мешать.

— Мама,— шепнул он,— а мне не будет яйца?

— Я дам тебе половинку своего,— сказала она.

И, надколов и облупив яйцо сверху, она вынула ложкой почти все содержимое, намазала на ломтики хлеба и дала их ему. Это был настоящий праздник, он уже почти год как не пробовал яиц и знал, что теперь такого счастья не дождешься раньше пасхи. Уплетая яйцо и запивая его чаем, он смотрел, как большие руки отправляют в большие рты яйца, мясо и чай.

— Одно яйцо — разве это еда для мужчины? — пробормотал Арчи.— Их бы десяток съесть.

Поев, они собрались у каминя; мужчины курили, Элла читала

литературное приложение к газете. Мать принесла таз с горячей водой и стала мыть посуду. Джонни, взобравшись на стул, помогал ей — передавал грязные чашки, а потом, когда они были вымыты и вытерты, брал их у нее из рук и ставил на стол. Он помог ей отнести их в другую комнату, где она аккуратно расставила их на полках буфета. Джонни немного успокоился. Жизнь входила в обычную колею. Оказывается, не так уж много изменилось со смертью отца.

Когда они убрали все по местам и вернулись в соседнюю комнату, Элла стояла в пальто и надевала шляпу перед крошечным зеркалом, висевшим на стене.

— Ты разве уходишь? — спросила мать.

— Да, выйду на часок, — ответила Элла, и Джонни видел, как она покраснела, — пойду пройдуся, надо подышать воздухом и по-двигаться.

— Он мне всех парней милее, выйти б за него скорее, это юный барабанщик в красной куртке с портупеей, — насмешливо пропел Майкл из своего угла.

— Лучше бы ты сегодня побыла дома, — заметила мать.

— Я ухожу, — сказала Элла и, повернувшись к Майклу, отрезала: — А ты, пожалуйста, обо мне не заботься, за собой бы лучше следил.

Она вышла из комнаты, и слышно было, как она громко хлопнула входной дверью. Несколько минут длилось молчание; потом мать сняла со стола скатерть, стряхнула крошки в камин, сложила скатерть и унесла в другую комнату.

Майкл вынул изо рта трубку и, ухмыляясь добродушно и нагло, сказал: — Нужно Элле держать ухо востро, не то как бы ей ветер юбку не задрал. — Потом, постукивая трубкой о каминную решетку, он запел вполголоса:

Барабанщик круглолицый
Так сказал своей девице:
«Эй, пойдем!
Без тебя мне скучно что-то,
Пониграть с тобой охота;
Понигравши, на прощанье,
Лихо я отбарабаню
На тебе пом-пом»¹.

Том сказал, усмехнувшись: — Ну, знаешь ли, Майкл, хватит. Рота, стой! Не пройтись ли нам лучше к Нэйглу да выпить тихомирно по стаканчику?

— Сказано — сделано, — ответил Майкл. — Сколько у тебя с собой?

— На сегодня хватит, — сказал Том.

¹ Перевод О. Румера.

И они, все трое, поднялись со своих стульев у камина и стали натягивать пальто.

— Интересно,— сказал Майкл,— как бы это узнать, какой цвет господь бог любит больше всего — синий, зеленый, желтый или красный?

— Будет тебе, Майкл,— сказал Том.— Не трогай мальчишку.

— По-моему, красный,— продолжал Майкл,— красный, как зад у павиана.

— Постыдился бы говорить такое при мальчишке,— сказал Том, хихикая.

— Подумаешь! — сказал Майкл.— Все равно когда-нибудь узнает.

Они нахлобучили шляпы, крикнули матери, что ненадолго уходят, и Том, проходя мимо Джонни, смущенно положил руку ему на голову и сказал: — Не обижайся на Майкла, Джонни, ты у нас молодчина.

Джонни видел, как они быстро прошли мимо окна, переговариваясь задорно и громко,— отправились тихо-мирно выпить портера у Нэйгла на Эрл-стрит, против памятника Нельсону.

Джонни видел, как по улице бежит маленький фонарщик с трясущейся рыжей бороденкой, и в руках у него шест, а наверху шеста — огонек, точно бледная звездочка; он бежит от фонаря к фонарю, ткнет шестом — и желтый огонек загорится во мраке, и вот уже целая цепь из огоньков, точно нитка потускневшего жемчуга, которую мрак надел на шею ночи. Он высунулся из окна, стараясь заглянуть как можно дальше и сосчитать огоньки, и тут в комнату вернулась мать. Она прошла к камину, села и стала пристально смотреть в огонь.

— Я знаешь, что думаю, мама,— сказал Джонни,— самый любимый цвет у бога, наверно, зеленый, ведь трава зеленая, и деревья, и кусты; и учительница нам говорила, что зеленый цвет означает жизнь, а бог любит жизнь.

Он подождал, но мать ничего не ответила. Он обернулся и увидел, что она пристально смотрит в огонь. Он подкрался к ней, сел рядом и взял ее за руку. Так они сидели и смотрели, смотрели, смотрели на огонь, язычками вырывавшийся из горящего угля. Вдруг он поднял голову и увидел, что пламя камина освещает слезы, струящиеся у нее по щекам.

R. I. P.¹

Сорок шесть лет от роду было отцу, когда он умер. И вот он умер, и его похоронили, зарыли глубоко в тихом углу кладбища, подле кипариса, подле дерева, что растворяется в ночной темноте и воскресает по утрам, когда взойдет солнце. И в солнечные дни

¹ Requiescat in Pace — покойся в мире (лат.).

тень кипариса милосердно покрывала землю над лицом покойника, скрывала от сомкнутых глаз новые дела тех, кого покойник растил по заветам протестантского бога и дал им самое лучшее образование, какое было по средствам этому бесстрашному и честному человеку.

— Мои дети,— говорил он бывало, с трудом выпрямляясь в кресле, но гордо подняв голову,— получают самое лучшее образование, какое только мне по средствам, притом если эти средства расходовать с умом. Это не лучшее, что может быть, но лучшее, что я могу дать им. По крайней мере они смогут тогда поступить на работу и будут иметь заработок, достаточный для таких, как мы. А уж дальше от них самих зависит, как улучшить свое положение — для этого им послужат и знания, которые они получают от учителей и, главное, из книг, а позднее и опыт, который они почерпнут из общения с теми, кто будет их окружать на работе. Они будут вооружены для жизненной битвы. И щит и копье у них будет, когда придет час ринуться в бой.

И вот Майкла и Тома отдали без всяких разговоров в школу № 1, под начало профессора Дж. Л. Райана, директора пяти школ, известных под названием Дублинских Центральных Образцовых Школ, где родители вносили небольшую плату за обучение; где работали отборные учителя; где учебники были дороже и лучше, чем те, какими пользовались в обыкновенных городских школах. И все они — школы, учителя, учебники и ученики, не жалея сил, пеклись о том, как бы ничего не узнать о своей стране и о своем народе, кроме того, что семнадцатое марта называется Днем святого Патрика и что, с нравственной точки зрения, в общем позволительно петь «Та арфа, что в чертогах Тара когда-то музыкой звучала», если только петь эту песню так, будто ты ее и не поешь вовсе и даже удивлен немножко, что ее поют, особенно же удивительно, что поешь ее ты сам, поскольку арфа-то висела на стене и музыка ее смолкла, душа ее отлетела и пора миновала, и от славы не осталось и следа; так что и поминать-то о ней не совсем удобно даже в поздний час, когда солнце давно зашло и даже у молодых и крепких глаза слипаются; и уж если протестантам вообще ее петь, так только вполголоса и в том смысле, как предписывают церковные догматы, каноны и катехизис, а также законы и постановления лорда-наместника и офицеров и унтер-офицеров Королевской ирландской жандармерии.

Арчи отдали в школу № 2, под начало директора-пресвитерианина мистера Бойда и его помощника мистера Галлехера, католика с рыжей бородой, который, выпив лишнего, любил уверять, что пресвитериане вполне порядочные люди, но ханжи, каких свет не видал. Со своей стороны, мистер Бойд, когда бывал трезв, а он в рот не брал спиртного, чуть не всякий раз, что ему нужен был текст из библии, с которого начинать свои наставления по закону божию, выбирал такой текст: Ефραίим — это надо понимать, мистер Галлехер — привержен кумирам, оставьте его.

И по прошествии многих дней двум старшим пришлось столкнуться с фактами жизни, построенной по церковным канонам, догматам и верованиям и по традициям, которым следовал его превосходительство лорд-наместник — ему, бедняге, приходилось жить на двадцать пять тысяч фунтов в год — и по правилам, какие устанавливали офицеры и унтер-офицеры Королевской ирландской жандармерии. Майкл в четырнадцать лет уже прекрасно рисовал. Покойнику так понравились два его рисунка — собака, лежащая возле шлюза, и девушка, у которой на руке сидит птица, называемая пустельга, — что он отдал их вставить в рамки и повесил на стену; и все, кто приходил, любовались ими, пока в один прекрасный день Майкл не унес их из дому, чтобы показать кому-то, да так и не принес обратно, а много позже стало известно, что он продал их за два шиллинга. Будь у меня деньги, сказал однажды покойник, когда показывал эти рисунки приятелю, я бы сделал из него архитектора; но очень уж высока плата за ученье, так пусть выполняет свой долг на том поприще, на какое богу угодно будет призвать его. И Майкл занял второе место на экзамене и стал телеграфистом, а Том занял первое место на экзамене и стал сортировщиком на главном почтамте. Оба они начали работать еще при жизни отца — почтительные, скромные, приличные молодые люди в аккуратных костюмах из магазина готового платья и жестких маленьких котелках — отличительный признак великой армии клерков. А Майкл, любивший в то время пофрантить, вдобавок еще завивался, носил булавку в галстук и тросточку подмышкой, и все это он, отдавая свою долю на хозяйство, мог позволить себе из своего фунта в неделю, ибо поистине был беден, но владел всеми богатствами земли.

Теперь в доме Кэссиди стали появляться новые люди. Они на минуту задерживались удивленным взглядом на королеве Виктории, отвечавшей им таким же взглядом своих блекло-голубых глаз, и на лорде Нельсоне, как всегда готовом к Трафальгарскому бою; с минуту разглядывали одинокую фарфоровую русалочку, плавающую в своем маленьком море, заключенном в стеклянной банке; окидывали глазами книги покойника, печально выстроившиеся на полках, казавшиеся не у места в комнате, где мысли без промедления превращались в слова о таких мелочах, что за один день могли родиться, прожить и умереть. А поглядев, отворачивались и садились к огню выпить, покурить, поболтать, либо спеть песню в воскресный вечер, когда колокола, надрываясь, призывали народ идти в храм и молиться, пасть ниц и преклонить колени перед создателем, ибо все мы люди на его пастбищах и овцы в руке его; призывали прийти и покаяться в несчетных грехах и беззакониях, дабы получить прощение оных по неизреченной милости господней и заслужить одобрение церковных догматов и канонов, лорда-наместника, а также офицеров и унтер-офицеров Королевской ирландской жандармерии и Дублинской столичной полиции.

Но вопли и призывы колоколов входили в одно ухо и выходили

в другое, как звуки непрошенные и остающиеся без ответа. Аналогом был теперь кухонный стол, на котором среди подсвечников красовался большой бидон с портером; алтарными служками были Майкл и Том; барабанщик в красном мундире с сине-желто-зелеными кистями, спадавшими на грудь, ловко подливал портера, чуть у кого-нибудь оказывался пустой стакан. А Джонни, сидя в углу, пил имбирное пиво и не замечал, как мать, сидя в другом углу с вязаньем, молча поднимает голову и улыбается бледной улыбкой всякий раз, что барабанщик в красном мундире притворно вскрикивает, когда Элла ущипнет его за ляжку, либо Элла невольно взвизгивает, когда он ущипнет ее, и ясное, спокойное лицо матери тонет в клубах дыма, который мужчины пускают из своих трубок. Она сидела молча, вязала и думала, должно быть, о человеке, что молча лежит в тихом углу кладбища под холодными звездами, и последняя надежда ее жизни — букетик увядающих цветов на одинокой могиле; а в это время Том грубым, резким голосом пел лихую военную песню:

За рядом ряд, шел на битву отряд
В недавние времена.
Шли полки, и сверкали штыки,
Нам победа была суждена.
Разгорался бой, и редел наш строй
Среди кровавых равнин.

На перекличке последней отозвался лишь я один!¹

Тут все остальные подхватывали, барабанщик громче всех, и еще раз пели красивые, печальные слова, и сердца их горели желанием идти в бой, драться и умереть под британским флагом за любое дело, лишь бы кто-то им сказал, что за него стоит драться. Элла нежно поглядывала на барабанщика и украдкой любовалась своей белой рукой: на пальце у нее красовалось тонкое колечко с кружком из мелкого жемчуга, а в кружке — крошечная красная точка, которая называлась рубин; куплено оно было в ссудной лавке на деньги, полученные как приз в стрелковом состязании — ведь Эллин барабанщик был лучшим стрелком в своем полку и носил на рукаве золотые пушки крест-накрест, а повыше локтя — маленький сине-белый барабан с желтыми донышками, так что Элла чувствовала: для ее барабанщика ей ничего не жалко и, пряча руку на коленях, вертела колечко, пока Том громким голосом пел лихую военную песню, а мать, молча сидя в углу, вязала и думала, должно быть, о человеке, которого господь отнял у нее и уложил отдыхать в тихом углу кладбища под холодными звездами; и мысли ее сплетались со звоном колоколов, призывавших всех людей прийти и поклониться, пасть ниц и преклонить колени перед создателем своим.

Что бы там ни было, а ее Майкл теперь в раю — поконится в

¹ Перевод В. Рогова.

мире, верном и нерушимом; может быть, смотрит на нее сверху и велит ей мужаться. И доля ее не такая уж горькая, могло быть хуже. Правда, Элла, когда выйдет замуж, лишится места, но пока два сына работают, ее маленький Джонни будет сыт, и не следует об этом забывать. Помни этот день, пятый день ноября: заговор, порох, измена¹; но господь вмешался и спас страну от страшного бедствия, и господь опять вмешается, и спасет ее тоже, и не даст ей погибнуть.

Она подняла голову, прислушалась — этот болтун-барабанщик что-то сказал. Глаза у него помутнели, шутка ли — уже второй галлон пива они вылили себе в глотки.

— Лучше нет жизни, как в армии, — сказал он. — Если человек хочет узнать настоящую жизнь, пусть идет на военную службу.

— Здешняя жизнь такая, что хуже некуда, — сказал Майкл, — мы с тобою, Том, ставим на ней крест. Я теперь в королевских саперах, а ты — в королевских фузилерах².

— Я все вспоминаю, — подхватил Том, разгоряченный и веселый, — какие рожи были у наших начальников, когда мы послали их подальше вместе с их драгоценной работой.

— Я им говорю, — сказал Майкл, — пишите, мол, нам, когда мы будем в чужой стране, и все наши, кто пришел проститься, это слышали.

— Здесь ли, на родине, — сказал барабанщик, подняв стакан с пивом, — или далеко, в дебрях Индии, Канады, Афганистана, Бирмы, — не все ли равно, лишь бы хранить верность королеве и флагу. Выпьем, друзья, выпьем за солдат королевы!

И все трое, подняв стаканы, крикнули «За солдат королевы!» и выпили до дна.

Пальцы матери, державшие спицы, застыли в воздухе. Так вот почему они последние дни ходили такие взволнованные... и такие молчаливые. Они покидают ее, они для нее потеряны, они записались в армию. Нарядные мундиры, которыми прикармливает своих солдат королева с блекло-голубыми глазами, отняли двух сыновей у матери. И она сидела пораженная, глядя, как они пьют за солдат королевы, и пальцы ее неподвижно застыли на спицах.

Том заметил ее взгляд и, подойдя, ласково положил руку ей на плечо.

— Теперь у тебя, мама, два сына-солдата, — сказал он. — Но ты не горюй, мы свою старушку не забудем ни здесь, ни в чужой стране. Ты еще будешь гордиться, когда твой сын вернется домой в красном мундире и в кивере, да еще, смотришь, с медалями на груди.

Они покидают ее, они для нее потеряны, они записались в армию. Она крепко сжала тонкие губы, кивнула и улыбнулась

¹ В знак протеста против преследований католики в Англии хотели взорвать Палату лордов, но 5 ноября 1665 года этот так называемый «Пороховой заговор» был раскрыт.

² Фузилеры — стрелки.

всей компании, потом склонилась над вязаньем, и спицы опять замелькали в быстрых пальцах.

Похлопав мать по плечу, Том, чуть пошатываясь, вернулся на свое место рядом с барабанщиком, взял свой стакан и возбужденно огляделся по сторонам.

— Дублинские королевские фузилеры, — сказал он чуть осипшим голосом. — Старые вояки, направо кругом марш на чужбину, где чернокожие шалют, где копья ранят, пули свищут, где льется кровь, звучит ура, где англичане побеждают. А на место павших станем мы. — И он хрипло затянул песню, а остальные хрипло подхватили:

Однажды стояла влюбленная пара
Весеннею ночью над Клайдом-рекой,
Она жениха отпустить не хотела:
Уходил солдат королевы в бой.

— Громче, — сказал Майкл. — А ну-ка, все вместе припев. — И все грянули хором, и Джонни не отставал от других:

На бесплодной равнине Египта, что солнцем дотла сожжена,
Он думал о том, что ж милой расскажет, когда отгремит война.
Носил он с собой ее локон льняной,
И молился за милую Дженни солдат,
Но нет им отрады: из Шотландской бригады
Он вовек не вернется назад! ¹

— Майкл, мой Майкл, — шептала про себя мать, проворно работая спицами, — хорошо, что ты не можешь слышать, как дети твои поют, словно им и горя нет. Но горе будет, только нет у меня твоего ясного ума, чтобы сказать им, откуда оно придет. Ты-то не будешь об этом знать — ты укрылся там, где беззаконные перестают наводить страх и где отдыхают истощившиеся в силах; но начало твоего покоя и мира оказалось концом моего.

А Том продолжал хрипло петь свою песню про любовь и войну, и остальные хрипло ему подтягивали.

ПРИВЕТ ТЕБЕ, СИЯНЬЕ УТРА

Всю ночь не сомкнула Элла глаз, дожидаясь того часа, когда сиянье утра мрак разгонит и брака узы освятит. Мысли об упоительных восторгах, которые сулила следующая ночь, не давали ей вздремнуть хотя бы ненадолго; ведь недаром ее суженый бел и румян, другого такого не сыщешь, черны его кудри как смоль, а губы сладки как сахар; да и вообще он самый настоящий душка. И она мечтала о том, чтобы ночь прошла скорее и наступил день, а потом, чтобы и день миновал и настала наконец та ночь.

¹ Перевод В. Рогоза.

Слышно было, как колокола церкви св. Георгия отбивают время, час за часом, час за часом — господи Иисусе, только недавно пробило полночь, а сейчас уже бьет шесть; шесть часов утра, и все спокойно, так что скоро, пожалуй, пора вставать, чтобы все успеть не торопясь и вовремя быть готовой.

Не дай бог заставить священника дожидаться. Ведь он не только священник, но и ее начальство по школе, и об этом нужно помнить, если она не хочет, чтобы ее турнули с должности учительницы, как только окончится брачный обряд; а ей хотя бы еще несколько недель продержаться на работе, и то уже можно будет выплатить часть денег за прокат обстановки, хотя вообще-то она бы рада-радехонька от всех избавиться и посвятить себя своему мужу и своему домашнему очагу.

Еще раз все перебрать в уме. Да, все у нее готово: золотой полусовершен за свершение обряда — хотя на что богатому священнику эта блестящая монетка, которая бы так пригодилась ей самой, непонятно, но о таких вещах не рассуждают; вот он здесь, и вот его уже нет, точно тень отца Гамлета; так же и золотое обручальное кольцо, которое она сама купила и передаст жениху, когда они встретятся у входа в церковь; новое платье с буфами на рукавах бережно разложено на спинке кресла; новая белая гофрированная нижняя юбка бережно разложена поверх платья; белоснежные панталоны с пышными оборками бережно разложены поверх нижней юбки; аккуратно сложенная блузка лежит на сиденье кресла, а на блузке примостился розовый корсет; а под креслом стоят новые высокие, доходящие до середины икр ботинки, а на крючке, вбитом в стену, висит на своих ленточках ярко-голубой турниор — все это много недель хранилось в шкафу и пропитывалось ароматом лаванды на соблазн и радость главному барабанщику первого батальона Королевского Ливерпульского полка, он же лучший стрелок в полку и полковой парикмахер.

До чего же он будет хорош, барабанщик, в своем красном мундире с белым позументом и эполетами полумесяцем, в остроконечной каске на милых черных кудрях, с перевязью горниста из сине-желто-зеленого шнура, двумя толстыми кистями спадающего с левого плеча; а на боку короткая шпага с крестообразным эфесом, и весь он точно Рыцарь пламенеющего пестика или павлин в человеческом облике — черные глаза бросают матовый отблеск на квадратное лицо с густыми темными усами, черные-пречерные волосы аккуратно расчесаны на прямой ряд с лихим завитком на левом виске. Широкие плечи, коренастый, плотный, ноги как две колонны, а ходит надменно, с перевалкой, точно в самом деле павлин в человеческом облике.

С завтрашнего дня — хоть пока она еще учительствует в школе, не стоит очень подчеркивать это — ей больше не нужно петь в приходской церкви св. Марии. Только для своего барабанщика будет она петь теперь; ну, может быть, еще для Джонни, когда они уже устроят свое гнездышко и он станет приходить к ним в гости. И если

она не захочет, пастор не имеет права удерживать ее в приходской школе св. Марии на Лоуэр-Доминик-стрит двадцать пять — самый большой дом в Дублине, в пять этажей и пять окон по фасаду, — где сотни полторы ребятишек от трех и до семи лет собираются каждый день в огромном зале в глубине большого двора, в зале, огромном, как ад, и высоком, как небо; зимою там топится большая железная печка, которая раскаляется докрасна и так пышет жаром, что приходится, чтобы не задохнуться, ставить на дымоход оцинкованную лохань с водой, и тут только знай следи, как бы дети не обожглись, потому что, когда закипает вода и на ней начинают плясать пузырьки, их не отгонишь от печки; а окна в зале устроены высоко, совсем под потолком, чтобы малышам не вздумалось вылезать через них на двор, когда уж очень доймут уроки; чтобы эти окна открыть, нужно потянуть за длинную веревку, но на деле, когда уж они закрыты, их никакими силами не откроешь; так они и оставались запертыми круглый год в ту пору, когда Джонни ходил сюда учить азбуку и читать по слогам ма-ма мы-ла То-ни, Мэ-ри е-ла ка-шу, ут-ка пи-ла во-ду, а потом заучивал стишки про то, как зима к нам прикатила, снегом все запорошила, воробей, бедняжка, зябнет, плачет; он под крышей угнездится, чтоб от стужи там укрыться, и головку под крыло упрятет; очень нужно за сорок фунтов в год надрывать себе легкие, распевая вслед за белым стихарем: О возрадуйтесь в госпoде бoге, ликуя, славьте Спасителя нашего, по шесть пенсов за песнопение, ибо он есть творец, даровавший нам жизнь, а мы все дети его и овцы его стада, и при этом всегда так и слышишь бе-е бе-е белых овец и даже бе-е бе-е черной овцы, заблудшей в пустыне, и видишь, как она скачет, скачет, спотыкаясь, по горам и по долам, вдали от врат златых, широко распахнутых перед сподобившимися первого из двух святых таинств, то есть крещения, которым даже малые дети приобщаются к лону церкви, как сказано в главе двадцать седьмой, и становятся плотью от плоти Христовой и осеняются крестным знамением в знак того, что никогда не устыдятся признать, что Христос был распят, но пребудут воинами его и слугами до конца дней своих; и тут самые ярые протестанты из числа присутствующих начинают покашливать: они, мол, отлично понимают, что вся эта история с крестным знамением — просто по сути дела отголосок тех кощунственных рассказов, в которые столь усердно и ревностно верят жалкие католики, погрязшие в прискорбных и пагубных суевериях по воле пап и епископов, выдающих эти суеверия за истинное слово святых апостолов, что смотрят на нас с церковных витражей и слушают, как мы во все горло распеваем о чудесах господних, призывая весь мир и его обитателей внимать с раскрытой душой, а у меня в мыслях красный мундир, нарядно расшитый белым позументом, усыпанный красными коронками, и синие-зелено-желтые кисти, спадающие с плеча, и горн на боку, точь-в-точь как у того солдата, что пал со славою в бою, подставив пулям грудь свою, и кровью землю обагрил, все прегрешенья ис-

купил, таков он будет, когда мы пойдем с ним к алтарю, чтобы почтительно, скромно и разумно скрепить наш союз и чтобы отныне нам быть вместе до конца дней наших, в горе и в радости, в достатке и в нужде, во здравии и в болезни; и наконец-то я соединюсь с ним на любовь и уважение, а мама говорит, на погибель и унижение, потому что он человек грубый и неотесанный, но любовь достойной женщины облагородит его и сделает мягче и деликатнее, и пусть даже под золотым шитьем, позументами и пышными кистями прячется невежество — ничего, через день-два после свадьбы уроки пойдут у нас каждую ночь, и за год такого ученья он успеет выучить не только все буквы алфавита и правила сложения и вычитания; потрудней будет отучить его от выпивки, но и этого я добьюсь ласковым словом, нежной беседой перед тем, как нам наконец уснуть, когда уходит ночи тень и ей на смену брезжит день; вот тогда мама поймет, как она была неправа, говоря, что он только на то и годен, чтобы играть зорю да выбивать барабанную дробь, а ведь сама восхищалась на концерте, когда Николас исполнял «Альпийское эхо», а другой солдат, спрятанный от глаз публики на галерее, вторил ему под сурдинку на корнет-а-пистоне, и с таким чувством они играли, что всякий, у кого есть хоть что-нибудь похожее на сердце, понял бы, что любовь не нуждается в школьном аттестате с отметками за французский язык, музыку и рисование. Кто любит, тот от многого может отказаться и при этом не чувствовать себя обделенным, а это все мелочи, сегодня они есть, а завтра их нет, билось бы только его сердце такой же любовью ко мне, как у меня к нему, и я всюду за ним пойду и всегда буду говорить одно: где твой путь, там и мой путь, где твой дом, там и мой дом, где будет твоя могила, там будет и моя, и не желаю я слушать всякие там старушечьи карканья по поводу моей опрометчивости, это вроде предсказаний той цыганки — ты не верь ему красotka, хоть и сладко он поет, обещанья разлетятся, клятвы ветер унесет, не дари ему сердечка, не рискуй своей судьбой, — куда какая счастливая судьба бормотать молитвы, распевать псалмы да гимны и вдалбливать куче малолетних лоботрясов истину, всю истину и только истину насчет того, что верхняя часть географической карты зовется север, нижняя юг, правая восток, а левая запад, и все равно без помощи палки не вдолбишь, несколько хороших ласковых ударов помогут увести их с широкой дороги, ведущей к гибели, на узкую тропу, которая наверняка приведет их к жизненному успеху, когда они вырастут в красивых женщин и доблестных мужчин, чьи сердца будут радостно биться в такт волнующим звукам музыки, а глаза говорить о любви и читать любовь в других глазах, ибо сказано детям Израиля, пусть совершают то, что и я сейчас готовлюсь совершить, потому что у него сильная рука и он охранит и защитит меня от всех бед и напастей, не то что какая-нибудь мартышка в белом воротничке, которая только и может, что торчать с девяти до четырех на конторском табурете, подложив на сиденье подушечку, а в субботу являться домой с такой

получкой в кармане, что едва-едва хватит заплатить за квартиру, и весь год мечтает об одном-единственном дне, когда можно позволить себе наесться вволю — под звон рождественских колоколов и пенье ангелов, славящих радостный час рожденья спасителя нашего Христа, дарующего мир всем странам на земле, всем, кроме этой несчастной страны, которая погрязла в предрассудках и, сама не зная, что нужно для ее блага и спокойствия, бешено рвется к гомрулю, а Парнелл скачет впереди и еще науськивает остальных, хоть от него можно бы ожидать больше благоразумия: ведь он протестант и единственный джентльмен в этой босяцкой ораве, которую он собрал, стремясь оскорбить и унижить достоинство Палаты общин и уничтожить все ее вековые старания приобщить к цивилизации ирландских дикарей и показать им, как хороша и пристойна может быть жизнь, когда люди живут в духе заповедей Христа и протестантской веры и послушания закону, а ведь наверняка можно сказать, что, если бы сторонники гомруля одержали верх, не уцелела бы ни одна протестантская церковь и нам бы некуда было податься от кощунственных выдумок и опасных хитросплетений католической церковной службы, которая извращает самые слова Спасителя, придавая им смысл, которого в них не было и нет, и потом всякий разумный человек должен понимать, что для Ирландии лучше оставаться подчиненной страной, потому что, если только ей удастся выйти из подчинения, самым выдающимся ее деятелям ни за что не удержаться на тех местах, которые они благополучно занимают под сенью британского флага, а ведь это единственный флаг, которому вот уже тысячу лет нипочем и бой и непогода и который хранит и защищает всех, кто живет под его сенью тихо и благородно: недаром Викторину зовут Великой Белой Матерью все подвластные ей народы, одни только фении наградили ее жестоким прозвищем «Королевы-Голодухи», но мы никогда не дадим фениям и сторонникам Парнелла особой воли; пусть изредка покричат на уличных митингах да по ночам, у себя дома, заперев наглухо окна и двери, распевают «Боже, спаси Ирландию» — ведь как-никак мы живем в свободной стране, где никому не возбраняется иметь собственное мнение, а если людям затыкать рот, получается только хуже, взять хотя бы историю с убийствами в Феникс-парке¹, когда проклятые англичане всячески ущемляли ирландцев, хотя было отлично известно, что не за англичанином-протестантом Кавендишем охотились «Непобедимые», а за ирландцем-католиком Борком, который славился тем, что не давал угнетенному народу поднять голову, прислушивался ко всему, что нашептывали ему в уши судьи и генералы из Дублинского замка, те самые, по чьему приказанию конные полисмены стали патрулировать главную аллею Феникс-парка — после того

¹ 6 мая 1882 года в Феникс-парке в Дублине членами террористической организации «Непобедимые», куда входили Брэди и другие, были убиты вновь назначенный статс-секретарь по делам Ирландии Кавендиш и его помощник Борк.

как убийство совершилось, а Марвуд, палач, плясал вокруг гиганта Брэди, пока помощник готовил его к казни, связывая ему руки и аккуратно надевал веревку на шею — а как он шел вперед, не слушая священника, который читал над ним отходную, и только повторяя про себя: «Бедная Ирландия, бедная Ирландия!» — и это когда ему оставалось не больше минуты на то, чтобы приготовиться к встрече с господом своим и творцом, покинув здесь на земле несчастных ирландцев, которые с бессильной яростью домогаются того, чего, как они и сами знают, им не получить, и денно и ночью позорят себя своими кривляньями в Палате общин, где славному маркизу Солсбери, если б не Парнелл, ничего бы не стоило одним пальцем удерживать их в повиновении; он и смеется над ними постоянно, тот самый маркиз Солсбери, который неодобрительно покачал головой, когда ему рассказали, как Фанни Парнелл вбежала к своей матери, радостно размахивая газетой, и сообщила ей, что Араби-паша разбил англичан в Египте, забывая, что многие из ее храбрых соотечественников проливают там кровь во славу Англии; и подумать только, ведь и мой ненаглядный Николас, который должен слиться со мной воедино завтра, еще до того, как зайдет солнце, мог бы лежать разрубленный надвое обоюдоострым кинжалом какого-нибудь дервиша, обагривая своей кровью горячий песок пустыни и слабеющим ухом слыша дикие возгласы язычников, которые топчут его бедное тело, проносясь под черными знаменами Махди, нагрянувшего со своими полчищами из Судана, после того как он нанес последний удар генералу Гордону; а старый хрыч Гладстон греет у камина свои тепло обутые ноги и пальцем не шевельнет, чтобы снарядить экспедицию для спасения тех людей, что гибнут в последнем бою за Королеву и Родину; которая их никогда не забудет, и память об этих великих подвигах сохранится нетленной¹, но мне теперь нужно выкинуть все это из головы и думать о вещах куда более важных, чем гладстоны и гордоны, которые сегодня здесь, а завтра, глядишь, отправились туда, куда добрый негр попадает всегда, а потому бросай лопату, дядя Нед, тебе здесь дела больше нет, твой путь лежит теперь туда, куда добрый негр попадает всегда, а дальнейшее — молчание, как сказал Шекспир, вашей же покорной слуге надлежит сосредоточить теперь свои помыслы на той великой перемене, которую завтрашний день должен произвести во всем, что бы я ни делала и ни думала, и прикинуть, благословясь, как мне прожить на то, что я получаю, и сколько я могу тратить из того, что я получаю, — в течение еще года или полутора, пока не истечет двенадцатилетний срок его службы в армии и не выплатят ему награды

¹ Речь идет о национально-освободительном движении арабов Судана под предводительством религиозного вождя Махди. В 1885 году махдисты захватили город Хартум, обороняемый генералом Гордоном, англичанином на египетской службе. Вскоре после этого, вслед за поражением Махди при Омдурмане, движение махдистов было жестоко подавлено генералом Китченером.

ные в двадцать один фунт за все время; это поможет нам стать на ноги, а пока что с теми пятнадцатью шиллингами в неделю, которые он получает, считая и надбавку за парикмахерские обязанности, нелегко будет сводить концы с концами, даже если не принимать в расчет всякие экстренные расходы, которые неизбежно будут, пока он там, а я здесь, и жду завтрашней ночи, когда девушка, ни разу в жизни не приподнимавшая юбки выше щиколотки, должна будет все с себя снять и самое дорогое, что у нее есть, принести в дар тому, кого она полюбила, несмотря на укоры матери, которая постоянно колет мне глаза тем, что бедный Николас всего только барабанщик, как будто, когда чистая девушка любит всем сердцем, для нее может иметь значение чин; да и потом, если судить по фотографиям, то какая в сущности разница между Николасом, в его веселом красном мундире, с горном на боку и остроконечной каской на голове, и принцем Уэльским, в его разукрашенном мундире и громоздкой каске, на которую накручен шарф, а уж позу-то он принял для фотографа — ни дать ни взять Ахилл на троне войны: в правой руке ружье, левая нога твердо упирается в мертвого бенгальского тигра, которого застрелили другие, в то время как он преспокойно сидел в уютно закрытом со всех сторон паланкине на спине большого слона, давно уже уставшего бродить по джунглям ради развлечения людей, которым все в жизни подносится готовеньким, чистым и нарядным; а мне, кстати, тоже пора уж готовиться, чиститься и наряжаться для торжественного события, потому что на святом Георгии бьет семь часов, и, живи мы в деревне, я бы уже слышала в небе жаворонка трели, что пахаря к труду зовет и возвращает день.

Она соскочила на пол, развесила простыни на спинках кровати и настезь распахнула окно, чтобы утренний воздух, широкой волной вливаясь в комнату, обдавал своей свежестью ее и ее брачные одежды. Потом, накинув старую юбку и кофточку и сунув ноги в башмаки, она прошла на кухню, развела огонь в очаге и поставила на него большой овальный бак с водой, а сама вернулась в комнату и занялась уборкой постели. Когда вода в баке закипела, она принесла со двора корыто, водрузила его посреди кухни, вылила туда кипяток и разбавила холодной водой, все время пробуя пальцем. Затем она разделась, вошла в корыто и вымылась с ног до головы, самодовольно ощупывая свои полные бедра и крепкие груди с рдеющими бутонами сосков. Немало побудительной прелести найдет ее Николас в своей Элле. Вытеревшись досуха, она нагишом проскользнула обратно в свою комнату и принялась одеваться, любовно и неспеша; надела белую сорочку, панталоны, нижнюю юбку, вычистила зубы, набрав на щетку толченого мела, пропитанного камфорой, — кроме нее, никто в доме такого обыкновения не имел. Заглянув в зеркальце, она приоткрыла рот и полюбовалась своими зубами — ровные, белые и крепкие, они в самом деле были хороши. Затем она вернулась

на кухню, вылила из корыта грязную воду и снова повесила корыто на гвоздь, вбитый в стену возле уборной. Она с гордостью думала о своем новом белье и платье и о той волнующей минуте, когда она станет снимать все это с себя, вещь за вещью, а Николас будет помогать ей, готовясь завершить их союз, освященный церковью, повелевшей им быть единою плотью. Пройдет немного времени, и все, что в ней есть, будет принадлежать ее Николасу ныне и присно и во веки веков, аминь.

Она наполнила водою чайник, поставила его на ярко пылающий огонь и пошла за матерью.

Завтрак прошел в холодном и угрюмом молчании, только Джонни веселился, ложечкой отправляя в рот содержимое яйца, сваренного ему в честь великого события, которое должно было вскоре совершиться в божьем храме. Элла и мать сидели хмурые, тщательно избегая глядеть друг на друга, хмурые и печальные сидели они обе за столом.

— Я, когда вырасту большой, — говорил Джонни, — буду горнистом, как Николас, самое милое дело, утром буду играть побудку, а вечером — отбой.

— И Том и Майкл писали мне, что я правильно поступаю, — пробормотала Элла.

— Надеюсь, хоть ты-то не уйдешь в солдаты, — сказала мать, и радость Джонни сразу померкла.

Элла выпила полчашки чаю, погрызла кусочек жареного хлеба, потом встала и ушла к себе в комнату. Там она вымыла руки, вытерла рот, чтобы не осталось где крошек, надела пальто и шляпу, осторожно присела на кровать и немножко поплакала.

Как бы все улыбалось мне впереди, жалобно думала она, как бы все было хорошо, если бы не мамино упрямство.

Она сумела заранее позаботиться обо всем: что скопила, что купила, что хранила от напасти, что припрятала на счастье, и все у нее было в идеальном порядке, все было бы хорошо, если бы не материнское упрямство.

— Кэб у дверей, — крикнула ей мать из кухни.

Элла вскочила и вышла на кухню; мать убирала посуду, оставшуюся на столе после завтрака.

— До свидания, мама, — сказала Элла.

— До свидания, — коротко ответила ей мать.

Опять у них нелады, подумал Джонни. Вроде бы мать должна гордиться, что ее дочка выходит замуж за солдата. Он увидел, как губы у Эллы задрожали, и тотчас же ему самому что-то сдавило горло. Он схватил лежавшую на стуле кепку и выбежал на улицу — посмотреть, как отъедет кэб, и ласково помахать ему вдогонку.

С минуту Элла стояла и смотрела на мать, машинальноправляя шляпу на голове.

— Что ж, ты мне так ничего и не скажешь на прощанье? — умоляюще спросила она.

— Как постелешь, так и поспишь,— ответила мать.

Элла отвернулась и поспешно вышла прямо на улицу, где дожидался кэб. Уголком глаза она успела заметить, что в дверях всех соседских домов торчат люди, с жадным любопытством наблюдая, что такое происходит у дома О'Кэссиди. На дальнем углу улицы стоял человек в лохмотьях; свесив голову и потупя глаза, он надтреснутым голосом пел «Якорь поднят». Извозчик распахнул дверцу, и Элла, плотно сжав губы назло всем соседям, села в кэб и твердым голосом велела ехать к церкви св. Марии; а Джонни стоял с кепкой в руке, готовясь помахать ей вслед, как только она выглянет в окно, чтобы ласково кивнуть ему на прощанье. Извозчик влез на козлы, разобрал вожжи, сказал кобыле «Нно-о-о!», и кэб покатил по улице под скорбные звуки песни:

Со мной прощаясь у причала,
Заплакала моя любовь,
И сердце мне тревога сжала,
Что нам не повстречаться вновь.

Песня вдруг оборвалась: певец наклонился поднять монетку, зазвеневшую на камнях мостовой. Потом он выпрямился и запел снова; кэб в это время проезжал мимо него, а Джонни с кепкой в руке все еще ждал, когда Элла выглянет в окно, чтобы ласково замахать ей вслед.

Уж якорь поднят, якорь поднят,
Прощай и помни обо мне,—

тянул певец, свесив голову и опустив глаза.

Но лица Эллы не было видно в окне, даже руки не высунула она, чтобы на прощанье помахать Джонни, хотя он все ждал с кепкой в руке, ждал, пока кэб не скрылся за поворотом.

Так невеста отправилась навстречу жениху.

КОРОВА

Джонни стоял на пороге, прижавшись как можно плотнее к дверям, чтобы укрыться от дождя, лившего ливнем. Он смотрел, как косые полосы дождя летят на раскаленную улицу, превращая пыль в грязное месиво, и, сливаясь в быстрый ручей, бегут по канавам, бурля у водостоков и маленькими водопадами скатываясь вниз, в сточные трубы.

Дождик теплый и сильный, это не надолго, подумал Джонни, глядя, как дождевые капли прыгают по мостовой и как люди в домах напротив торопливо закрывают окна, чтобы дождик не попал к ним в парадные комнаты.

А что если бы разверзлись хляби небесные, думал Джонни, и бог повелел идти дождю, и дождь полил бы как из ведра и лил

бы сорок дней и сорок ночей, как в то время, когда земля преисполнилась злодеяниями и господь раскаялся, что сотворил человека, и послал на землю потоп, и дождь все лил и лил, пока вода не покрыла все дома и самые высокие вершины самых высоких гор? То-то поднялась бы кутерьма, все бросились бы карабкаться на самые высокие горы и уселись бы там, и смотрели бы, как вода поднимается все выше и выше и лижет им ноги; и ничего не оставалось бы делать, как только закрыть глаза, помолиться, соскользнуть в воду с тихим плеском и отдать богу душу; только нечего и рассчитывать, что тебя ласково встретят у райских врат, раз сам господь решил, что тебе лучше умереть. Но теперь этого не может быть, потому что бог обещал Ною, человеку праведному и непорочному в роде своем, что потопа никогда больше не будет, и, чтобы Ной не сомневался, показал ему радугу среди туч в знак примирения между небом и землей, и Ной увидел ее, когда еле живой вылез из ковчега, чтобы снова начать жизнь на земле со своими домашними, и со всеми зверями земными, и со всеми гадами ползучими, и со всеми птицами небесными, мужеского и женского пола, которые были с ним в ковчеге все время, пока потоп не схлынул с лица земли.

Вот она, эта радуга, раскинулась и чудесно сияет, одним концом легла на крышу миссис Мулалли, другим опирается на вершину одной из дублинских гор, а серединой касается небосвода, и если б глаза у нас были зорче, мы бы видели, что на ней от одного конца до другого стоят миллионы и миллионы сверкающих ангелов и глядят на все, что делается на земле, на то, что бог сотворил вначале и что народилось после того, как Ной вышел из ковчега со своей женою и сыновьями и женами сыновей, а с ними вышли и слоны, и львы, и лошади, и коровы, которые давали Ною молоко, пока он сидел в ковчеге и голубь еще не вернулся к нему с оливковой веткой в клюве.

Джонни вдруг вспомнил, что сегодня четверг и что по улицам скоро погонят скотину к парходам, чтобы перевезти в Англию. Он нагнулся, нашарил под порогом ключ (мать оставила его там на случай, если Джонни понадобится войти в дом), отпер дверь и вошел. Он обежал все комнаты и разыскал ясеневую палку, которую Арчи срезал с дерева в Фингласе, возвращаясь домой после двух-трех стаканчиков у «Веселых пьяниц». Крепко сжимая палку в руке, Джонни запер дверь, сунул ключ под порог и выбежал на улицу.

Теперь дождик тихо моросил и в солнечном свете казался золотым. Свернув на сонную Дорсет-стрит, Джонни услышал крики погонщиков, разносившиеся то громче, то тише по всей улице, до самого угла Норс-Серкюлер-род — широкого шоссе, ведущего от скотного рынка к парходам, которые увозят коров в Англию, — на корм толстопузым англичанам, как говаривал Арчи, а несчастным ирландцам достаются одни объедки. Джонни любил смотреть на проходивших мимо коров и, держа палку наготове, отгонял назад

тех, которые норовили свернуть в сторону, а потом, когда корова плавным движением поворачивала рогатую голову, испуганно глядя большими глазами, он выбегал, чтобы на прощанье изо всех сил хватить ее по спине палкой.

А вот и коровы, сотни и сотни коров движутся рекой, задерживают движение, медленно переходя дорогу; жаркое солнце сушит их спины, блестящие от дождя, и облако пара висит над стадом.

Погонщики идут сзади, изредка покрикивая, как полагается: «гей-гип, гей-ги-гип», подгоняя коров на пути к душным трюмам пароходов. Погонщики решили, что день сегодня будет ясный, и никто из них не надел куртки, не набросил даже мешка на плечи. Они промокли до нитки, вода течет по щекам с намокших шляп и волос, грубоватые лица кривятся недовольной гримасой, и они покрикивают на скотину: «гей-гип, гей-ги-гип». Время от времени какая-нибудь корова отделяется от стада, вытягивает толстую шею, чтобы охладить дымящиеся ноздри и глотнуть дождевой воды, журчащей по канавам; но сердитый погонщик мигом набрасывается на корову с палкой, звонко хлопает ее по боку, и корова, мотнув головой, скачет обратно и норовит втереться в середину стада, спасаясь от сыплющихся на нее ударов. За ними плетется стадо свиней, без умолку хрюкая, уткнувшись рылом чуть ли не в самую землю, а если они останавливаются на пути, погонщики больно тычут их палками в загривок. Джонни любил свиней за то, что у них зады больше похожи на человечьи, чем у коров и овец; гораздо веселее хватить палкой свинью и услышать, как она завизжит, чем бить корову или овцу, которые только вздрагивают, когда их бьешь.

Джонни был в своей стихии, он носился туда и сюда, по-своему гей-гей-гикал на коров, погоняя их, и успевал вклепить зазевавшейся корове или овце лишний удар палкой.

Одна корова попробовала сунуться влево, на Дорсет-стрит, но храбрец Джонни ясеновой палкой загородил ей дорогу. Корова попыталась обойти его стороной, но Джонни, забегаая то справа, то слева, неизменно оказывался впереди и, вытянув левую руку, помахивая палкой в правой руке, покрикивал «гей-ги-гип, эй, гей-ги-гип» прямо в самую морду корове. Корова опустила голову и замычала. Джонни попятился.

— Эй, мальчик,— крикнул погонщик, шедший за стадом,— не давай этой падали увильнуть. Огрей ее по морде, прямо по морде. Она тебя не тронет. Хорошенько ее, палкой по морде.

Привстав на цыпочки, Джонни ударил палкой по дымящимся ноздрям. Корова торопливо попятилась, быстро повернулась и, помахивая головой, затрусила рысцей к стаду.

— Молодец, молодец,— одобрительно крикнул погонщик.— Так ее, будет теперь знать. Гей-гей-гип-ги! — затащил он, подгоняя стадо, и Джонни сошел на мостовую и зашагал рядом с ним, гордясь тем, что сумел загнать корову на место, и весь сияя от

удовольствия; а дождик, золотой в солнечном свете, все еще моросил потихоньку.

Вдруг погонщик крепко выругался: одна заморенная корова забрела на тротуар, согнула колени и легла, подобрав под себя передние ноги, как раз посреди тротуара, на самом ходу, тупо уставившись в землю и ни на что не обращая внимания.

Второй погонщик стал сгонять всю скотину поближе к тротуару, чтобы дать дорогу шедшему позади гурту, а тот погонщик, что шел рядом с Джонни, подбежал к отставшей корове и начал молотить ее палкой.

— Куда тебя занесло,— кричал он, колотя ее,— вставай на задние ноги и ступай, куда шла, гей-ги-гип, гей-гип!

Но ни крики, ни ругань, ни побои не помогли сдвинуть с места корову, лежавшую посреди тротуара, на самом ходу: она только смотрела прямо перед собой, словно не видя ничего, и не шевелилась, не слушалась ни брани, ни побоев, которыми осыпал ее погонщик.

— Эй, ты,— подозвал он Джонни,— поди-ка сюда да помоги согнать ее с места: ей ведь только позволь развалиться, она тут и ночевать останется.

Джонни подбежал к корове.

— Ну,— сказал погонщик,— я этой стерве сейчас накручу хвост, а ты лупи ее изо всех сил палкой.

Погонщик ухватил корову за хвост и стал накручивать его на руку, накручивать с такой силой, что, казалось, вот-вот оторвет совсем. Другой погонщик, проходивший мимо с гуртом, остановился, потом подбежал к ним и вместе с Джонни принялся колотить корову палкой, а первый все крутил и крутил ей хвост, и под конец со всех троих пот катился градом. Корова вздрогнула и, дернувшись всем телом, поднялась на задние ноги, но передние по-прежнему оставались подогнутыми.

Собралась небольшая толпа и, под предводительством канонира Королевской полевой артиллерии, подняла крик и шум, стараясь согнать с места корову, которой вздумалось отдохнуть; погонщик все крепче накручивал ей хвост, а Джонни с другим погонщиком все сильнее колотили ее палками. «Гей-гей, гип-гип-гей-гип!» — кричали они хором, но корова, медленно согнув задние ноги, опять легла и лежала неподвижно, глядя прямо перед собой, словно ничего не видя и не чувствуя, а дождик, золотой в солнечном свете, все еще моросил потихоньку.

— Уморила, проклятая,— сказал погонщик, отирая пот с измученного лица.

Его товарищ, который стерег остальных коров, нетерпеливо махнул палкой.

— Иди ты, бога ради,— крикнул он.— Что ж, нам так и стоять тут, пока она не надумает подняться? Мальчик за ней приглядит.

— Пригляди за ней, сынок,— сказал второй погонщик,— а то

как бы она не вздумала уйти. Мы скоро вернемся, только отведем коров к Северной пристани.— И он пошел догонять товарища, а Джонни остался стеречь корову,— та все глядела прямо перед собой, словно ничего не видя, а дождик, золотой в солнечном свете, все еще моросил потихоньку.

Джонни стоял в чужом подъезде, прижавшись к дверям, и не сводил глаз с коровы. Она не подавала никаких признаков жизни, только время от времени хвост у нее подрагивал. Каждая тварь в лесу — божья, думал он, и стада на тучных пастбищах. А что такое приبلудная корова, лежащая на мокрой от дождя улице, чтобы бог стал утруждать себя заботами о ней?

Время шло, и скоро он увидел детей, возвращавшихся из школы. Они останавливались поглядеть на тихо лежавшую корову, но Джонни отгонял их, говоря, чтобы они шли своей дорогой и не мучили бедное животное. Солнце село; дождь все еще моросил потихоньку, но уже не казался золотым, и Джонни начал зябнуть. Он все дожидался погонщика, но вот наступили и сумерки, и ярко-рыжая масть коровы словно потускнела. Больше он ждать не намерен. Мать, верно, уже дома и ума не приложит, куда он девался. Он вышел из подъезда, посмотрел по сторонам, не видно ли где-нибудь погонщика, потом, крадучись, побежал домой. В конце улицы он оглянулся и в лиловых сумерках увидел темный силуэт коровы: она все еще лежала посреди тротуара, на самом ходу, и смотрела прямо перед собой, словно ничего не видя; а дождик все моросил потихоньку, но солнце уже не светило, и дождик не казался больше золотым.

УЛИЦА ПОЕТ

Золотыми и счастливыми были для Джонни те дни, когда он не испытывал боли; когда, сдвинув повязку, он чувствовал, что свет, который всегда так больно жалил ему глаза, сейчас их не жалит и что солнечный свет сегодня так же чудесен, как в тот первый день, когда господь сотворил его; что он заливает золотом пыльную улицу, а грязные домишки одевает в новое платье, подобно брачному одеянию спасенных душ. Можно было, значит, выбежать на солнышко, и кричать, и смеяться, и петь, и плясать, и веселиться от всего сердца; и никто не следил за тем, что он делает, только божий глаз смотрел на него, днем скрытый в глубине синего неба, а ночью скрытый еще глубже, за пологом золотых звезд.

Проходила боль — и жизнь становилась легкой и щедрой, доброй и здоровой, и настоящей. Не нужно было часами сидеть за партой, пока не затекут руки и ноги; не нужно зазубривать слова и цифры, ни читать скучные книжки, от которых в сердце не прибавлялось надежды и для ума не открывалось ничего нового; ни рассматривать карты, на которых живой мир превращался во

что-то сшитое из лоскутов и обрывков; ни ждать с тоской, чтобы скорее прошел день; ни выслушивать скучные поучения о боге и Давиде, победителе великанов; ничего этого не было — только небо над головой — днем синее, с белыми облаками, а ночью черное, с серебряными звездами; и никаких чужих мыслей — только свои; и запрет, наложенный богом на радость, уходил куда-то далеко.

Сидя на подоконнике, Джонни смотрел, как женщины моют крылечки своих домов; или какая-нибудь побогаче красит крыльцо ярко-розовой или густо-синей краской; или, надев старую юбку и кофту и вооружившись керосином и тряпкой, они протирают стекла и переговариваются через улицу — и все трут и трут свои стекла и ни разу даже не обернутся поглядеть друг на друга.

Он любил смотреть, как на улицу въезжают фургончики с хлебом: с одного конца — фургончик от Джонстона, Муни и О'Брайана, а с другого — фургончик от Боланда, один зеленый, а другой коричнево-красный. Фургончики были довольно большие, вроде ящика на колесах, а внутри в два этажа лотки, и на них рядами горячие булки по два пенса и по два пенса с фартингом за штуку. А внизу длинный-длинный ящик, во всю длину повозки, и в нем хорошенькие пакетики, белые и коричневые, — пакетики с содой, пакетики с изюмом; и еще сдобные булки с блестящей золотой корочкой, их называли «коронки», потому что сверху на них были неровные зубчики, как на царской короне. Он любил также смотреть, как на улицу со звоном въезжает повозка молочника, вся уставленная большими блестящими бидонами, у каждого бидона внизу большой медный кран, пропущенный в дырку в задке повозки; а бидоны все так начищены, что прямо сверкают; но мать Джонни не раз говорила, что если б они свои бидоны так же хорошо чистили внутри, как снаружи, то можно было бы пить молоко, не боясь за свое здоровье. Из всех этих больших бидонов молочник наливал молоко в другой, поменьше, с длинным носиком, на котором болтались, позвякивая, две жестяные мерки — в пинту и в полпинты; ими он отмерял молоко хозяйкам, которые уже дожидались в дверях с кувшинами и кастрюльками и брали молока понемножку, только чтобы подкрасить горький черный чай, который они так часто заваривали для себя, для своих мужей и для ребятишек. Когда Джонни бывал здоров, он помогал молочнику, бегал от двери к двери с длинноносым бидончиком и наливал молока — кому пинту, кому полпинты; и хозяйки ворчали, что вот, мол, мистер Дивенс, так тот всегда полней наливает; а Джонни оправдывался, что ведь молоко не его, а с чужим добром надо поаккуратнее. Когда молоко все было распродано, молочник усаживался сзади, а Джонни подбирал вожжи и, стоя в повозке, кричал на лошадь «Ю-о! Вперед!» — и, прилаживаясь к толчкам, чтобы сохранить равновесие, гнал повозку обратно к молочной.

как бы она не вздумала уйти. Мы скоро вернемся, только отведем коров к Северной пристани.— И он пошел догонять товарища, а Джонни остался стеречь корову,— та все глядела прямо перед собой, словно ничего не видя, а дождик, золотой в солнечном свете, все еще моросил потихоньку.

Джонни стоял в чужом подъезде, прижавшись к дверям, и не сводил глаз с коровы. Она не подавала никаких признаков жизни, только время от времени хвост у нее подрагивал. Каждая тварь в лесу — божья, думал он, и стада на тучных пастбищах. А что такое приبلудная корова, лежащая на мокрой от дождя улице, чтобы бог стал утруждать себя заботами о ней?

Время шло, и скоро он увидел детей, возвращавшихся из школы. Они останавливались поглядеть на тихо лежавшую корову, но Джонни отгонял их, говоря, чтобы они шли своей дорогой и не мучили бедное животное. Солнце село; дождь все еще моросил потихоньку, но уже не казался золотым, и Джонни начал зябнуть. Он все дожидался погонщика, но вот наступили и сумерки, и ярко-рыжая масть коровы словно потускнела. Больше он ждать не намерен. Мать, верно, уже дома и ума не приложит, куда он девался. Он вышел из подъезда, посмотрел по сторонам, не видно ли где-нибудь погонщика, потом, крадучись, побежал домой. В конце улицы он оглянулся и в лиловых сумерках увидел темный силуэт коровы: она все еще лежала посреди тротуара, на самом ходу, и смотрела прямо перед собой, словно ничего не видя; а дождик все моросил потихоньку, но солнце уже не светило, и дождик не казался больше золотым.

УЛИЦА ПОЕТ

Золотыми и счастливыми были для Джонни те дни, когда он не испытывал боли; когда, сдвинув повязку, он чувствовал, что свет, который всегда так больно жалил ему глаза, сейчас их не жалит и что солнечный свет сегодня так же чудесен, как в тот первый день, когда господь сотворил его; что он заливает золотом пыльную улицу, а грязные домишки одевает в новое платье, подобно брачному одеянию спасенных душ. Можно было, значит, выбежать на солнышко, и кричать, и смеяться, и петь, и плясать, и веселиться от всего сердца; и никто не следил за тем, что он делает, только божий глаз смотрел на него, днем скрытый в глубинах синего неба, а ночью скрытый еще глубже, за пологом золотых звезд.

Проходила боль — и жизнь становилась легкой и щедрой, доброй и здоровой, и настоящей. Не нужно было часами сидеть за партой, пока не затекут руки и ноги; не нужно зазубривать слова и цифры, ни читать скучные книжки, от которых в сердце не прибавлялось надежды и для ума не открывалось ничего нового; ни рассматривать карты, на которых живой мир превращался во

что-то сшитое из лоскутов и обрывков; ни ждать с тоской, чтобы скорее прошел день; ни выслушивать скучные поучения о боге и Давиде, победителе великанов; ничего этого не было — только небо над головой — днем синее, с белыми облаками, а ночью черное, с серебряными звездами; и никаких чужих мыслей — только свои; и запрет, наложенный богом на радость, уходил куда-то далеко.

Сидя на подоконнике, Джонни смотрел, как женщины моют крылечки своих домов; или какая-нибудь побогаче красит крыльцо ярко-розовой или густо-синей краской; или, надев старую юбку и кофту и вооружившись керосином и тряпкой, они протирают стекла и переговариваются через улицу — и все трут и трут свои стекла и ни разу даже не обернутся поглядеть друг на друга.

Он любил смотреть, как на улицу въезжают фургончики с хлебом: с одного конца — фургончик от Джонстона, Муни и О'Брайана, а с другого — фургончик от Боланда, один зеленый, а другой коричнево-красный. Фургончики были довольно большие, вроде ящика на колесах, а внутри в два этажа лотки, и на них рядами горячие булки по два пенса и по два пенса с фартингом за штуку. А внизу длинный-длинный ящик, во всю длину повозки, и в нем хорошенькие пакетики, белые и коричневые, — пакетики с содой, пакетики с изюмом; и еще сдобные булки с блестящей золотой корочкой, их называли «коронки», потому что сверху на них были неровные зубчики, как на царской короне. Он любил также смотреть, как на улицу со звоном въезжает повозка молочника, вся уставленная большими блестящими бидонами, у каждого бидона внизу большой медный кран, пропущенный в дырку в задке повозки; а бидоны все так начищены, что прямо сверкают; но мать Джонни не раз говорила, что если б они свои бидоны так же хорошо чистили внутри, как снаружи, то можно было бы пить молоко, не боясь за свое здоровье. Из всех этих больших бидонов молочник наливал молоко в другой, поменьше, с длинным носиком, на котором болтались, позвякивая, две жестяные мерки — в пинту и в полпинты; ими он отмерял молоко хозяйкам, которые уже дожидались в дверях с кувшинами и кастрюльками и брали молока понемножку, только чтобы подкрасить горький черный чай, который они так часто заваривали для себя, для своих мужей и для ребятнишек. Когда Джонни бывал здоров, он помогал молочнику, бегал от двери к двери с длинноносым бидончиком и наливал молока — кому пинту, кому полпинты; и хозяйки ворчали, что вот, мол, мистер Дивенс, так тот всегда полней наливает; а Джонни оправдывался, что ведь молоко не его, а с чужим добром надо поаккуратнее. Когда молоко все было распродано, молочник усаживался сзади, а Джонни подбирал вожжи и, стоя в повозке, кричал на лошадь «Но-о! Вперед!» — и, прилаживаясь к толчкам, чтобы сохранить равновесие, гнал повозку обратно к молочной.

Бывало, что к ним на улицу забредал немецкий оркестр.— Ах, уж эти иностранцы,— говорил про них Арчи,— выманивают последний грош у бедняков! — и тогда в толпе других ребяташек Джонни подолгу стоял, застыв на месте, и с любопытством слушал и глазел во все глаза на музыкантов: одетые в синие с красным и зеленым мундиры, они дули изо всех сил в огромные медные трубы, а барабанщик отбивал такт — раз-два, раз-два, раз-два, и по улице разносилась песня о том, как немецкий солдат уходил на войну вместе со своим полком:

Под шум знамен идет отряд
По улице прямой,
И дети им вослед кричат,
Их провожая в бой.
Один солдат назад глядит,
Его сражение ждет,
И если рот его закрыт,
То сердце так поет:

«О милая, будь мне верна!
Тебе я вечно верен!
Вернусь, лишь кончится война,
На берег Рейна, в Эрен.
О милая, будь мне верна!
Тебе я вечно верен!
Вернусь, лишь кончится война,
На берег Рейна, в Эрен»¹.

Иной раз вечером Джонни прокрадывался к задним дверям бакалейной лавки и, стоя там, ждал, пока удастся подбежать к ящикам, сваленным у стены, и утащить красивые цветные бумажки, которыми ящики были выложены изнутри или оклеены снаружи, хватал все, что можно, и убегал, унося синие, черные, алые, желтые и зеленые сокровища, из которых потом делал себе алые нашивки на рукава, желтые эполеты на плечи, зеленую перевязь на грудь и синий шарф, чтобы носить вокруг пояса, а на шапку — пышный, пестрый развевающийся султан; потом вооружался самодельным деревянным мечом, — и вот уж он был не Джонни, а храбрый воин, непобедимый боец, жаждущий битвы, недоступный страху, готовый поразить всякого врага, который осмелился бы к нему приблизиться, когда он гордо шествовал, весь разукрашенный цветными орденами, пожалованными ему его величеством королевой Викторией. Когда представлялся случай, он делил свои сокровища с соседскими мальчиками-католиками, только что вернувшимися из школы, нацеплял им нашивки побледнее цветом и превращал их в солдат и сержантов; у них был

¹ Перевод В. Рогова.

и знаменосец — он нес разноцветный бумажный флаг, и барабанщик — у него на боку была жестянка, обвешанная желтыми и синими лентами, и он барабанил во всю мочь, а мальчики во весь голос распевали:

Покрыты пылью всех дорог.
Всегда готовы к бою:
Отважный Парнелл нас ведет,—
Мы за него горою!¹

Джонни не любил этой песни, ему казалось, что она как-то связана с фениями, хотя мать рассказывала ему, как отец говорил про Парнелла, что он хороший протестант, настоящий ирландец и великий человек и что очень хорошо, что есть хоть кто-нибудь, кто способен помешать англичанам сесть ирландцам на голову. Когда все сражения были выиграны, все страны завоеваны, войско распушено, а ордена и украшения сняты, собраны и спрятаны до другого раза, тогда приятно было стоять на согретой солнцем улице, и раздумывать, и спорить о том, во что еще поиграть.

— Давайте в утку на кочке,— говорил Тофи.— Чур, я бью первый.

— Не надо. Келли опять будет реветь. Лучше в лисицу в норе, это куда интересней.

— Нет, лучше всего в мячик и шапку,— решал О'Халлоран.— Вот это игра так игра,— прибавлял он,— чур, я бью первый.

— В мячик я не играю,— говорил Тофи.

— А я в угку не играю,— сердился Келли.

— Ну, так пусть Кэссиди выбирает,— говорил О'Халлоран.— Он пусть выберет, а мы все сделаем по-его, чтоб не портить игру. Ну, руку на сердце и поклянитесь, что сделаете по-его.

Этим католическим мальчикам казалось особенно занятным играть с протестантом. Ведь он был не такой, как они, и все, что им обещала Церковь, для него было чуждо и непонятно. Они с любопытством смотрели, как на его лице появлялось недоуменное и даже испуганное выражение, когда они при нем крестились или, заслушав вечерний благовест, бормотали «Ave Maria»². А Джонни, хотя они ему и нравились, все же считал их достойными жалости чужаками, потому что ведь написано в библии, что идолопоклонники не наследуют царствия божия; а эти товарищи его игр поклонялись изображениям святых и возносили молитвы за умерших, что противно Писанию, ибо там сказано — бог есть бог живых, а не мертвых; и еще там сказано: блаженны в бозе почившие; откуда ясно как день, что если ты был хорошим и умер, то идешь прямо в рай, а если был плохим и умер, то идешь прямо в ад, и раз ты уже умер, так молитвами тут ничего изменить нельзя. Кроме того, эти мальчики до смерти боялись библии, а ведь биб-

¹ Перевод О. Румера.

² Радуйся, Мария (лат.).

лия — это слово божие, понятное всякому, даже таким чудакам, как они; и если у тебя есть вера и ты не забываешь просить господ, чтобы он открыл тебе глаза, ты увидишь все, что тебе надо видеть, и услышишь все, что тебе надо слышать, и узнаешь все, что тебе надо знать из той вечной истины, что заповедал нам Иисус Христос. А еще эти мальчики считали великим грехом пропустить службу в церкви — они называли ее мессой, — которую там служили по воскресеньям и другим праздникам; и еще у них был смешной обычай брызгать на себя святой водой, чтобы отогнать дьявола. Но смеялись они совершенно так же, как Джонни, и играли так же, как он, и, когда у них заводился пенни, они делили с ним все, что на этот пенни можно было купить. Так что Джонни дружил с маленькими католиками, и пел вместе с ними, и кричал, и играл, и веселился от всего сердца; и никто не следил за ним, только божий глаз, сейчас скрытый в глубин синего неба, а ночью скрытый еще глубже, за блеском серебряных звезд.

— Давайте сначала поиграем в мячик и шапку, — говорил Джонни, — а потом в утку на кочке. И я буду бить последний, чтобы не портить игру.

Тогда они клали в ряд свои шапки на землю около дома. Потом все по очереди, первым Тофи, а Джонни последним, старались попасть мячом в чью-нибудь шапку — только не в свою. Если мяч попадал в шапку, тот, кому она принадлежала, скорей бежал к ней, остальные бросались врассыпную, а он, схватив мяч, салил того, кто был поближе и в кого было легче попасть. Если он давал маху, в его шапку клали камешек, а если он попадал, камешек клали в шапку того мальчика, в которого он попал. Так шло, пока в чьей-нибудь шапке не набиралось шесть камешков или больше (о числе сговаривались заранее). Тогда тот, у кого было шесть камешков, становился к стене, вытягивал руку и плотно прижимал ее к стене, ладонью к мальчикам, а те, каждый по очереди, могли шесть раз бить ему в руку литым мячиком; каждый старался бить как можно сильнее и торжествовал, если у проигравшего на лице появлялась гримаса боли, когда крепкий мячик ударялся о его ладонь. Потом у стены становился другой — каждому причиталось столько ударов, сколько камешков было в его шапке. Джонни любил эту игру, руки у него были маленькие, плотные и загрубелые, от ударов мяча ему было не так больно, как тем, у кого руки были большие и мягкие. Так они играли, пока не уставали и пока у многих на глазах не навертывались слезы, потому что руки у них становились красными и здорово болели.

Потом принимались за утку на кочке. Круглый камешек клали на маленькое возвышение — выходило похоже на сидящую утку; вокруг нее мелом обводили круг. Один мальчик был сторожем: он стоял возле утки, одной ногой в кругу, а другие стояли поодаль и запускали в утку камешками, стараясь ее сшибить. Тот, кому не удавалось сшибить утку, должен был пойти и подобрать свой камешек, а сторож старался до него дотронуться; и если это ему

удавалось, тот мальчик, до которого он дотронулся, становился сторожем, а прежний сторож переходил к тем, что стояли поодаль и кидали камешки. Если брошенные камешки падали так близко от утки, что сторожу, стоявшему одной ногой в кругу, легко было дотронуться до всякого, кто пошел бы выручать свой камешек, тогда им всем ничего не оставалось, как только стоять и ждать, пока какой-нибудь меткий стрелок не сшибет утку, потому что тогда сторож должен был подобрать ее и положить на прежнее место, и пока он этого не сделал, прикосновение его не имело силы, а в это время все бросались, хватали свои камешки и убежали. И Джонни кидал камешком в утку на кочке или стоял одной ногой в кругу, бодрый и настороженный, готовый дотронуться до каждого, кто пойдет подбирать камешек, лежащий возле кочки; и, проделывая все это, он кричал и смеялся, ибо времени для него не существовало, он забывал про голод, и радость его была полной.

Иногда по вечерам, когда звезды бледно мерцали на небе, мальчики шли на другой конец улицы, где играли девочки, и смотрели издали, как десять или пятнадцать девочек грациозно прыгают через равномерно крутящуюся скакалку. Мальчики подходили все ближе и ближе, а девочки время от времени бросали на них презрительные взгляды, но в глубине души им хотелось, чтобы мальчики подошли. Наконец, с вызывающим криком, смягченным, однако, ноткой застенчивости, какой-нибудь мальчик посмелее врывается в круг, остальные за ним, и вот уже веселые лица девочек и мальчиков сияли в облаке пыли, поднятой ногами играющих.

Когда они уставали прыгать, кто-нибудь предлагал водить хоровод; и мальчики и девочки, позабыв прежнюю робость, брались за руки и делали большой круг, а одна из девочек становилась в середину и закрывала лицо руками, притворяясь, что плачет. Взрослые, стоя на пороге своих домов, мужчины с трубкой, а женщины с вязаньем в руках, переговаривались между собой и смотрели, как дети кружатся в хороводе и, кружась, поют:

Бедняжка Дженини плачет, бедняжка Дженини плачет,
Бедняжка Дженини плачет в солнечный летний день.

О чем ты, Дженини, плачешь? О чем ты, Дженини, плачешь?
О чем ты, Дженини, плачешь в солнечный летний день?

Я плачу о любимом, я плачу о любимом,
Я плачу о любимом в солнечный летний день,—

отвечала девочка в кругу.

А иногда все стояли на месте, высоко подняв сцепленные руки, и кто-нибудь один обегал круг, то и дело ныряя под руки, тогда как остальные пели в более живом темпе:

Гляди во все окошки, гляди во все окошки,
Как он бежит.
Гляди во все окошки, гляди во все окошки,
Как он бежит.

Застенчивая сероглазая Дженни Клатеро с длинными кудрями, опустив голову, останавливалась перед Джонни. Ему было очень стыдно, что она его выбрала, потому что многие из стоявших в кругу знали, что он в нее влюблен, и уже раньше замечали, как он все время поглядывает на нее своим незавязанным глазом, когда она сидит напротив него в воскресной школе; и Джонни краснел, как рак, слыша кругом хихиканье.

Пусть obeжит весь Дублин, пусть obeжит весь Дублин
Из-за тебя¹.

Джонни пускался бежать по кругу, то и дело ныряя под поднятые руки, а Дженни гналась за ним по пятам. Сперва он сильно ее опережал, потом замедлял бег, чтобы она могла его поймать, но в последнюю минуту увертывался, так что ей приходилось обхватывать его рукой. Притворяясь, что борется, он на мгновение горячо и нежно сжимал ее в объятиях и сейчас же отпускал, так как круг раздражался криками: — Джонни! Фу! Как не стыдно!

Так, нежно и незаметно, эта игра и эти песни подводили его к тому времени, когда девушка будет жаждать, чтобы он целовал ее поцелуями уст своих, и когда знамя его над ней будет любовь.

А иногда — и это было всего лучше, — когда все мальчики возвращались из школы, кончали готовить уроки и выходили на улицу повеселиться, несколько человек затевали игру в хоккей, а другие сейчас же убегали и возвращались кто с ножкой от стула, кто с загнутой ясеновой палкой, кто с длинной планкой от ящика, обструганной с одного конца, чтобы ее удобно было держать. Составлялись команды, и тут-то начиналась настоящая игра: одна команда гнала мяч к одному концу улицы, а другая к другому, и ребята толкались и бранились, когда перевес брала противная сторона, и галдели и кричали ура, когда удавалось забить гол. И Джонни, засунув свою повязку в карман, отбрасывая длинные волосы, лезшие ему в глаза, красный и потный, кидался туда, кидался сюда, взмахивая ясеновой тростью Арчи, и бранился, вопил и кричал ура не хуже всех прочих, и яростно бил по мячу, когда тот катился в его сторону, и колотил по ногам всех, кто оказывался возле мяча; и его колотили тоже, и по ногам у него бежала кровь, но он не чувствовал боли, ибо жизнь в нем кипела, и голсд был забыт, и времени не существовало; и голос его громко звучал в хоровой песне улицы.

¹ Переводы О. Румера.

МАЛЕНЬКИЙ ПРОТЕСТАНТ ДУМАЕТ О РЕФОРМАЦИИ

Однажды утром, когда глаза у Джонни почти не болели, он весело помахал рукой вслед двум мальчикам из соседнего дома, которые шли в школу, взвалив на плечи ранцы с книжками и завтраком.

Когда они скрылись за углом, он достал из кармана горсть круглых камешков и кусок мела; очертив мелом круг у самой стены дома, под своим окном, он положил в середину его в ряд три камешка. Потом сошел на мостовую, сделал шаг вперед, уперся ногой в край тротуара и правой рукой стал швырять камешки в те, что лежали в кругу. Первый раз он промахнулся, со второго вышиб из круга два камешка, а с третьего, прицелившись получше, выбил и последний.

Каждый день все метче попадаю, честное слово, подумал он.

Но вдруг на тротуар между ним и камешками упала тень, как от огромной вороны, и Джонни увидел, что рядом с ним стоит его преподобие мистер Хантер. Джонни успел зажать в руке камешек, которым уже нацелился в круг, и молча стоял у края тротуара, ожидая услышать голос и слово, которое было вначале, и слово было у бога, и слово было — бог.

— Я очень рад, — сказали голос и слово, — что глаза у тебя уже не болят, так что ты можешь приятно проводить время за игрою в камешки. Но нельзя, знаешь ли, только играть в камешки. У мальчиков есть в жизни и другие дела, кроме игры в камешки. Иногда — почему же, иногда можно; но не все время, о нет, не все время. Маленький солдат воинства Христова должен многому учиться, кроме игры в камешки; а ведь ты — маленький солдат воинства Христова, не так ли?

— Да, сэр.

— А можешь ты сказать мне, когда ты стал маленьким солдатом воинства Христова?

— При крещении, сэр.

— Верно, Джонни, верно, мой мальчик. Не посещай ты воскресную школу, ты бы этого не знал; а правда, ведь приятно, когда умеешь отвечать на вопросы взрослых?

— Да, сэр, — ответил Джонни не без гордости. Как подумаешь, Хантер не такой уж противный.

— Приятнее, — продолжал священник, — гораздо приятнее, чем играть в камешки?

Джонни насторожился. Так вот оно что! Хантер, оказывается, хочет поймать его. Хочет показать, что он неправ. Уж это нечестно, совсем нечестно.

— Гораздо приятнее, чем играть в камешки, не так ли, Джон?

— Не знаю, сэр, по-моему, в камешки лучше.

— Но играть в камешки — значит предаваться лени, Джон, — голос Хантера зазвучал сурово. — Ты не помнишь, что сказано про лень в библии?

— Нет, сэр.

— Там сказано, Джон: нерадивая душа будет терпеть голод. Подумай только, терпеть голод! Вот что говорит господь устами мудрейшего из людей. Нерадивая душа будет терпеть голод. Так что видишь — все мы должны остерегаться лености.— И голос, и слово, и человек деловито шагнули в дом.

Джонни собрал свои камешки, положил их в карман и прильнул к выступу окна.

— Просто ужас! Слова сказать нельзя, всегда будь начеку. Хантер-пантер-таракантер, Хантер-пантер-таракантер,— бормотал он вполголоса.

Он заглянул в окошко и увидел, как мать, мывшая пол, выпрямилась и пошла навстречу таракантеру. Стоя у самого окна, он слышал все, что они говорили.

Он слышал, как Хантер начал торжественно:

— Уверяю вас, миссис Кэсиди, вашего мальчика нужно посылать в школу. Совершенно очевидно, что глаза у него много лучше, и прискорбно думать, что он с утра до вечера играет в камешки. Через несколько лет ему предстоит занять свое место в жизни, и необходимо помочь ему сделаться стойким протестантом в этой безрадостной и темной католической стране. Вы ведь знаете, что мы со всех сторон окружены католическими влияниями и каждый из нас должен всячески отстаивать права, с таким трудом завоеванные протестантской реформацией.

— Дрянтьер-Хантер,— шептал Джонни.— Хантер-пантер-таракантер.

— Хорошо, сэр,— услышал он голос матери,— я с будущей недели постараюсь посылать его в школу.

— Не с будущей недели, а сегодня же,— сказал Хантер недовольно.— Сроки исполнились, день спасения наступил. Позовите его сюда и ведите в школу. Работу свою кончите, когда вернетесь. Через полчаса вы уже будете дома.

— Рваньтер-Хантер,— злобно шептал Джонни.— Хантер-пантер-таракантер.

И вот мать велела Джонни вымыть лицо и руки, надела ему чистый воротничок, и он поплелся рядом с нею в школу, а преподаватель Хантер шагал впереди.

Какое это там произошло давнишнее, лишнее, никудышное событие, что вот теперь его волокут за соглядатаем в мягкой шляпе и крахмальном воротничке, чтобы впихнуть в протестантскую школу? Не потому ли это случилось, что Моисей зазевался на неопалимую купину; или что израильтянам удалось сделать крошево из амаликитян; или что последователей Христа впервые называли христианами в Антиохии; или, может быть, всему виной

Протестантская реформация

В шестнадцатом веке простое и чистое слово божие, переданное нам апостолами, несомненно, дышало на ладан и готово было

с минуты на минуту испустить дух, что лишило бы нас великого мира душевного, уверенности и свободы, по сей день являющихся уделом христиан. Папа, кардиналы, епископы и священники, презрев добрые дела и общение в божестве, только и знали, что разъезжать верхом на конях, иноходцах, мулах и клячах, и в дни праздничные и в дни печали высматривая, где бы повеселиться и повалить дурака, словно им, и только им, было дано особое право жить в свое удовольствие. Черные монахи, белые монахи, лиловые капуцины, священники в коричневых сутанах, кардиналы в алых мантиях и аббаты в митрах огребали у народа последние крохи, и вовсе не было заметно, чтобы бесконечные поборы и подати, невзбранно взимавшиеся ими, шли на пользу небу.

Впереди церковных процессий носили тряпки, кости и бутылки, усыпанные драгоценными камнями, и люди, как стадо баранов, поклонялись им и почитали их. Святая коллегия кардиналов пекла святых, как блины, и их набралось столько, что, если бы кто захотел попросить каждого из них молиться за него, ему пришлось бы тратить на это по десять часов в день без перерыва на завтрак, обед и чай, и даже в таком случае, по подсчетам одного неоспоримо авторитетного духовного лица, вся литания заняла бы триста шестьдесят пять тысяч лет, так что у бога не было никаких шансов дожидаться своей очереди услышать, как его чада говорят о нем и возносят ему хвалы.

Сведущие люди в один голос говорили, что, для того чтобы обуздать сластолюбивых монахов, их следовало бы запирать в каменный гроб и выпускать только перекусить утром, днем и вечером под охраной ста алебардщиков, но, поскольку оберегать таким образом женский пол было слишком дорого и хлопотно, монахи пользовались полной свободой, и все девчонки на свете умели даже с закрытыми глазами и в беспамятстве отличить монаха от всякого другого мужчины. А мужчине стоило плюнуть, как ему давали по шее отлучением, и он кубарем катился в ад, без малейшей надежды когда-либо докатиться до дна; и чем глубже он падал, тем горше терпел муки и тем больнее ощущал их, и все время душа несчастного грешника, кувырком летящая в бездну, распалялась мыслью, что какой-то монах получает с процентами радости, по праву принадлежащие лишь ему одному.

Бедные люди из сил выбивались, стараясь придумать, как бы это получить поменьше благ за гробом и побольше на земле, тайно зывали к богу, и, наверно, их молитвы были услышаны, потому что примерно в это время один монах-августинец, сидевший без дела в Виттенбергском монастыре, вздумал перелистать Книгу книг, то есть библию, прикованную к пузатому столу тяжелой цепью, чтобы ее не украли те, кто не знал грамоте. И этот монах, по имени Лютер, все читал и читал при свете солнца, месяца, звезд и свечи, и до того дочитался, что чуть не ослеп, и очень удивился, потому что это было совсем не похоже на все, что он читал

— Нет, сэр.

— Там сказано, Джон: нерадивая душа будет терпеть голод. Подумай только, терпеть голод! Вот что говорит господь устами мудрейшего из людей. Нерадивая душа будет терпеть голод. Так что видишь — все мы должны остерегаться лени. — И голос, и слово, и человек деловито шагнули в дом.

Джонни собрал свои камешки, положил их в карман и прильнул к выступу окна.

— Просто ужас! Слова сказать нельзя, всегда будь начеку. Хантер-пантер-таракантер, Хантер-пантер-таракантер, — бормотал он вполголоса.

Он заглянул в окошко и увидел, как мать, мывшая пол, выпрямилась и пошла навстречу таракантеру. Стоя у самого окна, он слышал все, что они говорили.

Он слышал, как Хантер начал торжественно:

— Уверю вас, миссис Кэссиди, вашего мальчика нужно посылать в школу. Совершенно очевидно, что глаза у него много лучше, и прискорбно думать, что он с утра до вечера играет в камешки. Через несколько лет ему предстоит занять свое место в жизни, и необходимо помочь ему сделаться стойким протестантом в этой безрадостной и темной католической стране. Вы ведь знаете, что мы со всех сторон окружены католическими влияниями и каждый из нас должен всячески отстаивать права, с таким трудом завоеванные протестантской реформацией.

— Дрянтер-Хантер, — шептал Джонни. — Хантер-пантер-таракантер.

— Хорошо, сэр, — услышал он голос матери, — я с будущей недели постараюсь посылать его в школу.

— Не с будущей недели, а сегодня же, — сказал Хантер недовольно. — Сроки исполнились, день спасения наступил. Позовите его сюда и ведите в школу. Работу свою кончите, когда вернетесь. Через полчаса вы уже будете дома.

— Рваньтер-Хантер, — злобно шептал Джонни. — Хантер-пантер-таракантер.

И вот мать велела Джонни вымыть лицо и руки, надела ему чистый воротничок, и он поплелся рядом с нею в школу, а пресподобный Хантер шагал впереди.

Какое это там произошло давнишнее, лишнее, никудышное событие, что вот теперь его волокут за соглядатаем в мягкой шляпе и крахмальном воротничке, чтобы впихнуть в протестантскую школу? Не потому ли это случилось, что Моисей зазевался на неопалимую купину; или что израильтянам удалось сделать крошево из амаликитян; или что последователей Христа впервые называли христианами в Антиохии; или, может быть, всему виной

Протестантская реформация

В шестнадцатом веке простое и чистое слово божие, переданное нам апостолами, несомненно, дышало на ладан и готово было

с минуты на минуту испустить дух, что лишило бы нас великого мира душевного, уверенности и свободы, по сей день являющихся уделом христиан. Папа, кардиналы, епископы и священники, презрев добрые дела и общение в боге, только и знали, что разъезжать верхом на конях, иноходцах, мулах и клячах, и в дни праздничные и в дни печали высматривая, где бы повеселиться и повалять дурака, словно им, и только им, было дано особое право жить в свое удовольствие. Черные монахи, белые монахи, лиловые капуцины, священники в коричневых сутанах, кардиналы в алых мантиях и аббаты в митрах огребали у народа последние крохи, и вовсе не было заметно, чтобы бесконечные поборы и подати, невозбранно взимавшиеся ими, шли на пользу небу.

Впереди церковных процессий носили тряпки, кости и бутылки, усыпанные драгоценными камнями, и люди, как стадо баранов, поклонялись им и почитали их. Святая коллегия кардиналов пекла святых, как блины, и их набралось столько, что, если бы кто захотел попросить каждого из них молиться за него, ему пришлось бы тратить на это по десять часов в день без перерыва на завтрак, обед и чай, и даже в таком случае, по подсчетам одного неоспоримо авторитетного духовного лица, вся литания заняла бы триста шестьдесят пять тысяч лет, так что у бога не было никаких шансов дожидаться своей очереди услышать, как его чада говорят о нем и возносят ему хвалы.

Сведущие люди в один голос говорили, что, для того чтобы обуздать сластолюбивых монахов, их следовало бы запирать в каменный гроб и выпускать только перекусить утром, днем и вечером под охраной ста алебарщиков, но, поскольку оберегать таким образом женский пол было слишком дорого и хлопотно, монахи пользовались полной свободой, и все девчонки на свете умели даже с закрытыми глазами и в беспамятстве отличить монаха от всякого другого мужчины. А мужчине стоило пикнуть, как ему давали по шее отлучением, и он кубарем катился в ад, без малейшей надежды когда-либо докатиться до дна; и чем глубже он падал, тем горшие терпел муки и тем больнее ощущал их, и все время душа несчастного грешника, кувырком летящая в бездну, распалялась мыслью, что какой-то монах получает с процентами радости, по праву принадлежащие лишь ему одному.

Бедные люди из сил выбивались, стараясь придумать, как бы это получать поменьше благ за гробом и побольше на земле, тайно взывали к богу, и, наверно, их молитвы были услышаны, потому что примерно в это время один монах-августинец, сидевший без дела в Виттенбергском монастыре, вздумал перелистать Книгу книг, то есть библию, прикованную к пузатому столу тяжелой цепью, чтобы ее не украли те, кто не знал грамоте. И этот монах, по имени Лютер, все читал и читал при свете солнца, месяца, звезд и свечи, и до того дочитался, что чуть не ослеп, и очень удивился, потому что это было совсем не похоже на все, что он читал

раньше и что читали ему другие,— так это было хорошо и так плохо; и он все продолжал читать, а в трудных местах молился и перебирал в памяти все, что было прежде написано, и все, о чем говорилось в проповедях про ад, и рай, и землю, и то, что под землею, и про море, и то, что в нем; и наконец во всем разобрался и установил, что имеется куча противоречий, не поддающихся объяснению и только сбивающих с толку и с пути истинного простых, невинных и неразумных людей, которые рады были служить богу в духе и в истине, только бы получать хлеб насущный с меньшими трудами и по сходной цене.

Вот Лютер и стал колотить себя в грудь; колотит что есть мочи и приговаривает: прав я или не прав? И сперва ему ответил из мрака тоненький голосок, так тихо, что Лютер еле расслышал его, а потом ответил из света голос, такой громкий и пронзительный, что у него чуть не лопнули барабанные перепонки; и оба голоса звучали вместе, хоть и не в одно время, и говорили: принимайся за дело и проповедуй истинное слово божие, ибо от проповеди и от истины родятся сонмы воинов и барабанный бой, и трубный глас, и пушки большие и маленькие, и могучие военные корабли; так что, когда придет время, краснокожие, и желтокожие, и чернокожие люди станут верными, богобоязненными и всепокорными слугами белого человека.

И Лютер воспрянул, как отдохнувший великан, и, собравшись с мыслями, с силами и с духом, ясно увидел: церковь только о том и заботится, как бы отложить побольше про черный день, что противно изложенному в Священном писании и создает лишнюю волюнку для великого множества душ, которые, шаркая, кряхтя и отдуваясь, движутся по дороге в Мандалей, чтобы в рай попасть скорей.

Поэтому Лютер велел простым людям, чтобы они попросту перестали подчиняться правилам и установлениям и своим умом доходили до того, что истинно, что честно, что справедливо, что хорошо и что достойно доброй славы, и сами решали бы, во что им верить, и как говорить, и как поступать, обращаясь к библии, и только к библии, как к источнику познания всего, что было, есть и будет.

А папа и кардиналы ополчились на него, и преследовали его, и всячески старались обмануть и распять его, но Лютер не дрогнул под их напором, перед всем этим вздором и яростным хором и смеялся им прямо в злующие рожи, говоря, что им придется здорово попотеть, если они надумали заткнуть ему глотку. И Лютер продолжал вещать истину, исходящую прямо от бога, и государи и многие богатые купцы, которые служили только истине, той, что живет во Христе и жила в Лютере, и остерегались обижать своих ближних в торговых и неторговых делах, сплотились, и сгрудились, и ютились, и носились вокруг молодчаги-реформатора, и подбодряли его, говоря, что господь — неплохая подмога в трудные минуты, так что Лютер поверил им, поплевал на руки и го-

ворит: пусть только подступятся! — и с этого часа стал силен и крепок во всех делах и доказательствах своих.

Тут Лютер решил, что медлить больше нечего, и засучив рукава в два счета покончил с торговлей индульгенциями — очень выгодным суеверием, позволявшим делать все что угодно — от игры в орла и решку до человекоубийства, — лишь бы не забывать сунуть плату в задний карман поповских штанов. И большие и малые государи, маркграфы, ландграфы и просто графы, и купцы, торговавшие золотом, серебром и шелками, и купцы, торговавшие черным деревом, слоновой костью, кофе и чаем, обнажили мечи и подбодряли Лютера криками: валяй, Мартин, старина, во имя божие, поддай им горяченьких и выпусти из них кишки да покажи им, что господь наш — бог всеблагой и милостивый, царствующий над народами, а душам простым и чистым достаточно прочесть два-три стиха из библии, чтобы все постигнуть и научиться справедливо поступать с людьми настоящими, прошедшими и будущими; и имя твоё будет знамя, и клич, и щит для всех очищенных от папства протестантов, доколе солнце движется и земля стоит на месте.

Тогда Лютер рассердился и нашел великое множество доказательств тому, что самые загадочные изречения, перед которыми даже архангелы становились в тупик, просты и понятны для детей и грудных младенцев, если они действительно хотят узнать, где истина и где ложь, как о том сказано у святых апостолов и пророков.

Но дьявол, обеспокоившись за свое положение, разжег злобу в сердцах папы, кардиналов, аббатов и аббатисс — и они затеяли кровопролитную войну со всеми, кто хотел следовать заповедям божьим просто и с чистой душой, и много жестоких побоищ произошло между последователями бога, с одной стороны, и последователями сатаны — с другой, так что и тут и там тысячи людей были убиты при попытках спасти христианскую церковь от гибели.

Но Лютер, в мире с богом и с самим собою, продолжал очищать, и защищать, и подправлять, и растравлять христианскую веру, так что перепуганные кардиналы в красных шапках, глядя из высоких окошек, видели, как люди весело идут по улицам, задрав головы, потому что небеса раскрываются им, и убоялись кардиналы в сердце своем. Видя, какое оживление царит среди истинно верующих днем и ночью, без всякой помехи, и слыша, как люди возносят к богу простодушные песнопения, они торопливо прятались за занавески и не знали, что им делать.

А истина, то есть правда, вся правда и ничего, кроме правды, ей-богу правда, распространялась быстро, как пожар, и с громом, и звоном, и стоном докатилась до тех, кто только и делал, что искал ее, так что люди миллионами становились в очередь, чтобы почитать библию, и ребят с собою брали, и пока родители читали Книгу книг, ребята качались на цепях, которыми библии были

прикованы к столам, и жизнь человеческая наливалась и переливалась красотой и небывалым блаженством, ибо сердца людей были исполнены мира.

И случилось так, что сердца тех, кто не обладал истиной, распались против обладавших ею, и пошел великий спор о слове: откуда оно, и где находится, и куда идет; и люди стали нападать друг на друга в жестокой вражде, которая длится и по сей день. И тем, кого брали в плен не обладавшие истиной, отрубали правую руку, и отсекали нос снизу вверх, и сжигали их на костре, головою кверху; обладавшие же истиной были милосердны к своим пленникам, ибо они отрубали им только нос, и сжигали их, не касаясь головы, и они умирали гораздо быстрее.

В конце концов реформация захватила частично Ирландию и принесла с собой любовь к истине, любви, миру, радости и честности. Англия все росла, и стала у нее лучшая в мире флот, и обширнейшие в мире бюджеты, и она завоевывала новые земли, и в мире государственные мужи, и она завоёвывала дикарей, причем дикие народы укрощала с любовью и большим терпением, так что краснокожие, и чернокожие, и желтокожие стали совсем ручными; и все это делалось для того, чтобы свершилось сказанное пророками об удивительных людях, которые никогда не теряли веры в Книгу книг, то есть Библию.

Две-три волны той истины, что жила в Лютере, докатились до Ирландии, и когда пришло время, там родился протестант — преподобный Хантер, ставший служителем церкви, и протестант Джонни, которого теперь волокли по улице вслед за преподобным мучителем в мягкой шляпе, крахмальном воротничке и с головой, как яйцо, чтобы причислить к ораве учеников, увязших и безнадежно блуждающих среди мусора жалкого образования, предусмотренного церковью и государством для детей бедняков, которым нечем платить за что-нибудь лучшее.

Хантер и Джонни с матерью подошли к воротам школы.

— Сюда, — сказал Хантер. — Если ты будешь очень стараться, ты станешь хорошим мальчиком и господь благословит тебя.

И духовный пират вперевадку пошел своей дорогой, а Джонни с матерью двинулись в мрачную темноту подъезда, за которой таился еще более глубокий мрак школы.

ТОЛЬКО ВО СНЕ

В темном подъезде Джонни попытался назад, стараясь вырвать руку из цепких пальцев матери, и захныкал: — Доктор сказал, мне ничего нельзя делать, а только есть побольше и бывать на свежем воздухе.

— Что здесь, что дома глаза портить,— ответила мать.— Ведь ты целыми днями рассматриваешь картинки в книжках, которые остались после твоего бедного отца. А кроме того, твой отец не обретет покоя на небесах, если его сын будет расти неучем.

Она открыла дверь, тяжелую, как дверь тюрьмы, втокнула туда Джонни, и он сразу окунулся в пучину страха. Они подошли к кафедре, за которой директор школы проверял тетрадки старшеклассников. Это был шестидесятилетний человек с бесцветными глазами, украдкой оглядывающими всех и вся. Пучки седых волос ореолом окружали его розовую лысину, седые бакенбарды спорили белизной даже с бледностью лица, причиной которой, как Джонни узнал потом, было тайное пристрастие к виски. Он был родом из Коннемары и знал гэльский язык, фамилия его была Слоган.

Директор искося посмотрел на Джонни и его мать и тут же отвел от них глаза.

— А! — сказал он.— Это тот самый умненький мальчик, о котором мне говорил пастор? Что ж, добро пожаловать! — и погладил Джонни по голове своей костлявой, белой, со вздувшимися венами рукой.— Не бойся мальчик,— продолжал он, притягивая Джонни к себе и в упор глядя своими белесыми глазами в его испуганный глаз, потом вдруг выхватил из-под кафедры похожую на змею трость и поднес ее к здоровому глазу мальчика.— Вот, можешь убедиться, эта штука не такая уж страшная.

— Джонни у меня хилый,— тихо проговорила мать.— Вы с ним помягче, у него зрение плохое.

— Мы наказываем наших учеников только по мере надобности,— сказал директор и усмехнулся, не разжимая губ. Он встал и, взяв мать Джонни за локоть, повернул ее лицом к двери.— Ступайте домой, уважаемая, и возблагодарите бога, что ваш сын приобщится к тому, что приносит детям только пользу.

Директор подвел Джонни к младшему классу, который бормотал вслух примеры по арифметике, и посадил на скамью между двумя мальчиками, сказав при этом: — Веди себя хорошо, смотри на учителя и повторяй вместе со всеми то, что говорит учитель.

— Четыре плюс один — пять, четыре плюс два — шесть, четыре плюс три — семь, четыре плюс четыре — восемь,— монотонно тянули все хором, а Джонни тем временем мечтательно разглядывал здоровым глазом зеленые, коричневые, желтые и лиловые страны на карте мира и ярко-красные Британские владения, и вокруг всего этого бледно голубели моря и океаны, а все дети во всем огромном мире бормотали четыре плюс пять — девять, четыре плюс шесть — десять, четыре плюс семь — одиннадцать, и так было повсюду, и в лиловых, и в красных, и в зеленых, и в желтых странах, расстилавшихся вокруг него, когда он шел, бормоча: четыре плюс восемь — двенадцать, четыре плюс девять — тринадцать,— по широкой белой дороге, по дороге, белой,

как падающий снег, вдоль которой и справа и слева росли нарциссы величиной с чайную чашку, и нарциссы все кивали и кивали ему головками, когда он шел по белоснежной дороге, и вытягивались на стебельках, подставляя свои цветы большим черным пчелам с алыми поясками на животе и большим красным пчелам с черными поясками на животе, а лиловые бабочки с шелковистыми черными крапинками на кончиках передних крылышек и шелковисто-золотыми крапинками на кончиках задних крылышек ощупывали алыми хоботками колокольчики желтых нарциссов, а зеленые бабочки с темно-синим блестящим зигзагом узора на крыльях, которые были шире самой широкой человеческой руки и с бронзовой каемкой по краям, и бабочки еще больше с передними крылышками белыми, в зеленую звездочку и с задними крылышками зелеными, в белую звездочку летали и кружились над чудесной зыбью золотых нарциссов.

Небо здесь было гораздо синее синевы сине-крапчатых бабочек, и по нему плыли белые облака — плыли так низко, что самые нижние золотились отсветами нарциссов. Вдоль дороги, по которой шагал Джонни, росли красивые деревья, и от них шел то запах тмина, то запах корицы. Некоторые деревья сгибались под тяжестью цветов, а на других росли лиловые сливы, каждая величиной с яблоко, а вишни — крупные, как самые крупные сливы, сотнями краснели на ветках, и, шагая по белой дороге, Джонни наелся вишен и слив досыта.

Потом дорога свернула и вывела его к высоким-превысоким бронзовым воротам, и на одной створке этих высоких бронзовых ворот были фигурки кованого серебра: мальчики, которые били в золотые барабаны, а на другой створке этих высоких бронзовых ворот были фигурки кованого золота: мальчики, которые трубили в серебряные трубы, а над головами мальчиков, бивших в барабаны и трубивших в трубы, было написано слово ШКОЛА. Джонни стал там, дивясь всему этому, и пока он стоял и дивился, обе створки ворот — и та, на которой фигурки кованого серебра били в золотые барабаны, и та, на которой фигурки кованого золота трубили в серебряные трубы, — начали медленно открываться.

Когда ворота распахнулись настежь, оттуда выбежали два мальчика, похожие на птиц, с короткими острыми копытами в руках, и они оба низко поклонились Джонни, говоря: — Радуйся, чадо господне, наследник царства небесного! Войди, дабы мудрость, восседающая на престоле владык, могла уготовать путь твоему крошечному разуму к познанию величия и тайн жизни, которая есть и которая будет!

Похожие на птиц мальчики с копытами в руках бережно ввели его в раскрытые ворота. И, почувствовав, как он дрожит, они сказали ему: — Не тревожься в сердце своем, малыш! — Потом они протянули копыта к его глазам, и он увидел, что их острия сделаны из сладкого шоколада, искусно обернутого тончайшей серебряной

фольгой. И все втроем они вошли в чудесную аллею, где по обеим сторонам росли лавро-лилии, все усыпанные большими колокольчиками цветов, которые по утрам бывали прозрачно-белые, днем золотисто-пунцовые, а к закату отливали густым багрянцем. Потом — в другую аллею, поуже, где по обеим сторонам росли крокус-лилии, и наконец пришли на крохотную лужайку с зеленой-презеленой травой и только что распустившимися цветами, и там среди примул сидел седобородый старикан, который спросил у Джонни, как его зовут и где он живет, и записал все это золотой ручкой со сверкающим изумрудным пером на большой белой аспидной доске, оправленной драгоценными камнями. Потом Джонни повели мыться в ванне, спрятанной среди кустов цветущего боярышника, и вода в ней была теплая и чудесно пахла. Когда он вымылся, его натерли душистыми маслами, и после этих натираний кожа у него стала нежная, как у младенца, а потом Джонни одели в шелка, мягкие, точно молодая, росистая луговая травка. После этого ему сказали, что он волен гулять, где хочет, и играть с большими и маленькими детьми, которых здесь было великое множество на всех холмах, лужайках и в долинах.

На каждом холме поднималась башня, и на каждой башне стоял часовой, который следил, не устал ли кто из детей и не надо ли кому посидеть и отдохнуть на мягком мхе. А если детям хотелось есть, часовой приказывал дать проголодавшимся кусок коврижки, намазанный вареньем. Кроме того, у каждого часового была наготове иголка с продернутой в нее ниткой, чтобы действовать без промедления, если у резвящихся детей лопнут штанишки по шву или оторвется пуговка. Дорожки в саду были узорчато вымощены плитками ярких цветов — красными, зелеными, лимонными, ультрамариновыми, оранжевыми и черными. Подружившись кое с кем из ребят, Джонни обнаружил, что мало кто из них говорит по-английски, так как английский — трудный язык, поэтому они объяснялись между собой большей частью по-латыни, и когда кто-нибудь из них приходил, его спрашивали *quo vadis*¹, а уходящим говорили на прощанье: вино видит вице-король². Справа и слева тянулись вдаль на десятки миль апельсиновые рощи и лимонные рощи, и апельсины были вкуснее самого вкусного сахара, а лимоны таяли на языке, как мед, и отдавали еле заметной горчинкой. Груши, яблоки, сливы и вишни стояли повсюду, и они были так искусно выращены, что даже карапузы, ковылявшие под ними, доставали до самых высоких веток, если могли удержаться на ногах, став на цыпочки. К буковым деревьям были подвешены качели, а на грядках с крупной красной земляникой, в гнездышках, сплетенных среди мха из камышинок, спали младенцы. Все дети — и постарше, те, что бе-

¹ Камо грядеши? (лат.)

² Искаженное латинское *veni, vidi, vici* — пришел, увидел, победил.

гали, прыгали, качались на качелях, играли в пятнашки, и младенцы в камышевых гнездышках — все пели стройно, как один человек: «Нам хорошо здесь и ночью и днем». За детьми следили добрые женщины с тростями в руках. Провожатые Джонни сказали ему по-латыни, что этим женщинам велено сечь детей, если кто-нибудь из них хоть на одну-единую секунду перестанет пользоваться здешними благами и радостями, так как дети ни на миг не должны забывать, что они братья во Христе, чада господни и наследники царства небесного.

В зарослях цветов стояли рядами крохотные уборные с низенькими сиденьями, среди них расхаживали сотни курлыкающих нарядных павлинов, над уборными склоняли свои ветви душистые кусты, и на этих душистых кустах сидели крохотные птички — красные, синие, лиловые, зеленые и желтые, которые начинали щебетать хором, когда кто-нибудь из ребят заходил в уборную и выполнял там свой долг по отношению к самому себе и ко всему человечеству в целом.

Солнце здесь всегда было ласковое, и с неба никогда ничего не падало, если не считать легкого дождика пыльцы, которая сыпалась с ножек порхающих всюду бабочек и пчел. Кролики — черные с белыми головками и кролики с черными головками, а сами белые, выбегали вечером из густых зарослей вереска с крупными, как наперсток, лиловыми и белыми цветами и играли с детьми до тех пор, пока на небо не выходила луна.

Потом где-то негромко зарокотал рожок, и все сели ужинать, а на ужин были фрукты с белоснежным хлебом, который пекли в фарфоровых духовках и покрывали сверху густым слоем дикого меда, собранного с утра пораньше по дуплам высоких деревьев. А когда наступила настоящая ночь и у детей уже не было сил играть и веселиться, они тихо легли спать на клумбах, где росли резеды и гиацинты, и оранжевая луна смотрела им прямо в лицо с лилового неба, в каждом уголке которого весело толклись молодые звездочки.

Вдруг из гиацинтов и резеды что-то выползло, и руку ему обожгло острой болью. Он вскинулся и крикнул во весь голос. Вокруг него громко смеялись. Он сдвинул повязку со здорового глаза и увидел белесые глаза учителя. — Разве здесь полагается спать? — спросил Слоган, а Джонни поднес руку к губам и лизнул ее, чтобы унять саднящую боль. — Разве здесь полагается спать? — снова спросил учитель. — Отвечай, да или нет? — Нет, сэр, — пролепетал Джонни. — Вытяни левую руку, — сказал учитель, — сейчас мы угостим и ее, пусть горит наравне с правой, может, они обе удержат тебя от сна хоть на две минуты.

Джонни вытянул руку, и трость молнией ударила ему по ладони, так что нестерпимая боль отозвалась у него в мозгу и дрожью пробежала по всему телу. Он сунул левую руку подмышку и крепко зажал ее там, стараясь перебороть боль. Он опустил голову, чтобы скрыть слезы, хлынувшие у него из глаз.

— Легкий удар по ладони, и уже слезы градом, — сказал учитель. — Видали такого героя, мальчики? — И класс ответил ему хихиканьем.

— Заложил руки за спину, мальчик, — сказал Слоган. — Руки за спину, голову вверх и смотри на учителя! — рывкнул он.

Взглянув мельком на красные рубцы, делившие обе его ладони пополам, Джонни заложил руки за спину и устремил на учителя тоскливый взгляд.

— Трижды один — три, трижды два — шесть, трижды три — девять, трижды четыре — двенадцать, — бубнил класс.

Долговязый, широкоплечий мальчик, лет, может быть, четырнадцати, с копной рыжих волос и с физиономией бульдога, умеющего улыбаться, молча, скривив губы, наблюдал за всем происходящим и теперь свирепо уставился на учителя. Он — Джерджи Миддлтон — был единственный ученик во всей школе, которого Слоган не осмеливался пороть.

Слоган постоял минуту, слушая, как младшие зубрят урок. Потом он повернулся и пошел к старшекласникам.

— Позор! Неслыханный позор — бить такого заморыша! — громко сказал Миддлтон, когда Слоган проходил мимо него.

СНОВА БОЛЕЗНЬ

Жгучая, резкая боль, то усиливаясь, то ослабевая, то снова усиливаясь, сказала Джонни, что старая, почти зажившая язва уступила место новой и что ему снова предстоят долгие часы мучений.

Это все школа, это все оттого, что я хожу в школу, — думал он. Когда его глазам стало легче, он не мог удержаться от искушения и силился рассмотреть, что пишет на доске учитель, не мог он также не заглядывать в книжки с картинками, по которым учились в классе, и не прислушиваться к тому, о чем говорит учитель. И вот что получилось от всего этого — долгие ночи бессонного метания в постели, и каждая бессонная минута пронизана болью.

Будьте вы прокляты, все школы, сколько их ни построено на земле, и все учителя, сколько их ни родилось на свет! Как они бесили его, когда начинали поучать! Всякая боль от бога и от рвань-дрянь-чванного святоши Хантера, и бог поможет всем хорошим и терпеливым детям вынести боль; а хитрый пролаза Слоган тоже поддакивает святоше Хантеру, тоже твердит, что было бы очень дурно, если б дети прожили свои самые юные годы, совсем не зная страданий, что тогда с ними сладу не было бы и что, хотя люди этого не знают, за всем, что им приходится выстрадать, скрывается высокая цель; а рвань-дрянь-чванный святоша Хантер и тут переплюнул его, прибавив, что бог посылает нам страдания, чтобы испытать нас, и если мы все переене-

сем как должно, без ропота, то выйдем из испытаний подобно чистому золоту, выходящему из горнила, и воссияем перед сонмом ангелов небесных, которые не могут чувствовать боли, даже если бы и хотели, и то-то посмеялись бы они, если б им пришлось видеть, как рвань-дрянь-чванный святоша Хантер и хитрый пролаза Слоган корчатся и катаются от той самой боли, которая сейчас колет мне глаза, словно шилом!

Беспокойно ворочаясь на кровати, он звал и звал свою мать, и та сразу же бросилась к нему, как только услышала его зов.

— Мне опять больно, мама, опять больно,— стонал он,— мне опять больно,— и, повернувшись на живот, глубоко уткнулся головой в жесткую и комковатую подушку, едва-едва приподнимавшуюся над матрацем.

— Может, тебе только так кажется,— ласково сказала мать.

— Кажется! — передразнил Джонни.— Говорят тебе, что не кажется! — крикнул он, а потом прибавил: — Вот и видно, как ты обо мне заботишься.

— Мы поедем в больницу, и капли тебе опять помогут.

Она намочила тряпку в холодной воде, обвязала ему виски и, когда тряпка нагрелась от болезненного жара, сняла ее, снова намочила в холодной воде и снова обвязала ему виски.

— Постарайся заснуть, Джонни,— сказала она усталым голосом,— ведь мне надо встать в пять часов и накормить Арчи завтраком, перед тем как он уйдет на работу.

— Вот как ты обо мне заботишься,— простонал он,— тебе и дела нет до моей болезни.

Она долго не ложилась, снимала, смачивала, прикладывала тряпку, пока он не забылся тревожным сном, но наконец и сама свалилась рядом с ним и задремала, чутким ухом ловя сонный стон, дававший ей знать, что Джонни проснулся и что боль снова усилилась.

Утренний свет забрезжил в окне, коснулся ее едва сомкнувшихся глаз, и она проснулась, вся разбитая, встревоженная и усталая. Напрягая зрение, она с трудом вглядывалась в циферблат старого будильника и увидела, что стрелка движется к пяти. Разбитая и усталая, она поднялась с постели, где лежал Джонни, затопила плиту, поставила чайник и села дожидаться, пока он вскипит. Как только чайник зашумел, она разбудила Арчи, а когда вода вскипела, она заварила чай, налила себе чашку и выпила ее в задумчивости.

Похоже на то, что ее младший сынок ослепнет. Странно, что доктора не говорят ей, отчего он болеет, а если б она могла сунуть им гинеи две, так, небось, живо сказали бы. Бежишь в больницу, торопишься, там пустят капли ему в глаза и норовят поскорей выпихнуть опять за дверь, и дело с концом. Одному богу известно, много ли пользы было бы им знать, и ему и ей, отчего он болеет.

Она посмотрела на портрет королевы Виктории с короной на седых волосах и белой вуалью, спускавшейся на шею и обнаженные плечи. В этой маленькой короне столько брильянтов, что на них ее семья могла бы прожить всю жизнь, да еще осталось бы кое-что и бедным. Венец из брильянтов, терновый венец, а ее сынку — венец из мокрой тряпки, для того чтобы унять боль в висках.

Питайте вашего мальчика как можно лучше. Бульон, овсянка, молоко, масло, яйца — еще не надо ли и цветов, если останутся деньги? Что ж, легко докторам прописывать разные разности, когда не им приходится за это платить.

Она приготовила завтрак для Арчи; он вышел в кухню заспанный, наскоро выпил чай с гренками и побежал в редакцию «Дейли экспресс», процветавшей в то время газеты богачей и всего ирландского духовенства, издателем которой был некий мистер Монсел, — в редакцию, где Арчи работал с шести утра до семи вечера за десять шиллингов в неделю. В восемь мать приготовила завтрак для Джонни, нарезав еще хлеба и подлив кипятку в настоявшийся чай. Она поставила на стол две чашки с блюдечками, сахарницу, до половины насыпанную сахарной пудрой, на полпенни молока в молочнике, драгоценного молока, которого должно было хватить на троих на весь день, хотя бы для того только, чтобы окропить каждую чашку с чаем. Приготовив все это, она взглянула на закутанную фигурку на кровати, на худое, измученное лицо, почти скрытое мокрой тряпкой вокруг висков, вздохнула и прошептала: что ж, могло случиться и хуже — он мог бы родиться слепым, и тогда уже не оставалось бы никакой надежды.

Она подошла к кровати и осторожно потрясла спящего мальчика за плечо. Он потянулся и пробормотал: — Хорошо, сейчас встану.

— В больницу, Джонни, нынче утром в больницу, — сказала она, расталкивая его уже не так осторожно. — Если мы не попадем туда к половине десятого, то просидим там весь день. Чайник кипит, можно промывать глаза. Садись сразу, так-то лучше будет, оттягивать куда хуже.

Она принесла к постели миску с горячей водой и помогла ему промыть глаза, так что веки наконец разлепились и он мог открыть тот глаз, который назывался здоровым. На больной глаз она наложила повязку, потом Джонни оделся и сел завтракать. Мать притушила огонь, засыпав его угольной пылью, потом вымыла посуду после завтрака и надела шапку на голову Джонни. Из комода она достала карточку, которая давала Джонни право лечиться в больнице. Взглянув на число, она обнаружила, что карточка просрочена на два дня, а сейчас ей неоткуда было взять полшиллинга на оплату. Может быть, там и не заметят, хотя швейцар довольно часто проверяет карточки, следя за тем, чтобы платные больные вносили деньги вовремя. Что ж, придется рискнуть.

Второпях они добсжали до конца улицы и сели на конку, которая за один пенни довезла их почти до самой больницы, и Джонни опускал голову на грудь каждый раз, когда солнце выглядывало из-за серых туч, собиравшихся в небе. Скоро они уже сидели на полированной сосновой скамье в приемной для проходящих больных. Каждые пять или десять минут в комнате, где принимали врачи, звонил колокольчик, сидевший у двери пациент вставал и входил в кабинет для осмотра и лечения, а остальные подвигались вперед, освобождая место вновь пришедшим. Наконец и Джонни с матерью очутились у самых дверей и сидели в ожидании звонка, возвещавшего, что доктор готов их принять. Она сняла повязку с головы Джонни, чтобы не задерживать с осмотром, потому что доктора не любят тратить время попусту. Звякнул колокольчик, они вошли, и на этот раз их принял красивый молодой человек, который стал теперь штатным врачом больницы. Молодой доктор велел сестре принести историю болезни, хранившуюся для справок в больничной регистратуре. Просмотрев историю болезни, он взглянул на мать с сыном. Джонни стиснул зубы, когда врач поднял ему голову, чтобы осмотреть глаза: свет, вливавшийся в огромные окна, резал их, словно ножом.

— Гм,— промычал молодой человек,— и этот тоже. Левый глаз сильнее болит уже несколько дней, правда? А вы у нас почти месяц не были.

— Глаза у него как будто бы не болели, сэр, я и подумала, что больше приходить не надо.

— Это наше дело решать, ходить ему или нет. На будущее время он должен ходить в больницу, пока доктор не скажет, что больше лечиться не нужно.

— Ему надо ходить в школу,— прошептала мать.

— Господь с вами, моя милая,— сказал доктор.— О школе не может быть и речи, пока глаза у него в таком состоянии.

Доктор мельком оглядел ее поношенное платье.

— Он, должно быть, плохо питается?

— Да, сэр, неважно.

— Ну так вот,— внушительно сказал доктор,— если он не может есть сколько нужно, то пускай дышит воздухом как можно больше. Воздух, воздух и воздух: держите его на воздухе с утра до ночи.

— На уроках он ничего не делает, сэр, только сидит и слушает. Наш священник велел ему ходить в школу, он сказал, что это Джонни не повредит.

— Это мое дело решать, а не священника,— отрезал доктор.— Как зовут вашего священника?

— Его преподобие Т. Р. С. Хантер, сэр.

Врач быстро написал что-то на больничном бланке.

— Передайте это вашему священнику,— сказал он и прочел вслух написанное: «Его преподобию Т. Р. С. Хантеру. Как мне из-

вестно, Вы заставляете моего пациента Джона Кэссиди ходить в школу. У мальчика настолько плохое зрение, что не может быть и речи о посещении школы. Ему нужно как можно больше бывать на воздухе — в парке, на улице, где угодно. Таковы мои строгие предписания: ни в коем случае не препятствуйте матери Джона выполнять их. Врач Р. Джойс». Отдайте это вашему священнику, — сказал он, протягивая записку матери Джонни.

Она не взяла и только прошептала:

— Я не посмею отдать ваше письмо священнику, сэр.

— Почему же не посмеете? — спросил доктор.

— Он рассердится, а когда-нибудь после это может повредить мальчику, сэр.

Доктор помолчал с минуту, потом медленно изорвал записку в клочки и бросил под стол, в корзину для бумаги. — Не знаю, чем священник поможет мальчику, если он ослепнет; разве напишет прошение, чтоб его приняли в приют для слепых.

Он передал ей рецепт и прибавил: — Получите это в аптеке и приведите ко мне мальчика в среду, все равно, будет он ходить в школу или нет, — и тут же позвонил, чтобы к нему впустили слепого пациента.

Дождавшись прописанного лекарства, они вышли из больницы, сели на конку и вернулись домой.

Ни тот, ни другая не обмолвились ни словом о школе, но Джонни в душе ликовал, что теперь надолго-надолго, быть может на целые годы, он избавится от мучения сидеть тихо и неподвижно среди сонного бормотания складов и задачек.

И он с радостью проглотил ложку сиропа Парриша, хотя перед этим у них не было никакого обеда, и, бойко заметив, что новый молодой доктор, должно быть, станет со временем очень хорошим доктором, улегся отдыхать на волосяном диване, перед тем как выйти на улицу.

А мать, подвязавшись мешком, чтобы не намочить платье, принялась мыть полы в комнате. За работой она пела, и Джонни смотрел, как сверкают ее большие черные глаза.

Как летняя роза, мила и красива,
Не красой моя Мэри пленила меня:
В глазах ее чистая правда светилась,
Вот за что полюбилась мне роза моя!

Это было куда лучше, чем тянуть нараспев склады и задачки. И Джонни тоже запел вместе с матерью:

Как летняя роза, мила и красива,
Не красой моя Мэри пленила меня:
В глазах ее чистая правда светилась,
Вот за что полюбилась мне роза моя!

— Громче, мама, громче пой, — сказал нараспев Джонни, — пускай весь дом слышит.

Вдруг оба они разом оборвали пение и прислушались. Кто-то постучал в дверь костяшками пальцев. Опять постучал. Мать

проворно сбросила мешок, сунула его под диван, подбежала к двери, открыла ее, и, боже ты мой, это был сам пастор.

— Я зашел насчет вашего Джонни,— сказал он.— Мистер Слоган говорит, что он уже несколько дней не ходит в школу. Это печально, миссис Кэссиди, очень, очень печально.

— У него опять плохо с глазами,— ответила мать, нервно теребя листья герани, которая росла в горшке под окном.— Доктор дал мне строгое предписание не пускать его в школу.

— Доктора ошибаются, а больные помирают,— насмешливо заметил пастор.— Если бы все мы выполняли предписания докторов, то сидели бы сиднем у печки. Чем поможет ему доктор впоследствии, когда мальчику придется пробивать себе дорогу в жизни, не умея ни читать, ни писать?

— Ему теперь надо три раза в неделю ездить в больницу,— сказала мать,— и в эти дни мы не успеваем вернуться раньше двенадцати.

— Ну что ж, пускай приходит в школу после того, как вернется из больницы. Я попрошу мистера Слогана, чтобы он в эти дни не отмечал, что Джонни отсутствует, но только с тем условием, что он будет приходить в школу позже, так что, сами видите, у вас нет никаких причин держать его дома. А теперь, будьте добры, наденьте ему шапку, и я отведу его в школу.

Мать Джонни после некоторого колебания достала шапку Джонни и молча надела ему на голову.

— Впоследствии ты и сам будешь рад, что твой пастор заставил тебя ходить в школу,— сказал священник,— а теперь пойдем-ка. Если глаза будут очень болеть, мистер Слоган отпустит тебя раньше других.

— Они и сейчас болят,— проворчал Джонни,— мама же слышала, что сказал доктор.

— Не спорь с матерью,— укоризненно сказал пастор,— она лучше тебя знает, что тебе полезно.

Джонни неохотно вышел из дому, держась за руку Хантера. В школе пастор нажал на щеколду, отворил дверь и тихонько толкнул мальчика в класс.

— Теперь ступай и будь умницей,— сказал он и, осторожно закрыв дверь, ушел по своим делам.

Джонни постоял с минуту в нерешительности, прислушиваясь к бормотанию школьников, нараспев повторявших уроки. Потом тихонько вошел в класс, чтобы вместе с ними твердить нараспев склады и задачки.

ЧАДО ГОСПОДНЕ

Месяца через два левый глаз Джонни, который всегда был у него хуже, немного подлечили, и теперь он мог искоса поглядывать им на мир божий, так как правый все еще был закрыт плотной повязкой.

— Если он посещает занятия, я не вижу, почему бы вам не пускать его в воскресную школу и в церковь,— сказал преподобный мистер Хантер, поглаживая свою длинную черную бороду, простроченную сединой.— Нельзя же позволить, чтобы мальчик рос язычником. Чем скорее он приобщится к тому, что умиротворяет душу, тем лучше, миссис Кэссиди. Пусть сидит в классе, слушает учительницу и поет гимны вместе со всеми.

Пухлая рука легла на голову мальчика и погладила плотную повязку.

— Надо поступать так, как велит господь,— сказал преподобный мистер Хантер,— если ты хочешь, чтобы господь исцелил твои больные глаза и помог тебе переносить страдания, которых никому не избежать. Помни, Джон, про золотой венчик, уготованный господом для тех мальчиков, кои терпеливо сносят боль и с радостью выполняют волю его. Ведь тебе хочется ходить в воскресную школу и в церковь, молиться господу вместе с другими мальчиками и возносить ему хвалу? Скажи: хочется? — И пухлая рука снова погладила повязку.

Забинтованная голова низко склонилась на грудь, но мальчик промолчал.

— Конечно, хочется, он с радостью пойдет,— сказала мать.

— Пусть мальчик говорит сам за себя, миссис Кэссиди. Тебе хочется в воскресную школу и в церковь, Джон?

Все трое стояли молча.

— Отвечай же его преподобию мистеру Хантеру: да, хочется,— сказала мать.

— Я вас очень прошу, миссис Кэссиди, дайте мальчику ответить самому. Тебе хочется в воскресную школу и в церковь? — спросил он в третий и последний раз.

— Нет, не хочется, ни в церковь, ни в школу,— пробормотал мальчик.

— Нельзя так говорить, Джонни,— сказала мать.— Ты же любишь и церковь и воскресную школу.

— А почему тебе не хочется в воскресную школу и в церковь? — спросил почтенный муж и пастырь.— Ну, отвечай, Джон, и помни: господь слушает тебя.

Мальчик поднял голову и посмотрел незабинтованным глазом в холодное, грубое лицо почтенного мужа, наполовину закрытое черной бородой и широкими полями круглой пасторской шляпы.

— Доктор сказал, что мне нельзя утомлять глаза, а потом, я не люблю воскресную школу и церковь.

— Вздор, вздор! — сказал почтенный муж и пастырь.— Церковь и школа не могут повредить зрению, а если ты не будешь соблюдать святость дня субботнего, не будешь возносить хвалу всевышнему и полагаться во всем на его волю, тогда не надейся, что господь поможет доктору вылечить твои глаза. Мой сын и дочери ждут не дождутся воскресного дня и с радостью идут в школу и в церковь.

— Да-а,— сказал вдруг мальчик,— им волей-неволей надо ходить: у них отец священник.

— Он пойдет в воскресенье и в школу и в церковь,— быстро проговорила женщина.— Что бы там ни было, а без религии я сына не оставляю.

— Во всяком случае, это уберезет его от улицы,— сказал почтенный муж и пастырь.— А теперь преклоним колена и вознесем молитву отцу нашему небесному.

Женщина стала на колени и облокотилась о сиденье стула; мальчик опустилс я рядом с ней, и пастырь, тоже ставший на колени, лицом к ним, сказал холодным, грубым голосом: — Господи, отец наш небесный, податель всяческих благ, даруй благословение свое этой женщине и этому отроку, дабы она могла воспитать его в познании бога и в страхе божием и дабы он научился покорно и с благоговением склоняться перед теми, кто поставлен над ним, перед пастырями своими, наставниками, руководителями и отцами духовными и вырос бы достойным возносить мольбы к тебе о благословении и милости. Господи Иисусе Христе, прими молитву нашу.

Женщина пробормотала аминь, и, поднявшись с колен, они все трое снова обратили лицо к миру.

— До свидания, миссис Кэсиди,— сказал почтенный муж и пастырь.— Я уверен, что Джон будет вести себя хорошо и не станет доставлять огорчений своей матери.— И прочь заковыляла эта чернобородая, пучеглазая, елейная стряпуха слова божия, сдабривающая волю господ а своей волей.

В воскресное утро, хмурое от неустанно моросящего дождя, когда Джонни заладил, что доктор не велел ему ходить в школу, мать пресекла его воркотню коротко и ясно: — Вот вырастешь, будешь искать работу, и тогда тебе очень пригодится рекомендация пастора: священники везде имеют руку.— И мальчика собрали в школу: повязали бинт, выстиранный еще с вечера, почистили щеткой старенький матросский костюмчик, чтобы вид у него был не такой жалкий; ваксой «Куни» навели блеск на башмаки с рванными подошвами, а внутрь сунули картонные стельки, в надежде, хоть и слабой, что они защитят его от сырости и он вернется домой с сухими ногами; и, наконец, на голову ему надели выцветшую бархатную бескозырку с потрепанными ленточками и надписью золотыми буквами: «Кондор. Флот Е. К. В.»¹, чего, пожалуй, этот головной убор и не заслуживал.

— Смотри же, помни,— сказала мать, оправляя его напоследок,— если пастор заговорит с тобой, отвечай ему вежливо и не забудь снять шапку.

— Мама, ведь доктор не велел мне ходить в школу.

— Не доктору тебя растить и не доктору отбиваться от пастора, так что, если мистер Хантер спросит тебя еще раз, хочешь

¹ Флот Ее Королевского Величества.

ли ты ходить в воскресную школу и в церковь, отвечай ему: да, сэр.

— Мама,— сказал вдруг Джонни,— а разве бог не знает, что мальчики думают?

— Знает, Джонни; мальчик еще не успеет подумать, а богу уж все его мысли наперед известны.

— И он терпеть не может мальчиков, которые лгут, правда, мама?

— Да, он не любит мальчиков, которые лгут.

— Ну так вот,— решительно заявил Джонни,— если я скажу, что мне хочется в воскресную школу и в церковь, когда мне совсем не хочется, это будет ложь, и бог все равно все узнает.

— Ах ты, дрянь ты эдакая! — сказала миссис Кэссиди, слегка тряхнув его за плечо.— Будешь издеваться над матерью, я тебя так проучу, что неделю не очухаешься.

— А я не издеваюсь,— ответил он.

— Ну, довольно! — сердито сказала она.— Мал еще, чтобы в таких вещах разбираться, сначала подрасти надо. А пока что — есть дождь, нет дождя, будешь каждое воскресенье ходить в школу и в церковь, и чем скорее зарубишь это себе на носу, тем лучше.

С молитвенником в кармане и с библией в руках Джонни шел под моросящим дождем по Дорсет-стрит, обуреваемый чувством, название которого — ярость — было ему еще неизвестно, и услаждал свой путь всеми бранными словами, какие только знал.

Пройдя шагов сто, он почувствовал влажное хлопанье в башмаках: первый признак того, что картонные стельки, положенные матерью, не устояли перед мокрыми тротуарами, и с каждой минутой эти чавкающие, хлопающие звуки становились все громче,— значит, ноги холодные, промокли, и с такими ногами придется сидеть и слушать, как читают библию и как поют хвалы господу. Ему надо больше бывать на воздухе, и следите, чтобы ноги у него всегда были в тепле и сухие, сказал доктор; сухие и в тепле, следите, чтобы ноги у него были сухие и в тепле, сказал доктор. О господи, дай мне новые башмаки, новые башмаки. О господи, дай мне новые башмаки,— твердил он, быстро идя по улице.

— О господи, дай мне новые башмаки! — передразнил его чей-то голос, и откуда ни возьмись, Гарри Тэйт, и, наверно, он все слышал.

— А почему твоя мать не купит тебе новые башмаки? — спросил Гарри.— Я бы в таких нипочем в воскресную школу не пошел.

— У меня есть еще одни, только они в починке,— солгал Джонни, так как он не собирался признаваться Тэйту, что эта пара у него единственная.— Сапожник еще не принес,— добавил он, свернув вместе с Тэйтом в узкий переулок, который вел к ча-

совне при католической церкви. Они задержались посмотреть на вереницу людей, которые наливали в бутылки воду из большой бочки, стоявшей на подставке у южной стены часовни.

— Это они святой водой запасаются. Патеры говорят им, будто она оберегает от всяких бед: и ногу не сломаешь, и под колеса не попадешь, и дьявол, как учует ее, так вззоет и убежит. А у него на лбу рога, пасть огромная, ни дать ни взять ущелье Данлоу, и из нее пламя пышет, а когти такие, что, царапнет по животу, и кишки наружу.

— Протестанты не верят в святую воду,— гордо сказал Джонни.

— Мне мама всегда говорит: мимо католической часовни беги бегом,— сказал Тэйт,— чтобы они и взгляда бросить не успели на протестантского мальчика с библией, а то еще подойдет какой-нибудь иезуит и сунет тебе икону в лицо.

— А я их ни капельки не боюсь,— сказал Джонни и, нарочно остановившись у самых ворот, стал смотреть сквозь арку, как люди быстро поднимаются на паперть, окуная пальцы в каменный водоем, и осеняют себя крестным знаменем при входе в церковь и при выходе из нее.

— Я тоже не боюсь,— сказал Тэйт,— только мама говорит, если католики опять заберут власть, тогда они разложат большие-пребольшие костры на самых широких улицах и сожгут живьем всех протестантов, какие попадутся им в руки, так всех и переловят одного за другим.

— А я знаю одну католичку,— сказал Джонни,— она как встретит меня на улице, так всегда спрашивает про глаза, а один раз, когда шел дождь, дала мне целую горсть леденцов.

— Моя мама не позволила бы мне принимать леденцы от католички, и играть с католиками я тоже не стану, потому что они поклоняются иконам и молятся людям, таким же, как мы. А потом они ненавидят библию: так и норовят вырвать ее из рук у протестантских мальчиков и девочек; вырвут, забегут за угол и раздерут на клочки.

— Джонни почувствовал, как холодок моросящего дождя пробирается сквозь его поношенные штанишки, и быстрее зашагал к той улице, где была школа, бормоча про себя: — О господи, сделай так, чтобы дождь перестал! Пожалуйста, сделай так, чтобы дождь перестал.

— Посмотри-ка,— сказал Тэйт,— какую мне сестра подарила закладку для библии: красная, а по ней золотыми буквами «Эммануил». Мама говорит, это значит: с нами бог. А у тебя такой нет, у тебя только старая открытка с текстом из Писания, которые учительница нам дает. Я свою давно выбросил.

— Мама мне тоже такую скоро подарит. Что, взял? — ответил Джонни. — Не хуже твоей будет, вот увидишь.

— Обезьяна, обезьяна! — поддразнил его Тэйт.

— Вот и не обезьяна, потому что у меня будет зеленая.

Тэйт вдруг толкнул его плечом, и Джонни попал ногой в ручей, бегущий вдоль тротуара.

— И все ты врешь,— сказал Тэйт,— ничего тебе мать не подарит. Я слышал, как моя мама говорила: с тех пор как у вас умер отец, вы совсем обнищали, и ты скоро перестанешь ходить в воскресную школу и в церковь, потому что будешь разутый, раздетый. Небось, не высунешь язык, боишься, как бы я не увидал, что кончик-то черный, как у всех врунишек.

Тэйт на голову выше меня, подумал Джонни, а я и здоровым глазом не могу долго смотреть, не то что больным,— значит, лучше не соваться, молчать.

— Врунишка ты, а это большой, большой грех, особенно если врать что-нибудь про библию,— и Тэйт снова изо всех сил толкнул его плечом.

— Я иду в воскресную школу, оставь меня в покое и не смей толкаться.

— Захочу толкнуть и толкну,— злобно сказал Тэйт,— и буду толкать. Да я бы с такими шелудивыми глазами и на улицу не показывался.

Весь красный от стыда, Джонни вдруг вильнул в сторону за спиной Тэйта и со всех ног бросился по Лоуэр-Доминик-стрит к дому, где проводились занятия воскресной школы, и, убегая, слышал несущиеся ему вдогонку насмешливые крики Тэйта: — Шелудивый, шелудивый, шелудивый!

Еле переведя дух, он толкнул массивную дверь дома номер двадцать пять, на которой была привинчена массивная медная доска, возвещавшая всем, что здесь помещается городская школа св. Марии. Пройдя широкий вестибюль, поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, он вошел в большую комнату, где занимались младшие школьники, и с громко бьющимся сердцем сел у окна на одну из трех скамей, стоявших под углом друг к другу. С той стороны, где скамьи не было, сидела на стуле массивная, грузная мисс Валентайн — их учительница. Поджидая сбора учеников к началу урока, она разговаривала с мальчиками и девочками, расспрашивала их о родителях, о братьях и сестрах, но Джонни она не замечала. Да, Джонни она никогда, никогда не замечала!

Стены комнаты были розовато-бурые и всё в чернильных пятнах (в будни здесь занималась городская школа). На стенах висело много разных карт и таблица, которая показывала и разъясняла, что дает человеку корова.

Вошли еще трое мальчиков, и, пропуская их мимо себя, мисс Валентайн здоровалась с каждым за руку, но Джонни она не замечала. Да, Джонни она никогда не замечала!

На полу с его разбухших башмаков натекла лужа. Сидеть в мокрых штанах было холодно и неудобно, и он заерзал на скамейке, стараясь, чтобы намокшая материя не прилипала к ногам и не пронизывала тело сыростью. А в дальнем конце комнаты

был камин, и ему так хотелось пересесть ближе к огню, ближе к тебе, господи, ближе к тебе.

В класс вошел Тэйт — теплое пальто, начищенные башмаки, расчесанные на пробор волосы, голова, как у откормленного гуся, и задается, наверно, потому, как говорили мальчишки, шушукаясь между собой, что у его отца лавка. Он хотел незаметно юркнуть на свое место, но не тут-то было! Мисс Валентайн так и расплылась ему навстречу, обняла его за шею и поцеловала в щеку. Мама, мама, поцелуй, поцелуй меня скорей. Красный как рак Тэйт сел на свое место и злобно вытаращил глаза, потому что, когда она его поцеловала, мы все ухмыльнулись. Прошло еще две-три минуты, и в дверях появился преподобный мистер Хантер; он подошел к столику у камина, погрел руки и потом, повернувшись к нам, сказал: — Помолимся. — В комнате послышался шум — это мы всем классом стали на колени слушать нюни, плюни, слюни злющей вруньи, нашего бородатого пастыря-вурдаластыря, рысь-брысь-пластыря. Он молился о том, чтобы глаза наши отверзлись и узрели милости, неисчислимыя в промысле господнем, и чтобы поддержку вере своей мы искали в библии и больше нигде и чтобы чада господни, здесь присутствующие, просили у всевышнего лишь тех благ, кои ему будет угодно ниспослать им. Скольких благ я жаждал, сколько я мечтал, сколько я томился — этих благ искал! Капелька за каплей путь к морям нашла; сыплются песчинки, нет им, нет числа...

Вот когда глаза у меня поправятся, я такого всыплю этому Тэйту, что он ввек не забудет. Сворочу ему скулу на сторону; придется им закрыть на часок свою лавчонку, пока будут замазывать ему пасть — разорву ее от уха до уха, так что хоть влезь туда, повернись да выгляни наружу; коли, руби, как Южно-уэльский пограничный в сражении при Исандлване: зулусы теснят, наседают со всех сторон, а они бьются до последнего солдата, и Мельвиль и Когхилл прорвались сквозь этот черный рой и — в галоп, в галоп, в галоп — спасать полковые знамена, обвязанные у них вокруг пояса; мокрые от пота, — раз, раз саблями. Заливают красным черные головы и плечи зулусов, сами исходят кровью и, мертвые, валятся под копыта лошадей, обезумевших от страха, скачущих галопом, чтобы спасти знамена, обвязанные вокруг пояса у солдат, которые в бою отстаивали честь Англии, господи Иисусе Христе, услышь нас, аминь.

Старый хрыч кончает молиться, и мы все встаем с колен, плюхаемся на скамьи, лицом к учительнице, и ждем, когда она начнет урок.

Прямо к нашей скамье идет Хантер и, глядя на меня, говорит: — Очень рад, Джон, что мать пустила тебя в школу, — и быстро уходит в свой класс, этажом ниже.

Начинается знакомая музыка, и мисс Валентайн заставляет нас жевать жвачку из библии и молитвенника. Седьмой, восьмой, девятый и десятый стихи из шестой главы второго послания свя-

того апостола Павла к коринфянам.— Седьмой стих прочтет Сэмми Гуд. Бенджамин, продолжай — восьмой стих: в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Дальше, пожалуйста, Экрит, мы ничего не имеем, но обладаем всем. Молодец, хорошо. Теперь ты, Кэссиди, повторяй за мной: в слове истины, в силе божией, с оружием правды в правой и левой руке; мы ничего не имеем, но обладаем всем, мы... Кэссиди, не цеди сквозь зубы и открывай рот как следует. Теперь ты, Мэсси: мы нищи, но во весь опор мчится Мельвиль спасать королевское полковое знамя в галоп, в галоп, не щадя сил, и вот уже пули расстреляны все до единой, а дротики пролетают над его головой, как ласточки, несущиеся к югу, и, Кэссиди, о чем ты размышлял, ты совершенно не следишь за уроком, будь добр, не двигай локтями и смотри на учительницу и слушай, что говорит Бенджамин: рожденна, несотворенна, единосущна отцу, им же вся быша; а теперь, Кэссиди, скажи, откуда это; псалмы, нет не псалмы, никакого отношения к псалмам, ничего похожего на псалмы; если б ты слушал, ты бы знал, что это символ веры, рожденна, несотворенна, единосущна отцу, им же вся быша; теперь перейдем к катехизису, там сказано, что день субботний надо проводить в святости, ибо господь бог сотворил в шесть дней небо, и землю, и моря, и все, что есть в них, и почил в день седьмой от всех дел своих; и поэтому нельзя катать шарики, нельзя запускать волчок и змея или играть в какие-нибудь игры, а сама лежала с каким-то молодчиком в Феникс-парке, на зеленой траве; мы с мамой наткнулись на них, он целовал ее, а мама поволокла меня за руку, чуть ли не бегом, и все говорила: что ты так тащишься, потому что на зеленой траве, на всем виду, ноги мисс Валентайн и черное платье, задранное кверху его рукой, подбиравшей все ближе и ближе туда, где конец урока.

Джонни соскочил со скамьи, нагнул голову и сложил руки ладонями вместе, слушая, как преподобный мистер Хантер кончает утренние занятия молитвой, слава отцу, и сыну, и святому духу ныне и присно и во веки веков, аминь.

Потом мистер Хантер подошел к скамейкам и послал классу благолепную улыбку.

— Вам не трудно будет проводить маленького Кэссиди в церковь? — спросил он мисс Валентайн. — Я боюсь, как бы с ним не случилось чего-нибудь по дороге.

— Нет, что вы, конечно, не трудно, — ответила мисс Валентайн, — конечно, не трудно, он такой славный мальчик, сэр, — и на щеках у нее заиграли ямочки.

— Только торопитесь, — сказал Хантер, — потому что дождь льет как из ведра, — и удалился, а за его спиной мисс Валентайн злобно выпятила свои чмокалки.

— Льет как из ведра, — пробормотала мисс Валентайн, — а сам навязал мне этого слепого мальчишку, тащи его за собой. Ты смотри, — сказала она, хватая Джонни за плечо, — не вздумай

плестись, а то я промокну вся до нитки, чего доброго в постель потом сляжешь по твоей милости.

Она застегнула макинтош на все пуговицы, с кислой физиономией глядя на дождь, который хлестал не переставая и наполнял сердце. Джонни страхом при одной только мысли, что он промокнет насквозь, прежде чем доберется до спасительной крыши церкви на Мэри-стрит. Мисс Валентайн с треском раскрыла зонтик, схватила мальчика за руку и потащила его на улицу, приговаривая: — Ну, поторапливайся, нечего там!

Джонни еле поспевал за ней вприпрыжку и, ступая с тротуара на мостовую или с мостовой на тротуар, чувствовал, как прыжки больно отдаются в пояснице, потому что он не видел, где кончается тротуар, и несколько раз чуть не упал, споткнувшись о тумбу, и каждый раз слышал при этом сердитый голос мисс Валентайн, повторявшей: — Хоть бы этот мальчишка здоровым глазом смотрел как следует, того и гляди шлепнешься с ним в самую грязь.

— Весь подол мокрый, — ворчала она, — не могу же я сразу три дела делать: и юбку держать, и зонтик, и за тобой следовать. Просто безобразие! С такими глазами мать посылает ребенка в школу и в церковь!

Ветер дул им в спину, и Джонни, разгоряченный и запыхавшийся, чувствовал, как холодные капли дождя проникают сквозь его штанишки и струйками бегут по ногам.

Они влетели в калитку, пробежали рысцой по узкой цементной дорожке, окаймленной дерном, юркнули в притвор, где прихожане снимали мокрые пальто, макинтоши и закрывали зонтики, с которых стекало столько воды, что по всему притвору струились ручьи и половик у входа в церковь превратился в мокрую мочалку; тем временем пономарь, стоявший посредине притвора, все дергал и дергал длинную веревку, нагибаясь всем туловищем, когда веревка шла вниз, и выпрямляясь, когда она уходила вверх, а колокол на колокольне монотонно вызванивал свое дин-дон, дин-дон, дин-дон, под которое мужчины, женщины и дети проходили из сумрачного притвора в еще более сумрачную церковь.

— Вытри ноги как следует, — напомнила ему мисс Валентайн, — а то испачкаешь дорожку в проходе, — и направились на клирос возносить вместе со всеми хвалы господу богу.

Джонни долго возил ногами по мокрому половнику, стараясь хоть немного вытереть башмаки, в которых воды было куда больше, чем в самом половнике; потом снял обмякшую бескозырку и, чувствуя, как дождевые капли стекают с волос по щекам, вошел в церковь, тихонько пробрался к одной из боковых скамей и сел на самый кончик, чтобы мокрые штаны не липли к ногам.

Колокол негромко тренькнул в последний раз, опоздавшие торопливо вошли в церковь и, склонив на минуту голову в молчаливой молитве, дабы показать всем, что они попали сюда отнюдь

не по ошибке, расселись по своим местам в ожидании начала службы. Мэсси, проходивший мимо, увидел Джонни, круто свернул, пробрался бочком между скамьями и сел рядом с ним.

Старый хрыч Хантер и причетник — худой, долговязый — вышли из ризницы и, медленно шагая под жидкие звуки органа, пошли каждый на свое место в алтаре — один направо, другой налево. Они преклонили колена в молчаливой молитве, потратив на нее чуть побольше времени, чем прихожане, потому что ведь они духовенство. Потом худой, долговязый причетник забормотал тонким, усталым голосом, и прихожане все как один встали на задние лапки. Братья, возлюбленные во Христе, не один, а много раз говорится в Писании — покайтесь, откройте грехи и нечестивые деяния ваши.

— А хорошо было бы ухватить Хантера за бороду и покачать из стороны в сторону, правда? — спросил Мэсси.

Джонни сказал «ш-ш», хихикнул и сделал серьезное лицо, боясь, как бы не фыркнуть, потому что перед глазами у него вдруг встала картина: Хантер орет как оглашенный, раскачивается из стороны в сторону, качь-качь-качь-качь, скоро Лондон, мчимся вскачь, Хантер старый бородач, угораздило этого Мэсси сесть рядом, он меня рассмешит, Хантер нажалуется маме, и она целую неделю будет сердиться, потому что стоит ему только на-ябедничать на меня, и глаза у нее холодные, строгие; а я не могу, когда у нее такие глаза, — подойдешь помириться, а она покачает головой и скажет: нет, Джонни, я на тебя сердита, а теперь исповедуемся все вместе, раз, два, три, пали, и я прошу всех, кто здесь есть, повторять вслед за мной, возносясь чистым сердцем и со смирением к престолу всевышнего, не будь сегодня дождя, мы бы пошли в зоологический сад, а уж в следующее воскресенье обязательно пойдем, я, папа и мама, — а ты в это время поплетешься в воскресную школу дразнить обезьян, дабы вся наша последующая жизнь была прожита в чистоте и святости, и в последний час держи ухо востро, чуть зазеваешься, они, паскуды, мигом укусят за палец, и вообще надо осторожнее, потому что сторож все время слоняется взад и вперед, глаз не спускает, бонтся, как бы ты чего-нибудь не сделал, а папа рассказывал, одного его знакомого даже выгнали за то, что он плюнул табачной жвачкой обезьяне в глаза, она как завизжит, преклоним колена и падем ниц перед господом творцом нашим, со слонами шутки плохи, они совсем как люди, едят картошку, морковь, печенье; можно посидеть, пока старый хрыч Хантер в белом стихаре читает евангелие, а худой, долговязый причетник в белом стихаре слушает с торжественной миной, дожидаясь своей очереди; а когда я вырасту большой, я буду скипером и уйду в море на трехмачтовой шхуне с гротстенгой, гротбрамстенгой, гротбомбрамстенгой, и я буду бегать по вантам, все равно как ты по лестнице, и стану на марсе во весь рост, а шхуну бросает с носа на корму, бросает с борта на борт и, верую во святую церковь,

в святое причастие и в жизнь, вечно плыть и плыть тысячи и тысячи миль по синим морям, и зеленым морям, и черным морям, и красным морям; и я буду жить на острове, где мед стекает с деревьев, и ни с кем не надо будет делиться, и никто не будет его есть, кроме меня, и там будут птицы вроде дроздов, только большие и красные, и птицы вроде чаек, только большие и синие, и не придется ходить в воскресную школу и в церковь каждое утро и каждый вечер, потому что там все будут счастливые; вот Хантер готовится читать проповедь, вздел очки на нос, чуть-чуть откашлялся, а потом понес про то, что надо стать в ряды воинства господня, внять слову его,— и бухал он и глухо он и сухо он и в ухо-в ухо-ухал он и скучно он и душно он и ну-ка-ну-ка-нукал он... а я все сижу и сижу на скамье и трясусь от холода, и мокрая одежда леденит спину и липнет к ногам.

Но вот проповедь кончается, и мы вскакиваем все как один и поем гимн: и, сильный именем твоим, я не боюсь земных трудов; тебе все помыслы мои, господь, открыты, и мои тоже, и, пожалуйста, господи, сделай так, чтобы штаны не липли мне к ногам. Мы становимся на колени под благословение, а потом тянемся гуськом по проходу к двери в притвор и видим, что дождь льет как из ведра и крупными каплями барабанит по тротуару.

Набожно шевеля губами, прихожане застегивали пальто и макинтоши на все пуговицы, прежде чем ринуться под дождь и на всех парах помчаться домой. Джонни, поеживаясь, нерешительно стоял в дверях притвора, глядя на дождь, который лил как из ведра и крупными каплями барабанил по тротуару, и надеялся, что ливень немного утихнет, прежде чем надо будет плестись домой, плестись, друг мой, плестись домой. Мы девушку своей зовем, смеемся, куролесим, пьем; а ночь пройдет, плестись домой, домой, друг мой, плестись домой.

Весь сжавшись от одной только мысли, что дождь промочит его насквозь, он зажмурился и, полный веры в отца небесного, зашептал: — Господи, сделай так, чтобы дождь поскорее перестал и чтобы я не промок еще больше.

Он повторил еще раз, как можно медленнее: — Господи милостивый, сделай так, чтобы дождь перестал и чтобы я не промок еще больше, аминь.

Он долго стоял в притворе, крепко-накрепко зажмурив оба глаза — даже правый, забинтованный,— потом открыл их и увидел, что дождь льет как из ведра и крупными каплями барабанит по тротуару.

Пономарь вышел из церкви, снял черную рясу и повесил ее на крюк, надел пальто, напялил котелок, вынул из кармана связку ключей, в которой один ключ, самый длинный, торчал из середины, и посмотрел сначала на Джонни, потом на дождь, ливший как из ведра и крупными каплями барабанивший по тротуару.

— А ты Джонни, почему не идешь домой? Что ты здесь делаешь? — спросил он.

— Я переживаю дождь — может, перестанет немного.

— Здесь, сынок, нельзя оставаться. Церковь я сейчас запру, а этот дождь на весь день, так что беги-ка ты лучше домой. Да разве можно бояться дождя? Ведь ты мужчина. Будь я на твоём месте, мне бы одно удовольствие было бежать домой в такой дождь и ветер.

И он притворил одну половину тяжелой дубовой двери и раскрыл зонтик. А Джонни сделал вид, что ему вовсе не страшно, улыбнулся пономарю, втянул голову в плечи и сбежал с паперти под дождь, ливший как из ведра и крупными каплями барабанивший по тротуару.

И он бежал, бежал, пока не захватило дух; бежал медленнее, медленнее; потом быстрее, быстрее, из последних сил, измученный, испуганный; чувствовал, как дождь сечет и сечет его, пробивается сквозь тонкую одежду, пронизывает насквозь, струйками сбегает по спине и заду, а набухшая повязка тяжело липнет к голове; дождевые капли, смешавшись с потом, попали ему в здоровый глаз, заставив сощуриться от боли, и он налетел на какого-то человека, торопившегося домой, и тот ударил его, выругался и остановился посреди тротуара, отпуская ругательство за ругательством, пока Джонни не завернул за угол; и он все бежал, тихо всхлипывая на бегу, и, наконец, очутился на своей улице, очутился у своего дома и отчаянно заколотил ногой в дверь.

Ему открыла мокрый, я беж

Подтащив менила его с тела одежду стыней, и на кой, "

того
насухо

пускает к матери ~~счастливого~~, голодного ребенка, разве это божья церковь? Да она от бога за тридевять земель. — А Джонни голый стоял перед камином, все еще вздрагивая всем телом, но плакал он теперь чуть повеселее, потому что его согревал жар огня, уют, ласка и покой.

— Весь промок до нитки, — продолжала мать, — вот теперь мне придется сжечь последний уголь, чтобы высушить к утру твой костюмчик, а то тебе не в чем будет идти завтра в больницу. А если Хантер заглянет сюда, пока я еще не забыла, какой ты прибежал, я ему все выложу начистоту: если сам о себе не позаботишься, никто о тебе не вспомнит — это правда, и так на веки вечные и останется; точно ослепли все, затащили ребенка в церковь и не видят, что он сидит весь мокрый, жалкий и, кроме простуды, ничего там не высидит; наострил ушки, силится по-

чиркнул в дверь, говоря: — Мама, я весь

она развязала набухший бинт, залатком, сняла с его разгоряченного пар, растерла ему ноги старой про- в себя и, почувствовав тепло и по-

где ты явился домой, после

— говорила мать, вытирая

ль, которая в таком виде от-

нять дубовые слова, которыми эта пасть угощает его с высоты кафедр, обращая слово божие против ребенка, а он, бедняжка, притаился на большой скамье, дрожит от холода и со страхом смотрит на непонятную для его умишка мороку в белом стихаре, который и подержанный пошел бы за такую цену, что бедная женщина кормилась бы целую неделю вместе с ребенком и не пришлось бы ломать голову, откуда достать денег на свечу, чтобы помолиться на ночь, обратиться к господу последнюю свою мысль, прежде чем заснешь как убитая.

Она уложила его в постель, напоила горячим чаем, укрыла и подоткнула одеяло со всех сторон. Он дрожал и никак не мог согреться, долго кашлял и наконец заснул и увидел во сне скользящий по синему морю зеленый корабль с красными парусами и желтым флагом на белой мачте. Он проснулся ночью, все еще не согревшись, почувствовал озноб, кашлянул и зашелся так, что у него перехватило дыхание. Ему стало страшно, и он позвал мать, и звал, звал до тех пор, пока не поднял ее с кровати в одной рубашке, и она растерла ему грудь, напоила горячим чаем и приласкала его, уговаривая заснуть, но он все дрожал, кашлял и плакал.

Утром он проснулся в жару, горячий, как огонь, совершенно осипший, дыхание со свистом вырывалось у него из груди, дышать было больно и трудно. Веки слиплись от гноя, выступившего за ночь на глазах и запекшегося коркой. Мать поскорее покормила старшего сына завтраком и проводила его на работу. Потом она побежала к трактирщику Фареллу, судебному заседателю и члену попечительства о бедных, который дал ей красный талончик на вызов врача, потом побежала в больницу, где швейцар сказал ей: лежит дома один, ну и пусть лежит, как ни торопись, а очередь есть очередь; ни он, ни доктор не собираются бросать свои дела ради больных, которые состоят на пособии.

И она стала ждать, подвигаясь за теми, кто был впереди, и наконец отдала врачу красный талончик — вызов к больному Джону Кэссиди, восьми лет; потом побежала домой — ждать, без конца ждать врача, который пожаловал только вечером, нашел у мальчика сильный бронхит, выписал рецепт и сказал, что если она поторопится, то сможет еще получить лекарство до закрытия больницы.

Надев шляпу и накинув шаль на плечи, она вышла из дому, всю дорогу до больницы бежала и поспела туда как раз вовремя, чтобы получить лекарство; потом кинулась домой, переходя на быстрый шаг, когда захватывало дыхание, и, отдышавшись, снова пускалась бегом и наконец, не чуя под собой ног от усталости, сама не своя от тревоги, вошла в дом, дала мальчику лекарство, вытерла ему мокрое от пота лицо и грудь, оправила постель и не отходила от него до тех пор, пока он не погрузился в сон, время от времени прерываемый кашлем.

Как-то вечером, несколько недель спустя, когда он немножко поправился и мог сидеть у камина, закутанный в старое одеяло, учительница, мисс Валентайн, пришла навестить его и принесла ему кулечек апельсинов. Она сказала, что они все очень жалеют Джонни, потому что он не может ходить в воскресную школу и в церковь; но теперь, надо надеяться, он снова будет с ними; что преподобный мистер Хантер просил передать Джонни поклон и что они все очень любят Джонни, он такой хороший мальчик, э-э... гм... это не его вина, что он несколько недель не ходил в воскресную школу и в церковь, э-э... э-э... гм... она принесла Джонни красивую открытку с текстом из Священного писания, такие давали всем, кто посещал занятия, э-э... э-э... э-э... гм... она уверена, что это поможет Джонни почаще обращаться мыслями к богу.

И мать Джонни сказала, что мисс Валентайн очень добра к ее мальчику, и велела ему поблагодарить ее, и, уходя, мисс Валентайн попрощалась с Джонни за руку, а мать Джонни проводила ее вниз по лестнице и открыла ей входную дверь.

Оставшись один, Джонни сдвинул повязку на лоб, поднес открытку к здоровому глазу, долго вглядывался в нее и рассмотрел большой букет нарциссов и стих из библии. Медленно разбирая слово за словом, он не мог связать их воедино, а написано там было вот что:

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

ВЕЛИКОЕ ПОБОИЩЕ

Все опять началось сначала, когда Джонни выздоровел после бронхита, — опять он просыпался по утрам, чувствуя, как мамина рука трясет его за плечо и мамин голос говорит: вставай, вставай, пора; потом ему промывали глаза, залепленные гноем, промывали раз и два, и три, да при том еще такой горячей водой, что только-только можно терпеть; потом вводили под веко больного глаза комочек мази, которая в больнице звалась доминус, потому что применять ее надо было дома, о дом, мой милый дом, очаг осиротелый, а в мази был атропин, от него расширялся зрачок и расслаблялась и успокаивалась язвочка на роговице. Потом Джонни торопливо жевал кусок черствого хлеба, запивая его горячим чаем, мама надевала ему через плечо сумочку, купленную за шесть пенсов, а в сумочке был завтрак — еще два ломтя черствого хлеба, и мама приговаривала ему на прощание, да ну же, скорее, Джонни, неужели не можешь ты хоть чуточку поторопиться, чтобы не опоздать на перекличку, а то ведь опять Слоган нажалуетя на тебя Хантеру, а Хантер опять будет жаловаться мне; и Джонни, крадучись, пробирался в школу; и слушал, как читают молитву перед учением, и начиналась опять та же во-лышка — диктант и арифметика; потом наступала перемена, и все

выбегали на грязный двор, где только возле церкви росло немного травы и клевера; и Джонни усаживался на траву, доставал из сумочки свои два ломтя черствого хлеба, ибо сказано — дал им господь хлеб небесный, дабы они ели, — и глядел издали, как другие мальчики играют в шарики и в карты, курят и мечут колышки; а иногда старшие мальчики, собравшись кучкой между двумя контрфорсами церкви, ловили какого-нибудь малыша и, повалив его под общий смех на землю, расстегивали ему штаны, а тот кричал и плакал, и Джонни удивлялся, что это они с ним делают; потом Слоган звонил в звонок, и все бежали обратно в школу и опять начиналась та же волынка — диктант и арифметика.

Однажды во время перемены Джонни побрел к истоптанной травке возле церкви, сел и стал завтракать. Напротив были высокие трубы стеклодувной фабрики, и сперва Джонни смотрел, как из них валит дым; он поднимался клубами и расползался в стороны, пока все небо, куда ни глянь, не заволочлось бурой пеленой.

Если бы ангел пролетел сквозь этот дым, подумал Джонни, то даже золотое сияние его крыльев и то бы потускнело; и как быстро он ни лети, а явился бы на небо в виде трубочиста.

Потом Джонни обратил подслеповатый свой взгляд к кучке мальчиков, игравших в колышки. В каждый колышек был загнан длинный и острый стальной шип. Мальчик туго обматывал свой колышек длинной бечевкой по особому прорезанному в нем желобку, потом, не выпуская конец бечевки из рук, резким движением метал колышек в землю. Бечевка разматывалась, и если колышек был брошен умело, он при этом быстро вертелся в воздухе вокруг своей оси, как волчок, с приятным жужжанием. На земле был мелом очерчен круг, внутри круга лежал на боку чей-нибудь колышек. И надо было так метнуть свой, чтобы он воткнулся шипом в тот, что лежал внутри круга. При удаче металлический получал право трижды ударить шипом по этому лежащему колышку, и если ему удавалось его расщепить, то его собственный колышек считался победителем. У одного из школьников был колышек, который победил уже двадцать других. Джонни смотрел на все это и жевал хлеб.

Мимо шел какой-то мальчик; он вдруг остановился перед Джонни.

— Что ты тут делаешь? — спросил он.

— Ничего не делаю. Сажу и завтракаю.

— Ты ведь у Фостера в классе? — продолжал мальчик. — Как тебя зовут?

— Джонни Кэссиди.

— У меня хлеб с вареньем, — сказал мальчик. — А у тебя?

— У меня без, — ответил Джонни. — Мне надоело варенье.

— Врешь! — захохотал мальчик. — Задаешься! Нету у тебя варенья, вот и выдумываешь — надоело!

Он вдруг ударил Джонни по руке. Хлеб упал на землю.

— Ну да! — сказал он, переворачивая хлеб носком башмака. — Совсем сухой! Даже салом не помазано!

В эту минуту подошел еще один мальчик, мельком взглянул на Джонни и схватил первого мальчика за руку.

— Идем, — сказал он и потянул своего дружка за собой. — Что ты разговариваешь с этим кислоглазым?

Джонни отвернулся и стал смотреть в ту сторону, где между двумя контрфорсами церкви сидели несколько старших мальчиков и курили. Вдруг ему показалось, что один из них, Миддлтон, высокий ширококостый парень с рыжеватыми волосами, манит его к себе. Но он все-таки не был уверен, поэтому сдвинул брови и прищурил здоровый глаз, и тут уже ясно увидел, что Миддлтон машет ему, а потом и услышал, что тот властно зовет: — Эй ты, пойди сюда на минутку, ты, с перевязанным глазом!

С бьющимся сердцем Джонни вскочил с травы и побежал к Миддлтону. Остальные мальчики тоже встали и подошли ближе, презрительно и с любопытством поглядывая на Джонни. Джонни, робея, стоял перед большеротым, рыжеволосым верзилой, глядя на него снизу вверх, а тот раздумчиво смотрел на Джонни сверху, словно что-то прикидывая в уме; но выражение его серых глаз было не лишено добродушия. Остальные окружили их — здоровые сорванцы с крепкими кулаками, грубые, жестокие, хитрые — и молча ждали, пока заговорит силач Миддлтон.

— Что у тебя с глазами, малыш? — спросил Миддлтон.

— Язвочка, — ответил Джонни.

— Это что значит?

— Такая болезнь... Делается на глазу и очень болит.

— О чем же мать твоя думает, дура этакая? Пускает тебя в школу, больного!

— Мама не виновата, — горячо ответил Джонни. — Это Хантер ее заставил.

— Попробуй она его не пустить, — насмешливо сказал коренастый мальчик с торчащими вперед зубами и большими заплатками на коленях. Его звали Мэсси. — Хантер им тогда угла не даст, что они получают от прихода.

Джорджи Миддлтон сердито посмотрел на Мэсси. — Я с ним разговариваю, а не с тобой, — сказал он. — Так что заткни свое хайло. Не он один получает уголь от прихода.

— Мэсси сам получает. Я видел, как им привозили, — вмешался второй мальчик, желая угодить Миддлтону.

— Братья и сестры у тебя есть? — обратился опять Миддлтон к Джонни.

— Трое братьев — двое сейчас в солдатах, и одна сестра, — сказал Джонни.

Мэсси хихикнул.

— Интересно, — сказал он вполголоса, — хорошенькая у него сестра? Стоит с ней прогуляться?

— Да он, наверно, не знает разницы между мальчиком и девочкой,— вставил один из старших ребят. Его звали Экрит; у него была круглая голова и лицо всегда какое-то грязное, а башмаки зашнурованы веревочкой, которую сверху кое-как зачернили ваксой.

— Нет, знаю,— набравшись храбрости, заявил Джонни.— Мальчики носят штаны, а девочки нет.

— Будто? — откликнулся Экрит.— Ты как-нибудь подними платье у девчонки — увидишь, что на ней тоже штаны, белые, с оборочками, и такие широкие, что можно руку у-у куда засунуть.

— Ты когда-нибудь видал свою сестру голой? — ухмыляясь, спросил Мэсси.

— Давайте снимем с него штаны и посмотрим, мальчик он или девочка,— воскликнул Экрит и угрожающим жестом положил свою толстую руку на плечо Джонни.

Джонни пытался вывернуться, но Экрит крепко держал его за рукав. Тогда Джонни лягнул его сколько было сил и слегка задел по голени.

— Ах ты, дрянь! — в ярости завопил тот.— Туда же, воробей несчастный! Слепая дохлятина! Вот стукну тебя по морде!

— Ну, ну, попробуй,— вдруг сказал Миддлтон.— Коли ты такой вояка, так стукни его, не стесняйся, а мы посмотрим, что из этого выйдет.

Все настороженно притихли. Глупая улыбка расплзлась по лицу Экрита; пальцы его, впившиеся в плечо Джонни, постепенно разжались.

— Не стоит руки марать,— пробормотал он.

— Ну, ну,— настаивал Миддлтон.— Валяй! Что же ты? Уже на попятный? — Остальные, предчувствуя столкновение, теснее окружили их и с горящими глазами слушали, что еще скажут эти большие парни. Один подтолкнул Экрита локтем и шепнул ему на ухо: — Валяй, Фред! Проучи этого нахального клопа! Тресни его хорошенько!

Экрит фыркнул и смущенно пробурчал: — Ладно уж, не стану портить ему красоту, если он Миддлтонов любимчик.

— Врешь,— сердито крикнул Миддлтон,— никакой он не мой любимчик! Я просто позвал его, чтобы кое-что спросить, а тебе сейчас и нужно влезть со своим паскудством!

В глазах Экрита вспыхнули вдруг злые искорки; он сделал шаг к Миддлтону.

— Кто это врёт? — вызывающе спросил он.

— Ты врешь,— ответил Миддлтон.

— Почему это я вру?

— Потому что говоришь, что он мой любимчик.

— Я не говорил, что он твой любимчик.

— Нет, говорил.

— Нет, не говорил. Я сказал, *если* он твой любимчик. Правда,

ребята? — Он оглянулся на стоявших кругом мальчиков. — Ведь правда, я сказал — если?

Мэсси вышел вперед не совсем уверенными шагами, стал рядом с Экритом и, распрямив свои обвислые плечи, уставился на Миддлтона.

— Я очень даже ясно слышал, что Экрит сказал «если». И это значит, что нас двое против тебя одного! — с торжеством закончил он.

Миддлтон несколько секунд пристально смотрел на него, потом подошел к нему вплотную и предостерегающе произнес:

— Знаешь, что я тебе посоветую? Ползи-ка себе прочь подобру-поздорову, покуда тебя не трогают!

— Не собираюсь никуда ползти и бежать тоже не собираюсь, — упрямо, хотя уже с ноткой робости в голосе, отозвался Мэсси.

Миддлтон еще ближе — лоб в лоб — придвинулся к нему; лицо его налилось кровью, глаза разгорелись, стиснутые кулаки судорожно дергались.

— Что ты о себе воображаешь? — сказал он, повысив голос. — Тоже мне герой выискался! Раз я говорю, что он не сказал «если», значит он не сказал, понятно?

— А я говорю, он сказал, — все так же упрямо повторил Мэсси.

— Врешь, не сказал! — гаркнул Миддлтон и вдруг так боднул Мэсси в голову, что тот невольно попятился.

Джонни, затиснутый среди других мальчиков, сбежавшихся посмотреть, чем кончится этот спор, оказался в первом ряду зрителей, и хотя его знобило от страха, все же горячая волна радости прошла по его телу, когда он увидел, как качнулась от удара голова Мэсси.

Когда Мэсси попятился, Миддлтон быстро шагнул вслед за ним и еще раз боднул его в голову, крича: — Врешь, врешь и врешь, не сказал он «если», ни разу не сказал, от начала и до конца!

— Ну чего ты, чего, — обиженно забормотал Мэсси; он стоял бледный, напряженный, и руки у него тряслись. — Ты кого бьешь-то?...

— Кого бью? — насмешливо передразнил Миддлтон. — На-ка вот тебе еще, — и он опять, крепче прежнего, боднул Мэсси, — чтобы ты понял, наконец, кого я бью!

Вдруг кто-то отстранил Мэсси, и перед разгоряченным Миддлтоном оказался мрачный, оскалившийся по-собачьи Экрит.

— Ты привык, Миддлтон, что тебя вся школа боится, — сказал он со злостью. — Но мы тебя не боимся! И я тебе говорю, и Мэсси говорит, что я сказал «если». Да! Сказал! И кто бьет Мэсси, тот бьет меня. Понятно?

Миддлтон не сразу ответил на этот вызов. Налитыми кровью

в святое причастие и в жизнь, вечно плыть и плыть тысячи и тысячи миль по синим морям, и зеленым морям, и черным морям, и красным морям; и я буду жить на острове, где мед стекает с деревьев, и ни с кем не надо будет делиться, и никто не будет его есть, кроме меня, и там будут птицы вроде дроздов, только большие и красные, и птицы вроде чаек, только большие и синие, и не придется ходить в воскресную школу и в церковь каждое утро и каждый вечер, потому что там все будут счастливые; вот Хантер готовится читать проповедь, вздел очки на нос, чуть-чуть откашлялся, а потом понес про то, что надо стать в ряды воинства господня, внять слову его,— и бухал он и глухо он и сухо он и в ухо-в ухо-ухал он и скучно он и душно он и ну-ка-ну-ка-нукал он... а я все сижу и сижу на скамье и трясусь от холода, и мокрая одежда леденит спину и липнет к ногам.

Но вот проповедь кончается, и мы вскакиваем все как один и поем гимн: и, сильный именем твоим, я не страшусь земных трудов; тебе все помыслы мои, господь, открыты, и мои тоже, и, пожалуйста, господи, сделай так, чтобы штаны не липли мне к ногам. Мы становимся на колени под благословение, а потом тянемся гуськом по проходу к двери в притвор и видим, что дождь льет как из ведра и крупными каплями барабанит по тротуару.

Набожно шевеля губами, прихожане застегивали пальто и макинтоши на все пуговицы, прежде чем ринуться под дождь и на всех парах помчаться домой. Джонни, поживаясь, нерешительно стоял в дверях притвора, глядя на дождь, который лил как из ведра и крупными каплями барабанил по тротуару, и надеялся, что ливень немного утихнет, прежде чем надо будет плестись домой, плетись, друг мой, плетись домой. Мы девушку своей зовем, смеемся, куrolесим, пьем; а ночь пройдет, плетись домой, домой, друг мой, плетись домой.

Весь сжавшись от одной только мысли, что дождь промочит его насквозь, он зажмурился и, полный веры в отца небесного, зашептал: — Господи, сделай так, чтобы дождь поскорее перестал и чтобы я не промок еще больше.

Он повторил еще раз, как можно медленнее: — Господи милостивый, сделай так, чтобы дождь перестал и чтобы я не промок еще больше, аминь.

Он долго стоял в притворе, крепко-накрепко зажмурив оба глаза — даже правый, забинтованный,— потом открыл их и увидел, что дождь льет как из ведра и крупными каплями барабанит по тротуару.

Пономарь вышел из церкви, снял черную рясу и повесил ее на крюк, надел пальто, напялил котелок, вынул из кармана связку ключей, в которой один ключ, самый длинный, торчал из середины, и посмотрел сначала на Джонни, потом на дождь, ливший как из ведра и крупными каплями барабанивший по тротуару.

— А ты Джонни, почему не идешь домой? Что ты здесь делаешь? — спросил он.

— Я переживаю дождь — может, перестанет немного.

— Здесь, сынок, нельзя оставаться. Церковь я сейчас запру, а этот дождь на весь день, так что беги-ка ты лучше домой. Да разве можно бояться дождя? Ведь ты мужчина. Будь я на твоём месте, мне бы одно удовольствие было бежать домой в такой дождь и ветер.

И он притворил одну половину тяжелой дубовой двери и раскрыв зонтик. А Джонни сделал вид, что ему вовсе не страшно, улыбнулся пономарю, втянул голову в плечи и сбежал с паперти под дождь, ливший как из ведра и крупными каплями барабанивший по тротуару.

И он бежал, бежал, пока не захватило дух; бежал медленнее, медленнее; потом быстрее, быстрее, из последних сил, измученный, испуганный; чувствовал, как дождь сечет и сечет его, пробивается сквозь тонкую одежду, пронизывает насквозь, струйками сбегает по спине и заду, а набухшая повязка тяжело липнет к голове; дождевые капли, смешавшись с потом, попали ему в здоровый глаз, заставив сощуриться от боли, и он налетел на какого-то человека, торопившегося домой, и тот ударил его, выругался и остановился посреди тротуара, отпуская ругательство за ругательством, пока Джонни не завернул за угол; и он все бежал, тихо всхлипывая на бегу, и, наконец, очутился на своей улице, очутился у своего дома и отчаянно заколотил ногой в дверь.

Ему открыла мать. Он юркнул в дверь, говоря: — Мама, я весь мокрый, я бежал по дождю.

Подтащив его к камину, она развязала набухший бинт, заменила его сухим носовым платком, сняла с его разгоряченного тела одежду, от которой шел пар, растерла ему ноги старой простыней, и наконец он пришел в себя и, почувствовав тепло и покой, рыдал уже не так горько.

— Нечего сказать, в хорошем виде ты явился домой, после того как побывал в лоне господнем, — говорила мать, вытирая насухо его мокрые волосы. — Церковь, которая в таком виде отпускает к матери слабенького, голодного ребенка, разве это божья церковь? Да она от бога за тридевять земель. — А Джонни голый стоял перед камином, все еще вздрагивая всем телом, но плакал он теперь чуть повеселее, потому что его согревал жар огня, уют, ласка и покой.

— Весь промок до нитки, — продолжала мать, — вот теперь мне придется сжечь последний уголь, чтобы высушить к утру твой костюмчик, а то тебе не в чем будет идти завтра в больницу. А если Хантер заглянет сюда, пока я еще не забыла, какой ты прибежал, я ему все выложу начистоту: если сам о себе не позаботишься, никто о тебе не вспомнит — это правда, и так на веки вечные и останется; точно ослепли все, заташили ребенка в церковь и не видят, что он сидит весь мокрый, жалкий и, кроме простуды, ничего там не высидит; наострил ушки, силится по-

нять дубовые слова, которыми эта пасть угощает его с высоты кафедр, обращая слово божие против ребенка, а он, бедняжка, притаился на большой скамье, дрожит от холода и со страхом смотрит на непонятную для его умишка морочу в белом стихаре, который и подержанный пошел бы за такую цену, что бедная женщина кормилась бы целую неделю вместе с ребенком и не пришлось бы ломать голову, откуда достать денег на свечу, чтобы помолиться на ночь, обратиться к господу последнюю свою мысль, прежде чем заснешь как убитая.

Она уложила его в постель, напоила горячим чаем, укрыла и подоткнула одеяло со всех сторон. Он дрожал и никак не мог согреться, долго кашлял и наконец заснул и увидел во сне скользящий по синему морю зеленый корабль с красными парусами и желтым флагом на белой мачте. Он проснулся ночью, все еще не согревшись, почувствовал озноб, кашлянул и зашелся так, что у него перехватило дыхание. Ему стало страшно, и он позвал мать, и звал, звал до тех пор, пока не поднял ее с кровати в одной рубашке, и она растерла ему грудь, напоила горячим чаем и приласкала его, уговаривая заснуть, но он все дрожал, кашлял и плакал.

Утром он проснулся в жару, горячий, как огонь, совершенно осипший, дыхание со свистом вырывалось у него из груди, дышать было больно и трудно. Веки слиплись от гноя, выступившего за ночь на глазах и запекшегося коркой. Мать поскорее накормила старшего сына завтраком и проводила его на работу. Потом она побежала к трактирщику Фареллу, судебному заседателю и члену попечительства о бедных, который дал ей красный талончик на вызов врача, потом побежала в больницу, где швейцар сказал ей: лежит дома один, ну и пусть лежит, как ни торопись, а очередь есть очередь; ни он, ни доктор не собираются бросать свои дела ради больных, которые состоят на пособии.

И она стала ждать, подвигаясь за теми, кто был впереди, и наконец отдала врачу красный талончик — вызов к больному Джону Кэссиди, восьми лет; потом побежала домой — ждать, без конца ждать врача, который пожаловал только вечером, нашел у мальчика сильный бронхит, выписал рецепт и сказал, что если она поторопится, то сможет еще получить лекарство до закрытия больницы.

Надев шляпу и накинув шаль на плечи, она вышла из дому, всю дорогу до больницы бежала и поспела туда как раз вовремя, чтобы получить лекарство; потом кинулась домой, переходя на быстрый шаг, когда захватывало дыхание, и, отдышавшись, снова пускалась бегом и наконец, не чуя под собой ног от усталости, сама не своя от тревоги, вошла в дом, дала мальчику лекарство, вытерла ему мокрое от пота лицо и грудь, оправила постель и не отходила от него до тех пор, пока он не погрузился в сон, время от времени прерываемый кашлем.

Как-то вечером, несколько недель спустя, когда он немножко поправился и мог сидеть у камина, закутанный в старое одеяло, учительница, мисс Валентайн, пришла навестить его и принесла ему кулечек апельсинов. Она сказала, что они все очень жалеют Джонни, потому что он не может ходить в воскресную школу и в церковь; но теперь, надо надеяться, он снова будет с ними; что преподобный мистер Хантер просил передать Джонни поклон и что они все очень любят Джонни, он такой хороший мальчик, э-э... гм... это не его вина, что он несколько недель не ходил в воскресную школу и в церковь, э-э... э-э... гм... она принесла Джонни красивую открытку с текстом из Священного писания, такие давали всем, кто посещал занятия, э-э... э-э... э-э... гм... она уверена, что это поможет Джонни почаще обращаться мыслями к богу.

И мать Джонни сказала, что мисс Валентайн очень добра к ее мальчику, и велела ему поблагодарить ее, и, уходя, мисс Валентайн попрощалась с Джонни за руку, а мать Джонни проводила ее вниз по лестнице и открыла ей входную дверь.

Оставшись один, Джонни сдвинул повязку на лоб, поднес открытку к здоровому глазу, долго вглядывался в нее и рассмотрел большой букет нарциссов и стих из библии. Медленно разбирая слово за словом, он не мог связать их воедино, а написано там было вот что:

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

ВЕЛИКОЕ ПОБОИЩЕ

Все опять началось сначала, когда Джонни выздоровел после бронхита, — опять он просыпался по утрам, чувствуя, как мамина рука трясет его за плечо и мамин голос говорит: вставай, вставай, пора; потом ему промывали глаза, залепленные гноем, промывали раз и два, и три, да при том еще такой горячей водой, что только-только можно терпеть; потом вводили под веко больного глаза комочек мази, которая в больнице звалась доминус, потому что применять ее надо было дома, о дом, мой милый дом, очаг осиротелый, а в мази был атропин, от него расширялся зрачок и расслаблялась и успокаивалась язвочка на роговице. Потом Джонни торопливо жевал кусок черствого хлеба, запивая его горячим чаем, мама надевала ему через плечо сумочку, купленную за шесть пенсов, а в сумочке был завтрак — еще два ломтя черствого хлеба, и мама приговаривала ему на прощание, да ну же, скорее, Джонни, неужели не можешь ты хоть чуточку поторопиться, чтобы не опоздать на перекличку, а то ведь опять Слоган нажалуется на тебя Хантеру, а Хантер опять будет жаловаться мне; и Джонни, крадучись, пробирался в школу; и слушал, как читают молитву перед учением, и начиналась опять та же волянка — диктант и арифметика; потом наступала перемена, и все

выбегали на грязный двор, где только возле церкви росло немного травы и клевера; и Джонни усаживался на траву, доставал из сумочки свои два ломтя черствого хлеба, ибо сказано — дал им господь хлеб небесный, дабы они ели, — и глядел издали, как другие мальчишки играют в шарики и в карты, курят и мечут колышки; а иногда старшие мальчишки, собравшись кучкой между двумя контрфорсами церкви, ловили какого-нибудь малыша и, повалив его под общий смех на землю, расстегивали ему штаны, а тот кричал и плакал, и Джонни удивлялся, что это они с ним делают; потом Слоган звонил в звонок, и все бежали обратно в школу и опять начиналась та же волынка — диктант и арифметика.

Однажды во время перемены Джонни побрел к истоптанной травке возле церкви, сел и стал завтракать. Напротив были высокие трубы стеклодувной фабрики, и сперва Джонни смотрел, как из них валит дым; он поднимался клубами и расплзался в стороны, пока все небо, куда ни глянь, не заволокло бурой пеленой.

Если бы ангел пролетел сквозь этот дым, подумал Джонни, то даже золотое сияние его крыльев и то бы потускнело; и как быстро он ни лети, а явился бы на небо в виде трубочиста.

Потом Джонни обратил подслеповатый свой взгляд к кучке мальчиков, игравших в колышки. В каждый колышек был загнан длинный и острый стальной шип. Мальчик туго обматывал свой колышек длинной бечевкой по особому прорезанному в нем желобку, потом, не выпуская конец бечевки из рук, резким движением метал колышек в землю. Бечевка разматывалась, и если колышек был брошен умело, он при этом быстро вертелся в воздухе вокруг своей оси, как волчок, с приятным жужжанием. На земле был мелом очерчен круг, внутри круга лежал на боку чей-нибудь колышек. И надо было так метнуть свой, чтобы он воткнулся шипом в тот, что лежал внутри круга. При удаче метальщик получал право трижды ударить шипом по этому лежащему колышку, и если ему удавалось его расщепить, то его собственный колышек считался победителем. У одного из школьников был колышек, который победил уже двадцать других. Джонни смотрел на все это и жевал хлеб.

Мимо шел какой-то мальчик; он вдруг остановился перед Джонни.

— Что ты тут делаешь? — спросил он.

— Ничего не делаю. Сажу и завтракаю.

— Ты ведь у Фостера в классе? — продолжал мальчик. — Как тебя зовут?

— Джонни Кэссиди.

— У меня хлеб с вареньем, — сказал мальчик. — А у тебя?

— У меня без, — ответил Джонни. — Мне надоело варенье.

— Врешь! — захохотал мальчик. — Задаешься! Нету у тебя варенья, вот и выдумываешь — надоело!

Он вдруг ударил Джонни по руке. Хлеб упал на землю.

— Ну да! — сказал он, переворачивая хлеб носком башмака. — Совсем сухой! Даже салом не помазано!

В эту минуту подошел еще один мальчик, мельком взглянул на Джонни и схватил первого мальчика за руку.

— Идем, — сказал он и потянул своего дружка за собой. — Что ты разговариваешь с этим кислוגлазым?

Джонни отвернулся и стал смотреть в ту сторону, где между двумя контрфорсами церкви сидели несколько старших мальчиков и курили. Вдруг ему показалось, что один из них, Миддлтон, высокий ширококостый парень с рыжеватыми волосами, манит его к себе. Но он все-таки не был уверен, поэтому сдвинул брови и прищурил здоровый глаз, и тут уже ясно увидел, что Миддлтон машет ему, а потом и услышал, что тот властно зовет: — Эй ты, пойди сюда на минутку, ты, с перевязанным глазом!

С бьющимся сердцем Джонни вскочил с травы и побежал к Миддлтону. Остальные мальчики тоже встали и подошли ближе, презрительно и с любопытством поглядывая на Джонни. Джонни, робея, стоял перед большеротым, рыжеволосым верзилой, глядя на него снизу вверх, а тот раздумчиво смотрел на Джонни сверху, словно что-то прикидывая в уме; но выражение его серых глаз было не лишено добродушия. Остальные окружили их — здоровые сорванцы с крепкими кулаками, грубые, жестокие, хитрые — и молча ждали, пока заговорит силач Миддлтон.

— Что у тебя с глазами, малыш? — спросил Миддлтон.

— Язвочка, — ответил Джонни.

— Это что значит?

— Такая болезнь... Делается на глазу и очень болит.

— О чем же мать твоя думает, дура этакая? Пускает тебя в школу, больного!

— Мама не виновата, — горячо ответил Джонни. — Это Хантер ее заставил.

— Попробуй она его не пустить, — насмешливо сказал коренастый мальчик с торчащими вперед зубами и большими заплатками на коленях. Его звали Мэсси. — Хантер им тогда угля не даст, что они получают от прихода.

Джорджи Миддлтон сердито посмотрел на Мэсси. — Я с ним разговариваю, а не с тобой, — сказал он. — Так что заткни свое хайло. Не он один получает уголь от прихода.

— Мэсси сам получает. Я видел, как им привозили, — вмешался второй мальчик, желая угодить Миддлтону.

— Братья и сестры у тебя есть? — обратился опять Миддлтон к Джонни.

— Трое братьев — двое сейчас в солдатах, и одна сестра, — сказал Джонни.

Мэсси хихикнул.

— Интересно, — сказал он вполголоса, — хорошенькая у него сестра? Стоит с ней прогуляться?

— Да он, наверно, не знает разницы между мальчиком и девочкой, — вставил один из старших ребят. Его звали Экрит; у него была круглая голова и лицо всегда какое-то грязное, а башмаки зашнурованы веревочкой, которую сверху кое-как зачернили ваксой.

— Нет, знаю, — набравшись храбрости, заявил Джонни. — Мальчики носят штаны, а девочки нет.

— Будто? — откликнулся Экрит. — Ты как-нибудь подними платье у девочки — увидишь, что на ней тоже штаны, белые, с оборочками, и такие широкие, что можно руку у-у куда засунуть.

— Ты когда-нибудь видал свою сестру голой? — ухмыляясь, спросил Мэсси.

— Давайте снимем с него штаны и посмотрим, мальчик он или девочка, — воскликнул Экрит и угрожающим жестом положил свою толстую руку на плечо Джонни.

Джонни пытался вывернуться, но Экрит крепко держал его за рукав. Тогда Джонни лягнул его сколько было сил и слегка задел по голени.

— Ах ты, дрянь! — в ярости завопил тот. — Туда же, воробей несчастный! Слепая дохлятина! Вот стукну тебя по морде!

— Ну, ну, попробуй, — вдруг сказал Миддлтон. — Коли ты такой вояка, так стукни его, не стесняйся, а мы посмотрим, что из этого выйдет.

Все настороженно притихли. Глупая улыбка расплзлась по лицу Экрита; пальцы его, впившиеся в плечо Джонни, постепенно разжались.

— Не стоит руки марать, — пробормотал он.

— Ну, ну, — настаивал Миддлтон. — Валяй! Что же ты? Уже на попятный? — Остальные, предчувствуя столкновение, теснее окружили их и с горящими глазами слушали, что еще скажут эти большие парни. Один подтолкнул Экрита локтем и шепнул ему на ухо: — Валяй, Фред! Проучи этого нахального клопа! Тресни его хорошенько!

Экрит фыркнул и смущенно пробурчал: — Ладно уж, не стану портить ему красоту, если он Миддлтонов любимчик.

— Врешь, — сердито крикнул Миддлтон, — никакой он не мой любимчик! Я просто позвал его, чтобы кое-что спросить, а тебе сейчас и нужно влезть со своим паскудством!

В глазах Экрита вспыхнули вдруг злые искорки; он сделал шаг к Миддлтону.

— Кто это врёт? — вызывающе спросил он.

— Ты врешь, — ответил Миддлтон.

— Почему это я вру?

— Потому что говоришь, что он мой любимчик.

— Я не говорил, что он твой любимчик.

— Нет, говорил.

— Нет, не говорил. Я сказал, *если* он твой любимчик. Правда,

ребята? — Он оглянулся на стоявших кругом мальчиков. — Ведь правда, я сказал — если?

Мэсси вышел вперед не совсем уверенными шагами, стал рядом с Экритом и, распрямив свои обвислые плечи, уставился на Миддлтона.

— Я очень даже ясно слышал, что Экрит сказал «если». И это значит, что нас двое против тебя одного! — с торжеством закончил он.

Миддлтон несколько секунд пристально смотрел на него, потом подошел к нему вплотную и предостерегающе произнес:

— Знаешь, что я тебе посоветую? Ползи-ка себе прочь подобру-поздорову, покуда тебя не трогают!

— Не собираюсь никуда ползти и бежать тоже не собираюсь, — упрямо, хотя уже с ноткой робости в голосе, отозвался Мэсси.

Миддлтон еще ближе — лоб в лоб — придвинулся к нему; лицо его налилось кровью, глаза разгорелись, стиснутые кулаки судорожно дергались.

— Что ты о себе воображаешь? — сказал он, повысив голос. — Тоже мне герой выискался! Раз я говорю, что он не сказал «если», значит он не сказал, понятно?

— А я говорю, он сказал, — все так же упрямо повторил Мэсси.

— Врешь, не сказал! — гаркнул Миддлтон и вдруг так боднул Мэсси в голову, что тот невольно попятился.

Джонни, затиснутый среди других мальчиков, сбежавшихся посмотреть, чем кончится этот спор, оказался в первом ряду зрителей, и хотя его знобило от страха, все же горячая волна радости прошла по его телу, когда он увидел, как качнулась от удара голова Мэсси.

Когда Мэсси попятился, Миддлтон быстро шагнул вслед за ним и еще раз боднул его в голову, крича: — Врешь, врешь и врешь, не сказал он «если», ни разу не сказал, от начала и до конца!

— Ну чего ты, чего, — обиженно забормотал Мэсси; он стоял бледный, напряженный, и руки у него тряслись. — Ты кого бьешь-то?...

— Кого бью? — насмешливо передразнил Миддлтон. — На-ка вот тебе еще, — и он опять, крепче прежнего, боднул Мэсси, — чтобы ты понял, наконец, кого я бью!

Вдруг кто-то отстранил Мэсси, и перед разгоряченным Миддлтоном оказался мрачный, оскалившийся по-собачьи Экрит.

— Ты привык, Миддлтон, что тебя вся школа боится, — сказал он со злостью. — Но мы тебя не боимся! И я тебе говорю, и Мэсси говорит, что я сказал «если». Да! Сказал! И кто бьет Мэсси, тот бьет меня. Понятно?

Миддлтон не сразу ответил на этот вызов. Налитыми кровью

глазами он оглядел обоих стоявших перед ним противников, взвешивая их силу, храбрость и ловкость в возможной драке. Взгляд его переходил с одного на другого, а те оба стояли с вызывающим видом, тяжело дыша, и ждали, что он станет делать.

Миддлтон в этот миг пытался угадать, сколько настоящей решимости скрывается за их внешней дерзостью. Припугнуть их еще — и струсят? А если не сдадутся, сможет ли он одолеть их обоих? Это было рискованно, и все столпившиеся вокруг мальчики поняли, что он колеблется. У Джонни сердце застыло в груди, как стынут руки, если ночью окунуть их в бьющий из земли источник.

— Я же не могу бить по двум головам сразу, — нерешительно проговорил Миддлтон.

— Ну это-то пустяки, ничего нет легче, — заявил, осмелев, Мэсси. — Ты бей по одной, а считай за две.

Миддлтон понял, что, если он теперь отступит, ему уже не сохранить свое положение первого силача в школе. А отказаться от этой власти, так тешившей его самолюбие, он не мог. Он ясно видел, что эти двое, стоявшие перед ним, злобно сверкая на него глазами, заметили его колебание. Они уже думают, что он струсил.

— Кто бьет Экрита, бьет меня, — сказал Мэсси.

— Кто бьет Мэсси, бьет меня, — сказал Экрит.

Миддлтон сжал кулаки и оскалил зубы.

— Кабы я захотел, — проворчал он, — так взял бы вас обоих, как щенят, за шиворот, да и стукнул бы головами друг о дружку. Хоть сейчас могу, пожалуйста!

— Вот и ладно, — ухмыльнулся Мэсси: — Ты только скажи, когда будешь готов.

— А мы уж тебе и местечко расчистим, — добавил Экрит.

Один из старших мальчиков потянул Миддлтона за рукав. — Скажи, что будешь драться с ними по очереди, — сказал он шепотом. — Один свалится, тогда с другим. Так ты их легко расчехвостишь.

— Хорошо, я буду драться с вами обоими, — сказал Миддлтон, обрадованный этим советом. — Но только по очереди. Один свалится, тогда с другим.

— Ишь ты, полегче захотел! — крикнул Экрит. — Ты же говоришь, мы против тебя щенята! Так дерись с обоими или признайся, что трусишь. Вот я тебя вызываю! — и он слегка ударил Миддлтона кулаком в плечо. В эту минуту зазвенел звонок в руках Слогана, возвещая школьникам, что перемена окончена и пора опять приниматься за старую волынку — арифметику и диктант.

— Буду драться по очереди. Один свалится, тогда с другим, — гневно повторил Миддлтон, оскаливая свои крепкие, желтые зубы. — Ведь это правильно, ребята, а? — обратился он к стоявшим вокруг. — И выгода все равно на их стороне.

— Один свалится, тогда с другим,— хором подтвердили мальчики.— Правильно! И выгода все равно на их стороне.

— Вызываю вас,— сказал Миддлтон и легонько ткнул кулаком в плечо сперва Мэсси, потом Экрита.

— Значит, после уроков, на Брэди-лейн,— сказал Экрит.

Звонок уже надрывался от нетерпения, и все гурьбой побежали в класс, шумя и переговариваясь, в возбуждении от мыслей о том, что произойдет сегодня после уроков на Брэди-лейн. Слоган не раз с любопытством поглядывал на мальчиков, пока те жужжали, склонившись над книжками и тетрадками. Он сразу почуял что-то неладное, но нарочно делал вид, что не замечает охватившего весь класс скрытого волнения. А Джонни первый раз в жизни хотел, чтобы уроки тянулись подольше, чтобы не скоро еще был конец. Он, положим, мог бы тихонько улизнуть по дороге, но он понимал, что стыдно ему будет покинуть того, кто защитил его в трудную минуту. Делать нечего, придется стоять и смотреть, как эти трое расквашивают друг другу носы. Он все еще надеялся, что кто-нибудь из старших мальчиков вдруг выступит и помирит их или что Слоган пронюхает, в чем дело, и предотвратит драку. Но вот уже старосты классов — господа, почему так скоро? — принялись собирать книги; значит, уроки почти что кончены. Потом старосты сдали книги помощнику учителя, и тот уложил их обратно в шкаф и запер дверцы на замок. Потом старосты вернулись на свои места, и все стали с нетерпением ждать, когда же их наконец отпустят.

Джонни увидел, как солнечный блик сверкнул на лысине Слогана, когда тот нагнулся над книгой, что-то в ней пометил, резко ее захлопнул и отложил. Потом встал и сделал знак читать молитву. Послышался шум — мальчики становились на колени. Джонни услышал, как Слоган делает замечание кому-то из учеников — закрой глаза, сложи руки на груди,— и затем в наступившей тишине гулко прозвучали слова молитвы — подай, господа, чтобы всё, над чем мы ныне трудились, глубже запечатлелось в сих юных невинных сердцах и принесло добрые плоды, да благо нам будет и да прославится пресвятое имя господне ныне и присно и во веки веков, аминь.

Снова громкий шум — мальчики поспешно вставали с колен и нетерпеливо устремлялись к выходу. Джонни шел в толпе вместе с другими, как вдруг почувствовал, что его схватили за руку; подняв глаза, он увидел над собой красное, взволнованное лицо Миддлтона.

— Идем, малыш,— сказал он,— ты будешь держать мою куртку, пока я буду драться. Посмотришь, как я из ихних морд сырые бифштексы сделаю.

Джонни ответил ему бледной улыбкой.

— Дай им, Джорджи, как следует,— пролепетал он.

— Да уж будь покоен,— ответил тот.— Вот подожди, сам увидишь.

глазами он оглядел обоих стоявших перед ним противников, взвешивая их силу, храбрость и ловкость в возможной драке. Взгляд его переходил с одного на другого, а те оба стояли с вызывающим видом, тяжело дыша, и ждали, что он станет делать.

Миддлтон в этот миг пытался угадать, сколько настоящей решимости скрывается за их внешней дерзостью. Припугнуть их еще — и струсят? А если не сдадутся, сможет ли он одолеть их обоих? Это было рискованно, и все столпившиеся вокруг мальчики поняли, что он колеблется. У Джонни сердце застыло в груди, как стынут руки, если ночью окунуть их в бьющий из земли источник.

— Я же не могу бить по двум головам сразу, — нерешительно проговорил Миддлтон.

— Ну это-то пустяки, ничего нет легче, — заявил, осмелев, Мэсси. — Ты бей по одной, а считай за две.

Миддлтон понял, что, если он теперь отступит, ему уже не сохранить свое положение первого силача в школе. А отказаться от этой власти, так тешившей его самолюбие, он не мог. Он ясно видел, что эти двое, стоявшие перед ним, злобно сверкая на него глазами, заметили его колебание. Они уже думают, что он струсил.

— Кто бьет Экрита, бьет меня, — сказал Мэсси.

— Кто бьет Мэсси, бьет меня, — сказал Экрит.

Миддлтон сжал кулаки и оскалил зубы.

— Кабы я захотел, — проворчал он, — так взял бы вас обоих, как щенят, за шиворот, да и стукнул бы головами друг о дружку. Хоть сейчас могу, пожалуйста!

— Вот и ладно, — ухмыльнулся Мэсси: — Ты только скажи, когда будешь готов.

— А мы уж тебе и местечко расчистим, — добавил Экрит.

Один из старших мальчиков потянул Миддлтона за рукав. — Скажи, что будешь драться с ними по очереди, — сказал он шепотом. — Один свалится, тогда с другим. Так ты их легко расчехвостишь.

— Хорошо, я буду драться с вами обоими, — сказал Миддлтон, обрадованный этим советом. — Но только по очереди. Один свалится, тогда с другим.

— Ишь ты, полегче захотел! — крикнул Экрит. — Ты же говоришь, мы против тебя щенята! Так дерись с обоими или признайся, что трусишь. Вот я тебя вызываю! — и он слегка ударил Миддлтона кулаком в плечо. В эту минуту зазвенел звонок в руках Слогана, возвещая школьникам, что перемена окончена и пора опять приниматься за старую волынку — арифметику и диктант.

— Буду драться по очереди. Один свалится, тогда с другим, — гневно повторил Миддлтон, оскаливая свои крепкие, желтые зубы. — Ведь это правильно, ребята, а? — обратился он к стоявшим вокруг. — И выгода все равно на их стороне.

— Один свалится, тогда с другим,— хором подтвердили мальчишки.— Правильно! И выгода все равно на их стороне.

— Вызываю вас,— сказал Миддлтон и легонько ткнул кулаком в плечо сперва Мэсси, потом Экрита.

— Значит, после уроков, на Брэди-лейн,— сказал Экрит.

Звонок уже надрывался от нетерпения, и все гурьбой побежали в класс, шумя и переговариваясь, в возбуждении от мыслей о том, что произойдет сегодня после уроков на Брэди-лейн. Слоган не раз с любопытством поглядывал на мальчиков, пока те жужжали, склонившись над книжками и тетрадками. Он сразу почуял что-то неладное, но нарочно делал вид, что не замечает охватившего весь класс скрытого волнения. А Джонни первый раз в жизни хотел, чтобы уроки тянулись подольше, чтобы не скоро еще был конец. Он, положим, мог бы тихонько улизнуть по дороге, но он понимал, что стыдно ему будет покинуть того, кто защитил его в трудную минуту. Делать нечего, придется стоять и смотреть, как эти трое расквашивают друг другу носы. Он все еще надеялся, что кто-нибудь из старших мальчиков вдруг выступит и помирит их или что Слоган пронюхает, в чем дело, и предотвратит драку. Но вот уже старосты классов — господа, почему так скоро? — принялись собирать книги; значит, уроки почти что кончены. Потом старосты сдали книги помощнику учителя, и тот уложил их обратно в шкаф и запер дверцы на замок. Потом старосты вернулись на свои места, и все стали с нетерпением ждать, когда же их наконец отпустят.

Джонни увидел, как солнечный блик сверкнул на лысине Слогана, когда тот нагнулся над книгой, что-то в ней пометил, резко ее захлопнул и отложил. Потом встал и сделал знак читать молитву. Послышался шум — мальчики становились на колени. Джонни услышал, как Слоган делает замечание кому-то из учеников — закрой глаза, сложи руки на груди,— и затем в наступившей тишине гулко прозвучали слова молитвы — подай, господа, чтобы всё, над чем мы ныне трудились, глубже запечатлелось в сих юных невинных сердцах и принесло добрые плоды, да благо нам будет и да прославится пресвятое имя господне ныне и присно и во веки веков, аминь.

Снова громкий шум — мальчики поспешно вставали с колен и нетерпеливо устремлялись к выходу. Джонни шел в толпе вместе с другими, как вдруг почувствовал, что его схватили за руку; подняв глаза, он увидел над собой красное, взволнованное лицо Миддлтона.

— Идем, малыш,— сказал он,— ты будешь держать мою куртку, пока я буду драться. Посмотришь, как я из ихних морд сырые бифштексы сделаю.

Джонни ответил ему бледной улыбкой.

— Дай им, Джорджи, как следует,— пролепетал он.

— Да уж будь покоен,— ответил тот.— Вот подожди, сам увидишь.

Мэсси и Экрит шли, окруженные толпой мальчишек, которые наперебой давали им советы, объясняя, как надо сперва загонять Миддлтона, известить его, измотать, а уж когда он утомится и ослабеет, повести решительную атаку и расправиться с ним по-свойски.

— Вы только, ради бога, не давайте ему нанести удар, а то тут вам и крышка. Увертывайтесь, хитрите. Танцуйте вокруг него, да не слишком близко, чтобы он за вами гонялся, а ударить не мог, а уж когда он выдохнется, тут надо нырнуть под его левую и запалить ему под ложечку.

На Брэди-лейн, в узком проулке, где с одной стороны была железнодорожная насыпь, а с другой — забор, огораживавший задние дворы нескольких вытянувшихся в ряд домишек, все остановились и приготовились. Забор был с севера, и здесь разместились сторонники Мэсси и Экрита; насыпь — с юга, и тут расположились те, кто стоял за Миддлтона. Посередине оставалось узкое пространство, в котором должен был разыграться бой. Миддлтон не спеша, с хладнокровным видом снял куртку и отдал Джонни, а тот повесил ее себе через плечо. Затем Миддлтон отстегнул спереди подтяжки и обвязал их, как ремень, вокруг пояса, засучил рукава сорочки, обнажив свои грязные узловатые руки, и, злой как черт, весь взвинченный, стал ждать, когда подадут сигнал к началу.

Двое старших мальчиков, один из класса Мэсси, другой из класса Миддлтона, взялись быть секундантами, то есть последние, чтобы противники бились честно и не применяли запрещенных приемов. Секундант Миддлтона вышел вперед и объявил, что Миддлтон готов. Но у Мэсси и Экрита еще шел спор с их секундантом, кому выходить первым, а кому вторым.

— Пусть Экрит идет первым, — убеждал секунданта Мэсси, — он легче меня, он лучше сумеет увертываться, когда будет гонять Миддлтона.

— Нет, лучше ты иди первым, — возражал Экрит. — Ты тяжелее меня, постарайся вклепить ему несколько хороших ударов под ребра, а тогда уже выйду я и его прикончу.

— Да ну вас, — сказал секундант Миддлтона, — решайте, что ли, скорее, а то Миддлтон состарится успеет, пока будет вас дожидаться.

— Если не можете решить, так киньте жребий, — нетерпеливо сказал второй секундант. — Ну! Орел — Экрит, решка — Мэсси, — и он ловко подбросил в воздух стертую монетку в полпенни. Монетка упала на землю — вышла решка. — Тебе первому, Мэсси, — сказал секундант. Мэсси нарочито медленно снял куртку, закатал рукава, растер себе руки, — а Джонни все это время молился о том, чтобы Мэсси и Экриту не было удачи и чтобы победил Миддлтон.

— Готов? — спросил секундант.

Мэсси кивнул.

— Готов? — снова спросил секундант, оборачиваясь к Миддл-
тону.

— Давным-давно, — ответил Миддлтон с притворной небреж-
ностью.

— Начинай! — крикнул секундант, а Джонни про себя доба-
вил: — Да победит в сем бою рука господня и Миддлтона!

Миддлтон стоял, правой рукой наискось закрывая грудь и жи-
вот, а согнутую левую отведя немного назад, и сверкающими гла-
зами следил за Мэсси. Тот подкрадывался к нему, то делая
шаг вперед, то быстро отступая, выжидая подходящей минуты,
чтобы прыгнуть и ударить, а Миддлтон стоял неподвижно и свер-
кающими глазами следил за каждым его движением.

В одном из домишек вдруг открылось окно и высунулась рас-
трепанная женская голова.

— Вы что тут делаете? — завопила женщина, грозно глядя
вниз, на бойцов. — Убирайтесь, бандиты, из нашего переулка!
Ишь, нашли место драться!

Но Миддлтон даже на секунду не отвел глаз от согнутой, кра-
дущейся фигуры Мэсси.

— Убирайтесь из нашего переулка! — опять завопила жен-
щина. — А то живо полицейского позову! Он вам покажет! Приду-
мали себе забаву — калечить друг друга! Этому, что ли, вас в
школе учат?

Мэсси вдруг прыгнул к Миддлтону, тот размахнулся, целясь
ему в голову, но Мэсси вовремя отскочил, а Миддлтон стреми-
тельно повернулся кругом на носках, так что опять оказался ли-
цом к Мэсси, и снова замер на месте, сверкающими глазами следя
за каждым движением пригнувшегося к земле, готового к прыжку
противника. Экрит тоже стоял как вкопанный, не отрывая глаз
от дерущихся, и нервно грыз себе пальцы.

— Смотрите, смотрите, — завопила женщина из окна, — ну
смотрите, что делают! Да ведь если б ты тому бедному мальчику
попал по голове, ты бы череп ему раскроил! А-а, вот и поли-
цейский, вот он, вот он, из-за угла выглядывает!

Миддлтон тревожно оглянулся через плечо; в ту же секунду
Мэсси прыгнул, вынеся вперед кулак, и когда Миддлтон снова
повернулся к нему лицом, кулак ударил его прямо по зубам.
Мэсси мгновенно отскочил, и все увидели, что по лицу Миддлтона
струится кровь из разбитой губы. Но Миддлтон только злобно
усмехнулся и продолжал молча и невозмутимо следить за про-
тивником.

— Сейчас пойду позову полицейского, — закричала женщина
из окна. — Вот он вас всех заберет! Насидитесь в тюрьме, голуб-
чики! — Она втянула голову в окно и с треском опустила раму.

Мэсси вдруг опять подскочил к Миддлтону, отпрыгнул, опять
подскочил, увернулся, и тяжелый грязный кулак Миддлтона свист-
нул в воздухе над самой его головой.

— Осторожней, Мэсси, осторожней! — крикнул из толпы ка-

кой-то сочувствующий.— На этот раз тебе чуть не попало! А кулаки у него тяжелые!

— Ой! Полицейский! — воскликнул кто-то из сторонников Мэсси.— Смотрите! Вон, на углу!

Снова Миддлтон бросил быстрый взгляд через плечо, и снова Мэсси прыгнул; но Миддлтон, инстинктом почуяв хитрость, молниеносно повернулся и выбросил кулак вперед, вложив в это движение всю свою силу и всю свою злость. Мэсси как-то всхрипнул, взвизгнул — удар пришелся ему в челюсть, — он, шатаясь, попятился, не помня себя от испуга и боли, а Миддлтон рванулся за ним и еще раз ударил его левой в ухо. Мэсси рухнул на землю, как мешок. Потом на четвереньках, с жалобными стонами уполз в толпу.

Экрит стоял впереди кучки своих сторонников, бледный, с трясущимися губами. Он медлил в нерешимости, но друзья стали толкать его в спину, приговаривая: — Иди, иди, не давай ему передохнуть, что же ты, ну!

Но момент был упущен. Едва успел Экрит сделать два-три неверных шага, как Миддлтон яростно налетел на него. Экрит слепо выставил перед собой кулаки, но их словно отдуло ветром, и мгновенно по щеке Экрита поползла страшная на вид кровавая жижа. Глаза у него вытаращились от боли, он покачнулся, а тяжелые кулаки Миддлтона молотили и молотили по его залитому кровью лицу, пока наконец после одного из ударов он не повалился враспашку на скорчившееся на земле тело своего друга Мэсси.

Прятели Мэсси и Экрита прижались к забору, а Миддлтон, в штанах и рубашке, стоял напротив них и, свирепо усмехаясь окровавленными губами, смотрел на поверженных противников.

— Что, ерепениться вздумали? — с издевкой спросил он.— Спорить со мной? Ну, может, хоть теперь-то поверите, что коли я говорю, что Экрит не сказал слова «если», так, значит, он не сказал! И все! Ну?

Двое мальчиков подошли к Миддлтону. Они гордо и любовно взяли его под руки и кивнули Джонни, чтобы он принес отданную ему на сохранение куртку.

— Надевай куртку, Джорджи, — сказал один из мальчиков.— Теперь уж кончено. Ты им так наложил, что не скоро очухаются. Да что о них и говорить-то! Слюни они девчоночьи и ничего больше!

Весь согретый радостью, Джонни подбежал к Миддлтону и подал ему куртку. А тот, гордый, молчаливый, спокойный, не спеша надел ее, стараясь продлить свое торжество, свысока поглядывая на обоих побитых мальчишек, которые все еще стояли на коленях и грязными носовыми платками утирали кровь, струившуюся по их израненным лицам.

Затем все друзья Миддлтона, и Джонни в том числе; окру-

жили победителя, и кто-то вложил ему в рот самокрутку и поднес спичку, и все смотрели, как он беззаботно затягивается дымом, крепко прихватив самокрутку разбитыми губами, отчего на ней расплывались красные пятнышки. А потом все повернулись и пошли прочь, высоко подняв головы, смеясь и весело обсуждая то, что сейчас произошло, и в переулке остались только двое мальчишек, которые все еще стояли на коленях и носовыми платками утирали кровь, струившуюся по их израненным лицам.

СТАРЫЙ СТРАНСТВУЮЩИЙ СТЕКОЛЬЩИК

Джонни, Джорджи Миддлтон, О'Халлоран, Келли и еще несколько мальчиков играли на улице в камешки, и игра была в полном разгаре, когда из-за угла показался еврей. Бродячий стекольщик, он весь согнулся под тяжестью огромной рамы со стеклами, державшейся на двух широких лямках крест-накрест через грудь и третьей, захлестнутой вокруг пояса. Он был низенький и коренастый, с лохматой головой и жиденькой, черной с проседью бороденкой. Глубокие черные глаза испуганно смотрели с одутловатого бледного лица. На лоб свисали длинные курчавые пряди черных как смоль волос. Края обтрепанных черных брюк висели бахромой; башмаки были стоптаны; новенький черный котелок плотно сидел на голове; шею сдавливал жесткий, высокий, глянцевитый белый воротничок, казавшийся еще белее от франтоватого галстука в красных, зеленых и желтых разводах. Он шел, слегка выставив руки вперед для равновесия, и так низко согнулся под тяжестью своей ноши, что закидывал голову чуть не на спину, чтобы увидеть, что делается впереди и нет ли где надобности в его услугах. Струйки пота стекали у него по щекам, и блестящие мокрые пятна проступили под мышками и в паху, где одежда пропотела насквозь. Он делал короткие, мелкие шажки — видно, очень тяжела была ноша, придавившая ему спину. Так он плелся по улице, с усилием ворочая головой то вправо, то влево, зорко высматривая случай заработать и неустанно выпесая на ходу: «Стекла вставлять, стекла!» Он все глаза проглядел в надежде заприметить окно, разбитое камнем, рогаткой, мячом ребятишек или кулаком подгулявшего мужа, и все тянул свое «Стекла вставлять, стекла! Кому стекла вставлять!»

Солнце играло на стеклах, и они горели так ярко, что О'Халлоран сказал: — Он как будто несет на спине остатки огненного столпа, за которым его предки когда-то шли в пустыне.

Каждые десять шагов еврей движением плеч вскидывал повыше съезжавшую раму, но ни на минуту не останавливался и не прерывал своего размеренного «Стекла вставлять, стекла! Кому стекла вставлять!»

Вдруг он вприпрыжку, точно воробей, засеменил через улицу: там, на другой стороне, шагах в пятидесяти, виднелось разбитое

окно, и мальчики, собрав свои камешки, побежали туда же — посмотреть, надумает ли миссис Мэлдун вставлять новое стекло.

Он постоял в раздумье перед разбитым окном, заклеенным вместо стекла оберточной бумагой, потом подошел поближе, пальцем проткнул в бумаге круглую дыру и, приложив к ней глаз, заглянул в комнату. Потом отступил от окна, подошел к двери, тихонько постучал и стал терпеливо дожидаться, когда ему откроют.

— Не хотел бы я целый день таскать на своем горбу такую махину, — сказал О'Халлоран. Мальчики издали наблюдали все действия еврея.

— Заблудшая овца из стада израилева, — рассмеялся Джонни.

— Первый раз вижу такого оборванного еврея, — сказал Миддлтон.

— Смотрите, как стекла горят на солнце, — сказал Келли. — У него, верно, вся рубашка к телу прилипла.

— А на нем и рубашки-то нет, — ухмыльнулся О'Халлоран. — Один воротничок на веревочках, хочешь, поспорим?

— А хочешь, поспорим, что через год у него будет собственный выезд с парой рысаков? — возразил Келли.

— Нахальство какое, лезут сюда, — сказал другой мальчик. — Будто мы сами не можем у себя стекло вставить, если надо.

— А вот, видно, не можем, — отрезал Миддлтон. — Это окно уже с полгода заклеено бумагой.

— Больше, — поддержал его Келли.

— Откуда он взялся, интересно? — пробормотал Джонни.

— Из Иерихона, а может, из Иерусалима, — сказал Миддлтон. — Откуда же еще? Вот так они и расползаются по всему свету из своей Палестины.

Еврей снова тихонько постучал в дверь и терпеливо дожидался, когда ему откроют.

— Едва ли миссис Мэлдун очень ласково его встретит, — сказал Келли.

— Пойдем-ка поможем ему стучать, — сказал О'Халлоран.

Они подошли к еврею, который терпеливо дожидался, когда ему откроют, и в то же время тревожно поглядывал на мальчишек глубокими, кроткими черными глазами.

— Вы погромче стучите, мистер Авраам, — сказал Келли, — хозяйка туговата на ухо.

— Да, да, громче, как можно громче стучите, мистер Исаак, — обрадованно подхватил Джонни.

— Хорошенько стучите, а то она не услышит, мистер Иаков, — сказал Джорджи Миддлтон, — вот так, — и, схватив дверной молоток, он несколько раз ударил с такой силой, что дверь затряслась и грохот разнесся на милю кругом. Потом он отскочил, оставив еврея у двери одного. Еврей тоже попятился, словно в страхе перед тем, что должно случиться после этого оглушительного стука в дверь.

Не успел он поправить раму на плечах, как дверь распахнулась и тощая седая женщина с двухлетним ребенком на руках свирепо уставилась на него с порога.

— Кто это тут ломится в дверь? — закричала она. — Вы что, хотите, чтобы дом рухнул? Разве так стучатся к порядочным людям? Сам лорд-наместник не посмел бы колотить громче.

— Ходят тут, скоро совсем житья от них не будет, — сказал Миддлтон.

— Стекло, — кротко сказал еврей, — стекло там у вас разбито. Я вам вставлю новое, дешево, совсем задаром.

— Стекло разбито! — сердито передразнила его женщина, перебрасывая ребенка с одной руки на другую. — Будете еще так стучать, так придется и дверь вставлять новую, не то что стекло.

— Я вам его вставлю совсем задаром, — уговаривал кроткий еврей.

— Да убирайтесь вы ко всем чертям! — взвизгнула женщина. — Стану я тратить время и деньги для домохозяина. Ищите других дураков на ваше «совсем задаром», а здесь, кто разбил стекло, тот пусть и новое вставляет. — Она опять перебрала ребенка с одной руки на другую, повернулась на каблуках и захлопнула дверь. На улице остались только еврей, недоуменно глядевший на запертую дверь, и мальчишки, глядевшие на растерянного еврея.

О'Халлоран подошел к нему и дотронулся до его плеча.

— А вы все-таки вставьте стекло, дяденька, — сказал он. — Когда хозяйка увидит новое стекло, она заплатит. Я миссис Мэлдун знаю, она хорошая женщина. Верно, ребята? — спросил он, повернувшись к остальным.

— Золотое сердце! — отозвались все хором.

Еврей колебался; посмотрел на окно, потом на мальчишек, потом снова на окно. Пальцы правой руки с надеждой затеребили пряжки лямок, удерживавших раму со стеклами у него на спине.

— Вот ей-богу, — сказал он, — я бы вставил его совсем задаром, ей-богу.

— Валяйте, валяйте, старичок, — сказал Миддлтон. — Принимайтесь за дело. Миссис Мэлдун — женщина справедливая, и раз уж дело будет сделано, она вас не оставит на бобах. Верно ведь, ребята? — спросил он остальных.

Все в один голос снова подтвердили, что у миссис Мэлдун золотое сердце.

— Идите все сюда, — продолжал Миддлтон, — подсобим Иакову управиться с этой штукой.

Они окружили еврея, расстегнули пряжки лямок, помогли ему снять тяжелую раму со спины и осторожно прислонили ее к стене дома. Еврей сбросил поношенный черный пиджак и принялся за работу.

Из ящика в дне рамы он достал молоток, клещи и стамеску. Мальчики смотрели, как он вынимал острые обломки, торчавшие

по краям разбитого окна. Отечные белые руки двигались проворно и ловко, выбирая затвердевшие остатки замазки, вытаскивая гвоздики, служившие для закрепления старого стекла. Когда все было расчищено и подготовлено, еврей достал из заднего кармана брюк алмаз, отмерил линейкой стекло нужной величины и формы и, приложив алмаз к линейке вплотную, провел им по стеклу, которое при этом пронзительно завизжало. Потом он снова спрятал алмаз в карман и, ловко нажав умелыми пальцами, отделил отмеренный прямоугольник. Его он вставил в расчищенный паз, искусно и осторожно вбил мелкие гвоздики с обеих сторон, чтобы стекло не шаталось. Потом взял замазки и, раскатав ее между ладонями, стал быстро накладывать вдоль краев стекла, уминая пальцами и разравнивая стамеской.

Так он работал, и усталая улыбка появилась на его усталом лице.

— Ирландские мальчишки умницы, добрые,— говорил он, принимая замазку,— самые лучшие мальчишки на свете, ей-богу. Славная работа,— бормотал он, подправляя кое-где,— славная работа, и совсем задаром, совсем задаром. Хозяйка увидит новое стекло и сразу скажет: славная работа, славная работа, спасибо.

Он вытер с лица пот перепачканным рукавом рубашки, сложил в ящик инструменты и остаток замазки, натянул пиджак, продел руки в лямки, пригнулся и сильным рывком взвалил раму со стеклами на спину, потом застегнул все пряжки, подошел и снова тихонько постучал в дверь.

— Славная работа, и хозяйка славная, не обидит,— бормотал он, тихонько стуча в дверь.

Кто-то из мальчишек громко хихикнул, и усталая улыбка сбежала с усталого лица, потому что дверь оставалась закрытой и никто не шел на его тихий стук. Но он стоял и терпеливо дожидался под горячим солнцем, от которого сверкали стекла, придавившие его согнутую спину.

Мальчишки, хихикая, отошли подальше, к перекрестку, и оттуда смотрели, как еврей стоит и терпеливо дожидается у двери, которую никто и не думал отворять. Улица была безлюдна. На всех окнах были плотно сдвинуты занавеси или спущены шторы, чтобы в комнату не попадали палящие лучи солнца. Прохожих не было видно, кругом мертвая тишина,— только еврей в раздумье застыл у двери да мальчишки гурьбой стояли на перекрестке, весело смеясь над его тихим стуком, стуком в дверь, которую никто и не думал отворять.

— Эй, вы! Авраам! — услышал еврей чей-то голос посреди общего смеха и веселья.— Вон там еще разбитое окно. Можете еще раз показать свою славную работу, добрая хозяйка только рада будет, что ей совсем задаром вставили стекло.

Стайка воробьев спорхнула с ближних крыш и опустилась на землю, к ногам ожидающего еврея. Они заметили кусочки сухой замазки, валявшиеся на земле, и надеялись, что какая-нибудь

добрая сила превратит их в хлебные крошки; в ожидании этого чуда они вприпрыжку прогуливались вокруг, искоса поглядывая на неподвижную фигуру еврея, недоуменно дожидаящегося у наглухо запертой двери. Вдруг вся стая снова взлетела — кем-то брошенный камень отскочил рикошетом от мостовой, угодил еврею в ногу, разорвал штанину и поранил мякоть икры. Тотчас же голова, закинутая назад, повернулась к мальчишкам, гурьбой стоявшим на перекрестке; но все они с невинным видом смотрели в другую сторону, и голова повернулась обратно к двери, которую все никто не шел отворять.

Другой камень ударился о мостовую у самых ног еврея. Он медленно, с трудом повернулся и еще раз печально посмотрел на мальчишек; потом снова оглянулся на дверь; долгим, пристальным взглядом окинул застекленное окно, сделал несколько шагов в сторону, остановился, повернул было снова к двери, опять остановился; и наконец медленно побрел прочь по пустынной улице, свесив руки перед собой, согнувшись под тяжестью огромной рамы со стеклами, закинув голову назад так сильно, что затылок почти упирался в спину, и мирно выпевая свое «Стекла вставлять, стекла! Кому стекла вставлять!»

Мальчишки на перекрестке радостно зашумели, увидя, что еврей уходит.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В этот день у Джонни не было с собой обычного ломтя хлеба на завтрак, и он сидел на плешивой травяной кочке и здоровым глазом смотрел, как Джорджи Миддлтон и еще несколько мальчишек, укрывшись между двумя церковными контрфорсами, играют в карты, курят самокрутки и яростно спорят. Он смотрел, потом подошел поближе; а Миддлтон поднял голову и улыбнулся.

— Иди сюда, постой возле меня на счастье, — сказал он Джонни.

Джонни подошел, немного робея, положил руку на плечо Джорджи и стал следить за игрой. Мальчишки играли в двадцать пять; каждый вносил в банк по одному пенсу, а тот, кому доставался самый крупный козырь, вносил еще полпенни. Когда кончалась шестая партия, один из мальчиков вставал и, пока проходили следующие шесть, стоял на страже, чтобы Слоган, старая скотина, не захватил их врасплох. Сейчас сторожил Мэсси и с нетерпением дожидался, пока пройдут шесть партий и он снова сможет сесть за игру. Сдали карты, сыграли, подсчитали взятки, и Миддлтон выиграл. Снова ставовали карты, сыграли, подсчитали взятки, и снова выиграл Миддлтон.

— Третий раз огребаю, вот здорово! — восхищенно сказал Миддлтон. — Ну, скорей, Экрит, сдавай, пока мне везет.

— Теперь я сдаю, — крикнул Мэсси. — Это была уже шестая партия, теперь Экриту караулить.

— Пятая, а не шестая,— ответил Экрит.— Тебе еще одну стоять.

— А я тебе говорю шестая,— настаивал Мэсси,— что я не считал, что ли? Ну-ка, сматывайся, становись на мое место.

— Сказано тебе — пятая,— буркнул Экрит и стал тасовать карты.

— Шестая, шестая, шестая! — нетерпеливо задолбил Мэсси и потянулся к колоде карт, которую держал в руках Экрит.

— Тихо! — оборвал их Миддлтон.— Не прерывать игру, когда мне везет!

— Это нечестно,— заворчал Мэсси,— я шесть партий караулил, теперь черед Экриту! А я буду играть, раз такое правило!

— Ну так садись,— огрызнулся Миддлтон; он непрочь был залучить лишний пенс в котел, пока ему везло,— садись, раз тебе так приспичило, а Джонни покараулит за нас за всех.— Он посмотрел на Джонни и прибавил:

— Ну-ка, Джонни, покажи, что и ты на что-нибудь годишься, раскрой свой здоровый глаз пошире, и, если увидишь, что Слоган, старая скотина, выходит из-за угла, ты нам сейчас же махни, так чтобы, когда он подойдет, мы уже все сидели и разговаривали о том, как Давид подсматривал за Вирсавией, пока она купалась.

Джонни чуть не затошнило от страха, что он, пожалуй, не уследит за Слоганом, если тот вдруг выскочит из-за угла. Он не посмел сказать, что у него и здоровый глаз не очень-то хорошо видит; он только раскрыл его как можно шире и уставился на тот угол, из-за которого мог нагрянуть Слоган. Про себя он молился, чтобы Слоган совсем не пришел и чтобы скорей зазвонил звонок, возвещаая, что пора кончать игру и приниматься за прежнюю волюнку — арифметику и диктант.

— Кто-то не внес в банк,— сказал Миддлтон.— Тут только девять пенсов — одного не хватает. Кто не вносил?

— Я не вносил,— сказал Мэсси; он сдавал карты. Кончив сдавать, он добавил еще один пенс к тем, что были в банке.— Пики козыри, Экриту ходить,— сказал он и жадно заглянул в свои карты.

Они ходили, и крыли козырями, и забирали взятки; тасовали карты, и сдавали, и крыли козырями, забирали взятки; а Джонни все смотрел и смотрел на тот угол, из-за которого могла нагрянуть гроза, и ждал, и ждал, чтобы скорей зазвонил спасительный звонок.

Вдруг глаз ему пронзила боль, словно тысячей иголок, боль затопила его, мутя сознание, алый свет вспыхнул перед ним,— и он стиснул зубы и изо всех сил зажмурился и стоял, зажмурясь, пока жгучие, злые слезы не пробились меж его сомкнутых век и не потекли по лицу горячей струей. И тут он почувствовал, что его дернули за плечо и отшвырнули, и услышал торопливое шарканье — словно несколько человек вскочили на ноги. Когда боль утихла, он открыл здоровый глаз и увидел, что Слоган, насупясь,

сгребает в горсть те деньги, что были в банке, и подбирает разбросанные карты; а мальчики стоят кучкой и глядят на него смущенно и молча. Собрав все деньги и карты, он повернулся и ушел, не проронив ни слова, а мальчики так и остались стоять, сконфуженные и злые.

Миддлтон яростно накинулся на Джонни.

— Ты куда смотрел, черт тебя возьми! Как это тебя угораздило проворонить? — зашипел он. Но Джонни, горя от стыда, дрожа всем телом от нервного страха, не в силах был ответить.

— Застукали нас, как баранов, — проворчал Мэсси.

Миддлтон повернулся и вдруг ударил Джонни костяшками пальцев по зубам с такой силой, что из губы у того потекла кровь.

— У-у ты, кислоглазый! — закричал он. — Болван! Слепая курица! Двух минут не мог глаза открытыми подержать! Плакали теперь наши денежки! Библий теперь на них накупят — просвещать бенгальских язычников, можете радоваться!

— Застукали нас, как баранов, — проворчал Мэсси.

Миддлтон толкнул Джонни так, что тот завертелся.

— Убирайся, чтоб я тебя не видел! Растяпа, свинячий глаз, дурак маринованный!

Остальные громко захохотали. Они столпились вокруг Джонни и, когда он повернулся и медленно побрел прочь, проводили его пинками и подзатыльниками.

Завернув за угол, он услышал, как Слоган звонит в звонок, возвещая о конце перемены; пройдя мимо учителя, Джонни вошел в класс, сел за парту и, прищурив здоровый глаз, стал смотреть в учебник, а сердце сильно билось у него в груди. Школа наполнялась детьми; одноклассники Джонни рассаживались по местам и взволнованным шепотом переговаривались о том, что произошло.

Внезапно гомон стих; стоя на кафедре в переднем конце класса, Слоган звонил в звонок; а все мальчики, кроме Джонни, знали, что если звонят отсюда, значит учитель намеревается сообщить что-то важное. В наступившей тишине все ясно услышали голос учителя, в котором пробивалась приглушенная радость, словно чириканье назойливой птицы.

— Когда я сегодня проходил по двору во время перемены, — рыскал по всем углам, так вы, кажется, это называете, — я застал несколько наших самых примерных учеников, погруженных в крайне греховное занятие, такое занятие, какое прилично разве только папистским уличным мальчишкам, то есть именно нищеследующее: карточную игру. Резались, одним словом, в карты, как миленькие, и не страшились лизать сей диаволов молитвенник, позабыв о том, что они протестантские отроки, окрещенные в водах Бойна по обряду истинной церкви, что налагает на них великую ответственность и священную обязанность вести себя непорочно перед богом и людьми, и особенно перед католиками,

которые всегда готовы преувеличить самую малую провинность, совершенную протестантскими детьми. В первую минуту, охваченный справедливым негодованием, я вознамерился достойно наказать всех участников преступления и закатить всем подряд основательную порку; но затем я решил предоставить их собственной совести, коя, я верую, покарает их сильнее, чем то могла бы сделать трость в моей руке. Но среди них был один мальчик, о котором никто бы не подумал, что он может участвовать в таком деле, как игра в карты, и этот мальчик должен быть наказан; и я накажу его сейчас перед вами; и накажу по всей строгости. Я накажу его так, чтобы у него навсегда пропала охота даже прикасаться к картам. Этот храбрый маленький мальчик, на коем я сейчас испробую достоинства моей трости, сторожил, пока другие играли, для того чтобы злой учитель не мог помешать им в этом занятии; но этот храбрый маленький мальчик оказался плохим сторожем, он заснул на посту, и через несколько минут он весьма пожалеет о том, что не сумел подражать спартанцам в их добродетелях — выносливости и неусыпности. Мать этого мальчика — вдова, и, стало быть, у него нет отца, который следил бы за его поведением; а посему справедливо, разумно и мой прямой долг позаботиться о том, чтобы дурные семена не могли взрасти в душе сына вдовицы. И после того как я нарумяню ему задницу своей тростью, он, я уверен, станет на долгое время более осторожным и более добродетельным и от одного вида карт будет удирать так, что и с собаками не догонишь. — Он взмахнул свистнувшей в воздухе тростью и, ухмыляясь, спросил: — Кто сказал: «Розги пожалеешь — ребснка испортишь»?

— Соломон, сэр, Соломон, сэр, — ответил десяток голосов.

— А где в библии это сказано?

— В притчах Соломоновых, глава тринадцатая, стих двадцать пятый, — ответил десяток голосов.

— А в каких словах это там сказано?

Наступило молчание, и только один мальчик поднял руку.

— Ну, Экрит, дружок, скажи этим тупицам, в каких словах мудрый Соломон преподает нам совет покруче расправляться с дерзкими мальчишками?

— «Кто жалеет розги, ненавидит сына своего», — продекларировал Экрит, гордо подняв голову.

— Был Соломон вдохновлен богом? — спросил Слоган.

— Да, сэр, — ответил класс.

— Как это доказать? — продолжал учитель.

Класс молчал.

— Все Священное писание боговдохновенно, — сказал Слоган. — А притчи Соломоновы — часть Священного писания, а глава тринадцатая, стих двадцать пятый — часть притчей Соломоновых; ergo¹, наставление, преподанное в этом стихе — «кто жа-

¹ Следовательно (лат.).

леет розги, ненавидит сына своего», — священно и боговдохновенно, и никто не смеет в том сомневаться. Итак, дети, не совершу ли я великий грех, если пренебрегу велением господним, принимая во внимание, что я для вас всех *in loco parentis*¹, и в особенности для юного сына вдовицы, храброго маленького Джонни Кэссиди?

— Да, сэр, да, сэр, — ответил весь класс; весь, кроме Джорджи Миддлтона; Джонни видел, что он сидит, опустив голову, и не принимает участия в том, что происходит между учителем и учениками.

— Будь по-вашему, — сказал Слоган, ухмыляясь и кивая ученикам. — Итак, Джонни, иди сюда, иди сюда, сын мой, и я поступлю с тобой, как велит господь, — это причинит боль твоему телу, но зато принесет великую пользу твоей душе и сразу подвинет тебя вперед по пути к нравственному совершенству.

— Иди, тебя Слоган зовет, — прошептал мальчик справа от Джонни. — Драть тебя будет за то, что ты играл в карты на перемене. — Но Джонни только ниже опустил голову и не тронулся с места.

— Эй, — сказал мальчик слева от Джонни, толкая его локтем, — слышишь? Тебя зовут. Слоган тебя зовет, слышишь?

— Иди сюда, сынок, — сказал Слоган, глядя сверху вниз на Джонни. — Иди сюда и покончим с этим. — Но Джонни еще ниже нагнул голову и не тронулся с места.

— Он колеблется, — сказал Слоган. — Так совесть всех нас обращает в трусов, так блекнет цвет решимости природной при тусклом свете бледного ума. Иди сюда, иди ко мне.

— Да он и не думает идти, сэр, — сказал мальчик слева от Джонни.

— Иди сюда, иди ко мне, иди ко мне, иди сюда, — прочиркал учитель. — Вспомни, в чем обещались за тебя твой крестный отец и твоя крестная мать, — что ты будешь смиренно и безропотно покоряться во всем твоим пастырям и наставникам, духовным руководителям и учителям; и когда ты вырастешь, ты с благодарностью будешь вспоминать о той порке, которую задал тебе добрый учитель. — Он посмотрел на Джонни сверху вниз и сдержанным, ровным, холодным голосом сказал: — Что ж, придешь ты по доброй воле и проглотишь горькое лекарство или я должен буду пойти за тобой сам и силой выволочь тебя оттуда?

Медленно, дрожа от страха, Джонни выбрался из-за парты и, делая самые мелкие шажки, чтобы их вышло как можно больше, пошел к Слогану; сердце колотилось у него в груди, на лбу выступил пот. Он чувствовал, что Слоган хочет выместить на нем свою собственную трусость, которая мешала ему поднять руку на мальчиков постарше; как-то раз Джонни слышал, как Миддлтон, Мэсси и Экрит говорили, что, если Слоган вздумает их

¹ Вместо родителей (лат.).

бить, они прошибут ему лысую башку грифельной доской. Подойдя к учителю, он остановился на таком расстоянии, чтоб его нельзя было достать тростью.

— Поближе, сынок, поближе,— промурлыкал Слоган.— Все равно ведь не отвертишься, так запасись мужеством и перенеси все, как маленький спартанец. Ну-ка, скажи мне, кто такие были спартанцы? Он не знает, кто такие спартанцы,— ухмыльнулся Слоган, обращаясь к классу.— Спартанцы, видишь ли, жили некогда в Греции и славились своим умением мужественно переносить боль. В Спарте мальчиков то и дело пороли, за вину и без вины, просто чтобы их закалить. Так что, одним словом, закрой рот и открой глаза и перенеси порку безо всякого визга, и весь класс будет уважать тебя, как истинного спартанца. Я вижу, что у тебя штаны прохудились сзади, ну, ничего, тем лучше ты все это восчувствуешь. А теперь мне нужны еще двое сильных и усердных мальчиков, которые будут стоять рядом, и, если ты станешь чересчур вертеться, они тебя придержат, дабы ты полностью вкусил хотя и суровое, но благотворное и согласное с заветами Христа наказание. Кого мне избрать для этого почетного дела? — И Слоган медленным любовным взглядом обвел напряженные фигурки, тесными рядами сидевшие за желтыми деревянными партами.

— Можно мне, сэр? — выкрикнул Мэсси, поднимая руку, чтобы привлечь внимание учителя.

— Хорошо, Мэсси,— сказал учитель,— тебе можно. Ты сильный мальчик, и я знаю, ты исполнишь свой долг, если понадобится. Ну, а кого еще? По справедливости, эту честь надо предоставить тому, кто всех сильнее и всех старше. Джорджи, иди сюда и помоги нам.

Миддлтон весь покраснел и, еще ниже нагнувшись к парте, пробормотал: — Я не хочу, сэр.

Слоган приложил руку горсточкой к тому уху, которое у него слышало получше, и переспросил: — А? Что?

Миддлтон, не поднимая головы, сказал громко и упрямо: — Я не хочу, сэр. Не хочу вообще участвовать в порке. А Джонни еще и больной, его нельзя бить.

Слоган побелел до самых корней волос.

— Миддлтон,— сказал он со сдержанной злобой,— тебе надо еще научиться только тогда выражать свое мнение, когда тебя спрашивают.

Миддлтон вдруг поднялся, и его грубое лицо скривилось в злобный собачий оскал; он с такой силой сжал своими грязными руками откидную доску парты, что суставы у него побелели.

— Мальчишка не виноват,— хрипло проговорил он.— Это я играл и еще там другие. А он не играл, он и играть-то не умеет, а что он караулил, так это мы его заставили.

В классе водворилась мертвая тишина.

— Через месяц или два,— заговорил Слоган ровным, безжиз-

ненным голосом, обводя класс тусклым своим взглядом, — Джорджи Миддлтон нас покинет и начнет сам пробивать себе путь в жизни; и, конечно, мы все желаем ему всяческой удачи. Он думает поступить приказчиком в один большой магазин, хозяин которого согласен взять кого-нибудь из мальчиков, только что окончивших школу. Мистер Миддлтон просил директора дать Джорджи рекомендацию, а директор обратился ко мне, и теперь я должен дать отзыв о его поведении. Если Джорджи хочет, чтобы ему помогли с самого начала стать на верную дорогу, на которой он сможет добиться успеха в жизни, я бы ему посоветовал быть осмотрительней и позаботиться о том, чтобы у его учителя сложилось о нем хорошее мнение. Правильно я говорю, Джорджи Миддлтон? — сказал Слоган, остановив теперь взгляд на понуренной голове Миддлтона.

Секунду Миддлтон боролся; затем все в классе услышали, как он пробормотал: — Да, сэр, — и опустился на парту, почувствовав в полной мере, какая грозная опасность преграждает ему путь мужественного решения.

— И разве ты не думаешь, Джорджи, что этот мальчик заслуживает наказания за собственную свою провинность? — продолжал учитель.

Снова настала тишина, и затем все в классе услышали, как Миддлтон пробормотал: — Да, сэр.

— Ну так иди сюда, — сказал Слоган, — и стань рядом со мной, и, когда понадобится, ты мне поможешь. — И Миддлтон встал и побрел к кафедре; он был бледен, и внутри у него все переворачивалось от стыда; угрюмый и озлобленный, он стал рядом с сияющим учителем, у которого нутро, должно быть, было железное, а сердце крысиное; и тот протянул руку и похлопал Джорджи по плечу.

— Ты хороший мальчик, Джорджи, — сказал он, — ибо у тебя хватило мужества признать свою ошибку, а на это не всякий способен; и помни, что на небе больше радуются одному раскаявшемуся грешнику, чем девяноста девяти праведникам, не нуждающимся в покаянии. А теперь, — продолжал он, хватая Джонни за ворот, — попробуем вбить немного раскаяния и побольше послушания в душу этого своевольного маленького мальчика.

Джонни весь задрожал, когда его схватили за плечо, и его затошнило от предчувствия боли, которую он сейчас должен будет испытать.

— Мама говорит, что меня нельзя бить, потому что у меня глаза больные, — торопливо и умоляюще залепетал он. — Не бейте меня, не бейте, я больше никогда не буду!

Вдруг он почувствовал жгучую боль, когда трость полоснула его по бедрам, и закричал, и вцепился ручонками в учителя, и, скорчившись, изо всех сил стал брыкаться. Должно быть, он попал ему по ноге каблуком, потому что учитель взвизгнул, как собака, и злой огонек зажегся в его белесых глазах.

— Мэсси, Миддлтон,— завопил он,— берите его за руки, растяните-ка его на кафедре, а я уж выколочу из него дьявола непокорности.

Оба старших мальчика схватили Джонни за руки и подтянули его кверху, так что он повис теперь, совершенно беспомощный, отданный во власть истязателям. Задыхаясь, он просил: — Не надо, сэр, не надо!.. Пожалуйста! Я не хотел сторожить, я не хотел, честное слово! Ой! Больно! Не надо!..

Но палач, тяжело дыша, весь в поту, с застывшим на лице оскалом усмешки, с горящими глазами, отдувался и взмахивал тростью, и опускал ее, и опять взмахивал, и опять опускал. Джонни почувствовал, что Мэсси выкручивает ему руку — под тем предлогом, что его трудно держать. Слоган, наконец умиротворившись, хлестнул его еще несколько раз и принялся обтирать лицо платком.

— Стань на стул рядом с кафедрой,— сказал он дрожащему мальчику,— пусть-ка все на тебя посмотрят.

Новый удар по ногам вырвал у Джонни крик боли и заставил его поспешно вскарабкаться на стул, и класс захихикал, видя, как он торопится. Ему стыдно было потереть избитые места на глазах у всех мальчиков, и он стоял, шатаясь, на стуле; повязка сбилась во время борьбы и висела теперь у него на шее; глаза болили от света и от струившихся из них слез; ошеломленный, смутно силясь понять, что это люди делают с ним и что они о нем думают, он стоял, шатаясь, на стуле и старался подавить рыдания, от которых у него временами как будто останавливалось сердце.

Слоган минуту смотрел на него, потом презрительно покачал головой.

— Неважный из него получится спартанец,— сказал он с усмешкой, обращаясь к классу,— я о нем все-таки лучше думал. Ну-с, теперь за ним нужен глаз да глаз, ибо сказано, что одна паршивая овца портит все стадо и может заразить всех остальных.— Он опять посмотрел на Джонни.— Дадим ему еще минутку, пусть оправится и попробует вести себя, как подобает мужчине; но если он и после этого будет досаждать нам своим хныканьем, придется еще раз его взгреть, чтобы он успокоился. Правильно я говорю?

— Да, сэр,— хором ответил класс.

Прозвонил звонок, означавший, что ученики должны обменяться местами; те мальчики, что сидели за партами, встали и выстроились у стены, а те, что стояли, уселись за парты. Беззвучные рыдания все еще потрясали Джонни, и Слоган вдруг остановился перед ним, гневный, угрожающий, с тростью в руках.

— Довольно хныкать, слышишь? Довольно! Перестань сейчас же, а не то...— и он тряхнул Джонни за руку. Джонни попытался подавить рыдание, попытался принять спокойный вид — и рыдание снова потрясло его.

— Сейчас же перестать! Слышишь? Ты кончил?
— Да, сэр,— пролепетал Джонни.
— Совсем, совсем кончил?
— Да, сэр.
— Хорошо. Чтоб больше мы тебя не слышали. Только пискни — и я закачу тебе еще порцию.

Усилием воли Джонни заставил себя затихнуть; он стоял на стуле и тупо смотрел, как Слоган идет к кафедре, садится, начинает проверять тетради. Он смотрел на тонкий луч солнца, проникавший в дверь, которую оставили полуоткрытой, чтобы освежить спертый воздух в классе.

Снова зазвонил звонок, и те, что стояли у стены, уселись за парты. Доску с правилами школьного распорядка повернули лицом к стене, а длинный кусок картона с надписью «Закон божий» перевернули лицом к классу. Слоган постучал по столу тяжелой блестящей линейкой из черного дерева, и гомон в классе смолк. Слоган положил линейку рядом с собой на кафедру, склонил свою старую седую башку и кротко произнес: — Помолимся!

Снова поднялся шум — все задвигались, становясь на колени. Слоган тоже стал на колени, а седую старую башку опустил на руки, опершись локтями о сиденье стула, с которого только что встал. Черная линейка неподвижно лежала на кафедре рядом с ним. Боже, очи отверзи нам, да узрим благодать закона твоего. Черная линейка мирно лежала на кафедре рядом с ним. Отче наш, иже еси на небесех. Да святится имя твое. Джонни видел розовую лысину и седую бахромку вокруг нее; Слоган стоял на коленях, нагнувшись над стулом, на который опирались его локти.

Внезапно Джонни соскользнул со своего стула; ярость залила его горячим потоком; он ухватил тяжелую черную линейку и со всей силой ненависти, скопившейся в его сердце, в его душе, в его теле, в его мышцах, вдруг размахнулся и обрушил линейку на розовую, лысую, седую башку старой, лысой, седой скотины, — и отчаянная радость пронизала его, когда он услышал вопль боли, вырвавшийся у Слогана в тот миг, когда линейка грохнула его по макушке.

Все еще сжимая линейку, он кинулся к открытой двери, к солнечному свету. Он увидел, как Джорджи Миддлтон схватил за плечо Экрита, вскочившего было, чтобы его задержать. Он увидел на бегу, как Мэсси вытянул руку — загородить ему дорогу, и услышал его крик, когда линейка с размаху опустилась на протянутую руку. В дверь, через улицу, прочь, по узкому грязному переулку; очертя голову, он ринулся вверх по каменистой железнодорожной насыпи, обронив на ходу линейку, услышал грохот приближающегося поезда, прорезанный вдруг испуганным, пронзительным свистком, перекатился через рельсы, прижался на секунду к земле, охваченный ветром от прогремевшего мимо поезда, смутно, как в тумане, увидел бледное лицо машиниста и его яростно открывающийся и закрывающийся рот, с усилием вы-

рвался из струи воздуха, увлекавшей его за поездом, съехал на спине по противоположному склону насыпи, разорвав штаны и острым камнем распоров себе ногу, помчался по улице, завернул налево, распахнул входную дверь, ворвался в комнату и без сил, теряя сознание, упал к ногам перепуганной матери.

Когда он пришел в себя, мать обмывала ему тело ласковой теплой водой. Жгучая боль в ногах утихла, так как мать смазала их вазелином. Он протянул руку и схватил мать за кофточку.

— Не пускай сюда Хантера и Слогана, — умоляюще сказал он.

— И на порог их не пушу, — ответила она. — Но почему ты так бежал, не помня себя, и что ты сделал, что они тебя избили? У тебя все ноги в рубцах.

— Это Слоган, старая скотина, он меня бил, бил, бил за то, что я караулил, пока мальчишки играли в карты возле церкви во время перемены. А что я мог? Они все большие, и потом я все равно не могу драться, я же не вижу; я не хотел сторожить, а они меня заставили, а Слоган нас застукал, а больших мальчигов он боится, вот он и побил меня, все бил, бил, бил, пока не устал.

Мать тихонько поправила ему повязку на больном глазу, нежно укутала его одеялом, наклонилась и поцеловала его.

— Отдохни, — сказала она, — спи спокойно. И забудь обо всем до завтра.

И он тихо лежал, зная, что она охраняет его, и мало-помалу погрузился в глубокий сон.

ГОСПОДЬ — СУДИЯ КАРАЮЩИЙ

Миссис Кэссиди сидела у огня на фанерном ящике, покрытом старой красной дерюжкой. Сидя у огня на фанерном ящике, покрытом старой красной дерюжкой, она вздыхала при виде того, что из матраца джонниной постели пучками вылезает солома. Сколько ни чини, хоть сто ночей подряд, не держится солома в матраце, — как тут не вздыхать. Она видела на шестке закоптелый котелок, он позвякивал крышкой, его прогоревшее дно было залатано оловянными бляшками — их продавали в скобяной лавке, на квадратных картонах, за пенни полдюжины; она видела сковороду и кастрюли — они, слава тебе господи, еще держатся; и буфет, который, пузатясь в углу, хранил в своих недрах незатейливую фаянсовую посуду. Она видела с огорчением, что у плюшевого дивана, застенчиво прижавшегося к простенку между окнами, пружины кое-где выпирают горбом под обивкой; видела узкую, холщовую дорожку, которая, заменяя простыню, оберегала, как могла, ноги Джонни от укусов соломинок, торчавших из матраца; тощее одеяло и ворох одежды, укрывавшей его от холода; кухонные стулья, еще не охромевшие и крепкие; стальную решетку, до блеска начищенную наждачной бумагой и не дававшую золе вывалиться из камина; картины — Нельсон перед

Трафальгарским боем и королева Виктория,— обе они понемножку старились среди поблекших розочек на обоях; небольшой раскладной стол красного дерева, купленный ее мужем у соседа-фения, перед тем как тот бежал в Америку; большой ящик для угля, добытый у лавочника за шесть пенсов, доску поперек ящика, а на ней ведро с чистой водой, в котором приходилось выносить и мыльную воду; а на подоконнике два горшка герани, один — белой, другой — красной, и горшок фуксий, красовавшихся в своих пурпурных мантиях посреди окружающего убожества. Она видела все это и поеживалась, сидя на фанерном ящике, покрытом старой красной дерюжкой.

Проходили часы за часами, а мальчик крепко спал. Пришел с работы Арчи, напился чаю, прочитал газету, спросил, почему Джонни в постели, услышал в ответ, что ему нездоровится, и буркнул, что мальчишка вечно болен; а потом собрался и ушел — поразвлечься после работы.

Потом стемнело, и звезды выглянули из темноты, а она все сидела у огня, на фанерном ящике, покрытом старой красной дерюжкой.

Если господь с нами, думала она, кто может быть против нас? И еще сколько их против нас,— мелькнула невольная мысль,— и сильных, ох, каких сильных. Она встала, зажгла большую керосиновую лампу на столике красного дерева. Если господь за нас, кто может быть против нас? Она услышала громкие голоса внизу у входа, звавшие ее по имени. Она вышла на площадку и перегнулась через перила, вглядываясь в темноту.

— Кто там? Кто меня спрашивает? — крикнула она вниз.

— Протестантский священник; он хочет вас видеть, разыскивает вас; что-то насчет Джонни; протестантский священник,— говорили оживленные и вялые, молодые и старые голоса, обращаясь к ней из темноты. Ее ровно бившееся сердце вдруг тревожно заколотилось. Лучше бы ей было не отзываться. Лучше бы не показываться. Лучше бы не выходить из комнаты, не зажигать лампы. Лучше бы ей было сидеть смирно у огня, на фанерном ящике, покрытом старой красной дерюжкой, и пусть оставались бы там, во мраке лестницы, все грядущие напасти. Джонни, должно быть, сильно провинился перед ними, что они так его исполосовали.

— Кто это там наверху? Это не миссис Кэссиди? — слышался голос священника, как голос гарпин, из темноты.

— Да, сэр, это я, миссис Кэссиди. Я тут, на площадке. Вот сюда, по лестнице, сэр, пожалуйста.

— Будьте добры, миссис Кэссиди, посветите, а то мне не видно, как пройти к вам.

Она вернулась в комнату взять лампу, светильник на пути его, тернистом пути, которым священник шел к ее обиталищу, чтобы озарить божественным светом сердце сына ее, погруженного в спокойный, глубокий сон и во сне равно безразличного и к свету

и к тьме: не подозревавшего о враге у ворот, готовом ворваться туда, где свет подобен тьме, готовом сеять печали там, где надлежало царить радости, царить повсюду, доколе солнце не померкнет и луна не затмится; и проклят, кто несправедливо судит пришельца, сироту и вдовицу.

Держа лампу в руке, она вышла на площадку и, перегнувшись через перила, опустила ее как можно ниже, чтобы осветить узкие ступеньки. Она видела лица нижних жильцов и жильцов соседнего дома, внимательно следивших, как священник осторожно взбирается по лестнице на площадку, где мать Джонни ждала его,— следивших за ним, пока он не скрылся в обиталище вдовы и ее сыновей. Священник стоял, шурясь в полутьме, пока встревоженная миссис Кэссиди заботливо ставила лампу на место, на столик красного дерева. Она пододвинула священнику один из кухонных стульев покрепче, и он осторожно сел. Прямая и застывшая, она сидела против него, ожидая, когда он заговорит, и руки ее были крепко стиснуты на коленях.

— Я прервал весьма важную работу, весьма важную, чтобы прийти сюда,— сказал он, оглядывая продымленную комнату,— и поговорить с вами о Джоне.— Он помолчал, потом начал снова.— Он сегодня убежал из школы, миссис Кэссиди, известно ли вам, почему?

— Да, сэр. Он мне все рассказал. Большие мальчики заставили его сторожить, пока сами играли в карты, а мистер Слоган пришел и накрыл их. Других он не тронул, одному Джонни досталось,— бедный мальчик и убежал.

Вот несправимый народ, думал священник, всегда найдут своим детям оправдание. Строгость, и только строгость, будет им во спасение.

— Джон не говорил вам,— продолжал он вслух,— что его воспитатель, мистер Слоган, в настоящее время лежит в постели изувеченный? Что его пришлось отнести домой после того, как Джон жестоко и дерзновенно ударил его линейкой по темени? Говорил ли он вам про это, миссис Кэссиди? А кроме того, на голени мистера Слогана большой кровоподтек от другого предательского, неслыханно предательского удара ногой, нанесенного вашим сыном Джоном. Он и про это не говорил вам, миссис Кэссиди?

Она молча сидела против него, спокойная, сдержанная и суровая.

— А мы,— продолжал священник,— мы не хотим, чтобы ваш сын вырос преступником, но для того, чтобы, выросши, он был способен выполнять свой долг на том поприще, на которое поставит его воля божия, эти губительные наклонности надлежит пресекать и пресекать, если понадобится, твердою рукой. Вы согласны с этим, миссис Кэссиди?

— Она молча сидела против него, спокойная и суровая.

— Если ваш сын сам не захочет послушать вас, его нужно

принудить, нужно принудить, миссис Кэссиди. Он должен подчиниться, покорно и почтительно, своим наставникам,— продолжал тихий, тягучий, холодный голос.— Если такое поведение останется безнаказанным, он и в дальнейшем будет повторять и снова повторять поступки, которые воспрепятствуют ему сделаться полезным и почтенным членом общества. Нападение на добрейшего мистера Слогана было поистине мерзким поступком. Мальчик заслужил примерную порку, и он ее получит, а потом на коленях перед всей школой он смиренно попросит прощения у своего учителя.

Молча сидевшая перед ним спокойная и суровая женщина чуть вздрогнула.

— Завтра утром, когда Джонни проснется, я поговорю с ним о том, что он сделал мистеру Слогану,— сказала женщина.

— Завтра, завтра,— с досадой сказал священник.— Нет, вы разбудите вашего сына сейчас же и скажите ему, что утром я встречу его в школе, и что сразу же после молитвы он подвергнется примерной порке в присутствии всей школы, и что после того, как его строго накажут, он должен будет на коленях молить у своего учителя прощения за свой мерзкий поступок, чтобы он впредь никогда не отваживался поднимать руку на тех, кто поставлен над ним самим богом!

Губы спокойной, суровой женщины, молча сидевшей против него, дрогнули, и она заговорила тихо, очень тихо:

— Мальчик и так, может быть, всю ночь промается с глазами, сэр, и сделать то, что вы хотите, значило бы причинить ему страдания свыше его сил.

— А я вам говорю,— нетерпеливо сказал священник,— что, если вы будете так баловать вашего ребенка, вы погубите его.

Губы спокойной, суровой женщины снова дрогнули, и она заговорила тихо:

— С тех пор как умер его отец, мальчик редко получает что-нибудь, кроме сухого хлеба с чаем, платье не защищает его от ветра и холода; обувь валится у него с ног; мучительная боль в глазах не дает ему покоя ни днем, ни ночью,— нет, сэр, ни бог, ни я — мы не балуем мальчика.

Священник встал со стула.

— Все мы должны научиться терпеливо выносить испытания, которые промысел господень ниспосылает нам и которые могут послужить к вящей славе нашей и ко спасению. Но что вам следует прежде всего помнить, миссис Кэссиди, это то, что сын ваш прогневил, очень прогневил господа; если Джон не будет наказан нами, он будет наказан им и, быть может, много суровее. Ему надлежит принять справедливое наказание, чтобы его не постигла горшая кара. Я призываю вас быть твердой, миссис Кэссиди.

Он медленно направился к двери, а женщина встала со стула, пересекла комнату, опустилась на фанерный ящик, покрытый старой красной дерюжкой, и сидела молча, спокойная и суровая,

крепко стиснув руки на коленях и смотря на священника в упор.
— Так вот, пожалуйста,— продолжал священник,— завтра рано утром приходите в школу с Джоном. Я буду там и лично присмотрю за ним. Не беспокойтесь, наказание будет ему преподано под моим наблюдением, и я уверен, что после этого мы будем иметь лучшего ученика, а вы лучшего сына.

Мягкий рот женщины, спокойно и сурово сидевшей на фансном ящике, покрытом старой красной дерюжкой, крепко сжался.

— Завтра,— ее тихий голос произнес это твердо и решительно,— завтра, сэр, мальчик назначен на прием в больницу.

Жесткий рот священника искривился от ярости.

— Наказание не терпит отлагательств, миссис Кэссиди,— произнес жесткий голос,— помните это. Порка должна быть преподана, пока воспоминание о мерзком поступке еще не изгладилось из сознания вашего сына.

Мягкий вздрагивающий рот женщины сжался, и его окружили жесткие складки, точно такие же, как у священника.

— Завтра утром,— произнес ее тихий голос еще тверже и решительнее,— мальчик будет там, где, по милости божьей, доктора могут облегчить его страдания. Жестокая рука, наказавшая его сегодня, не коснется его ни завтра, ни послезавтра, и самая тень ее не приблизится к мальчику никогда. Так и передайте мистеру Слогану.

— Миссис Кэссиди, миссис Кэссиди,— повторял жесткий рот священника, сжимаясь все крепче.

— Покойной ночи,— сказал тихий голос, звучавший теперь твердо и решительно.— Когда будете выходить, не прикрывайте дверь, чтобы лампа светила вам на лестницу.

Священник медленно надел свою мягкую шляпу и вышел.

Тогда спокойная, суровая женщина молча подошла к постели сына и, убедившись, что сон его крепок и глубок, наклонилась над ним и поцеловала его.

ПАРАД ВО СНЕ

Джонни проснулся и хотел открыть глаза, но его воспаленные, распухшие веки слиплись от гноя, выступившего на них за ночь. Он стал крепко тереть глаза, чтобы сорвать желтую корку, но веки все не разлеплялись. Тогда он попробовал отодрать ее ногтями, и корка наконец сошла кое-где, и он смог приоткрыть глаза. Однако он ничего не увидел, потому что в комнате было совсем темно. Он снова закрыл глаза и стал шарить рукой по спинке кровати, ища свои штаны. Полутно его рука наткнулась на свалившуюся ночью повязку. Он кое-как завязал ее вокруг лба, прикрыв левый глаз совсем, а правый наполовину, и опять стал шарить в изголовье, но штанов там не оказалось. Тогда он приподнялся в постели, перегнувшись через край — остов кровати при этом затрещал и ста-

рая ржавая сетка закрипела — и принялся старательно ощупывать шершавый, плохо выструганный пол. Какая-то одежка подвернулась ему под руку, он поднял ее, нащупал пуговицы, сиденье и рубец в шагу, понял, что это и есть штаны, и положил их возле себя на кровати.

Наверно, уже очень поздно, потому что несколько времени тому назад он слышал сквозь сон, как почтальон выкрикивал фамилии тех жителей дома, которым он принес письма. А это было давно, Джонни тогда еще даже как следует не проснулся. Он передвинулся в кровати, отыскивая местечко потеплее. Вдруг до его слуха донеслись детские голоса, кричавшие ура. Джонни выпростал уши из-под повязки, приподнялся, опираясь на локоть, и стал слушать.

Снизу долетел голос матери — должно быть, разговаривает у входа с кем-нибудь из соседок. Джонни спрыгнул с постели, ощупью добрался до двери и чуть-чуть приоткрыл ее, чтобы лучше слышать.

— Ну как его пустить, — раздался голос матери. — С больными-то глазами! Нет уж, об этом и думать нечего.

— Ах, бедняжка, — отвечал голос соседки. — Бедняжечка!

— Я и окно завесила, — продолжала мать, — чтобы свет его не разбудил. А вась, думаю, не проснется, пока все не уйдут. Обидно ему, конечно, что не посмотрит парад по случаю дня рождения королевы, но ведь, право же, нельзя пустить его с Арчи толкаться по улицам. С больными-то глазами!

— Ах бедняжка, — вздохнула соседка. — Бедняжечка!

— Смотрите, вон школьники собираются... Пойдут строем до Нельсоновой колонны, оттуда конкой до Парк-гэйт, потом опять пешком к тому месту, где развевается королевское знамя, разделенное на четыре поля — в одном арфа Ирландии, в другом — шотландский лев, в третьем — английские леопарды. И будут там дожидаться, пока не примчится галопом вице-король и не откроет парад. Представляете эту картину? Все стоят без шапок, потом солдатам командуют: «Смирно! На караул!» — и оркестр исполняет национальный гимн. Джонни так мечтал все это посмотреть — как сперва, печатая шаг, пройдут церемониальным маршем гренадеры, а за ними, важные и пышные, шотландские стрелки в своих юбках, а потом пехота — эти одеты попроще, но с каким они держатся достоинством, потом на рысях артиллерия, опора фронта и гордость армии, провезут пушки, потом, сверкая шитьем мундиров, на танцующих конях пройдут кавалеристы под звонкую дробь литавр... Но как его пустить, сами посудите. С больными-то глазами... Нет, уж об этом и думать нечего.

— Ах бедняжка! — вздохнула соседка. — Бедняжечка!

Джонни тихонько притворил дверь, кое-как добрался в темноте к окну, нащупал занавеску, ухватил ее покрепче, сорвал и швырнул на пол. Майское солнце залило комнату. Сдвинув со лба повязку, Джонни выглянул в окно и увидел, что школьники,

во главе с учителем Слоганом и пастором Хантером, уже готовы двинуться в путь. У каждого школьника была приколота на груди красно-бело-синяя розетка, а Слоган держал в руках небольшой флаг Соединенного Королевства.

После темноты яркий свет пронизал глаза острой болью, словно ввинтился в самый мозг, но Джонни стиснул зубы и продолжал смотреть на улицу. Он увидел, как Хантер поднял руку и колонна тронулась — по трое в ряд — с криками «ура» и ликующим пением:

День рождения королевы, двадцать четвертое мая,
Не было бы сегодня дождя, а завтра не возражаем...

Джонни метнул быстрый взгляд на небо: оно было светлое, но серое, а не голубое, и солнце только чуть-чуть просвечивало сквозь затянувшую его пелену.

Джонни вернулся к кровати, осторожно откинул ветхую простыню, заполз под нее, укрылся. Несколько минут он лежал неподвижно. Потом сцепил руки, крепко переплетя пальцы, закинул руки за голову, потянулся так сильно, что в плечах у него хрустнуло, и забормотал с тихой яростью: дай господи, чтобы пошел дождь, полил бы ливень, сейчас, сию минуту, залил бы улицы, и поля, и парки, и всех бы вымочил до костей, и шел бы весь день не переставая, всюду и везде, начиная от этого места, где я лежу, и на сто миль во все стороны! И пусть эти жидкие облачка прергнутся в тяжелые черные тучи, и пусть они заволокут все небо, так чтобы нигде не было просвета; и пошли, господи, еще ветер, пронзительный и холодный, чтобы дождь от него стал еще злее и хлестал всех по лицу, и все, кто пошел смотреть на парад, взрослые и ребята, вместо того чтобы радоваться, дрожали бы дрожьмя от холода и страха и хотели бы только одного — не быть там, где они сейчас; и пусть все время лупит дождь и бешует ветер всюду и везде, начиная от этого места, где я лежу, и на сто миль во все стороны!

Джонни потуже затянул повязку и надвинул ее на глаза, так что вместо света в комнате опять стала темнота. Он лежал тихо, мерно дыша, постепенно погружаясь в сон, и его дремотные мысли уносились в мир марширующих войск; он слышал грохот винтовок о каменную мостовую; бряцание сабель, бившихся о бедра кавалеристов в белых нагрудниках или в шитых галуном мундирах, перепоясанных шарфом; а вот проходит тяжелая пехота и легкая пехота — эти не так разукрашены, но все на них сидит аккуратно, все пригнано как следует, не хуже чем у других, — перекрещенные на груди ремни, подсумок, ранец высоко на спине, винтовки, взятые на плечо; шагают разом, все как один — левой-правой, левой-правой, была работа у меня, работу нынче бросил я, затем, что это мое право, левой-правой, левой-правой, ногу выше, плечо вперед, держи равнение, печат-

тай шаг; каблуки этих молодых парней выбивают на камнях улицы песню национальной гордости и мощи.

Он видел, как напряглись тела зрителей, глазевших из окон и с тротуаров, когда мимо проходил полк ирландских фузилеров и военный оркестр играл:

Мы его вертели, швыряли, мяли, в крендель закручивая при этом.

Вытирали им пол, колотили об стол и гладили табуретом,

И наконец в назидание для детей оставили от него лишь мешок костей;

Так понес заслуженную кару тот наглец, что ударил О'Хару;

а когда они умолкали, тотчас начинал играть другой полковой оркестр, из дудок и барабанов, который шел по пятам за боролатыми саперами, державшими на плечах топоры, кирки и лопатки.

Какой счастливчик этот полковник, едет себе на коне, а за ним шагают девятьсот девяносто девять человек, у каждого винтовка, штык и сотня патронов, и они повинуются ему все как один, так что стоит ему скомандовать: нале-во! через парапет в речку — бегом! — и они повернут налево все как один, каждый обопрется рукой о парапет и бултых в воду! — не спрашивая зачем, потому что не смеют не выполнить приказа; слушаться команды и умирать, а зачем, не знать — это первый и последний закон солдата.

Джонни слышал, как в толпе говорили, что это самый молодой полковник в армии, а уже имеет две медали — за афганскую кампанию и за бирманскую, — вон они поблескивают на его малиновой перевязи, — а получил он их за то, что прошел с войсками от Кабула до Кандахара и под командой полковника Барнеби нанес Тибоу первый удар после пятнадцатичасового форсированного марша сквозь жаркие, непроглядные тропические джунгли.

Они подошли к самому частоколу, за которым укрепились бирманцы; горнист сыграл сигнал атаки, и посреди воплей, криков, летящих копий, блеска ножей и ятаганов, завывания гонгов, рева труб они штыками пробили себе дорогу, обагрив кровью бронзовые тела бирманцев.

Джонни быстро сунул руку под одеяло и указательным пальцем притиснул блоху, только что укусившую его в живот, потом стал мять ее и катать между пальцами, пока не раздавил, потом несколькими щелчками выбросил из-под одеяла на матрац, ишь дрянь кусачая, ну слава богу, одной меньше.

А когда те, что уцелели, стали в панике прыгать через частокол и удирать со всех ног, надеясь укрыться в джунглях, на вырубку перед частоколом вырвались уланы в белых мундирах с большими пробковыми шлемами на головах; с криком «*Dew au tong draw*»¹ они вонзали свои пики в животы и спины бегле-

¹ Искаженное французское «*Dieu et mon droit*» («бог и мое право») — боевой рыцарский клич.

цов — английская сталь в английской руке! — и выпускали из них кишки и удобряли джунгли бирманскими трупами, — будут вперед знать, как бунтовать и смеяться над британской властью и британским правосудием! — и напоследок на вырубке грянуло такое английское ура, что звери в лесу насторожили уши, удивленно поглядывая на те немногие темные человеческие тела, что из последних сил уползали в чашу и прятались в густой, душной траве, бормоча молитвы своим грозным и неумолимым богам, сделанным из дерева и камня; и наконец вытягивались и застывали в покое, которого уже больше никто и ничто не нарушит.

Джонни вдруг весь напрягся и стиснул зубы — внезапная острая боль обожгла ему глаза, и несколько секунд его мозг был словно весь в огне.

Потом боль постепенно утихла, тело его обмякло; он передвинул повязку так, чтобы намокшее от брызнувших слез место не прикасалось ко лбу. И снова пришла дремота, и вместе с нею сны.

Он увидел, как полковник треплет своего скакуна по лоснящейся шее и конь победно гарцует впереди, а сзади мерно шагают солдаты, левой-правой, левой-правой, работу нынче бросил я, затем что это мое право.

Вдруг с того берега донеслись звуки волюнок — низкое сплошное гудение басов, на котором тенора выписывали свою произительную мелодию, — и сразу все замахали платками и шляпами, и вдали замелькали развешивающиеся шотландские юбки в желтую клетку — это Грэхемский полк, веселые ребята, идут словно пляшут, — ля-ля-ля и ля-ля-ля, эй, шотландский паренек, ах, шотландский паренек, дуют напропалую в свои волюнки и красуются перед всеми, привыкли, что когда они тут, так на других никто и не смотрит, хотят первыми войти в ворота парка, опередить полковника, ну да он им еще покажет, если только девиз Ферманэгов — *Sinneraria est magnificat sancteorum* (то есть «великие грешники не менее велики, чем великие святые») хоть что-нибудь значит!

Но очень уж бойко они шагают, в юбках-то им свободно, так что полковник цокнул языком на своего коня искомандовал солдатам — бе-е-гом! — Однако и Грэхемы как раз в эту минуту пустились рысью, что ты поделаешь, опять вырвались вперед!

Тогда полковник привстал на стременах и обнажил саблю.

— Вперед, ребята, — крикнул он, — покажем этим шотландским пьянчужкам, что Ферманэгские фузилеры ни за кем в хвосте не ходят! Утрем нос этим бахвалам! Вперед, мои молодцы с Ормондской набережной и Стонибаттера! Не подведите свою родину и своего командира! Ну-ка, шагу! Да так, чтобы тем показалось, что они не вперед бегут, а назад пятятся!

И в толпе загремело ура, когда Ферманэги ринулись к воротам парка, — головы у всех вперед, как таран, плечи подняты,

винтовки наперевес, дышат, словно кузнечный мех, пот с них градом, и уже Грэхемы забыли про свои волынки, тоже мчатся в карьер к воротам, а в толпе-то и кричат на них, и свистят, и улюлюкают, а то и выскочит кто-нибудь вперед, да схватит шотландца за юбку, да вцепится так, что не отдерешь,— ну, пришлось им замедлить шаг, чтобы не остаться вовсе без юбок, да и то на иных только ремни уцелели да подсумок, а пониже, уж извините, в чем мать родила, ни дать ни взять новорожденные младенцы, только чуть побольше.

Кое-кто из этих голышей бросился на тротуар, в лавки — укрыться от срама, а женщины, что торговали там лимонадом, как увидели их, завизжали, как кошки, да бежать прямо на улицу, а на улице уже черт те что творится, солдаты равнение потеряли, не строй, а каша, а офицеры с коней орут: Стой! Смирна-а! Равняйся! По четыре рассчитайся! Поротно прямо вперед шагом арш! — И те, что забежали в лавки, услышав привычную команду, выскочили опять на улицу, прикрываясь чем можно, кто шапкой, кто подсумком, смотрят отчаянным взглядом на офицеров, чтобы те сказали, что им теперь делать, ну, одним словом, осрамилась совсем британская армия у дублинцев на глазах; а полицейские тут как тут, усовещевают толпу, уговаривают: ведите, мол, себя как разумные люди, нечего глазеть на что не положено, настоящие леди и джентльмены так не делают; а Ферманэгские стрелки, гляди-ка, уже входят в парк, взмыленные как лошади, но довольные-предовольные, ухмыляются, еще бы, ведь ихняя взяла, победили в честном состязании, ну а Грэхемы уж в такое пришли расстройство по причине отсутствия юбок, что пришлось их сотнями отправлять в казарму в закрытых кэбах, чтобы поменьше было разговоров о том, какие странные вещи довелось сегодня людям увидеть в городе Дублине.

Когда порядок был, наконец, восстановлен и Грэхемы поняли, что ничего уж тут не поделаешь, они тоже вошли в парк, играя «Ребята с Севера», и выстроились рядом с Ферманэгами, которые с шиком дудели: «Вот она, дорога в Дублин!»

Но тут вдруг примчался на белом коне ай-тью-танг в зеленых лосинах, синем мундире с золотым шитьем и треуголке с черно-красным плюмажем, который вздымался над ней, словно струйка огня и дыма; он подскакал туда, где стояли оба полковника, и потребовал, чтобы ему объяснили без всяких уверток, что тут такое происходит, почему задержка, из-за чего шум, разве вы забыли, что носите мундир ее величества королевы, казалось бы, это обязывает каждого воздерживаться от поступков, могущих бросить тень на армию ее величества, а тем более на глазах у ирландцев, которые рады всему, что может опорочить великие традиции английской армии, исконной защитницы нравственности и порядка; и раз вам плевать на добрую славу наших войск, так я ж все доложу вице-королю, во всех подробностях, и пусть тогда ваши офицеры сами дают ему ответ, как это так вышло, что

ирландцам позволили раздеть чуть не догола английскую воинскую часть, и первоклассное соединение наших вооруженных сил пришло в расстройство из-за того, что им нечем стало прикрыться от пояса и до коленок!

Тогда заговорил полковник Грэхемских стрелков и сказал этому франту в черно-красных перьях, что у нас, мол, конституционная монархия и каждый волен думать, как ему нравится, и поступать по велению своей совести, а ему, полковнику, совесть не позволяет слушаться какого-то пьяного болтуна ай-тью-танга в красных перьях, недопеченного-молокососа только что из военного приюта для грудных детей!

Тут полковник Ферманэгов дал шпоры коню и въехал между обоими наскაკивавшими друг на друга офицерами; и, придвинув лицо к самой треуголке ай-тью-танга и глядя ему прямо в глаза, негромко сказал: — Ну, ну, давайте спокойно это обсудим: у нас у каждого есть свое дело, и надо его исполнять, а не тратить попусту время на разговоры с мальчишкой, который чуть что, так сейчас же бежит жаловаться папеньке и по первому слуху готов вломиться в казармы и оклеветать целый полк. Так что вот вам дружеский совет: не ждите, пока вам так расквасят нос, что уже сегодня никому на глаза нельзя будет показаться. Не суйтесь, куда вас не зовут и не просят, а лучше усядьтесь-ка поплотнее вашей нежной задницей в седло, да и шпарьте обратно — там вам будет безопасней, возле королевского знамени.— И только он это сказал, а тамбур-мажор вдруг как трахнет своим жезлом ай-тью-тангскую лошадь по крупу, та с места в карьер, и больше уж никто не видел этого чистоплюя в треуголке.

Тогда Ферманэги и Грэхемы повернули налево кругом и зашагали плечо к плечу по узким тенистым аллеям, где синее небо у них над головой было все разузорено чуть качающимися на ветру пышными ветками боярышника с массой цветов — белых и розовых; и солдатам приходилось низко наклонять головы, чтобы такая ветка с цветами и колючками не сшибла с них кивер или шапку.

Дальше и дальше шагали они по узким тенистым аллеям, пока не вышли на Пятнадцать акров — ровный зеленый луг, который на дальнем краю переходил в пригорки, не так чтобы маленькие — целый полк мог скрыться за ними, после того как выполнит все ему положенное, — и не так чтобы очень большие — тот же полк мог живо вынырнуть из-за них, когда приходило время вновь показаться штатским зрителям, падким на церемониальные марши и примерные сражения; ну а на самом-то лугу — тут уж не полк, а и вся армия могла уместиться: кавалерия и пехота и санитарная часть — крытые белой парусиной фургоны с красным крестом на обоих боках — это для того, чтобы неприятель сразу видел, что тут только вспарывают и зашивают раненых, — и артиллерия, полевая и конная, и даже обоз — фургоны, запряженные по преимуществу мулами; все это стоит сей-

час, повернувшись лицом к тому месту, где должен появиться вице-король.

А вот и он, едет в легкой коляске; четверка гнедых бежит неторопливой, размеренной рысью; рядом с ним — его супруга чопорная, важная, под светлым зонтиком. И в ту же самую минуту и секунду все оркестры разом грянули гимн «Боже, храни королеву», и вся артиллерия, полевая и конная, наполовину скрытая в густых зарослях орешника и терна, дала залп — королевский салют из двадцати двух орудий; над кустами взлетели белые облачка дыма, густые в середине, к краям пореже, похожие на клубки шерсти, а через миг донесся тяжкий гул залпов, и штатские чувствовали со страхом и восторгом, как под ними сотрясается и дрожит земля, и радовались тому, что у них есть такое множество вооруженных солдат, чтобы пугать иностранцев; а пехотинцы, стоявшие во фронт, тоже дали салют, стреляя беглым огнем, так что треск ружейной пальбы трижды перекатывался по линии с одного фланга на другой. Потом все солдаты по команде своих офицеров вздели на штык свои фуражки, и каски, и кивера, и медвежьи шапки и стали махать ими в воздухе, трижды и еще трижды и еще трижды крича «ура» ее величеству королеве и ее наследникам и преемникам, дай им бог царствовать до скончания веков!

Тогда вице-король — он был во фраке, белом жилете, кремовых лосинах, коричневых сапогах с отворотами, на голове маленький черный котелок, в петлице роза — вскочил на белого в серых яблоках коня и, попрощавшись на время со своими знатными дамами, поехал вдоль фронта; а за ним эскорт, какой подобает заместителю монарха, — отряд конной гвардии в синих мундирах с шитыми золотом пластронами и в серебряных касках с красным плюмажем, и свита из штабных офицеров в зеленых сюртуках с серебряными эполетами, или в красных сюртуках с золотыми эполетами, или в зеленых сюртуках с бронзовыми эполетами; у одних — красные лампасы по зеленым штанам, у других — белые по синим, у третьих — зеленые по черным; так ехал вице-король со своей свитой быстрой рысью вдоль фронта, а солдаты стояли рядами, глядя прямо перед собой, до того неподвижные, ну словно деревянные солдатики, которых мальчик расставил на столе, и офицеры все словно приросли каждый к своему месту справа или слева или впереди роты; и смотр шел своим чередом — сперва полевая артиллерия в синих мундирах с желтым кантом; потом конная артиллерия, тоже в синих мундирах, но у этих на груди столько было напутано желтых шнуров, что приходилось им откидываться назад, чтобы не закопать носом редьку; с киверов у них свисал красный язык, а от него толстый желтый шнур шел к плечу, потом двойной или тройной петлей подмышку и кончался на груди двумя завязанными узлом кистями.

Потом вице-король повернул назад и проехал перед строем

пехотинцев в красных мундирах с синими, и желтыми, и белыми, и зелеными выпушками; и вице-король зорко поглядывал то туда, то сюда, чтобы удостовериться, что подбородный ремень у всех на месте; и ремни, на которых держится подсумок и ранец, переkreшиваются как раз на середине груди; и фляжка с водой прилажена, как полагается, точно на левом бедре; и на поясе с желтым кантом нет никаких предосудительных пятен; и все пуговицы и бляхи начищены до зеркального блеска, что есть символ честности и нравственной чистоты британских солдат, которые вот они — стоят сейчас перед ним с винтовками на плечо, памятуя, что им не положено рассуждать, а только слушаться команды и умирать; и полковник каждого полка встречал вице-короля на своем правом фланге и провожал его, пока они не добрались до последнего левофлангового солдата, после чего вице-король следовал дальше по фронту соседнего полка, и свитские офицеры, застывшие, как статуи, в своих седлах, рысили за ним, не отрывая глаз от вице-королевской задницы; так ехали и ехали они вдоль линии и смотрели и проверяли, все ли тут в порядке и готовы ли войска защищать свою королеву и свою родину.

Кое-где в толпе, там где стояли люди попроще, несколько ирландцев — по лицам видать, что фении, — вздумали было посвистать, но полицейские сейчас же их цоп за шиворот и, надавав по загривку, утащили куда-то, не нарушай, мол, порядка, оно, конечно, и беднякам не заказано смотреть на парад, но только пока они ведут себя смирно и прилично.

Вот уже подъехал вице-король к тому месту, где выстроился его высочества принца Альберта собственный гусарский полк в синих куртках с желтыми шнурами, с белым плюмажем на киверах, а дальше уланы ее величества, страх какие нарядные в алых мундирах с черным пластроном, на голове у них уланки с квадратным верхом, с которых свисают длинные черные конские хвосты; а дальше тяжелые драгуны в медных касках с красными хвостами и легкие драгуны в серебряных касках с черными хвостами — мимо них всех проехал вице-король и мимо шотландских полков, гордых своими волынками и своим национальным нарядом — тартановой юбкой в разноцветную клетку, желтую с зеленым, или зеленую с белым и черным, или красную с желтым и синим, молодцы как на подбор, а уж щеголеватее их не найдется полка во всей британской армии; офицеры ихние стоят впереди своих рот, словно мраморные колонны, и драгоценные камни горят у них и сверкают на рукоятках заткнутых за чулок кинжалов.

Наконец вице-король добрался и до стоящих, лихо выпятив грудь, Ферманэгских фузилеров и ленивым движением руки приветствовал их полковника, который тотчас отсалютовал ему по всем правилам, держа шашку «подвись», так что задний край лезвия касался кончика его носа, и затем, примкнув к свите, поскакал крупной рысью на полкорпуса сзади его превосходительства,

а тот все только поглядывал на солдат и одобрительно кивал головой, потому что очень уж здорово держали строй Ферманэгские фузилеры, вытянувшись и не дыша, словно стоячие покойники; а когда проехали они вдоль всей линии, вице-король подъялся на стремянах и хлопнул полковника по спине, и сказал:

— Экой прекрасный полк, сердце радуется, когда глядишь на таких молодцов, готовых по первому знаку отдать жизнь за свою королеву и свою родину; вижу теперь, что все эти рассказы об ирландской неверности — это просто нахальное вранье и ничего больше. Вы только вперед не подкачайте, полковник, а уж я замолвлю за вас словечко старушке Викки, и провалиться мне на этом месте, коли к Новому году не привесят вам на грудь орден святого Патрика!

И с этими словами он поскакал к высокой трибуне, разубранной кумачом и золотом, принимать церемониальный марш; и перед ним шагом, и рысью, и галопом прошла кавалерия; а за ней конная артиллерия; а за ней беглым шагом пехота — тысячи и тысячи ног разом вскидывались вверх и разом ударяли о землю, показывая штатским, как надо ходить; а потом стрелки с ружьями наперевес; но никто даже и сравниться не мог с Ферманэгскими фузилерами — вот эти шагали так уж шагали, раз, раз, как один человек, — и дублинская толпа, глазевшая на парад, — хорошо одетые ирландцы с одного края, обтрепанные ирландцы с другого, — чуть не надорвали глотки, крича «ура», когда мимо них с шиком промаршировал Ферманэгский полк под звуки своего оркестра, игравшего «Прощай, прощай, но помни свиданья сладкий час».

А затем происходили маневры. Армия разделилась и разошлась в разные стороны: в одну — кавалерия, артиллерия и большая часть пехоты, в другую — Ферманэгские фузилеры и Грэхемские стрелки, чтобы встретиться в бою после того, как артиллерия займет позиции и проведет подготовку; на этот случай оба полка — Грэхемы и Ферманэги — выставили загоны на самом видном месте — нате, мол, палите по ним, сколько вашей душе угодно, — а остальные стрелки и фузилеры, ползя по земле, зашли артиллеристам в тыл и вдруг кинулись на них с криком «Доблесть и честь!», захватили пушки, перекололи орудейную прислугу, а прочих, не дав им опомниться, погнали, как стадо, на собственную их пехоту, отчего та пришла в замешательство и вынуждена была поспешно отступить. Тут нагрянула вдруг, несясь карьером, неприятельская кавалерия, но Грэхемы и Ферманэги не растерялись, мигом построились в каре, и крайние ряды приняли кавалеристов в штыки, а внутренние стали давать залп за залпом, и хотя уланы кололи их пиками и гусары рубили саблями, все же не удалось им пробить в каре даже самую маленькую дорожку, и под конец обезумевшие от страха лошади не выдержали, повернули и помчались обратно, смирная тех, что были сзади, так что через минуту все уже удирали, не

помня себя, а вдогонку им летели пули, кося, как траву, коней и всадников.

Тогда полковник Грэхемов, видя, как обернулось дело, привстал в седле, выхватил шашку из ножен, гаркнул во весь голос: — Теперь или никогда, теперь и навсегда! — и сам повел своих ребят в атаку на бегущих кавалеристов, которые кидались то туда, то сюда, врываясь даже в толпу зрителей, усеивая все Пятнадцать акров брошенными саблями и карабинами, киверами, касками, знаменами, и флажками, и пиками; а молодцы Ферманэги тоже не дремали — развернулись веером и вовсе выгнали неприятеля с поля, далеко за глазающую толпу. Гусары принца Альберта, прозванные сборщиками вишен за их красные штаны, потеряв со страху всякое соображение, понеслись во всю прыть прямехонько к трибуне, где стоял вице-король со своими присными — ох, и как же завизжали и заметались все эти разоде-тые в шелк и атлас дамочки, когда перед ними замелькали оскаленные лошадиные морды — сотнями падали они в обморок, тысячами прямо-таки выскакивали из своих корсетов и раздирали себе панталоны, стараясь поскорей выпутаться из-под одеяла — потому, когда тебе приспичило, так тут уж надо быстро, а то ведь и беда может приключиться, живо натягивай штаны, что валяются на полу возле кровати, и бегом по лестнице — два марша по десять ступенек — да смотри держись за перила, а то не зазвонил бы и для тебя колокол скорой помощи, теперь через темные сени, выставив руки вперед, чтобы не расшибиться, потом через двор по мощеной дорожке, ой, какая она холодная под босыми югами, и вот ты, слава богу, у пристани, теперь еще только ющупать рукой где не так мокро, чертовы неряхи, всегда зальют сиденье, им и заботы нет, что другой, может, любит отправлять свою надобность по-культурному, на сухом и чистом, свиньи эти-кие, шлепают сквозь жизнь по щиколотку в собственном дерьме и очень довольны, им только чтобы себе было хорошо, и плевать они хотели на тех, кто старается с другими поступать так же, как ему хотелось бы, чтобы другие поступали с ним, а ведь если рассудить, так всякий должен бы так делать.

Ну, ладно, застегивай штаны и вскачь через двор, потому что дождь так и лупит, а нельзя же сидеть тут и ждать, пока он перестанет. Опять по ледяной дорожке, потом вверх по лестнице и в комнату, где уж тебя не достанет ни дождь, ни холод; наскоро обтереть ноги о штанину и юркнуть в теплую постель; и лежать и слушать, как плещет дождь по камням мостовой, ну дожди-ще! — так-то, наверно, всех промочило до нитки, небось все у них там раскисло — и султаны, и флаги, и трубы, и пластроны, — ничего не осталось от всей красоты и блеска под этим проливным дождем, что льет и льет всюду и везде, начиная от того места, где я лежу, и на сто миль во все стороны.

ДУША БОЛЬШЕ ПИЩИ И ТЕЛО — ОДЕЖДЫ

Джонни редко задумывался о пище и одежде. И того и другого было не слишком много, поэтому он брал то, что ниспосылалось ему, и забывал благодарить господа.

Оглядываясь назад, он мог припомнить только два костюма, которые ему достались не с чужого плеча: синюю матроску с золотым якорем и золотыми нашивками на рукаве — к ней была еще синяя бархатная бескозырка с золотой надписью по околышу «Кондор. Флот Е. К. В.» — и серый шерстяной костюм, приобретенный по нем после многочисленных примерок и купленный у еврея-торговца в рассрочку — два шиллинга сразу и шиллинг в неделю до окончательного расчета.

Этот костюм и сейчас еще был на нем; изнемогая от бесконечных заплат и штопок, он все же уступал ласковым увещаниям продержаться еще немного. Страшно было дотронуться до него, как бы ворот не разлезся; мать каждый вечер лечила шерстяные раны, зашивала их ловкой, терпеливой морщинистой рукой. Однако хоть от его бывшего скромного великолепия не осталось и следа, он еще крепко цеплялся за жизнь, летом служил прикрытием от солнечных лучей, зимою — жалкой защитой от пронизывающего дождя, колючего мороза и ледящих порывов ветра.

Жили впроголодь, и хотя кусок хлеба всегда находился, но часто он отдавал на вкус прахом и тленом: прах праху и тлен тлену. Однако, привыкнув к посту, желудок Джонни перестал бунтовать и безропотно принимал хлеб и чай и сироп Парриша, вздрагивая от удивления, когда попадала в него картофелина, и радостно трепеща, чтобы достойным образом встретить случайный кусок мяса или рыбы.

Хорошо было Иоанну Крестителю — всегда под рукой акриды и дикого меду сколько угодно. Шел себе по своим делам и мог не беспокоиться о том, где его застанет ночь. Надел шляпу — вот и кров над головой. А израильтяне — им тоже можно позавидовать! Перепелки прямо в руки им летели и еще покрикивали: лови-и-те! лови-и-те! Только и дела было — свернуть шею да поджарить. Хотя, если говорить по справедливости, надо отдать должное богу, он иногда прямо-таки наводнял рыбой Дублинскую бухту, так что по всему Дублину целыми днями крик стоял: дублинские сельди, два пенса десяток, два пенса десяток, дублинские сельди! — что предвещало неделю, а то и больше, сплошного селедочного пиршества, и в горячем и в холодном виде. И манна тоже, так прямо и сыпалась с неба для этих израильтян, а они еще жаловались. На дублинские улицы манна не падала, и бедным мальчикам нечего было там подбирать, разве только грязь и навоз, колесами измеленные в пыль, — пыль, которая набивалась в рот и глаза прохожим, когда ветер взметал ее с земли.

Раз в неделю Арчи приносил получку и отдавал матери положенное, и тогда Джонни с матерью отправлялись закупать на неделю чай и сахар. До магазина Липтона на Дэйм-стрит путь был не близкий. Раньше они покупали все это в чайном магазине фирмы «Лондон — Ньюкасл»; там покупателям давали жетоны, медные или бронзовые, смотря по тому, сколько они купили чаю, и по этим жетонам, когда их набиралось достаточно, можно было получить разные фарфоровые и металлические вещицы. Но открылся Липтон, и другим торговым домам пришлось спасовать.

Итак, в дождливый, холодный вечер, захватив матросский мешок, который затягивался бечевкой, продернутой в дырочки у краев, Джонни вместе с матерью пустился в дальний путь, к Липтону, за хлебом и вином.

Как он ненавидел эти прогулки, как уставал от долгой ходьбы, в которой не было ничего веселого, такого, от чего ноги сами бегут, приплясывая на ходу; мать то и дело должна была говорить ему, чтоб он не шаркал ногами, ходил бы, как все люди ходят. Мало-помалу, незаметно для самого себя, он повисал на руке матери так, что она кричала: да перестань ты меня тянуть наконец! Зачем тебе господь бог ноги дал, если ты сам ходить не можешь? Тогда он отпускал ее руку и плелся дальше сквозь дебри улиц, волоча ноги и чуть-чуть отставая на ходу.

Чего бы он ни отдал сейчас за теплое пальто, — дождь хлестал ему в лицо, пронизывающий ветер обжигал щеки, забирался под куртку, и штаны, и ветхую рубашку, так что все тело у него болело и ныло, а он все тащился следом за матерью по Дорсет-стрит, расправив перед собою мешок, точно щит, чтобы хоть как-нибудь укрыться за ним.

Он не спускал глаз с матери, которая брела впереди с корзинкой и бидоном, одетая в жиденькую, полинялую черную юбку и тальму, в старенькой шляпке с завязанными под подбородком лентами и черным стеклярусом, ярко блестящим под дождем; она все шла и шла, помня только о Липтоне, не глядя на лавки, выстроившиеся по сторонам, полные вкусных и лакомых вещей, которые бог не судил ей покупать.

Тут были фруктовики, навалившие прямо на тротуар груды английских яблок и груш, тунисских и триполийских фиников, турецкого инжира и испанских апельсинов, на мулах и волах, пароходом и поездом доставленных из солнечных краев на дождливые улицы Дублина, — все это так и просилось в рот; но Джонни с матерью шли мимо, держа путь к Иерусалиму и Липтону.

Дальше они вступили на широкий проспект, где по обе стороны высились многоярусные ряды капусты, простой и цветной, бушели брюквы, мешки картофеля, связки лука и пучки моркови, словно дожидаясь, чтоб их отобрали, взвесили, завернули, отпустили каждому, кому они понадобятся; но Джонни с матерью шли мимо, даже не оборачиваясь, чтобы полюбоваться обильными плодами земли.

Потом они прошли между стойками мясников, на которых громоздились горы котлет, шницелей, мяса для супа и мяса для жаркого; и мясники в синих с белым фартуках орали: — Подходи, подходи, задешево отдаем! — Но Джонни с матерью, не глядя, шли мимо, торопясь к своей цели.

С Дорсет-стрит — на Болтон-стрит, мимо мелочной лавки, куда мать зашла взять в бидон полгаллона керосина, а в корзину — три фунта соды для белья, брусок желтого мыла, две свечи, кольмановского крахмалу на пенни и щепок для растопки — во исполнение завета пророка, сказавшего: «Омойте тело свое и очистите от грязи; пусть очаг ваш не угасает, и да будете светочем для тех, кто пребывает во мраке».

Когда они проходили сквозь строй лотков, заваленных грудинкой, сыром, яйцами, горами свежего хлеба, испеченного из душистой пшеничной муки, румяного и рассыпчатого, которого хватило бы, чтоб накормить пять тысяч, хлеба насущного, хлеба, данного человеку во утешение, хлеба живого, хлеба божия, выставленного на продажу булочниками, Джонни вдруг увидел, как мать остановилась и сейчас же заторопилась дальше, обходя стороною: какой-то пьяный, шатаясь, шел навстречу. Пьяный качнулся к дверям лавки, толкнул блюдо со свиными ножками и вывернул его на мостовую.

— Эй, дядя, ты что ж это делаешь? — закричал приказчик и бросился подбирать свиные ножки, а кругом уже собиралась толпа, радуясь случаю посмеяться. С быстротой молнии Джонни сунул в свой мешок кусок грудинки, прихватил еще яйцо по дороге и со всех ног пустился вдогонку за матерью, которая успела уйти вперед. Схватив мать за руку, он громко стал жаловаться, что озяб, и заставил ее чуть не бегом бежать, пока они не свернули на мрачную и темную Кингс-Инн-стрит, и там он перевел дух, все еще дрожа от волнения, радости и страха.

По Лиффи-стрит шли они дальше, мимо лавок, где торговали подержанной мебелью, но ставни уже были наглухо заперты на ночь, и улица опустела, только изредка запоздалый прохожий ворошил ногами солому и мокрый мусор, устилавший мостовую и тротуар; потом прошли по набережной, через Эссекский мост, сгорбившись, чтобы укрыться от ветра, дувшего с Лиффи, потом по Кэпел-стрит вышли на Дэйм-стрит и наконец очутились в теплом, полном яркого света и людской толчеи магазине Липтона.

Джонни, входя, задержался немного, чтобы посмотретья в огромные зеркала по обе стороны двери; он и его мать отражались в них в виде тощих и длинных уродов.

— Вот когда будем выходить, мы тут покажемся толстыми, как бочки, — сказала мать, смеясь.

У прилавков толпился народ, десятки продавцов в белых куртках отпускали чай, сахар и маргарин так быстро, что покупатели только-только успевали протянуть руку; рабочие в коричневых комбинезонах бесшумно и ловко сновали в толпе, толкая

маленькие тележки с целыми пирамидами чая и сахара в пачках, чтобы пополнить убывающие запасы на полках.

Пришла наконец и их очередь получить свои семь фунтов сахара, фунт чаю за полтора шиллинга и двухфунтовую банку особого липтоновского яблочного джема; все это Джонни уложил в свой мешок, покуда мать, заботливо и не спеша, прятала шесть пенсов сдачи в карман юбки, подшитый двойной подкладкой для хранения таких сокровищ.

— Тут должно хватить на все, что еще понадобится купить на неделю,— пробормотала она и, наконец удостоверившись, что шестипенсовик прочно лежит на дне кармана, выпустила его из пальцев.

Джонни взвалил мешок на плечи, и, лавируя в людской толпе, они с матерью направились к двери; постояли перед зеркалом, откуда глянули на них теперь две огромные туши, похожие на раскормленных свишей, с надутыми щеками и толстыми круглыми животами, свидетельствующими об отличном качестве липтоновских товаров, и снова нырнули вдвоем в темноту ночи, где по-прежнему хлестал дождь и ветер обжигал щеки; но все эти испытания казались Джонни менее мучительными, когда он вспоминал о яйце, лежавшем в кармане, и о грудинке на дне мешка.

По краю тротуара, над сточной канавкой, медленно расхаживал седой бородатый старик и надтреснутым голосом пел грустную песню суетливой уличной толпе. Он высоко поднял воротник пальто и глубоко втянул в него подбородок и шею, прячась от ветра и дождя; но когда нужно было взять высокую ноту, приходилось поднимать голову, чтоб до нее добраться, тогда худая шея вылезала из своего уютного убежища и пряталась туда снова, как только мелодия опять переходила на более низкие ноты. Многие из спешивших мимо прохожих задерживались, шарили в кармане или кошельке и протягивали старику пенни; и видя это, Джонни позавидовал такому легкому способу зарабатывать деньги — не так уж трудно спеть хриплым голосом:

Из горькой чаши бедности отпив,
К приманкам сытой жизни будем глухи.
О песнь нужды, как твой припев тосклив:
Не возвращайтесь, дни жестокой голодухи!
Слов этих не забыть! Как стон, зовут они:
Не возвращайтесь, голодухи дни!
Довольно нас держали вы в неволе,
К нам никогда не возвращайтесь боле! ¹

— Раз нам нечего дать ему, нехорошо стоять и слушать,— сказала мать и потянула за руку замешкавшегося Джонни.

Когда они пришли домой, Джонни выложил на стол чай, сахар и джем. Потом он достал грудинку и яйцо и положил на видном месте, так, чтобы мать сразу заметила их, как только обернется, сняв с себя все мокрое.

¹ Эти и последующие стихи даны в переводе О. Румера.

Она обернулась и застыла на месте.

— Господи помилуй, как это попало в мешок? — спросила она.

— А я это стащил, — сказал Джонни, сияя. — Когда пьяный упал и разбросал все, я и стащил мимоходом.

— Этого еще недоставало! А если б тебя поймали? — сказала она испуганно. — Никогда, никогда больше не смей этого делать. Ведь если б ты попался, тебе дали бы по крайней мере пять лет исправительной школы. Никогда больше не делай этого, Джонни, слышишь? Помни, чему тебя учили: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить; ни для тела вашего, во что одеться; ибо душа больше пищи, а тело — одежды. Отец же наш небесный знает, в чем мы нуждаемся, так что держи руки подалее от того, что не твое. — И она бережно убрала грудинку и яйцо в буфет.

Джонни молча сидел у огня, стараясь просушить мокрые от дождя штаны. Несколько минут спустя он увидел, что мать снова надевает шляпку и тальму.

— Куда ты опять, мама? — спросил он.

— Пойду куплю на остальные шесть пенсов хороший кочан капусты, чтоб завтра было с чем грудинку варить, — сказала она.

АЛОЕ И ЗЕЛЕНОЕ

Джонни целыми днями отсиживался дома и выходил, только когда его посылали за чем-нибудь; и прежде чем пуститься по улице, смотрел направо и налево, а потом со всех ног мчался в лавочку, покупал что нужно и — назад, под крылышко матери, ибо между ним и мальчиками-католиками шла война. Уже несколько дней, едва он показывался на улице, они дразнили его, осыпали бранью, бросали в него камнями. Они прятались за углом, подкарауливали его и, выскочив из засады, трясли его, толкали, вышибали из рук, что бы он ни нес, а если ему удавалось вырваться от них и убежать, норовили дать пинка в задницу. Он чувствовал себя в безопасности только с Миддлтоном или Экритом. Сегодня утром, когда он шел из лавки с кружкой пива (мать сказала: «Один раз куда ни шло» — и взяла шиллинг из квартирных денег), ему навстречу попался Келли с буханкой подмышкой. Он отщипывал кусочки хлеба и жевал их, глядя прямо перед собой и делая вид, что не замечает Джонни, а как только Джонни поравнялся с ним, подставил ему ножку; но Джонни все-таки не упал, и лишь немного пива выплеснулось на тротуар.

Джонни, разозлившись, догнал Келли и сразмаху ударил его в переносицу, и Келли, размазывая кровь по лицу, со всех ног побежал домой.

— Держись от них подальше, Джонни, — посоветовала ему мать, после того как он рассказал ей про драку, — через несколько

дней все уляжется. Они всегда сердятся, когда мы показываем преданность трону. А потом забудут. И незачем тебе мозолить им глаза своим значком.

— Они просто завидуют,— сказал Джонни, косясь на красно-бело-синюю розетку, приколотую к отвороту курточки.— Злятся на меня, потому что они не пойдут со своими мамами на иллюминацию, а мы с тобой пойдем.

Во всех кварталах города Дублина, где жили истинно почтенные люди и работали истинно почтенные люди, праздновали какое-то торжество в честь ее величества Викторнии, королевы Великобритании и Ирландии и императрицы Индии; во свидетельство любви и верноподданнических чувств к высочайшей особе горели мириады огней и на разукрашенных столбах, соединенных между собой разноцветными бумажными гирляндами, развевались флаги, флажки, знамена, стяги, вымпелы, штандарты, хоругви и прочие символы национального достоинства; портреты королевы и членов королевской фамилии были предусмотрительно развешаны в таких местах, где каждый без помехи и с полным удовольствием мог поглазеть на них.

Все это делалось для того, чтобы подданные ее величества, прогуливаясь среди столь нарядного убранства, из глубины своего сердца возносили горячие мольбы к богу, отцу нашему небесному, всевышнему и всемогущему, королю над королями, владыке над владыками, единовластному повелителю государей, вымаливая у него благословение для нашей всемилостивейшей государыни, королевы Викторнии, дабы она всегда покорялась воле его и не уклонялась от пути его и, исполнившись силы великой, могла бы одолеть и поразить всех врагов своих; а между словами молитвы они торопливо просовывали просьбу о том, чтобы бог впридачу наделил членов совета и всю знать милосердием, мудростью и разумением и сподобил судейских творить справедливый суд и стоять за правду.

И непременно долгом имущих и почтенных людей, чье благополучие и благосостояние зависели от попустительства членов совета и всей знати, было радоваться и ликовать по поводу изобилия и счастья, которым наслаждались все живущие в английском королевстве и его доминионах; и во свидетельство славы этого королевства и своего собственного восторга вывешивать все, что попадется под руку, лишь бы оно было красивой формы и яркого цвета, на подоконниках, башнях, вышках, зубцах, колокольнях, шпилях, балконах, оградах, перилах, балюстрадах, галереях, каланчах, карнизах и прочих видных местах в качестве вещественных и наглядных доказательств своей непоколебимой веры в счастливую жизнь и праведную кончину под властью ее всемилостивейшего величества.

Для учеников воскресной школы устроили чай с угощением и волшебным фонарем, но дверь к этим радостям была закрыта для Джонни. Джонни не посещал воскресной школы и потому не имел

ни гражданского, ни церковного, ни морального права на участие в торжестве. Если мальчик не ходит в церковь и в воскресную школу, бог уж позаботится о том, чтобы его не пустили на чай с угощением.

Но мать Джонни потрепала его по плечу и сказала: — Не огорчайся, сынок, мы с тобой сядем на империал конки и объедем весь город, и ты увидишь иллюминацию, и цветы, и флаги; это гораздо лучше, чем какой-то волшебный фонарь и жидкий чай с черствыми булками.

Место в конке им пришлось брать с бою: видимо, весь квартал высыпал на улицу, чтобы полюбоваться иллюминацией. Миссис Кэссиди держала Джонни за плечи и настойчиво прокладывала себе путь в густой толпе, покрикивая на толкавших ее людей: — Дайте пройти, дайте дорогу бедному, слабому ребенку, у него больные глаза, не часто ему приходится смотреть на божий мир. Стыдно нашему городу Дублину, неужели никто не пожалеет бедного, больного мальчика!

Кондуктор, стоявший на площадке, вдруг нагнулся, протянул руку и втащил Джонни вместе с его матерью в конку, потом подтолкнул их на узенькую лестницу, ведущую наверх, а сам загорочил дорогу потным, разгоряченным пассажирам.

— Вот бы мне посох святого Патрика, я бы живо вас образумил, — сердито говорил он, пытаясь прекратить беспорядочную давку. — Нечего сказать, хорошо вас воспитывали, толкаются и лезут, как дикари какие-то, точно никогда дальше своей норы носа не высовывали. Понять не могу, зачем это Парнелл на вас время тратит, старается, чтоб вы на людей похожи стали. Честное слово, стыдно сознаться, что ты ирландец, перед мало-мальски приличным человеком. А ради чего вы себе шею ломаете? Чтобы поглядеть на копилки, которые зажгли в честь Королевы-Голодухи, а она в карете кататься изволила, когда ирландцев десятками зарывали в сырую землю.

— А вы знайте свое дело, давайте звонок, чтобы порядочные люди могли сесть в конку или сойти с конки, — сказал мужчина с большим слюнявым ртом, над которым, как ветви плакучей ивы, нависли усы. — И не воображайте, что вся публика собирается тайно или явно выражать свою преданность тем, кто препятствует нашей славной Ирландской партии бороться за нас в Палате общин!

Джонни повернулся и дернул мать за рукав.

— Это Миддлтон, отец Джорджи, — прошептал он. — Как только Джорджи выходит на улицу, ребята кричат ему вслед: папа Джорджи Миддлтон у жены под башмаком!

— Ваша правда, мистер, — сказала толстая женщина с пышным турнюром, протискиваясь к подножке. — Время такое, вот он и позволяет себе укорять нас, будто мы забыли арфу ради короны, а был бы порядок, ответил бы он за свои слова.

— Как другие, не знаю, — проговорил вислоусый пассажир, —

а лично я еду в город по важному делу; и пусть плошки горят так ярко, точно все хвостатые кометы по небу мечутся, я и глядеть не стану, а увижу только гомруль да наш зеленый флаг с восходящим солнцем посредине.

— Страсть, какие вы все патриоты! — саркастически сказал кондуктор и дернул за колокольчик, давая сигнал к отправлению. — А только сдается мне, что никто из вас не сойдет, пока весь маршрут не проедем. Погляжу я на вас, как вы будете глаза за-вязывать, когда мы покатим по разукрашенным улицам, где развеваются флаги всех народов, кроме нашего.

— Этот кондуктор очень неглупый человек, — сказала мать Джонни, когда они уселись на империале конки, откуда им далеко видно было и вперед, и назад, и по обе стороны.

— По-моему, кондуктор совсем не рад тому, что делается в городе, — заметил Джонни, — хоть он и помог нам влезть на империал. Он, должно быть, сам не понимает, что говорит. Ведь это невежество, одно невежество — правда, мама?

— Конечно, Джонни, одно невежество. Но он добрый человек, и нужно всегда помнить, что повсюду есть добрые люди. Бывает, что мысли у человека неправильные, а сам он все-таки добрый.

— Даже католики-фении? — спросил Джонни.

— Уж эти-то наверняка. Твой покойный отец всегда говорил, что все фении честные, прямотушные люди. Один такой жил в нашем доме — тебя еще на свете не было, — они с твоим отцом очень дружили. Вот наш столик с ящичком, мы его купили, когда ему с женой пришлось бежать в Америку и они распродавали все, что у них было. А потом были и протестанты-фении.

— Но мы не настоящие ирландцы, правда, мама? Не совсем настоящие?

— Не ирландцы? — переспросила его мать. — Конечно, ирландцы. Кто это тебе сказал, что мы не ирландцы?

— А мы как-то играли с Келли, и он сказал, что только католики — настоящие ирландцы, а раз мы протестанты — значит, мы никакие не ирландцы.

Мать вся вспыхнула и часто-часто задышала.

— Вот неуч, вот скверный мальчишка, папистское отродье! — сердито крикнула она. — Я бы им порассказала, этим Келли и всему их семени, какие мы ирландцы. Не хуже их. Когда в Ирландии правили ирландцы, клан О'Кэссиди был такой же могущественный и знатный, как и клан Келли. Будь жив твой отец, он доказал бы им по книгам, что род О'Кэссиди ведется еще с времен до рождения Христова. А протестанты такие же ирландцы, что и католики. Будь жив твой отец, он дал бы тебе почитать про святого Патрика и ты узнал бы, что он был самый настоящий протестант; и что в старину ирландцы не верили во всякие обряды, в какие теперь верят католики, а учили только истинному слову божью, в которое мы, протестанты, и посейчас верим.

Конка свернула на Норс-Фредерик-стрит, и Джонни сразу за-

был про святого Патрика и протестантов. Тротуары были так запружены, что два потока пешеходов тянулись по обе стороны конки, которая продвигалась вперед, словно светящаяся лодка, идущая посредине полноводной реки. Джонни видел впереди, насколько хватал глаз, одни мерцающие огни и реющие флаги. Как он гордился, как он радовался, что вот и он участвует в великом торжестве, коему надлежит показать любовь и преданность ирландского народа могущественной королеве Англии.

— Посмотри, мама, ложа оранжистов! — восторженно закричал Джонни. — Ты только посмотри на ложу оранжистов!

Из окон, чередуясь, свисали королевские штандарты и британские национальные флаги. Огоньки мерцали за опущенными жалюзи, украшенными оранжево-синим гербом Оранско-Нассауской династии. В одном окне с поднятыми жалюзи виднелись улыбающиеся лица оранжистов, смотревших вниз, на кишевшую людьми улицу. По всему фасаду протянулась огненная надпись из газовых рожков — пламенный крик: «Боже, храни королеву!», а повыше, окруженная бронзовым лавровым венком, сияла газовым светом дата: «1690»¹. Напротив здания ложи красовалась нарядная церковь, выстроенная для пресвитериан Александром Финдлейтером, именитым бакалейщиком и виноторговцем города Дублина; на шпиле колыхался огромный флаг, а позолоченные острия копий ярко-голубой массивной ограды так и сверкали в пляшущем свете плошек. Пассажиры конки, высовывая головы и выворачивая шеи, любовались диковинным и пышным зрелищем.

— Как хорошо, — прошептала миссис Кэссиди, вся раскрасневшаяся от восхищения, — вот теперь видно, что богатые и бедные в нашей стране забыли всякую рознь и души не чают в нашей королеве, ради которой весь город так и светится и горит всеми красками.

— Долой оранжистов! — донесся чей-то голос с тротуара, и Джонни увидел, как двое полицейских схватили какого-то человека, который кричал и грозил кулаком перед окном оранжистской ложи.

— Сейчас будет драка! — радостно сказал Джонни. — Смотри, смотри, полиция забирает его!

— Это просто пьяный хулиган, — сказала мать. — Всегда находится такой дурень, которому не по сердцу мир и тишина. Но он один против всех и большого вреда сделать не может.

Кондуктор поднялся по лесенке и, хмурясь, стал обходить пассажиров, собирая плату за проезд. Пассажиры, любуясь яркими огнями, реющими флагами и пестрыми гирляндами, протягивали кондуктору деньги, не сводя восхищенного взора с на-

¹ Дата знаменитой битвы на реке Бойн между сторонниками Иакова II и войсками Вильгельма Оранского, доставившей победу в Ирландии протестантскому меньшинству.

рядных улиц. Кондуктор брал деньги из протянутых рук, проби-
вал билеты и клал их на раскрытые ладони; пассажиры даже
не поворачивали головы, боясь хоть на минуту оторваться от моря
огней и ярких красок и всеобщего ликования. Кондуктор по
очереди подходил к каждой протянутой руке, презрительно по-
качивая головой.

— Бедный Уолф Тон,— шептал он,— бедный Уолф Тон.

Джонни смотрел на кондуктора, который, получив за билеты,
остался стоять у лесенки, опершись рукой на перила и погляды-
вая на пассажиров, пожирающих глазами иллюминацию; потом
кондуктор запел вполголоса, не то про себя, не то обращаясь к
едущим в конке:

Я сидел, над могилой Уолф Тона склонен,
И думал: как горестно умер он,—
В цепях, за отчизну скорбя, одиноч.
К борцам за свободу немилостив рок.
Вдруг гул я услышал и вижу: идут,
Построившись, люди в могильный приют;
Идут, без гроба, к могиле, где Тон
Вкушает последний и вечный сон.
Растроган, я бросился руки им жать
И каждого истово благословлять.
Отрадно видеть, что люди верны
Тому, кто погиб за свободу страны.

— Кто это Уолф Тон, мама? — шепотом спросил Джонни,
с волнением глядя на слезы, текущие по лицу кондуктора.

— Бунтовщик-протестант. Лет сто тому назад¹ он поехал во
Францию и привел оттуда целый флот, чтобы помочь ирландцам
выгнать англичан. Но бог хранил нас и послал страшную бурю,
и она разметала корабли в Бантри-бэй.

— А что случилось с бедным Уолфом Тоном, мама?

— Он бился на французском военном корабле, пока англи-
чане не захватили корабль; а потом его посадили в тюрьму и
казнили по приказу английского правительства.

— А почему ирландцы не спасли его?

— Не знаю, право. Это было давно, и все про это забыли.

— А кондуктор не забыл, мама.

— Давай лучше смотреть на огни и флаги,— сказала мать,—
не стоит ломать голову над тем, что сейчас уже никому не
нужно.

Кондуктор все еще пел, опершись рукой на перила, не то
для себя, не то для пассажиров:

Запущено кладбище с грустным холмом,
Суровые ветры бушуют кругом.
Но час торжества для Эйрина пробьет,
И памятник Тону воздвигнет народ.

¹ Речь идет о восстании 1798 года, организованном обществом «Объеди-
ненные ирландцы» во главе с Уолфом Тоном.

Огромная толпа, пробивавшаяся на Сэквилл-стрит, собралась напротив Ротонды, на сверкающем куполе которой красовалась императорская корона, а по короне вилась надпись: «Noppi soít qui mal u pense»¹. Конка, застряв в самой гуще толпы, остановилась и терпеливо ждала, когда толпа немного раздастся и можно будет продолжать путь.

— Что правда, то правда,— сказал вислоусый мужчина, поворачивая голову и обращаясь ко всем присутствующим.— Не пожалели денежек. Любо глядеть, как разукрасили Дублин.

— Это тому любо глядеть, кому любоваться охота,— язвительно сказал кондуктор,— а для верного ирландского глаза это только зажженные свечки, и зажгли их, чтобы бахвалиться и глумиться над прахом нашей родины.

— А если и так,— ответил вислоусый,— то нечего сказать, поминки вышли на славу. Весь город радуется, а когда откликнется вся страна, настанет мир. Ведь по всей Ирландии раздоры и споры. Но теперь этому придет конец. Что сегодня думает Дублин, то завтра скажет Ирландия.

Миссис Кэссиди наклонилась к нему, одобрительно улыбаясь.

— Истинную правду говорите,— сказала она.— Стоит взглянуть на улицы, и сразу видно, что все хотят закона и порядка и чтобы ими правила королева. Люди, если их не трогать, одного только и желают — спокойствия. Такой праздник, как нынче, и такая иллюминация нас всех образумят.

— И все бы так и было,— злобно проговорил вислоусый,— ждать бы долго не пришлось, если бы не эта скотина Парнелл, который только и делает, что народ мутит.

— Ну нет,— укоризненно сказала миссис Кэссиди,— как хотите, а только Парнелл вовсе не скотина. Он из хорошей семьи и человек благородный.

— Благородный! — фыркнул вислоусый.— Не без мужицкой крови, должно быть, а то не стал бы собирать проходимцев по всей стране и угрожать покою и безопасности порядочных людей. Чего он добивается? Хочет стать некоронованным королем Ирландии?

Миссис Кэссиди выпрямилась и откинулась на спинку сиденья, стараясь держаться как можно дальше от вислоусого с большим слюнявым ртом.

— Правду сказать,— проговорила она, помолчав,— если бы к тому дело шло, лучшего короля для Ирландии и не найти.

— Верно, верно,— послышались голоса со всех сторон.

— Ладно,— проговорил вислоусый,— когда-нибудь узнаете его, да поздно будет. Тогда вспомните, что умный человек предостерегал вас, но его вы уж не увидите, потому что он уберется из Ирландии, как только представится случай.

¹ «Стыдно тому, кто дурно об этом подумает» (франц.) — девиз ордена Подвязки.

— Как жаль,— негромко проговорил спокойный голос в дальнем конце конки,— что этот умный человек не может убраться отсюда, прежде чем убраться из Ирландии.

— А что я такое сказал? — спросил вислоусый.— Только выразил свое мнение. Кажется, таких законов нет, чтобы запрещали выражать свое мнение. Хорошие времена настали, черт подери, если человеку уж нельзя выразить свое личное мнение!

— Если это личное мнение смахивает на бессовестное вранье,— сказал тот же негромкий голос,— то можно попросить кое-кого и замолчать.

Вислоусый, весь побагровев, вскочил с места и оглядел пассажиров злыми глазами.

— А я скажу,— закричал он,— что не годится безбожнику-протестанту быть вождем ирландского народа! Никто мне глотку не заткнет! Народу нужно, чтобы каждый жил сам по себе, тихо и мирно и чтобы никто никого не задирал, и пусть каждый думает, как хочет. И нечего грозить мне кулаками, не испугаете! Всегда буду говорить, что Парнелл со своими проходимцами, которые жгут поместья и швыряют камни в полицейских, погубят страну!

Над верхней ступенькой лестницы показалась голова кондуктора. Лицо его по-прежнему было хмуро. Он гневным взглядом окинул пассажиров империаля. Потом взял в обе руки висящую через плечо сумку и стал трясти ее, чтобы звоном монет привлечь внимание.

— Полегче вы тут,— сказал он, повысив голос,— я не позволю шуметь на империале моей конки. Вы беспокоите пассажиров, которые сидят внизу. Уж если вы все такие верноподданные, так ведите себя прилично в праздник королевы.

Голова кондуктора исчезла, толпа вдруг двинулась, и конка медленно поплыла вперед, миновала Ротонду, пересекла Грейт-Брити-стрит, дав пассажирам возможность бросить беглый взгляд на кафе Мунни, на всем знакомые часы над вывеской в ярком венке огней, и въехала прямо в самую гущу пестро убранной и ослепительно сверкающей Сэквилл-стрит — самой широкой улицы во всей цивилизованной Европе. Вот они, плошки — миллионами, флаги — тысячами, колышутся, трепещут, полощатся в окнах у самой земли и в окнах под небесами, на плоских крышах и на островерхих крышах: синие, красные, желтые, зеленые, алые и белые флаги; и среди прочих, не на последнем месте — голубое знамя Дублина с тремя пылающими замками.

А также — среди прочих — развевается и германский флаг, пересеченный черным крестом или с изображением свирепого орла, готового выклевать глаза всему миру, ибо не так давно Германия победила Францию и теперь Германию с Англией водой не разольешь; и все добропорядочные протестанты, богатые и бедные, как объяснила Джонни его мать, глубоко уважают

княжеский дом Саксен-Кобург-Гота, и княжеский дом Мекленбург-Шверин, и вообще все германские княжеские дома. И Джонни припомнил, что, когда их школу однажды посетил германский посол, дети в честь его хором спели немецкую песню, которую разучивали долгие месяцы под непрерывным градом затрещин:

Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!¹

Реял и датский флаг, ибо с тех пор, как принц Уэльский женился на Александре, датский флаг всегда развевался рядом с английским.

На всех лавках, магазинах, банкирских конторах и правительственных зданиях трепыхались флаги; стены пламенели розами, трилистником, чертополохом, пестрели эмблемами — арфы, короны, а кое-где единороги и львы. И среди этого великолепия, между двух потоков огня, медленно двигалась конка; парапеты, колонны, фронтоны, балконы, перила были затянуты алым и малиновым сукном с золотой каймой; и по всему этому вилась пестрая цепь красных, белых, синих гирлянд; куда ни глянь — тонкое блестящее полотно, шелк, узорчатый муар, искусно драпированные, переливали всеми цветами радуги в честь славной королевы Виктории.

Медленно ползла конка сквозь толпу, запрудившую улицу, — кучер то и дело давал свисток, призывая пешеходов расступиться, — ползла через Карлейльский мост, по Уэстморленд-стрит, где Джонни показал матери ярко освещенные часы и сверкающую корону на редакции «Айриш таймс».

— Радостно видеть, — сказала его мать, — когда такая громадная толпа ведет себя смирно и ничего, кроме удовольствия и веселья, не ищет. Если бы правительство перенесло сюда королевскую резиденцию, во всем мире не было бы другого такого преданного и послушного народа, как ирландский. А теперь, — заключила она, — мы увидим самое главное — Тринити-колледж и Ирландский банк.

Конка, окруженная толпой, медленно скользнула в широкий колодец ослепительных, сверкающих, зыбких огней, обративших вечерний мрак в смеющийся день. На улицах, по которым они ехали до сих пор, Джонни видел алмазные серьги в ушах ирландской столицы и мерцающее ожерелье вокруг ее шеи; теперь он любовался пышной диадемой, венчавшей ее голову. По Тринити-колледж и Королевскому ирландскому банку струился искрометный дождь огней, и бесчисленные знамена колыхались, словно большие цветы, распустившиеся среди языков пламени. Огромная толпа стояла безмолвно и недвижимо, замороженная феерическим зрели-

¹ Дорогое отечество, можешь быть спокойно,
Крепко и верно стоит стража на Рейне (нем.).

шем. Молчание было насыщено почтительным и верноподданнейшим благоговением. Это была их Скала избавления в волшебном убранстве, и Джонни крепко сжал руку матери.

Немного подальше, возле зданий, освещенных не столь ослепительно, Джонни заметил какие-то серебристые точки: это поблескивали каски полицейских, которые стояли кучками в подъездах и подворотнях.

Внезапно группа хорошо одетых молодых людей, по-военному построившихся рядами и развернув английский национальный флаг, громко и с воодушевлением запела:

Многи лета королеве,
Нашей доброй королеве!
Боже, храни королеву!

— Студенты, студенты! — не своим голосом закричал вислосый, вскакивая на ноги и перегибаясь через перила. — Они-то покажут, на чьей стороне правда!

Но из толпы, постепенно заглушая задорные молодые голоса, поднялся негромкий жужжащий ропот, который рос и ширился, пока не превратился в гневный, угрожающий рев, заставивший пение умолкнуть. Раздался треск разбитого стекла, и на тротуар под окнами колледжа со звоном посыпались осколки. Угрожающий рев замер, зазвучал боевой напев, сначала тихо, потом громче и громче, и наконец песня, словно широкая река в половодье, разлилась по всей огромной толпе, теснившей полицию, чтобы добраться до студентов.

Тиран английский наложил безжалостный запрет
На наш зеленый, дорогой сердцам ирландским, цвет.
Но видит бог: скорей своим он жертвам жизнь вернет,
Чем алым цветом соблазнит отважный наш народ¹.

Кто-то под громкие крики «ура!» поднял большое зеленое знамя; толпа снова подалась вперед, полиция с трудом сдерживала ее натиск; на тротуар под окнами колледжа все еще со звоном сыпались осколки, и пение продолжалось:

Мы не сдадимся, ибо бог к тем обращает лик,
Кто верит в мужество свое, не в мощь земных владык.
Клянемся крови не жалеть, чтоб до скончанья лет
Над алым цветом вознесен был наш зеленый цвет!

Джонни увидел, как поющая толпа вдруг ринулась вперед, прорвала цепь полицейских, преграждавших ей путь, и накинулась на студентов с кулаками и палками, отгоняя их назад, назад, назад к воротам колледжа. Он услышал, как в здании колледжа зазвонил колокол; увидел, как открылись тяжелые входные двери, и толпа студентов, вооруженная толстыми палками, хлынула на улицу и с воинственными криками бросилась на помощь своим

¹ Зеленый — национальный цвет Ирландии; алый — основной фон британского флага.

товарищам. Он увидел, как полицейские разгоняли толпу, стараясь держаться кучкой, и изо всех сил колотили дубинками по головам, до которых им удавалось дотянуться; но многие полицейские падали, и разъяренные люди топтали их ногами. А в самой гуще толпы, словно неподвижный корабль в волнах бушующего моря возвышалась конка, и послушные лошади тихо стояли среди оглушительного шума.

Кто-то притащил веревку, ее захлестнули вокруг большого королевского штандарта, развевающегося на высоком здании банка. Сотни рук дергали, дергали за веревку, и наконец древко переломилось, и огромное полотнище, под общее ликование, трепеща, слетело на толпу, где тотчас из-за него поднялась драка, потому что каждый хотел первым разорвать его в клочья.

— Королевский штандарт сорвали! — простонал вислоусый. От ярости он брызгал слюной и едва говорил. — Где полиция? Чего полиция смотрит? Разленились, сволочи, разжирели, ничего делать не хотят. Жаль, что я не оделся поприличней, а то бы я сию минуту соскочил и показал им, как надо работать.

— Напрасно мы с тобой поехали, — вполголоса повторяла миссис Кэссиди, крепко держа Джонни за руку. — Напрасно.

Вдруг в толпе, осаждающей студентов, раздался тревожный крик: «Конная полиция, конная полиция!» Далеко-далеко, в конце Дэйм-стрит, Джонни увидел подпрыгивающие серебристые каски конной полиции — все ярче, все ближе с каждой секундой. Часть толпы бросилась назад, к Графтон-стрит, локтями и кулаками прокладывая себе путь. Женщины, сбитые с ног, пронзительно вскрикивали, мужчины пытались поднять на плечи перепуганных детей. Джонни увидел женщину, которая громко кричала и отчаянно пробивалась обратно, в гущу толпы.

— Я потеряла моего Томми, он вырвался у меня из рук! Пустите, черти, дайте мне найти Томми! Пустите, ради бога, пустите!

Но никто не мог ей помочь; толпа, напирая, отталкивала ее все дальше, и Джонни уже не видел ее, а только слышал, как она кричала: — Томми, Томми!

За верховыми констеблями следовала большая толпа, она свистела, улюлюкала, бросала камни, бутылки и даже железный лом; люди подбегали близко, чуть ли не под самые копыта. Иногда несколько констеблей, круто поворачивая лошадей, наезжали на толпу, и тогда передние бросались врассыпную; но как только констебли присоединялись к своему отряду, толпа снова смыкалась. Джонни увидел, как один из верховых, вскрикнув, выпрыгнул из седла, выпустил из рук длинную дубинку, так что она повисла на его запястье, и когда он повернул голову, стало видно, что его правая щека рассечена краем разбитой бутылки, пущенной в него из толпы. Подбежали пешие констебли, помогли раненому сойти с лошади и завязали щеку чьим-то носовым платком.

Когда конная полиция рысью выехала на Колледж-стрит, в толпе, сражавшейся со студентами, поднялись предостерегающие крики; драка прекратилась, и противники верноподданных студентов, отступая, бросились бежать по Уэстморленд-стрит и Колледж-стрит, кто прихрамывая, кто прикрывая руками голову. Человек, который нес большое зеленое знамя, тоже побежал, но тяжесть древка и складки длинного полотнища, путавшегося у него в ногах, мешали ему. Несколько констеблей галопом пустились в погоню за бегущей толпой. Один из них, поравнявшись со знаменосцем, нагнулся с седла и с размаху обрушил длинную дубинку на голову знаменосца, и тот упал и остался лежать посреди мостовой, скрытый складками зеленого знамени.

Джонни откинулся назад и прижался к матери. Он чувствовал, что она дрожит всем телом.

Полицейский офицер подъехал к конке и дотронулся до плеча кучера тоненьким хлыстом.

— Поворачивай свою конку к дьяволу, да поживей! — приказал он.

Кучер соскочил с площадки, одной рукой снял дышло, другой взялся за вожжи, повернул лошадей, подвел их к заднему концу конки, снова насадил дышло и влез на площадку. Кондуктор дернул колокольчик, и конка медленно двинулась в обратном направлении, прочь от сияющих в честь королевы газовых рожков; прочь от пурпура, багрянца и золота; прочь от разукрашенных стен и обгаренной кровью мостовой; прочь от сверкающих корон и умиленных славословий, — назад, домой, к полутемной Дорсет-стрит.

Когда конка медленно заворачивала за угол, Джонни еще успел увидеть, как конная полиция, в вихре криков, камней и бутылок, на всем скаку врзалась в толпу на Дэйм-стрит; а посреди улицы, на полдороге между колледжем и банком, лежала одинокая скорчившаяся фигура, почти скрытая складками ярко-зеленого знамени.

Я СТУЧУСЬ В ДВЕРЬ

Мать Джонни очень беспокоилась, что он останется без образования. Беспокоился и Арчи — по-своему, довольно неопределенно и ворчливо; беспокоилась и Элла — она в то время уже кормила своего первенца, а муж ее скоро должен был навсегда распрощаться с армией. Мужа ей так и не удалось сделать образованным, ворчал Джонни, вот она теперь и точит зубы на брата. Они с матерью без конца сокрушались и толковали о том, что бедный Джонни растет, ничего не зная и ничему не учась.

Однажды Элла принесла матери узел белья постирать; когда стирка была окончена, обе уселись пить чай с пышками и завели обычный разговор.

— Конечно, так тоже не годится, как сейчас, — сказала миссис Кэссиди, — вырастет, даже на собственных дверях номера разо-

брать не сумеет. Пусть он не может ходить в школу, а все-таки чему-нибудь его надо учить. Твой бедный отец перед смертью только о том и говорил, что вот Джонни останется неучем.

Элла молчала, прихлебывая чай из чашки.

— Я все думаю, что глаза глазами, а из школы его брать не следовало,— сказала она.— Ах, ну я знаю, что доктор не велел,— заторопилась она, видя, что мать открывает рот, чтобы возразить.— Но ведь не докторам его воспитывать. Что из него может выйти? Простой чернорабочий, больше ничего.

«Твой-то муженек немногим лучше»,— подумала мать, но вслух ничего не сказала.

— Простой чернорабочий,— продолжала Элла,— и то еще если сил хватит. Большую ошибку сделали, что не отдали его в Школу синих мундиров, тем более, что пастор и мистер Пюрфой столько о нем хлопотали.

Мать сурово сжала губы.

— С этим покончено, и наново начинать не стоит,— сказала она.— Пока я жива, мой мальчик в приюте не будет.

— Уж во всяком случае он бы там и сыт был и одет,— возразила Элла.

— Это много, но это еще не все. Может быть, тут ему чего-нибудь и недостает, но зато у него есть дом.

Сколько шуму было тогда из-за Школы синих мундиров. Элла и Арчи все уши прожужжали Джонни про их красивую форму — синюю куртку с высоким воротником и обшлагами ярко-желтого цвета, длинные штаны, шотландскую шапочку, полусапожки на ремешке с пряжкой и ко всему еще изящную тросточку, которую носят подмышкой. Старшие братья прислали из армии письмо, в котором говорилось, что это отлично придумано; и сам Джонни упрашивал мать согласиться, но мать твердо стояла на своем, одна против всех; и всякий раз, как Джонни заговаривал о прелестях школы, она останавливала его коротким: дома тебе лучше.

— Там бы его слову божью учили,— продолжала Элла.

— Да, вколачивали бы палкой в голову. Там ведь за каждым шагом следят, а чуть что не так, живо обломают по-своему. Джонни — мой сын, а не их. Если им так уж хочется, чтоб он был сыт, пусть кормят его здесь; если им так уж хочется, чтоб он был одет, пусть одевают его здесь. А запугать его до полусмерти не дам, пока это в моей власти. И довольно об этом, потому что я свое слово сказала: мальчик останется дома.

— Я, кажется, говорю только ради его же пользы,— сказала Элла обиженно.

— Все мои советчики, если их послушать, говорят только ради его же пользы.

— Ты посмотри на него, сама увидишь, к чему это ведет,— сказала Элла.— Ведь у него лоб совсем зарос.

— Я делаю все, что могу, и лоб у него уже стал больше,— ска-

зала мать.— Три раза в день по четверть часа я изо всех сил зачесываю ему волосы кверху щеткой, а на ночь делаю тугую-тугую повязку. Пусть из-за глаз он не может как следует учиться, но лоб у него будет, как у всех людей. Я бы и зубы ему хотела полечить, да с этим пока надо подождать.

Элла пошла рыться в книгах, которые остались от отцовской библиотеки, потому что их никто не хотел покупать. Она вытащила «Новейшее руководство по правописанию» некоего Сэлливана, утверждавшего, что, изучив префиксы и суффиксы, а также латинские и греческие корни, можно черпать слова сотнями, тогда как старый метод обучения позволял лишь вылавливать их по одному; потом достала хрестоматию, «Начальную грамматику» и «Первые уроки географии».

— Вот,— сказала она,— здесь есть все, что ему на первых порах понадобится. Я отмечу страницы, и если каждый день он будет заучивать понемногу, то к концу года кое-чему выучится.

Джонни привели с улицы и объяснили ему, что он должен делать.

— А вот не буду,— сказал он со злостью.— Не буду и все. Мне и так хорошо.

— Ладно,— решительно сказала мать.— В субботу не жди от меня пенни на «Библиотеку для мальчиков». Так и знай: не будешь учиться — не будет тебе книжек.

Джонни пришлось сдаться. Он скорее расстался бы с жизнью, чем с Кингом Брэди, королем сыщиков, и Красным орлом, другом бледнолицых, или с нью-йоркскими героями повести «От чистильщика сапог до банкира», о чьих увлекательных приключениях он читал с матерью по субботам.

Элла разобрала ему все трудные слова, и он, нахлобучив шапку, мрачно запагал к полотну железной дороги; там у самой насыпи был пустырь, где между сорными травами росли одуванчики, ромашки, подорожник, крестовник, глухая крапива, кое-где желтел курослеп и попадались целые полосы полевого мака. Он выбрал местечко в густой траве, среди ромашек и маков, уселся, разложил свои книжки, с минуту глядел, как вьются пчелы над клевером, потом отвернулся и принялся за учение.

«Грамматика,— усердно читал он,— есть искусство правильно говорить, читать и писать по-английски. Она состоит из четырех разделов: орфографии, или учения о правильном написании слов; этимологии, или учения о словообразовании и словоизменении; синтаксиса, или учения о сочетании слов в предложении, и просодии, или учения о законах и правилах стихосложения».

— Фу, гадость какая,— пробормотал он.— Вот еще наказал господь.

Он раскрыл хрестоматию и увидел, что Элла отметила крестиками первые строфы «Ручья» Теннисона.

— Что это еще за Теннисон? — спросил он самого себя и медленно и раздельно прочитал вслух:

Свой путь на высях гор начал,
Где выпь живет ночная,
Я व्यюсь меж изумрудных трав,
На солнышке сверкая.

— Выпь,— повторил он вполголоса.— Хотел бы я знать, что это такое. Мама говорит, это, должно быть, птица; но что за птица?

Что за птица воробей — это он хорошо знал: настоящая птица, еще Инсус говорил, что в Иерусалиме воробьи продавались по фартингу за пару; ну а в Дублине и за дюжину не дадут такой цены. Еще бывают коноплянки, щеглы, пеночки, дрозды, зяблики — этих он всех видел, в клетках; других ему до сих пор не случалось видеть, а про выпь он даже и не слышал никогда. Да, но так мы далеко не уедем; и он снова принялся читать:

А там, где держит ферму Джон,
С рекой сливаюсь полной.
Людская жизнь кратка, как сон,
Мои же вечны волны.

— Ну, еще одно только четверостишие,— пробормотал Джонни.— Через одну только речку перебраться.

По камешкам скольжу, звеня
То трелью, то руладой.
И прыгают вокруг меня
Вспененные каскады.

Трель, рулада, что еще за штуки такие? Дрель — это он знал: это такой инструмент, чтоб просверливать дырки; но при чем тут дрель, если говорится о бегущей воде ручейка? И потом ведь здесь не дрель, а трель, да еще и рулада какая-то. Он вздохнул. Заставляют учить всякие ненужные и непонятные вещи! Море он знал — видал его в Сэндимаунте. И реку знал, потому что здесь, в городе, протекала река. Так зачем же ему учить про то, что он уже и так знает? А вот взять здешнюю, дублинскую реку Лиффи. Откуда она берется? Никто не мог ему этого сказать. Мать не знала, Элла не знала, Арчи не знал.

Откуда-нибудь да берется — вот и все, что можно было от них услышать. Как будто этого он сам не знал. Сердятся, если не знаешь чего-нибудь, а спросишь, чего они сами не знают, так сердятся еще больше. Вот, например, Толка. Называется река, а в ширину не больше ручья; сколько раз он по ней босиком ходил и пескарей оттуда таскал в ведерке. А все-таки — это река Толка. Поди разбери! Правда, он помнит тот год, когда она разлилась и затопила низенькие мазанки на берегу и снесла статую пресвятой девы, стоявшую в низине. Статуя потом приплыла обратно, как хлеб, пущенный по водам; приплыла и долго болталась тут, перед глазами, а потом ее вытащили, почистили, выкрасили белой и голубой краской и опять поставили на пьедестал. Да, вот тогда, в наводнение, Толка была рекой, а так она просто ручей.

Узкая тень упала на маки и ромашки. Джонни поднял голову

и увидел Дженни Клатеро. Несколько секунд они молча, смущенно глядели друг на друга.

— Ты что, только из школы? — спросил он.

— Из школы,— ответила она.— А ты что тут делаешь с учебниками?

— Просто так, взял посмотреть.

Она села рядом с ним, одернула юбку и начала листать книжки.

— Я ведь уже в пятом,— сказала она,— это все мы давно кончили. Теперь у нас проходят геометрию и всякие такие вещи.

Джонни собрал свои книжки и засунул в карман.

— Реку Лиффи знаешь? — спросил он.

— Конечно, знаю.

— Так вот, скажи мне, откуда она берется.

— Как это, откуда берется? — спросила она растерянно.

— Ну, где начинается: где она еще не река, а только лужица?

— В книжках про это нет,— сказала Дженни,— значит, это неважно. А ты-то сам знаешь?

— Конечно, знаю.

— Ну, где?

— Нет уж,— сказал Джонни ехидно.— Раз ты такая ученая, так узнай сама.

Дженни сорвала ромашку и принялась обрывать лепестки по одному, приговаривая: завтра, через год, когда-нибудь, никогда; завтра, через год, когда-нибудь, никогда; завтра, через год...— и она уронила последний лепесток.

— Что через год? — спросил он.

— Через год я выйду замуж,— лукаво ответила она.

— За кого же это ты выйдешь?

— Нет уж,— сказала она ехидно,— раз ты такой ученый, так догадайся сам.

Он схватил ее сзади за плечи и потянул к себе.

— Скажи, за кого выйдешь, а не скажешь, буду держать тебя вот так и никогда не выпущу.

— А я все равно вырвусь,— сказала она вызывающе.

Он запрокинул ее голову так сильно, что темные локоны прикоснулись к его груди, а большие темные глаза смотрели теперь прямо ему в лицо.

— А ну, попробуй вырвись,— поддразнил он.

Она сделала движение, но довольно ленивое, потом затихла и, улыбаясь, смотрела вверх, ему в глаза. Вдруг он нагнулся и два раза крепко поцеловал ее в губы. Потом сразу вспыхнув от стыда, оттолкнул ее. Он вскочил на ноги и быстро зашагал прочь, приминая маки и крапиву, испуганный тем, что сделал.

— Я маме скажу,— крикнула она ему вдогонку.

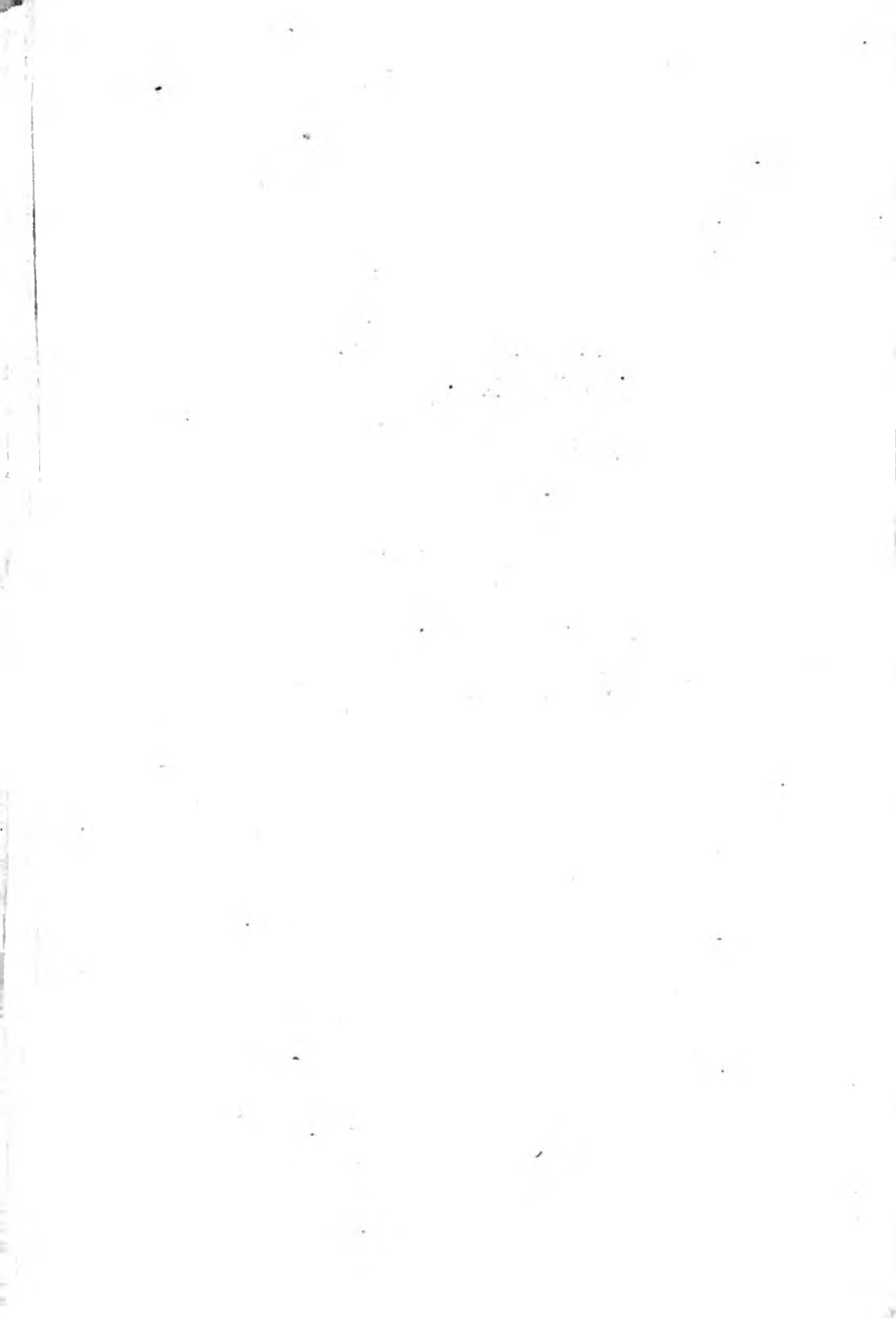
— Ну и говори,— сказал он вызывающе и обернулся. Она все еще сидела среди маков, и белая бабочка порхала над ней.— Я не боюсь.

Эти девчонки, они все сейчас бегут рассказывать, с обидой думал он, шагая по пустырю. А зачем она позволила себя поцеловать? Она легко могла вырваться, если б не хотела. Она сама гораздо больше виновата. Ну и пусть рассказывает, если ей так хочется.

Он вытащил из кармана хрестоматию, раскрыл ее и прочитал:

Хрустальный издавая звон,
К реке бегу я полной.
Людская жизнь кратка, как сон,
Мои же вечны волны.

Что ж, он читал стихи и поцеловал девочку. Хоть он и не ходил в школу, но знался со школьниками; хоть он и не вошел в дом, но постучался в дверь.





На пороге

*Время проносится над нами,
но позади остается его тень.*



В ИРЛАНДИЮ ПРИБЫВАЕТ ГРОБ

ктябрьское небо черным пологом накрыло весь Дублин; ни одна звезда не могла пробиться сквозь эту тем-

поту, и замолкшие улицы поливало проливным дождем. Дождь завладел тихим, покорным городом. На улицах было безлюдно, и дождь припускал еще пуще, словно злясь, что ни одна живая душа не дрожит от холода, не поеживается под его колючими каплями. Даже полисмены в тяжелых шинелях и клеенчатых плащах прятались под защиту самых глубоких подъездов и, убаюканные бормотаньем проливного дождя, хлеставшего по мокрым тротуарам, в беспокойной дремоте проводили часы ночного дежурства. Все прочие крепко спали в постелях. Сладко и спокойно канул в сон старый Дублин, зорко охраняемый господом богом и его пречистой матерью, вкупе с честной братией апостолов, благолепным сонмом пророков и преславным воинством мучеников, — и это не считая ангелов-хранителей, что склонялись над изголовьем каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка и в оба глаза глядели за вверенными им питомцами. Вот как спокойно и сладко спал старый Дублин! Сладко спалось дублинцам и спокойно им было во сне, ибо господь бог пребывал там, наверху, а они здесь, внизу, и ночь проходила мимо степенно и молча, и только дождь отплясывал свою дикую пляску по всему городу, не щадя терпеливых тротуаров. За плотными шелковыми занавесками, на уютных кроватях спали в кружевных сорочках; за рваными, реденькими занавесками, на грязных тюфяках, в рубашках из убогого миткаля или застиранной бумазеи спали сестры и братья тех, что в кружевных сорочках. Но бедные протестанты задирали нос перед ангелами-хранителями, ибо не верили в них и чувствовали себя куда надежнее в лоне Иисуса — векового оплота нашего, утренней звезды нашей.

Между двумя узкими простынями в рубчиках заплат, под несущим оком господина, окруженный пророками, апостолами и мучениками, погрузившись в долину сна, спал Джонни в чем мать родила, даже без миткаля и бумазеи. Под двумя старыми пальто и похищенными братом Арчи из словолитни газеты «Дейли экспресс» кусками рыжего войлока с отпечатками заголовков лежать ему было уютно, потому что огонь в очаге еще не уснул и комната не успела остыть, а мать Джонни спала крепким сном в комнате напротив, не чувствуя ни холода, ни усталости, обретая во сне единственную отраду после тяжелого трудового дня.

Что другое, а огонь в очаге миссис Кэссиди старалась не упускать. Без него, говорила она, и дом не дом. Нет матери дома — плохо. Нет огня в очаге — совсем горе. Бедняков озаряет свет господень и свет домашнего камелька. В нетопленной комнате и сытый продрогнет, а у пылающего очага и натошак под ложечкой не засосет. Яркий огонь в доме бедняка — это отсвет божьей улыбки, говорила она.

Джонни с трудом открыл сонные глаза и увидел тусклые звездочки углей, меркнувших в золе. Огонь медленно угасал, и комната начинала остывать. Тогда Джонни пошарил рукой по кровати и натянул войлочное одеяло «Дейли экспресса» на голые плечи, натянул его повыше, подоткнул поплотнее и закрыл тяжелые веки, прислушиваясь сквозь дремоту к стуку проливного дождя, хлеставшего в окна.

— Как жалко, — пробормотал он, — что огонь тухнет, умирает, уходит от нас, превращается из пляшущего пламени в скучный прах и пепел. Вот так и мы, думал он, так и все мы, все люди. рано или поздно, говорят нам в воскресной школе, огонь в человеке угаснет и станет прахом и пеплом. А моя мама говорит, думал он все медленнее и медленнее, моя мама говорит, что в воскресной школе нас учат многому такому, о чем и думать не следует, и будет еще время, будет время поразмыслить о смертном прахе и пепле, когда станешь слеп, и глух, и нем, и все тебе опостылеет.

Стараясь нырнуть обратно в теплый, ровный сон, Джонни услышал шум на залитой дождем, прозябшей улице; шум приближался, вот он уже слышен в доме, еще ближе — вот уже в самой комнате. Сквозь полузакрытые, тяжелые веки в его дремлющий мозг пронырливым сновидением скользнула чья-то неясная, осторожнодвигающаяся тень, похожая на мать, и еще одна, похожая на брата Арчи, и, услышав их тихие, приглушенные голоса, Джонни понял, что они разговаривают между собой. Он увидел, как слабое мерцанье все еще теплившегося огня вдруг потемнело и погасло совсем — значит, мать подбросила угля в очаг. Оцепенев от дремоты, он ждал, что будет дальше, прислушиваясь и глядя прямо перед собой, и наконец над потемневшим минуту назад очагом поднялись яркие язычки огня, и против света четко вырисовалась темная фигура матери, которая прилаживала чайник на разгорающуюся кучку углей.

Чай, подумал Джонни. Она хочет вскипятить воду — значит, что-то случилось.

Он приподнялся на локте, протер глаза, посмотрел сначала на мать, которая уже ставила на стол чашки и блюдца, потом на брата — тот натягивал брюки возле старенькой волосяной кушетки, служившей днем парадным предметом обстановки, а ночью — узким и колючим ложем Арчи.

Теперь Джонни слышал дробные звуки шагов на улице вперемежку с дробным стуком дождя по тротуару, и голоса, кричавшие наперебой: «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!» Он услышал, как торопившийся Арчи сердито заворчал: — Когда спешишь, попробуй сразу влезть в эти проклятые штаны! — и как мать проговорила вполголоса: — Скоро все узнаем, — и хлопанье окон и дверей, и шепот чайника, который, захлебываясь — плюх! плюх! — напевал свою песенку, сидя среди огненных язычков, поднимающихся над жаром углей.

— Мама, что случилось? — спросил Джонни, забывая про сон, шире открывая глаза и с интересом вслушиваясь в звуки, раздававшиеся в комнате и на улице.

— Ложись, ложись, — ответила мать, — спать надо.

— А почему ты разожгла огонь и почему ты вскипятила воду? — спросил Джонни.

— Умер наш бедный Парнелл, — сказал Арчи, надевая башмаки.

— Может, это только пустая болтовня, — тихо проговорила мать.

— Вот достанем газету, тогда будем знать наверняка, — буркнул Арчи.

Парнелл! Что сделал этот человек, что из-за него все так беснуется? Его имя встречают или улюлюканьем, или приветственными криками. Католики, которые совсем еще недавно не позволяли задеть этого человека ни единым словом, теперь не подберут для него достаточно крепких ругательств, а протестанты, те, кто всегда видел в Парнелле нечто зазорное, стали находить достоинство и благородство в этом человеке, отвергнутом католиками.

Что ж, теперь, когда он умер, все вздохнут свободно. Мама говорит: отец не раз говорил, что попы при первом же удобном случае скинут долой Парнелла. Вот и добились, чего хотели: долой его, к мертвецам.

Дробные звуки шагов все еще слышались на улице вперемежку с дробным стуком дождя по тротуару. Арчи, справившись, наконец, с брюками и башмаками, схватил фуражку и побежал доставать экстренный выпуск, повествующий о том, что разбился золотой сосуд, порвалась серебряная цепь и обрушилось колесо над колодезем.

Парнелл завел какие-то шашни с женщиной, поэтому католики и отвернулись от него. Китти О'Ши — вот кто навлек на Парнелла гнев праведных. Как-то раз Джонни схватился из-за него с Келли;

он горой стоял за Парнелла, а Келли кричал, что Парнелл сволочь и ни один порядочный ирландский мальчиш не станет произносить его имя вслух. Джонни крикнул, что Парнелл муж доблести и ему ведома истина. И тогда Келли затянул нараспев:

Повесим мы Парнелла на яблоне-дичке,
Повесим мы Парнелла на яблоне-дичке,
Повесим мы Парнелла на яблоне-дичке
И с барабанным боем вперед пойдем!

Тогда он тоже затянул:

Повесим Тима Хели на яблоне-дичке,
Повесим Тима Хели на яблоне-дичке,
Повесим Тима Хели на яблоне-дичке
И с барабанным боем вперед пойдем!

Келли плюнул на него, и он кинулся на Келли, сверкнув глазами, оскалив зубы, сжав кулаки, — долой его, изничтожить его, изгнать из земли Ханаанской. Но Келли пустился наутек и, оставившись на приличном расстоянии, швырнул в Джонни камнем; завязался бой, и они до тех пор бросали друг в друга камнями, целясь прямо в голову, пока из-за угла не появился полисмен и не пришлось удирать, чтобы не попасться ему в лапы.

Теперь Парнелл умер, и об этом кричат на улицах; и страх объял их, ибо единственный человек, которого они имели, ушел от них навсегда. Великое отняли, а мелочь осталась. Теперь им придется одним идти долиною жизненной тени, одним стать лицом к лицу с врагами, одним сражаться с врагами, а они разъединились сами в себе и подаются от дуновения ветра и зыбки, как вода. Столп огненный, который показывал им путь так долго, и так доблестно, и так ярко, потух, и они остались во тьме, подобно протестантским епископам.

Мать Джонни заварила чай и в задумчивости сидела у очага, поджидая Арчи с экстренным выпуском. Теперь Джонни совсем проснулся и ясно слышал дробные звуки шагов на улице и более мелодичный стук дождевых капель по тротуару. Случилось что-то очень интересное, и он не желает оставаться в стороне от всего этого. Кроме того, если встать, можно будет почитать дальше о замечательных приключениях в непроходимых джунглях Центральной Африки профессора Фрэнка Рида младшего, Барки и Помпея с их электрическим автомобилем. И Джонни тихонько слез с кровати и стал надевать брюки. Одевшись, он сел к очагу, напротив матери, погрузился в самую чашу джунглей и вместе с матерью стал ждать Арчи с экстренным выпуском.

Мать посмотрела на него, потом молча встала и поставила на стол еще одну чашку и блюдце.

— Садись и ты, выпьешь с нами чаю, — тихо проговорила она. — В такую ночь можно и не поспать, вреда не будет.

Джонни был в самой чаше джунглей, и сердце его радовалось теплу очага, когда дверь открылась и в комнату с торжественным

видом вошел Арчи. На волосах, выбивавшихся у него из-под околыша фуражки, густо сидели блестящие дождевые капли, за бортом пиджака была припрятана газета.

Он подошел к очагу, сел на стул и медленно развернул ее.

— Правда,— сказал он.— Все правда. Парнелл ушел от нас навсегда.

Джонни еле удержался, чтобы не фыркнуть. Он знал, что печаль Арчи притворная, что на самом деле ему все равно,— пусть Парнеллы умирают хоть по пяти раз на дню, ведь Джонни часто слышал, как Арчи поносил Парнелла, потому что иначе ему бы не удержаться в «Дейли экспресс» и в «Страже», карикатуры которых из года в год служили полновесным отрицанием всего хорошего, мало-мальски хорошего, что ни на есть хорошего в Парнелле и его политике; ибо владельцы этих газет были порождением архипакоости Англии и сквернословия Макморроу еще в те времена, когда норманны приплыли из заморских стран насаждать новую цивилизацию там, где никакой цивилизации не было; приплыли с благословения святейшего папы, конные, с мечом, копьем и щитом и с твердым намерением взлелеять истинную веру среди пресвятых ирландских язычников.

— Он скончался в Брайтоне,— сказал Арчи,— когда часы пробили полночь. «Передайте мой привет товарищам и всему ирландскому народу»,— вот его последние слова в этом мире. Он обещал быть с нами в субботу и сдержал свое обещание. В этот самый день Парнелл вернется сюда — в гробу.— Арчи злобно разорвал газету в клочки.— Всею виной подлые трусы; в пятнадцатой комнате парламента они убили того, кто вывел их в люди. Вот где произошло убийство, вот где Хели и его свора зарвавшихся католических шавок предали Парнелла закланию. Они нанесли ему удар в пятнадцатой комнате по приказу этого паука, источающего библейский елей, этого мерзавца Гладстона!

Вся свора сбежалась туда, думал Джонни, чтобы скинуть долой своего вожака. Они сидели там всю ночь, готовясь ворваться первыми в распахнувшуюся дверь. Им не терпелось приняться за работу. Свинья хрюкала, собака рычала, лиса лаяла, волк выл, крыса пищала, дожидаясь, когда дверь распахнется. Их осеняла благодать, а Парнелла — нет. Этому десятку, или двум десяткам, праведников надлежало отвести от нации гнев господень и гнев католических епископов. Парнелл утерять право вести за собой святой народ святого острова, кишашего подлецами и прохвостами. Мало того, что этот человек сальными глазками поглядывал на Китти О'Ши, он и во многом другом хватил через край. Разве не заявил он в Америке, что все мы, где бы мы ни жили — в Ирландии, в Америке или в других странах,— не успокоимся до тех пор, пока не порвется последняя цепь, приковывающая Ирландию к Англии, и разве большие и малые города и местечки не старались перещеголять друг друга в оказании ему почестей? Разве губернаторы

штатов в сутолоке не сбивали друг друга с ног, стараясь первыми принять его? Разве не выстраивались солдаты вдоль улиц, по которым он следовал, и разве не гремели артиллерийские залпы, когда появлялся его экипаж? И разве не просили его выступить с речью перед членами конгресса, чтобы те услышали идущее от сердца слово, обращенное к Ирландии и ко всему миру? Кто из англичан удостоился подобной чести в стране полосато-звездного флага? Что правда, то правда — раздавались и артиллерийские и ружейные залпы под Бэнкер-хиллом, Йорктауном и Саратогой¹, да не такой встречи им хотелось.

Но О'Брайены, Диллоны и Хели — вся эта заваль, падаль, дрянь, рвань, голь, шваль, подускиваемая епископами, решила раз и навсегда покончить с ним и забрать в свои лапы народ, который она тщила прельстить жизнью светлой ныне и пресно и во веки овечные, ибо всем было ясно, что Парнелл отвращает народ от епископов, кои ввергают его в нищету, а народ хочет иметь крышу над головой и спокойно сеять и жать, и урожай убирать, забывая, что истинные семена есть семена вечные, а не те, что весной дают ростки и осенью умирают, не те, что скорее всего будут затоптаны, или отброшены заступом, или развеяны по ветру в пылу подготовки кампании², а достопочтенный Юарт Гладстон сидел в сторонке, наострив громадные уши и склонив набок громадную голову, и слушал, что делается на белом свете, приклеившись своей достопочтенной, достохвальной и достопримечательной задницей к непоколебимой скале Священного писания: сидел и ждал, когда ирландские свиньи поступят с Парнеллом так, как им не хотелось бы, чтобы поступили с ними, — ждал, когда можно будет пролить бальзам на диссидентскую совесть, встревоженную Парнеллом, который беспардонно ткнул своим тонким белым перстом прямо в неподвижное, холодно поблескивающее око раскормленной библейской набожности, рожденной новым, вестминстерским евангелием. А тут еще добрые католики обиделись: это, мол, наводит тень на сонмы святых, которые сделали церковь тем, чем она была, что она есть и чем будет, и в самый разгар их тревожений кто, как не святой Патрик, подал им голос с верхнего этажа тверди небесной и, перегнувшись через перила, гаркнул на них из *Echodium Purgatorius Patricus*³, чтобы пошевеливались и поскорее вытерли непотребную каплю, упавшую в ирландскую купель совершеннейшей добродетели, а то не знать мне здесь ни минуты покоя, и это после того, как я по вашей милости потел и мучился изо дня в день, из года в год и до хрипоты в горле молился за вас на холоду, взобравшись на вершину Крог-Патрика; ибо если вы не

¹ Места исторических битв в войне США за независимость, закончившихся поражением англичан.

² Речь идет о кампании по аграрному вопросу, предпринятой Парнеллом и ирландской «Земельной лигой» в 1879 году.

³ Чистилище святого Патрика (лат.).

сделаете, что вам надлежит сделать, прахом пойдут все мои старания силком приобщить вас к благодати, неведомой ни в какой другой растреклятой стране на всем белом свете; и так и знайте: если я не спустил Оссиану, сыну Фингалову, сыну Кулову, то не спущу и Парнеллу — не хватает еще мне выставить себя на позорище перед всеми причисленными к лику святых заморскими пьянчугами, что теснятся вокруг меня, и ухмыляются, и ждут только случая заржать во все горло, когда посчастливится им увидеть, какой урон наносится извечному благочестию моей ирландской паствы; и незачем мне слушать и глотать их насмешки — мне, который претерпел столько мук и нес эпитимью на горе Слэймиш, а потом махнул домой по морю, морю синему, с глаголом истины на устах для Ирландии, где было полным-полно друидов, падающих ниц перед солнцем, которое считалось у них чем-то особенным только потому, что оно каждое утро заходило и всходило каждую ночь; ищущих тщетной и пустопорожней премудрости в движении звезд и комет и в естестве всего земного, вместо того чтобы искать и добиваться разумения вещей невидимых, не сотворенных руками человеческими, вечных в небесах; и посадился я сначала в Уиклоу, и был изгнан оттуда безмозглыми невеждами; и, с удовольствием претерпев ради вашего блага много всяких злоключений, кто, как не я, возжег пасхальный костер на горе Слэйн, под самым носом у Лири, короля Тараксума; и, увидев там свет, король крепко выругался, помянув все четыре стихии, послал за своими архидруидами и сказал им: а ну-ка, любезные, узнайте, кто это развел костер на горе Слэйн, послушавшись закона, запрещающего зажигать огни до тех пор, пока не угаснет пламя, сияющее на горе Таре; и верховные друиды ответили ему и сказали: — О могущественный властелин Лейнстера, мы знать не знаем и ведать не ведаем, кто это содеял, но предупреждаем тебя: если костер, разведенный на горе Слэйн, не погаснет до того, как его узрят люди, ты и королевство твое *pop est*¹ и не подняться вам вовеки.

И тогда король, рассвирепев, покати́л в своей золотой колеснице, а за ним его военачальники в серебряных колесницах, а за ними воины в бронзовых колесницах — туда, где был я и где были мои сподвижники; король, обуянный яростью, на всем ходу соскочил с колесницы, чуть не сломав себе шею, и немалого труда стоило ему сохранить величественный вид, ибо он еле удержался на ногах; но когда все они подошли ближе, взорам их предстало небольшое стадо оленей, распевающих псалом около костра; и, увидев, что гнев короля начинает остывать, я вернул себе и сподвижникам моим наш прежний светлый облик, но стоило только мне принять прежнюю видимость, как этот коварный старый прохвост занес свою разбойничью руку, норовя продырявить смертоносным копьем меня, мужа свята. И — о чудо! — пущенное копьё само

¹ Не существует (лат.).

собой остановилось на лету, ткнулось в землю тупым концом как раз напротив меня и давай отплясывать килларнийскую пляску вокруг костра, отвешивая низкие поклоны вашему покорному слуге и приговаривая при этом: *laus*¹ тебе, *laus* тебе,— и тогда король, военачальники его и воины упали ничком на землю, восклицая: велико деяние сие, и чудо узрели глаза наши! И, решив, что довольно им лежать, уткнувшись лицом в землю, я сказал: теперь можете встать, а в дальнейшем ведите себя прилично, и они поднялись, повесив головы от стыда, и, сжалившись над ними, я сказал копью, которое откалывало килларнийскую пляску: ну, хватит, и ступай, откуда пришло. Копье остановилось, отвесило мне низкий поклон, побежало рысцей к королю и так это ловко само легло ему в руку. А потом кто нарвал трилистника? Я нарвал, и сунул этот трилистник им под нос, чтобы восчувствовали с двух-трех слов, что есть Святая троица. Кто странствовал по всей Ирландии — и на востоке, и на западе, и на юге,— претерпевая многие неудобства и бедствия, и, не считаясь с затратами, обламывал вас для вкушения райского блаженства и прифасонивал к приятию благодати, за кои мои заслуги здешний генштаб пожаловал меня орденом на веки вечные и тем самым разжег зависть у английских ризо- и митроносцев, а их здесь труба нетолченная, ибо каждый зубами вырывал себе милость быть причислену к лику святых, и над ними сжалились, смекнув к тому же, что, если их страна останется без представительства во граде Сионском, это будет не совсем демократично и может вызвать недоразумение.

Вспомните также все дивные и поразительные чудеса, сотворенные мною: как я обратил пчел в патоку и патоку обратно в пчел; зацепил посохом облако в небе и накроил из него шерстяных одеял для бедняков, которые были того достойны; претворил кочерыжку в каноника, гнелу в геенну, извечную истину в игру интересов, молитву в моллюска, покаяние в постную мину, права человека в неподсудность духовенства, ныне отпускаеши в завтра полыхающее аутодафе, у бога всего много в убожество нищеты, жажду жизни в нитку кипарисных четок — и для чего я это делал? — для того, чтобы собрать веселие мира вокруг креста, а теперь вы мне все испортите и приведете это благолепие к концу во благо-время и похерите заслуги саранчи, тучей спускающейся на небеса и претворяющей горечь в мед и тяжкую ношу в легкую, не обременяющую плеч.

Вероотступники! Ищите сохранить аренду свою, когда вам надлежит печься о спасении души, идете за Парнеллом, когда вам надлежит идти за мной, раскошеляетесь на кампанию по аграрному вопросу, когда ваши отцы духовные в поте лица своего собирают причитающееся им. Нечего кричать мне, что стоит вам только побелить стены в своих лачугах, как арендная плата подскаки-

¹ Хвала (лат.).

вает вверх,— пусть! — ибо ваше есть царство небесное. Я ничего не желаю слушать, слушайте меня вы — и хватит о том, что вы-де перестали прилично одеваться из страха, как бы помещик не увидел вас,— пусть! — ибо господь судит не по одежке и подает все пять и тому, кто в рубище и тому, кто в бархате. Итак, сидите смиренно, слушайте, не шумите и повинуйтесь мне, не то здешние английские пьянчуги-святители услышат, что я охрип, стараясь направить мою паству на путь истинный, над которым простерта длань господня, и поменьше разглагольствуйте о том, что у вас на семью по одному одеялу,— под ним спят и здоровые, под ним и умирают,— и о том, что пункт о четверти акра сводит в могилу тысячи и что матери мрут от голода, прижимая младенцев к иссохшим грудям, ибо пора уж вам привыкнуть ко всему этому. Но помните: глядя, как полицейские отряды растаскивают баграми ваши лачуги, или валяясь с детишками и днем и ночью под какой-нибудь рябиной, свесившей свои алые ягоды у края схваченной морозом дороги, помирая от голода и холода, славя последним дыханием господа за все его блага,— вы, сами того не зная, будете воспарять ко мне, и когда приблизитесь, я втащу вас сюда за руку, за шиворот или за мотню; но уж те, кто сюда попал, постарайтесь вести себя прилично: не суетитесь, не толкайтесь, не лезьте вперед, не вламывайтесь мужланами в Новый Иерусалим, а на первый-второй рассчитайся! По четыре стройся! — и чинно марш вперед, будто вас этим не удивить и вам не привыкать-стать вращаться в высших сферах; и докажите, пожалуйста, английским святым — у них самые захудалые и те эсквайры,— что чада святого Патрика могут вкушать вечное блаженство, не захлебываясь от восторга.

И раз и навсегда говорю вам: чтобы я больше не слышал о могилах, вырытых у дверей дома какого-нибудь беззащитного помещика. Или о том, что какому-нибудь добропорядочному католику, сборщику аренды, приходится шнырять, сгибаясь в три погибели, из опасения, как бы ему не всадили заряд дробы в его ни в чем не повинный зад; или о горемыках, которые выходят на свое черное дело при лунном свете, просовывают жадное дуло мушкета сквозь придорожные заросли шиповника и ежевики и ждут, а я тем временем забиваюсь здесь в самый темный угол, чтобы не слышать выстрела; и впредь не заставляйте меня торчать тут на ветру, ибо в следующий раз вы услышите не предостережение, а вой урагана, который снесет вас всех в самые недра преисподней, где просидите вы вечность и еще денька два в придачу, сокрушаясь, что польстились на чужое добро; и будете кувыркаться, подобно дельфинам, в море огня, в жадных, жарких, жалящих, жгущих волнах огня, столь алчущего вашей плоти, что и уши, и глаза, и рты, и носы, и задницы ваши пронзят огненные языки, отточенные, как нож рехнувшегося костоправа, раскаленный докрасна и язвящий раны острием; тогда поздно будет выть и звать к святому Патрику: «О святой Патрик, жемчужина короны гэльской, исторгни

меня отсюда ради господа бога!» ибо не только не исторгнут вас, но будете каждую минуту — сколько их есть в секунде — погружаться все глубже и глубже, если пренебрежете поучениями своих пастырей и издевательским советом знаменитого старика Гладстона, который поцеловал у Марии Кур-ели ручку на счастье и окосел от негодования, когда Парнелл на вопрос, как он оценивает великого Уильяма, ответил ледяным тоном: — Моя оценка мистера Гладстона и всех англичан остается прежней: они делают то, что мы заставим их сделать, и это зависит только от нас. — А здешние новобранцы-англичане, возомнив себя телохранителями господа бога, наострили уши, и прислушиваются к каждому слову, и шушукаются между собой, что для порядка недурно бы ввести здесь ихнюю форму правления. Итак, вперед! И будьте верны древней славе, оставшейся вам от всего величия нашего скудного прошлого, — славе, которая живет в живописных руинах, покрывающих нашу страну; проявите бескорыстие во всем, что касается мирских благ, и не позволяйте двум-трем задирам выдавать оголтелого и жалкого грешника за вождя святого ирландского народа и тем самым портить мне всю музыку. Посему ополчитесь силой любви к херувимам и, послушные сонмам ангельским, кричите: долой Парнелла! Покорясь архангелам, в надежде на хороший прием в день воскресения из мертвых, кричите: долой Парнелла! Предстательством патриархов, пророчествами провидцев, поучениями апостолов ополчитесь в сей же день и кричите: долой Парнелла! Верую в духовников ваших, непорочностью святых дев и деяниями праведников ополчитесь в сей же день и кричите: долой Парнелла! Возьмите этого старого ерника, Тима Хели, — лучше вы сейчас никого не найдете, — и посадите его на почетное место. Ваше дело верное, если примете его, посчитавшись с тем, что я вам говорю, стоя на холоду у небесных перил, где того и гляди схватишь простуду, ибо кисейные одежды, которые нам выдает здешнее интендантство, хороши для парадных случаев, но не оправдывают себя, когда покидаешь свой теплый уголок.

А теперь нам пора закрываться, небесный циферблат показывает одну тысячную долю секунды второго часа вечности, и мы закрываемся. Доброй ночи вам всем, доброй ночи.

Джонни оторвался от книги и увидел, что Арчи снимает со стены карандашный портрет, нарисованный несколько лет назад Майклом, получившим за него от отца шиллинг в награду, — хороший карандашный портрет Чарлза-Стюарта Парнелла, смелое, чернобородое, холодное, ирландское, грозное лицо которого таило пылкую, неумемную, неиссякаемую любовь к Ирландии.

Арчи благоговейно поставил портрет на стол рядом со своей чашкой, и Джонни, пивший чай, сидя у самого камина, почувствовал, что нагрянула беда, полный смысл которой был ему недоступен.

Мать достала кусок крепа, хранившийся в большой коробке

со дня смерти отца, отрезала от него несколько полосок, подрубила края, и эти мрачные ленты обвинили портрет Парнелла. Потом Арчи написал красивыми буквами на куске белого картона: «Передайте мой привет товарищам и всему ирландскому народу» — и пришил его к нижней планке рамы. Пододвинув маленький столик вплотную к окну, он поставил на него портрет, подпертый сзади томами «Истории реформации» Мерля д'Обинье, и Парнелл стал у окна, глядя на сумеречную улицу отважно и вызывающе, как ему и подобало глядеть.

— Пусть стоит здесь, — с подчеркнутой горечью сказал Арчи, — и пусть смотрит на людей, которые сначала чурались его, а потом предали.

— Придет время — и скоро, — когда о нем пожалеют, — сказала мать, — и если есть на свете воздаяние по заслугам, Парнелл его получит, где бы он ни был, на земле или в небесах.

— Отчего он умер? — спросил Джонни.

— А кто же это знает? — сказал Арчи. — Мы знаем только одно: он лежит в гробу лицом вниз, и гроб этот не похож ни на какие другие гробы.

— Арчи, уже половина четвертого, — сказала миссис Кэссиди, взглянув на будильник, — и если ты не хочешь мчаться на работу галопом, собирайся поскорей.

Арчи закутал шею коричневым шарфом, надел старенькое пальто, нахлобучил на голову кепи с подвязанными кверху ушами; взглянул еще раз на портрет, молодецкато отдал ему честь и сказал вполголоса: — Некоронованный король Ирландии возвращается к нам в гробу, и полумертвая Ирландия распростерлась перед ним.

Потом Арчи вышел в темноту, под дождь, и отправился трудиться на благо газет «Дейли экспресс» и «Страж» в экспедицию и редакцию, где он сидел с четырех часов утра до шести часов вечера за пятнадцать шиллингов в неделю плюс бесплатный номер «Дейли экспресс» ежедневно и бесплатный же номер «Стража» еженедельно.

Когда Джонни напился чаю, мать снова уложила его спать, а сама села к камину и, подперев подбородок рукой, уставилась в огонь темными глазами, смотревшими растеряннo и устало.

Джонни закрыл глаза и задремал, потом медленно открыл их, увидел, как сырой белесый рассвет пробирается в окно, снова закрыл глаза и открыл их только тогда, когда гроб прибыл в Ирландию.

Темный гроб — ящик, хранивший в себе все, что было у Ирландии дорогого, — поблескивая под дождем, плыл, как бурая лодка, над волнующимся морем голов, опускаясь, вздымаясь кверху и снова ныряя вниз. Плыл мимо грязного, исполосованного дождевыми струями вокзала, мимо приземистой, грузной колоннады церкви св. Андрея; но мало кто заходил в церковь склонить колена пред алтарем или прошептать молитву за упокой души,

страждущей в чистилище, ибо все были здесь, все были здесь и не сводили глаз с темного гроба, который, поблескивая под дождем, плыл над волнующимся морем голов, как бурая лодка, опускаясь, вздымаясь кверху и снова ныряя вниз,— под барабанные раскаты похоронного марша.

Некоронованный король Ирландии ушел от нас.

И чей-то голос, взлетев над толпой, затянул причитание:

— Будем в горести отходить ко сну и горюя встречать утро; некому вести нас, ввергнутых в пучину горя; горе будет следовать за нами по пятам, и лицо наше никогда не оденется фатою радости. Не знать нам веселия, которое знают сильные, ибо вождь наш скрылся с глаз наших.

Ни бархата, ни шелка, ни парчи, которые украшали бы своими красками безмолвную толпу; ни пышных знамен, сплошь затканых гербами тысячу лет назад; ни единого ордена, сверкающего драгоценными камнями на чьей-нибудь груди, вздымающейся и опадающей вместе с печальными барабанными раскатами похоронного марша. Ни один епископ в облачении из пурпура и золота не шагнул вместе с горюющим народом, выставляя напоказ свою скорбь и святость; много зеленых знамен, увитых крепом, тяжело колыхались на сыром ветру, то тут, то там нежно лънули к флагу Соединенных Штатов и к французскому флагу, плыли над потрясенной горем толпой, уходившей вместе со своим мертвецом к тому месту, которое станет теперь навеки его обителью.

И предстала перед всеми Ирландия — Ирландия, подобная катафалку, с агатово-черным небом вместо полога, тронутым широкой лилово-багряной каймой там, куда навеки закатилось солнце, и мягко посеребренным множеством холодных, молчаливых звезд.

А под агатово-черным небом покоилось застывшее, блее белого лицо мертвого вождя, до слуха которого уже не достигали стенания скорбящей доблести. Некоронованный король Ирландии ушел от нас.

Сиротливые бледные лица, напряженные от гнева, скованные страхом, не сладившие с горем, великим горем, кружили и кружили около гроба, где лежало лицо, еще более бледное, подобно тусклой жемчужине в оправе агатово-черного неба, обведенного лиловым ободком там, куда навеки закатилось солнце, чуть посеребренного дремлющими звездами и все глубже и глубже уходящего во тьму, которая скоро похоронит навсегда угасшую надежду угасающей Ирландии.

С востока слышались ликующие крики.

— Радость с ними,— снова затянул скорбный голос,— радость, бьющая через край, ибо теперь они спокойны и солнце их встает; стол их уставлен яствами, и круговая чаша ходит из рук в руки. Поднимите головы, и вы услышите, как они ликуют.

Они, англичане!

Вот оно все, почтенное, отглаженное, *разглаженное* для Арчи. Джонни еще раз все прошептал: *черные туфли, атласные туфли с заточенными прижимками, белая рубашка, густо расшитая золотом, бархатный кружевной воротничок по краю пером, и длинный роскошный пояс из красного бархата — полный костюм короля Ричарда Третьего.*

Сам Джонни уже нарядился и гордо расхаживал в *трико*, которое немного морщило, потому что *близко к телу* в черных атласных туфлях с заткнутой в носы *бумажкой*, *шпильки* спадали с ног, на каждой туфле — алая розочка, *рукава* ров; и в чудесном черном бархатном камзоле с *серебряным* шитьем, на шелковой голубой подкладке, и в *разрезе* рукавов белые ромбы из мягкого шелка, в общем — *как два капли* воды король Генрих Шестой, заточенный в темницу, *заклятый* враг жестокого горбуна герцога Глостера. Арчи и Джонни должны были сыграть сцену в тюрьме, где герцог злодейски *убивает* бедного короля, твердо решив любой ценой добиться *престола*.

Эта сцена — а также две сцены из «Конна-Трубокура»¹ и *ири-ири-ири* оркестр, в котором Арчи будет сидеть крайним справа и играть на трещотке, — входила в программу благотворительного концерта, который должен был состояться через несколько дней в Кофейном дворце на Таунсенд-стрит. Мать долго не соглашалась, говорила, что Джонни еще рано выступать на сцене. И она бы настояла на своем, не будь Арчи единственным кормильцем *маленькой* семьи. Джонни тоже приходилось уступать Арчи и стараться ни словом его не обидеть, потому что Арчи не только его содержал, но вдобавок давал ему два пенса в неделю — капитал, за который Джонни мог купить то «Библиотеку для мальчиков Лондона и Нью-Йорка», то очередной выпуск «Дика Дреивуда» или «Фрэнка Рида младшего», то «Электрический воздушный корабль». Поэтому Джонни чистил Арчи башмаки ваксой «Куни», которую выскребал из промасленной зеленой бумаги и плотно уминал в старую жестянку, чтобы не высыхала; бегал по его поручениям и вообще в поте лица ублажал старшего брата. Но он не любил Арчи, а слушался потому, что у него не было выбора. Когда он подрастет и пойдет работать, все это кончится. Тогда уж, если Арчи ему скажет — сбегай туда-то, сделай то-то, он ответит: «Не стану я больше тебе прислуживать; ты большой и умный и все это можешь сделать сам». А пока он не мог сбросить оковы и ждал, когда Время выведет его из земли Египетской, из дома рабства, и он, свободный, зашагает прямо в землю Хананскую,

¹ «Конн-Трубокур», «Килларнийская лилия» и другие популярные пьесы ставились и разыгрывались на ирландских сценах малозвестными драматургами и одновременно актерами, вроде Д. Бусикоу.

Ханаан, родной Ханаан, меня ждет земля Ханаан.
Там счастье, блаженство для всех, меня ждет земля Ханаан.

О господи, сейчас не про Ханаан нужно думать, а повторять то, что Генрих сказал Глостеру:

Да, добрый лорд. Ах, извините, я
Сказать был должен просто «лорд». Ведь льстить
Тяжелый грех; название ж «добрый» — льстиво.
Сказать «Мой добрый Глостер» было б так же
Нелепо, как сказать «Мой добрый дьявол»¹.

Поскорее бы Арчи пришел — им нужно сегодня прорепетировать всю сцену в костюмах. Он уже опаздывает на десять минут, даже больше. Авось ничего у него не случилось. Джонни долго трудился над своей ролью, сто раз читал ее матери, требуя, чтобы она, как умеет, объясняла ему трудные слова, а когда мать отказывалась, приставал к Элле, чтобы она научила его правильно все произносить. Он выучил роль по одному из трех томов сочинений Шекспира, которые Элла получила в награду, когда кончала учительский колледж. Это были большие, тяжелые книги с множеством картинок: битвы, замки, войска на походе; короли, королевь, рыцари и придворные то в мантиях, то в кольчугах, то громко зовущие в бой своих солдат, то умирающие, произнося слова последние об этой бедной жизни; доблестные вельможи, поддерживающие одного короля и предающие другого; король, добившийся короны, и король, потерявший корону; короли и рыцари, бурей налетающие на врага, и короли и полководцы, спасающиеся от погони; перепуганный мужчина с мечом в руке, встретивший на улице ревущего льва; маленькие человечки в голой, унылой степи, старающиеся укрыть друг друга от проливного дождя, жестокого ветра и грозных молний, обращающих черное как смоль небо в мертвенный рассвет перед днем гнева; убийцы, закалывающие ножом мужчин, женщин и детей, а также много других картинок, изображающих события столь же волнующие и восхитительные, происшедшие до того, как в мире водворились порядок, справедливость и вежливое обращение.

Джонни то вставал, то садился, не находя себе места, и вполголоса повторял слова роли:

Так, испугавшись волка,
Бежит пастух трусливый; так овца,
Отдавши шерсть сначала, простирает
Затем под нож и шею.

Джонни отворил дверь на улицу, с тревогой поглядел и вправо и влево, высматривая Арчи.

— А ну, иди сейчас же в дом, не стой в дверях, — строго прикрикнула на него мать. — Что люди подумают, если увидят тебя

¹ Стихотворные отрывки из трагедии В. Шекспира «Генрих Шестой» даны в переводе А. Соколовского.

в таком наряде? Займись чем-нибудь, пока Арчи спит, а потом хоть с вещами из корзины.

Корзина, о которой говорила мать, была в маленькой, но уютной комнате, а привалил ее Арчи и Томми. Томми лежал на кровати, затряхиваясь сном. Томми профессор, который не спит уже несколько дней, чтобы дома у него были по той причине, чтобы помочь справиться свадьбу его сестры. Мать и Дэнна не одобряли, но Арчи дружит с актерами — ведь актерия, по правде сказать, не же идолапоклонники и мистери. К тому же Дэнна была очень хороша, это сестра Томми уже много лет была замужем, а теперь они просто хотят сбежать от судебных приставов, которые в одну минуту могут к ним вырваться и опечатать им имущество. И еще подруга Дэнны сказала, что Томми Томми и мать, Билл Билл — жалкие, ничто актериники и ни чего, но они очень хороши лингов в неделю кривляются в Театре мейнстрима, это, конечно, а грязная развлекательная Эбби-стрит, туда ни один порядочный человек и не заглядывает.

С виду, положим, Толтон казался вполне порядочным. Это был долговязый молодой человек лет двенадцати, чистый, в белом, дерзким лицом, сильно тронутым оспой. Маленькая его голова была увенчана густой выющейся золотисто-красной щетиной. Глаза светло-серые и такие большие, что всякий раз, когда он мигает, кажется, будто они долго закрываются и снова открываются. У него были кривые ноги, и колени из-за этого были отступали друг от дружки, хотя между ступнями места оставалось много. Он носил темно-синий костюм, жиденький и так помятый, что чистки, что на солнце Толтон сверкал, как рыцарь в латах. Свою круглую фетровую шляпу он лихо надсвал небрежно, а волосы, прядь, выбиваясь из-под полей, падала ему на ухо. Когда он высовывалку, точно матрос, еще не вполне привыкший к качке. Джонни пленился им, как только увидел его восседающим на лотке, а тележке с осликом, которого Арчи осторожно вел под седлом. А в корзине он привез сокровища, какими не погнушались бы воины, когда снаряжали свой караван, чтобы отправиться в поход. Билл-флеем, и возрадовались, увидав звезду его на востоке, а затем поклонились ему.

Только два дня назад у Джонни не было ничего; теперь у него было больше игрушек, чем у всех мальчиков на всех улицах, даже если бы снести их все вместе и свалить в одну большую кучу.

Он стал вспоминать, какие у него за всю жизнь были игрушки: красная с синим деревянная колясочка; барабан; огромный чудный змей из зеленой и желтой бумаги с синим хвостом — это Арчи смастерил, когда на него нашло хорошее настроение; английский флажок, чуть побольше ладони, полученный за правильные ответы на вопросы из библии; сводные картинки; целые коробочки военных знаков различия, которые присылали ему Том и Майкл. Вот, пожалуй, и все. Ах нет, еще половина Ноева ковчега, которая досталась ему, когда они с Арчи лежали в одной постели, болтая

скарлатиной: другая половина ковчега досталась Арчи. Майкл и Элла тоже болели тогда, и мать положила Тома на одну кровать с Майклом, который переносил болезнь тяжелее всех, чтобы и Том заразился и ей бы уж заодно всех вместе выхаживать. И выходила всех, совсем одна, а Том и не заразился — он только рад был не знаю как, что нельзя ходить на работу и деньги ему платят ни за что. А когда они поправились, приехали люди, выгнали их всех на улицу, одеяла и подушки увезли, а в комнатах жгли серу и все щели заклеили бумагой, чтобы добро зря не ушло на улицу.

Как же там дальше идет, после «шпионом вору кажется»? Вору кажется... вору кажется... Ах, да:

Ведь птичка,
Попавши раз на кустик смоляной,
Не доверяя, крылышками бьется
Потом уже над каждым; предо мной же,
Перед глазами бедного отца
Моей прелестной птички, возникает
Ужасное орудие, которым
Сражен насмерть прекрасный мой птенец.

Джонни стал любовно перебирать сокровища, хранившиеся в корзине. Ее до краев заполняли костюмы для «Макбета», «Генриха Шестого», «Ричарда Третьего», «Трубокура», «Квартеронки», «Белокурой красавицы» и других пьес; мечи, щиты, кинжалы, тесаки, алебарды, копья, латы, киверы, каски, пистолеты, пастырские облачения и солдатские мундиры и еще великое множество всяких костюмов из шелка, атласа, кисеи, сатина и колленкора.

Сегодня он король, завтра может стать епископом, послезавтра — полковником. Какой еще мальчик во всем околотке может сравниться с ним богатством? Будь он немного постарше или хотя бы повыше ростом, он мог бы все это носить просто так, и не пришлось бы матери ушивать и укорачивать то одно, то другое, чтобы он, боже сохрани, не наступил на подол и не растянулся на посмешище всяким бездельникам, которые готовы над чем угодно гоготать с первых петухов до того, как последняя звезда зажжется на вечернем небе.

А жаль, что решили играть этого труднящего Шекспира, — взяли бы лучше сцену из «Конна-Трубокура». Да, что ни говори, Бусикоу — вот кого надо было выбрать. Как это сказал Томми Толтон, когда они пили чай и ели рыбные консервы в тот день, что привезли корзину, и мать Джонни вспомнила, что отец Джонни всегда считал Шекспира величайшим писателем всех времен, а Элла ее поддержала, и фыркнула, и нос задрала при упоминании о Бусикоу? Да, вот что сказал Томми Толтон в ответ на их страхи и насмешки:

«Пусть будет Шекспир. Но Дайон Бусикоу, в сущности, не хуже. Шекспир хорош местами. Но если искать яркую, захватывающую пьесу — никто не сравнится с Бусикоу».

Тут уж они ни слова не могли возразить: ведь Томми Толтон

знал театр чуть не с пеленок, а мать и Элла за всю жизнь ничего не видели в театре, кроме Шекспира. Да и влюбавши Арчи в Эллу, что никто еще не исполнял роль Трубокура так замечательно, как Билл, брат Томми. Джонни даже пожалел мать и Эллу — ~~они~~ они глупые, что показывают свое невежество, берутся судить о вещах, в которых ничего не смыслят.

И надо же было случиться, что устроители концерта ~~выбрали~~ так много из Шекспира, а из Бусикоу — совсем мало. ~~Томми~~ Томми вполне мог бы сыграть патера из «Трубокура». Разве не читал он целую сцену оттуда при Толтоне, а злодея Корри Кинселлу читал Арчи; и разве не сказал Томми Толтон: «Честное слово, ~~лучше~~ ~~лучше~~ рово для такого маленького парнишки!» Ну что может быть лучше этого:

Патер Дулан: Легче мне увидеть ее мертвой и услышать, как коные земли падают на ее гроб, чем произнести священные слова, которые свяжут ее с тобой узами брака. Ибо теперь я знаю все, Корри Кинселла: это так, чтобы жениться на ней, оговорил моего дорогого мальчика, ее жениха.

К. Кинселла: Это ложь!

Патер Дулан: Это правда. Но правда эта заперта на замок у меня в сердце, а ключ от замка (указывает пальцем вверх) хранится на небесах!

Но сейчас мне надо не про это думать, а про свою роль. Не то еще пере забудешь все, когда подойдет время говорить.

Он отодвинул от стены два стула, которые снизу были скреплены вместе планкой, по бокам приколочены фанерные подлокотники, а все вместе накрыто ярко-красной скатертью; уселся и задумался.

Как же там дальше? Да, Арчи говорит:

Твой сын убит за дерзость.

А я говорю:

Когда б тебя, безжалостный Ричард,
За первую твою убили дерзость,
Не жил бы ты тогда на гибель сыну...

Вдовицы, старцы
И сироты, рыдая, кто о сыне,
Кто об отце, кто об убитом муже,—
Проклятьем помянут и день и час,
Когда родился ты. Зловещий голос
Ворон и сов гудел в тот страшный час,
Суля беду в грядущем; ветер злился,
Ломая деревья; собаки выли...
Ты родился с готовыми зубами,
Как будто в знак того, что будешь ты
Кусать весь мир...

А потом, перед самыми последними строчками, я встаю, и Арчи меня закалывает со словами:

Стой! Умри, предвозвещая!

Надо будет ему сказать, чтобы поосторожнее делал выпад, а то он один раз уж разорвал немножко камзол. И надо научиться по-

лучше падать. Хорошо Толтону говорить: «Просто вались мешком». Я раз попробовал, так чуть шею не сломал.

Ох, слава тебе, господи, наконец-то Арчи явился!

Он слышал, как Арчи прошел в соседнюю комнату, где его ждал чай. Джонни знал, что даже если Арчи сначала будет пить чай, долго он не задержится — он всегда спешит, если затевается что-нибудь новое. И Джонни напоследок еще раз оглядел и потрогал пышные одежды, вычищенные, отглаженные, разложенные на кровати для Арчи, который сейчас превратится в горбатого герцога Глостера. Все здесь, все ждет, сияя красотой в сгущающихся сумерках. Джонни сел рядом и тоже стал ждать, бормоча себе под нос слова роли и прислушиваясь к воображаемым аплодисментам, которыми наградит их публика, когда опустят занавес.

Ласковые сумерки уползли прочь, их сменили унылые потемки. Но Арчи все не шел, и в сердце Джонни закралось смущение. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Луч от уличного фонаря, пробравшись в окно, печально осветил пышные одежды, вычищенные, отглаженные, тоскливо ждущие на кровати. Ни звука — самая тишина комнаты точно уснула; и у Джонни даже под ложечкой засосало от тоски.

— Джонни, ты тут? — окликнула его мать из соседней комнаты. — Снимай-ка свой веселый наряд да иди чай пить.

Он посидел еще минутку, потом снял с себя черный бархат, голубой шелк и серебро и пошел в соседнюю комнату.

Арчи сидел у самого огня, углубившись в розовый листок «Ивнинг телеграф», и молчал, точно рядом никого и не было.

Джонни, тоже молча, принялся за чай.

Прочитав газету, Арчи встал, причесался перед зеркальцем, висевшим на стене, закурил трубку от лучинки, которую сунул в огонь, надел пальто и шляпу и молча вышел.

— Захандрил он, — со вздохом сказала мать, — а все потому, что этот ваш концерт отменили из-за смерти герцога Кларенса.

— Какая жалость, — продолжала она и опять вздохнула, потягивая чай, — какая жалость, что умер молодой принц. Говорят, он был любимым сыном у матери и бедная старая королева в нем души не чаяла.

КОРОЛЕВСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ

Мать Джонни отчистила все пятна на его костюме, заштопала все дыры на чулках и купила ему пару дешевых желтых башмаков; она пристегнула новый белый воротничок к его куртке, поплевала ему на волосы, приговаривая, что это вместо помады, и так старательно их причесала, что у него заболела кожа на голове; положила ему в карман чисто выстиранную и аккуратно подрубленную тряпочку и велела не забывать, что у него есть носовой платок, на случай если он захочет высморкаться; поправила на нем матросскую шапочку, сунула пенни ему в карман, прибавив, чтоб он

только не вздумал тратить деньги на пустяки, потому что пени на улице не валяются, и, отступив на шаг, сказала: — Ну, теперь, кажется, все у тебя в порядке. — Накануне вечером она заставила его вымыться в тазу горячей водой с головы до ног, чтобы он был чистенький и приличный, когда пойдет с дядей Томом осматривать Килмейнхэмскую тюрьму.

— Там служит приятель твоего дяди Тома, они вместе воевали в Крыму, и он сказал, что тебе можно прийти вместе с дядей. Пользуйся случаем, а то когда еще выпадет такое счастье!

Дядя Том явился в назначенное время, минута в минуту, и, пообещав миссис Кэссиди не показывать мальчику ничего такого, отчего он потом не будет спать по ночам, взял Джонни за руку и повел его осматривать тюрьму, где злых людей держат взаперти, дабы избавить их от искушения натворить дел еще хуже тех, что они уже натворили.

Джонни гордился своим дядей, потому что тот участвовал в Крымской кампании, и рука у него от плеча до локтя была расцарапана шашкой, и были случаи, что в походе волосы у него примерзали к земле, когда он спал прямо на снегу рядом со своим конем; и сама Флоренс Найтингэл¹ своими руками перевязывала ему рану в госпитале в Скутари. А кроме того, дядя был членом Пурпуровой ложи оранжистов — да, да, не шутите с ним! Хотя, как рассказывала мама, Джоннин папа говаривал не раз, что отбивать поклоны перед портретом короля Билли² ничуть не хуже, чем поклоняться изображениям святых.

Джонни выпятил грудь и бодро зашагал рядом со своим дядей, время от времени поглядывая ему в лицо — на кроткие темно-карие глаза, большой рот — чуть не от уха до уха, белоснежные волосы, закрывавшие уши и спадавшие на лоб.

У колонны Нельсона они сели в конку и поехали сперва вверх по Корк-хиллу, где к конке припрягли еще третью лошадь — она называлась «пристяжка» и стояла наготове у подножья холма, дожидаясь вагонов, которым нужно подниматься в гору, — потом по Томас-стрит, где дядя показал Джонни церковь св. Екатерины, ту самую, сказал он, перед которой был повешен и четвертован Роберт Эммет за то, что бунтовал против Англии.

— Это католическая церковь? — спросил Джонни.

— Нет, нет, — ответил дядя Том. — Протестантская.

— А почему? — сказал Джонни. — Почему его не повесили перед католической церковью, раз он католик?

— Но бедняга Эммет был протестантом, Джонни.

— Вот чудно, — сказал Джонни. — Я помню, в ту ночь, когда была иллюминация, мы ехали на конке, и кондуктор пел песню про какого-то Уолфа Тона, и мама сказала, что он тоже был протестант.

¹ Одна из первых сестер милосердия в Крымскую кампанию 1853—1856 гг.

² Вильгельм III (Оранский).

— А он и был протестант,— сказал дядя Том.— И Парнелл был протестант, и Граттан, и Нэппер Тэнди.

— Всё протестанты,— пробормотал Джонни и на несколько мгновений погрузился в задумчивость.— А как это четвертован? — вдруг спросил он.

— Очень просто,— ответил дядя.— Сперва повесят человека, а потом отрубят ему голову и разрубят тело на четыре части.

— И с бедным Робертом Эмметом так сделали?

— Наверно, сделали, раз он был к этому приговорен.

— Дядя! А почему Роберт Эммет бунтовал?

— Не хотел, чтобы у нас хозяйничали англичане.

— Какие англичане, дядя? Я никогда не видел у нас англичан.

— Солдаты, Джонни. Английские солдаты.

— Солдаты? Это, значит, Том и Мик?

— Нет, нет, совсем не Том и Мик. Они не англичане, они ирландцы.

— Но ведь они солдаты?

— Ну да, конечно, солдаты.

— Ах, значит, они — ирландские солдаты, да, дядя? Вот как и ты был, когда сражался в Крыму, да?

— Да нет же, совсем они не ирландские солдаты.

— А какие же?

— Ну, английские. Английские солдаты, понятно.

— Значит, Эммет их тоже хотел прогнать, раз они английские солдаты? Но ведь Том и Мик ирландцы, и ты, дядя, тоже ирландец, как же вы можете быть английскими солдатами?

— Мы ирландцы, но мы пошли в солдаты для того, чтобы защищать Англию.

— А зачем защищать Англию, дядя?

— Зачем, зачем!.. Затем, что Англия наша родина, вот зачем.

— А мама говорит, что папа говорил, что это неправда. Не Англия наша родина, а Ирландия. А папа был ученый и все знал, все на свете. Так что, видишь, это совсем не так.

Дядя Том погладил подбородок и растерянно поглядел на Джонни большими кроткими глазами.

— Что не так? — спросил он.

— Да что Англия — наша родина. Наша родина — Ирландия, и мы все ирландцы.

— Ну да, ирландцы,— подтвердил дядя Том.

— Ну, а если Том и Мик ирландцы,— продолжал Джонни,— так почему же они английские солдаты?

— Потому что они сражаются за Англию, как ты не понимаешь!

— А зачем они сражаются за Англию? И ты сам, дядя, зачем сражался за Англию?

— Приходилось, ничего не поделаешь.

— А почему приходилось?

— Да потому что я был в английской армии, ~~сказал~~ ~~раз тебе~~ повторять! — воскликнул дядя Том. Он начинал сердиться.

— Ну да, но кто же тебя заставлял?

— Что заставлял?

— Сражаться за Англию?

— Господи боже мой, да ты библии, что ли, не читаешь? —

И дядя Том вытащил из кармана коротенькую трубку и ~~хотел~~ уже сунуть ее в рот, но вспомнил, что в конке нельзя курить, и ~~спрятал~~ обратно. Джонни почувствовал, что дядя сам запутался и сердится на него за это. Поэтому он умолк и стал смотреть в землю, думая о том, как трудно добиться толку от взрослых. Только тогда и умеют что-нибудь объяснить, когда держат книжку в руках. А Джонни хотел знать, в чем дело, он чувствовал, что ему ~~нужно~~ это знать. Он поглядел на кроткое лицо дяди. Он вспоминал, как ему рассказывали, что давным-давно, когда дядя Том был молод, он был полисменом и носил такой смешной мундир, голубой с короткими фалдами, и каску на голове, и белые рейтузы: и он терпеть не мог кого-нибудь арестовывать, а если уж приходилось, так он, не доходя до участка, толкал арестованного в спину и говорил: «Ступай уж домой да ложись спать и, смотри, не высывай нос на улицу, пока не проспишься», — и когда Том проходил по городу, все старики и старухи кричали ему вслед: «Дай вам бог здоровья, мистер Холл! Вот уж истинно добрая душа, мухи не обидит!» — и в конце концов пришлось ему уйти из полиции.

— Дядя! А где в библии сказано, что ирландцы должны сражаться за Англию?

— Вторая глава, семнадцатый стих, в посланиях апостола Петра. Там сказано: бога бойтесь, кесаря чтите, — вот что там сказано, а против Писания не пойдешь. Моего отца так учили, и меня тоже, и тебя этому учат.

— А если кто идет против Писания, то, значит, он дурной человек и попадет в ад? Да, дядя?

— Очень дурной и непременно попадет в ад, — подтвердил дядя Том.

С минуту Джонни размышлял, глядя, как лошади потряхивают головами и налегают на постромки, таща вперед тяжелую конку.

— А мама говорит, папа всегда говорил, что Парнелл — что угодно, только не дурной человек.

— Парнелл — дурной человек? Что это ты выдумал? Кто тебе сказал?

— А тогда почему ж он не хотел сражаться за Англию? Почему, дядя?

Коротенькая трубка опять появилась из кармана, и дядя Том посмотрел на нее с вожделением, затем опять спрятал.

— Когда мы сойдем с конки, что ты себе купишь на тот пенни, что тебе дала мама? — спросил он.

— Да так, что-нибудь. Все равно. Леденец или пряник. Почему он не хотел, дядя?

— Кто не хотел? Чего не хотел?

— Почему Парнелл не хотел сражаться за Англию? И почему он шел против королевы?

— Вовсе он не шел против королевы.

— Нет, шел,— твердо возразил Джонни.— Мама слышала, как папа сказал, что Парнелл не почитает королеву. И что он готов скорей сгнить в тюрьме, чем повиноваться тем законам, что она пишет. И что он день и ночь придумывает, как бы обойти эти законы, потому что английские законы — это грабеж. А Джорджи Миддлтон рассказывал мне, как он страшно поругался со своим отцом, потому что Джорджи защищал Парнелла, и отец струсил, улизнул из дому и напился в кабаке, а потом пришел домой и стал плакать.

— Совсем не пристало твоему Джорджи спорить с отцом и защищать Парнелла.

— А почему ж его не защищать, когда ты сам, дядя, говоришь, что Парнелл был хороший человек?

— Потому что Джорджи Миддлтон протестант, вот почему.

— Да ведь ты говоришь, что Парнелл тоже был протестант. Почему же протестантам не стоять друг за друга?

— Ну, ты еще мал разбираться в таких делах,— с легким раздражением ответил дядя Том.— Поймешь, когда вырастешь.

— Когда стану взрослым, как ты, да, дядя?

— Да, да, когда станешь взрослым, как я, Джонни.

— Значит, когда я буду как ты, я буду все знать?

— Ну да. Тогда тебе все станет ясно.

— Но ведь он же был взрослым, дядя.

— Кто? Кто был взрослым?

— Да Парнелл же! И королева. И все, кто за нее, и все, кто против. Все были взрослые, а никто не знал! Я помню, я был совсем маленький, и было много народу, и все кричали на папу за то, что он говорил им наперекор, а он смеялся, а они сердились и кричали еще громче.

Дядя Том выглянул в окно — посмотреть, долго ли им еще ехать.

— Вот уже и остановка,— сказал он.— Смотри, Джонни, когда мы будем в тюрьме, не вздумай поминать про Парнелла или повторять то, что когда-то говорил твой отец.

— А почему?

— Потому что я тебе так велю! Понял? Дети должны слушаться, когда им приказывают старшие. Ну, слава богу, приехали,— добавил он, когда конка замедлила ход и бубенчики на шеях у лошадей весело зазвенели.

— Как пройти к тюрьме? — спросил дядя кондуктора.— Прямо?

— Прямо, потом налево,— ответил тот.— А что, у мальчика, небось, отец там сидит?

— Нет, нет, нет, ничего подобного,— воскликнул дядя Том, со-

скакивая с конки и помогая Джонни сойти, хотя Джонани и так не нужна была его помощь, прыгать он и сам умел, и вдобавок, чем старший дядя Том.

Они быстро зашагали по Ву-дэйн, весь дикими утесами и Килмейнхэм, где все было такое чудное и словно таинственное, странный и неуклюжий манер.

— Вон там, — сказал дядя Том, показывая направо, — это, братишка Свифта, которую настоятель собора святого Патрика построил для душевнобольных. — А когда они прошли еще полмили, он опять показал направо и сказал: — А вон Корнеллианский милосердный дом, где старики, которые сражались за родину и свободу, живут на покое. А сейчас будет тюрьма. Смотри, Джонани, и там минай, будешь рассказывать друзьям, так сможешь рассказать тем, какие достопримечательности сегодня видел.

И вот перед ними тюрьма. Огромное, мрачное, молчаливое здание расселось посреди площади, словно жаба, и угрюмо смотрит, как все кругом танцует нескончаемый неуклюжий манер. Широкий город камер. Место, где молчание — это произвольная жесткая дисциплина — это неумолимое веление свыше; где человеческое сочувствие так же недостижимо, как десница господня; где сильный ветер не заносит увядшего листка через стены; где пасмурное небо так же безжалостно, как и голубое небо; где толкать человеку руку значит совершить государственное преступление; где прояснившееся лицо тюремщика — это праздник для заключенных; где для всего есть место и все не на своем месте; где нельзя запеть песню, когда хочется петь; где хлеб жизни всегда черствый; где богу поклоняются с оглядкой и где одиночество — это страшно и дрожь затравленного зверя.

Дядя Том распахнул пальто на груди, чтобы видеть была ли крымская медаль на цветной ленте с двумя поперечными полосками. Они с Джонни прошли через чугунные ворота, ведущие к главному входу в тюрьму, — широкие врата для входящих и тяжелые для выходящих, к тяжелой железной двери, крепко-накрепко вделанной в камни, с орнаментом из пяти извивающихся скорпионов вокруг круглого окошечка, прорезанного для света, но не пропускающего света на зачумленный град Снон там за стенами. Когда Джонни и его дядя подошли ближе, тяжелая дверь распахнулась и на пороге показался тюремщик; на груди у него блестела крымская медаль; он протянул руку дяде Тому, и дядя Том схватил его руку и долго не выпускал из своих.

— Заходи, Том, старый приятель, — сказал тюремщик, — заходи вместе с твоим маленьким другом. Я рад тебе, рад и ему, сердце радуется вам обоим, как радовалось бывало, когда горнист проиграл сигнал к обеду.

Они прошли во внутренний двор, тяжелая дверь захлопнулась за ними, и Джонни вступил как свободный человек в обитель узников и заключенных.

Они вошли в самое здание и остановились в центральном зале

на каменных плитах пола, глядя на выстроившиеся в три этажа длинные ряды тюремных камер; вдоль второго и третьего этажей шел узенький зарешеченный балкон, и на каждый этаж вела узкая железная лестница.

— Удивительное это зрелище, — сказал тюремщик, — когда заключенные расходятся по камерам: сотня их идет, а то и больше, гуськом, в затылок друг другу, шаг за шагом, смирные, как овечки, — раз-два, раз-два, правой-левой, правой-левой — и сворачивают один за другим каждый в свою каморку, когда поравняется с дверью; а пять или шесть надзирателей следят за порядком, все на чеку, и железные двери захлопываются со звоном, вроде как волны зимой ударяют в обледенелый берег; и не успеешь оглянуться, как все уже спокойненько заперты на ночь; могут библию почитать или растянуться на койке и считать, сколько дней им осталось до того дня, когда начальник тюрьмы отпустит их с миром и пожелает им благих начинаний. Вот смотри, дружок, — сказал он, отворяя дверь в камеру, — погляди, какую уютную комнатку мы предоставляем тем, кто не умеет держать руки подальше от чужих карманов; или тем, кто думает, будто можно, собрав шайку таких же головорезов, отринуть долг покорности перед нашей государыней королевой, и забывает при этом, что над нею неусыпно бдит благодать божия и поражает бессилием руки ее врагов и трепетом их сердца и расстраивает их злые умыслы. Заходи, сынок, заходи, не бойся, дверь не захлопнется за друзьями тех, кого королева посылает карать злоумышленников.

Джонни с бьющимся сердцем сделал несколько шагов по камере. Все здесь было так чисто и аккуратно, маленький стул так натерт тряпкой, что блестел, словно тусклый алмаз, на полу ни пятнышка. В углу помойное ведро, словно часовой на часах, а на стене над ним полочка, и на ней кусок желтого мыла рядом с библией в черном переплете, чтобы показать, что чистоплотность сродни праведности; а в двери окошечко, чтоб воздух в камере всегда был свежий и здоровый. А на ночь зажгут крохотный язычок газа в углу — свет для сущих во тьме, маленький огненный столп узников, неопалимая купина арестантов, свет, что и во тьме светит и просвещает всех угодивших в каталажку; и кто узрит сей свет, тому не нужен свет солнца, свете тихий, светоч обетования, слава тебе, показавшему нам свет.

Джонни поскорей вышел из камеры, ему не хватало воздуха, горячий пот выступил у него на лбу. Одиночество, замурованное в камень и железо, одиночество, обреченное глотать само себя, — и один лишь собеседник — библия в черном переплете, и одно лишь живое присутствие — желчный глаз, подглядывающий из темноты.

Они зашли в часовню, где посредине стояли простые скамьи для заключенных, вдоль стен — стулья для стражи, а вдалеке смутно виднелась арка, ведущая в алтарь; и там, в алтаре, белели две свечи по бокам распятия, укрепленного на сводчатой

крышке небольшого ларца, в котором — так сказал тюремщик — священник хранит господа бога все будние дни и только в воскресенье вынимает его проветриться.

— Вот что сто́ит посмотреть, — сказал тюремщик, распахивая дверь в просторную комнату с двумя стрельчатыми окнами. — Тут помещался Парнелл, когда сидел в нашей тюрьме. Вот это был человек, — продолжал он, — найди-ка еще такого! Душа-человек! За всякую малость, что для него сделаешь, всегда «спасибо, спасибо», даже когда вечером, бывало, выпускаешь его в коридор, пред тем как запереть на ночь. Одно слово, Томас, душа-человек; это для всякого честь — ему прислуживать, уж такой вежливый, даже с нами, заметь, так что ты для него прямо в лепёшку расшибиться готов; а помяни только при нем кого из его противников, из тех, что поважней, и сейчас в глазах у него такой ледяной блеск, ого-го, прямо приморозит тебя на месте, а когда уходил, со всеми за руку попрощался, — с нами за руку, слышишь, Томас, а ведь мы-то и помогали держать его под замком. Хотя, правду сказать, нет такой силы ни на земле, ни на небе, чтобы могла удержать под замком Парнелла. В тюрьме он был еще опаснее, чем на свободе, потому что, пока он сидел в тюрьме, ирландцы ни перед чем бы не остановились, только бы его вызволить. И он это знал, да. И ведь наш он, Том, из нашего брата.

— Как это — из нашего брата? — спросил дядя Том.

— Да протестант же, как и мы с тобой. Ведь эти католики сами со своими делами управиться не могут, нужно, чтобы протестант взял их под начало. Посмотри на них сейчас, когда Парнелла нет с ними! Глотают причастие и тут же рвут друг другу горло; несутся, закусив удила, к собственной гибели; всё опять спутали, что бедняга Парнелл*распутал; и уж никакой нет надежды, чтобы удалось провалить хоть один из тех законов, что англичане для нас придумывают.

Джонни тихонько подобрался к окну и выглянул во двор. Вот они, целая партия: одни тащат щебень на ручных носилках, другие везут его на тачках; а вон еще, с кувалдами, эти разбивают камни на мелкие кусочки; и каждый громко ухает, обрушивая молот на неподатливую глыбу; а в углу двое надзирателей с карабинами — следят, караулят арестантов.

Какие у них лица, подумал про себя Джонни, угрюмые и злые, и некрасивые!

— А в этой камере, — сказал их провожатый, указывая на железную дверь напротив двери в камеру Парнелла, — сидел Кэри, после того как выдал своих сообщников и давал против них показания на суде. Потом его отвезли в Кингстаун. Тайком везли и по дороге трижды пересаживали из одного кэба в другой, а потом посадили на пароход, — ну, все равно его застрелили, перед самой высадкой в Порт-Элизабет. А теперь я вам покажу самое интересное.

Приятель Тома повел их в отдельный коридор, где была только одна дверь. Он растворил эту дверь, отступил в сторону и, склонив голову, очень тихо, почти шепотом, произнес:

— Камера смертников, джентльмены.

Дядя Том снял шляпу, и Джонни, заметив это, тоже снял, и оба они на цыпочках вошли в молчаливую смертную камеру, больше похожую на комнату и меньше на камеру, чем другие, где стул молчаливо стоял возле молчаливого столика размером чуть побольше стула, и холодом веяло от плит холодного камина.

— Если б стены могли говорить! — прошептал дядя Том, оглядываясь и многозначительно кивая головой.

Джонни почувствовал, что сердце у него сжимается; уйти бы поскорей, играть бы на улице с Келли, или Берком, или Ши или болтать с Дженни Клатеро и придумывать, что бы ей сказать приятного. Он смотрел — и не видел, слушал — и не слышал, он старался думать о милой, маленькой Дженни Клатеро. Она уехала в деревню на неделю. Как ей там, наверно, хорошо! Джонни никогда не бывал в деревне. Даже в поезде никогда не ездил, только иной раз, перегнувшись через перила железнодорожного моста, смотрел, как внизу пробегают вагоны. Дженни привезет из деревни букет тысячелистника и даст ему несколько цветочков, и они с Дженни на ночь положат по девять стебельков себе под подушку, а один перебросят через левое плечо, и тогда он увидит во сне свою будущую жену, а она своего будущего мужа. Он-то знает, кто будет его женой, он это очень хорошо знает, ее имя начинается на букву Д. А когда станешь бросать стебелек через левое плечо, нужно приговаривать нараспев:

Стебелек тысячелистный,
Будь со мной во сне!
Стебелек тысячелистный,
Назови суженую мне! ¹

— Тут вот он и сидел, на этом самом стуле, — говорил тюремщик, — и все молчал, все молчал, только изредка вдруг проронит: «Бедная Ирландия, бедная Ирландия!» И когда вели его вешать, он все твердил: «Бедная Ирландия! Бедная Ирландия!» Брэди, самый отважный, самый стойкий из Непобедимых. Вот железный человек, даже не похудел ни на один золотник за все время, что сидел здесь, дожидаясь того дня, того часа, той минуты, когда его поведут на казнь, только повторял про себя: «Бедная Ирландия, бедная Ирландия!» Лежит теперь там, во дворе, под каменными плитами, в одной могиле с остальными четырьмя; и все ведь молчали до последней минуты, ни один не выдал — ни кем это было задумано, ни как приведено в исполнение.

— Страшный конец! — сочувственно проговорил дядя Том. — Не дай бог никому!

¹ Эти и последующие стихи даны в переводе О. Румера.

— Да, страшный,— также сочувственно отозвался тюремщик.— Но справедливый, Том!.. И назидательный пример всем нам, всем, кто послушен закону и хочет для себя мирной и непростыдной кончины.

— А куда бы тут,— сказал вдруг дядя Том громким шелотом на ухо своему приятелю,— куда бы тут подкинуть мальчика, а самим бы пойти пропустить по стаканчику?..

Тюремщик не медля повел их по коридору, в конце которого виднелась дверь. Он растворил эту дверь, и все они вошли в комнату, где горел камин, а у камина, поставив ноги на решетку, сидел старый тюремщик с непокрытой головой и курил трубку. Посреди комнаты стоял грязный стол и несколько жестких стульев, а на шестке в камине были расставлены сковорода, кастрюля, котелок и чайник. На вешалке, прибитой к стене, висели форменные фуражки, два карабина и несколько резиновых дубинок.

Тюремщик, гревшийся у камина, повернул голову и посмотрел на них, потом опять отвернулся и продолжал курить.

— Мы на минутку оставим тут малыша,— сказал приятель Тома,— он будет сидеть тихо и никому не мешает.

— Пускай сидит,— ответил тюремщик, гревшийся у камина, и продолжал курить.

Приятель Тома подвинул стул поближе к огню, и когда Джонни уселся, они с Томом поспешно вышли. Старый тюремщик, гревшийся у камина, даже не глянул на Джонни, он сидел и все курил, все курил и смотрел в огонь.

Джонни смиренно сидел на стуле. Ему хотелось только одного: чтобы дядя Том скорей вернулся и увел его домой. Он изо всех сил старался забыть все, что видел в камере смертников, и думать только о том, как он опять пойдет домой, домой, опять пойдет домой,—

Торопится судно дрмой, домой —
К ирландским пределам, к земле родной.
Довольно скитаться в чужих краях!
Изгнанника отчий манит очаг.

Старый тюремщик сидел молча, курил и смотрел в огонь. Джонни начал тихонько-тихонько напевать про себя:

Он край свой любил и за эту любовь
Отдать присужден был по капле всю кровь.
Был приговор этот как будто смягчен:
На долгие годы он был отлучен
От милой отчизны, жены и детей,
Провел на чужбине цвет жизни своей;
С какою тоской парохода он ждет,
Который в отчизну его отвезет.

Старый тюремщик вдруг повернулся к Джонни и пристально поглядел на него.

— На твоём месте,— сказал он,— я не стал бы петь здесь эту песню.

Джонни оборвал свое мурлыканье и воззрился на тюремщика, а тот яростно дымил трубкой и все глядел, не отрываясь, ему в глаза.

— Нет, сынок,— сказал он,— не годится здесь петь такую песню.

Потом он отвернулся и снова стал смотреть прямо в огонь, словно был осужден смотреть в него до конца жизни. После долгого молчания он сказал:

— Я одинокий старик, и мне только одно осталось: ждать того, чего никому не миновать. Мой единственный сын отсидел три года в тюрьме, а потом пришлось ему бежать на чужбину. Он был фением, а я и не знал. А потом умерла жена. Три долгих года отсидел он в тюрьме, а потом пришлось ему бежать в чужие края.

Джонни до слез стало жалко старика. Какое горе: единственный сын — и три года просидел в тюрьме!

— Может быть,— сказал он,— там, в чужой стране, куда бежал ваш сын, он сумеет загладить позор, который на вас навлек.

Старый тюремщик все сидел и сидел, глядя в огонь и дымя трубкой.

— Я горжусь своим сыном,— медленно проговорил он,— и стыжусь за его отца. Я это говорю тебе, дитя, потому что мир еще не успел ожесточить твое сердце против тех, кто хочет добра людям.— Он вынул трубку изо рта и показал чубуком через плечо на дверь.— Ты тем солдафонам не рассказывай, когда они придут, про то, что я тебе говорил.— Он постучал трубкой о ладонь, чтобы разрыхлить табак.— Я сам участвовал в Крымской кампании, но медали не ношу, ни разу не надевал с того дня, как моего сына приговорили к трем годам каторжных работ. Я только хочу тебе сказать, что те бедняги, с позором зарытые на тюремном дворе, может статься, ближе к небу, чем многие, кого с почестями похоронили под алтарем.

Джонни сидел тихонько и усердно думал: ему не совсем было понятно, что хотел сказать старый тюремщик. Седая голова низко склонилась на грудь, и трубка дрожала в старческих губах. Джонни смотрел, как она дрожит, то вдруг подпрыгивает кверху, когда губы пытаются ее зажать, то вновь опускается все ниже; вот она соскользнула на грудь, затянутую в синий мундир, и скатилась за решетку, осыпая каменные плиты шелковистым пеплом; а старый тюремщик все дремал, и угли в камине тускло рдели, угасая.

Джонни снова оглянулся на резиновые дубинки, свисавшие с крючков на стене, словно маленькие высушенные человечки. Дубинки, чтоб дубасить дураков. Должно быть, в Ирландии много дураков, потому что мама говорит, будто папа говорил, что полиция только и знает, что дубасить народ. Этим способом господь бог ниспосылает свое благословение Ирландии, ибо пути господни неисповедимы и чудеса его суть многи. Но спящий тю-

ремщик казался таким добрым стариком. Может быть, он уже слишком стар и не может как следует орудовать дубинкой? Может быть, это он приносит еду Непобедимым, когда они в тюрьме дожидались, пока их поведут на виселицу? Они лежат всего в нескольких шагах отсюда, все пятеро — Брэди, Керли, Фэган, Кафри и мальчик Келли, обнимая друг друга мертвыми руками, в одной общей могиле, и тюремщики и заключенные каждый день проходят по земле над ними. Джонни изогнул и подвинул свой стул поближе к угасающему огню. Непобедимые...

Сумерки сгущались, огонь угасал, и старый тюремщик спал, понурясь, на жестком стуле, и седая голова все ниже склонялась на жесткий пластрон его синего мундира.

Джонни припомнил вбитый в землю крест на боковой аллее, в стороне от дороги для экипажей, что идет через парк, и конную полицию, со дня покушения неустанно патрулирующую дорогу, серебро на черных мундирах, блеск стальной сабли и позвякивание в такт шагу коней, когда всадники проезжают на рысях с карабинами за спиной и саблями на боку, карауля и сторожа, как бы чего не случилось. Но отважные «Мы Непобедимые» побывали здесь прежде них. Вот шажком плетется кэб, а в нем люди, и револьверы жгут им ладони: а поодаль дожидается шарабан, и кучер пощелкивает кобылу бичом по спине, горяча ее и держа наготове. Так было в тот день, когда Борк остановил свой экипаж и присоединился к лорду Кавендишу, а тот шел себе не спеша к вице-королевскому летнему дому, строя планы, как перехитрить Парнелла, твердой ногой попирая чужую землю, высоко держа свою красивую голову, полный решимости поступать с Ирландией так, как хотел бы, чтобы Ирландия поступала с ним, и повернуть все по-новому, потому что он сам был тут новый и все ему было внове; англичанин, прямо из Англии, готовый пахать и сеять, косить и жать, а при случае и прижать, и показать всем маловерам, как можно и должно, и нужно распорядиться для того, чтобы все четыре части Соединенного Королевства могли рука об руку совершить свой путь через эту долину слез — шагом марш в свободном союзе, в любовном согласии, и тесном объятии, открывая новую эру для Эйре, раз по спине, раз по затылку, — и кто же посмеет их разлучить?.. Никто! Во веки веков. *Tria juncta in aequalitas*¹.

Вот они идут рядом, тот и другой, англичанин и ирландец, лорд и простой смертный, временный хозяин и вечный слуга, протестант и католик, мягкосердечный Кавендиш и жестокосердный Борк, яснолицый Кавендиш и вечно насупленный Борк, почтительный впереди вожака, мой паж, вперед, нас слепой ведет, пощупайте меня, милорд, послушайте меня, тут твердые руки пужаю, затем что Парнелл его имя, Ирландия его страна, Уиллоу — домашний

¹ Трое, соединенные в равенство (лат.).

адрес, а назначение — тюрьма, вот каков должен быть наш план, наш план кампании, милорд.

Красное вечернее солнце спускалось все ниже, а кэб плелся шажком, и шарабан ждал поодаль, и Непобедимые приближались к человеку в сером, к лакею, который на заднем дворе чистит серебро Джона Булля, к палачу, который арфу Ирландии переделал в колесо, чтобы на нем переломать ей кости; ирландско-католический христопродавец подходил все ближе к Непобедимым, сжимавшим под полый кинжалы, росую незапятнанный клинок, все ближе к силачу Джо Брэди и его товарищам. Миг — и клинки глубоко вонзились в человека в сером, и тому пришлось неожиданно-негаданно навсегда покинуть Ирландию. Еще миг — и Кавендиш улегся с ним рядом, смирен и тих, как добрый граф Морэй, уткнувшись своей красивой головой в высокие травы; там будет он покорно дожидаться, пока за ним не приедет гроб и не отвезет его домой; там будет он лежать, лишь имя в памяти людской, рядом с человеком в сером, под пышным пурпуровым саваном, который закатное солнце неторопливо расстилает в небе, высоко в небе над ними обоими, над львом и над крысой, простертыми бок о бок в непробудном сне.

Джонни ударил носком башмака о каменную решетку, нарочно ударил, чтобы нашуметь, но седовласый простак продолжал спать, низко опустив голову на жесткий пластрон своего темно-синего мундира. Теперь Джонни знал, что тут нехорошо бывает по ночам, что-то недоброе бродит тут в ночном мраке. Воздух здесь накален мыслями тех, кто томился в этих стенах. Он знал это наверное, потому что и двух секунд не мог удержать мысль на маленькой Дженни. Что-то уводило его прочь, что-то заставляло думать о том, что случилось еще до его рождения. Будь он католик, он бы перекрестился, а так он мог только сказать: господи Иисусе, господи Иисусе, помилуй Непобедимых и тех двоих, кого они убили. Те двое лежат на траве в парке, а Козлиная шкура гонит шарабан во всю лошадиную прыть; он промчался в северные ворота, что ведут на Норс-Серкюлер-род, галопом, галопом, наперерез через Пятнадцать акров, в ворота Чапелизод, напугав игравших посреди улицы и прыснувших во все стороны ребятишек, и дальше, дальше, в глубь, в глушь, по полям и проселкам, галопом, галопом, мимо живых изгородей из орешника и остролиста, мимо зарослей жимолости и ежевики, галопом, галопом, длинным кружным путем в тесную, темную камеру пыток в Дублинском замке, где их терзали, и потащили потом, ошеломленных, сперва в полицейский суд, потом в Килмейнхэм, потом через камеру смертников к подножию эшафота — последняя сотня шагов перед тем, как их прикончат, — и мистер Мэллон, мировой судья и комиссар полиции, пожал каждому руку в знак того, что не питает к ним дурных чувств, и пожелал им счастливого пути в Страну верных, очень довольный собой, еще бы, ведь сколько он потрудился, охраняя правду и справедливость, религию и благочестье

в стране, где властвует закон королевы; а палач Марвуд, единственный ангел хранитель Ирландии, плясал вокруг Брэди и приговаривал: какая великолепная казнь, красивей не было за все столетие, весь мир смотрит на нас; и Брэди, гигант, твердым шагом проходит сквозь строй солдат, бестрепетно глядя вперед, ни тени страха в его лице, презрительно отвращая слух от бормотанья зауспокойных молитв, недрогнувшим голосом повторяя свой бунтарский символ веры — бедная Ирландия, бедная Ирландия, которая уже далека от него, уже отходит прочь, ибо настало время ему покинуть эту юдоль скорбей и вернуться домой, только бы скорее вернуться домой, пока не стало совсем темно, как страшно тут одному, а тюремщик спит мертвым сном, он, может, и вправду мертвый, и лицо такое спокойное, словно хочет сказать, что только для мертвых здесь есть покой, а! голос дяди за дверью, зовет меня, и Джонни вскочил и выбежал в коридор, вон из комнаты, где седой старик спал в полутьме у меркнувшего огня, низко склонив голову на жесткий пластрон своего темно-синего мундира.

БОЯРЫШНИК

Джонни стоял посреди старого пустыря в конце улицы, глядя на большой куст боярышника. Куст был очень высокий, но его раскидистые ветви в пышных белых цветах склонялись так низко, что, подпрыгнув, Джонни легко достал бы до них рукой. Сорные травы буйно разрослись на пустыре, словно торопясь прикрыть листьями и стыдливými цветочками мусор, набросанный руками нерадивых. Пастушья сумка, щавель и одуванчики, маки, крупные и мелкие ромашки изо всех сил старались спрятать неприглядный сор от статного боярышника, который выделялся среди бурьяна своей царственной осанкой и чудесным запахом. Благоуханная весть о приходе лета струилась от его цветов, разливаясь по узенькой улице. Пряный аромат, думал Джонни, он, верно, похож на тот, который веет с цейлонских гор и рек, где все пленяет душу и плох лишь человек. И в прекрасном городе Дублине, если желаете знать, тоже есть плохие мальчишки, дрянные мальчишки, фу-ты, ну-ты, ножки гнуты, ходят в крахмальных ошейниках, как у старика Хантера, — вот уж дерет нос — подумаешь, как будто сам господь бог каждый день здоровается с ним за ручку!

А бывают и другие запахи. Есть еще «Большой куст» на углу Норс-Серкюлер-род, от него струится запах виски и пива. Один запах от бога, а другой от дьявола — так сказал ему однажды вожак армии «Голубых», Союза надежды, который завлекает в свои сети протестантских детей и берет с них обет никогда не прикасаться невинными младенческими устами ни к пиву из ячменного солода, ни к водке, ни к чему такому, что может довести до буйства и пьянства и лишит райского блаженства на веки веков. Джонни никогда не носил голубой ленты, ни разу не полу-

чал цветного значка за обещание не прикасаться к пиву, никогда не пробовать его самому и не подносить другим. У Джонни была дурная слава. Он знался с такими молодчиками, дай им только дорваться, Ирландское море вылакают. На своем веку, явно или тайно, Джонни перетаскал такое море пива, что по нему мог бы плавать изрядных размеров пароход. Если кому-нибудь из соседей бывало нужно послать за выпивкой, сейчас же кликали Джонни, чтобы он сбегал, купил и принес что требуется. В одном он перешеголял даже Слогана и Хантера — мог определить на глаз, сколько войдет пива в кружку или кувшин: полгаллона или всего три пинты.

Но запаха пива он терпеть не мог, а запах боярышника любил. Цветок Ирландии, ирландский аромат. А этот красавец боярышник был еще свой собственный. Он стоял на горке и был виден всей улице. Вся улица любовалась этим кустом и забывала о нем разве только зимой, когда он стоял голый, озябший и некрасивый. Но как только куст набирал почки, люди опять начинали заглядываться на него, не сводили с него глаз, восхищались им.

Боярышник начинает набирать почки, только-только начинает, — говорил кто-нибудь, и весть немедленно облетала всю улицу, с одного конца до другого. Наконец-то! Боярышник набирает почки. Слышали? Нет, а что? Да как же, на боярышнике будет много цвету, я только что видела миссис Миддлтон, она говорит, уж лист распускается, вот что. И с первым цветком в людях опять оживала надежда — морозы кончились, картошка посажена, скоро и лето на дворе. И ничем не омрачалась эта радость, пока смуглая рука осени не убирала алыми ягодами засыпающий куст, тогда люди начинали роптать, сливая свои голоса воедино: опять стучатся в дверь долгие, унылые ночи, беспросветные дожди, холодная слякоть, пронзительные ветры, опять с приходом зимы ожесточается сердце.

Джонни отогнал от себя мысль о зиме и стал смотреть на жемчужный цвет боярышника. Когда-нибудь, летним вечером, среди мира и тишины, хорошо будет посидеть тут с кудрявой Дженни, так, чтобы ничто не разделяло их, кроме сладкого благоухания цветов в вышине. Это будет хорошо: хорошо, лучше, самое лучшее, положительно, сравнительно, превосходно; и бог увидит, яко добро есть, и перестанет раскаиваться в том, что сотворил человека по образу и подобию своему.

Если бы Джонни сейчас захотел, ему ничего не стоило бы залезть на дерево и сорвать ветку — пускай и к ним в дом войдет благоухание боярышника. Но все говорят, будто приносить боярышник в дом нехорошо, что это дурная примета; все, кроме его матери, та говорит, что все деревья одинаковы, не все ли равно, что одно, что другое, но Джонни знал, что матери не понравится, если он войдет в дом с веткой боярышника в руке. Все это глупости, скажет она, просто суеверие; однако же как знать чего не

знаешь; да и людям всегда становится не по себе, как только увидят боярышник в доме, рады-радехоньки убраться поскорей. Так что лучше уж не перечить им и не ломать такие красивые ветки. Пусть растет, пусть цветет, ты его не трогай. Келли говорит, будто бы это любимое дерево фей, да ведь Келли деревенщина, недавно с болот. Они, то есть феи, пляшут по ночам вокруг боярышника, рассказывал Келли, веселые и беззаботные, как в старину, пляшут вокруг куста всю ночь напролет, и где бы они ни находились, слышат, как стонет боярышник, когда с него срывают ветку.

Из-под ветвей боярышника Джонни посмотрел вниз на маленькую улочку и заметил там движение. В конце улицы он увидел что-то вроде невысоких холмиков, выставлявших один за другим по обеим сторонам узкой мостовой. Женщины, отворив двери и стоя на пороге, глядели на эти горки. Я возвожу очи горе.

Вдруг он услышал крик: — Джонни Кэссиди! Джонни Кэссиди! — Он обернулся и внизу под горой увидел Экрита, который, приставив сложенные руки ко рту, кричал: — Джонни Кэссиди, тебя мать зовет! — За Экритом бежал Келли и, тоже приставив руки ко рту, кричал во весь голос: — Джонни Кэссиди, Джонни Кэссиди, беги скорей, тебя мать зовет! Мусорщики приехали!

Джонни терпеть не мог этих стервятников, которые являлись в урочное время чистить помойки и выгребать золу с задних дворов и наполняли улицу вонью, державшейся после них целую неделю. Он вздохнул и, выйдя из тени боярышника, побежал к матери, нарочно замедляя шаг.

Вся улица растревожилась, взволновалась. Женщины, стоя на пороге своих домов по эту сторону улицы, разговаривали с другими, по ту сторону, жалуясь, что их застигли врасплох и что все дела теперь станут до тех пор, пока не пройдет великий день очищения.

— Вот уж всегда притащатся не вовремя, — таков был общий ропот, — непременно явятся, когда у людей хлопот по горло. Если не угодили к стирке, так обязательно пожалуют, когда белье сохнет на веревках; только соберешься погладить самые тонкие, нежных цветов вещи, они уж тут как тут, стучатся в дверь.

— Это и святой не вытерпит, — говорила мать Джонни своей соседке, стоя на тротуаре перед крыльцом, — нагрянули, когда оба мои мальчика только-только вырвались в отпуск. Будут тут шлаться взад и вперед, натопчут, нанесут грязи и золы в комнату и переднюю, а мальчишки-то радуются, что у меня везде чистота и порядок, хочется ведь хоть немножко вздохнуть после казармы, после всяких там шагом марш да направо кругом.

— Так вот и бьемся день-деньской, и конца этому не видать, — отвечала миссис Миддлтон со своего порога на той стороне улицы, — стараемся держать все в порядке, убираем пыль и грязь, а она опять накапливается. Вот и я тоже, совсем уж собрала ребятишек, осталось только шапки надеть, хотела было везти их к сестре, мы с ней который месяц не видались, она живет на

краю Тентерс-филдс; небось, ждет нас не дождется, все прислушивается, не стучатся ли в дверь, да напекла гору лепешек для ребят,— они у нее редкие гости.

— А ведь какую поднимут бучу,— продолжала миссис Кэссиди, не слушая того, что говорила миссис Миддлтон,— если хоть пятнышко сядет на красный мундир! Это такой есть приказ от правительства — содержать мундиры в чистоте, чтобы ни один зубоскал не смел сказать, что в армии ее величества есть неряхи.

— Да вот взять хоть этих несчастных Маллиганов,— сказала миссис Миддлтон и, перейдя через дорогу, остановилась на мостовой в нескольких шагах от миссис Кэссиди, посмотреть, как та снимает истертый линолеум с пола, осторожно подводя старый нож под края кнопок и вытаскивая кнопки так, чтобы не порвать ветхий линолеум,— взять хоть Маллиганов: четверо детей хворают корью, двое лежат как раз в той комнате, через которую будут ходить мусорщики; неизвестно еще, выживут или нет,— один-то очень плох, доктор только головой качает; а мать вся извелась, бегают от одного к другому, из сил выбивается; да и как не бояться за бедных крошек. А мусорщики загадили всю квартиру, вот тут и разрывайся, рук не хватает — и за детьми ходить надо и после мусорщиков грязь убирать, а уж об отдыхе и думать нечего.

— Ну что ж, придется нам ей помочь, когда сами немножко освободимся,— сказала миссис Кэссиди,— а то как бы она, бедная, с ног не свалилась.

— А миссис Экрит,— продолжала миссис Миддлтон,— вчера только выкрасила парадную дверь: ее мальчишка где-то нашел горшок с краской, должно быть, когда никто не видел, я так думаю, да еще покрыла ее лаком, и все это пошло насмарку: обшарпали, ободрали, начали таскать корзины грязи взад-вперед и ждать не захотели, пока дверь просохнет как следует; теперь она подстать той самой несчастной девице, на которой нищий в отрепьях вздумал жениться. Хотя, я бы сказала, так этой миссис Экрит и надо, пусть не дерет нос, что у ней одной двери крашены, когда у всех прочих стоят облупленные чуть не с сотворения мира. По одежке протягивай ножки, а если кто позабылся, тому беды не миновать.

Миссис Кэссиди покорно вздохнула, разглядывая снятый линолеум.

— Это уж последний раз, больше не выдержит,— сказала она.— Еще раз снять — и прощай навеки, дорогая. Ваша правда,— прибавила она, обращаясь к миссис Миддлтон,— грех так кичиться мирскими благами, ибо ничего не приносим мы в мир и ничего не уносим отсюда.

— Кроме доброго имени,— пробормотала миссис Миддлтон,— кроме доброго имени, да и его, видит бог, нелегко унести с собой в могилу. А вот ваш Джонни идет помогать вам и веточку боярышника держит в руке. Не позволяйте вы ему вносить боярыш-

ник в дом,— сказала она испуганно, наклоняясь к миссис Кэссиди,— с боярышником может войти в дом то самое, от чего мы стараемся держаться подальше.

— А что входит в дом вместе с боярышником? — спросил Джонни.

— То, что издали нам кажется золотым сиянием,— ответила ему мать,— но, только коснешься рукой, разлетается, как сухой лист, гонимый вихрем.

— А еще,— сказала миссис Миддлтон,— то, что кружит в буйной пляске под серебряные трели, а потом холодным трупом коченеет на постели. Так что оставь твою веточку боярышника снаружи на подоконнике, сынок.

— Да, Джонни,— сказала его мать,— лучше не вноси ее в дом. Хотя в такие глупые басни верят одни католики, а все-таки береженного бог бережет.

Кучи отбросов вырастали перед домами и становились все выше и выше, а мусорщики все таскали и сваливали на них одну за другой большие корзины мусора с задних дворов. Перед каждой дверью вырастала омерзительная куча, и так она и останется до тех пор, пока ее не вывезут на подводе. Мусорщики сносили то в дом, то из дому, то в дом, то из дому, вынося на спине большие корзины, полные осклизлых отбросов и золы; и вонючая грязь, просачиваясь из корзин, капала им на сапоги и платье.

— Эй, вы,— сказал болтавшим женщинам один из мусорщиков, останавливаясь закурить трубку.— Будет вам языком чесать, позаботьтесь лучше, чтоб все было готово к нашему приходу, а то нагреем как снег на голову.

Женщины разошлись, а Джонни с матерью задвинули мебель в самые дальние углы, любовно скатали драгоценный линолеум и убрали его подальше от подкованных гвоздями сапог.

— Ступай-ка на свежий воздух,— сказала сыну миссис Кэссиди,— постой там, пока не вывезут всю грязь, потом приходишь поможешь мне убрать квартиру.

Джонни вышел на улицу и стоял под окном, поигрывая веточкой боярышника, стоял и смотрел, как мусорщики работают у них в доме и у миссис Миддлтон, напротив; смотрел, как они стабаются под тяжестью груза и с кряхтеньем опоражнивают корзины на все растущую кучу перед дверью. Время от времени прежде чем пойти за новой корзиной отбросов, они останавливались вздохнуть и распрямить спину и переброситься двумя-тремя словами. Один из них, коренастый, с бельмом на правом глазу, остановился, посасывая трубочку и косясь на товарища, выносившего мусор со двора напротив.

— Ну, послушался ты меня, был вчера в Корсаковском театре? — крикнул он.

— Нет, не был,— отозвался другой, дюжий парень с хриплым, как у дергача, голосом.— У меня свой вкус, я никак не собираюсь пойти на «Цыганку».

— Ну и ступай себе,— пренебрежительно ответил первый, снова вскидывая пустую корзинку на спину.— А по мне, нет ничего лучше «Килларнийской лилии», когда тенор заливается: «Иду, иду, о радость сердца», а Дэнни Мэнн, чертов сын, бросает Коллин Боон со скалы в воду, а славный Майлс ныряет за нею вниз головой.— И он пошел за новой корзинкой мусора, чтобы вывалить ее на кучу перед парадной дверью Джонни.

Джонни, поигрывая веточкой боярышника, дождался, пока мусорщики очистят помойку и перейдут в соседний дом, потом помог матери заманивать чистоту обратно в загаженный дом. Они заняли у соседей метлу и смели с пола растоптанные уголья, золу и грязь. Джонни налил в ведро горячей воды из котла, а его мать, взяв кусок белого с синим мыла, которое разъедало и морщило ей руки, скребла и мыла, скребла и мыла, чтобы в доме снова ожила былая чистота.

Так она трудилась наравне со всей улицей в этот день очищения, посреди густой вони, содрогаясь от позывов к тошноте (эй, работай дружнее, навались веселей, очищая святилище домашнего очага, вдыхая запах тления и смерти); терла полы, преклонив колена перед грязью, смывая долой отраву бедности, твердо веря, что все это входит в круг ее дневных трудов. Джонни выносил грязную воду и наливал в ведро чистую, потом смотрел, как она работает — молча, даже не пробуя напевать, расколдовывая хаос грязи чистой водой и мраморным мылом, которое разъедало и морщило ее проворные руки.

День уже близился к вечеру, когда в квартире опять запахло свежестью, линолеум опять постелили на пол и мебель расставили как следует на старые места. Джонни сбегал и принес матери стакан пива.

— Славная шапка пены,— сказала она, садясь и отпивая из стакана.— Беги-ка скорей отсюда,— велела она Джонни, давая ему кусок хлеба с маслом,— надышись хорошенько свежим воздухом.

Джонни вышел из дому и бросился бежать по улице, мимо всех мусорных куч, чтобы съесть свой кусок хлеба в мире и тишине, под благоуханной тенью боярышника.

«КОТ И КЛЕТКА»

Том приехал в отпуск со значком «За отличную службу» на рукаве, с незапятнанным послужным списком; он уже не был увальнем-новобранцем, победоносно пройдя через муштру, и перекрещенные золотые ружья повыше обшлага свидетельствовали, что он один из лучших стрелков своего полка. Он, Арчи и Джонни погожим осенним днем шагали по пыльной дороге, чтоб душу потешить вином. Шли они все трое по Дорсет-стрит, направляясь в трактир «Кот и клетка» и предвкушая — Том и Арчи пиво,

а-сосунок Джонни — лимонад или кларет. Арчи и Джонни, вливая грудь, поспешали за военным шагом Тома, крикнув, того и бравого в форме Первого батальона Королевских дублинских фузилеров: мундир — ярко-алый, как распустившийся лав; длинные черные ленты, свисающие вдоль спины с кокетливой, окантованной шелком шотландской шапочки, лихо заломленной набекрень; белые перчатки, аккуратно засунутые за начищенный до блеска пояс, а подмышкой чудесная тросточка с набалдашником в виде полкового значка; и эта тросточка будет подарена Джонни, как только Тому представится случай получить другую.

Срок его отпуска уже истек накануне, и он со смехом изображал, как ошетинятся усы капитана Бэкона, когда начальство потребует его к ответу за самовольную отлучку.

— У тебя отнимут значок «За отличную службу»? — спросил Арчи.

— Только если будет выговор в приказе, а это навряд ли, потому что я ни разу ни в чем не был замечен, а потом я им нужен в канцелярии, с этим очень считаются. Ну, а отнимут, так отнимут.

И он вызывающе захохотал, словно все это было очень весело, и Джонни тоже стало весело, когда он услышал, как Том замурлыкал:

За глухой стеной сижу,
Щиплю грудь пакли.
Слышу голос за окном:
Что это? Не знак ли?
Братцы, слушайте меня!
Мне бы раздобыть сверло.
Тяжко мне в тюрьме военной.

Домурлыкав последнюю строчку, Том тросточкой сшиб золотую головку одуванчика, высунувшуюся из щели в тротуаре перед ярко-красным кирпичным зданием с надписью на стене, которая возвещала всем и каждому, что это католическая школа преподобного отца Гаффни, выстроенная, как говорила Джоннина мать, для того, чтобы католики не смешивались с протестантами и беспрепятственно погрязали в заблуждениях, ибо, подобно тому как заблуждались церковь Иерусалимская, Александрийская и Антиохийская, так же заблуждается Римская церковь, не только в обычае и обрядах своих, но и в вопросах веры.

Они постояли с минуту, глядя на узкую улицу, которая, точно узенький ручеек, вливалась в широкую Дорсет-стрит, где они когда-то жили и откуда оба старших брата впервые ушли на работу.

— Здесь, — сказал Том, показывая тростью на улицу, — мы жили много лет, здесь умер наш старик, и здесь ты, Джонни, ходил в платьице и фартучке. Помнишь?

Помнит ли? Конечно, он помнил. Отсюда он бегал в лавку за унцией жевательного табаку. И еще он помнил, что часто ходил

с белым фаянсовым кувшином за патокой на три пенни в лавку Данфи на Дорсет-стрит и смотрел, как маленький желтолицый человек, ни дать ни взять китаец, подставлял кувшин под кран зеленой жестяной бочки, как юркой желтой рукой он поворачивал кран и черная липкая жидкость текла в белый кувшин, а потом, когда патоки натекало ровно на три пенни, он молниеносно останавливал темную струю, ловко снимал капли патоки с крана большим пальцем и облизывал его, после чего одной рукой протягивал Джонни кувшин, а другой смахивал три монетки в ящик прилавка.

Большая черная, просмоленная баржа, с грузом под огромным брезентом, лениво качалась у шлюза, дожидаясь, когда наполнится камера, чтобы проскользнуть в ворота. Окна были подняты, и зеленая вода, отороченная пеной, устремлялась в просторный водоем, вливая новые силы в ранее притекшие воды, бешено крутясь и медленно подымаясь до уровня баржи, дожидавшейся, когда наполнится шлюз. Старая кляча, еле притащившая баржу, жевала пучки густой травы у железнодорожной насыпи, а человек, державший ее под уздцы, лениво смотрел на товарный поезд далеко внизу. Коренастый, темнобородый, грязнолицый матрос стоял на юге, глядя на воду, вливающуюся в окна шлюза; время от времени он вынимал изо рта пенковую трубку и ловко сплевывал длинным плевком в самую гущу зеленых и белых волн, явно удивляясь и расстраиваясь, что плевок так быстро исчезает в крутящемся водопаде. Другой матрос, с багром в руке, следил за плевком, который пропадал из глаз, как только касался воды.

— И мы, как этот плевок,— сказал он, обращаясь к товарищу: — накопится слюна, побудет миг во рту, а потом плюнем в воду, и он исчезнет без следа.

— Верно,— сказал темнобородый,— случайный плевок или ловкий плевок — все одинаково пропадают в водовороте.

— А все же ни один из нас не пропадает весь,— возразил матрос с багром,— нет, не весь. Нет, нет.

— Все мы — не больше, чем пылинка на мельничном лотке,— продолжал темнобородый,— капля во мраке, невидимая глазу, или капля, блеснувшая на солнце и тоже канувшая во мрак. Я знаю, что ты здесь, и ты знаешь, что я здесь, и вот и все, что мы можем сказать. Но какое дело китайцу до тебя или мне до китайца? Он приходит, когда я ухожу, или я ухожу, когда он приходит, и ничего мы друг про друга не знаем. Ты даже не знаешь, кто сейчас сидит за пивом у Лича напротив, пока мы тут болтаем.

— Нет, не знаю,— согласился матрос с багром,— но я знаю, кто не сидит за пивом, а это для меня важнее.

Бородач сунул трубку в карман и, быстро пройдя на корму, схватился за румпель, потому что камера наполнилась и можно было вести баржу; Том, Арчи и Джонни налегли на лебедку и

двинули тяжелую створку ворот в булькающую воду, а на другом берегу какие-то люди открыли вторую створку. Матрос уперся багром в ворота и стал проталкивать баржу в открытую камеру. Когда баржа миновала ворота, створки опять задвинули, а в камере открылись нижние окна, чтобы баржа опустилась на более низкий уровень. Медленно опускалась она все ниже и ниже; сначала скрылись ноги матросов, потом торс, и наконец над каменным парапетом шлюза остались только их головы, и видно было, как бородач, прежде чем исчезнуть, пустил прощальным плевком в далекий кустик ромашки.

— Эй, вы,— крикнул Арчи, когда баржа благополучно села в мокрую клетку камеры,— куда плывете? В Йокогаму держите путь или в далекий дымный Вальпарайсо?

— Как бы тебе не уехать подальше, щенок шелудивый,— крикнул в ответ матрос с багром, проталкивая баржу по шлюзу.

Арчи выхватил из кармана платок и, махая им вслед удаляющейся барже, запел:

О Шенандоа, шум волн твоих
Я жажду услышать,
А мне Миссури полноводный
Судьба переплывать!

Они повернулись спиной к шлюзу, а баржу унесло далеко — туда, откуда корабли выходят в море, и, миновав отмели, врезаются в могучие волны, и плывут дальше, в чужие края, где живут людоеды и пряные запахи одурманивают моряков, где в озерах растут лилии, такие огромные, что на них можно строить дома, и пальмы, такие высокие, что верхние ветки задевают низкие тучи, а ночами по городским улицам бродят дикие звери, тычутся мордами в ставни и двери; и в такие края, где люди ростом с трехлетнего карапуза и очень опасны, потому что они прячутся в высокой траве и пускают крохотные стрелы, пропитанные ядом, прямо в сердце прохожему, и он падает мертвый, едва острие стрелы вопьется в его тонкую белую кожу, и никто не найдет его, погибнет он безвозвратно; быть может — единственный сын несчастной матери, а она ждет его, и в окне светится огонек, чтобы он не сбился с пути —

Для меня моя мать осветила окно,
Сынка-морняка поджидает давно;
Материнское сердце горит, как в огне,
Горит, как свеча на ее окне,—

и с твердой надеждой она ждет его домой, а он лежит недвижим, и, быть может, цветок растет из его уст, травы карабкаются по нему, вечерняя роса падает на него, а он отошел, отошел в другой мир, отошел в вечность, отошел в землю, обрел вечный покой и нетленную славу и пребудет во Христе, а это благо превыше всех.

Перейдя по мосту через Толку, они вышли из города и сту-

пили на дорогу, окаймленную изгородями, на большую дорогу, ведущую в Белфаст и на север Ирландии, где жили верные и преданные сторонники короля Билли, грудью стоявшие за протестантскую веру и за все гражданские и религиозные свободы.

На изгородях, среди золотых и оранжевых листьев, пламенили алые ягоды боярышника и шиповника. Сочные, мясистые ягоды шиповника горели дерзновенным огнем, затмевая неяркий румянец более скромных ягод боярышника. Джонни Мегорис — так называл Джонни шиповник, и он сорвал пышную ветку, на которой были и ослепительно алые гроздья и еще не созревшие ягоды, темно-золотистые, в красных прожилках, чтобы отнести матери, а она обрадуется и поставит ее в кувшин с отломанной ручкой, потому что, как она говорила, от этого в комнате становится светлее и кажется, что уж не такие мы обездоленные. Комната, говорила она, всегда немножко меняется, когда в ней стоит зеленая ветка или пучок ягод. Они освещают комнату, как звезды в темную ночь освещают небо. Они красуются так покойно, говорила она, что сама невольно успокаиваешься. А если поразмыслить о них, то понимаешь, что они не хуже самых пышных роз, которые покупают богачи. Кто знает, сколько раз коноплянка касалась их крылом или малиновка сидела среди них, распевая свои песни, когда солнце близилось к закату и другие птицы молчали. Придет время, говорила она, и они, как и мы, поблекнут, сморщатся, устанут, но хоть день, хоть час красовались они, а это немало.

Дул свежий ветерок, приправленный едким запахом горящих в поле сорняков, подгоняя облака на шелковистом голубом небе; плавно, словно танцуя, колыхались гроздья ягод, шелестели оранжевые и желтые листья под ногами; другие, кружась, опускались на землю и ложились к тем, что опали раньше. Мимо проехало несколько шарабанов с молодыми людьми в зеленых фуфайках с белыми обшлагами; они размахивали клюшками и распевали во все горло:

Коня мне, доброго коня!
В Килдэр он понесет меня,
В край, где ирландские отряды
За родину сразиться рады,
Горят желанием в штыки
Принять английские полки.

Полисмен, шедший по дороге, остановился, застыл на месте и пристально поглядел на проезжающие шарабаны. Хоккеисты насмешливо закричали «ура», высоко подняв клюшки над головой. Полисмен с глупо ослабившейся рожей смотрел им вслед.

— Пока они только кричат, можно не беспокоиться, — сказал он, обращаясь к Тому.

Но Том, Арчи и Джонни, словно не слыша, прошли мимо, устремив взор на дорогу, так как не хотели, чтобы кто-нибудь видел, что они знают с полисменом.

— Ишь, черт,— сказал Джонни,— хотел поговорить с нами.

Ловким ударом трости Том сшиб ветку ежевики, торчавшую над изгородью.

— Чем меньше иметь дело с этими прохвостами, тем лучше,— сказал он,— наговорят на тебя под присягой что угодно.

— Родную мать под виселицу подведут,— добавил Арчи,— лишь бы начальство по головке погладило.

Синева на небе сменилась лиловой дымкой вечерних сумерек; алые ягоды притаились в полумраке; потемневшие деревья дремали, сутулясь, сонно и нехотя принимая птиц, ищущих приюта в их ветвях; ветерок еще дул, но всё вокруг, все шорохи в вечернем воздухе становились тише и тише, чем ближе Том, Арчи и Джонни подходили к «Коту и клетке».

— Вот и дошли. Окончен долгий путь, и мы у цели,— сказал Том, глотая слюну в предвкушении пива.

Они остановились перед неприглядным деревенским домом с маленькими окошками по обе стороны узенькой двери. Низкая соломенная крыша почернела от дождя. По лужайке, огороженной низким забором, прямая дорожка вела от калитки к входной двери. Кое-где у самого забора торчали чахлые георгины, вяло пытаясь расправить грязно-желтые и красные лепестки, словно и они побывали в кабаке, изрядно выпили и у них еле хватило сил доползти до забора и либо улечься там, либо остаться стоять, уцепившись за колья. Из обеих приземистых труб на двух противоположных концах крыши поднимались дрожащие струйки голубоватого дыма, останавливались на минуту, потом, выписывая вензеля, неуверенно подымались выше, словно и они хватили лишнее и не знали точно, куда идти. Дверь когда-то была ярко-зеленая, но за долгие годы успела загрязниться и полинять от дождя, ветра и солнца. Над дверью висела вывеска: большая квадратная доска, и на ней намалевана огромная плетеная клетка с черным дроздом на жердочке, а у клетки, с задумчивым взглядом, прижавшись носом к прутьям, сидит толстый черный кот.

Подойдя к двери, они увидели сквозь запыленные окна яркое пламя очага, возвещающее о том, что всех пришельцев ждет радушный прием и благодатное тепло. Том толкнул дверь, и все они, Том, Арчи и Джонни, вошли в овеванный парами пива и виски приятный уют «Кота и клетки».

В комнате стоял сизый туман от трубок и от дыма, который спяну не в силах был подняться и пролезть в дымоход, и Джонни казалось, что все расплывается в теплой, пахучей мгле. Во всю длину пивной протянулась стойка из толстых сосновых досок, некогда белая, а теперь испещренная пятнами от пивных стаканов и от грязных рукавов посетителей, которые приходили сюда отдохнуть и утолить жажду. На одном конце стойки стояли три великолепных пивных сифона, формой напоминавших спицу рулевого колеса, из пламенеющего алого фарфора и поли-

рованной меди, с красивыми овальными медальонами, на которых ярко раскрашенные пастухи и пастушки пасли ме-е-кающих овец.

Четверо из хоккеистов, обогнавших их на дороге, выпивали у стойки, рядом с сифонами, а за столиком в углу перед пинтой пива сидел их возница. Хозяин, плешивый человек с толстой шеей, густыми бровями и большими сонными глазами, наклонился над стойкой, прислушиваясь к разговору.

Увидев Тома и его спутников, он медленно выпрямился и подошел к ним, выжидающе глядя на Тома, между тем как оживленная беседа хоккеистов внезапно смолкла.

— Пинту портера, — сказал Том в ответ на вопросительный взгляд хозяина, — кружку светлого и стаканчик подогретого кларета для малыша, послабей и послаще.

Нарядные пастухи и пастушки весело нацедили пиво; раз, два, три и раз, два, три, влево, вправо поверни, — и Том получил свой портер, Арчи кружку светлого, а Джонни, сгорая от нетерпения, ухватился за стопку, наполовину наполненную красноватой жидкостью.

Том был видный парень и, зная это, слегка рисовался перед хоккеистами. Пять футов одиннадцать дюймов без каблучков, широкая грудь, гибкая талия, каштановые волосы, красивые рыжеватые усы, серые глаза, пылавшие огнем в минуты волнения, — а Том был общительный собеседник, особенно за стаканчиком крепкого портера, противник ссор, но любитель поспорить.

— Мик, верно, уже готов, накачался с незуитом у «Пушкарей», — пробормотал он, уверенной рукой поднося стакан ко рту.

Хоккеисты, сбившись кучкой у конца стойки, где стояли пивные сифоны, бросали на Тома быстрые хмурые взгляды, а хозяин, делая вид, что ничего не замечает, вытирал стаканы и тихо напевал себе под нос: —

Родник сливается с рекой,
Река — с морской пучиной;
Два ветра, встретясь над горой,
Сливаются в единый.

Нельзя на свете ничему
Замкнуть себя в границы, —
Так почему же, почему
С тобою мне не слиться?

Арчи видел, что хоккеисты враждебно посматривают на них, и ему было не по себе. Джонни тоже видел сердитые взгляды и видел, что Арчи не по себе и что его рука, держащая кружку с пивом, слегка дрожит, видел, как он наклонился к Тому.

— Они зуб против нас имеют, — прошептал он.

— Кто? Где? — спросил Том, слишком занятый собой, чтобы замечать полускрытый вызов.

— Вон те, с клюшками.

— Эти? — сказал Том, бросая быстрый взгляд на кучку хоккеистов. — Неучи. Мужичье. Выше стогов сена ничего на своем веку не видали. Известное дело — сено-солома. Пусть поглядят на старого служаку. — Он поднял стакан до подбородка. — Вот как по-нашему, — проговорил он и одним глотком отхлебнул больше половины пинты, только капельки пены заблестели на шелковистых усах. Он вытащил из рукава носовой платок и принялся вытирать с усов пену, но тут дверь распахнулась, и на пороге, в высокой шапочке, молодецки заломленной на стриженной круглой голове, появился Майкл, похожий на ангела господня в своем великолепном алом мундире с желтым кантом, с фиолетовыми бархатными обшлагами и воротником, в узких штанах с ярко-малиновыми лампасами и штрипками, пропущенными под крепкие башмаки, чтобы штанины еще плотнее обтягивали ноги.

Том вытаращил глаза, словно перед ним стояло привидение.

— Господи боже! — воскликнул он. — Ты же собирался с иезуитом к «Пушкарям»!

«Пушкари» — Джонни хорошо знал эту пивную у моста того же названия, который верноподданные ирландцы и благонамеренные протестанты именовали «Уэстморленд-бридж», один из любимейших кабачков его брата. Он все их знал хорошо, и снаружи и изнутри. «Пушкари», «Взмыленный конь» — за северными доками; «Большой куст» на Дорсет-стрит; «Королевский дуб» на Поркгейт-стрит, где Непобедимые выпили на прощанье перед покушением на Кавендиша и Борка; «Веселые пропойцы» в Фингласе — хорошо известное солидное заведение; трактир Лича у Биннс-бридж; Галвина на Кэпел-стрит; Берджина на Амьен-стрит; «Брайен Бору», удачно расположенный на полпути к Гласневинскому кладбищу; погребок Мередита на Дерринейн-пэрейд в счет не шел, так как там продавали безакцизное вино из-под полы, спиртное нужно было уносить с собой, разве только кто-нибудь становился у дверей караулить, чтобы полицейский невзначай не вынырнул из-за угла; впрочем, здесь их всегда ждало угощение, потому что Сисси, хозяйская дочка, благоволила к Тому, наперекор старику Мередиту, который ворчал, что от него больше расхода, чем дохода, а ведь и самой Сисси, чтобы помочь семье, приходилось с восьмью утра до шести вечера за какие-то гроши чистить фрукты и ягоды на варенье у Вильямса и Вудса; и, наконец, кабачок Нэгла на Эрл-стрит — излюбленное место свидания всех почтовых рассыльных, служивших с Томом и Майклом до их ухода в армию. Джонни знал их все, в каждом пил лимонад или кларет, слушал увлекательный мужской разговор, шумевший вокруг, словно шелест ветра или плеск волн. А теперь он в «Коте и клетке». Он делает успехи, его юная жизнь исполнена чудес. Вот он сидит здесь, в кабаке, далеко-далеко от дома, между двумя матерыми пьяницами и пьет наравне с ними. Еще год-другой, и он начнет работать, и тогда

он будет сам себе господин, будет шататься по улицам и покажет Дженни Клатеро, какой он молодец.

— Валяй, ребята,— говорил Майкл,— пей, не жалея, да еще подлей! — И, повернувшись к хозяину, бросил: — Повтори, приятель!

Комната была небольшая и стойка недлинная; алый рукав Тома почти касался зеленого рукава одного из хоккеистов.

Алое и зеленое, думал Джонни, алое и зеленое — это цвета Ирландии, и он вспомнил старинную балладу, которую пел одноглазый бродяга на Дорсет-стрит:

Зелен наш флаг, и зелены родины нашей поля,
Но кровью ирландских сынов обогрилась их зелень.
Вот почему цвета нашей родины зелено-алы.

Каждый раз, как алый локоть солдата сталкивался с зеленым локтем хоккеиста, зеленый локоть злобно отпихивал алый, но Том только с удивлением оглядывался через плечо и продолжал пить, как ни в чем не бывало.

— Выпьем за то время,— вдруг громко сказал один из хоккеистов, высоко над головой поднимая стакан,— когда на нашей земле от края и до края не останется ни одного английского солдата!

Все хоккеисты чокнулись с ним и запели:

Потеснее сдвинем чаши!
Слава, честь отчизне нашей!
Поклянемся же могилами вождей,
Что недолго англичанам
Тут стоять военным станом
Средь ирландских городов, долин, полей.

В тишине, наступившей после того, как смолкла песня, дверь отворилась, и на пороге показалось двое рослых представителей Ирландского корпуса констеблей, в длинных шинелях, в круглых черных фуражках с бронзовой арфой под короной на красном околышке, с опущенным подбородным ремнем, придерживающим фуражку под определенным углом, с черными блестящими поясами, на которых висели дубинки и которые стягивали продольные, крепко заутюженные складки на спине.

Потоптавшись с минуту в дверях, они подошли к стойке; Том со своей компанией отодвинулся к одному концу стойки, хоккеисты — к другому, так что полисмены очутились в узком пространстве между спинами солдат слева и спинами хоккеистов справа.

— Две темного,— сказал один из констеблей виноватым тоном, ибо ему было известно, что и трактирщик и посетители знают, что им строго возбраняется покидать вверенные их охране дороги и не только близко подходить к выпивке, но даже и помышлять о ней.

Хозяин, весь угодливостью перед этими всемогущими владыками сельской Ирландии, подал две бутылки портера полисменам, они подвинулись к Тому и его собутыльникам, а те отодвинулись еще немного подальше от блюстителей порядка.

Забияка Майкл не пропустил мимо ушей вызова хоккеиста, не дал молчанию допеть свою песню мира.

— Думается мне,— сказал он,— ежели с красными мундирами не расправились в Ирландии, когда Парнелл был в силе и славе, навряд ли это сделают теперь, когда он лежит в могиле.

Тут уж пришлось подхватить и Тому: не отставать ни на шаг от Майкла было его слабостью.

— Кто отдал Парнелла на съедение английским волкам? — спросил он голосом, который услышал бы и глухой.— Английские мундиры, что ли?

— Настоящий был человек,— ввернул Арчи,— за шиворот поднимал народ с колен и ставил на ноги. А как ему отплатили за это?

— В гроб уложили,— сказал Майкл,— и просторную могилу отвели на Гласневинском кладбище.

— Да,— сказал Том, большими глотками прихлебывая пиво,— а поганые попы и те, кто с ними, втайне возблагодарили господа, когда узнали, что он умер.

— Ручаюсь,— сказал Майкл,— что и хоккеисты помогали заколачивать его гроб.

Один из хоккеистов круто повернулся, он весь ошетинился, глаза горели.

— Никто из нас не заколачивал его гроб! — крикнул он, просунув пылающее лицо в черную щель между констеблями.

— Вся свора,— сказал Том, не обращая внимания на хоккеиста,— покинула своего вождя в беде!

— Ирландцы всегда губят великих людей,— сказал Арчи,— а идут за всякой дрянью, дерьмом, как когда-то в битве на реке Бойн.

— Ну, ну,— сказал хозяин, выставив подбородок в сторону Арчи,— прошу не выражаться, вы находитесь в почтенном заведении, начальство и священник его одобряют.

— Легче, ребята, легче,— негромко сказал один из полисменов,— не надо горячиться. Мы живем в свободной стране, каждый может иметь свое мнение.

— Взять хотя бы Макнейла,— сказал Том с еще большим азартом, но по-прежнему повернувшись спиной к констеблям и к хоккеистам,— как он кричал на дублинском заседании Национальной лиги: «Помилуй бог, чтобы мы предали того, кто провел нас сквозь мрак и бедствия!», а сам первый голосовал за выдачу своего вождя англичанам.

— А еще дублинец! — сказал Майкл.— Столица Ирландии, как последняя шлюха, родила этого байстрюка, который предал Парнелла!

— Легче, легче,— пробормотал другой констебль.

Хозяин опять перегнулся через стойку, осторожно головой отодвигая констебля, чтобы подобраться поближе к Майклу.

— Я вам уже сказал,— проговорил он,— что в моем заведе-

нии нужно разговаривать, как полагается порядочным людям.

— Не надо выражаться, не надо,— пробормотал констебль.

Все; за исключением полицейских, пришли в сильное возбуждение. Обоим констеблям было неловко, они чувствовали, что им уже нельзя без ущерба для своего достоинства оставаться в стороне от спора.

Они стояли, облокотясь на стойку, стараясь сохранить невозмутимый вид в самой гуще свары, словно две вороны, залетевшие в стайку разноперых соек.

— А Хели,— сказал Майкл,— на том же заседании, лопаюсь от зависти, клялся, что он никогда, никогда не изменит вождю, который повел за собой Ирландию; а у самого руки чесались покончить с Парнеллом, хотя бы вместе с ним погибла вся Ирландия! Тим Хели — самая коварная змея, какую святой Патрик оставил на земле! Хели теперь ваш герой: мразь, из которой Парнелл сделал человека, чучело, разодетое в шелка. Английский выкормыш! Где теперь Ирландия? В Гласневине. Что теперь Ирландия? Голый холмик на Гласневинском кладбище, где дождь и ветер стирают имя Парнелла с лица земли!

— Не тревожьте его покой,— сказал констебль.— Он умер, да? Так не тревожьте его покой.

— Кто умер? Кто? — запальчиво спросил один из хоккеистов, поворачиваясь к констеблю.

— Парнелл,— явно робея, кротко ответил констебль,— мир праху его.

— Вы и вам подобные хотели бы, чтобы он умер,— сказал хоккеист,— это нам всем хорошо известно; но Парнелл жив, как никогда! Мир праху его! Это нравится вам и политикам из духовенства. Но Парнелл не будет знать покоя, пока шайка предателей, которая затравила его и швырнула силу и мощь Ирландии к ногам Англии, не будет повержена и предана забвению.

Кучер, сидевший в углу, вдруг вскочил и, вытирая рот, направился к стойке; его позеленевший от времени котелок еле держался на затылке, левая рука размахивала глиняной трубкой, словно палочкой дирижера, бесцветные глаза тускло горели, уголки большого рта подергивались.

— Уши мои бы не слышали,— сказал он.— Люби он свою родину, он знал бы, что не вождь он нам больше, когда согрешил с Китти О'Ши!

— Кто это нам больше не вождь? — крикнул хоккеист, в бешенстве глядя на кучера.

— Он.

— Кто он?

— Парнелл, коли хотите знать.

— А кто, как не Парнелл, объединил всю нацию, увлек за собой фениев, заставил церковь поддержать его? Это о нем вы говорите, что он нам не вождь?

— А я повторяю вам,— упорствовал кучер,— все это было раньше, пока Парнелл не спутался с Китти О'Ши.

— Боже ты мой,— простонал хоккеист со страдальческим выражением лица,— от ирландца ли я слышу такие слова!

— Святая церковь,— насмешливо сказал Том,— и глазом не моргнула, когда О'Коннел по всей стране плодил байстрюков. Как из рукава вытряхивал, прости господи!

— Я вам уже два раза говорил и скажу в третий и последний раз,— в бешенстве начал хозяин,— я не потерплю, чтобы в моем заведении, куда приходит чистая публика посидеть и время провести, затевался такой похабный разговор,— и он опять высунул поверх прилавка толстую физиономию, повернув ее к разгневанному хоккеисту.— А вдобавок,— продолжал он,— насчет Парнелла я тоже никаких глупостей не допущу. Умер он, туда и дорога, потому, что ни говори, а опозорил он честное имя Ирландии, когда совершил смертный грех!

Не помня себя от ярости, хоккеист размахнулся и дал хозяину по роже, выставленной за стойку, так, что струйка крови потекла по его подбородку и по белой куртке; хозяин отшатнулся, и его рука, описав круг, опрокинула выстроенные на стойке, только что вымытые, мирно поблескивавшие стаканы. Хозяин соскочил на пол и остался сидеть, поглядывая, то на посетителей у стойки, то на осколки стаканов, валявшиеся вокруг него.

— Нос расквасили,— захныкал он,— и самые лучшие стаканы побили, да еще мытые!

Полицейские побаивались хоккеистов, потому что никто, а тем паче полицейский, не знает, на что способен хоккеист, когда у него в руке клюшка. Поэтому они взялись за другую компанию и заговорили очень официально и строго.

— Вы оба,— обратился один из них к Тому и Майклу,— как военнослужащие вооруженных сил ее величества потрудитесь выйти отсюда, понятно? Мы не позволим мутить покой в сельской местности. Так что пошевеливайтесь, пока я не принял меры против нарушения тишины и порядка!

— Во всяком случае мы сначала допьем пиво, за которое мы уплатили,— огрызнулся Том.

— Как только они вошли,— хрипло сказал хозяин, прижимая платок к носу,— так стали заирать этих молодых людей,— и он показал на хоккеистов.

— Ничего они нас не задирали,— возразили хоккеисты.— Ни мы им, ни они нам худого слова не сказали.

— Ну,— сказал констебль, трогая Майкла за плечо,— глотай скорей, что у тебя там в стакане,— и марш, по-хорошему!

— Дайте человеку спокойно выпить пиво,— сказал один из хоккеистов.

Полицейский круто повернулся к нему.

— Никому не советую перечить констеблю, когда он при исполнении служебных обязанностей,— зловеще сказал он.

— Ты слышал песню, которую распевают на всех углах? — спросил Майкл, подмигивая хоккеистам.

— Нет, — ответил Том, — а что за песня?

— А вот какая, — сказал Майкл и запел, повернувшись спиной к полицейским, зная, что из всех песен эта самая ненавистная для них:

Однажды полисмен ходил
Дозором ночью темной.
Козу он встретил на пути
И счел ее бездомной.

Примкнувши штык, в единый миг
Он ухватил беднягу
И закричал: «Тебя в тюрьму
Я отведу, бродяга!»

Хоккеисты засмеялись, а констебли покраснели.

— А что сказала коза? — спросил Том.

— Не помню, — ответил Майкл.

— Я знаю, я знаю, — с готовностью сказал Джонни и запел:

Но та коза ему в ответ:
«О горе мне! О горе!
Я не крамольница — нет, нет, —
Не виг я и не тори.

Законы соблюдала я
Всегда примерно, точно.
Ты должен отпустить меня, —
Теперь сезон молочный».

Один из констеблей свирепо глянул на Джонни и прорычал:

— А ты что здесь делаешь? От земли не видать, а туда же, уши развесил и разным словам учишься. От таких, как ты, житья не будет, когда вырастете.

— Я пришел с братьями, — насупившись, сказал Джонни.

— С братьями, говоришь? Для мальчишки твоих лет здесь не место, рано еще тебе все видеть и слышать.

— Жаль, у вас не спросился, — проворчал Джонни.

— Ах, вот ты как? Выучился, я вижу. Щенок несчастный, я тебе покажу огрызаться! — Констебль, весь побагровев, поднял руку и дал Джонни в ухо с такой силой, что тот отлетел к двери, оглушенный и испуганный.

Несмотря на то, что у Джонни потемнело в глазах, он увидел восхитительное зрелище: Майкл коротким ударом двинул констебля по челюсти, и когда его голова приняла нужное положение, классным броском левой руки так хряснул беднягу по подбородку, что тот вверх тормашками покатился на пол. Он увидел, что второй констебль хватается за дубинку; увидел, что Том берет из рук хоккеиста клюшку и что тот понимающе кивает головой, а констебль стоит в нерешимости, поглядывая на клюшку в руке Тома и на воинственный огонек в глазах Майкла.

В конце концов констебль повернулся и стал на колени перед павшим товарищем, чтобы принести ему мир и успокоение и воздать ему по заслугам; а хозяин метался, и бросался, и кидался во все стороны за стаканом брэнди для павшего блюстителя порядка, хотя красный ручеек струился по его собственному носу; и кучер подбежал, чтобы подсобить хозяину подсобить констеблю подсобить товарищу; а хоккеисты хлынули к двери, знаками призывая Тома и всю компанию следовать за ними, и все, выбежав в сад, в два прыжка выскочили за ворота, и среди них Джонни; багровое ухо его жгло и чесалось, и он молился о том, чтобы рука, поднявшаяся на него, отсохла, чтобы глаза не видали ничего, кроме отсохшей руки, уши не слышали ничего, кроме людских речей об отсохшей руке, язык не говорил ничего, только возвещал о ней всему миру.

— Живо, ребята,— сказал один из хоккеистов,— давай враспынную, чтобы духу нашего здесь не было.

Они услышали долгий, пронзительный свисток и, обернувшись, увидели темный силуэт констебля, стоявшего на пороге в освещенной рамке двери.

— Ах ты, черт, высвистывает! Сейчас они набегут, зададут нам гонку!

— А шарабан на что? — сказал Том.— Сядем в шарабан и дернем!

— Мы городские,— сказал один из хоккеистов,— никогда вожжей в руках не держали.

— Да и мы нет,— сказал Майкл.

— Я могу, я могу,— радостно сказал Джонни.— Я правил кобылой молочника, а она норовистая.

Где-то неподалеку послышался ответный свист.

— Давай, давай, поторапливайся! — кричали хоккеисты.

Они вскочили в шарабан,— Майкл и два хоккеиста с одной стороны, Том и два хоккеиста с другой, Арчи примостился сзади, свесив ноги наружу, а Джонни вскарабкался на козлы, разобрал вожжи, крикнул «п-но»,— и шарабан плавно покатиł по дороге. Оглянувшись, они увидели, как из ворот кто-то выбежал на дорогу и изо всех сил пустился вдогонку,— они узнали кучера.

— Эй, вы,— услышали они его крик,— вернитесь, стойте! Душегубы, что делают! Среди бела дня грабят. Отдайте кобылу и экипаж! Эй, вы, слышите! Спаси господи, да что же это такое? Стойте, говорят вам!

— Н-но, голубка, н-но, милая,— ласково уговаривал Джонни, и кобыла пошла рысью.

— Съезди ее кнутом,— волнуясь, сказал Арчи.

— Неуч,— резко ответил Джонни,— не понимаешь, что она застыла! Вот погоди, разогреется — тогда и подгоним ее. Н-но, пошла, милая, пошла!

— А вдруг они обыщут весь город и найдут нас? — тревожно спросил Том.

— Только бы нам удрать,— сказал один из хоккеистов.— Констебли уgomонятся и сообразят, что им никак не объяснить, почему они выпивали во время дежурства; трактирщик побоится дурной славы для своего заведения, а извозчик, каков бы он ни был, доносить не станет.

Теперь изгороди быстро бежали мимо них; издалека донеслось несколько слабых свистков; Джонни взял кнут и стегнул кобылу. Кобыла дернула и пошла вскачь, изгороди помчались с бешеной быстротой. Джонни правил, отпустив вожжи, но зорко глядя на дорогу, гордясь и радуясь, что спасает всех от полиции.

— Ну и двинули вы сукина сына по подбородку! — сказал один хоккеист Майклу.— Небось, небо с овчинку показалось.

Они ехали мимо длинного ряда домишек, где огоньки в окнах поблескивали, как падающие золотые звезды; через мост на Толке, где в просвете мелькнула пресвятая дева в белой мантии, одиноко стоящая среди кучки облезлых лачуг, потом быстрый крутой поворот на Ботэник-авеню, где нет-нет да покажется Толка, под тихую песню неторопливо катящая свои воды между плакучих ив и кустов бузины на своем коротком, незатейливом пути к Дублинскому заливу.

Вдоль по авеню быстрым раскидистым галопом ладная кобылка мчится гоп-гоп, тетя едет гоп-гоп, дядя едет топ-топ, конник скачет скок-скок-скок; влюбленные парочки, сидящие на краю дороги или стоящие, прижавшись к стене, оглядываются на шарабан, который стрелой несется мимо, а на сиденьях, в обнимку — алые мундиры и зеленые фуфайки; и все смотрят на мальчишку-кучера, ловко сворачивающего у Ботанического сада, видят, как шарабан кренится, седоки, умолкнув, цепляются друг за дружку и снова начинают болтать, когда шарабан выравнивается на Гласневин-род, где застигнутые врасплох гуляющие испуганно шарахаются к самой изгороди, чтобы пропустить шарабан, а он мчится все дальше и дальше, а Джонни, раскрасневшийся и гордый, вовсе не Джонни, — он везет почту в американских прериях, и за ним гонятся краснокожие, и он натягивает вожжи, словно всю свою жизнь только и делал, что скакал галопом, — замедляет ход на Уэстморленд-бридж и плавно подкатывает к подъезду «Пушкарей».

— А теперь куда? — спросил он.

Все соскочили на тротуар.

— Привяжи ее к фонарю, — сказал Майкл, — а мы разойдемся в разные стороны, пока нас не выследили и не засадили в кутузку. Извозчик найдет ее, не беспокойтесь, беда небольшая.

Один из хоккеистов похлопал Джонни по спине и сказал:

— Молодец, парнишка! Мастер с лошастью управляться!

— Он правил, как бог, — сказал Арчи.

Хоккеисты высоко подняли руки над головой, потрясая клюшками.

— Слава Парнеллу! — крикнули они.

— И слава Ирландии! — сказал Том.

— И слава Ирландии! — крикнули хоккеисты.

Джонни подумал, что он хорошо поработал сегодня для Ирландии. Потом вспомнил, что оставил на стойке красивую ветку с алыми и золотыми ягодами, сорванную для матери, и ему стало немного грустно.

ОН СТАНОВИТСЯ ВЗРОСЛЫМ

Джонни рос и с годами становился старше, вместе с нашей планетой и всеми, кто живет на ней. Был он худ и костляв, лоб по-прежнему низко зарастал волосами, сколько мать ни трудилась, зачесывая их кверху из страха, как бы, глядя на такой лоб, не подумали люди, что он ничего не знает. К четырнадцати годам он уже без труда читал (пропуская только самые длинные слова) и «Библиотеку для мальчиков Лондона и Нью-Йорка», и приключенческие серии в пестрых обложках, по пенни за выпуск, и юмористический еженедельник «Олли Слопер» — нашелся бы только пенни на покупку! Так что, в сущности говоря, он знал почти все, что нужно было знать, и мог по праву занять свое место в мире, твердо стоять на собственных ногах и не хуже других мальчиков справляться с любой работой, если бы удалось ее получить. Арчи каждый день внимательно изучал в «Дейли Экспресс» столбец объявлений под рубрикой «Требуется», выискивая что-нибудь подходящее для Джонни.

Как-то ранним апрельским утром Джонни проснулся оттого, что мать сильно трясла его за плечо.

— Вставай, — говорила она, — будь умницей и вставай скорее, потому что Арчи напал как раз на то, что тебе нужно.

Джонни с трудом разлепил сонные веки и проворчал:

— Пусть говорит, я и лежа отлично могу слушать.

— Вставай, вставай, парень, — нетерпеливо сказал Арчи. — Встанешь, умоешься, тогда лучше уразумеешь то, что я тебе скажу.

Джонни встал, оделся и умылся, хоть и не знал, отчего, собственно, все это должно помочь ему уразуметь слова Арчи. Потом он уселся у огня и приготовился слушать Арчи, единственного и неповторимого.

Арчи развернул газету и с важным видом уставился в нее. Потом он прочел вслух, солидным, внушительным тоном: требуется мальчик, толковый, порядочный и честный. Только что окончившим школу предпочтение. С письменными предложениями обращаться по адресу: Торговый дом Химдим, Лидем и К^о, Генри-стрит, Дублин.

— Вот, — добавил он, — такой случай раз в жизни бывает.

— Может, это сам бог послал, — сказала мать.

— Прекрасная фирма, — сказал Арчи, — одна из самых крупных в городе, и притом насквозь протестантская.

— Кто знает, может быть, Джонни далеко пойдет, если будет работать в таком месте,— пробормотала мать.

— Сейчас же надо бежать к Элле, пусть она напишет письмо с предложением услуг и еще другое, от своего имени, в котором удостоверит, как учительница, что Джонни хорошего поведения и прилежания,— командовал Арчи.— Пусть подпишется просто Э. Бенсон, чтоб нельзя было догадаться, что это женщина.

— А я схожу к миссис Миддлтон, попрошу одолжить новое пальто ее сынишки,— сказала миссис Кэссиди,— в нем Джонни больше будет похож на такого мальчика, какой там нужен; а потом, если он получит место, можно будет и ему купить такое же у старого Гринберга, в рассрочку по шиллингу в неделю. Ну, беги скорее к сестре,— сказала она Джонни,— пусть она тебе напишет оба письма; да на всякий случай купи по дороге на пенни бумаги и конвертов, бутылочку чернил и перо за полпенни,— вдруг у Эллы не найдется. И сразу же бегом обратно: я тем временем принесу пальто, и ты сможешь сейчас же пойти насчет этого места.

Джонни препоясал чресла и быстрым шагом пустился в путь к Соммер-хиллу, где жила его сестра; по дороге завернул в лавку и купил все, что требовалось, потом с шага перешел на рысь, а там и на галоп; потом стал замедлять, сначала пошел опять рысью, потом быстрым шагом, чтобы отдохнуть; потом снова помчался во весь опор, точно Поль Ривир с вестью, что враг уже под стенами города, и наконец, совсем запыхавшись, прибежал к сестре, показал ей объявление, которое мать вырезала из газеты, и объяснил, что от нее требуется.

Элла поспешно вымыла руки, чтобы, упаси боже, не запачкать бумагу, и сказала, что Джонни должен будет переписать потом все своей рукой, иначе по почерку сейчас же узнают, что это не школьник писал. И вот, когда письмо было готово, Джонни уселся и, наморщив лоб, с величайшим трудом и усердием вывел крупными буквами следующее:

Сэр,

Из объявления, напечатанного в сегодняшнем номере «Дейли экспресс», я узнал, что ваша фирма нуждается в услугах честного, толкового и добропорядочного мальчика и что вы готовы отдать предпочтение такому, который только что окончил школу. Я возьму на себя смелость сказать, что обладаю всеми указанными качествами, а также лишь недавно закончил школьный курс, а потому я хотел бы предложить вам свои услуги.

С совершенным почтением
Джон Кэссиди.

Потом Элла взяла другой листок и написала:

Школа св. Марии
Доминик-стрит

Податель сего, Джон Кэссиди, прошел курс обучения в вышеуказанной школе, в течение какого времени проявил себя как честный, правдивый и исполнительный мальчик, похвального прилежания в занятиях. Не сомневаюсь, что он сумеет оправдать доверие добрых людей, которые захотят воспользоваться его услугами.

Учит. Э. Бенсон.

Взяв оба письма, Джонни поспешил домой, облачился во все свои полинявшие уже парадные доспехи, сверху надел почти новое синее пальто, взятое матерью напрокат у миссис Миддлтон, и убежал, торопясь встать в ряды тех, кто ведет суровую борьбу за существование.

Когда он вышел на Сэквилл-стрит, ему было жарко и он с трудом переводил дух. Струйки пота стекали у него по спине. Слишком уж я мчался, подумал он. Под ложечкой подпирало, точно после сытного обеда, а ведь он только и съел, что кусок черствого хлеба с чашкой чая. Все в нем было натянуто, точно кожа на барабане. Вот если б можно было без всяких переговоров сразу оказаться на службе! Но ничего не поделаешь, надо войти и довершить начатое. Лучше только подождать, остыть немного; не годится показывать, что ты даже взмок весь, гоняясь за этой службой. Войти нужно спокойно и непринужденно, с таким видом, будто тебя ничуть не трогает, возьмут тебя или нет; просто ты шел мимо и заглянул, так, от нечего делать, для препровождения времени. Вот он посидит здесь несколько минут, пока успокоится сердце, а потом войдет. Вперед, кентцы!

Он уселся у подножья одной из высоких колонн, поддерживающих портик главного почтамта, и стал слушать, как диспетчер, бородач в котелке, отправляет со станции вагоны конки.— Сэнди-маунт! — и одна конка тронулась.— Палмерстон-парк! — вторая пошла тоже, как только кондуктор дернул за веревку звонка. По вагонам — пассажиры, едущие на Палмерстон-парк, туда, где живут богачи. Почти все едут туда, где живут богачи, минуя кварталы, населенные беднотою, стремятся туда, где воздух, деревья, солнце, туда, где живут богачи.

Джонни в десятый раз вытащил письма из кармана и снова перечитал их, прежде чем запечатать. Совсем недурно, сказал он про себя, лизнув языком край конверта и тщательно заклеивая его; совсем недурно, так что если им в самом деле нужен честный, правдивый и послушный мальчик, им незачем далеко искать.

Он еще помедлил несколько минут, заглядевшись на солдат, проходивших мимо: гусары в шикарных малиновых рейтузах, пехотинцы в скромных, синих с белым, мундирах, уланы с белкой,

красной или желтой грудью, гвардейцы в шегольских обтянутых брюках, шегольских обтянутых белых кителях и шегольских маленьких кепи, шотландцы в развевающихся юбочках — все бродили здесь, охотясь за девушками; но только по одной стороне улицы, по западной, не переходя на другую, которой держались добропорядочные люди, не желавшие тереться среди солдатни; так и бродили от угла Грейт-Бритн-стрит до Ирландского королевского банка и обратно, останавливались, учуяв добычу, и вновь беспокойно сновали взад и вперед, охотясь за девушками.

По улице идет солдат,
У девушек глаза горят.
Ох! Ну разве он не душка,
Мой храбрый дружок капрал?

Наконец он почувствовал, что уже достаточно остыл и, посплюнув три пальца, пригладил волосы, как можно больше отведя их назад со лба. Потом он почистил штаны сзади, убедился, что воротничок не смят и на месте, расправил отвороты синего пальто и двинулся вдоль Генри-стрит, пробираясь сквозь толпу, теснившуюся у лавок. Дойдя до большого универсального магазина, он нырнул вглубь, спросив в дверях, куда обратиться с письмом по объявлению насчет правдивого, честного и исполнительного мальчика. Ему указали в самый дальний угол магазина и объяснили, что там, за перегородкой, сидит некий мистер Энтони, которому и надлежит вручить письмо с предложением услуг. И вот Джонни пустился в длинное странствие через россыпи мелочного товара, через горные кряжи ламп всех видов и сортов — ламп настольных, висячих и стоячих, люстр, бра и ночников, ламп с простыми, с двойными и с круглыми фитилями; через леса щеток, волосяных, травяных и мочальных, долины занавесей, матерчатых, бисерных и бамбуковых; через гигантские кручи железо-скобяных изделий; а вверх, вдоль стен, шла широкая галерея, уставленная фаянсовой и фарфоровой посудой, нависала низко, точно хотела полюбоваться на все чудеса, нагроможденные в долине, внизу. Минувя все это, Джонни добрался до застекленной двери, ведущей в упаковочное отделение и экспедицию. Он толкнул эту дверь и очутился в длинном и темном складском помещении, заставленном всем тем, что еще не успело попасть в магазин, и разгороженным широкими столами, на которых грудями лежали товары, дожидаясь отбора, упаковки и отправки в разные концы города и в пригородные районы. Один угол, близ двери, был отделен перегородкой, почти сплошь стеклянной, так что тому, кто находился за нею, довольно было поднять голову, чтобы видеть все, что делается кругом. Там, за перегородкой, сидел высокий худой мужчина; у него была плешивая голова, похожая на яйцо, с реденьким пушком на макушке, и это придавало ему вид ученого сморчка.

Он поднял голову и впился в Джонни водянистыми, белесоголубоватыми глазами.

Джонни, почтительно зажав кепку подмышкой, подал этому человеку оба свои письма; это и был Энтони Довергелл, один из двух братьев, которым принадлежала знаменитая фирма «Химдим, Лидем и К^о»; другой брат, как Джонни узнал позднее, был настолько же черен, насколько этот белобрыс, носил густые усы, сливавшиеся с густою, черной, как уголь, бородой (Энтони всегда гладко брился), и его блестящим черным глазам незнакомо было ласковое выражение. Он был такого же высокого роста, как и его белобрысый брат, но с толстыми ногами и массивными бычьими плечами, которые напруживались и выдвигались вперед, когда он сердился, точно у быка, готового напасть, а его улыбка, появлявшаяся только тогда, когда дела фирмы шли особенно хорошо, напоминала отражение зимнего солнца в ледяной сосульке. В его ведении состояло торговое отделение магазина, и он наблюдал за ходом дел, стоя на мостике, соединявшем два крыла посудной галереи, целый день выстаивая там, словно шкипер на капитанском мостике.

Мистер Энтони Довергелл взял из рук Джонни письма, прочитал их, не говоря ни слова, и оглядел Джонни с ног до головы. Джонни мысленно порадовался, что на нем пальто Джорджи Миддлтона.

Потом мистер Энтони еще раз перечитал письма, подумал минуту или две и снова оглядел Джонни.

— Вы протестант, молодой человек? — спросил он.

— Да, да, сэр, конечно, — подтвердил Джонни, чувствуя, что между ним и всемогущим человеком за стеклянной перегородкой существует тесная, почти родственная связь.

— Хорошо, мы возьмем вас на испытание, — сказал мистер Энтони. — Можете приступить с завтрашнего утра. Рабочий день с восьми до шести, жалованье — три шиллинга шесть пенсов в неделю; разумеется, если вы нам подойдете, оно будет повышаться с каждым годом. — И он дал понять, что аудиенция окончена, вернувшись к своим занятиям, прерванным появлением Джонни.

И вот он снова стоит на улице, баловень судьбы, сотрудник фирмы «Химдим, Лидем и К^о», обладатель трех шиллингов шести пенсов в неделю. Начало карьеры положено. Завтра он вступает в новую жизнь. Она зацветет, эта жизнь, в восемь часов утра, как посох Аарона; зацветет и распустится пышным цветом. Больше он уже не мальчик, не ребенок. Все детское осталось позади. Он стал тружеником. Отныне он будет в поте лица добывать хлеб свой. Земля и все плоды земные принадлежат ему. Да славится имя господне! Из тьмы возгорелся спасительный свет.

И Джонни увидел, что сие хорошо; и было утро, и был вечер, день первый — день радости и веселия.

ПРИНЕСИТЕ ЛУЧШУЮ ОДЕЖДУ И ОДЕНЬТЕ ЕГО

Джонни вскочил чуть свет, шумливый и радостный. Он не слушал матери, которая уговаривала его съесть побольше хлеба — когда-то еще придется ему обедать; наспех проглотил завтрак и, задышавшись от волнения, нарядился во все свои обновки: коричневый пиджак, длинные брюки, серую кепку и новенькие черные башмаки, — все это было приобретено у мистера Гринберга накануне.

Мистер Гринберг был еврей, но не простой еврей, а очень почтенный, как говорила мать Джонни. Он не таскал на спине узел с товаром, а отшел под лавку переднюю комнату в своем маленьком домике близ Дрэмкондра-род. Туда являлись покупатели за товаром, заранее сговорившись с мистером Гринбергом об условиях сделки. Вчера вечером мистер Гринберг побывал у матери Джонни и взялся обмундировать Джонни с ног до головы за два фунта и десять шиллингов — пять шиллингов сразу, а остальные в рассрочку, по шиллингу в неделю. Деньги вносить аккуратно, первого числа каждого месяца. Миссис Кэссиди отсчитала ему пять шиллингов задатка, и он записал это в маленькую книжечку в синем переплете, под перечнем купленных вещей: костюм коричневый — один фунт; пальто темно-синее — один фунт; пара сапог — десять шиллингов. — Ну, а серая кепка, — сказал мистер Гринберг, — раз уж мальчик начинает трудовую жизнь, пусть кепка пойдет ему впридачу... Впридачу, да, впридачу, — повторил он себе под нос, вздыхая. Он оглядел комнату, ее убогую обстановку и снова вздохнул. На постоянных клиентов тут, видно, рассчитывать нечего. Его взгляды скользнул по книгам, стоявшим на полке, — только это еще и осталось от всего, что когда-то любил отец Джонни. Вдруг у него в глазах появилось удивленное выражение. Он подошел ближе и снял с полки одну книгу, тяжелый, толстый том в темно-красном переплете. «Иудейские войны» — значилось на корешке. Он раскрыл книгу и стал читать.

— Это книга моего покойного мужа, — тихо сказала миссис Кэссиди.

— Ах, — сказал мистер Гринберг, — Флавий, Флавий; великий писатель; великий человек. Народ наш, бедный народ наш. Вы читали эту книгу, миссис Кэссиди?

— Нет, по правде сказать, не читала, — ответила она. — Вот мой бедный муж, тот ее чуть не наизусть знал. Он был очень ученый человек, это все говорили. Все-то он знал, во всем разбирался.

— Ах, — сказал мистер Гринберг, — эти злые, жестокие римляне! После того как они завоевали Иерусалим и разрушили его, они распинали нас тысячами, тысячами, тысячами. Деревянные кресты не хватало; тысячами, тысячами.

— Это римские католики так делали? — удивился Джонни.

Мистер Гринберг оглянулся и посмотрел на него.

— Не католики, а язычники,— сказал он.— Древние римляне, те, которые жили в старину, за много, много сот лет до того, как мы с вами родились на свет. Но это все дело прошлое,— добавил он,— да, дело прошлое. Теперь все по-другому: живи и — как это у вас говорят?..— спросил он миссис Кэссиди.

— Живи и жить давай другим,— сказала она.

— Живи и жить давай другим,— повторил он.— Теперь мы — как это говорится? — люди цивилизованные.— Он поставил книгу на место, надел свой котелок и задумчиво погладил бороду.

— Ну, до свидания,— сказал он, протягивая руку Джонни.— Увидите, какой товар я вам дам, замечательный товар. А когда у вас будет время, сынок, почитайте про иудейские войны, почитайте. Хорошее это дело, читать книжки; в них черпаешь знание, а знание — великая вещь; и чем больше знаешь, тем лучше. До свидания, сынок, и пошли вам бог удачи.

— Еврей, а какой славный,— сказал Джонни после его ухода.

— Славный-то славный, а своего не упустит,— ответила ему мать.— Будь у меня деньги, чтоб заплатить наличными, я бы все это вдвое дешевле купила.

И вот в четверть восьмого утра он уже стоит, одетый во все новое, и мать вносит последние поправки в его костюм: обдергивает сзади темно-синее пальто, поправляет кепку на тщательно приглаженных волосах; и наконец провожает его до двери, уговаривает не робеть и желает успеха.

Джонни понесся во весь опор по пустынным еще улицам, мимо запертых лавок, пошире распахнув свое синее пальто, чтобы редкие прохожие могли видеть, что на нем длинные брюки. Он выглядел франтом, чувствовал себя мужчиной, и это придавало ему прыти и бодрости. Несколько пустых трамваев стояло у колонны Нельсона, казавшейся выше и внушительней на безлюдной площади. Кое-где открывались уже пивные, приказчики бакалейных лавок поливали тротуар перед ярко раскрашенными вывесками у входа, чтобы смыть вчерашние запахи и вчерашнюю грязь. Джонни пришел на место за полчаса до открытия магазина и, прислонясь к железной шторе, ждал, покуда кто-нибудь явится распахнуть двери навстречу трудовому дню. Кругом никого не было видно, только бездомный пес брел мимо, и даже главный почтamt выглядел хмуро и неприветливо. Через дорогу высилось здание торгового дома «Сэр Джон Арнот и К^о. Сукно и шерсть», тоже до отказа набитое добрыми протестантами и добротным товаром. В этом можно было не сомневаться; уж как бы там ни было, а народ мы добропорядочный, не чета этим несчастным католикам.

Без пяти восемь у входа стали собираться служащие, взрослые и подростки; многие из них тоже устраивались поудобнее, прислонившись к железным шторам, и с любопытством поглядывали на Джонни. Большие часы на фасаде у Арнота пробили восемь, но никто не шел отпирать магазин. Джонни придвинулся

немного поближе к толпе ожидающих, чтобы послушать, о чем говорят.

— Проспал он сегодня, что ли? — сказал кто-то, когда стрелка на часах показала пять минут девятого.

— Вот тебе и случай покурить до обеденного перерыва, — ответил другой. — Только ты не беспокойся, сейчас прискачет. Ага, что я сказал? — прибавил он. — Вон летит, чуть сам себе на пятки не наступает.

Джонни увидел вынырнувшую из-за угла длинную, тощую фигуру того, кто его принимал на службу; черный костюм, черный котелок, черные перчатки, черный зонтик — точно костлявая черная летучая мышь, торопящаяся скрыться от дневного света. Энтони подошел, ни с кем не поздоровавшись отпер маленькую черную дверцу в железной шторе и устремился внутрь; приказчики и мальчишки-подручные гуськом потянулись за ним. Джонни тоже вошел вслед за всеми и очутился в пустынном, темном помещении магазина, где пахло содой, мылом, свечами и воском.

Все поспешили к вешалке снять пальто и шляпы, и Джонни остался один, совсем один, посреди этого темного мира, где сотни ламп висели над головой, точно звезды, чей свет погас и жар остыл, и они уже не мерцают в небесной тверди.

Вдруг он увидел, что кто-то манит его пальцем из глубины магазина. Он пошел на зов и очутился перед человеком еврейского типа, с бледным красивым лицом, который оглядел его с ног до головы, довольно язвительно усмехнулся и сказал: — Ты новый мальчик, про которого мне говорил мистер Энтони? Пойдем, я тебе покажу, что нужно делать, и вообще все тут объясню. — Это был мистер Праул — по слухам, убежденный оранжист; он заведовал экспедицией, через которую проходили все товары, назначенные к отправке по железной дороге или морем. Он был молчалив, ни с кем никогда не заводил и не поддерживал разговора и напоминал моряка, плывущего на нарисованном корабле по нарисованному океану.

Праул толкнул дверь, ведущую в помещение экспедиции, вошел первым и, указав Джонни на огромную грудку бумажного срыва, сказал:

— Вот, рассортируй это все, разложи большие листы к большим, маленькие к маленьким, а когда наберутся порядочные кппы, пробей в них дырки и прошей шпагатом, чтобы удобно было брать бумагу для упаковки. Когда покончишь с этим, — вот тут лежат зажимы для белья: их надо связать по дюжинам и сложить аккуратно на полке сзади.

Возясь с разборкой бумаги, Джонни увидел, как двое рассыльных пронесли в дальний угол небольшой стол, накрыли его куском ярко-зеленой материи и сверху поставили высокую белую вазу с красными и желтыми искусственными цветами, так что получилось что-то похожее на грубо сколоченный алтарь. Потом они притащили два больших свертка и тоже положили на стол,

накрытый зеленой материей. На обоих свертках наклеены были большие бумажные ярлыки с надписью — на одном: «Примерному работнику номер один», на другом: «Примерному работнику номер два». В первом свертке горделиво торчал воткнутый сверху маленький бумажный британский флаг на бронзовом древке толщиной со спицу; во втором — такой же королевский штандарт. Рядом лежали два немного выцветших от времени котелка, один на белой шелковой подкладке, другой — на пунцовой. И у каждого, кто проходил мимо, лицо расплывалось в широкую улыбку, и все старались удержать эту улыбку на губах, даже отойдя в сторону. Джонни заметил, что и мистер Энтони за своей конторкой улыбался тоже, только более сдержанно и скромно, словно он только что совершил нечто очень хорошее, приятное и скромно-благородное.

Джонни усердно трудился над зажимами, связывая их по дюжинам; вдруг Праул окликнул его, протянул бумажку с каким-то списком и велел подобрать все по этому списку, завернуть и принести ему.

Джонни уставился в исписанную бумажку, ничего в ней не понимая. «6 ф.» — это-то ясно, но что означает: «м. Утр. з.», или «2 бр. в. св.», или «1 ф. в. д. нат. п.»? Он все смотрел, и так и этак, стараясь понять, пока Праул не выхватил список у него из рук.

— Ты что, читать не умеешь? — спросил он сердито. — В какой ты школе учился?

— Он в колледже учился, — вмешался упаковщик, работавший за соседним прилавком, радуясь случаю подслужиться к Праулу. — Он для школы слишком важная птица.

— Шесть фунтов мыла «Утренняя заря», два фунта брайтонских восковых свечей и фунт воска для натирки полов — кажется, проще простого. Надо научиться соображать, милый мой, если хочешь остаться на этой работе. Нам тупицы не нужны. Все это лежит на полках за твоей спиной; раскрой глаза пошире, и все найдешь, — сказал мистер Праул.

Джонни стал блуждать по длинному проходу между полками, разыскивая предметы, значившиеся в списке. В своих скитаниях он очутился у конторки, за которой сидел и писал что-то Нирэс, старший счетовод фирмы. Нирэс был высокий, широкоплечий дегин, шести футов росту, добрый и отзывчивый, в чем Джонни скоро пришлось убедиться; но гниль подтачивала его изнутри: розовым крестом чахотки были отмечены щеки, и в кашле слышалось предвестие могилы.

— Что ты ищешь, ну что ты ищешь? — буркнул он, когда Джонни подошел совсем близко; но в ворчливом тоне нетрудно было уловить ласковую нотку. — Вот, смотри, — сказал он, указывая на полки, — свечи здесь, мыло там, а воск над самой твоей глупой головенкой. — Он сам снимал с полок все, что называл, и клал на прилавок перед Джонни. — Если еще когда-нибудь по-

падешь в беду, приходи ко мне и не смущайся, если я на тебя прикрикну для начала.

И так час за часом шел долгий день, и Джонни трудился под небесным сводом, связывал по дюжинам зажимы для белья, сортировал оберточную бумагу, бегал по всяким поручениям, привыкал к тому, что самое простенькое словечко может стать головомокою, когда оно написано на бумаге, открывал, подобно отважному исследователю, новые, неведомые края в огромном магазине, старательно запоминал, где что лежит из многочисленных товаров; и все время поглядывал в сторону стола, накрытого зеленой материей, раздумывая, что же такое может быть в этих свертках и почему все улыбаются, когда проходят мимо.

После обеденного перерыва, он вернулся на свое место за пять минут до срока; в экспедиции не было никого, один только Нирэс склонился над конторкой, сражаясь с целой армией цифр. Он поднял голову, увидя Джонни, подошедшего расписаться в книге, которая, точно боец на привале, лежала рядом с конторкою Нирэса.

— Послушай-ка, малыш,— сказал он,— это что на тебе, новенький костюм или просто старый подновили?

— Новый, сэр,— сказал Джонни,— вчера только купили.

— Ну, так он у тебя через неделю в тряпку превратится. Кто ж это носит новый костюм на работу? Завтра захвати из дому какое-нибудь старье, спрячешь его тут под прилавком и будешь надевать в рабочие часы. Франтить можно перед началом работы или вечером, когда идешь домой.

— Спасибо,— сказал Джонни.— Я скажу матери сегодня же.

— А как ты думаешь, малыш,— продолжал Нирэс,— понравится тебе тут работать?

— Наверно, понравится,— сказал Джонни,— здесь все такие веселые, довольные, все время улыбаются.

Нирэс знаком подозвал Джонни поближе и наклонился к самому его уху.

— Держи язык под замком, а уши настезь,— сказал он,— и не всему верь, что увидишь. Шайка висельников — вот тут что за народ! Сегодня они улыбаются, потому что так надо, потому что сегодня день великого примирения. Знаешь, что такое примирение?

— Это если кто тебя обидел, а теперь ты с ним заодно,— сказал Джонни.

— Не совсем, но вроде того,— сказал Нирэс.— Ну вот, сегодня единственный день в году, когда мы заодно с мистером Энтони и мистером Хьюсоном, оттого-то мы и улыбаемся, милый мой. Хозяин заодно с работником, а работник заодно с хозяином.— Он протянул большую жилистую руку к столу, накрытому зеленой материей.— А это алтарь дружбы,— сказал он.

— А в свертках что? — спросил Джонни.

— Ценные подарки для ценных работников,— отвечал Ни-

рэс.— В одном старый, изношенный костюм Энтони, а в другом старый, изношенный костюм Хьюсона — для Энтруса, нашего упаковщика, и для О'Рейли, сторожа из магазина.

— Должно быть, они хорошие люди,— пробормотал Джонни, не зная, что сказать.

— Лучше некуда,— сказал Нирэс. Он придвинулся к Джонни еще ближе и шепнул ему на ухо: — Смотри, ни с одним из них никогда ни о чем не говори. Старайся, чтобы они никогда не слышали, о чем ты говоришь с другими; чтобы не слышали даже, как ты богу молишься.

Стали возвращаться с обеденного перерыва остальные. Нирэс снова склонился над конторкой и вступил в бой с цифрами, а Джонни, нырнув за прилавок, вернулся к своим делам — связыванию зажимов, сортировке бумаги и всему тому, что еще могли ему поручить.

Так, час за часом, шел долгий день, и наступил тихий вечер; и когда осталось полчаса до закрытия магазина, работа приостановилась.

И все кругом улыбались,— все, кроме Нирэса. Джонни почел за благо тоже улыбаться вместе со всеми.

Вдруг из торгового отделения появился огромный черный Хьюсон и вместе с тощим белоглазым Энтони, улыбаясь, проследовал туда, где стоял стол, накрытый зеленой материей, точно наспех сколоченный алтарь, осененный внешними, вещественными знаками внутренней, духовной благодати. Немного погодя вошел О'Рейли и, улыбаясь, стал у северной стены, а упаковщик Энтрус, улыбаясь, стоял у противоположной стены и закладывал солому в ящик с товаром, готовым к отправке за город. Возчики, рассыльные, упаковщики — все с улыбающимися лицами — толпились у наружных дверей; с разных сторон торопливо входили конторщики экспедиции и продавцы из торгового отделения и, улыбаясь, выстраивались вереницей по всей длине склада; и все глаза были устремлены в сторону стола, накрытого ярко-зеленой материей. Когда все собрались и была выдержана приличествующая случаю пауза, мистер Хьюсон кивнул Энтрису, а мистер Энтони — О'Рейли, и оба приблизились, каждый со своего конца света, окрыленные верою не в собственные заслуги, но в величие и щедрость своих двух господ, готовых уделить им те крохи, что вот-вот упадут со стола, накрытого зеленой материей.

И когда они подошли совсем близко, Хьюсон протянул руку, взял один из свертков и вручил Энтрису, а Энтони в то же время протянул руку, взял второй сверток и вручил О'Рейли. Потом Хьюсон водрузил котелок на голову О'Рейли, а Энтони водрузил котелок на голову Энтруса, и, увенчанные котелками, стояли они, и дивное сияние разливалось вокруг; и восторженный ропот прокатился в толпе конторщиков, рассыльных, продавцов и возчиков, свидетелей доброго дела, и ропот этот был лучшим знаком царившего среди них мира и благоволения.

И Энтрус отверз уста и сказал Энтони: — Да благословит вас бог, сэр; не ждал я подобной доброты, но милость ваша пребудет вечно.

А О'Рейли отверз уста и сказал Хьюсону: — Да благословит вас бог, сэр; не ждал я подобной милости, но доброта ваша пребудет вечно.

Потом оба счастливец удалились в укромный уголок, чтобы снять свою старую одежду и облачиться в полученные дары; а Хьюсон и Энтони, улыбаясь, мирно беседовали в ожидании, у стола, накрытого зеленой материей.

И Джонни, взиравшему со стороны, почудилось, будто он слышит глас с неба, вещающий: «Да воссияет свет ваш перед людьми, чтобы они видели добрые дела, творимые вами, и восславили небесного отца вашего».

Но вот вернулись счастливец в новых своих нарядах; устремив взоры ввысь, преисполнившись гордости в сердце своем, прошли друг за другом сквозь строй улыбок. Маленький британский флажок торчал за лентой котелка у Энтруса и маленький королевский штандарт — за лентой котелка у О'Рейли.

И зрелище это призывало всех работников фирмы исправиться и верой и правдой служить хозяевам, которые время от времени удастанвают простых смертных своей заботы, снисходя до них с высот твердыни собственности и власти, воздвигнутой в центре Дублина, между протестантской церковью с одной стороны и католической церковью — с другой.

Долгий радостный ропот прошел по рядам конторщиков, возчиков, продавцов и рассыльных; и под этот ропот мистер Энтони и мистер Хьюсон отошли от стола, накрытого зеленой материей, и чинно проследовали к стеклянной двери, ведущей в магазин. И тут мистер Праул возвысил свой приятный голос и запел, не громче, нежели допускало уважение, и все, кроме Нирэса, который закашлялся и низко пригнулся к своей конторке, подхватили сдержанным, скромным и собранным хором, словно боясь, как бы не услышал их бог:

Так пот тебе моя рука,
И дай свою сюда.
По кружке выпьем мы с тобой
За старые года.

За старые года, мой друг,
За старые года,
За дружбу выпьем мы с тобой,
За старые года¹.

А день меж тем пришел к концу; и все разошлись по домам на ночь — есть, спать, блудить, быть может, мечтать. И Джонни тоже пошел за другими. Мир и единение царили в сердцах. Но у

¹ Перевод В. Рогова.

Джонни было смутно на душе, и увидел он, что сие нехорошо; и было утро, и был вечер, день второй — день огорчения и скорби.

В ПОТЕ ЛИЦА

Итак, Джонни начал трудовую жизнь и теперь пахал свою первую борозду в дублинском будничном мире. Сразу и не припомнишь всего, что ему приходилось делать за свой рабочий день. Дел было много, побольше, чем у любого сухопутного моряка. Прежде всего он шел в тупичок у Кавендиш-род, где помещались конюшни ломовиков: нужно было получить с возчиков деньги по счетам, оплаченным покупателями при доставке товаров, проверить суммы, проставленные в их расчетных книжках, и расписаться в получении; сложить бумажки и звонкую монету в кожаную сумку, где набиралось порой от пятнадцати до двадцати пяти фунтов стерлингов, и бегом мчаться в контору фирмы, чтобы сдать драгоценную ношу мистеру Энтони — всегда с опаской: вдруг не хватит шиллинга или двух, ведь возчики такой народ, что за ними только гляди, а недельное жалованье Джонни сильно похудеет, если из него вычтут этот недостающий шиллинг. Затем, когда деньги благополучно улягутся в сейф мистера Энтони, нужно было вымести солому и мусор из-за длинного прилавка, где были разложены товары, предназначенные к отправке по железной дороге или морем, и domestить весь этот мусор до мостков, ведущих к широким деревянным воротам, которые открывались прямо на булыжную мостовую переулка. Как протестант и штатный служащий фирмы он не обязан был мести дальше, а передавал всю кучу мусора на попечение рассыльного из католиков, который уже доставлял этот мусор туда, откуда его впоследствии вывозили городские мусорщики. Когда приходили фургоны или подводы с новыми партиями товара, ему приходилось перетаскивать тяжеленные ящики, вскрывать их стальной стамеской и укладывать пачки товара — мыло, крахмал, политуру, ваксу — в большие лари или на полки, идущие вдоль прилавков. Иногда его посылали на другой склад, расположенный в конце переулка, рядом с бойнями, где к застарелому запаху крови постоянно примешивался свежий; бесконечным потоком шли туда коровы и овцы, а выходили обратно в виде кровавых ободранных туш, взваленных на плечи дюжих парней в обгаренных следами сражений одежде; парни грузили лилово-красные туши на большие подводы, подводы везли их в лавки мясников, а мясники рубили на части — людям на пропитание. Сюда, на этот дальний склад, поступали корзины с фарфоровой посудой; Джонни помогал распаковывать их и, переложив посуду в деревянные ящики, твердые ребра которых больно вдавливались в шею, перетаскивал в особое складское помещение — через весь длиннющий склад экспедиции, через передние торговые залы,

а потом еще вверх по лестнице, семь пролетов — священное число. Если все — мыло, вакса, синька или посуда — было уже перетаскано и разложено по местам, Джонни, во спасение от смертного греха лени, помогал упаковывать товары для доставки на дом, раскладывал их на прилавках по порядку, так чтоб возчикам оставалось только брать свертки один за другим и везти к покупателям. А если и такого дела не находилось, он бегал по поручениям: то спешил сдать заказ на партию щеток Вариану на Толбот-стрит, то, надев на себя заржавевшую ванну или полуванну, так что не видно было ни головы, ни плеч, тащил ее к Филипсону на Стаффорд-стрит, чтобы там отскоблили ржавчину и слоем эмали скрыли от чувствительных взоров неприглядную наготу. Долог и утомителен был его рабочий день; но зато он теперь мог быть уверен, что очередной выпуск «Библиотеки для мальчиков Лондона и Нью-Йорка» обеспечен ему каждую неделю и во веки веков, аминь.

Все продавцы в магазине, а в экспедиции все конторщики и даже те, кто еще только мечтал стать конторщиком, были протестанты того или иного толка. Католики работали возчиками, грузчиками, упаковщиками, рассыльными или же с утра до глубокой ночи катали со склада на склад большие тяжелые трехколесные тележки с товаром за четыре, пять, шесть шиллингов в неделю. Каждый возчик, как бы поздно он ни вернулся домой накануне — а раньше десяти часов вечера никто из них не освобождался, даже когда не было экстренных доставок товара, — в половине седьмого утра уже должен был быть в конюшне, чтобы успеть напоить и накормить свою лошадь, вымыть фургон, сдать Джонни полученные накануне деньги, запрячь и в половине девятого уже дежурить у дверей магазина, готовым для первого рейса. По пятницам ему предоставлялось право протянуть руку и получить аккуратный белый конвертик, в котором лежало четырнадцать шиллингов. Все это были люди, обремененные семьей, и потому у них не оставалось времени для размышлений по этому поводу. Будь они протестантами, как Джонни, они бы знали, что «честный труд в кругу собратьев — все, чего могу желать я»; широкое поприще для самоотречения, которое с каждым днем приближает нас к господу. Смирены будьте, и услышите хор голосов ангельских.

Джонни целый долгий год провел среди всех этих людей, протестантских козлищ и католических агнцев; выполнял все, что ему было положено, и даже более того; преуспел в трудах своих; показал себя истинно усердным, добропорядочным и честным мальчиком; и был вознагражден прибавкой к жалованью, так что теперь уже он приносил домой по пятницам не какие-нибудь жалкие три с половиной шиллинга, а целых четыре. И все же он не был удовлетворен. Яд недовольства разъедал ему душу. Он возненавидел магазин и возненавидел хозяев магазина. Он бы и сам не мог толком объяснить, почему; но неясность причин

не ослабила силы ненависти; ненавидел он и всех или почти всех работавших у двух плимутских братьев, Энтони и Хьюсона, которые никогда не упоминали божье имя, однако при их молчаливом одобрении из уст в уста потихоньку распространялся слух о том, что они весьма рады каждому, кто пожелает явиться для молитвы, благочестивых раздумий и чтения библии в Меррионхолл по понедельникам и четвергам ровно в восемь часов, когда сам Иисус Христос займет место на возвышении.

Особенно ненавистен был ему один человек. Одного он ненавидел — пуще всех, ах, пуще всех! — лютого врага в нем видел — пуще всех, ах, пуще всех! То был О'Рейли, привратник и сторож, на обязанности которого лежало отпирать и запираť магазин, а также охранять подвал, служивший складом скобяных изделий. Гнусный тип! Этот католик был тайным ухом и глазом обоим плимутским братьев. Все служащие фирмы, и в магазине и на складах, боялись О'Рейли, и все старались подольститься к нему: Доброе утро, мистер О'Рейли, как поживаете, мистер О'Рейли. Четырехлистный трилистник — прозвал его Джонни, уж он-то и не подумает расшаркиваться перед ним, всегда проходит мимо без всяких там Добрый вечер, сэр, как вы себя чувствуете сегодня, погода хмурится что-то, и ветер разыгрался, видно, зима не за горами; а ты, верно, думаешь, что-то тут все-таки неправильно, потому что ты ходишь к мессе, а твои хозяева — в молитвенное собрание, и как жаль, что дела небесные не устраиваются так же легко, как земные, а то жил бы ты вместе с ними и было бы тебе море по колено; а они, напротив, думают, что все у О'Рейли идет как должно: в молодости он, славный малый, защищал их веру в добро с мушкетом и полицейской дубинкой в руках, а теперь, в преклонные годы, снова охраняет их веру и добро, шпионя за теми, кто с грехом пополам добывает хлеб свой, и, точно в кошки-мышки играя — вон, притаился за углом, сейчас скакнет и цап-царап; зато сегодня Хьюсон, с улыбкой на роже, спросит его, как дела у его сыновей, а завтра мистер Энтони похвалит его за то, что ни он, ни его жена, ни дети, ни внуки не вводят дружбы с теми, рядом с кем обстоятельства вынуждают его жить, и прибавит, что О'Рейли не должен забывать, что он, О'Рейли, не рядовой католик, что он, О'Рейли, наделен благостью, исходящей от Святого духа, которая редко дается людям его, О'Рейли, общественного положения; что видно из того, что он, О'Рейли, умеет питать благородную любовь к вещам и людям, которые этого достойны, что вполне в духе жизни и учения нашего, а в более узком смысле его, О'Рейли, господа и спасителя Иисуса Христа, аминь.

И О'Рейли гнул свою линию, и процветал, и увязал по шею в трясине добродетели, и вершил свой долг благочестия и набожности, неустанно докладывая своим бронзовым идолам о каждом, кто бросал лот, чтобы измерить глубину вод, по которым шел наш добрый корабль, потому что от зоркого взгляда О'Рейли

и его чуткого уха ничто не могло укрыться; и все вместе они составляли достойную троицу, созданную, должно быть, господом богом в засушливую пору, ибо ни один из троих не способен был пролить ни слезинки, и, должно быть, даже самый добросердечный из них удивлялся, читая о слезах, пролитых Иисусом, и думал, что эти ненужные слезы — единственная слабость, проявленная господом богом.

Постоянным помощником и посредником в повседневном магазинном обиходе был главный управляющий Соррасент. Бледный, еще бледнее мистера Энтони, с белесыми бровями, чуть тронутыми желтизной, с усами цвета соломы, ночь мокнувшей под дождем, с водянистыми голубыми глазами, лишенными глубины, как лужица, наполовину высушенная ветром, он приходил в ярость при одном лишь виде тонкой щиколотки, выглянувшей из-под краешка белой юбки. Джонни как-то раз нашел в корзине с посудой ярко раскрашенный фарфоровый подносик, на котором изображена была улыбающаяся танцовщица, высоко вскинувшая ногу в морской пене кружев, и вот Соррасент подкрался сзади, яко тать среди бела дня, выхватил подносик у него из рук, замахнулся молотком и разбил веселую танцовщицу вдребезги, а потом в благочестивом негодовании швырнул молоток в солому и удалился — истинный страж добродетели, исполнивший свой священный долг.

Таковы были эти четыре жемчужины в короне фирмы, облеченные также доверием господ бога, которые свято хранили честь Эйрина и Эйрина славу, сколачивая кто какой мог капиталец и заранее забронировав себе уютные местечки на склонах и берегах тенистых Хрустальной реки, где сонмы ангелов трудились, отделявая для них богатые виллы еще задолго до того, как лопнет серебряная цепь и разобьется золотой сосуд.

Джонни уже полтора года проработал в фирме и ждал повышения по крайней мере на должность районного экспедитора. Все эти полтора года, каждый божий день, кроме воскресений, он съедал свои два ломтя хлеба, что в магазине именовалось обедом, сидя на ступенях Главного почтамта — лицом к шумной улице, когда солнце вдохновляло весну или сонной дремой томило лето, и лицом к колоннаде входа, втянув голову в плечи и с трудом пережевывая черствый хлеб, когда дул холодный ветер или хлестал дождь, потому что только девушкам-продавщицам разрешалось есть в помещении магазина, как бы ни бушевала непогода, ядовитым дыханием обдавая тех, кто дрожал от стужи на улицах Дублина, потому что жидкая кровь не согревала их изнутри, а жидкая одежка не защищала снаружи.

Но улицу всегда расцветчивали пурпур и золото, лазурь и белизна военных мундиров; а в ясный день, случалось, гарцевал мимо какой-нибудь уланский офицер, молодец-молодцом на коне вороном, пыль вздымая столбом, с бряцающей саблей, с развевающимся по ветру плюмажем на кивере; а в почтительном

отдалении следовал за ним его верный вестовой, какой-нибудь гусар или драгун, в ком спеси было разве чуть поменьше, чем в нем самом. Иногда, вкушая хлеб свой насущный, Джонни видел только клубы пыли, которые ветер резво гнал по булыжной мостовой; а бывало, что тот же ветер, налетев неожиданным порывом, вздувал кверху юбки идущих мимо девушек, и Джонни прошибала непонятная дрожь — он сам не знал, хорошо это или дурно, но, так или иначе, какое-то неудержимое, странно приятное чувство охватывало его всякий раз, когда из-под темной юбки выглядывала обтянутая черным чулком нога хорошенькой девушки, точно солнечный луч из темного облака. В эти минуты ему вдруг вспоминалась Дженни Клатеро, хотелось взять ее за руку, почувствовать то местечко у нее на пальце, где кожа загрубела от шитья. И в мечтах возникал перед ним зеленый луг, где они лежали бы рядом в густой высокой траве, среди клевера, ромашки и конского щавеля, а вдаль золотилось бы поле и алые маки клонили бы свои чашечки в сладкой дремоте.

Но вечером он возвращался домой слишком усталым, чтобы вспоминать обо всем этом. После пурпура, золота и лазури солдатских мундиров, галунов и плюмажей проезжих кавалеристов, мимолетного видения женских ножек снова наступали часы труда; нужно было взваливать ящики с посудой на ноющие плечи, тащить их по загаженному переулку, через зал экспедиции, через торговые помещения магазина, куда уже не заглядывало солнце, и вверх по лестнице, крутой, клятой лестнице, и снова и снова, раз за разом, час за часом, пока не закроется магазин и можно будет усталым шагом брести домой, внося свою лепту труда в мировой круговорот.

И было утро, и был вечер, день третий — день тягот.

ПОЗОР ВОРУ И ГРАБИТЕЛЮ

Джонни работал да работал и мало-помалу набирался ума, хотя от этого ему не стало легче. Ни в чем худом он не был замечен, однако знал, что хозяева его не любят. Ему со всех сторон нашептывали одно и то же, зазывали его на молитвенные собрания в Меррион-холл, но Джонни, соглашаясь, что все это очень хорошо, утешительно и угодно богу, не ходил туда, а однажды, в порыве озорства, сказал одному из благочестивых шептунов, что больше любит заглядывать девчонкам за пазуху, чем в молитвенник, и шептун, весь побледнев, обратился вспять и спасся бегством. Но кое-чему Джонни все-таки научился. Он умел различать почерк всех продавцов и возчиков, быстро и правильно считать деньги, накладывать по три центнера товара на вагонетку так, чтобы не рассыпалось по дороге, быстро выполнять заказы и завертывать покупки, упаковывать посуду не хуже любого упаковщика в лавке, ловить тюки на лету, стоя на высокой

лестнице, и укладывать их на верхние полки, ловко перекачивать бочки с маслом, ставить на ребро тяжелые ящики и, слегка наклонив к себе, передвигать их с места на место, часами таскать на спине тяжеленные корзины, не выбиваясь из сил к концу дня; умел и постоять за себя, не давая спуску никому из тех, с кем работал.

Возчики и рассыльные долго косились на него, как всегда не доверяя конторским служащим, но как-то раз, когда один из рассыльных загородил ему дорогу и не успел посторониться, Джонни второпях толкнул его в зад и вдруг полетел кубарем в солому, получив оплеуху от рассвирепевшего рассыльного. Тот думал, что это кто-нибудь из рабочих, но как только остыл и разглядел Джонни, душа у него ушла в пятки, он бросился поднимать Джонни, бормоча, что он нечаянно, он не видел, что это Кэссиди, он думал, что это тоже рассыльный, и, чуть не плача, упрашивал Джонни не жаловаться. Джонни успокоил его, сказав, что ни один из Кэссиди еще не был доносчиком, и подал ему руку. С тех пор Джонни стал своим для всех возчиков и рассыльных, особенно после того, как они узнали, что Джонни умеет ругаться почище ихнего.

Джонни отчаянно петушился и расхаживал по складу, заложив за правое ухо длинный карандаш. Его теперь повысили, он стал экспедитором и заведовал доставкой товаров в районы Сэндимаунт и Рингсенд, получая шесть шиллингов в неделю. Каждую пятницу он отдавал матери четыре шиллинга шесть пенсов из своего жалованья, утаив один шиллинг для себя, — да так оно и следовало по чести и совести: ведь он трудился, зарабатывал деньги, а ей стоило только протянуть руку и взять их. Да и кроме денег он много кое-чего давал ей. Теперь он вольной рукой отмеривал и отвешивал товары для покупателей, так почему же не взять немножко и для дома? Сказано — сделано. Джонни решил про себя, что надо ковать железо, пока горячо. И он поставил себе за правило никогда не возвращаться домой с пустыми руками; а через некоторое время мать, умоляя Джонни быть осторожней, сама пришила ему к пальто широкие и глубокие карманы, чтоб можно было незаметно проносить разные вещи. Он таскал домой спички, мыло, свечи, буру, чернила, ваксу, томатный соус, банки с эмалевой краской, мыльный экстракт, которым никак не отстирывалось белье, иногда приносил ножик и вилку, изредка ложку, гребенки и головные щетки, замшу, рюмки для яиц (хотя они служили больше для украшения), солонки, ночники, наждак с портретом Веллингтона на жестянке, сапожные щетки и щетки для платья, клеенку, которою особенно дорожила его мать, маленькие щеточки и порошок Годдарда для чистки серебра, которым Том и Майкл чистили свои пуговицы и значки, по два пенса за баночку, маленькие белоголовые ежики для ламповых стекол и, кроме всего прочего, елочные украшения для ребятишек Эллы. Иногда кое-что перепадало и сосед-

ским детишкам, и матери благословляли Джонни за его доброту, за то, что он подумал о бедных детях и порадовал их на рождество.

Тут ничего такого нет, думал Джонни, а вот бедняга Ботольф — тот свалил дурака, крал и тащил без разбора и в конце концов здорово влип: в один прекрасный день его выгнали со службы в два счета, не успел он вернуться на место после обеденного перерыва. Кто-то из покупателей вернул товар, оплаченный при доставке, и Энтони не мог найти этого счета ни у возчика, ни в конторских книгах Ботольфа; заподозрив неладное, он целую неделю следил за Ботольфом, и оказалось, что этот отчаянный малый не внес в книги ни одного оплаченного счета, не было их и у возчика. Прижатый к стене, возчик сначала бормотал, что тут, должно быть, какая-нибудь ошибка, а когда ему пригрозили полицией, сразу сознался, что они мошенничают уже около месяца и что деньги они делили: две трети шли Ботольфу и одна треть — ему. «Да, сэр, а может быть, и не один месяц, я уж теперь не помню, когда меня на такое дело подбили, это все Ботольф подбивал воровать, а сам я всегда был честный, да, сэр, это и все могут подтвердить». Ботольф к нему приставал, уговаривал, просто житья не давал, ну он и уступил, лишь бы его оставили в покое, сколько раз собирался все дочиستا выложить мистеру Энтони, но как-то позабывал, и надо же случиться такой беде, что трезвого, честного, степенного, работающего возчика подбил на воровство хитрый, изворотливый, продувной мальчишка!

Ботольф стоял рядом с ним, бледный, как сама смерть, облизывая сухие губы, кусая ногти; от страха он едва держался на ногах и все пятился и пятился, пока не почувствовал за спиной деревянную стойку.

Энтони, суровый и холодный, слушал, поджав губы, потом сказал, подняв голову, чтобы его слышно было самым тугухим, — все боялись проронить хоть слово:

— Ты был возчиком в такой фирме, для которой всякий счел бы честью работать, но пренебрег этой честью, предпочел стать бродягой, подлым вором, нераскаянным грешником. Убирайся с глаз моих, мерзавец!

И возчик, чуть не плача, удалился с глаз хозяина, а по дороге сначала Дайк с удовольствием дал ему пинка в зад, потом Энтрус, за ними все рассыльные по очереди, и, наконец, Джонни выпроводил его пинком за ворота. Но возчик все это принял покорно, как воздаяние за совершенный им проступок, и, проходя мимо них, даже не прибавил шагу.

Привели и сестру Ботольфа, чтобы она присутствовала при казни. Она вошла между Хьюсоном и главным управляющим Соррасентом — пухленькая, рыженькая девчонка с серыми глазами и лицом, усеянным веснушками. С такой вряд ли кто захочет обниматься, подумал Джонни, разве только сослепу. Ей сообщили о том, что произошло, и выдали увольнительное свиде-

тельство, ибо все были согласны, что она не может оставаться в фирме, которую обворовал ее брат.

Она стояла перед ними, в черном платье с белой рюшкой у ворота, в узких, туго накрахмаленных рукавчиках у кистей рук, в черной фетровой шляпке с зеленым птичьим крылышком, и овальная брошка слоновой кости в бронзовой оправе — бегущий олень — то поднималась, то опускалась у нее на груди.

Она стояла перед ними, в двух шагах от брата и в трех от Энтони, пряча лицо в платочек, и тихо плакала, готовясь выслушать все, что скажет Энтони ее брату.

Убитый скорбью, возчик скрылся за ворота, и Энтони, проводив его взглядом, медленно повернул голову и уставился на Ботольфа, который в испуге прижался к деревянной стойке, не смея отвести глаз от змеящего взгляда Энтони.

— Подойдите ближе, сэр, подойдите поближе.

Ботольф с трудом оторвался от стойки и сделал два-три неуверенных, робких шага в сторону Энтони.

— Если бы мы не желали скрыть от всех, что наша фирма держала на службе вора, — сказал Энтони, — вы не ушли бы от меня так, вас увели бы под руки два полисмена. Пусть солнце светит равно на правых и виновных — здесь, в этих стенах, мы не допустим, чтобы оно светило на виновных. Вас пригрела на груди наша фирма, репутация которой стоит выше подозрений, перед вами открывалось прекрасное будущее, но вы предпочли путь бесчестия и порока, вы навлекли позор на ваше семейство, вы погубили вашу сестру. Если б вы не выбрали по своей воле такую жизнь, то сегодня вы получили бы жалованье, а не волчий билет. Вместо того чтобы стать верным слугой, вы стали гнусным вором и мошенником. Мы все рады от вас избавиться. Прочь с глаз моих, накрахмаленный бродяга!

И Ботольф, облизывая сухие губы, стараясь скрыть дрожь в ногах, бежал от лица хозяина своего, и по дороге его с удовольствием пинали в зад и Дайк, и Энтрус, и те из рассыльных, кто был поближе; Джонни наподдал ему напоследок и выпроводил его за ворота.

Ботольф вынес все это стойко, вздыхая о своем прегрешении и чувствуя, что все это лишь малая мзда за его непокорство.

— Фью, — сказал Дайк, брезгливо морща нос, и громко, так, чтобы слышали Энтони, Хьюсон и Соррасент, прибавил: — Слава богу, убрался, гад! Без него и воздух стал чище.

Хьюсон и Соррасент повернулись и пошли по своим местам, и Энтони убрался в свою конуру, как улитка в раковину, а рыженькая девочка с веснушками, одетая в черное, осталась стоять возле конторки Нирэса, пряча лицо в платочек, и овальная брошка слоновой кости в бронзовой оправе — бегущий олень — то поднималась, то опускалась у нее на груди.

Несколько минут она тихо плакала, потом Нирэс, наклонившись над конторкой, дотронулся до ее плеча.

— Ступай себе домой, девушка, — сказал он ласково, — и не забывай того, что случилось с тобою сегодня.

Прикосновение к плечу вывело ее из неподвижности. Она отошла от конторки, пряча лицо в платочек, пробежала по коридору, повернула в ворота, и навсегда скрылась из виду, сошла со сцены черная фигурка в фетровой шляпке с зеленым крылышком и с бегущим оленем на груди.

Все это произошло вчера, и теперь Джонни вспоминал вчерашнее, проходя по Сэквилл-стрит, мимо пожарного, который сидел в сторожевой будке и курил свою трубочку под усеянным звездами небом, готовый по сигналу отомкнуть пожарную лестницу, прикованную к каменному столбу, и ринуться с нею вперед, во главе бегущих на пожар граждан.

Спеша на свидание со своим возчиком Дорином, в бар Доуни на Грейт-Бритн-стрит, Джонни не мог отделаться от мыслей о Ботольфе, о пинках в зад, о бегущем олене на груди заплаканной рыженькой девочки. Дорин дня два назад видел целую партию бракованной фаянсовой и эмалированной посуды, которую Энтони собирался продать по дешевой цене уличной торговке Бидди, развозившей эту битую посуду на тележке и сбывавшей ее самым последним беднякам, ютившимся в трущобах. Дорин попросил у Джонни треснутый чайник, а Джонни дал ему новый и пообещал дать много кой-чего другого, если он сумеет держать язык за зубами. Как раз после этого поймали Ботольфа, и Джонни уговорился с Дорином сойтись в баре Доуни на совет, как вести себя, чтобы не попасться.

Джонни взглянул на лунный серп, который повис в небе среди роящихся звезд. Что такое луна и что такое звезды? Он перелистал «Историю неба» Болла, смотрел и текст и картинки, однако все это было еще трудно для него. А все-таки он будет учиться, непременно будет. Ни за что не останется неучем, как обозвал его Арчи, когда он осмелился вставить свое слово в спор между Арчи и Далтоном насчет битвы при Аугриме и осады Дерри. Если отец, сидя над книгами, сумел стать образованным человеком, то сумеет и сын. Все непонятные слова он отыскивал в старом отцовском словаре. Мало того, он учился физической, политической и экономической географии по старому отцовскому учебнику «Всеобщей географии» Сэлливана. Мало того, он учился еще и грамматике, и истории по отцовской «Истории реформации» Мерля д'Обинье и уже знал кое-что о Лютере, Меланхтоне, Эразме: о кротком Меланхтоне, упрямом Лютере, пылком Цвингли, ученом Эразме. Они делали божье дело, опровергая догмат непогрешности папы, а еще труднее было вернуть церковь вавилонскую на путь истины. Но больше всех других книг Джонни нравилась американская книжка «Общедоступная энциклопедия», в которой было множество самых разнообразных сведений по физиологии, минералогии, мифологии, вместе с краткой историей всех стран и народов, от плена Вавилонского до взятых в плен под

Йорктауном и Саратогой; и все это заканчивалось трубным гласом великой американской конституции. Джонни запомнил множество имен — Кир, Зевс, Семирамида и ее супруг Нин, строитель Ниневии, о которой упоминается в библии; Ксеркс, Леонид, Александр Великий, для которого мир оказался слишком тесен; Ганнибал, Цезарь, Датий, Агрикола, Марк Аврелий, Гектор, Одиссей, Колумб — о нем Джонни слышал и раньше; квакер Пенн, обращенный в Корке, Вашингтон, которого у нас редко поминают, и его друг Франклин, который на досуге, когда больше нечего было делать, привязал к хвосту змея ключ и таким образом открыл электрический ток, и многие другие; все гиганты — о чем и толковать, не то что Хьюсон и Энтони, жалкие пигмеи, сидят себе среди горшков и сковородок, мыла и свечей. Не забыть бы завтра стащить штук пять вагонных свечей, они горят гораздо ярче и ровнее простых, которые брызжут и едва светят, что очень вредно для глаз.

— Леонид, — бормотал он, — предводитель трехсот при Фермопилах, всыпал персам по первое число, ударение на предпоследнем слоге, так сказано в словаре Уокера, а когда однажды старик, войдя в переполненный театр, искал себе места, молодые афиняне расселись как можно шире, не пуская старика, и, видя это, он поспешно отошел туда, где сидели лаке-лаке-лаке-демона, которые поднялись, как один человек, уступая место старцу. Афиняне, устыдившись, приветствовали рукоплесканиями благородный поступок лаке-лаке-демонян, на что старец, встав со своего места, отвечал: «Афиняне знают, что такое учтивость, спартанцы же учтивы на деле!» Все это было очень мило и благородно в то время, думал Джонни, а попробовали бы сейчас!

Он пересек Сэквилл-стрит, свернул на Грейт-Бритн-стрит и подошел к бару Доуни, где Дорин ждал его под часами, не сводя глаз со стрелок. Они вошли в бар, отыскивали укромный уголок, и Джонни заказал себе рюмочку портвейна по приглашению Дорина, а Дорин ласково улыбался ему из-за кремовой шапки пены.

— Вот что, — сказал Джонни, после того как отпил полрюмки, а Дорин осушил полпинты пива, — теперь, когда с Ботольфом случилась такая беда, придется держать ухо востро.

— Надо же устроить такую пакость, взял да и запустил лапу в деньги, — говорил Дорин. — Почему ж он не мог поступать по совести, брал бы одни товары, как мы.

— Да еще сорил деньгами направо и налево, — прибавил Джонни, — всем было видно, что таскает из кубышки.

— Щенок в крахмальном ошейнике, — сказал Дорин.

— У тебя ведь есть мальчишка лет четырнадцати?

— Да, есть, — ответил Дорин, — и хоть я ему отец, а все-таки скажу, что мальчик бойкий, на все руки.

— Ну так вот, — сказал Джонни предостерегающе, — если я тебе что-нибудь дам, никогда — понимаешь, никогда — не подъез-

жай к своему дому и не отдавай своим. Начнут болтать соседи, то да се, и мы с тобой оба сядем за решетку, я смолodu, а ты под старость. Так что я никогда ничего не буду тебе давать, кроме как в последний рейс. Всегда бойся, как бы я тебя не поймал где-нибудь поблизости от твоего дома, а если хоть раз поймаю, ничего ты больше не получишь, так и знай.

— Да господь с тобой,— забожился Дорин,— с какой стати я буду это делать? Стану я пугать курочку, которая несет золотые яйца! Не такой уж я разиня. Буду развозить товар умненько, никому и в голову не придет, что пропала хотя бы обгорелая спичка.

— Вот как нам надо делать,— поучал его Джонни.— Пускай твой мальчишка встречает тебя где-нибудь подальше от дома. Передашь ему что надо и поезжай дальше, а он понесет домой, будто купил, как полагается, в лавке. Понял?

— Еще бы не понять,— сказал Дорин,— только, может, хозяйка больше подойдет?

— Нет, нет, только не хозяйка,— нетерпеливо ответил Джонни,— чтобы твоя хозяйка никогда, ни под каким видом не приходила за товаром. А если подвернется под руку полицейский да увидит, как ты ей что-то передал? Ему это покажется подозрительным, пристанет с расспросами. Нет, хозяйка не годится. Мальчик — другое дело: полицейский и внимания не обратит, подумает, что он твой подручный.

— Господи, а мне и в голову не пришло,— воскликнул Дорин, осушая свой стакан до последней капли.

— Зато мне пришло. Береженого бог бережет.— Он достал из кармана карандаш и клочок бумаги.— Теперь скажи мне, что тебе больше всего нужно для начала?

Дорин поджал губы и, закрыв на секунду глаза, отпил большой глоток из новой пинты пива, потом открыл глаза, ставя кружку обратно на стойку, потом опять закрыл, чтобы в темноте легче было думать.

— Нам чертову пропасть всего надо,— пробормотал он,— что и было когда, того давным-давно в помине нет. Хозяйка то и дело стирает, все чистоту наводит... Ну, скажем, мыло, спички, синька, крахмал.

— Так,— сказал Джонни, записывая.— Завтра к вечеру я тебе приготовлю хороший сверток. Еще что нужно — кастрюльки, щетки и прочее?

— Господи,— сказал Дорин,— ничего этого я даже и не прошу, надо же все-таки совесть иметь.

— Совесть? — спросил Джонни.

— Ведь и я должен тебе что-нибудь давать, если получаю от тебя подарки.

— Нет, нет, так не годится,— быстро ответил Джонни,— я на это не согласен. Тебе покажется, будто ты платишь за вещи, ты начнешь орудовать спустя рукава, да и я из-за твоих денег

забуду, что надо держать ухо востро. Перестану за тобой следить, мы и влипнем оба. Нет, если только ты забудешься — конец нашему уговору, говорю тебе раз навсегда!

Дорин схватил руку Джонни и долго-долго тряс ее.

— Понимаю,— ответил он с чувством,— так все и будет, как ты сказал. Хороший ты парень, правильный парень, золотое сердце, лучше не сыщешь,— сказал он.— На тысячу один, хороший товарищ, верный человек,— сказал он,— не такой, как другие,— подлизы, подхалимы, так и выются около Энтони да около Хьюсона; родную мать продадут, подлецы, лишь бы угодить хозяину. А ты не такой, не может быть сравнения! Никакого сравнения — настоящий парень, надежный парень, не дашь богатому обидеть бедняка, на тебя можно положиться, все равно что на каменную гору.

Джонни покраснел от гордости и с чувством пожал руку Дорину. Выйдя из бара, они расстались на углу Сэквилл-стрит.

— Счастливо оставаться, Джек,— сказал Дорин, снова пожмая руку Джонни.— И уж будь покоен,— продолжал он,— моя хозяйка помолится за тебя, когда пойдет в церковь, а то и свечку поставит святому Антонию, чтоб он помог нам с тобой хоть немножко разжиться.

Лунный серп провожал Джонни до самого дома, после того как он расстался с Дорином. Он шагал быстрее — и лунный серп быстрее плыл по небу; он замедлял шаги — и луна замедляла свой бег, чтобы составить ему компанию. Она смотрела из-за облаков, и казалось, будто чье-то лукавое лицо исподтишка поглядывает сквозь занавес, что делается в зрительном зале. Из всех светил небесных луна была ему всего ближе. Где же теперь солнце? Где-то на востоке, или, как говорит старое предание, плывет по бурным северным волнам в золотой чаше Вулкана к тому месту, откуда оно восходит по утрам. Странное поверье. Невежество прошлых веков. Жалок род человеческий!

Что ему нужно добыть для Дорина? Пачку спичек, фунт мыла, две пачки гудсонова экстракта, снънки, ваксы, половую щетку и кастрюлю пинты на три. Недурно для начала.

Небо и земля. Взгляд вверх — и покажется, что они вовсе не так далеки друг от друга. А сотворены они были вместе. В начале бог сотворил небо и землю... Каково, а? Совсем рядом. А все-таки иногда кажется, что они черт знает как далеко друг от друга.

Подойдя к своему дому, он посмотрел на небо, прежде чем войти в дверь. Луна светила прямехонько ему в лицо. Напомнила о чем-то. О чем? Ах, да: круглая бронзовая оправа, и в ней бегущий олень то поднимается, то падает на груди плачущей рыженькой девочки.

Ну и пусть!

Он вошел; и было утро, и был вечер, день четвертый — день расплаты.

ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЛО

Джонни стоял в переулке позади склада и, поглядывая направо и налево, проклинал Бидди.

Весь брак, попадавший в ящиках, лишь бы он в руках не рассыпался, всю эмалированную посуду, весь фарфор и фаянс, поврежденные на складе при переноске с места на место, собирали на отдельную полку и потом продавали большеголовой, большепогой, большерукой женщине с лицом деревянного болванчика, которая до того была похожа на сестру главного управляющего, что эту сестру, служившую старшей продавщицей, за глаза все тоже звали Бидди. Джонни, по приказу Энтони, ждал, чтобы явилась Бидди с ослом и тележкой и забрала всю битую посуду, поторговавшись сначала, так как Энтони всеми правдами и неправдами норовил сорвать побольше за никуда не годный брак; потом Бидди сбывала его беднякам, ютившимся в городских трущобах. Пора было уже закрывать магазин, и если Бидди не явится сию минуту, Джонни не удастся скоро уйти домой — пока-то они сторгуются да пока-то вынесут весь товар. И вот он стоял в переулке, поглядывая направо и налево и проклиная Бидди.

Был мирный вечер, жарко сияло солнце, и небо в вышине было густой, чудесной синевы. В переулке, тянувшемся от Коулс-лэйн до Мар-стрит, топталась испуганно мычавшая скотина, две-три коровы метались, обезумев, силясь выбраться из мрачных проходов, ведущих к бойням, и спотыкаясь на скользких от мочи булыжниках. В воздухе стоял тяжелый запах гниющей крови и навоза, везде валялись кучи отходов, за ними настороженно следила толпа оборванных женщин и подростков; уловив минуту, счастливицы бросались к куче и, выхватив оттуда кусок печенки или покрытые зеленой слизью кишки, несли домой. Джонни привык к тяжелой вони, стоявшей в воздухе, оттого что во дворах боен, где резали скот, служащие фирмы иногда сваливали лишние ящики, для которых не хватало места на складах, за это фирма иногда платила шиллинг-другой мяснику, совершавшему в тот день закланье.

Джонни случалось поскользнуться в грязи, случалось и пачкать руки в навозе, налипавшем на ящики, когда их тащили по скользким булыжникам, нередко случалось мыть обгаренные кровью руки в той же бочке, которой пользовались и мясники, — в бочке с водой кровавистого оттенка, всегда затянутой жирным налетом. Мясники были дюжие, быковатые парни, сплошь пропитанные салом умирающих и мертвых животных, добродушные, несмотря на свой свирепый вид. Джонни часто видел, как они отдавали все, что можно, из кровавых отходов в цепкие руки оборванных бедняков. Они застенчиво ухмылялись в ответ на благосклонный кивок мистера Энтони, которым он всегда одарял мясников, отправляясь на склад проведать, все ли там благополучно и идет как следует и не

лентяйничает ли кто-нибудь, вводя фирму в убыток; он считал нужным относиться благосклонно к тем, кто бесплатно предоставлял ему складское помещение, вымощенное коровьим навозом, где Джонни часто видел предсмертные муки животного, которое было все слабее и слабее в последних судорогах и вдруг замирало неподвижно; где он так часто слышал предсмертное блеяние овец с перерезанным горлом, встречавших свой конец на холодных булыжниках, медленно издыхая среди собственного навоза. Он видел, как мясник вдруг останавливался с занесенным ножом и как молодые и старые зрители у забрызганных кровью ворот закрывали глаза, склонив нечесанные головы, крестились и шептали «Ave Maria», как только соборные колокола начинали благовестить к вечерне.

И надо всем этим раскинулось большое синее небо, как большой синий цветок, и его золотая сердцевина отражалась в булыжниках мостовой, пестревших зеленой слизью и темно-красными лужами, которые кое-где чуть дымились, словно догорали жертвы на алтаре полузабытого божества.

Это надо бы делать в зимнюю стужу, думал Джонни, когда бедные животные сами рады уйти из жизни — от колючего холода, от проливного дождя и резкого ветра. А как, должно быть, трудно расставаться с жизнью, когда сияет солнце, как трудно умирать, когда ласково синее небо!

А вот и Энтони выходит со склада, спешит в свое гнездышко, чтобы снова уткнуться в цифры, которые все растут и тянутся кверху, пока не проткнут насквозь небо и не посыплются золотым дождем к ногам божиним.

Вот он идет — и вдруг бросается ястребом за черной пробкой, которая валяется на дороге, и, метко нацелившись, швыряет ее в ящик для бывших в употреблении, но еще годных пробок.

Вот он идет, осторожно ставя отлично начищенные башмаки, лучезарные, как его душа, чтобы не запачкать их в радужной слизи кровянисто-зеленых луж; спина у него начинает слегка сутулиться, и оттого часовая цепочка болтается на животе, гладко причесанная голова начинает ссыхаться, ледяные глаза слезятся на ветру; уверенно шагает он, быстро и осторожно, что он принадлежит богу, он знает бога и бог его знает; и гласи вместе. Ввал его в конуру за стеклянной перегородкой, чтобы с Совсем тушкой загребал барыши.

А вот наконец и бойкая старуха Бидди, вот ее ослик и тележка; и Джонни бежит сказать Энтони, что она здесь, осматривает поврежденный фаянс и оценивает, какая будет польза беднякам от битой, бракованной посуды.

Появляется согбенная спина, высохшая голова, болтающаяся цепочка, холодные глаза; сияясь послать благосклонный взгляд стоящей перед ним Бидди, тихонько покачиваются на носках, позванивают ключами и мелочью в карманах; холодные глаза следят за морщинистым лицом Бидди, которая разглядывает зло-

получную посуду, тонкие губы ждут, чтобы она первая заговорила с согбенной спиной, высохшей головой, болтающейся цепочкой.

— Не бог знает что, нечему сегодня и порадоваться бедной женщине, — ворчит она. — Сколько же вы хотите за ваши черепки?

— Ну, ну, Бидди, не ворчите, не придирайтесь. Взгляните-ка еще раз хорошенько, — отвечает фигура, тихонько раскачиваясь на носках. — Отличная партия крепкой посуды, право. И вам я ее уступлю за двенадцать шиллингов шесть пенсов — и ни фар-тинга меньше.

— Эх, мистер Энтони, у вас, верно, в глазах двоится нынче вечером. От жары, что ли? Двенадцать шиллингов шесть пенсов, вы сказали? Что же вы думаете, у меня золотые россыпи под ослиным стойлом? По-вашему, это крепкий товар? Да тут ни одной крепкой штуки нет, только дохни — все развалится. Разве дурак какой-нибудь купит, а ведь сколько мучений, пока сбудешь товар с рук. Нет уж, мистер Энтони, что правда, то правда. Глядите сами, разве это горшки? Руками их, что ли, придерживать, когда на огне стоят?

— Ну, Бидди, это выхватили через край. Не такие уж большие трещины, и до середины не доходят. Обращаться с посудой бережно, так она еще послужит беднякам, еще послужит. Такого товара у вас никогда не бывало, его сразу видно. Пусть будет десять шиллингов, так что ли? Да не упрямитесь же! Поглядите хорошенько, когда будете выносить, и увидите, что десять шиллингов — божеская цена, самая настоящая.

— Я и отсюда отлично вижу, с того места, где стою, — ответила Бидди, упорно не поворачивая головы и сосредоточенно разглядывая кучу битой посуды, — очень даже хорошу вижу; да вы, должно быть, шутите, сэр, хотите подразнить бедную старуху. Десять шиллингов! Или я уж оглохла — слышалось мне, будто с меня просят полсоверена за кучу никуда не годных черепков.

— Десять шиллингов, а стоит она вдвое больше, — бормотала фигура, тихонько раскачиваясь на носках.

— Ах так, значит, я не оглохла, просто вашей милости захотелось подшутить над бедной, ни в чем не повинной старухой, поугатать ее! Да ведь если бедная старуха даст эту цену, она по миру пойдет, и вашей милости это известно. Десять шиллингов! Кабы луна была из золота да стояла у меня на камине, уж так и быть, я расщедрилась бы, дала бы полсоверена. Подумали бы вы, каково мне будет заговаривать зубы покупателям, ведь посуда воды не держит, а ухватить ее покрепче — рассыплется в прах.

Энтони перестал покачиваться на носках и застыл на месте, в елеинный голос вкрались жесткие ноты.

— Так вот, — сказал он, вынимая руки из карманов и держа их по бокам, — последнее слово — семь шиллингов шесть пенсов.

Бидди вдруг повернулась к Энтони всем лицом, всей своей широкой, сильной и еще гибкой фигурой, слегка упершись одной рукой в бедро; она так зорко посмотрела на Энтони живыми, круглыми, как бусинки, глазами, что он низко нагнул голову, перебирая часовую цепочку.

— Пусть уж будет ровно семь шиллингов,— сказала она,— так и быть, махну на все рукой, сделаю глупость в сто первый раз в жизни.

— Семь шиллингов три пенса в таком случае,— произнесла склоненная голова,— и довольно разговоров.

— Слова больше не скажу,— подхватила Бидди,— разве только вздохну разок про себя, ведь вы хоть бы поглядели как следует, за что просите семь шиллингов три пенса. А я с людьми спорить не берусь,— это разве всевышнему под силу, да и ему не сразу удастся. У меня с малых лет одно несчастье — я за себя постоять не умею, слово сказать боюсь; боже сохрани, чтобы я стала со своим мнением навязываться, когда человек и без меня знает, где раки зимуют, да еще и богу сумел угодить. Вот оттого я никогда и не умела гроша выторговать, хотя бы деньги сами шли в руки; ну, да вы меня не обидите, я знаю, вы человек правильный, настоящий джентльмен, спокон веку торгуете по совести, и ничего плохого тут не будет, если я вас попрошу уступить всю эту битую дрянь ровно за семь шиллингов, как я сначала вам давала.

— Ну хорошо,— сказал Энтони, улыбаясь благосклонно и вздыхая про себя,— пускай будет ровно семь шиллингов.

Бидди завернула кверху тяжелую юбку, вытащила грязный полотняный мешочек из внутреннего кармана в нижней юбке, вытащила деньги из мешочка, бережно их пересчитала и бережно вложила в длинную, тонкую, белую, костлявую руку мистера Энтони; ключи на это время перестали бренчать, и мелочь в кармане не звенела, семь шиллингов были тут же отнесены в гнездышко на другом конце магазина, заперты в сейф, и продажа записана в конторскую книгу среди других, более крупных цифр, так что в гнездышке за стеклянной дверью прибавилось еще одно янчко.

Все служащие давно ушли домой, кроме Джонни, которому пришлось остаться, чтобы проводить Бидди и помочь ей вынести поврежденный товар навстречу грубости ожидающего мира. Он проклинал Энтони: надо же было торговаться столько времени из-за паршивых трех пенсов и задерживать его дольше положенного времени!

Бидди начала выносить искалеченный товар, бормоча все, что приходило в голову, столько же для Джонни, сколько и для всего света; она ловко поворачивала во все стороны каждую вещь, тревожно ее разглядывала, как мать глядит на слабенького, умирающего ребенка, и приговаривала: ага, вот и эта никуда не годится, ее уж не починишь, а тоже обошлась мне недешево; те-

перь дай бог тихую погоду — ведь все рассыплется, только по-
дуй ветер; а мои денежки поминай как звали, пошли в карман
этому скверному обдирале и лжесвидетелю. Господи, и эта чуть
не развалилась у меня в руках, — туда же, велит молчать, когда
сам бог хочет заступиться за бедных и угнетенных. А там знай,
гляди в оба да отпихивай их, как налетят да начнут хватать
руками такой деликатный товар, и туда же: ах, какая трещина,
мадам, и здесь тоже расколото, мадам, не стоит и в руки брать,
возьмешь, а потом дрожи весь день, как бы оно не развалилось
у тебя на глазах, пока несешь с полки на стол да со стола на
полку; так напрасно вы и смотрите, мадам, я вам свой товар не
навязываю, хотя, если даже вы говорите правду, только самый
зоркий глаз заметил бы эту трещину, да она, может, и совсем
зарастет, как побудет в употреблении, боже милостивый, и эта
чуть жива, не трогайте, коли не нравится, не хватайте, пожалуй-
ста, руками, откуда я вам возьму новую посуду, да и что вы в
ней смыслите, только со старьем и умеете обращаться; ну только
в другой раз мистер Энтони меня не проведет, буду глядеть в
оба и своего не упущу, он у меня сгорит со стыда, хитрая
рожа, — так и рыщет, чем бы поживиться, так и смотрит под ноги,
не обронил ли кто монету; распустил по брюху цепочку, блестит,
как звезда небесная. Ох, и двинула бы я его кулаком, изваляла
бы в грязи, небось, было бы не до блеску. Ну, да, слава богу,
недолго ему бренчать деньгами в кармане да подсчитывать,
сколько он нажил с бедной старухи, — скоро, скоро понесут его
тощее тело под ледяную горку, в холодную могилку, нагим он
сойдет в нее, — нагим, как родился, холодным снегом засыплет
голову старого шута, и жестокий мороз проберет его до костей.

— И ведь ни одной штуки нет, — говорила она, вынося
последние кастрюльки, — чтобы хоть чуть была лучше той сво-
лочи, которая плетется ко мне за покупками; вот уж два сапога
пара, битые-перебитые, только и годятся, что на свалку, а поди ж
ты, лезут туда же, куда и люди, да где им, за что ни возьмутся,
все изгадят.

Она злобно покосилась на Джонни, который стоял у ворот,
дожидаясь, пока она вынесет весь товар, и прислушиваясь к вор-
чанью торговли бракованной посудой.

— Некоторым только и занятия, — говорила она громким го-
лосом, — что дожидаться, не сыщется ли какой Моисей в тростни-
ках. Хорошее дело — стоять сложа руки, пока другие работают.
А потом наострят уши да подслушают, что по простоте сказано,
подхватят и пойдут наушничать: да, мол, слышал, — а на деле-
то ветром принесло; точно крылатое семечко подхватят да и раз-
дуют в целый костер вранья. До чего дошло, нигде не пробьешь-
ся, везде полно лентяев и бездельников.

Она бережно опустила последнюю штуку битой посуды на со-
лому, взяла поводья в левую руку и подтолкнула задремавшего
осла палкой, которую держала в правой руке.

— Можешь запира́ть ворота за мной и за моими семью шиллингами,— сказала она Джонни,— да передай хозяину от меня: не больно-то он с них разбогатеет. А ты,— сердито прикрикнула она, снова тыча палкой в осла, сонно шевелившего ушами,— пошел, да не забывай, что везешь дар божий бедным людям; ступай помаленьку, косолапый, у меня и так сердце не на месте, того гляди привезем домой одни черепки.

— Прощай же, прощай,— отозвался Джонни, небрежно махнув рукой вслед ослу,— прекрасная леди из Шалотта!

— Из какого болота? — Бидди резким движением остановила осла и бросилась, разбрызгивая лужи, назад к Джонни, запиравшему ворота, и так взмахнула палкой, что, если бы попала, рассекла б ухо пополам.

— Ах ты, благородный дохляк, сволочь этакая! — вопила она охрипшим голосом.— Я тебе всю рожу расшибу, собою с тебя спесь, посмей только пикнуть, а не то что обзывать невесту как почтенную женщину, равнять ее с какой-то там шлюхой.

— Ступай, ступай своей дорогой,— ответил Джонни, испугавшись злобного блеска ее глаз и хватая со скамьи молоток, чтобы защититься им от палки.— Ступай домой, старуха, дай запереть ворота.

— А,— закричала она,— так ты поднимаешь молоток на беззащитную, бездомную старуху, вот ты как! Убивать меня собрался, вот оно что, галстучник бесстыжий! Бога ты не боишься! И как поднимается у тебя рука на тихую, богобоязненную женщину! — И Бидди опять нацелилась палкой, но он отразил удар молотком, так что она только ободрала себе пальцы.

— Это еще что такое? — услышался голос Энтони, который избежал бегом и бросился разнимать Джонни и обозленную старуху.

Та сосала кулак, шипя от боли.

— С палкой на меня бросилась ни с того, ни с сего,— сказал Джонни.

— Вы слышали или нет? — с возмущением закричала Бидди.— Ни с того, ни с сего, говорит, а ведь даже стены покраснели, как он меня обозвал,— почтенную женщину сравнивал с безбожной шлюхой.

Энтони пощелкал языком, и холодный, полный ярости взгляд устремился на Джонни. Потом длинный костлявый палец предостерегающе коснулся плеча Бидди.

— Ступайте домой, добрая женщина,— сказал он,— ступайте домой и успокойтесь; знайте, что с этого дня я сам буду заниматься с вами и оказывать вам должное почтение, когда вам случится бывать здесь по делу.

— Благодарю вас, сэр, благодарю вас,— ответила она, приседая.— Мне только одно удивительно, что такому озорнику потворствует ваша почтенная фирма. Вперед говорю,— прибавила она, собираясь уходить,— что, если он еще раз посмеет обозвать

меня как-нибудь, я не погляжу, что тут его начальство, он у меня очнется только на том свете!

Энтони уставился холодным взглядом на Джонни и целых двадцать секунд смотрел на него, не говоря ни слова.

— Что ты ей сказал? Отчего старуха так рассвирепела? — спросил он. — Ну, говори же, чем ты так грубо ее оскорбил? — прибавил он, так как Джонни молчал, опустив голову.

— Я только упомянул про леди из Шалотта, — угрюмо ответил Джонни.

— Так вот, нам здесь не требуется никаких леди, и поминать их нечего, — сказал Энтони. — Здесь ты должен заниматься делом, и только делом. Держи себя в руках, Кэссиди, пока ты на службе; на улице, с твоими приятелями, можешь разыгрывать шута горохового сколько угодно. А теперь запри ворота и ступай домой.

— Я давно уже был бы с моими приятелями на улице, — строптиво ответил Джонни, — если б вы меня не задержали на час дольше, чем полагается. А вот если б я ходил в Меррион-холл, так был бы у вас на хорошем счету.

Сумрачная усмешка тронула поджатые тонкие губы Энтони, костлявые пальцы завертелись один вокруг другого, словно змеи на голове Медузы. Взглянув на него искоса, Джонни заметил, что его бледное лицо покраснело и ледяные глаза сверкнули холодным блеском.

Джонни закрыл ворота, задвинул засовы, повернул ключи во всех замках и услышал язвительный голос, перебиваемый злобной дрожью.

— В Меррион-холл, Кэссиди, допускаются только порядочные люди, молоды они или стары. Тебя туда и на порог не пустят. Перед молодыми грубиянами эта дверь закрыта навсегда. В нашем молитвенном собрании нет места тому, кто водит компанию с оборванцами последнего разбора; собственно говоря, ему и здесь не место, так что, если ты ничем не докажешь, что понял, какая честь работать в нашей фирме, то вот тебе бог, а вот порог. А теперь ступай.

Джонни щелкнул последним ключом в последнем замке и, повернувшись на каблуках, поплелся по магазину, преследуемый Энтони, а Хьюсон, вытянувшись, словно аршин проглотил, стоял на страже перед конуркой Энтони; он холодно, насмешливо и злобно глядел вслед уходившему в бессильной ярости Джонни, которого уличили в попытке нагрубить старшим.

Работа не бог весть какая, быстро мелькало в уме Джонни, пока он плелся к выходу. Неужели на этой работе свет клином сошелся? А если сошелся — пускай, не жалко. Что ж, он так и уйдет от этих чванных пустосвятов, молча, без единого слова? И ничем не покажет, что плевать он на них хотел? В него словно бес вселился. Он уже не плелся кое-как, а высоко поднял голову и, надрываясь от крика, запел во все горло:

На солнце он сверкал челом,
Но не скрывал кудрей шелом;
Стальных подков был слышен гром,
Когда на скакуне своем
Спешил он в Камелот.

Джонни чувствовал, что оба Януса так и замерли на месте, полные злобы и изумления. И он запел еще громче:

Когда по берегу он мчал,
Вдруг к леди в зеркало попал,
И громко песню напевал
Рыцарь Ланцелот¹.

Джонни весело швырнул ключи на прилавок, открыл застекленную дверь, вышел и хлопнул дверью. Он услышал, что она сейчас же открылась опять, услышал голос Энтони, громко зовущий: «Кэссиди, вернитесь!», потом голос Энтони умолк и послышался голос Хьюсона, который звал еще громче: «Вернитесь, Кэссиди, вернитесь, сэр!»

Я вернусь завтра утром, в то же время, что и всегда, думал Джонни, и так же, как всегда, войду смело и погляжу, что они мне скажут; если выгонят — ну что ж, у лисиц есть норы, у птиц небесных — гнезда, и я себе найду местечко, мне бояться нечего.

Все дальше и дальше шел Джонни по темному магазину и, распахнув настежь дверцу в спущенной железной шторе, вышел на улицу, громко хлопнув дверцей, и, посвистывая, отправился домой, весело шагая в блеске и зное яркого летнего солнца.

И было утро, и был вечер, день пятый — день брани.

АЛИСА, ГДЕ ТЫ?

Утром, когда Джонни шел на работу, на душе у него скребли кошки. Он был почти уверен, что его выгонят. Ну что ж, он примет это, как подобает мужчине, и пошлет их всех к черту. Ничего другого и не остается.

И все-таки на душе у него скребли кошки, было холодно, его познабливало. Матери он ничего не сказал. К чему? Уволят его — она все равно смолчит, вот это и плохо. Если б она рассердилась, наорала на него — ну, тогда было бы легко отбиваться; но нет: она только вздохнет, а на это возразить трудно. Семь с половиной шиллингов в неделю — не бог весть какие деньги, а все-таки подмога, так что, если их не станет, ей будет от чего вздыхать, это верно. Ну, да много ли значат два-три лишних вдоха для женщины, которая всю жизнь только и делала, что вздыхала.

И бедного Дорина нужно поддержать. Пусть выгонят — не оставлять же его в беде. Ого, это, оказывается, она идет впереди — ну да, она, Алиса Бойд, пресвитерианка. Хороша девчонка, ничего

¹ Из стихотворения Теннисона «Леди из Шалотта». Перевод В. Рогова.

не скажешь: волосы рыжие, выющиеся, зеленые глаза так и сверкают, и вид шикарный, не хуже, чем у Дженни.

Он прибавил шагу и, догнав девушку, нерешительно пошел с нею рядом, принаравливаясь к ее быстрым, мелким шажкам, а она шла, гордо подняв голову, потому что ровно неделю назад в первый раз надела длинное платье, и весь мир должен был понимать, что она теперь взрослая женщина.

— Ты что это так рано идешь на работу? — спросил он.

— Ждем новую партию посуды, надо подготовить место.

Во рту у него пересохло, и голос звучал хрипло, когда он сказал: — Моя же воля, я бы тебе весь день помогал, но я ведь теперь служащий, а потом мне сегодня скорей всего дадут расчет.

— Да ну? — изумилась она.

— Правда. Меня вчера задержали сверх положенного времени, так я сказал Энтони и Хьюсону пару теплых слов. Вот увидишь, когда он придет открывать магазин и что-нибудь мне скажет, увидишь, что я ему скажу про него и про всю его лавочку.

Она молчала. Он искоса поглядел на нее. Было ясно, что никакого восхищения его похвальба не вызвала. Бойтся принять чью-то сторону против Хьюсона и Энтони, сама дрожит за свое место. Нет у него союзников в битве.

Когда они проходили мимо бара Нэйгла, слуга, смывавший с фасада грязь вчерашнего кутежа, выплеснул в их сторону воду из ведра, и она потекла прямо им под ноги. Алиса негромко взвизгнула, подхватила юбки и прыгнула на мостовую, чтобы уберечь платье от темной жижи, разлившейся по тротуару. Джонни чувствовал, что ему следовало бы отчитать нахала, но мысли его были заняты стройной ножкой Алисы, которая оказалась на виду, когда девушка стала проверять, не забрызгано ли у нее платье. Она забрала юбку вперед, чтобы посмотреть, нет ли пятен сзади, и нога в черном чулке открылась почти до колена, от чего у Джонни забились сердце и вспыхнули щеки.

— Ну как, все благополучно? — спросил он, подходя ближе.

— Кажется. Посмотри-ка сам.

Осторожно и нежно он взял в руки подол ее юбки и поднял еще выше, так что показался краешек белых кружев, белых и удивительно красивых на фоне исчезавшего под ними черного чулка. Пальцы его коснулись чулка и задрожали, словно им передалась трепетная жизнь, струившаяся по ноге девушки.

— Все в порядке, — произнес он медленно, — только на чулок брызнуло кое-где, и то почти незаметно.

Рука его скользнула под краешек белых кружев, но Алиса вдруг оттолкнула его и обдернула юбку.

— Хватит, — сказала она. — Я этого не люблю.

Они пошли дальше. Джонни старался идти как можно ближе к ней и по временам дерзко пожимал ее руку выше локтя. Перед тем как переходить Сэквилл-стрит, Алиса в нерешительности остановилась.

— Ты лучше обойди Колонну с одной стороны, а я с другой,— сказала она,— чтобы в магазине не болтали.— И она сошла с тротуара.

— Стой, погоди.— Он поймал ее за рукав.— Вечером пойдем вместе домой.

— Нет, не пойдем. Это ни капельки не лучше, чем если нас сейчас увидят вместе.

— Тогда позже,— сказал он хрипло, притягивая ее к себе и прижимаясь к ней коленом.— Вечером, где-нибудь, ладно?

— Не знаю. Может быть. А может, и нет.

— В восемь часов, у Биннс-бридж, без обмана. Побродим вдоль канала.— И одна рука уже обняла ее за талию, а другая тянулась к юбке.

— Пусти! — крикнула она.— С ума сошел, все же видят.— Она оттолкнула его руку и бегом побежала через улицу.

— Не забудь,— прокричал он ей вслед.— В восемь часов, у Биннс-бридж. Я буду ждать.

Но она даже не оглянулась. А он пошел не спеша по своей стороне улицы — мимо пожарного, который сторожил пожарную машину, сидя с трубкой в зубах у дверей своей деревянной будки, мимо торговцев, выгружающих на прилавки ларьков корзины и ящики, раскладывающих ярусами апельсины, яблоки и цветы всевозможных оттенков.

И вот уже он на Генри-стрит, где толпы приказчиков спешат к магазинам и складам, и вон впереди костлявая фигура Энтони — тоже торопится, точно человек, которому не терпится повенчаться с самой красивой на свете девушкой или схоронить заклятого врага.

Оглядевшись, он увидел, что его Алиса задержалась возле Гаррисона — дорогой кондитерской, куда ходит завтракать Энтони,— ждет, чтобы вперед прошли мужчины. Он подошел к магазину как раз в ту минуту, когда Энтони стал отпирать дверцу в железной шторе. И тут ему стало страшно. Лучше подождать, пока Энтони пройдет к себе. Но Энтони, отперев дверь, стал в сторонку, пропуская служащих; этого раньше не бывало. И Джонни ничего не осталось, как под холодным взглядом Энтони подойти, пригнуться и юркнуть в дверь, чувствуя на спине холодный взгляд, а за спиной бесшумные шаги, следующие за ним, следуй, следуй, следуй за Иисусом, всюду, всюду следуй ты за ним, следуй, следуй, следуй за Иисусом, куда бы ни вел он, следуй за ним, только сегодня, как видно, решено было следовать не за Иисусом Христом, а за Джонни Кэссиди, потому что, пока он расписывался в книге, холодный взгляд не отрывался от его руки, а когда он подошел к своему столу и стал разбирать заказы, поступившие по почте от клиентов его района, холодный взгляд Энтони все следил за ним, как кошка следит за мышью, притворяясь, что не видит ее.

— Поторопись,— сказал Энтони,— сегодня тебя ждет еще и другая работа.

Он следил за Джонни, пока тот отбирал нужный товар, связывал его в пакеты, наклеивал ярлыки, вносил фамилии и адреса в накладную. Партия товара еще и наполовину не была готова к отправке, когда к нему присоединился Хьюсон, и теперь братья стояли рядом, наблюдая за Джонни. О том, что произошло накануне вечером, ему не было сказано ни слова; но он понимал, что они наказывают его за вчерашнюю дерзость.

Хотят меня сбить, думал Джонни, чтобы я что-нибудь напутал и дал им повод для выговора. Но Джонни крепко держал себя в руках, делал свое дело, да еще напевал «Мой дом в сырой, сырой земле», складывал, завертывал, надписывал легко и четко, как машина, а другие конторщики украдкой поглядывали на него со своих мест и дивились, и злобились; рады были, что товарищу трудно пришлось; каждый напускал на себя праведный вид, словно вот-вот затынет елейным голосом — смотрите на меня, я не такой, как Кэссиди, я ваш верный, примерный, скверный, мизерный, галерный раб, покорный во всем, что касается *semper fidelis*, а сами тем временем только и ждут, чтобы Энтони или Хьюсон напустились на Джонни за что-нибудь, что он сделал раньше или делает сейчас; но, к великому их огорчению, все было сделано на совесть, и Джонни остановился передохнуть возле упакованного товара, ожидая, пока подъедет фургон.

— А теперь, — сказал Энтони, — ступай помоги носить наверх фарфор, кладовщик уже начал его распаковывать.

Так вот в чем дело! Они решили опять поставить его на подсобную работу. От него требуют того, чего никогда не требовали ни от одного служащего. Он заколебался — повиноваться или вступить в спор. Он заметил усмешки на лицах других конторщиков. Рады, сволочи, трусы, черви, подхалимы несчастные!

— Мне ведь еще нужно отправить фургон с товаром, — сказал Джонни.

— Делай, что тебе велено, — сказал Энтони, и его сухие, бескровные губы вытянулись в нитку.

— Без разговоров, — добавил Хьюсон, и его красные, мясистые губы блеснули над черной бородой, как сигнал опасности.

Джонни, кипя от ярости, побрел в переулок мимо рассыльных и упаковщиков, которые притворялись, что очень заняты, а сами провожали глазами сначала Джонни, потом Энтони, шедшего следом за ним с улыбкой на лице, а лицо-то похоже на череп, только глаза еще остались да кости обтянуты тонким слоем желтоватой кожи, — голова мертвеца, в которой еще не отсох язык, торчит из высокого белого воротничка да поглядывает неумолимо на золотую цепочку от часов, что болтается в пустом месте, где должен быть живот, — ох, как хочется Джонни крепко стянуть веревкой эту тонкую хрящеватую шею!

Дойдя до ворот, Энтони вдруг свернул в узкий проход между

¹ Навсегда верный (лат.).

пустых бидонов и бочонков из-под керосина и исчез в сортире, за бидонами и бочками.

Не иначе как его осенила какая-то блестящая мысль, подумал Джонни. Ну что ж, когда раздастся призывный глас, он тоже должен садиться, как и мы грешные; но как такой богатый человек может войти в этот ужасающий хлев, где все заплевано и загажено, просто не понимаю. И Джонни весь передернулся при мысли об отвратительном отхожем месте, которым вынуждены были пользоваться все служащие наружных складов. Принц и пастух, праведник и прощелыга, порядочная и потаскуха — каждый по-своему, когда приходит его время, выполняет это тягостное дело. Бренные люди, как и все прочие. И создал господь бог человека из праха земного. Щегольской костюм, воротничок и манжеты, часы с цепочкой — все прах. И сам он бренный, в бренном костюме, и все — прах и бренность.

— Эй, Джек, — окликнул его Кэри, старший рассыльный, парень лет семнадцати с огненно-рыжими волосами и красивым хитрым лицом. — Что там случилось? Чего он за тобой по пятам ходит?

— Я им обоим здорово вчера надерзил за то, что задержали сверх положенного, — гордо сказал Джонни, — и еще подбавлю, если он от меня не отвяжется.

— Ай да ты, — одобрительно сказал Кэри. — Так, так, держись за свои права, не давай ему спуска. Давно пора ему от кого-нибудь услышать правду.

Он бегом вернулся к своим бидонам, боясь, как бы Энтони не застал его за разговором, а Джонни пошел дальше, заглядывая в склады, полные товаров в корзинах и ящиках, что прибывали сюда по суше и по морю.

— А вот и он, — радушно приветствовал его старший кладовщик и указал на тяжелую корзину, полную фарфоровой посуды. — Бери-ка вот это на спину да тащи наверх, в посудный отдел, только, если упадешь, лучше и не вставай: хозяин у нас нынче не в духах, терпит так, что мочи нет.

Джонни угрюмо покосился на него: темная борода, на узком носу шишка вроде красного желудя; лицо бывшего матроса, он и сейчас еще ходит вразвалку, а когда говорит с достопочтенным Энтони, постукивает себя пальцами по виску.

Тут Энтони собственной персоной вошел в широкую дверь и, склонившись над ящиком с фарфором, стал своей костлявой белой рукой шарить в соломе, точно искал, не завалялась ли там парочка испанских дублонов.

— За сколько времени вы освободите этот ящик? — спросил он у кладовщика.

— Часа за два, не больше, сэр; а может, и меньше, — добавил он, ухмыльнувшись, — если парень возьмется за работу с душой, как и полагается в его годы.

Энтони пропустил без внимания и слова его и ухмылку. Он

дождался, пока Джонни взвалил корзину на спину и пошел, а тогда двинулся следом за ним и отстал, только когда добрался до своей клетушки у входа в магазин, предоставив Джонни одному одолевать тысячу и одну ступеньку до верхнего посудного склада. До самого обеда Джонни таскал на спине бремя белого человека, и каждый раз, что он проходил мимо клетушки, Энтони высовывал оттуда свою голову, похожую на голову костлявой змеи, пока не настала половина первого и Джонни мог наконец отдохнуть полчаса на куче товара, сложенного у таможи и покрытого брезентом, сжевать там свои два ломтя сухого хлеба, посмотреть, как разгружают пароход «Арго», жалея, что сам он мал и слаб для такой работы; растянувшись на прогретом солнцем брезенте, лениво думать, как не похоже это на их склады, где нет солнца, где день-деньской горят тусклые лампы; глядеть на корабль и мечтать, как он уплывет на нем, на стройном корабле с медными шпангоутами — не грусти, красotka, нас моря зовут.

Но вот часы в трактире напротив напомнили, что пора ему возвращаться к своей сухопутной работе, и, скомкав бумагу от завтрака, он швырнул ее в воду — пусть плывет прочь от земли, где бегут корабли по бискайским волнам голубым.

Когда Джонни расписывался в книге, Нирэс, склонившись над своей конторкой, задумчиво поглядывал на него. Доброе лицо Нирэса было теперь очень бледно, щеки ввалились, красные пятна на скулах горели жарче, и он то и дело кашлял, виновато прикрывая белые губы исхудалой рукой.

— Ты, видно, чем-то прогневил хозяйна? — спросил он, справившись с очередным приступом кашля.

— Ну и пусть, — вызывающе ответил Джонни.

Нирэс быстро глянул по сторонам — нет ли кого поблизости — и, пригнувшись к Джонни, зашептал ему в лицо:

— Уходи ты отсюда, поскорее уходи. Ты здесь никогда не приживешься. Они на тебя точат нож, так что беги, куда молод и силенки есть. Я на той неделе уезжаю в Австралию, там климат лучше и кашель мой, наверно, быстро пройдет. У них тут Иисус — меняла во храме. Они из тебя все соки высосут, если вовремя не уберешься.

Он едва успел уткнуться в свои бумаги: к столу большими шагами подошел Дайк и молча оттолкнул Джонни от книги, не дав ему дописать последние буквы фамилии.

— Мистер Энтони велел передать, чтобы ты шел наверх и помог там девушке разобрать полки под новый товар, — ты только на это и годен, больше ничему не выучился, вошь несчастная.

— А может, и еще кой-чему выучился, — сказал Джонни спокойно, — Может, знаю даже больше вашего, — добавил он еще спокойнее.

— Скажи, какой профессор, — с издевкой протянул Дайк.

Джонни догадывался, что Дайк знает очень мало, уж верно не больше, чем Том или Майкл. Он часто слушал разговоры братьев,

пустых бидонов и бочонков из-под керосина и исчез в сортире, за бидонами и бочками.

Не иначе как его осенила какая-то блестящая мысль, подумал Джонни. Ну что ж, когда раздается призывный глас, он тоже должен садиться, как и мы грешные; но как такой богатый человек может войти в этот ужасающий хлев, где все заплевано и загажено, просто не понимаю. И Джонни весь передернулся при мысли об отвратительном отхожем месте, которым вынуждены были пользоваться все служащие наружных складов. Принц и пастух, праведник и прошелыга, порядочная и потаскуха — каждый по-своему, когда приходит его время, выполняет это тягостное дело. Бренные люди, как и все прочие. И создал господь бог человека из праха земного. Щегольской костюм, воротничок и манжеты, часы с цепочкой — все прах. И сам он бранный, в бранным костюме, и все — прах и бранность.

— Эй, Джек, — окликнул его Кэри, старший рассыльный, парень лет семнадцати с огненно-рыжими волосами и красивым хитрым лицом. — Что там случилось? Чего он за тобой по пятам ходит?

— Я им обоим здорово вчера надерзил за то, что задержали сверх положенного, — гордо сказал Джонни, — и еще подбавлю, если он от меня не отвяжется.

— Ай да ты, — одобрительно сказал Кэри. — Так, так, держись за свои права, не давай ему спуску. Давно пора ему от кого-нибудь услышать правду.

Он бегом вернулся к своим бидонам, боясь, как бы Энтони не застал его за разговором, а Джонни пошел дальше, заглядывая в склады, полные товаров в корзинах и ящиках, что прибывали сюда по суше и по морю.

— А вот и он, — радушно приветствовал его старший кладовщик и указал на тяжелую корзину, полную фарфоровой посуды. — Бери-ка вот это на спину да тащи наверх, в посудный отдел, только, если упадешь, лучше и не вставай: хозяин у нас нынче не в духах, терпит так, что мочи нет.

Джонни угрюмо покосился на него: темная борода, на узком носу шишка вроде красного желудя; лицо бывшего матроса, он и сейчас еще ходит вразвалку, а когда говорит с почтенным Энтони, постукивает себя пальцами по виску.

Тут Энтони собственной персоной вошел в широкую дверь и, склонившись над ящиком с фарфором, стал своей костлявой белой рукой шарить в соломе, точно искал, не завалилась ли там парочка испанских дублонов.

— За сколько времени вы освободите этот ящик? — спросил он у кладовщика.

— Часа за два, не больше, сэр; а может, и меньше, — добавил он, ухмыльнувшись, — если парень возьмется за работу с душой, как и полагается в его годы.

Энтони пропустил без внимания и слова его и ухмылку. Он

дождался, пока Джонни взвалил корзину на спину и пошел, а тогда двинулся следом за ним и отстал, только когда добрался до своей клетушки у входа в магазин, предоставив Джонни одному одолевать тысячу и одну ступеньку до верхнего посудного склада. До самого обеда Джонни таскал на спине бремя белого человека, и каждый раз, что он проходил мимо клетушки, Энтони высовывал оттуда свою голову, похожую на голову костлявой змеи, пока не настала половина первого и Джонни мог наконец отдохнуть полчаса на куче товара, сложенного у таможи и покрытого брезентом, сжевать там свои два ломтя сухого хлеба, посмотреть, как разгружают пароход «Арго», жалея, что сам он мал и слаб для такой работы; растянувшись на прогретом солнцем брезенте, лениво думать, как не похоже это на их склады, где нет солнца, где день-деньской горят тусклые лампы; глядеть на корабль и мечтать, как он уплывет на нем, на стройном корабле с медными шпангоутами — не грусти, красotka, нас моря зовут.

Но вот часы в трактире напротив напомнили, что пора ему возвращаться к своей сухопутной работе, и, скомкав бумагу от завтрака, он швырнул ее в воду — пусть плывет прочь от земли, где бегут корабли по бискайским волнам голубым.

Когда Джонни расписывался в книге, Нирэс, склонившись над своей конторкой, задумчиво поглядывал на него. Доброе лицо Нирэса было теперь очень бледно, щеки ввалились, красные пятна на скулах горели жарче, и он то и дело кашлял, виновато прикрывая белые губы исхудалой рукой.

— Ты, видно, чем-то прогневил хозяина? — спросил он, справившись с очередным приступом кашля.

— Ну и пусть, — вызывающе ответил Джонни.

Нирэс быстро глянул по сторонам — нет ли кого поблизости — и, пригнувшись к Джонни, зашептал ему в лицо:

— Уходи ты отсюда, поскорее уходи. Ты здесь никогда не приживешься. Они на тебя точат нож, так что беги, куда молод и силенки есть. Я на той неделе уезжаю в Австралию, там климат лучше и кашель мой, наверно, быстро пройдет. У них тут Иисус — меняла во храме. Они из тебя все соки высосут, если вовремя не уберешься.

Он едва успел уткнуться в свои бумаги: к столу большими шагами подошел Дайк и молча оттолкнул Джонни от книги, не дав ему дописать последние буквы фамилии.

— Мистер Энтони велел передать, чтобы ты шел вверх и помог там девушке разобрать полки под новый товар, — ты только на это и годи, больше ничему не выучился, вошь несчастная.

— А может, и еще кой-чему выучился, — сказал Джонни спокойно, — Может, знаю даже больше вашего, — добавил он еще спокойнее.

— Скажи, какой профессор, — с издевкой протянул Дайк.

Джонни догадывался, что Дайк знает очень мало, уж верно не больше, чем Том или Майкл. Он часто слушал разговоры братьев,

и вечно они говорили о том, что они носят, и что едят, и что у них есть, о каком-нибудь пианино или чайном сервизе, о том, что видели на улице, или о том, как бы прокатиться на часок к морю. Достаточно, чтобы не умереть с тоски и зарабатывать фунт в неделю. Он знал, что Дайк живет с бездетной женой в двух комнатах, в трехэтажном доме возле Дорсет-стрит, и на подоконнике у него ящик с цветами — это вместо сада. Каждое воскресенье он отправляется в церковь: на голове котелок, рука в перчатке сжимает трость, усы нафабрены, нос кверху, а рядом с ним выступает его супруга в темно-коричневом наряде и на страх соседям метет улицу юбкой с большущим турнюрсом назад. Такие люди рады бросить ученье, как только перестают ходить в школу. Он-то учится, потому что любит учиться. Для них ученье тяжкий крест, для него — радость. Они званые; он же — избранный.

— Профессор или нет, — сказал Джонни вызывающе, — а пари, что я знаю больше вашего. Ну как, спорим?

— Вы примете пари, мистер Нирэс? — засмеялся Дайк.

— Мистера Нирэса вы сюда не впутываете, — сказал Джонни. — Я не его вызываю, а вас.

— Ладно, ладно, — сказал Дайк. — Тебе того в жизнь не выучить, сколько я позабыл.

Уголкем глаза Джонни увидел Алису, отбиравшую в короб товар для отправки. Она внимательно прислушивалась. Вот когда можно показать, чего он стоит. Не дело это, если Дайк унижит его при девушке, за которой он ухаживает. Что она тогда о нем подумает? О тяжкая легкость! О чинная суетность! А ну — рискнем! Весь вспыхнув, он повернулся к Дайку.

— Вот скажите, как думали невежественные люди, жившие на земле в донаучные времена, — куда девается солнце, когда оно заходит, и почему оно ежедневно восходит снова?

— Да ладно уж, ответь сам, — сказал Дайк.

— Не знаете, — сказал Джонни. — Я так и думал. Кто был Леонид, и какой страны он был царем, и какой битвой прославился? Кто была Семирамида? И Алкивиад? Что такое индиго и копал и откуда их привозят? Иисус, как гласит предание, был сыном плотника. А Магомет? Кто был зачинателем реформации и на каких воротах какого замка прибил он свои девяносто пять тезисов против продажи индульгенций? Ну, отвечайте.

— Ты лучше сначала еще подбавь, — насмешливо сказал Дайк.

— Пожалуйста, — сказал Джонни, входя в азарт. — О Шекспире вы, надо полагать, слышали?

— Да нет, не пришлось, — отшутился Дайк, — вот мистер Нирэс, может быть, слышал. Как, мистер Нирэс, известно вам что-нибудь про этого джентльмена?

— Ну, о нем-то мы все, я думаю, слышали, — сказал Нирэс.

— Да, вы о нем слышали. Но кто из вас его знает? Назовите десять его пьес, не считая исторических хроник. Не можете? Так. В какой пьесе описана ссора между двумя знатными фамилиями

и как назывался город, где они жили? Не знаете? Город — Верона, а фамилии — Монтекки и Капулетти. С чего начинается пьеса? И этого не знаете! С драки, с драки между слугами того и другого дома, а потом в драку эту ввязались горожане, и некоторых пронзили шпагой, а другим проломили череп.

— Да ну тебя совсем! — злобно сказал Дайк и занес было руку, чтобы оттолкнуть Джонни ударом в грудь, но, увидев, как сверкают у Джонни глаза, опустил руку.

— Вот так-то лучше, — сказал Джонни. — Я никому не позволю меня задирать, сэр. Ни от кого не стерплю оскорблений.

Дайк уставился на него, в недоумении сдвинув брови. Джонни ликовал. Ясно, Дайк поражен и сейчас накинется на него за его ученость, потому что сам знает так ничтожно мало.

— Отвяжись, мальчишка, — сказал Дайк, — рехнулся ты, что ли? «Не стерплю оскорблений!» Ей-богу, рехнулся.

— Вы только показываете свое невежество, Дайк. Я вам не какой-нибудь жалкий рассыльный. Неистовому Тибальту далеко до Кэссиди, когда Кэссиди стоит со шпагой наготове.

Уголкем глаза Джонни видел, что Алиса уходит.

— Боже правый! — воскликнул Дайк, обернувшись к Нирэсу. — Слышали? Помешанный, как пить дать. А кто такой Тибальт? — спросил он Джонни, подмигнув Нирэсу.

— К чертовой бабушке, — отрезал Джонни.

— Ну и выражается молодой человек, а? Сразу видно воспитание. Служащий фирмы Химдим и Лидем сквернословит, как ломовой извозчик. От кого это ты выучился, от матери?

— Оставьте мою мать в покое! — крикнул взбешенный Джонни. — Не смейте о ней упоминать, не то пожалеете.

— Довольно, Кэссиди, довольно, — сказал Нирэс. — Невозможно работать, когда над ухом так шумят. Брось спорить, займись делом и не взрывайся ты от каждого слова!

— Так-то оно так, мистер Нирэс, но ведь я только приводил слова Шекспира, и я хотел показать Дайку, что, получая семь с половиной шиллингов в неделю, можно знать больше тех, кто получает фунт.

— Лови! — крикнул Дайк и так неожиданно бросил пакет рассыльному, что тот не успел его поймать, и Дайк, подбежав, сам поднял пакет и, ругаясь, сунул ему в руки, а когда рассыльный, красный от стыда, отвернулся положить пакет в тачку, еще поддал ему ногой в зад, чтобы не зевал.

— Шекспир! — продолжал Дайк с презрительным смешком. — Много он для тебя сделает! Не иначе как к концу года выхлопочет тебе прибавку... Наше дело — прежде всего думать о своем долге перед хозяевами, так что будь доволен своей работой, а Шекспира оставь в покое.

Дайк теперь деловито склонился над какими-то свертками, а Нирэс так впился глазами в лежавшие перед ним бумаги, словно впервые увидел красивую девушку; Джонни ничего не замечал, но

и вечно они говорили о том, что они носят, и что едят, и что у них есть, о каком-нибудь пианино или чайном сервизе, о том, что видели на улице, или о том, как бы прокатиться на часок к морю. Достаточно, чтобы не умереть с тоски и зарабатывать фунт в неделю. Он знал, что Дайк живет с бездетной женой в двух комнатах, в трехэтажном доме возле Дорсет-стрит, и на подоконнике у него ящик с цветами — это вместо сада. Каждое воскресенье он отправляется в церковь: на голове котелок, рука в перчатке сжимает трость, усы нафабрены, нос кверху, а рядом с ним выступает его супруга в темно-коричневом наряде и на страх соседям метет улицу юбкой с большущим турнюром назад. Такие люди рады бросить ученье, как только перестают ходить в школу. Он-то учится, потому что любит учиться. Для них ученье тяжкий крест, для него — радость. Они званые; он же — избранный.

— Профессор или нет, — сказал Джонни вызывающе, — а пари, что я знаю больше вашего. Ну как, спорим?

— Вы примете пари, мистер Нирэс? — засмеялся Дайк.

— Мистера Нирэса вы сюда не впутываете, — сказал Джонни. — Я не его вызываю, а вас.

— Ладно, ладно, — сказал Дайк. — Тебе того в жизнь не выучить, сколько я позабыл.

Уголкем глаза Джонни увидел Алису, отбравшую в короб товар для отправки. Она внимательно прислушивалась. Вот когда можно показать, чего он стоит. Не дело это, если Дайк унижит его при девушке, за которой он ухаживает. Что она тогда о нем подумает? О тяжкая легкость! О чинная суетность! А ну — рискнем! Весь вспыхнув, он повернулся к Дайку.

— Вот скажите, как думали невежественные люди, жившие на земле в донаучные времена, — куда девается солнце, когда оно заходит, и почему оно ежедневно восходит снова?

— Да ладно уж, ответь сам, — сказал Дайк.

— Не знаете, — сказал Джонни. — Я так и думал. Кто был Леонид, и какой страны он был царем, и какой битвой прославился? Кто была Семирамида? И Алкивиад? Что такое индиго и копал и откуда их привозят? Иисус, как гласит предание, был сыном плотника. А Магомет? Кто был зачинателем реформации и на каких воротах какого замка прибил он свои девяносто пять тезисов против продажи индульгенций? Ну, отвечайте.

— Ты лучше сначала еще подбавь, — насмешливо сказал Дайк.

— Пожалуйста, — сказал Джонни, входя в азарт. — О Шекспире вы, надо полагать, слышали?

— Да нет, не пришлось, — отшутился Дайк, — вот мистер Нирэс, может быть, слышал. Как, мистер Нирэс, известно вам что-нибудь про этого джентльмена?

— Ну, о нем-то мы все, я думаю, слышали, — сказал Нирэс.

— Да, вы о нем слышали. Но кто из вас его знает? Назовите десять его пьес, не считая исторических хроник. Не можете? Так. В какой пьесе описана ссора между двумя знатными фамилиями

и как назывался город, где они жили? Не знаете? Город — Верона, а фамилии — Монтекки и Капулетти. С чего начинается пьеса? И этого не знаете! С драки, с драки между слугами того и другого дома, а потом в драку эту ввязались горожане, и некоторых пронзили шпагой, а другим проломили череп.

— Да ну тебя совсем! — злобно сказал Дайк и занес было руку, чтобы оттолкнуть Джонни ударом в грудь, но, увидев, как сверкают у Джонни глаза, опустил руку.

— Вот так-то лучше, — сказал Джонни. — Я никому не позволю меня задирать, сэр. Ни от кого не стерплю оскорблений.

Дайк устался на него, в недоумении сдвинул брови. Джонни ликовал. Ясно, Дайк поражен и сейчас накинется на него за его ученость, потому что сам знает так ничтожно мало.

— Отвяжись, мальчишка, — сказал Дайк, — рехнулся ты, что ли? «Не стерплю оскорблений!» Ей-богу, рехнулся.

— Вы только показываете свое невежество, Дайк. Я вам не какой-нибудь жалкий рассыльный. Неистовому Тибальту далеко до Кэссиди, когда Кэссиди стоит со шпагой наготове.

Уголкем глаза Джонни видел, что Алиса уходит.

— Боже правый! — воскликнул Дайк, обернувшись к Нирэсу. — Слышали? Помешанный, как пить дать. А кто такой Тибальт? — спросил он Джонни, подмигнув Нирэсу.

— К чертовой бабушке, — отрезал Джонни.

— Ну и выражается молодой человек, а? Сразу видно воспитание. Служащий фирмы Химдим и Лидем сквернословит, как ломовой извозчик. От кого это ты выучился, от матери?

— Оставьте мою мать в покое! — крикнул взбешенный Джонни. — Не смейте о ней упоминать, не то пожалеете.

— Довольно, Кэссиди, довольно, — сказал Нирэс. — Невозможно работать, когда над ухом так шумят. Брось спорить, займись делом и не взрывайся ты от каждого слова!

— Так-то оно так, мистер Нирэс, но ведь я только приводил слова Шекспира, и я хотел показать Дайку, что, получая семь с половиной шиллингов в неделю, можно знать больше тех, кто получает фунт.

— Лови! — крикнул Дайк и так неожиданно бросил пакет рассыльному, что тот не успел его поймать, и Дайк, подбежав, сам поднял пакет и, ругаясь, сунул ему в руки, а когда рассыльный, красный от стыда, отвернулся положить пакет в тачку, еще поддал ему ногой в зад, чтобы не зевал.

— Шекспир! — продолжал Дайк с презрительным смешком. — Много он для тебя сделает! Не иначе как к концу года выхлопочет тебе прибавку... Наше дело — прежде всего думать о своем долге перед хозяевами, так что будь доволен своей работой, а Шекспира оставь в покое.

Дайк теперь деловито склонился над какими-то свертками, а Нирэс так впился глазами в лежавшие перед ним бумаги, словно впервые увидел красивую девушку; Джонни ничего не замечал, но

они-то видели, как в комнату неслышно вошел Энтони и остановился, наблюдая за Джонни, с кислой гримасой на костлявом лице.

Джонни сейчас существовал только для себя и в себе. Они — неразумие; он — мудрость. Он сильнее их, потому что больше знает, теперь он в этом уверен. Ум его — свет, просвещающий каждого, кто приходит в этот мир. Он вознесся высоко над ними на белом коне, крылатом коне, которого звать... как же его звать? Ну, того, на котором ездил Тезей... или Персей? Надо проверить. Но так или иначе, он оседлал его, а как его звали — неважно. Да, он гордится своими знаниями, но никто не станет отрицать, что он готов, что он жаждет поделиться ими с другими. Только не с Дайком. Бисер перед свиньями; преступное расточительство. Нирэс — другое дело. Он невежественный, но добрый, да и смелый. Кашель этот его губит; но все-таки Нирэс — настоящий человек.

— Шекспир не для него, — сказал он Нирэсу, указывая на Дайка. — Шекспир для вас, мистер Нирэс. Он здесь, рядом с вами. Вы убедитесь, что он достоин вас.

— Ступай, ступай, — сказал Нирэс, не отрывая взгляда от бумаг. — Сейчас не время.

— Некоторые находят его скучным, — продолжал Джонни, пропустив мимо ушей мягкое предостережение Нирэса, — но, уверяю вас, он совсем не скучный; он — сплошная жизнь и прелесть; а сколько у него битв, убийств и внезапных смертей! Захотите — вы найдете в нем тишину спокойного озера, захотите — грохот волн в бушующем...

— Посмотри на часы!

Строгий, холодный голос Энтони у него за спиной. Холодный ветер, гасящий пламя его порыва.

— Посмотри на часы, Кэссиди, посмотри на часы!

Джонни словно прирос к полу. Он мучительно думал, что сказать, как быть. Наконец он повернулся и, растянув губы в улыбке, посмотрел на Энтони.

— Мы тут просто немножко поспорили с мистером Дайком и мистером Нирэсом, — промямлил он.

— А что говорят часы, Кэссиди?

— Немножко поспорили о бессмертном Шекспире, — добавил Джонни.

— Что говорят часы? — повторил Энтони, и его тонкие губы исчезли между сжатых челюстей мертвого черепа.

— Они говорят, — угрюмо ответил Джонни, — что обеденный перерыв уже несколько минут как кончился.

— Так что же ты стоишь здесь и болтаешь, тратишь время своего хозяина, а? Ты молчишь? А совсем недавно ты не был так молчалив. Или был?

— Нет, — сказал Джонни, и в голосе его прорвалась злость, — не был.

— Ты был отнюдь не молчалив, — продолжал Энтони с издев-

кой.— Ну что ж, я думаю, или во всяком случае надеюсь, что ни мистер Нирэс, ни мистер Дайк не станут поддерживать спор с нахальным лодырем.

— Еще не хватало,— громким шепотом произнес Дайк, бросая нежный взгляд на Энтони, который в ответ одобрительно улыбнулся; но Нирэс вромолчал.

— А Шекспир, как нам известно, был порядочный бездельник, автор беспутных песенок, едва ли подходящий наставник для уважающего себя человека.

— Наставник гнусный,— сказал Джонни злобно.

Дайк поднес палец ко лбу и многозначительно взглянул на Энтони.

— Ступай работать,— обратился Энтони к Джонни,— и смотри, чтобы не было больше ни глупых разговоров, ни бездельничанья, не то придется нам взять на твое место более подходящего человека.

— Посторонись! — сказал Дайк.— Не мешай работать тем, кто хочет работать.— И он протянул кулак к груди Джонни, чтобы оттолкнуть его; но Джонни быстро шагнул вперед и тяжелым башмаком наступил ему на ногу. Дайк охнул от боли, а Джонни, очень этим довольный, повернулся и пошел прочь к ожидавшей его работе.

Он весь дрожал от ярости. Так и впился бы в глотку Дайку и Энтони, до смерти задушил бы.

И вдруг у него мелькнула мысль, как расцветшая роза... где-то он это читал и ему очень понравилось. Но где? Забыл. Он пройдет через посудный отдел и, может быть, увидит Алису. Он посмотрит ей в глаза, и это будет красноречивее всяких слов — да, да, моя милочка, ты слышала, как я говорил с Дайком о Шекспире, знаешь теперь, что рука моя достойна коснуться твоей белоснежной оборки, да и того, что под нею, тоже; хо-хо, моя любовь поет и игра-ет, моя любовь по полям гуля-ет, и, когда он уговорит ее пойти с ним погулять, скучать он ей не даст, будьте спокойны.

Что это? Соррасент летит вниз по лестнице, как будто сам господь бог за ним гонится! На голове котелок, сам бледный, как живой мертвец. Свою блестящую тросточку держит подмышкой. Рукою в белой перчатке закрывает отвратительное свое лицо. А навстречу ему поднимается его плосколицая, толстозадая, распolzшаяся сестрица Бидди, старшая продавщица, и как будто не видит его, а он ее, щеки у нее так и пылают, глядит прямо вперед, точно перед ней разверзся ад, готовый поглотить грешников. Вот тросточка зацепилась крючком за перила и выскочила у него из-под руки, но он, не задержавшись, чтобы поднять ее, докатился до низу лестницы и, как одержимый, вылетел на улицу. А на верхней площадке стоит Хьюсон и гневным взглядом, в котором сверкает ледяной огонь, провожает субъекта, спешащего убраться подалее от магазина и всего, что в нем есть.

Соррасент попался, вот оно что! Прожженный лицемер и зло-

дей попался. Рука его оказалась там, где не положено. Под белыми оборками! Скорее всего у миссис Воэн. Ну конечно, а то с чего бы его безобразной сестре проливать слезы, а ему — удирать со всех ног из магазина? Все происшествие было написано у Хьюсона на роже. Что написал — написал. Небось следил за ним. Застал с полничным.

Джонни прошел мимо Хьюсона — теперь и Энтони явился сюда, и оба не отрываясь смотрели на дверь, за которой исчез Соррасент; потом побежал догонять Бидди и видел, как продавщицы подталкивают друг дружку, радуясь позору толстой старой стервы, очень довольные, что не на них, а на нее свалилась беда.

Он поднялся на самый верх, отворил дверь и вошел в большое помещение, похожее на чердак.

И только он отворил дверь и вошел, как увидел такое, что вам и не снилось:

Вот и она:

Нежная и светлая, милая и нежная, смущенная и прекрасная,
как свежий боярышник на дымной улице.

Вот она, роется белыми ручками в грязном коробе, разбирает пыльный фарфор, вот она.

Вставай, дорогая, и в путь собирайся,
Птичьего пенья настала пора;
Сажает картофель, мороз миновал!

Вот она, одной ножкой стоит на стремянке, на второй ступеньке сверху, другой уперлась в край короба, и юбка от этого натянута, так что видна лодыжка и стройная икра, уходящая под белое кружево, — пожалуйте, любуйтесь.

Вот и она, подобная лилии, напрасно растущей в унылом пруду,
Алиса!

Она оглянулась, увидела Джонни, и глаза у нее заулыбались. Он стоял как вкопанный.

— Меня послали сюда тебе в помощь, — сказал он робко.

— Так ты мне от двери, что ли, будешь помогать? — протянула она.

Джонни быстро пересек комнату и с замирающим сердцем остановился у стремянки.

— Слышал, что случилось с Соррасентом?

— Я видел, как его выгоняли, а о причине догадался.

— Мистер Хьюсон поймал его, когда он приставал к мисс Воэн и мисс Грайс. Они еще вчера нажаловались на него, записку написали мистеру Хьюсону, — очень уж им стало невтерпеж. И сестрица его, слава богу, тоже убралась.

— Безобразно он себя вел, — сокрушенно вздохнул Джонни. — Разве приличный человек позволит себе такое с бедной девушкой?

— А он вот позволял. Об этом и думать-то неприятно, не то что говорить.

Некоторое время оба молчали. Она доставала со дна короба остатки посуды и передавала ему.

— Здорово ты отбрил сегодня Дайка и старого Энтони,— сказала она.

— А ты слышала? — Его распирало от гордости. — Это только начало. Джон Кэссиди никому не позволит себя унижать, даже самой королеве.

— Мне нужно достать вон до той полки,— сказала она,— так что держи лестницу крепче.

Он стал вплотную к лестнице; глаза его сверкали, сердце колотилось, а рука несмело подползала к хорошенькой ножке, видневшейся из-под белых кружев. Девушка продолжала вознаться с посудой, но, когда потянулась еще дальше, лестница дрогнула, и она тихонько вскрикнула от страха.

— Алиса, милая, осторожней!

— Плохо держишь,— сказала она недовольно.

— Давай лучше я полезу, я привык к лестницам.

— А ты тут ничего не разберешь.— Она тряхнула головой, откидывая со лба свои волнистые волосы.— Нет смысла держать лестницу, ты лучше меня поддержи, так мне будет спокойнее. Ну нет, так тоже не годится,— сказала она капризно, когда правая рука Джонни крепко обхватила ее юбку.— Теперь я уж совсем не могу двигаться.

— Да как же мне тебя держать, чтобы ты могла двигаться?

— Не знаешь как, тогда лучше совсем не надо.

Он отнял руку и опять ухватился за лестницу, сжимая ее крепче прежнего.

— Ты подумай, Алиса,— сказал он после долгой паузы,— ни Дайк, ни старый Энтони ничего не знают о пьесах Шекспира и знать не хотят. Смешно, правда?

— Ничего не вижу смешного,— огрызнулась она.— Алиса Норрис тоже ничего не хочет о них знать.

Джонни изумился. Трудно разговаривать с девушками. Никогда не знаешь, что им понравится. Пока она в таком настроении, нечего и пытаться погладить ее колено. Но сказать кое-что он рискнет.

— Красивые на тебе чулки, Алиса. Они до каких пор достают?

Она глянула на него сверху, затанц в глазах озорную искорку, и задорно тряхнула головой.

— Не твое дело.

— А вот я сам посмотрю,— пригрозил он.

— Тогда я начну вертеться и свалюсь. Я же здесь ничего не могу поделывать. Ты мне помоги, а то мы никогда не кончим.— Быстрыми, ловкими движениями она разгладила юбку и подтянула ее чуть выше.— Ты просто держи меня за шиколотку, тогда мне не будет страшно.

Рука его легла на тонкую шиколотку и заскользила вверх, к колену. И тут его пронизало нестерпимо сладостное чувство. Все

убожество жизни исчезло, мир сплошного цветенья сомкнулся вокруг него. Первый привет весны, пышность лета, щедрое бремя осени, шум зимних потоков — все слилось и смешалось в нем; и господня любовь и попечение, полной мерой и с избытком, были отпущены ему в виде смазливового личика и стройной ножки.

— Юбка твоя ужасно мешается,— сказал он и поднял ее выше, выше, выше, до кружевной оборки, до половины бедра.

— Подумать только,— сказала Алиса, лукаво ему улыбаясь,— Эптони и Дайк ничегошеньки не знают о Шекспире! Просто не верится. Хоть бы постыдились показывать свое невежество, правда?

— Они еще притворялись, будто гордятся им,— сказал Джонни.— Но я по глазам видел, что им стыдно... Эй, осторожней! — добавил он: ему показалось, что Алиса падает, и рука его, скользя за подвязку, за край длинного черного чулка, любовно коснулась ее упругой белой ляжки.

— На этот раз чуть-чуть не свалилась,— сказала она, смеясь,— и свалилась бы, если б ты не удержал.— Она сняла ногу с края короба, стала обеими ногами на ступеньку, и рука Джонни оказалась крепко зажатой между ее колен.

Стремянка задрожала, и девушка не то слезла, не то упала в его объятия; он прижал ее к себе что было сил, иступленно ища губами ее губы, а она, тяжело дыша, крутила головой, стараясь от него увернуться.

— Нельзя, нельзя,— крикнула она,— как не стыдно!

И вдруг головка ее перестала дергаться, красные губы коснулись его рта и замерли, руки обвились вокруг его шеи, ясные глаза блаженно закрылись, и все ее тоненькое тело покорно отвечало порывистым объятиям Джонни.

Он схватился за ее юбку, но тут она разом открыла глаза; с силой оторвав от себя его руки, она высвободилась и, вся красная, еле переводя дыхание, отбежала к пыльному окошку, за которым вдали проходила улица. Она стояла там и всхлипывала, кое-как приводя в порядок растрепанное платье и съехавший чулок, пригладивая непослушные пряди волнистых волос, крепко стиснув губы, чтобы не дрожали, и упорно отворачиваясь от голодных глаз Джонни.

— Скверный мальчишка,— заговорила она тихо, сквозь слезы,— скверный мальчишка, застал меня врасплох, лапает, как будто я бог знает кто, накинулся так, что я ахнуть не успела, не то что тебя одернуть, прямо дикарь, напугал меня, ведь этак и до греха недолго, а уж измывал на мне все — ужас, всякий заметит, у кого глаза есть! Вон у Арнотта,— продолжала она, бросив взгляд в окошко,— уже ставни закрывают, сейчас кончат, а куда я покажусь в таком виде?

Не глядя на Джонни, она быстрыми шажками пошла к дверям. Он перехватил ее по дороге и крепко взял за руку.

— Пусти,— резко сказала она, вырываясь,— пусти, слы-

шишь? Надо же мне привести себя в порядок, а то будут на меня глазеть так, что я просто сгорю со стыда.

— Дай я тебя поцелую на прощанье!

— Скажите, поцелуй ему понадобится, так нечего было начинать с того, чтобы так обращаться с порядочной девушкой. Пусти! — Она выдернула руку. — И никогда больше не пробуй обидеть девушку, когда она не может дать сдачи.

У двери она обернулась, помедлила и жалобно взглянула на Джонни.

— Если б ты очень дорожил поцелуем, так поцеловал бы — и дело с концом. И если ты говорил всерьез и не раздумал, я встречу с тобой вечером, где ты сказал, и когда мы найдем какой-нибудь зеленый уголок, ты мне расскажешь про своего Шекспира. Только, пожалуйста, если вздумаешь поцеловать меня, пожалей мое платье... Ну ничего, — сказала она, возвращаясь в комнату и ласково глядя в его помрачневшее лицо, — я знаю, ты не хотел поступить грубо, и вечером мы с тобой помиримся, когда уйдем за город побродить.

Когда она подставила ему свое милое лицо для поцелуя, он мгновение колебался, потом наклонился и поцеловал ее в губы. Она отвернулась и быстро вышла из комнаты. Он подождал, потом спустился в магазин. Ставни уже были закрыты, в полутьме Хьюсон и Энтони шептались о чем-то, а служащие ждали разрешения разойтись по домам. Добравшись до своего места, Джонни снял старую куртку и надел новую, потом вышел вместе с остальными на улицу и поспешил домой, думая о том, как вечером он будет со своей Алисой, будет ласкать ее и крепко целовать ее губы.

Он шел, и море ему было по колено, и он тихонько напевал себе под нос:

Уснули тихо птицы,
И яркие лучи
На лес бросает Лира,
Все радостно в ночи.
Лицо мне гладит ветер,
Колышавший листья,
Ручей течет, как прежде,
Но где, Алиса, ты? ¹

И было утро, и был вечер, день шестой — день прельщений.

ИМУЩЕМУ ДАСТСЯ

Старый Энтони женился, уехал на неделю в свадебное путешествие и вернулся с застывшей улыбкой на роже. Он оставил

¹ Перевод В. Рогова.

отца своего и мать свою в Батерстауне и прилепился к жене своей в Харолдс-кросс, ибо так сказано в Писании. Пока он был в отъезде, служащие решили преподнести ему подарок. Джонни, скрепя сердце, дал шиллинг — шесть пенсов из тех, что он отдавал матери, и шесть из тех, что оставлял себе. Четверо подходящих делегатов в подходящие вечерние часы обошли множество подходящих магазинов в поисках подходящего подарка. Наконец они нашли то, что нужно, и вечером под секретом показали восхищенным сослуживцам. Это были настольные часы из черного мрамора с серыми прожилками, сделанные в форме храма, с двумя тонкими колонками по бокам. Купол украшали золотые лучи, расходящиеся, как лучи солнца, а из этих лучей вырастала изящная фигура ангела, одной рукой указующего на циферблат, а другую — в небо. Вдоль верхнего края циферблата шла торжественная надпись «Tempus fugit»¹.

Трое старейших служащих фирмы — Дайк, Хайленд, фельдфебель Армии спасения и заведующий скобяным отделом, и Вудс, заведующий москательным отделом, а с ними Джонни, самый младший из служащих, — поехали на извозчике, чтобы вручить драгоценный дар мистеру Энтони. Джонни не хотел ехать, потому что нужно было отдать из заветных сбережений еще девять пенсов — четвертую часть платы за проезд; но все решили, что поедут самый заметный и самый незаметный из служащих — в доказательство общей преданности и любви.

Они подкатили к дому Энтони. Джонни страшно волновался при мысли, что сейчас войдет в обиталище своего хозяина; и едва он успел заметить большой дом, окруженный живою изгородью, и важные, темные, еле видные в сумерках кипарисы, и запахи сирени, как очутился в большущей комнате, которую он принял было за гостиную, но Дайк шепнул ему, что она называется столовой. В первый раз в жизни Джонни, к своему великому смущению, чувствовал под ногами ковер. Настоящий персидский, шепнул Дайк. В первый раз Джонни чувствовал, что затерялся в чаше удивительных вещей: огромная гладкая машина красного дерева с массой дверок и ящиков, а на ней поблескивают стеклянные кувшины и тарелки. С одного бока большущий диван красного дерева, а с другого — да и повсюду — тяжелые, красного дерева стулья. Посредине — ух! — длинный-длинный стол красного дерева, и крышка так отполирована, что ангел мог бы поглядеться в нее и пригладить крылья; во всю длину его узкая дорожка из белого шелка, с кружевом по краям и вышитая цветами, а в самой середине большая замысловатая ваза, светло-зеленая снаружи и темно-розовая внутри, надменная, как семи-свечный канделябр на церковном престоле. Во всех углах были шкафчики с блестящими вазами и портретами в серебряных рамках. На чудесных обоях с рисунком из темно-желтых роз хорошо

¹ «Время бежит» (лат.).

выделялись многочисленные картины, а в одном углу, совсем отдельно, стояло черное блестящее пианино, и на нем крупными золотыми буквами — фамилия Крамер. Был еще массивный камин, отгороженный массивной бронзовой решеткой, и за ней массивная кочерга, щипцы и совок, тяжелые, как оружие Голиафа. На окнах были плотные синие гардины с гроздьями тяжелых кистей и бахромой, а ближе к стеклу — кружевные занавески. Золоченая резная полочка, заставленная всевозможными безделушками, висела над камином, а по бокам ее — раскрашенные фотографии молодоженов: справа Энтони с книгой в руке задумчиво прислонился к витой колонне; слева его хозяйка — сидит на полукруглой каменной скамье на террасе, и около нее большая арфа.

Дивный дом, думал Джонни, полный добра, и все красивое и дорогое. Книг нигде не видно — и славу богу, ведь будь здесь книги, я не знал бы, куда деваться от зависти.

Он стоял навывтяжку, затаив дыхание, прячась позади остальных, которые тоже стояли навывтяжку, тесно, плечом к плечу, боясь пошевелиться, не спуская глаз с двери; Дайк обеими руками прижимал к животу часы.

Дверь отворилась, и вошли хозяева. Миссис Энтони была в светло-коричневом платье с более темной отделкой и накрахмаленными кружевными рюшками у ворота и на рукавах. Джонни нашел, что она не то чтобы дурна собой, но вроде того. Они оба уселись в тяжелые кресла, прямо против группы с часами, ожидая, чтобы кто-нибудь заговорил.

Вудс, перво теребивший жидкий нафабранный ус, подтолкнул Дайка, и тот начал, запинаясь и краснея:

— Сэр и миссис Довергелл, мы пришли... мы пришли, ч-чтобы, для того чтобы, или, лучше сказать, в ознаменование, с целью, полагая, что следует воспользоваться этим... этим...

— Случаем,— шепотом подсказал Джонни.

— Случаем,— продолжал Дайк,— выразить наше уважение главе фирмы и его супруге, и как мы все гордимся, что р-работаем у такого замечательного хозяина.

— Bravo, bravo,— пробормотал фельдфебель Армии спасения.

Тут Дайк подтолкнул Вудса, и Вудс затараторил:

— Вам и вашей супруге, сэр, мы имеем честь преподнести эти часы по случаю вашего законного брака и в знак искренней привязанности, соединяющей вас, сэр, со всеми вашими служащими.

— Bravo, bravo, аминь! — пробормотал фельдфебель.

Энтони, улыбаясь, встал, и Дайк, приподняв часы с живота, передал их в руки Энтони, а тот осторожно поставил их на колени к жене.

— Ах,— сказала миссис Довергелл,— ну что за прелестный подарок!

Энтони, словно ставший еще костлявее, провел рукой по плотно сжатым губам, бросил взгляд на часы и обратился к ма-

ленькой группе, сгрудившейся теснее прежнего, так что Джонни почти не было видно.

— Джентльмены,— сказал он,— мы с миссис Довергелл благодарим вас за прекрасный и ценный подарок. Мы принимаем его с радостью, и миссис Довергелл и я, принимаем с радостью и благодарим вас всех!

Он замолчал, ласково погладил часы и с величайшим трудом изобразил на лице улыбку. Миссис Довергелл подошла к огромному буфету красного дерева, налила три стакана темно-красного вина и протянула их трем старшим служащим, не обращая внимания на Джонни. Он смотрел, как те трое пьют: Дайк — с небрежным видом, точно это было не вино, а подслащенная водичка; Вудс — полузакрыв глаза, с блаженным выражением, точно ему доводилось отведать вина с виноградников господ бога, но это было вкуснее, а Хайленд — почтительно и осторожно, точно необычный вкус слегка удивил его, но ему не хотелось в этом признаться.

— *Tempus fugit*,— торжественно произнес Дайк, заметив, что Энтони смотрит на золоченые буквы,— всем нам напоминание.

— А время, быстрая река, уносит всех с собой,— пробормотал фельдфебель.

— Хотя иногда время тянется чертовски долго,— сказал Джонни, чувствуя, что не в силах больше молчать. Воцарилась гробовая тишина, и Джонни понял, что лучше бы ему было держать язык за зубами.

— Тони, голубчик,— любезно сказала миссис Довергелл,— вероятно, эти три джентльмена торопятся домой.

Джонни увидел, как Энтони дернул шнур с кистями, висевший возле камина, и услышал, как в другой комнате прозвенел звонок.

Появилась горничная и стала в дверях, и депутация двинулась в сторону горничной, направляемая холодной ухмылкой Энтони и натянутой улыбкой его жены.

— До свиданья, Дайк, до свиданья, Вудс, до свиданья, Хайленд, завтра утром увидимся, если на то будет воля божья.

Голос миссис Довергелл, произносивший «До свиданья, джентльмены», потонул в хоре трех «До свиданья, сэр», и дверь захлопнулась, и все великолепие осталось позади, а они вышли в тихую ночь, под усыпанное звездами небо — великие часы вселенной.

Вон там, на севере, Большая Медведица, а на востоке, кажется, Близнецы, Кастор и Поллукс — дети Леды, матери Елены, из-за которой произошла вся эта заваруха в Трое, а вон Полярная звезда — неподвижная звезда, та, что светила Цезарю, потому что он был постоянной Северной звезды; бедный Цезарь, усопший Цезарь — ныне прах, и им замазывают щели. Да, старым Энтони щель не замажешь. Маленький Цезарь, еле заметный, когда стоит под звездой.

Они не спеша шли мимо особняков к остановке конки на углу, те трое вместе, а Джонни — позади.

— Часы ему ужасно понравились,— сказал Дайк.

— У миссис Довергелл глаза так и заблестели,— сказал Хайленд.

— Они очень украсят комнату,— сказал Вудс.

— Все бы хорошо, если бы не Кэссиди,— сказал Дайк.— Зря он с нами поехал. Я-то все время говорил, что не надо его брать. Этакий болван, все испортил.

— Выставил нас на посмешище,— сказал Вудс.— Энтони понял, да и миссис Довергелл тоже.

На углу они остановились, дожидаясь конки, и Джонни остановился поодаль от них. Вдруг он сообразил, что совсем забыл про обратный путь и у него нет денег на билет, так что, если они не возьмут его с собой или не дадут взаймы два пенса, ему придется всю дорогу тащиться пешком. Он подошел к ним поближе, набираясь храбрости, чтобы попросить у них денег. Прошла минута, другая, и вдали затарахтела конка.

— Идет! — сказал Хайленд.

— У вас ни у кого не найдется взаймы два пенса, проехать до Колонны? — спросил Джонни робко.

Конка остановилась, те трое вошли в вагон, не ответив ни слова; конка дребезжа двинулась дальше, а Джонни остался один под звездами.

Он смертельно устал, пока добирался домой. Плохо зная дорогу, он еще дал крюку и не сразу попал на свою улицу. Хорошо, что сегодня получка, а то было бы совсем уж тошно. Ох, как хочется отдохнуть! Ну, да ладно, отдых — отдыхом, прибавка — прибавкой, а книгу он сегодня купит. Орывки из нее он читал в хрестоматии, оставшейся от отца; и если отдельные кусочки так хороши, все целиком, наверно, еще много лучше. Великолепно, как неизреченное слово божие. Как это там? Да, вот когда Абдиель дал нахлобучку Сатане:

И разразилась яростная буря,
И огласились криком небеса,
Неслыханным дотоле; страшный грохот
Оружья об оружье загремел,
И завертелись бешено колеса
В бой полетевших медных колесниц;
Ужасен был шум битвы; над главами
Сражавшихся, свистя, летали тучи
Стрел пламенных, и сводом из огня
Покрыты были бившиеся рати;
Под тем огнистым сводом друг на друга
Они стремились бурно, нападая
С неистребимой яростью. Тряслись
От грохота все небеса, и если б
В те времена земля существовала,
До центра и она бы потряслась...¹

¹ Из «Потерянного рая» Мильтона. Перевод Н. Холодковского.

Он откладывал на книгу по три пенса в неделю и накопил уже полтора шиллинга, и сегодня, даже если ожидаемой прибавки не будет, он доложит еще один шиллинг и купит ее, а там хоть трава не расти. И когда настанет день отдыха, он весь его проведет с Джонни Мильтоном.

В общем, если ничего не случится, он непременно получит сегодня шиллинг прибавки, так что расход на книгу проскочит совсем незаметно. Уже много недель он держал на примете эту чудесную книгу в синем с золотом переплете — она стояла в шкафчике в глубине открытого ларька перед лавкой Ханны — и все боялся, что, пока у него наберется достаточно денег, ее уже купят. Каждый вечер, возвращаясь с работы, он спешил удостовериться, что она на месте. Вчера она еще там стояла, наверно, стоит и сейчас. У него уже собралась неплохая библиотека — три книжки Диккенса и четыре Вальтер Скотта; две Бальзака; одна Гюго; Рэскина — «Семь лампад архитектуры», «Сезам и лилии», «Этика праха», «Венок из диких олив» и «До последнего вздоха»; Дарвина — «Происхождение видов и происхождение человека», еще не прочитано: сначала нужно побольше узнать обо всем; две Фенимора Купера и три Дюма; «Германия» Тацита и «Жизнь Агриколы» да в придачу к ним «Жизнеописания» Плутарха; Рида — «Монастырь и очаг»; «Французская революция» Карлейля, и Минье тоже; Бенъяна — «Путешествие пилигрима» и пьесы Шеридана; «Энеида» в переводе Тейлора и «Классическая география»; Болла — «Повесть о небесах»; из поэтов — Байрон, Шелли, Китс, Гольдсмит, Крабб, Теннисон, Элиза Кук — зря загубил шесть пенсов, — Грей и «Светочи английской поэзии»; да шикарное глобусовское издание Шекспира, только оно уже совсем разлетается по листочкам; и самое нужное: словарь Чемберса — дорогая покупка, отдал за него три шиллинга, когда старый, отцовский, совсем рассыпался. Вместе с полемическими богословскими трудами, оставшимися от отца, они составляли совсем хорошую коллекцию и уже теперь выглядели очень внушительно на верхней полке старого буфета, повыше чайной посуды.

Сегодня к этой коллекции прибавится еще томик — «Сочинения Мильтона», — слепой, а видел больше, чем иной зрячий, — то есть это если он получит прибавку. Ну, да конечно получит, все только и говорят, что о прибавке, и кто-то совершенно точно сказал, что ее дадут именно сегодня, всем, кто ее заслужил.

На работе Джонни, всякий раз как проходил мимо Энтони, пытался прочесть что-нибудь на его застывшей роже, но тот как замок на нее навесил, ничего не разберешь.

Все сегодня работали как бешеные. И все улыбались. Ждали, когда с неба посыплется манна. У каждого был такой вид, словно он влюблен в свою работу и обожает Энтони. Может быть, так оно и было — на один день. Ожидание было полно тревоги, особенно для Джонни.

— Сколько тебе причитается, знаешь, Джек? — спросил Кэри, придав хитрое выражение своему лисьему лицу и на ходу хватая Джонни за рукав.

— Вы это о прибавке? Нет, не знаю; наверно, шиллинг.

— Полтора, мой милый, — сказал Кэри тоном заговорщика.

Джонни взволновался, но не совсем поверил. Что-то уж слишком хорошо. Он и шиллингу был бы очень рад. На полтора надеяться нечего, тем более после скандала с Энтони. А впрочем, кто знает, нечего разыгрывать Фому неверного.

— Нет, нет, Кэри, — ответил он, — даст Энтони лишнего, как же! Этому я не поверю, и не говорите! А кто вам сказал? Откуда у вас сведения?

— Ишь ты, — Кэри хитро ухмыльнулся, — так я тебе и скажу. — Но когда Джонни хотел отойти от него, он шепнул ему на ухо: — Дайк сказал, он-то знает, только никому не говори, что от меня слышал.

Проходя мимо Дайка, Джонни получил такой толчок в грудь, что чуть не упал и дыхание у него захватило. Когда Дайк увидел, как больно он ему сделал, его лукавая улыбка сменилась злобным смешком.

Джонни заискивающе улыбнулся и загородил грудь рукой, притворяясь, что защищается.

— У-у, — промышал Дайк, и за первым ударом градом посыпались новые, — и за что тебе такая милость, один бог ведает. Что мистер Энтони в тебе нашел, не пойму. Уходи отсюда, идиот несчастный! — И Джонни, убегая от ударов, решил, что Дайк — добродушный шутник.

Значит правда, иначе Дайк не стал бы так держаться. Матери он недели три-четыре подождет рассказывать, а лучше купит еще несколько книг. У него их так мало, а нужно так много. И скандал с Энтони не помешал, еще, может, наоборот, вот и выходит, что ничего не теряешь, отстаивая свои права. Верен будь себе; тогда, как утро следует за ночью, последует за этим верность всем. (Молодец Шекспир — этот много чего понимал.) Правда, Дайк его поколотил, а он смолчал, но Дайк не хотел его обидеть. Просто у него такая манера. В душе-то он неплохой человек. Насчет прибавки у него вышло грубо, но молодец, что хоть рассказал, не утаил это про себя. Может быть, и Энтони не такой уж плохой. Ему ведь нужно держать служащих в строгости, а то все разленятся.

На той неделе можно купить еще книгу. Только какую? Диккенса? Карлейля? Нового Шекспира? Нет, старый еще отлично послужит. Не стоит сейчас решать; лучше походить по ларькам и посмотреть, что там есть. Книги покупать — это не шутка.

О господи, как тянется время! *Tempus fugit* — чорта с два! Час покажется за год, когда хочешь, чтобы он прошел поскорее. Вот Энтони уже раскладывает жалованье по конвертам, длинными костлявыми руками пересбирает серебро, засовывает монеты в кон-

вертики — лизнет языком и заклеит, и быстро придавит худыми пальцами.

Джонни наклеивал ярлык на посылку, когда около него остановился Хайленд, добродушно поблескивая черными глазами.

— Говорят, Кэссиди у нас получает большую прибавку? Девять монет в неделю? Будем надеяться, что он их заслужил. Что ты на это скажешь?

— Да ничего,— сказал Джонни с равнодушным видом.— Не дали бы прибавки, я бы знал, что делать.

— Что же? — спросил Хайленд.

— Бросил бы все к черту,— небрежно сказал Джонни.

— В самом деле?

— Ну да, честное слово.

— Хвастаешь,— поддразнил Хайленд.

— Иди ты к черту да проспись,— сказал Джонни.

Служащие, получив жалованье, считали и пересчитывали получку, раскладывая деньги стопками, ссыпали их в конвертики и наконец с блаженным выражением прятали конверт в любимый карман. Джонни еще не вызывали. Хоть бы уж вызвали до обещанного перерыва! О господи, только бы не пришлось идти к Энтони просить свои заработанные деньги. А с него, старого черта, станется, думал Джонни.

Он услышал стук в окошечко конторы и, оглянувшись, увидел, что Энтони делает ему знак подойти.

— Тебя, Кэссиди, это тебя зовут,— заговорили кругом.

Приглаживая на ходу волосы и обдергивая куртку, Джонни заспешил к конторе. В полном молчании костлявая рука положила конверт Джонни на край стола. Джонни взял конверт с коротким «спасибо, сэр» и заспешил назад к своему месту. Сердце у него колотилось, радость его была полной. Он подождал, пока все снова склонились над своими конторками, потом раскрыл конверт и высыпал на стол блестящие монетки, чтобы как следует почувствовать новые полтора шиллинга.

О господи, старый дурак-то ошибся! В конверте было всего пять с половиной шиллингов — две монеты по два, потом шиллинг и шестипенсовик. И нужно же было! Теперь вот, пожалуй-ста, изволь опять идти к Энтони объясняться. Ему послышались приглушенные смехи. Вспыхнув и чувствуя, как неровно заколотилось сердце, Джонни опять заспешил к конторе.

— Виноват, мистер Энтони,— сказал он,— вы, как видно, немножечко ошиблись,— и он улыбнулся снисходительно.— Тут в конверте, сэр, не семь с половиной шиллингов, а пять с половиной.

Энтони поднял глаза от письма, которое он медленно выстукивал на машинке, и остановил серьезный, холодный взгляд на возбужденном лице Джонни.

— Сколько ты сказал? — спросил он.

— Только пять с половиной шиллингов, сэр.

— Такая сумма тебе и причитается за эту неделю,— сказал Энтони спокойно и снова застучал на машинке.

— Да нет же, сэр,— сказал Джонни,— семь с половиной, я уже год на таком жалованье.

— Если бы ты потрудился посмотреть на свой конверт, Кэссиди, ты бы увидел, что мы оштрафовали тебя на два шиллинга, а значит, тебе следует получить пять с половиной.

— Оштрафовали? — переспросил Джонни.— А за что, сэр?

— За дерзость и непослушание, Кэссиди. Мы надеемся, что на будущей неделе сможем, как прежде, заплатить тебе семь с половиной шиллингов,— и снова костлявые пальцы неумело, неуверенно, будто ошупью, застучали по клавишам машинки.

Словно оглушенный, Джонни пытался думать и ничего не сообщал; как слепой, он добрался до своего места; от ярости у него сжималось горло и захватывало дыхание, мысли путались; с ним поступили так хитро, так коварно, не дав ему ни о чем догадаться,— тонко рассчитанная подлость. Вот скелет проклятый, потаскухино отродье! Преспокойно отнял у него его деньги — пусть кишки у него загниют и распухнут и вылезут наружу. И все об этом знали, и все — а Дайк первый — прекратили работу, чтобы посмеяться над ним, и вот, небось, радуются его беде — пусть захлебнутся они горем, пусть сердца у них покроются ржавчиной, пусть каждый сустав у них загноится и от жгучей боли они содохнут, как собаки.

— Ну, сколько получил прибавки? — услышал он над ухом шепот Хайленда.

Не в силах отвечать, так его душила злоба и отчаяние, Джонни нахлобучил шапку, достал из конторки завтрак и вышел на улицу — по Генри-стрит на Сэквилл-стрит и машинально свернул на Бэчелорс-уок, где ему все время казалось, что колокольчики, возвещающие о распродаже с аукциона старых вещей, звенят где-то очень далеко. Он все шел, и проклятья жгли ему сердце, все шел и остановился только перед ларьком Ханны, набитым всевозможными книгами, из которых он многие хотел бы иметь, а теперь не мог купить даже самую паршивенькую, думал он с горечью. Некоторое время ему удавалось не смотреть в тот угол, где должен был стоять Мильтон; но потом глаза его сами обратились туда; ну, конечно, вот она, желанная книжка, поблескивает, как драгоценный камень в куче мусора, точно молит, чтобы он подошел и взял ее.

Взять ее? Просто так? Украсть? О господи, нет, слишком рискованно. Мальчишки, который присматривал за книгами, не было видно. Странно, куда он девался, наверно пошел обедать.

Джонни заглянул в пыльное окно лавки: старый Ханна возился в глубине ее, подбирал новые книги для выставки. Рука Джонни потянулась к синему томику, пальцы сверху захватили корешок, и он осторожно и ловко вытащил книжку и любовно погладил ее.

Подошел какой-то старик и стал рыться в книгах, горбоносый старик с бородой веером и острыми глазами; Джонни взял Мильтона подмышку, а сам схватил другую книгу и глядел на нее невидящими глазами, словно сквозь зыбкий туман. Он смутно увидел, как горбоносый старик с острыми глазами и бородою веером прижал к груди какую-то книгу и вошел в магазин, чтобы заплатить за покупку.

Тогда Джонни положил книгу, которую держал в руках, и не спеша отошел прочь с Мильтоном подмышкой; сердце у него билось, как у пойманной птицы, ноги словно тащили его обратно, и все время он ждал, что вот-вот услышит яростный вопль Ханны, призывающий полисмена ловить вора. Он медленно дошел до Лиффи-стрит и, завернув за угол, ускорил шаг до предела, удерживаясь, чтобы не пуститься бегом. Волнуясь, пыхтя, ничего не соображая, он свернул на Аппер-Эбби-стрит, с нее на Джервис-стрит, не остановившись даже посмотреть, как кого-то выносят из кареты скорой помощи и несут в больницу; на Бритн-стрит, по Сэквилл-стрит и снова на Генри-стрит, в свой магазин, куда он влетел красный, потный, но крепко прижимая к себе драгоценную книгу.

Он рискнул многим ради того, у него книга — полкроны стоит!

Бог воистину милостив. Впрочем два шиллинга из нее застряли! Гуд наизнанку — грабит бедня же, он так и даст себя ограбить вал свой трудовой шил

сдастся без борьбы? Если запустит руку в карма

Нужно добиться своего или

жестковали Хайленд, Дайк и прочие.

Папка у него на столе была полна заказов, но он не стал ими заниматься. И не станет, пока не получит, что ему следует. Тогда — пожалуйста; впрочем, там видно будет. Вот он, Энтони, наелся, небось, до отвала и опять тычет пальцами в машинку. Пальцы у него костлявые, тонкие, а пишет медленно, даже отсюда видно. Все уже вернулись на работу, все были заняты, все, кроме Джонни, который сидел, нагнувшись, за столом, придумывая, что бы такое сказать Энтони. Ничего не придумалось, и Джонни решил положиться на бога, авось он подскажет ему нужные слова.

Несколько раз он вставал с места и несколько раз опять сидел, неуверенный и смущенный. Один раз он даже дошел до конторы, но тут ему стало страшно, и он вернулся к своему столу. Его поташнивало. Эх, нужно было идти, пока он еще не остыл, пока он был еще полон злобы.

Отвагу до отказа завинти, сказал Шекспир.

— К черту, — выругался он вполголоса, — была не была!

напрасно. В руках чедельная получка.

ная получка, ведь

ни. Прямо Робин

ить богатым. Что

го, как пожертво-

сов? Так и

то бог не

Энтони.

..обы востор-

Выпрямившись, он, как деревянный, зашагал к конторе и стал перед Энтони, дожидаясь, когда тот заметит его. Прошло много времени, прежде чем Энтони поднял голову от машинки и посмотрел на Джонни.

— Ну, Кэссиди,— сказал он.— Что тебе нужно?

Он еще не успел ответить, как сзади к нему приблизилась мрачная фигура и темное лицо Хьюсона, и он оказался зажатом между обоими боголюбивыми братьями.

— Ну,— повторил Энтони,— что тебе нужно, Кэссиди?

— Я хотел сказать вам кое-что относительно штрафа, сэр.

— Все, что нужно было сказать, уже сказано,— произнес Энтони холодно.

Джонни призвал на помощь все красноречие, которое он обрел за последнее время. Он писал своим братьям как можно больше писем, стараясь рассказать в них все, что узнал за неделю, и выбирая самые литературные выражения для описания домашних происшествий. Дело шло так хорошо, что Том как-то похвалил его за его способности и умение писать. И теперь он, не без внутренней дрожи, попробовал выступить в свою защиту.

— Я не совсем с вами согласен, сэр,— сказал он,— вы сказали очень мало, а я и вовсе ничего не сказал.

— О,— протянул Энтони удивленным тоном,— а что же ты имеешь сказать по этому поводу?

Голос Джонни хоть и срывался временами, но звучал твердо и ясно; и он чувствовал, что Дайк, Нирэс и все остальные слушают и ждут, что будет дальше.

— Так вот, сэр,— сказал Джонни,— прежде всего я хотел бы узнать, в чем выразились упомянутые вами дерзость и непослушание, за которые я подвергся столь чувствительному для меня штрафу?

— Да среди нас, оказывается, есть юрист,— сказал Хьюсон с хмурой усмешкой.

— Дело было так недавно, что ты не мог об этом забыть,— сказал Энтони,— и у меня нет ни времени, ни желания возвращаться к этому. Тебя оштрафовали, и говорить больше не о чем.

— Все это очень хорошо, сэр, но мне думается, что я имею право сказать кое-что в свою защиту. Случай, вызвавший с моей стороны то, что вам угодно было назвать непослушанием и дерзостью, произошел не в рабочие часы; и вы сами, сэр, были неправы, задерживая меня дольше положенного времени.

Энтони уже снова писал, делая вид, что не слушает Джонни, и наступившее молчание нарушалось сухим, прерывистым стуком клавиш под неуверенными пальцами.

— А кроме того, сэр,— продолжал Джонни,— даже если бы то, в чем вы меня обвиняете, произошло в часы, которые я обязан посвящать работе, сумма штрафа несоответственно велика по сравнению с моим недельным заработком и наказанием не в меру строго.

Хьюсон шагнул мимо Джонни, задев его плечом, и вместе с братом склонился над какой-то фактурой; Джонни они не замечали, точно он был мухой на далекой звезде.

— Я откладывал деньги на покупку очень нужной мне книги,— сказал Джонни громче,— а теперь из-за штрафа мои заветные мечты рассыпались прахом.

— Книга! — фыркнул Хьюсон.— Скажите на милость, книга ему понадобилась!

— Кэссиди,— сказал Энтони, и тень улыбки мелькнула на его костлявом лице,— относись повнимательнее к своей работе, и тебе некогда будет мечтать о книгах.

— Я относился к ней внимательно,— подхватил Джонни с силой,— за истекший год ни один клиент не имел случая пожаловаться на меня. А мечты о книгах — это мои мечты и мое личное дело и никого другого не касаются.

— Кэссиди,— сказал Хьюсон злобно,— кроме штрафа, ты, видно, ничего не способен понять. Иди и работай, а то как бы не пришлося через неделю оштрафовать тебя и посерьезнее.

— Я не боюсь штрафа на будущей неделе, потому что я не желаю подвергаться штрафу сейчас. А чего я не желаю сегодня, того не пожелаю и завтра.

— Иди и работай, Кэссиди, пока не зашел слишком далеко,— сказал Энтони немного мягче, стараясь проявить доброту.

— Пусть мне отдадут два шиллинга, которые у меня отняли, тогда пойду.

— Кэссиди,— проговорил Энтони торжественно,— тебе придется либо примириться со штрафом, либо,— и он помолчал, чтобы конец фразы прозвучал внушительнее,— либо уйти отсюда. Выбирай.

— Я уже выбрал,— сказал Джонни.

— Что же именно?

— Уйти.

Секунду поколебавшись, Энтони выдвинул ящик, порылся в нем, достал горсть серебра и бросил на стол перед Джонни два шиллинга.

— Ясно, как день,— сказал он,— что ты нам совершенно не подходишь.

— Этого-то стыдиться нечего,— сказал Джонни с горечью.— И позвольте сказать вам, что еще один мой шиллинг пошел в уплату за часы, которые мы вам подарили. Он был мне очень нужен. Я дал его неохотно. Думал, что участием в подарке упрочу свое положение здесь. Мне книга нужнее, чем вам часы, но оставьте его себе: вспоминайте меня, когда часы будут биты!

Энтони вспыхнул до корней волос. Он наклонился к столу и не ответил. А Джонни стоял перед ним без кровинки в лице.

— Уходи отсюда,— яростно крикнул Хьюсон.— Как ты смеешь упоминать о таких священных вещах? Уходи, не то тебя вышвырнут.

Джонни чувствовал, что все служащие взволнованы, он уловил уродливое выражение испуга на лисьем лице Дайка. Что, не понравилось? Теперь Энтони всякий раз, как посмотрит на часы, будет вспоминать его слова.

— Никто меня не вышвырнет,— сказал Джонни.— Я сам уйду. Дай бог вам счастья, господа. А я не прочь отдохнуть. Прости, прости навек, бывшая слава!

Мясистая рука темнолицего Хьюсона схватила Джонни за плечо, и, не устояв перед мощным толчком, он налетел на конторку Нирэса.

— Уходи,— повторил Хьюсон злобно.— Наша фирма не держит на работе фигляров.

Дайк выхватил у Джонни драгоценную книгу и швырнул ее к двери, в грязную солому, где один из рассыльных поддел ее носком сапога и отправил дальше, в черную грязь переулка.

— Ступай за своей книгой в грязь, на улицу,— сказал Дайк,— там тебе и место.

— Там он обретет и надежду и счастье,— сказал Хайленд.

Нирэс смотрел на все и молча вздыхал.

Бледный, словно лилия в темном углу, чувствуя, как ненависть жгучей болью сверлит мозг, а в душе кипит ярость, Джонни выпрямился, одернул куртку и, повернувшись к двум глашатаям божьим, сказал нараспев:

Вас обоих, с благочестьем вашим, покидаю
И ухожу. Надеюсь, в Судный день
На миг вас озарит небесный свет,
И вы падете в бездну преисподней,
Ослепнув навсегда...¹

И сам, полуслепой от ярости, вышел на улицу, подобрал из сточной канавы драгоценную книгу, носовым платком стер с переплета навозные брызги и отправился восвояси.

И было утро, и был вечер, день седьмой — день бури.

СЦЕНА ЗОВЕТ

Арчи теперь окончательно ушел на сцену, и Джонни не отставал от него. Арчи жил, и вел борьбу, и умирал и снова возрождался в деяниях героев, проводивших свою блистательную жизнь на подмостках, в ярких огнях рамп. Театр притягивал к себе все живое, остальная часть мира вмещала мертвецов. Несколько месяцев назад они создали Таунсендское драматическое общество, арендовали за шиллинг в неделю пустующие конюшни на Хилл-стрит. Переборки между стойлами выломали, стены побелили, поверху провели густо-желтый бордюр, а по углам нарисовали: в одном — арфу, во втором — волкодава, в третьем — круглую

¹ Из «Потерянного рая» Мильтона. Перевод Н. Холодковского.

башню и в четвертом — большую ветку остролиста, так чтобы сразу можно было почувствовать дух этого театра. Из досок, вставленных на чердаке, сколотили сцену, остатки пошли на скамьи для публики. В старые фонари, купленные по дешевке, вставили желтые и черные картонные створки — получилась как настоящая рампа, а ярко-красный коленкорový занавес поднимался и опускался по звону колокольчика. Обзавелись и декорациями для нарядной гостиной, зала и сада, выкроенными из целых кусков рваного задника, выброшенного Королевским театром. Новый театр ставил отрывки из пьес, и зрители — человек сорок пятьдесят — платили за вход по два пенни, чтобы посмотреть Арчи в роли герцога Глостера (Генрих Шестой — Джонни) или Джонни в роли Брута (сцена в Форуме, Марк-Антоний — Арчи), причем друзья актеров, сидевшие в зале, подавали им реплики за толпу; или сцену между Вулси и пэрами, сведенными до минимума: один, и этого одного играл Джонни, — в желтых сапогах, в темно-синем трико, в черных штанах до колен, коричневом бархатном камзоле и изумрудно-зеленом шелковом плаще, взятом ради такого торжественного случая у Томми Толтона. В роли кардинала выступал Арчи — в красной мантии, в плоской широкополой шляпе, которую несколько дней перед спектаклем обесцвечивали в растворе соды, потом покрасили алой краской и обвязали по тулье красными шнурами от занавески, с тяжелыми кисточками, спускающимися ему на левое плечо. Джонни приходилось быстро удаляться за кулисы после коварного наскока на кардинала:

Я оставляю вас для размышлений:
Как лучше жить. Узнав ответ упрямый
О возвращенье мне большой печати,
Король, конечно, скажет вам спасибо.
Прощайте же, негодный кардинал¹,

чтобы вовремя вернуться Кромвеллом в длинном черном плаще и широкополой черной шляпе и дать Арчи возможность провести знаменитую сцену кардинальского отречения. Кроме того, они играли отрывки из «Квартеронки», чаще всего диалог между Джейкобом Мак-Класки и Салемом Скаддером (Джонни — Мак-Класки и Арчи — Скаддер) и диалог между Корри Кинселлой и Харви Даффом из «Трубокура», и много других сцен из маленькой, в оранжевом переплете книжки «Избранные пьесы». Джонни не нравилось только одно: яростные ссоры, которые разгорались после каждого спектакля, потому что многие завидовали природному таланту и сценическому темпераменту Арчи и не только воздерживались от похвал ему, но всячески старались охаять все его роли. Арчи кипел, злился, грозил сорвать занавес, купленный им на собственные деньги, и говорил, что, если он уйдет, без него

¹ Из трагедии Шекспира «Генрих Восьмой». Эти и последующие стихи переведены В. Роговым.

Драматическое общество совсем развалится. И вот однажды, когда в Кофейном дворце выступал негритянский оркестр Анны Лиффи, они сыграли в антракте сцену ссоры Брута и Кассия (Кассий — Джонни); оба в пунцовых плащах, в наколенниках и латах, сделанных из вошеной бумаги, которую Арчи стащил в редакции «Дейлн экспресс» и покрыл серебряной краской. Но зрители приняли их молча — ни свиста, ни единого хлопка, и после этого Арчи совсем приуныл и долгое время довольствовался игрой на трещотке в оркестре, выжимая из нее то, что ему не удалось выжать из Шекспира.

Потом дела пошли лучше. Арчи подружился с шуринном Томми Толтона — Чарли Сэлливаном, который гремел на сцене, когда театр был еще театром и публика умела отличать хорошую игру от плохой; который был великолепен в роли Коппа-Трубокура, великолепен в роли сельского почтальона Шоуна, а лучшего Майлса из Коппалина не видывали нигде в мире — даже в Ирландии. Кто другой умел так веселить зрителей, вызывать у них слезы сочувствия, смягчающие сердца, и срывать такие овации, что хотелось поднять его и пронести на плечах напоказ всему рукоплещущему миру.

Но теперь, когда повсюду царило невежество и дурной вкус, единственное, что Чарли Сэлливан мог сделать для драматического искусства, — это играть в Театре механиков на Эбби-стрит, выступая перед довольно-таки бесцеремонными зрителями, которые приходили в театр просто поразвлечься, но все же принимали близко к сердцу и дрожь страданий и блестящие шутки, когда часть огней гасла, если на сцене лились слезы, и снова вспыхивала, если отвага и мужество брали верх или веселье вприпрыжку несло к сердцам смеющихся людей, что сидели в темном зале. В этом театре Чарли переиграл все ирландские пьесы, чередуя их с «Квартеронкой», «Корсиканскими братьями» и «Спасенными из морской пучины», и Джонни ходил на все спектакли по контрамарке в первый ряд партерных скамей, так как его брат Арчи выступал вместе с Сэлливаном на маленьких ролях, готовясь к более блестящему будущему.

Однажды какой-то мальчишка принес Джонни письмо от Томми Толтона с пометкой «срочно», в котором Томми просил его прийти к нему по делу, ни минуты не медля; и Джонни с бьющимся сердцем поспешил на этот зов. Он быстро свернул на Темпл-стрит, прошел мимо церкви св. Георгия, юркнул в тупичок «Карман» и постучался в дверь к *благородным*, несколько облупившуюся, но с белым гипсовым конем в полукруглом окне наверху, который раз и навсегда взвился на дыбы. Конь свидетельствовал о том, что здешние обитатели, хоть и несколько прижатые жизнью, все же считают себя людьми избранными — не чета другим — и лелеют эту мысль, несмотря ни на что. В каждом полукруглом дверном окне тупичка красовался гипсовый конь, который или стоял как вкопанный, или гарцевал, или уныло при-

плясывал на задних ногах, точно цирковой мученик, репетирующий свой номер. Этими конями, вместе со статуэтками святого Франциска, святого Патрика и мадонн с младенцами, торговали в разнос итальянцы. Джонни часто видел, как их покупают, часто мечтал о том, что и его матери средства позволят когда-нибудь поставить такого коня в полукруглое окно над дверью. Глазея иной раз на продавца, разговаривающего с какой-нибудь женщиной у порога ее дома, и видя, что итальянец гонит его прочь взглядом, он говорил: — Сколько они стоят, сэр? — А продавец спрашивал: — Который? Святой или простой лошад? — И когда Джонни показывал на коней, ему отвечали, что маленькие лошади — два шиллин, а большой — четыре шиллин, и потом продавец снова заговаривал с женщиной: — Поставишь этот лошад окошко, леди-и, и он сразу делает перемена — большой перемена, и никто не узнать ваш дом, потому что, когда этот маленький лошад или этот большой лошад ставишь окошко над дверь, он величит ваш дом, все величит, величит, леди-и. О! так высоко величит, что ваш дом никто не узнать. Да-да! Этот лошад делает дом... как вы говорить? — знатни. «Леди-и» покупали коней, и Джонни с завистью смотрел, как их бережно вынимают из корзинки, хотя ему было прекрасно известно, что пожелать добра ближнего своего — большой грех. Но грех, не грех, а он все-таки желал добра ближнего, когда было что пожелать.

Квартиры в этих домах сдавались благородным; в прихожих там был линолеум, стояли вешалки для шляп и пальто, на боковой стене висела какая-нибудь картина в золотой раме, на лестнице — пестрая дорожка с медными прутьями — словом, все тут говорило тебе: стучись потише. После того как они преподносили часы Довергеллу, Джонни впервые входил в такой красивый дом, и хотя здесь было далеко не так роскошно — ему и этого оказалось достаточно, чтобы взволноваться, ибо заплатанные башмаки и сильно поношенный костюм плохо вязались с гипсовым конем в полукруглой дверной фрамуге и кремовыми занавесками на окнах. Скорее всего Томми Толтон хотел дать ему заработать несколько пенсов на разноске афиш по магазинам, извещающих всех о том, что в Театре механиков идет «Трубокур».

Он поднял руку к молоточку в форме лилии, выглядывающей из пучка травы, и осторожно постучался к благородным. Не успел стук замереть где-то совсем близко, как дверь ему открыла маленькая старушка — седая, в шали на плечах, с пристальным грустным взглядом больших глаз, темневших на бледном озабоченном лице.

— Джонни Кэссиди? — спросила она. — Входи, входи, сынок. Я уже больше часа прислушиваюсь, не постучишь ли ты.

Она провела его в комнату, не большую, не маленькую и всю загроможденную мебелью. На каминной доске стояли синие с черными разводами вазы, расширяющиеся кверху; по краям их на крохотных медных крючочках висели хрустальные подвески,

и отсветы яркого огня, жарко горевшего в камине, плясали красивыми разноцветными искрами на их гранях. Между вазами стояли большие квадратные часы в футляре красного дерева, на котором были нарисованы два белых лебедя, плавающие по голубому озеру, обсаженному стройными желтыми и зелеными пальмами. Надо всем этим висел огромный, во весь рост, портрет Чарли Сэлливана в роли Конна-Трубокура — рваный ярко-красный охотничий костюм, плутовская улыбка на пышущем румянцем лице, за спиной скрипка, а у ног — террьер Тэттерс. Справа и слева фотографии — он же в роли Майлса из Коппалина с пивным бочонком на плече, в роли Шоуна-почтальона, закованного по рукам и по ногам, под сводами темницы. С других фотографий, размером поменьше, на Джонни смотрел Томми Толтон в роли Корри Кинселлы, капитана Молинё и О'Грэди. На полу лежал выцветший красный ковер, а по нему были разбросаны маленькие меховые коврики, скрывающие те места, от которых остались одни жалкие ниточки. Посреди комнаты, ближе к камину, стоял обеденный стол с белой скатертью, накрытый к завтраку на одну персону.

— Дай мне твою кепку, — сказала старушка, — и садись к огню. Когда Том спустится к нам, налью тебе чашку чая. Правда, красивый портрет? Это Чарли в пору его расцвета — бог знает сколько денег стоило. А нарисовали его вскоре после того, как он поздоровался за ручку с королями и разными монархами, которые восхищались им. А это — да будет благословенно доброе старое время! — продолжала старушка, показывая на портрет ангелоподобной девушки, — это моя дочка в роли Мойи, моя Мэри, которая могла поднести к одной своей щечке лилию, к другой — розу, и такое соседство было им подстать. А улыбка, данная ей богом, до того смягчала сердца зрителей, что они проникались любовью ко всему миру. Но моя бедная дочка вздохнула один-единственный раз и вознеслась душой на небеса, не стерпев мук и так и не одарив мир еще одним ребенком. Слышишь, кровать скрипнула? Значит, пора класть яйцо на тарелку, потому что моего Тома теперь не узнать, теперь он уже не завтракает в постели, когда на небо ложится первая ночная тень. Теперь он не позволяет мне пальцем шевельнуть, сам убирает свою комнату, сам подметает, сам стелет постель, жалеючи старуху мать, и даже запирает дверь на ключ, когда уходит, чтобы я не вошла туда тайком и не навела у него порядок. Вот он пожаловал, и вот Джонни Кэссиди дожидается вашей светлости, исстрадавшись по чашке чая, которая нужна ему, прежде чем он призадумается над тем, чего ты от него потребуешь.

На пороге появился худой, долговязый Том, одетый в выцветшие черные брюки и ослепительно белую рубашку, заштопанную в нескольких местах, с обтрепанными манжетами, но все еще молодцеватый и полный задора. Его бледное рябое лицо освещала веселая улыбка; волосы — шапка золотых кудрей — были расче-

саны на прямой пробор, и один дерзкий завиток красиво спадал ему на изрытый оспой лоб.

— Ну-с, Джонни, душа моя,— дружелюбно начал он и, сев на стул у камина, принялся за яйцо, а Джонни — за чай с поджаренным ломтиком хлеба,— ты, вероятно, слышал, что сегодня бенедикт Чарли? Так вот, Клеггет, который должен был играть отца Дулана, лежит больной, роли этой никто больше не знает, и положение у нас пиковое. Мы просим тебя: сыграй Дулана.

— И сыграет, да еще как хорошо сыграет,— негромко проговорила миссис Толтон.

— Ой, нет, что вы! Я не смогу! — взволнованно вскрикнул Джонни, но его громко забившееся сердце уже щемило от предчувствия аплодисментов.

— Нет, сможешь,— решительно проговорил Том.— Я же видел, как вы с Арчи играли сцену в гостиной и в Бэллирэгет-хаусе. Тебе сам бог велел быть отцом Дуланом! И роль ты, наверно, знаешь от начала до конца.

— Роль знаю,— сказал Джонни.— И почти всю пьесу помню наизусть.

Томми вскочил со стула, смахивая хлебные крошки с губ и сверкая глазами, точно дело было уже решенное.

— Прелесть ты моя! — сердечно воскликнул он.— Ну-с, матушка,— поворачиваясь к миссис Толтон,— снимите с него мерку, чтобы знать, насколько надо ушить костюм отца Дулана, не то он будет висеть на нем.

Посуду мигом убрали. Темное облачение патера Дулана разложили на столе, миссис Толтон смерила длину рук и ног и шпирину талии Джонни, отмечая мелом на черной материи, где надо заложить складки, и бормоча при этом: — Много ушивать не придется, ноги длинные, руки длинные, и в талии он широкий. А вот как быть со шляпой? На ней сборок не соберешь.

— Ему придется надеть шляпу раза два, не больше,— пояснил Том,— а остальное время пусть держит ее в руках. А теперь, сынок, помчались в театр, пройдемся по роли, и надо тебе дать привыкнуть к нашей сцене.

Джонни, сам не свой от волнения, выбежал вслед за Томом на улицу, и они вскочили в вагон, который шел к колонне Нельсона.

— Я прибирал у себя в комнате и слышал, как старуха болтала внизу, не закрывая рта,— сказал Том.— О чем это она? Расписывала, какой я стал пай-мальчик?

— Да,— ответил Джонни.— Как вы сами все делаете, сами стелете постель и даже запираете дверь на ключ, чтобы мать не возилась с уборкой.

— Если б она только знала! — И Том громко рассмеялся, сдвинув шляпу набекрень.— Я сижу на мели последние недели, пришлось даже одеяла заложить, вот и убираю сам комнату и держу от нее дверь на запоре. Первое время было ничего, потому

что ночи стояли теплые, а теперь — ну просто погибаю! — наваливаю на себя всякую рухлядь, чтобы не замерзнуть.

Они вошли в театр и увидели, что двое рабочих устанавливают декорации для первого действия. В левом углу сцены выросла часть дома со ступеньками крыльца, и Джонни до тех пор репетировал, как надо всходить и спускаться по ним, пока Том не удостоверился, что в его походке появилась величавость, приличествующая священническому сану. Потом прошли несколько раз наиболее важные места пьесы, потом каждую сцену, в которой участвует патер, и под конец Том просто сиял от восторга.

— Bravo! — крикнул он, подбегая к Джонни и крепко сжимая ему руку. — Нет, вы видели, вы слышали? — обратился он к рабочим, которые ставили декорации.

— Ну еще бы! — ответил один из них. — Лучшего отца Дулана вы и в Друри-Лэйн не найдете, даже если будете дневать и ночевать там до второго пришествия.

— Слов нет, Генри Ирвинг — великий актер, — сказал другой, — но если некто будет и дальше двигаться такими шагами, Ирвинг ему и в подметки не сгодится.

Том запустил руку в карман, вынул несколько медяков и сунул четыре монеты рабочим.

— Пошли выпьем! — крикнул он.

Скорей-скорей в пивную, заказали бутерброд с сыром и бутылку портера для Тома, бутылку имбирного пива и сэндвич с ветчиной для Джонни, из пивной опять к Толтонам, где Джонни примерил одеяния отца Дулана, их пришлось ушить еще в двух-трех местах, прежде чем Том сказал, что все в порядке; потом домой, чувствуя, как голова идет кругом и в ушах звенит наказ Тома: лечь и забыть обо всем до поры до времени; но приходится слушать воркотню матери, которая, узнав, что ему предстоит, бормочет, что даже если бы театр был таким, каким надлежит быть театру, все равно порядочный человек ничему путному там не научится; известно, что за народ эти актеры — у них не жизнь, а какой-то развеселый балаган, не знают ни забот, ни хлопот и только вводят в соблазн тех, кто должен идти прямой дорогой. Разве пристало мальчику смотреть, как шалопаи мужчины куралятся с развратными женщинами; вспомнил бы лучше, что ни отец твой, ни мать не ходили по театрам, разве только на дивные пьесы Шекспира, а играли их богобоязненные люди, которые и смеялись от всей души и плакали чистыми слезами — когда как надо; и добавила вслед уходящему Джонни, что, если уж ты ввязался в это дело, так упаси боже, не провались, не опозорь нас, Кэссиди, плохой игрой.

Джонни всю дорогу бежал бегом, но в театре было темно и пусто, и ему пришлось ретироваться, потом он опять пришел и опять ретировался, и так продолжалось больше часа, до тех пор, пока на улице не появился один из рабочих. Джонни вошел за ним следом, и рабочий сказал ему, что он пожаловал слишком

рано, пусть идет в уборную мистера Толтона и ждет там, когда надо будет одеваться и накладывать грим.

Уборная оказалась крохотной комнатуской с тонкими дощатыми стенами; в углу стоял маленький столик, заваленный коробочками с гримом и пудрой. Зеленый сюртук и кожаные штаны Кинселлы висели на крюке рядом с черными брюками самого Тома; к жестяной коробочке на столе было приткнуто треснутое зеркальце, а на стенах прибиты цветные картинки и фотографии красивых женщин в нарядных платьях — в платьях, которые, повинуясь позам их обладательниц или смелым движениям их холерных ручек, лежали так, что со всех сторон, из всех углов на Джонни глядели стройные ножки и пышные белые груди, почти не прикрытые низкими лифами.

Мой скромный девичий корсаж измялся, сэр,
Поосторожней, сэр, молю!
Шнур шелковый на нем совсем порвался, сэр,
Ах, осторожней!
Ну, вот! Теперь обнажена
Моих сокровищ белизна.
По вкусу ль будет вам она
В День Патрика, чуть свет?

Высоко юбки задрались, пляшу я, сэр,
Поосторожней, сэр, молю!
Огонь у вас горит в глазах, бушуя, сэр,
Ах, осторожней!
Мне страшно, сэр, в том клятву дам,
Пусть угодит добыча вам,
Ее отыщете вы сам
В День Патрика, чуть свет!

Томми Толтон впопыхах влетел в уборную, и Джонни отпрянул от фотографий. Шляпа у Тома еле держалась на голове, лицо было разгоряченное; он так отдувался, что рябинки у него на щеках, казалось, то выравниваются при каждом вздохе, то снова западают.

— По всему видно, Джонни, по всему видно: наконец-то мы добьемся успеха!

— Да? — усомнился Джонни.

— У кассы выстраивается очередь, сынок. Полный сбор обеспечен, и без контрамарок, без контрамарок, друг ты мой! Ну, напавивай свои ризы, и я тебя загримирую. У нас с тобой больше получаса до поднятия занавеса.

Джонни облачился в скромные одеяния отца Дулана и почувствовал, что сидят они на нем неважно. Складки, хоть и заглаженные, были все-таки заметны, брюки висели мешком, зато пришитая к сутане полоска из жесткой белой бумаги несколько не отличалась от настоящего воротничка, что носят священники. На лицо ему наложили тонкий слой желто-серого грима, чтобы скрыть юношеский румянец; тонкие коричневые линии на лбу и под глазами изображали морщины, придававшие его лицу задум-

чивое и серьезное выражение; каштановые волосы посеребрили мукой, сунули книжку в руки — вместо требника, как пояснил Том, и вот Джонни был в полной боевой готовности.

— Помни! Нельзя переключать книжку из левой руки в правую, — сказал Томми. — Правой жестикулируют, она должна быть свободна. — Он склонил голову набок и внимательно оглядел Джонни. — Хорошо. Прямо как настоящий. Великолепно!

Том оделся Корри Кинселлой — кожаные штаны, сапоги выше колен, зеленый сюртук, белая жилетка и серый цилиндр. Он подрумянил щеки, густо провел черной краской от ушей к подбородку, что должно было изображать бакенбарды, и мазнул черным по верхней губе, что должно было изображать усы. Потом взял хлыст и стал, улыбаясь, в ожидании своего выхода.

— Пойдем, пожалуй, — сказал он. — Чует мое сердце, что времени у нас в обрез. — И предостерегающе: — Помни: держи голову выше, когда говоришь, иначе в задних рядах тебя не услышат, не загораживай других актеров — это портит мизансцены — и не забывай, что священники ходят с достоинством, произносят слова медленно и веско.

Когда Джонни спускался следом за Томом по лестнице, сердце у него так билось, что грудь спирало и желудок сжимался от странного ощущения пустоты. Они открыли железную дверь, на которой было намалевано «Тише!» — и вышли на сцену.

Яркие огни, необычно одетые люди, молча стоявшие вокруг него, приглушенный гул из зрительного зала — всего этого было достаточно, чтобы грязная сцена и пыльные декорации превратились в глазах Джонни в чудесный золотой мир.

— Играй, как утром на репетиции, и все будет прекрасно, — шепнул ему Том и неслышными шагами скользнул на свое место.

Проходя мимо Джонни, другие актеры ласково похлопывали его по плечу, и ему стало ясно, что, если он провалится, тогда всему конец. Но он не провалится, он войдет в роль и будет жить ею.

На сцене, прямо перед ним стоял коттедж Арт О'Нил в Сула-беге, а чуть левее развалины замка, и Атлантический океан совсем близко, так что сюда доносится шум его валов. Вот капитан Молинё 49-го пехотного, который пришел арестовать беглеца Роберта Ффолиотта, фения, обвиненного в государственной измене, потому что он не боялся говорить о девятиности восьмом годе¹. А сквайр Кинселла в зеленом сюртуке ходит перед коттеджем взад и вперед, похлопывая по сапогам изящным хлыстиком. Он злодей, он зарится на поместье своего друга Ффолиотта, он стал между фением и его невестой, прикрывшись личиной дружбы, а на самом деле сговорился с Харви Даффом, полицейским агентом в сером мундире, снова упрятать Ффолиотта в

¹ Речь идет о восстании 1798 года.

тюрьму и таким образом убрать его с дороги. А патер Дулан, весь в черном, сам не свой от отчаяния, потому что он знает все это, но не может нарушить тайну исповеди.

Джонни шагнул из двери в сияние, в слепяще-белый свет, не видя, но чувствуя множество людей, которые ждали там в темноте, что будет дальше, дивились, переносились мысленно к актерам, в этот круг света, где был совсем другой мир добра и зла, радостей и горя, мир коварства и душевной чистоты, шелков и грубого сукна, одежд алых, зеленых и поношенных серых, собравшихся воедино на благие и черные дела под недреманным оком господя, следящего сверху за тем, чтобы после всех злоключений правым воздалось бы сполна.

И вот он стоит у дверей коттеджа, устремив взор на Кинселлу, который, весь кипя, спрашивает его, кто посылал Ффолиотту деньги в Австралию, чтобы не дать ему умереть голодной смертью. И ответ Джонни, прозвучавший громко, четко и странно для него самого: «Деньги посылал я, мистер Кинселла». Действие разворачивается, и когда Кинселла просит отца Дулана уговорить Арт О'Нийл стать его женой, Джонни, возмущенный низостью злодея-сквайра, отвечает ему: «Мне легче отслужить заупокойную мессу над могилой этой девушки и услышать, как комья земли падают на ее гроб, чем произнести священные слова, которые свяжут ее с тобой узами брака, ибо теперь я знаю все, Корри Кинселла, это ты, чтобы жениться на ней, оговорил моего дорогого мальчика и ее жениха». И Кинселла восклицает, злобно оскалившись: «Это ложь!» — «Это правда! — говорит Джонни. — Но правда эта заперта на замок у меня в сердце, а ключ от замка хранится на небесах!» И мстительный Кинселла кричит, не помня себя от ярости: «Тогда вон их всех из этого дома, пусть нищенствуют, пусть скитаются бездомные!» Но голос Джонни гремит, словно гром, до поры до времени таящийся в тучах, и лишает мерзавца последней надежды: «Не бывать этим девушкам бездомными, пока у меня есть крыша над головой! Не бывать им нищенками, пока я могу поделиться с ними коркой хлеба, дарованной мне господом богом!» Кинселла скрежещет зубами, а он медленно удаляется под бурю аплодисментов и приветственные крики зрителей, убеждающие его в том, что все сошло хорошо. И за кулисами исполнители главных ролей молчажимают ему руку, а второстепенные — уважительно касаются его плеча. События разворачиваются дальше, и вот всем уже ясно, что сестра фения без памяти любит английского офицера; и вот Трубокур ухитряется контрабандой привезти государственного преступника из Австралии в Ирландию, доставляет его целым и невредимым в дом к отцу Дулану, куда в самый разгар ликования по доносу Харви Даффа врываются красные мундиры. Фений прячется на кухне в часы, капитан Молинё грозно спрашивает где он, и отец Дулан бормочет заплетающимся языком: «Он... он был здесь, но... но...» — а Конн подхватывает: «Да, сэр, он не

успел прийти, как ушел». Тогда капитан торжественно произносит: «Могу ли я полагаться на ваше слово, сэр, слово священника, что Роберта Ффоллиотта нет в этом доме?» Святость не позволяет отцу Дулану солгать, и он борется с самим собой, но мужественный фений спасает его от лжи, вбегая в комнату со словами: «Да, сэр! Роберт Ффоллиотт здесь!» Конн утешает патера, заверяя его, что Роберт скорее даст заковать себя в кандалы, чем позволит солгать и взять грех на душу. Под занавес — великолепная живая картина: закованный фений обнимает свою возлюбленную, убитый горем патер рыдает, уронив голову на стол, капитан показывает на дверь обнаженным клинком, а Конн не запускает ему в голову тяжелой бутылкой только потому, что Мойя обвивает руки вокруг его шеи, и до Джонни доносится чей-то долгий горестный вздох из зрительного зала.

Наконец последнее действие: Кинселла, похитивший Арт и Мойю, падает, сраженный пулей Конна; Арт сбрасывает лестницу, подставленную к утесу, и не дает злодеям попасть на поджидающий их парусник. И последняя сцена, когда Харви Дафф удирает от разъяренной толпы и молит пощады у Конна, но тот отталкивает пресмыкающегося доносчика со словами: «А ты пощадил меня? Ты пощадил тех, вместе с кем преклонял колена у алтаря, тех, чью соль ты ел, но запивал ее их же кровью? Смерть обрушится на тебя с этого утеса, смерть поджидает тебя внизу на камнях! Выбирай, доносчик, где тебе умереть». А Роберт помилован, и ему уже не нужно бежать в Америку, где ирландцы окружены почетом и уважением, где им всегда рады, где их ставят у власти и обласкивают, где на них не собирают доносов, где не возводят тесных казематов, чтобы держать их под замком, где не плетут веревок, чтобы вздергивать их на виселицу, где не куют железа, чтобы заковывать их в кандалы, и он мог теперь жить дома, мог жениться на своей возлюбленной, так же как и капитан Молинё — бог с ним, хоть он и англичанин. И Конн тоже обретает счастье со своей Мойей, и патер Дулан наконец-то осеняет их всех благословением.

Джонни склонил голову вместе с остальными актерами, стоя посреди оглушительных, радужных всплесков рукоплесканий и видя, что кое-кто из публики пробирается к выходу, ступая по апельсиновым коркам и смятым программам, а занавес в это время медленно, медленно опускается в последний раз.

Актеры заторопились и стали расходиться, похлопывая его мимоходом по плечу, и ушли почти все, но Джонни задержался, грустно глядя на потемневшую сцену и чувствуя, как тускнеет в нем радость. За кулисами раздались голоса двух актеров, которые играли маленькие роли приспешников Кинселлы. Он насто-рожился, услышав свое имя.

— Видал что-нибудь подобное? — проговорил один голос. — Я еле удержался, чтобы не расквасить этому нахальному мальчишке нос, когда он расхаживал тут, как павлин!

— Отец Дулан — здрасте пожалуйста! Меня, на него глядя, с души воротило. Даст бог, в первый и последний раз такое видим. Позор, позор! Вот если бы эту роль дали тебе... Э, да что там толковать!

— Или тебе, Джем. Ладно, не буду. Нахальный мальчишка угодил всем. О господи, не оставь наш горемычный театр!

Джонни поспешил в уборную и молча снял с себя костюм, только краем уха прислушиваясь к похвалам, которые расточал ему Томми, потому что от его ликования почти ничего не осталось.

— Нет, ты в самом деле удачно сыграл, — сказал Арчи, когда они шли домой. — Даже Сэлливаи признался, что лучшего отца Дулана ему пришлось видеть только раз — когда он сам выступал в этой роли. Расхваливал тебя не знаю как.

— Он всех расхваливал, — хмуро пробормотал Джонни.

— Это так, между прочим, а тебя превозносил до небес. Мне Харви Дафф сегодня тоже удался. Слышал, как свистели?

Но радость испарилась, ликования как не бывало. Чтобы не думать о том, что наговорили по его адресу те двое мерзавцев, он затянул вполголоса веселую дублинскую песенку:

Ей шаль с головою закутало тело.
Пусть солнце палит ее, ливень сечет —
Рука ее тонкая, скрытая мраком,
Мне пышные алые розы несет.

Простая одежда и ноги босые —
Бедна она, правда, но грязь к ней не льнет;
Сняние нежное звезд в ее взоре
Мне пышные алые розы несет.

Алмаз на челе у нее не сверкает
И праздные взгляды к себе не влечет,
Но страсть, что сокрыта в груди белоснежной,
Мне пышные алые розы несет.

— Тем не менее, — сказал Арчи, когда они вышли на Шериф-стрит, — я бы на твоём месте не стал зазнаваться.

СМЕРТЬ У ПОРОГА

Том отбыл свой срок в армии и вышел в запас с безупречным послужным списком. Его ротный командир, капитан Бэкон, всячески уговаривал его остаться на сверхсрочную службу и добиваться повышения. Том сдал испытания по сигнальному делу, по строю, по черчению карт, он выучил на зубок все, какие в то время были, руководства по тактике пехотного боя, оборонительной и наступательной, и Бэкон при первом же случае представил его к производству. Том получил ефрейторские нашивки. Но долго носить их ему не пришлось. Никакими силами нельзя было заставить его посадить товарища под арест или хоть подать на него

рапорт. И когда у него споролн нашивки с рукава, он сказал: — Не солдаты им исправные нужны, а шкуры и допосчики! — Трижды ему возвращали нашивки и трижды отбирали назад, потому что не по нраву ему была роль тюремщика или судейского подлипалы. Вот и вышло, что он вернулся к себе в родной город, хотя ему и нравилась жизнь солдата.

А Майкл, наоборот, ненавидел солдатчину, и даже звук трубы был ему противен. В казармах у него были одни неприятности, и послужной список пестрел взысканиями. Сейчас он отбывал годичный срок в военной тюрьме за то, что не смолчал, когда старший сержант обозвал его лодырем и ирландским ублюдком.

Но Том вернулся домой с хвалебным отзывом в одной руке и рекомендательным письмом от капитана Бэкона в другой. Письмо было к начальнику товарной станции Медлендской железной дороги, и Тома приняли сперва носильщиком с платой пятнадцать шиллингов в неделю, а потом перевели в стрелочники, и тут уж он стал получать восемнадцать шиллингов. Он хотел жить поближе к месту работы, и семейство Кэссиди уложило свои пожитки и перебралось в небольшой домик возле Северной стены. Они сняли там две комнаты, а в двух комнатках наверху проживал некто мистер Шилдс с женой и восемью детьми. Это были шумливые ребята, вечно голодные, вечно в лохмотьях и заплатах; вечно они дрались и шныряли по лестнице, то вверх, то вниз, то на улицу, то с улицы; а в сенях то и дело оставляли следы, так что голову можно было сломать, если, не дай бог, наступишь. Они наполняли дом запахом нищеты, шумом, гамом и беспорядком, с утра и до поздней ночи, пока сон, наконец, не валил их с ног.

В одно октябрьское утро — утро, затянувшее небо серо-голубой пеленой и в ранние свои часы пронизанное холодным ветром, — Джонни и его мать погрузили на тележку свою незатейливую мебель. В тележку был запряжен осел, а правил им подросток, ровесник Джонни, с черными всклокоченными волосами и кривой на один глаз. Глаз он потерял в кулачном бою — так он объяснял — «со здоровым одним парнем, вдвое выше меня ростом, а как увидел он, что на кулачки ему меня не одолеть, так повалил меня наземь, подмял под себя и ткнул острой щепкой в глаз, да еще ее повернул — пришлось потом доктору весь глаз вынуть; ну и я ему показал, так лягнул в мошонку, чуть он богу душу не отдал». Погрузив мебель на тележку, Джонни с Одноглазым всю дорогу развлекались тем, что лупили осла. Наконец приехали. Джонни, весь в поту, помогал Одноглазому вносить мебель, а мать его все ходила с новой квартиры на старую и обратно и переносила более хрупкие вещи, которые она не решилась положить на тряскую тележку.

Устроились и зажили на новом месте; тут на задах стояла маленькая протестантская церковь, а через улицу, прямо напротив — большая католическая; одна называлась церковью св. Сквернавы, а другая — св. Хамнана. Миссис Кэссиди ограничилась по

этому поводу замечанием, что чем ближе к церкви, тем дальше от бога. Только начали обживать в новом доме, как оказалось, что в нем полным-полно клопов. Тома и Джонни чуть не тошнило каждую ночь, когда клопы вылезали из всех щелей и принимались ползать по их содрогающимся телам, раскисая в кровавую зловонную слизь под их злобно шарящими пальцами. Миссис Кэссиди развела кипяток с содой и ошпарила все, что было деревянного в комнатах; целый месяц она с помощью Джонни день и ночь сражалась с клопами, выскребала все уголки, где они гнездились, заливала их разными ядами, размешанными в керосине, беспрестанно отплевываясь, словно тошнота подступала у нее к горлу; выпросила известки у каменщиков, работавших на постройке в конце квартала, и замазала все щели, а потом сверху загладила ножиком со сломанным лезвием; и наконец настал день, когда она могла позвать соседей и предложить им порадоваться вместе с нею — будь ты хоть неженка-разнеженка, ложись и спи спокойно, никто тебя не тронет, разве какая-нибудь блоха куснет раз-другой, ну так кто же на это обращает внимание.

После изгнания клопов зажили на славу. Джонни чуть не каждое утро получал яйцо на завтрак, — не то что прежде, когда только на пасху удавалось отведать яичка; а на обед часто бывало мясо, и за чаем на столе появлялась банка с вареньем. Наконец-то и он вкусил от плодов земных. Миссис Кэссиди надела теплое платье, а под него еще теплую нижнюю юбку и обула свои натруженные ноги в крепкие башмаки. Большой ящик в коридоре всегда был полон угля, ибо Том ухитрялся еще кое-что добавлять к своим восемнадцати шиллингам в неделю. Его мешковатая форменная куртка из черного плиса была настоящим волшебным мешком, и, вернувшись домой, он, случалось, извлекал из-под нее, словно фокусник, целую кучу хороших вещей — такого, что можно было съесть, и такого, во что одеться, например: яйца, масло, сыр, ветчину и чай; башмаки, кепки, рубашки, подтяжки и носки. Лишние башмаки и рубашки относили в заклад, и на свою долю из вырученных денег миссис Кэссиди приобрела разные полезные предметы домашнего обихода — несколько грубых простынь, пожи и вилки, кое-какую посуду, два дешевых одеяла и даже стул; его она купила у соседей, распродававших имущество после смерти главы семейства.

Выбрав какой-нибудь подходящий по виду ящик — такой, что сулил поживу, Том или кто-нибудь из его товарищей принимался наезжать на него острым углом багажной тележки, пока не разбивал; затем шел к старшему и докладывал, что вот, мол, там-то есть поврежденная тара, а остальные, пока никто не видел, запускали руки в разбитый ящик. «Из каждого мешка по зернышку» — таков был девиз носильщиков; и если кто-нибудь не желал соблюдать осторожность, его уж больше не принимали в компанию. У миссис Кэссиди долгое время сердце уходило в пятки всякий раз, как она переступала порог ссудной кассы, — ей все казалось,

что откуда-нибудь из темного угла выскочит полицейский, хотя она никогда не забывала сперва помолиться за Тома и за доброе имя семьи Кэссиди. Джонни не ходил в ссудную кассу, — он слишком трусил; но он исправно ел яйца, пил чай, носил башмаки и в теплую погоду распахивал пальто на груди; пускай все любят и завидуют, какая у него новенькая с иголки рубашка.

Но такое счастье не могло длиться долго. «Богу не угодно, чтобы людям жилось чересчур хорошо», — бормотала про себя мать Джонни. И однажды Том пришел к обеду весь синий, дрожа от озноба, и Джонни заметил, что глаза у него какие-то стеклянные. Выпил, должно быть, подумал Джонни. Том на все сердился и раздражался, и когда мать положила ему жаркого с капустой, он оттолкнул тарелку и проворчал, что такую тухлятину невозможно есть, а когда мать сказала, что это прекрасное мясо, свежее и вкусное, он схватил тарелку и швырнул ее вместе с жарким под печку. Затем вскочил, опрокинув стул, нахлобучил шапку и выбежал на улицу, хлопнув парадной дверью. Пришел он только поздно вечером, еле держась на ногах, и сказал матери, что ему очень плохо — в груди режет, словно ножом, так чтодохнуть нельзя. Мать принялась ухаживать за ним, как за маленьким, сама сняла с него башмаки, помогла раздеться, постелила ему постель и тепло укрыла. Потом побежала доставать овсяной муки, сварила кашу и заставила Тома, хоть он и отмахивался, выпить горячую болтушку маленькими глотками, приговаривая, что это будет вроде припарки изнутри. Том выспится хорошенько и завтра будет совсем здоров, а Джонни она сегодня положит спать на полу, чтобы Том был один в кровати и никто его не беспокоил.

Всю ночь Джонни слышал, как Том мечется на постели, как он тяжело дышит и бормочет себе под нос, проклиная бога за то, что тот насылает на людей такую напасть, как он кашляет и задыхается и опять бормочет проклятия, а ветхая кровать скрипит и трещит под ним, словно ржавая вывеска в ветреную погоду. Джонни слушал, и странное чувство овладевало им: ему казалось, что в хриплом, прерывистом дыхании Тома таится что-то чуждое и страшное, что-то такое, что вот-вот выползет и накинется на Джонни, и причинит ему боль, и повергнет весь дом в смятение.

Наутро Том метался в жару и дышал короткими, судорожными вздохами, а глаза у него как-то чудно блестели; он никого не узнавал и все время ворочался со спины на бок и опять с боку на спину. Поглядев на него, миссис Кэссиди велела Джонни сейчас же идти и взять красный билетик на бесплатное лечение, а потом отнести его в амбулаторию и немедленно вызвать врача. Только на другой день, часов в двенадцать, пришел доктор Шонелли, приземистый человек с большой головой и большими ногами, с темно-красным лоснящимся румянцем на щеках, который повыше, на скулах, переходил в лиловый тон. Его лысый, блестя-

ший череп возвышался над бахромкой жестких волос, словно большой остров, окаймленный узкой полоской моря, а на руках у него густо росли грязно-желтые волосы — как будто он родился в меховых перчатках. Жирная шея была так туго стянута воротником, что ему трудно было нагнуть голову. Войдя, он громко отхаркнулся и сплюнул в очаг.

— Где больной? — отрывисто спросил он. — Тут, что ли? Ага, вижу. Что с ним? Давно заболел? Станьте в сторону, вы мне мешаете. Угу. Сильный жар. Язык плохой. Грудь заложена. Покой и тепло, слышите? А еще лучше, отправьте его в больницу.

— Нет, нет, только не в больницу, — сказала миссис Кэсиди. — Ведь это в больницу для бедных. Нет, нет. Мы не нищие.

— Как угодно. Но лучше в больницу. Приходите в амбулаторию, я дам ему отхаркивающую микстуру. — И, надев шляпу, доктор устремился к двери.

— Я так за него беспокоюсь, — робко сказала миссис Кэсиди. — Мне бы очень хотелось, чтобы вы еще зашли завтра.

— Всем этого хочется, моя милая, — саркастически ответил доктор. — По-вашему, мне другого и дела нет, как только торчать у вас на пороге? — И он выкатился на улицу, крикнул кучеру, чтобы тот ехал к следующему пациенту, и, громко пыхтя, забрался в свою облезлую, рыжую карету.

Прошел день, и другой, и третий, а доктор не появлялся. — Бросили подыхать, как собаку, для бедного человека никто и пальцем пошевелить не хочет, — сказала мать. Она как раз обмывала Тома с головы до ног, надеясь этим унять жар и хоть немножко успокоить больного, — он день и ночь напролет вертелся и метался по постели.

Она ни на минуту не отходила от его изголовья, и щеки у нее осунулись, и глаза потускнели, и губы дергались от недосыпанья; а бедному Тому становилось все хуже; жар донимал его все сильнее; он дышал коротко и часто, с таким свистом и хрипом, что слышно было по всему дому; и когда мать пыталась влить ему в разинутый рот ложечку бульона, он не мог проглотить, а только давился, и все выливалось обратно, прямо на одеяло; мать обтирала ему потрескавшиеся губы и потный лоб и с тревогой заглядывала в широко раскрытые остекленевшие глаза; и он кашлял, так кашлял, что, казалось, вот-вот выкашляет все легкие, и с клокотанием отхаркивал темнокрасную мокроту, а мать осторожно обтирала ее, положив руку на его пылающий лоб.

Раз Джонни зашел в комнату узнать, не будет ли ему каких поручений, и увидел, что мать сидит на полу, одной рукой держась за кровать, а другой цепляясь за Тома, а Том привстал на постели и уже спустил ногу на пол; мать не отводила от него глаз, слезы текли у нее по лицу, и она все время бормотала: — Ах, Том, Том, Том, не могу, нет у меня больше сил, первый раз в жизни я не в силах тебе помочь.

Джонни, с бьющимся от страха сердцем, помог ей подняться и

сесть на стул у кровати, а потом силой уложил Тома в постель и держал его, прижимая к подушкам, не зная, что делать дальше,— и оставаться ему было страшно и бежать за помощью он боялся: вдруг, пока он будет ходить, Том опять встанет и что-нибудь себе повредит. И Джонни стоял, крепко зажмурив глаза, чтобы не видеть искаженного лица Тома, и готов был заткнуть себе уши, чтобы не слышать хрипа, вырывавшегося у него из горла.

— Как я боюсь за тебя, сынок,— все еще бормотала мать.— Как я боюсь за тебя. И я не в силах тебе помочь. Но я сделала все, что могла.

— Там кто-то стучит,— сказал Джонни.— В ту дверь. Надо пойти поглядеть. Подержи его, пока я схожу.

Но она сидела, закрыв глаза, теребя край одеяла; грудь у нее вздымалась, и она все приговаривала: — На этот раз я не в силах тебе помочь, сынок, но я сделала все, что могла.

— Да послушай же,— резко сказал Джонни и тряхнул ее за плечо.— В ту дверь кто-то стучит. Может быть, это доктор. Подержи его, пока я схожу поглядеть.

Она медленно встала, качнулась и упала поперек кровати, так чтобы своим телом прижать Тома,— а он, лежа, все лепетал, лепетал какую-то невнятицу.

Джонни растворил дверь и вышел. В том конце прихожей, перед дверью в другую комнату, стоял незнакомый пастор, рослый и статный, не хуже любого полисмена, и ждал, пока ему откроют. Джонни уже хотел было шмыгнуть назад и сказать матери, чтобы сидела тихо,— незванный гость постучит, постучит, да и уйдет. Но пастор услышал шорох его шагов, повернулся и подошел к нему.

— Здравствуй, дружок,— сказал он. На Джонни смотрело очень красивое лицо.— Скажи, пожалуйста, здесь живет миссис Кэссиди?

— Здесь, сэр,— ответил Джонни. Он не успел придумать, как спроводить гостя.

— Она ведь протестантка? Можно ее повидать? Я Гарри Флетчер, ваш новый пастор.

— Нельзя ее видеть,— угрюмо ответил Джонни.— Мой брат очень болен, и она за ним ухаживает.

В эту минуту послышался пронзительный, жалобный крик миссис Кэссиди. Она звала: — Джонни, Джонни, иди скорей, он опять встает, а я не могу его удержать.

Джонни бросился назад в комнату и увидел, что Том поднялся на постели и что-то бормочет с разинутым ртом, а мать без сил соскользнула на пол, но все еще крепко держит его за руку. Пастор остановился на пороге, в недоумении глядя на них, а Джонни подбежал к Тому и попытался его повалить, но Том уже успел соскочить с кровати, и сколько Джонни его ни толкал, справиться с ним он не мог, так тот вертелся и вырывался.

И тут — Джонни даже не заметил, как это произошло,— рядом вдруг оказался новый пастор, его руки обхватили больного, и че-

рез миг Том уже лежал в постели, укрытый одеялом до подбородка, и сильная рука пастора нажимала ему на грудь. С минуту пастор простоял у кровати, глядя вниз, на лепечущего в бреду Тома.

— Миссис Кэссиди,— сказал он, не отводя глаз от больного,— ваш сын в очень тяжелом состоянии.

Она не ответила, потом проговорила ровным, дремотным голосом: — Бедный Том! На этот раз я не в силах помочь моему сыну.

Пастор повернул голову и посмотрел на нее.

— Вы сами больны,— сказал он.— Вы совсем измучились. Почему вы не положили его в больницу?

— В больницу для бедных! — сказала она.— Нет, туда я своего сына не положу.

— Есть еще Эдлейд. Почему вы не положили его в Эдлейд?

— Туда так просто не попадешь,— сказала миссис Кэссиди.— Нужно, чтоб за тебя похлопотали.

Он помолчал, глядя на беспокоянно вздрагивающего Тома, крепко придерживая его выхоленной, красивой рукой, не давая ему сбросить одеяло; а Джонни смотрел из окна на бледно-голубые вершины дублинских гор, высившиеся за домами,— Тибрэдден, Три утеса и Два утеса, Гленду и Килмашог, полукружье милых чудес, венчающее город. А высокий пастор все стоял молча у кровати, глядя на распростертое перед ним, извивающееся и хрипящее тело.

— Даже в больнице для бедных ему будет лучше, чем здесь, миссис Кэссиди,— проговорил он.

— Нет, не будет,— упрямо возразила она.— Там его просто свяжут, да и оставят одного. А здесь до последнего часа к нему по крайней мере будут прикасаться любящие руки.

Пастор вдруг повернулся к Джонни.

— Беги что есть духу к Джорджи Миддлону,— приказал он,— и скажи, что я велю ему сейчас же прийти сюда.

Джонни, не тратя времени на поиски шапки, выбежал из дому и припустил по улице; он догадывался, что пастор нашел какой-то способ им помочь. Когда он прибежал к Джорджи, тот сидел и читал книжку с приключениями, но, поворчав немного, надел шапку и пошел за Джонни.

— Джорджи,— сказал пастор и положил руку ему на плечо,— я хочу, чтобы ты, пока я не вернусь, посидел возле этого бедняги и присмотрел за ним, а то он все встает с постели, и вообще чтобы ты помог миссис Кэссиди, если ей что-нибудь понадобится. Ты это сделаешь для меня и для нее?

— Конечно, сэр,— с готовностью ответил Джорджи.— Отчего же нет.

— Спасибо, Джорджи. А ты иди со мной,— прибавил пастор, хватая Джонни за руку. Они выбежали из дому и зашагали по Лоуэр-Шериф-стрит, туда, где за углом, на извозничьей бирже, выстроились кэбы и кареты.

— Садись,— сказал пастор и сам вошел в кэб через другую дверьцу.

— В Эдлейд,— крикнул он извозчику.— Гони вовсю.

И они покатали по улице. Джонни было стыдно за свой потерянный костюм, он робел перед этим новым пастором, так хорошо одетым, таким спокойным, таким всежливым. Он молча смотрел в окно, на проносившийся мимо пестрый узор жизни, стараясь разобраться и найти свое место в том, что происходило.

— Жалко,— проговорил вдруг пастор, и Джонни повернулся к нему, думая, что так будет почтительнее,— жалко, что я раньше не знал о болезни твоего брата.

Больше он ничего не сказал за всю дорогу, пока кэб не остановился у больницы и Джонни с пастором не вошли в приемный покой. Пастор объяснил швейцару, по какому он делу, и тот куда-то его повел, а минут через десять пастор вернулся, рядом с ним шел доктор в белом халате, и они о чем-то горячо разговаривали. На прощанье доктор пожал ему руку и сказал: — Когда хотите, чем скорее, тем лучше. Счастье ваше, что нашлась свободная койка.

Снова пастор с Джонни вышли на улицу, и кэб затрусил обратно.

— Ну,— сказал пастор,— удалось все-таки его устроить в больницу. Дай бог, чтоб не слишком поздно.

Джонни смущенно пробормотал: — Аминь.— Уж столько-то можно было сделать для этого пастора в благодарность за его доброту.

Когда они вернулись домой, Джонни услышал, что Джорджи Миддлтон напевает гимн (едва они вошли, пенье прекратилось),— так языческий жрец бормочет заклинанья. По всему было видно, что Джорджи натерпелся страху с беспокойным и бредящим больным; тревожное, напряженное выражение мигмом исчезло с его лица, едва они вошли, и руки его задвигались, как будто он поправлял одеяло. Мать Джонни лежала на стареньком диване напротив и крепко спала; ее черные волосы разметались, руки по временам вздрагивали, и грудь мерно приподымалась в блаженном покое сна.

Увидев, что она спит, пастор предостерегающе поднял руку и прошептал: — Пусть спит, пусть отдыхает; может быть, скоро наступит день, когда ей будет не до сна. Попробуем унести его так, чтобы ее не разбудить, а ей я оставлю записку и там все объясню. Ну-ка сообразим. Вот что: мы запеленаем его в одеяло, как мумию, а сверху обвяжем простынями — вот здесь, вокруг груди и под коленями, чтобы он не мог развернуться. Ты, Джорджи, помоги мне его укутать, а ты,— он повернулся к Джонни,— поддержишь его, пока я буду завязывать простыню.

Джорджи, усиленно сопя и пыхтя, закатал Тома в тонкое одеяло, а пастор тем временем скручивал простыни в длинные грязно-белые жгуты.

— Осторожней, сэр, осторожней,— прошептал Джонни.— Не очень крутите. Они уже старые, а других у нас нет.

Потом пастор, не обращая внимания на неумолчный, торопливый, бессвязный лепет Тома, туго затянул эти жгуты вокруг его тела, так что Том мог шевелить только кистями рук.

— Ну, а теперь,— сказал пастор, когда Том был крепко спеленут,— тебе, Джорджи, придется поехать в больницу вместе вот с ним,— он кивнул на Джонни,— чтобы помочь ему по дороге. Я сам не могу, мне уже пора на заседание церковного совета. Когда я скажу «гоп», поднимайте его оба разом. Готово? Гоп!

Они подняли Тома, вынесли его в прихожую, потом на улицу, втиснули в кэб и кое-как примостили на сиденье. Джонни держал его за голову, а Джорджи за ноги, чтобы он не свалился.

— Я закрою окна,— сказал пастор и поднял сперва одно стекло, потом другое.— Смотрите не вздумайте их открывать, пока не приедете на место.— И, повернувшись к извозчику, он коротко приказал: — В Эдлейд. Гони что есть мочи.

— А он не заразный? — проворчал извозчик.

— Нет, не заразный. Поезжай скорей. Деньги на извозчика у Джорджи,— прибавил он, обращаясь к Джонни.

Джонни старался не смотреть на то, что выглядывало из этого громоздкого, мотающегося на ухабах свертка,— воспаленное, землистое лицо, широко открытые блестящие глаза, разинутый рот, из которого лился нескончаемый поток слов, лишенных смысла. Мало-помалу жар, исходивший от больного, начал наполнять наглухо закупоренный кэб каким-то противным теплом, от которого Джонни стало поташнивать; ему казалось, что он где-то в оранжерее, где парно и душно и тянет гнилью от вянущих пальм. Здесь, в кэбе, был такой же спертый воздух, такой же земляной, ошнотворный запах; на стеклах начал оседать пар, затягивая их густой сеткой тусклых, нечистых капель и превращая весь мир за окном в скопище смутных, зловещих теней. Скоро на лбу Джонни выступил пот, струйки пота побежали у него по животу; и сквозь туман испарины он видел, как лицо у Миддлтона желтеет, как губы у него сжимаются все плотней — должно быть, и он напрягал все мышцы, чтобы подавить тошноту. Не раз уже рука Джонни протягивалась открыть окно. Но он не решался после того, что сказал пастор: ведь свежий воздух может убить Тома; оставалось только молиться, чтобы самому не умереть от духоты. Когда же они наконец доберутся до этой проклятой больницы? Он нагнулся к Джорджи и шепотом спросил: — Где мы сейчас едем? — Но Джорджи не разомкнул стиснутых губ, не расцепил судорожно сжатых пальцев. Теперь Джонни понимал, как чувствовали себя рабы, когда их перевозили на невольничьих судах в битком набитом трюме; или как себя чувствуют бедные грешники в первый день своего пребывания в аду; он смутно видел, что Миддлтон разорвал на себе ворот, что волосы висят у него во все стороны мокрыми, тусклыми прядями; и Джонни при-

гнулся к самым коленям, стараясь прижать себе живот и побороть рвоту. Наконец пришло избавление: кэб остановился, извозчик соскочил с козел, подбежал к высоким дверям и дернул звонок, отозвавшийся глухим, низким звоном.

— Беги скорей, зови их, пускай идут с носилками,— отчаянным голосом закричал Джорджи.— Пускай скорей его забирают, пусть снимут наконец с нас эту обузу!

Джонни выпрыгнул из кэба и захлопнул за собой дверцу. Но тут у него подступило к горлу, он только успел забежать за кэб с другой стороны, и его вырвало. Он поскреб блевотину ногой, как кошка лапой, тщетно пытаясь убрать ее с глаз долой, сгорая от стыда, обтер мокрые губы рукавом и побежал в приемный покой дать швейцару какие нужно сведения о брате.

Пришли двое санитаров с носилками, вынули Тома из кэба и понесли куда-то по длинному темному коридору. А Джонни присел на скамью, бледный и дрожащий, терзаясь страхом, как бы его опять не стошнило. Немного погодя вошел Джорджи Миддлтон и остановился возле него.

— Одеяло и простыни в кэбе,— сказал он.— Больше мне тут делать нечего, так что я поеду. У тебя есть на конку, на обратный путь?

— Нет,— сказал Джонни.— Ни гроша нету.

— У меня только те шесть шиллингов, что мистер Флетчер дал заплатить за кэб. Из тех я боюсь брать. А своих только один пенни.— Он помолчал, потом протянул Джонни монетку.— Возьми,— сказал он,— все-таки хоть полдороги проедешь.

— Не нужен мне твой пенни,— гордо ответил Джонни.

— Как хочешь,— сконфуженно проговорил Джорджи.— Ну, может, теперь твоему брату полегчает, Джек,— прибавил он.— Прощай, старина.— И он ушел, оставив Джонни наедине с его мыслями.

Он сидел уже довольно долго, стараясь вспомнить что-нибудь из Мильтона, или Шекспира, или Бэрнса, чтобы отвлечь внимание от все еще не успокоившегося желудка, как вдруг в приемный покой вошел франтоватый молодой человек с пронзительными глазами, одетый в белый халат. Он огляделся по сторонам и подошел к Джонни.

— Это вы приехали с Томасом Кэссиди? Ага, так. Почему, скажите на милость, вы не привезли вашего брата раньше?

— Мы думали, его не примут,— ответил Джонни.

— Всегда одно и то же,— сухо отчеканил доктор.— Мы думали то, мы думали это, вечно какие-нибудь оправдания! А вы проповали? — резко спросил он.

— Мы думали, и пробовать не стоит.

— Думали! Вот уж именно. Да ваше ли это дело — думать? А знаете ли вы, что ваш брат умирает?

Ну да, мы же всегда и виноваты, сердито подумал Джонни. Уж лучше бы мы его не тащили сюда, не было бы хоть этих раз-

говоров. Умер бы тихонько, и тихонько бы его схоронили, а потом тихонько и позабыли, разве только мать бы поплакала.

— Мы так и знали, что он умрет,— сказал Джонни вслух.

— Ах, вы знали. Вот как! Зачем же вы, спрашивается, его привезли?

— Это наш новый пастор нас заставил.

— Ага, пастор заставил. А вы и обрадовались? Разумеется. Меньше хлопот. А теперь надеетесь, что мы его вылечим? Надейтесь, надейтесь! Приводите его, когда у него все легкие набухли кровью, словно комок мокрой кисеи, и хотите, чтобы мы его вылечили?

— Мы ничего не хотим! — бешено закричал Джонни. — Вы нам даже спокойно умереть мешаете! Налетел этот новый пастор и давай распоряжаться, давай командовать! Дайте мне только на извозчика на обратный путь, и я сейчас же увезу его домой! — Джонни вскочил на ноги, красный и разъяренный, сверкая глазами на удивленного врача.

— Ну, ну, не волнуйтесь,— сказал доктор, немного сбавив тон. — Теперь уж ничего не поделаешь. Вы нам задали тяжелую работу, а пользы все равно никакой. Кто за ним это время ухаживал?

— Его мать.

— Ну, она во всяком случае держала его в чистоте, надо ей отдать справедливость.

— Дайте мне на извозчика,— упрямо повторял Джонни,— и я увезу его домой.

— Ну, будет, успокойтесь. Сядьте. Подождите тут. Возможно, что он скоро умрет. А если произойдет чудо, вам скажут, когда вам можно уйти. — И доктор пошел прочь, напевая: «Слышу твой голосочек».

Джонни сел на скамью, понутив голову, и стал вспоминать всякую всячину из того, что случилось с ним давным-давно; все это мелькало перед ним пестрыми обрывками: вот шотландская юбочка в красную и черную клетку, как в «Роб Рое», которую Джонни носил, когда ему было пять лет,— наверно, в ней он был похож на мальчика из клана Мак-Грегоров; вот они все лежат в скарлатине — сам Джонни, и Элла, и Арчи, и Майкл,— мать одна ходила за ними и выходила их всех, она еще тогда нарочно положила Тома к Майклу в кровать, чтоб уж все разом отболели и ей бы больше не мучиться; и как потом, когда они уже поправились, все они стояли на улице и смотрели, а санитары приехали делать дезинфекцию и заклеили все окна и двери, а в комнатах всюду зажгли жаровни, и потом в квартире больше месяца воняло серой... Нет, о болезнях не надо думать. А вот Джонни держит в руках винтовку Ли-Метфорд, чуть ли не первую, какая была введена в английской армии, ее выдали мужу Эллы, потому что он был отличным стрелком, и он принес ее показать; и Джонни смотрит, как он закладывает обойму и выбрасывает патрон из ма-

газина, отодвигая затвор, а потом привинчивает к дулу штык, похожий на кинжал.

Из коридора в приемный покой вошел бородатый пожилой человек. Он весело ухмылялся, усердно чистя свой котелок рукавом пальто. Увидев Джонни, он дружески кивнул ему, подошел вплотную, быстро оглянулся на коридор и, нагнувшись, прошептал:

— Ей-богу, сынок, таких дураков поискать, как здешние доктор! — Он вдруг разинул рот во всю ширь перед самым носом Джонни, потом опять закрыл. — Видишь? Там у меня на кончике языка темное пятнышко. Так они что придумали? Будто это рак! А я говорю, вздор! Ведь вон до каких пор меня тут продержали: говорят, надо показать специалисту. Сколько я времени зря потерял! Ну, тот посмотрел, говорит, да, боюсь, говорит, что это действительно рак. Вот чепуха-то! — Он еще ниже нагнулся к Джонни и зашептал ему на ухо: — Когда я был помоложе, я с девицами очень уж крутил, вот в чем дело. Ну, я им не стал объяснять. Что мне их учить, что ли? Пускай сами догадываются. — Бородатый повернулся и пошел к выходу. В дверях он опять остановился. — Рак! — фыркнул он. — Тоже скажут! — и исчез из виду.

Господи! Вот уже часы пробили одиннадцать. Они били гулко, как гонг. Долго ли ему еще ждать?

Джонни закрыл глаза и снова стал вспоминать прошлое, уходя все дальше вглубь, год за годом: как раньше он часто ходил в форт Пиджон-хаус по длинной пыльной дороге, проходил сперва в ворота, потом через двор, где ветхие пушки высывали носы в еще более ветхие амбразуры, словно старые дураки, которые все еще считают себя молодыми; как он собирал ракушки на красновато-желтом пляже; как он дремал на солнышке в серебристых дюнах, осторожно поворачиваясь с боку на бок, чтобы не порезаться о росшую там жесткую траву, острую, как бритва; или как он гулял по молу, выложенному огромными, тяжелыми каменными плитами; там всегда были разостланы для просушки бурые рыбацьи сети, а в петлях кое-где запутались бархатистые, изумрудно-зеленые водоросли, словно пряди русалочьих кудрей, которые сетью вынесло из глубин морских; а случалось, что день плясал в обнимку с ветром, и прилив стремительно неся к молу, высылая вперед говорливые волны, и гребни их увенчивались серебром и стряхивали соленый дождь на голову Джонни — словно бог, смеясь, кропил его знойным слесем.

Он поежился; он так долго здесь сидел, что совсем озяб. Надо подумать о чем-нибудь более теплом, чем морская пена. Например, о том, как под рождество он заходил в казармы на Беггар-Буш за своим зятем; в сырой, холодный вечер хорошо было посидеть там, в большом зале, перед пылающим каминном, дожидаясь, пока протрубят сигнал «одеваться» и Бенсон войдет, уже одетый в теплую шинель; занятно было глядеть, как солдаты укра-

шают зал: развешивают по стенам коричневые и серые одеяла, а сверху прибавляют большие квадраты и овалы из серебряного картона; а на этих серебряных овалах и квадратах выкладывают красивые надписи — «Веселого рождества» или «С Новым годом»; буквы делались из нанизанных на нитку ягод остролистника и очень искусно прикалывались булавками. Другие солдаты вырезали бумажные гирлянды разных узоров и подвешивали их под самым потолком; гирлянды расходились лучами от большой золотой звезды, укрепленной в центре, а по углам зала были прибиты серебряные звезды. А еще с потолка спускались тонкие, почти невидимые нити — сотни и тысячи таких нитей, — и на каждой висел крошечный клочок белой, как снег, ваты, и от этого казалось, что в зале идет густой снег. Зять нетерпеливо переминался у двери, дожидаясь отбоя, но Джонни рад был бы совсем не уходить — он наглядеться не мог на такую красоту.

Потом сквозь гомон голосов пробивался звук трубы. Отбой! Бенсон поспешно одергивал шинель, проверяя, на месте ли складки, и нетерпеливо бросал: — Ну, пошли, малыш! — И прощай пылающий камин, и кроваво-красные ягоды, и шелест ярких, веселых гирлянд, и золотая звезда, и серебряные; Джонни с зятем выходили под дождь, на широкий, холодный, мрачный двор; быстро шли к зияющей черной дыре ворот мимо застывшего в своей будке, словно мумия в ящике, часового, а затем скорей, скорей, бегом на угол, где останавливается конка, чтобы поспеть на рынок, пока еще не раскупили всех гусей.

Полночь! Двенадцать гулких, словно в гонг, ударов. Бедная мама, наверно, совсем истомилась, ожидая вестей. Однако если он до сих пор не умер, то, может быть, все-таки есть надежда? Но нельзя же столько времени держать старуху в ожидании. Могли бы уж что-нибудь сказать — либо так, либо этак. Джонни вдруг почувствовал, что падает, и резко выпрямился. Вот так штука! Он чуть было не заснул. Он заставил себя открыть глаза. Кругом была полутьма. На ночь в больнице погасили все лампы. В конце каждого коридора во мраке тускло тлел маленький красный огонек, а в приемном покое бледный ночник давал ровно столько света, что можно было различить стены. Неужели сидеть здесь до завтра? Впрочем, завтра уже наступило. Светильник ночи сгорел до тла. В горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам. Но для меня этот день вряд ли будет веселым. А как там дальше? Господи, ну какая там следующая строчка? Ах, не стоит здесь припоминать Шекспира. Где обитает скорбь, там для поэзии нет места.

Странно, как мерцание этих маленьких огней напоминало о больших событиях, похороненных под густым покровом прошлого. Слабый бледно-голубой свет ночника, тонувший в глубоком мраке, привел ему на память поминки по бедняжке Финнигану и все, что было до этого. Как Джонни с другими мальчиками играл на берегу канала, и Финниган в пылу игры так разбежался вниз по

склону, что не мог остановиться и у самой воды как-то испуганно подпрыгнул и со страшным плеском шлепнулся на самую середину канала. Джонни как сейчас видел его бледное, искаженное страхом лицо, видел, как он отчаянно бьет руками, поднимая вокруг себя брызги и пену. А потом круги на водной глади — в том месте, где его голова ушла под воду. И опять пена и брызги, когда его голова еще раз вынырнула на поверхность. Джонни опять увидел, как один из мальчиков, перепуганный насмерть, рвет камыш, растущий возле берега, и кидает его утопающему, ему кажется, что этим можно ему помочь, и он не замечает, что по рукам у него течет кровь — там, где острые края листьев врезались ему в тело. Сам Джонни стал криками звать мужчин, что играли в карты на соседнем поле, и Майкл помчался к берегу, сбрасывая на бегу шляпу и куртку, срывая воротничок и галстук. Он прямо с хода, не задерживаясь, ловко, как зимородок, нырнул как раз в середину кругов, расходившихся по воде в том месте, где в последний раз показалась на поверхности голова Финнигана. Потом Джонни опять увидел мальчика: Майкл вытащил его, тот стоит на берегу, перегнувшись пополам, вода льется у него из широко открытого рта, ноги трясутся, зубы стучат, он рыдает навзрыд и бормочет сквозь слезы, что боится идти домой, его отколотят за то, что он упал в воду, он останется тут, пока платье не просохнет, тогда никто не узнает, что с ним случилось.

И весь день он просидел на берегу, дрожа от холода, а его приятели сидели вокруг, заслоняя его, чтобы никто не увидел, что он голый. Вечером они разошлись, но он еще остался, дожидаясь темноты, когда можно будет незаметно проскользнуть в дом и сразу лечь в постель, и тогда никто не узнает, что с ним было. Взошли звезды, а он все сидел, в непросохшей рубашке, развесив остальное платье на шлюзной лебедке; сидел там, дрожа, и только ночь делила с ним одиночество.

Через несколько дней Финниган заболел и очень скоро умер. Джонни пошел поглядеть на него. Он так уютно лежал в гробу в маленькой комнате, и гроб был такой нарядный, с темно-желтыми отполированными боками и медными ручками, которые, когда на них падал свет от больших восковых свечей, блестели, совсем как золотые.

— Подойди ближе, дружочек, — сказала мать Финнигана. — Погляди на него. Правда ведь, совсем не изменился? Подойди ближе, он так любил тебя, и ведь это твой славный брат спас ему жизнь.

Запах этой комнаты — смешанный запах виски, чая, политуры от гроба и воска от горящих свечей — ударил Джонни в голову, когда он подошел ближе посмотреть на лицо своего маленького друга, и лицо это вдруг начало меняться, медленно превращаясь в другое, молчаливое, строгое лицо — лицо брата Тома; и пока Джонни смотрел, пораженный изумлением, над его ухом раздался сердитый голос:

— Кто ты такой? Что ты тут делаешь? Вставай, здесь нельзя спать, здесь не ночлежка.

Джонни смутно увидел молоденькую сиделку, которая смотрела на него во все глаза и трясла его за плечи.

— Что ты тут делаешь? — спросила она. — Ты знаешь, который час? Слышишь, два пробило.

— Я жду, что мне скажут о моем брате, мисс. Его сегодня положили в больницу. А мне велели ждать, потому что он, может быть, скоро умрет.

— Ну, больше ждать нельзя, — сказала сиделка. — Про тебя просто забыли. Очень глупо было с твоей стороны ждать столько времени. Иди скорей, ложись спать.

— А как же мой брат? Он, может быть, уже умер. Мне бы хоть узнать. Уж это-то я заработал тем, что прождал полночи.

— Фамилия? Как фамилия больного? — нетерпеливо спросила сиделка.

— Кэссиди. Томас Кэссиди, мисс.

Она быстро пошла по темному коридору, а Джонни остался стоять в тускло освещенном приемном покое. Его шатало из стороны в сторону — так у него застыли и онемели ноги, — и глаза у него слипались. Прошло много-много времени, и наконец к нему опять подбежала сиделка.

— Больной в том же положении, — сказала она скороговоркой. — Ему очень плохо, но не хуже, чем было. — Она отодвинула тяжелый засов и распахнула дверь; и Джонни сонно побрел по пустым улицам, ворочая в уме эту неутешительную весть.

Вернувшись домой, он увидел, что мать сидит у очага; она напевала песенку, а котелок на огне напевал другую. Джонни опустился на стул и протянул к огню озябшие, мокрые, заочеченные руки.

— Меня заставили ждать, — проговорил он. — Сказали, что он, может быть, сейчас умрет. Но он еще жив.

— Я знаю, — сказала она. — Не надо было тебе ждать так долго. Уже несколько часов тому назад у меня вдруг стало так легко на душе, и я поняла, что он не умрет. Выпей горячего чаю и больше не тревожься.

ТРУДИСЬ, ДОКОЛЕ НЕТ ДНЯ

По рекомендательному письму нового священника Джонни получил место развозчика в большой оптовой фирме «Джесон и сын», где работали сотни людей, — фирме, торгующей газетами, журналами, канцелярскими принадлежностями, игрушками, книгами и молитвенниками. Сегодня для Джонни — первый день новой службы. Начнется он без четверти четыре, а кончится бог весть когда.

Будильник, лежавший вниз циферблатом, глухо зазвонил, словно простуженный, и Джонни услышал голос матери:

— Джонни, проснись, уже три часа, пора вставать.

Он молча встал и при свете свечи начал торопливо одеваться, потому что в комнате было очень холодно. Накануне весь день валил снег, а сейчас подмораживало. Он быстро натянул брюки, обулся, надел воротничок и галстук, пиджак и пальто и напоследок обмотал вокруг шеи кашне, которое мать купила ему, чтобы он не застудил горло и грудь. Если он продержится на этой работе, надо будет купить пальто потеплее. Он сунул в верхний карман «Элементарный курс ирландского языка. Часть первая» О' Грауни, на случай, если удастся заглянуть туда во время работы, укрывшись где-нибудь в уголке. Учебник подарил ему кондуктор, тот самый, который пел про Уолфа Тона в день иллюминации; это было в конюшине на Хилл-стрит, где шел спектакль, и кондуктор сказал: «Я ничего тут не понимаю, но ты молод, и каждый должен знать язык своей родины». А потом, не выпуская руки Джонни, он закинул голову и, глядя в небо, запел — а все потому, что Джонни протестант.

К черту Джон Булля! Гнев наш неистов,
Нам надоела английская ложь!
Будет неизблем обет оранжистов.
Зеленый с Оранжевым, верх ты возьмешь!

Оранжевый, Оранжевый!
Зеленый и Оранжевый!
Нам не знакомы измена и дрожь.
Рассыпся и сплнь, наш недруг! Аминь!
Зеленый с Оранжевым, верх ты возьмешь!

Джонни отворил входную дверь и, весь съезжившись, вышел на тихую, убрannую снегом улицу, сияющую алмазной россыпью льдистого снежного лона. Оконные стекла, мимо которых он проходил, даже самые узкие, преобразились в серебряные города с резными башнями, в густые заросли папоротника или в рощи сказочных деревьев. Дома походили на почтенных матрон в одежде из черного бархата, в пышных белоснежных покрывалах; желтоватые отсветы газовых фонарей поблескивали на них, словно старинные золотые пряжки, как будто они нарочно прикололи их, чтобы оживить свой строгий наряд; а над головой нависало темное, багряно-черное небо, рассыпая огонь роящихся искрометных звезд, словно бог стряхивал золотые крошки с парчевой скатерти своего святого стола. Маленький бедняк шел по серебряной дороге под бархатным багряно-черным пологом, низко нависавшим над головой, отягченный грузом слепящих глаза самоцветов.

Джонни шагал по хрустящему под ногами снегу и мысленно повторял очередной урок ирландского языка: *Atá bó in san gurth* — корова стоит на лугу; *agus atá sí bán* — и она белая. Совсем не трудно, нужно только привыкнуть. По-ирландски его имя — Шон, это его настоящее имя, а вовсе не Джон. *Atá Seán óg agus laidir, agus atá sé fuar* — Шон молод и силен, и ему хо-

лодно; вот это уж что верно, то верно. Любопытно, что сказал бы новый священник, если бы услышал, как он говорит по-ирландски. Фений, сказал бы он, фений! Чистое невежество, засмеялся про себя Джонни. Можно знать ирландский язык и хранить верность королеве и родине, как все прочие. А все-таки священник хороший человек, такого нельзя не полюбить; сразу вернул его к вере, в которой он был крещен; теперь он опять усердный слуга и воин Иисуса. Его близость к богу скреплена таинствами, церковной службой, молитвами, Священным писанием. Бог поможет ему, и эта его новая работа станет опорой для семьи, ведь Том без места, его уволили из-за стачки; и Арчи нет, он уехал в турне по западным и южным городам с труппой, играющей «Спасенные из морской пучины».

По настоянию Гарри Флетчера Джонни прошел через обряд конфирмации; в Храме двенадцати апостолов его головы коснулась рука епископа; он открыто принял второе крещение; он пел со всеми «*Veni Creator Spiritus*»¹; и на него сошла благодать Святого духа. Это было ранней весной, в ясный солнечный день. Джонни и его товарищ Николас Ститт шли в церковь мимо снова оживших изгородей и садов Клонтарфа, весело щебетали птицы, листья деревьев шептались с легким ветерком, сновавшим среди них.

Впереди со своими подругами шла кудрявая Дженни Кла-теро — совсем уже взрослая барышня. Поравнявшись с девушками, Джонни застенчиво приподнял кепку и робко глянул на Дженни; но она закрыла глаза и презрительно вскинула голову. Слишком он беден, чтобы его удостоила ответным кивком касирша из магазина дорогих сукон сэра Джона Арнотта, тем более, когда она постыпую королевы, в парадном зеленом платье идет на конфирмацию.

Церковь была полна народу, и под мелодичные звуки органа они пробрались к своим местам, которые указал им добрый мистер Флетчер — такой стройный, красивый в коротком белом стихаре поверх длинной черной сутаны, тяжелыми складками ниспадавшей до обутых в шелковые туфли ног. По одну сторону нефа сидели девушки, наряженные в синие, черные, темно-зеленые платья, в кружевных косынках, спускавшихся на плечи и спину. Мальчики сидели напротив, по другую сторону нефа, в своих лучших костюмах, с приглаженными волосами, в белых воротничках и до блеска начищенных башмаках, напустив на себя кто торжественность, кто равнодушие, кто непринужденную развязность.

С большого восточного окна прямо против Джонни на них глядели двенадцать апостолов, сваренные из ярко окрашенного стекла, в роскошных пестрых мантиях, переливающихся всеми цветами радуги — синим, желтым, красным, зеленым, коричневым, фиолетовым, еврейской умброй, китайскими беллами, индий-

¹ «Гряди, Создатель» (лат.).

ским кармином, — словно гигантские распутившиеся тюльпаны в сказочном персидском саду. Солнечный свет проникал сквозь витраж, и лики апостолов сияли тысячью оттенков, многоцветные одежды струились, будто их колыхал легкий ветерок, веющий с небес, ноги трепетали, точно святые вот-вот сойдут с окна и сверкающей вереницей прошествуют над головами молящихся. От их ярких одежд огненными языками расходились лучи, расцветивая кружево скромных девичьих косынок, отчего смиренные конфирмантки преобразились в бойких красоток, ожидающих сигнала, чтобы пуститься в пляс. Но апостолы не сошли с окна, они упустили время; солнце вдруг потускнело, тотчас все краски поблекли, и апостолы — опять всего лишь химеры из цветного стекла, заключенные в свинцовые переплеты, обязанные своим великолепием только яркому сверканию милостивого солнца.

Потом они по двое подходили к алтарю, преклоняли колена у решетки, и епископ каждому возложил руки на голову, заново посвящая их служению богу. Когда настала очередь Джонни и его теменн коснулась мягкая, пухлая, белая рука, выглядывавшая из надушенного рукава батистовой рубашки, ни разу не оскверненной клопиной вонью, он почувствовал, что получил первую изрядную долю христовой святости и величия.

Впереди высится темная колонна Нельсона, надменно поднявшего голову к багряному небу, — жезл карающий, занесенный над народом в окутанном мраком Дублине, ирландский моряк без одной руки и правого глаза; но своим единственным оком он взирает на ребенка, валяющегося в грязи трушоб; на леди или джентльмена в пароконной карете; на епископа в сафьяновых туфлях, в щегольском облачении, шествующего в собор служить обедню; на констебля, заботливо конвоирующего пьянчужку в полицейский участок; на обрюзгшие, размалеванные лица проституток, поджидающих, чтобы какой-нибудь запоздалый гуляка повел их в кабак; высоко вознесся Нельсон, а надгробный камень Уолфа Тона глубоко ушел в землю на кладбище в конце Грофтон-стрит. И когда Джонни проходит мимо статуи, ему кажется, что она падает, как Нельсон упал на палубе «Виктории» со словами: «Поцелуй меня, Харди, поцелуй скорей; у меня перебит позвоночник, не оставь Эмму. Гип, гип, ура!»

Джонни наконец подошел к низкому, вытянутому в длину рыжему зданию, где помещался оптовый отдел Джесона. На тротуаре была проложена плотная решетка, чтобы легче было втаскивать тяжелые тюки. Он присоединился к остальным служащим — человек тридцать мужчин и подростков, которые, устало прислонившись к стене, дожидались начала работы. Звезды погасли, небо уже не отливало багрянцем, его затянуло густой черной мутой; кружась, падали большие частые хлопья снега.

— Кто здесь хозяин? — спросил Джонни у невысокого человека, который, полузакрыв выпуклые карие глаза и клюя носом, стоял у стены.

- Катись-колесом хозяин,— ответил тот сонным голосом.
- Катись-колесом? Его так прозвали? Почему?
- Увидишь — сам поймешь.

Вдруг все отошли от стены, повернув озябшие лица к широкой решетчатой двери. Из сырого мрака выступил тучный приземистый человек в длинном толстом пальто, бок о бок с другим, таким же приземистым, но чуть потоньше, и оба, переваливаясь, подошли к дверям. Тот, что потолще, посвистывая, вставил ключ в замочную скважину, распахнул двустворчатую дверь и пошел вперед, а за ним, кашляя от набравшегося в легкие влажного холода, двинулась кучка полусонных мужчин и мальчишек; в огромном, похожем на пещеру подвале была тьма кромешная, и у Джонни тоскливо заныло сердце.

— У кого есть спички, зажгите свет,— проговорил тонкий сыплый голос, исходивший от толстяка,— а остальные становитесь и получайте газеты.

Джонни услышал скрежет подбитых гвоздями сапог на половицах, чирканье спичек о коробок, потом из потемок выползло несколько тусклых газовых рожков, и слабый свет разлился по просторному помещению, пересеченному множеством грубо сколоченных скамей. В середине, возвышаясь над скамьями, пролегал широкий застекленный проход, к нему вели ступеньки, а вернее, приставная лестница. Сюда попозже взбирался настоящий хозяин — начальник отдела, и здесь же, в два ряда, спиной друг к другу, сидели конторщики, сверху вниз поглядывая сквозь теклянную перегородку на своих собратьев, которым досталась олее тяжелая и суматошная работа.

Джонни лишь смутно, словно сквозь закопченное стекло, видел обоих коротышек, снимавших верхнее платье в темном углу; но когда они появились в бледном пятне желтоватого света, он разглядел, что тот, который потолще,— низкоросл, коренаст, а голова у него большая и безволосая, точно глобус в начальной школе, и сидит этот глобус на чем-то, что никак не назовешь шеей, а крошечные глазки поблескивают, как тлеющие искорки, из-под нависших бровей, и так и кажется, что на каждый глаз сейчас опустится решетка крепостных ворот и оба закроются навеки; но всего примечательней были толстые, дугой выгнутые ноги, потому что, когда сходились большие, нескладные ступни, они образовывали такой безукоризненный круг, какого и циркулем не всегда начертишь. Когда же он двигался, то казалось, что по неровной поверхности катится огромный, плохо сбитый шар. Эти полукружия вместо ног были особенно страховидны в лучах света, так как их облекали сверкающие черные голенища, доходившие до уродливо искривленных колен. Второй коротышка, сын первого, казался лишь слегка уменьшенной копией тучного отца — та же непомерно большая голова, те же мутноватые глазки, нахмуренные брови, та же идеальная окружность ног, облаченных в шаровары и бумажные черные чулки. У обоих с лица не сходила спесивая

усмешка, и даже в их ковыляющей походке чувствовалось самодовольство, словно они хотели выразить свое презрение к прямым ногам, нормальным размерам головы и наличию шеи, присущим большинству простых смертных.

Подъехала подвода, нагруженная пачками «Айриш таймс», за нею — другая с «Айриш индипендент» и «Фримен джорнал»; мужчины и подростки выбегали на улицу, возвращались, шатаясь под тяжестью взваленных на плечи газет, и сразмаху кидали их на деревянные скамьи. Здесь другие работники, с накладными в руках, торопливо выкрикивали названия газет, предназначенных для провинции; третьи с лихорадочной быстротой отбирали экземпляры газет из пачек, лежащих на скамьях, кидали их на разостланную оберточную бумагу; четвертые подхватывали их, складывали, увязывали в пакеты, чтобы погрузить на подводы, которые развезут их по вокзалам. Живей, живей — тащи, сбрасывай, выкликай, отсчитывай, складывай, увязывай, наклеивай ярлык и запикивай готовые свертки в надлежащий мешок! И среди этой суеты и гонки ковылял Катись-колесом со своим сыном — ни дать, ни взять, гады ползучие, в сумерки шныряющие в зыбких камышах, густых зарослях папоротника или в предательской тени скользких лишайников.

Оба кривоногих уroda — отец и сын — двигались проворнее всех, вкладывая в работу какую-то нарочитую зловещую веселость, в которой не было ничего веселого; они явно старались показать, что трудиться в столь ранний час сущая безделица для настоящих мужчин; а тускло освещенное помещение, где по углам притаились мрачные тени, не что иное, как желанная гавань, сулящая солнечные просторы, пляски красавиц и благоуханье неведомых цветов. Многие из полусонных работников пытались встряхнуться, перенять хоть частицу веселой бодрости коротышек, заставить быстрее двигаться усталые члены; жалкие создания тщились казаться детьми, впервые резвящимися на золотом песке побережья, а снаружи, на темной улице, густо валил снег, и белые полосы его, словно наведенные кистью, прочерчивали тюремную решетку входных дверей.

Все, словно сговорившись, оттирали Джонни и старались выставить его дураком перед кривоногими жабами. Пачки газет, за которыми он протягивал руку, выхватывали у него из-под носа; когда ему нужна была бечевка, она неизменно оказывалась у кого-нибудь другого, а за клеем для ярлыков приходилось бежать в дальний угол. Все насмешливо поглядывали на Джонни, на его робкие попытки стать одним из них и точно по команде скалили зубы каждый раз, как Катись-колесом укоризненно кивал на него.

— Давай, давай, проснись, парень, побольше жизни! — покрикивал он, видя, что Джонни не решается оттолкнуть руку, потянувшуюся за бечевкой, или кисть, опускаемую в ведро с клеем. — Берись, берись скорей, что ты стоишь столбом! Тебе

что — отдельную скамью нужно и чтобы кто-то подносил работу? Гляди, как это делается, — рычал он, хватая Джонни за локоть, — видишь? — Джонни смотрел на дряблые, пухлые щеки, на крошечные злые глазки и мечтал о докрасна раскаленном утюге, которым он расквасил бы рожу коротышке. — Ну, делай теперь, эх, опять прозевал. Терпения нет с тобой! Ступай-ка ты лучше, тащи сюда газеты. Боюсь, что проку от тебя будет не больше, чем от старой клячи!

И так под многоголосые выкрики — десять «Индепендент», двадцать «Фримен», пять «Айриш таймс», пять «Фримен», двадцать «Индепендент», десять «Таймс», двадцать «Таймс», пять «Индепендент», десять «Фримен»; под хруст оберточной бумаги, в которую заворачивали газеты; под шелест кистей, смазывающих клеем ярлыки; под усталое шарканье ног по грубым половицам, сторожкий стук копыт о мерзлую землю; понукаемый коротышкой, который посвистывал, словно чистил лошадь в конюшне, Джонни присоединился к веренице мужчин и подростков, тащивших на плечах кипы газет, сгибаясь под их тяжестью, точно темнокожие в джунглях, дабы вся Ирландия, до самых глухих уголков, узнала новейшие новости.

— Вот, — вдруг сказал кривоногий, потянув Джонни за рукав, — вот наконец-то и наши подводы. Нагрузи одну для отправки в Кингс-бридж, да пошевеливайся! Тележку, тележку достань!

Джонни, изо всех сил стараясь сохранить независимый вид, подошел к стене, где стояла четырехколесная тележка. Он нагнулся, чтобы поднять ее за рукоятки, но в ту же секунду кто-то так сильно толкнул его в плечо, что он очутился на полу; кругом громко захихикали, и чей-то голос сказал у него над ухом: — А ну, пошел отсюда! Еще что выдумал — перебивать тележку у нас, северян!

Какой-нибудь нахал из Белфаста, подумал Джонни, подмазывается к хозяину. Он походил немного в поисках другой тележки, но все были заняты: на одних везли пачки газет к подводам, другие возвращались за грузом порожние. Джонни подошел к хозяину, нагружавшему свою тележку.

— Свободных тележек нет, сэр, — сказал он.

— Удивительно, как же это я нашел! На, бери мою. Нагрузил ее для тебя, растяпа!

Он не станет огрызаться, хотя бы ради нового священника. В конце концов все они дети отца небесного. Джонни схватился за рукоятки и с ожесточением вывез тележку на запорошенный снегом мерзлый тротуар. Он яростно швырял пачки на подводу, пока не нагрузил ее до отказа, так что даже натянутый сверху брезент едва сдерживал готовый рассыпаться груз.

— А теперь садись и вези газеты на вокзал, — скомандовал Катись-колесом. — Ради бога, поглядывай за ним, — добавил он, обращаясь к ломовику, — он такой дурачок, чего доброго, еще сдаст газеты в приют для нищих!

— У меня и так хватает забот,— проворчал ломовик,— гололедица такая, что лошади на ногах не устоять.

Подвода осторожно затрусила по улице, потом свернула к Северной набережной; ломовик сидел, выпрямившись, туго натянув вожжи, копыта лошади то и дело разъезжались по скользкой мостовой, и тогда бедное животное от страха покрывалось потом. Несколько раз лошадь почти падала, но ломовик как-то успевал поддержать ее; при этом он чуть не до крови закусывал нижнюю губу, а предотвратив опасность, крепко поругивал мороз.

Снег прекратился; вверх черное небо, посветлев, стало синевато-багряным, а внизу, по земле, убегала серебристая дорога. Впереди медленно текла река Лиффи, вся темная, и только кое-где тускло поблескивали пловучие льдины. Они миновали высокое черное здание суда, которое не то свисало с багряного неба, не то тянулось к нему, готовое внимать совету свыше своим ослиным ухом; венчающая его статуя Правосудия с повязкой на глазах строго надзирала над горами и долами Ирландии; потом покатали по мосту, и обледенелый настил так ярко сверкал в свете фонарей подводы, что казалось, сейчас откроется волшебная страна, где человечки из снега живут в ледяных домиках, и наконец въехали в товарный двор Большой Южной железной дороги, и ломовик с громким «тпру» остановил лошадь у дверей почтовой конторы.

— Когда же это морозы кончатся? — сказал ломовик, топчась на месте и хлопая себя руками по плечам, чтобы согреться, пока Джонни сваливал на прилавок кипы газет.— Замерз, как будто целовался с покойницей,— рук не чувствую.

— Вам бы надо перчатки,— участливо заметил Джонни.

— Перчатки! А где я возьму деньги на перчатки? На четырнадцать шиллингов в неделю? — сердито ответил ломовик.— Ну где я возьму деньги?

— Не знаю,— сказал Джонни.

— Вот то-то. И я не знаю. На четырнадцать шиллингов в неделю не разоденешься, как Чарли Джесон. Может быть, мне в лайковых щеголять прикажешь? Нет, мне подавай что-нибудь получше. Слышишь, что он говорит? — продолжал ломовик, обращаясь к конторщику.— Чтобы я в перчатках разгуливал!

— Уж не хочет ли он, чтоб мы натянули стальные рукавицы до локтя,— язвительно сказал конторщик.

— Или кожаные, подбитые верблюжьим пухом и обшитые мехом. Вот бы в них сподручно работать! — подхватил ломовик.

— И двадцать перламутровых пуговок на застежке,— добавил конторщик.

— И кисточки у большого пальца,— захохотал ломовик.

— И теплую муфту, чтобы совать туда руки в перчатках, когда подморозит,— сказал конторщик.

— И меховые оборки вокруг шен, чтоб горлышко не застудить,— сказал ломовик.

— А как мы будем работать на хозяев в таком наряде? Ну-ка, скажи нам, умник? — спросил конторщик, перегибаясь через прилавок, чтобы получше разглядеть Джонни. — Нет уж, — продолжал он, принимаясь сортировать посылки, — коли мороз, так мороз, носи свой крест — и дело с концом.

— А господь всегда с нами, — пробормотал ломовик.

— А господь всегда с нами, — отозвался конторщик.

— Ну, полезай, — сказал ломовик, повернувшись к Джонни, — поехали обратно. Господь никому из нас не судил ходить в перчатках.

Подвода опять неторопливо затрусила между двумя рядами угрюмых строений, по искрящейся серебряной дороге под багряным небом. В такую же ночь, подумал Джонни, рожден был царь царей, податель жизни, кроткий миротворец; низкая кровля укрывала его от снега, животные согревали его своим теплом, приплясывая всю долгую ночь вместе с пляшущими звездами; голые деревья, оттеснив жестокий мороз, зацвели на одну ночь и покрылись плодами, и все коченеющие от холода путники в страхе дивились чуду — несметное множество полевых цветов распустилось на снегу и склонило свои пестрые головки в ту сторону, где лежал младенец; замерзшие ручьи взломали ледяной покров и потекли, обгоняя друг дружку, до краев полные песнопений; и люди останавливались и слушали, ибо не ведали, что свершилось, и вдруг один ручеек запел громко и внятно:

Господь наш спаситель с небес снизошел,
Пой долго, пой громко, пой весело;
Не встретил его ликованием дол;
Весело, громко пой;
Господь в благостыне своей снизошел:
Искупит он грех первородный людской;
Пой, пой, пой!

Деревья воскресли, окончен мороз,
Пой долго, пой громко, пой весело;
И знак на полях пробужденных пророс,
Весело, громко пой;
И Смерть убежала — явился Христос:
Искупит он грех первородный людской;
Пой, пой, пой!

Веселые звезды ведут хоровод,
Пой долго, пой громко, пой весело;
И радостно пляшет на пастбище скот,
Весело, громко пой;
И с крыш и с деревьев хор птичий поет:
Искупит он грех первородный людской;
Пой, пой, пой!

Волхвы в Вифлеем издалёка пришли,
Пой долго, пой громко, пой весело;
Смиренно дары изобильной земли,
Весело, громко пой,

В ларцах драгоценных ему принесли:
Искупит он грех первородный людской;
Пой, пой, пой!

Несем ему лавр, что так свеж и душист,
Пой долго, пой громко, пой весело;
Омелу несем и несем остролист,
Весело, громко пой;
Пусть каждый душой перед ним будет чист:
Искупит он грех первородный людской;
Пой, пой, пой!

И арф и кимвалов да слышится звон,
Пой долго, пой громко, пой весело;
Навеки теперь Сатана посрамлен,
Весело, громко пой;
Христос погрузился в младенческий сон:
Искупит он грех первородный людской;
Пой, пой, пой!

На скрипке ему веселее играй,
Пой долго, пой громко, пой весело;
Теперь с декабрем обручается май,
Весело, громко пой;
И ад бытия превращается в рай:
Искуплен в нем грех первородный людской;
Пой, пой, пой!

Марши мы гребень несем золотой,
Пой долго, пой громко, пой весело;
Виссон принесли мы для девы святой,
Весело, громко пой;
В Христе — обновление жизни земной:
Искупит он грех первородный людской;
Пой, пой, пой!

Он принес царство небесное сердцам человеческим, думал Джонни, и...

Вдруг все мысли разом вылетели у него из головы, потому что его выбросило с подводы и он растянулся на земле, выставив руки вперед, чтобы не удариться головой; он в кровь ободрал ладони на обледенелых камнях мостовой, и мороз так больно жег рваные раны, что Джонни не мог встать и тошнота подступила ему к горлу.

— Эй ты, чего разлегся! — услышал он громкий голос ломовика. — Иди подсобляй!

Он с трудом поднялся с мерзлой, колючей мостовой и увидел, что лошадь лежит, запутавшись в упряжи, одна оглобля уперлась ей в брюхо, и лошадь испуганно бьется, а ломовик изо всех сил удерживает ее, уклоняясь от яростно дергающейся головы и отчаянно брыкающихся ног.

— Иди сюда, — кричал он, — помоги мне! Подтолкни ее, чтобы я мог сесть ей на голову, а то она покалечит себя! Легче ты, стерва! — заорал он на лошадь, ударившую его головой в плечо. — Чуть не убила, подлая!

Джонни подбежал, схватил лошадь за голову, пачкая ее кровотокающими руками, и начал вместе с ломовиком толкать лошадь, но она упиралась и дергала головой пуше прежнего.

Подъехала, позванивая, первая утренняя конка и остановилась возле них. Кучер и кондуктор соскочили с площадки и подбежали помочь своим братьям. Вчетвером принялись они толкать лошадь и наконец пригнули ей голову к самой мостовой.

— Стань коленями ей на голову,— сказал ломовик,— а мы сейчас распряжем ее и отодвинем подводу. Только смотри не шевелись, пока я тебе не велю спрыгнуть.

Все трое торопливо и ловко сняли упряжь, высвободили оглоблю, осторожно отодвигая подводу, а затем быстро откатали ее подальше; ломовик снял с нее несколько мешков и разложил их на мостовой возле лошади, подсовывая углы под копыта, чтобы дать ей опору, когда она начнет подыматься на скользких камнях. Потом он отошел, свободно держа в руках вожжи, и крикнул Джонни, чтобы тот слезал.

Как только лошадь перестала чувствовать тяжесть сидящего на ней Джонни, она подняла голову, поглядела вокруг, потом приподнялась на передние ноги, раскорячилась, заскользила всеми четырьмя копытами, с громким всхрапом вскочила и осталась стоять, дрожа от страха и холода, терпеливо дожидаясь, когда ее снова впрягут в подводу. Только теперь Джонни узнал в кондукторе своего старого друга, с которым познакомился в вечер иллюминации и который подарил ему учебник ирландского языка.

— Я бы на твоём месте,— сказал кучер,— растолковал Чарли Джесону, что с его деньгами можно бы получше подковать лошадь, когда мостовая точно каток.

— Не сладко в такое утро разгуливать под открытым небом,— сказал кондуктор, подходя к Джонни и протягивая ему руку.— Ничего, дай срок, вот мы вернем себе свое... «Is sinn féin, sinn féin»¹.— Он нагнулся к самому уху Джонни и зашептал:— Хорошие вести из Судана, а? Трехцветный флаг над Фашодой²! Французы победят, недолго нам их ждать, сказал Шон Бин. Господи, пошли поскорей добрые вести,— добавил он, подняв к темному небу взволнованное лицо.— Ну, прощай, сынок.— И вагон, позванивая, покати́л в сторону Феникс-парка, а кондуктор, стоя на площадке, во всю мочь насвистывал марсельезу и махал Джонни рукой.

Уходя домой завтракать, Катись-колесом велел Джонни нагрузить газетами тачку и отвезти на Большой Северный вокзал для отправки в Белфаст и на промежуточные станции. Джонни ответил: «Хорошо, сэр», но про себя крепко выругался; однако тут же спохватился, вспомнив, что недавно причащался, и вот он уже

¹ «Мы сами» — лозунг фениев (ирландск.).

² Фашода (на границе Судана) — крайний пункт продвижения французских колонизаторов на восток Африки. Столкнувшись в 1898 году у Фашоды с англичанами, французы под дипломатическим нажимом отступили.

преступает третью заповедь. Отныне да будет слово его да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого.

— Толкай ее, толкай! — услышал он голос стоявшего в дверях Катись-колесом. — Берись, не бойся!

Джонни, собравшись с силами, вытолкнул тачку на тротуар и повез ее по мостовой, где лежал снег глубиной в семь-восемь дюймов, бормоча молитву о том, чтобы коротышку, вопреки всему, пощадил червь, который не умирает, и огонь, который не угасает.

Трудный это был путь для Джонни. Хлопья снега налипали на ресницах, и он едва видел сквозь эту влажную завесу; к тому же ему приходилось часто нагибаться, чтобы сильнее подтолкнуть тачку, и тогда случалось, что, поскользнувшись, он падал, а мешки с газетами разлетались по мостовой. Напротив полицейского отделения, на Стор-стрит, он решил передохнуть и, усевшись на рукоятку тачки, вытащил ирландский учебник; низко нагнувшись над ним, чтобы снег не испортил маленькую книжицу, он принялся заучивать новые слова. — *Atá an sneachta a tuitim síos*¹, — бормотал он, составляя короткие фразы о том, что видел вокруг себя. — *Agus deir sé leis an tsneachta, bise ar an dtalamh, is mar sin abhí sé* — и он сказал о снеге, будь на земле, и стало так. Когда я начну получше зарабатывать, вступлю в Гэльскую лигу².

Он поднялся на ноги, ежась от холода, и опять пошел своей дорогой, изо всех сил толкая тачку. Когда начался длинный крутой подъем, ведущий к вокзалу Большой Северной, ему пришлось согнуться пополам, чтобы сдвинуть тачку с места, и он стал задыхаться. Все медленней двигалась тачка, все сильнее задыхался Джонни, и, наконец, она остановилась, а он опять сел на рукоятку, чтобы перевести дух. Ослаб, оттого что не завтракал, вот в чем дело. С трех часов, а теперь девятый, куса во рту не было — так не годится. Почти шесть часов тяжелой работы, а он еще и чашки чаю не выпил. И рукам больно; ободранные ладони прилипают к рукояткам, когда крепко сжимаешь их. Небось, Джесоны сейчас греются у огня. Даже в теплую погоду они разъезжают в машине, закутанные в толстые пальто, кашне и пледы, и все это молча, с постными лицами, как будто они несчастные и убогие. Уж такие святые, точно сами родились в Вифлееме: в газетах писали про одного из них, что он председательствовал на собрании, где к верующим обратился с речью сам генерал Бутс, который поливает людей словами, воображая, что окропляет их кровью христовой и что Христос в награду за благочестие посылает уютный домик, теплую одежду и обильный завтрак за столом, покрытым белой скатертью. Нет, Армия спасения — это не для него. Уж очень бесшабашно они служат господа; и к небу устремляются заносчиво, словно в драке; Христу кричат прямо в ухо, грубо хватают его,

¹ Идет снег (ирландск.).

² Националистическая организация ирландской буржуазной интеллигенции, основанная в 1893 году; стремилась искусственно возродить древне-ирландский (гэльский) язык.

поворачивают лицом к себе; а их славословия — точно пьяный оцепеневшим голосом горланит песни, ощупью пробираясь домой; и какая нелепая мысль, что чем они испорченнее и беднее, тем больше бог думает о них.

— Послушайте, сэр,— окликнул Джонни прохожего, закутанного по самые глаза, с раскрытым зонтиком для защиты от снега,— не поможете ли вы втащить тачку наверх? — Но прохожий, закутанный по самые глаза, с раскрытым зонтиком в руке, пошел дальше, не глядя ни вправо, ни влево. «Фарисей»,— подумал Джонни.

В каретах, автомобилях, кэбах, нагруженных сундуками, чемоданами, саквояжами, ехали тепло одетые люди, торопясь на ближайший поезд.

— Послушайте, сэр,— обратился Джонни к другому закутанному прохожему, который подымался по заснеженному тротуару,— помогите мне, пожалуйста, втащить тачку наверх.

Прохожий обернулся к нему, красный нос вылез из недр черного кашне, словно птица высунула клюв из гнезда, и равнодушный голос сказал: — Не следует браться за работу, если она не по силам.— Красный нос опять спрятался, прохожий повернулся и пошел своей дорогой.

Джонни снова ухватился за рукоятки и толкнул тачку — сильно, сильнее, еще сильнее, но тачка не двинулась с места. Он опять сел и подставил лицо под холодные снежинки, чтобы остудить душивший его гнев. По крутому спуску навстречу ему ехала порожняя пролетка, направляясь к стоянке кэбов. Кучер был так плотно закутан, что край его толстого кашне касался полей котелка, и казалось, что лошадь везет брошенный на козлы пустой узел. Пролетка остановилась возле Джонни, и в щелку между шляпой и кашне послышался голос: — Что, не идет?

— Не идет,— ответил Джонни.— Просто не знаю, что делать. С трех часов на ногах, и еще не ел ничего.

Кучер спрыгнул с козел, повернул лошадь мордой к вокзалу и, вытащив веревку из-под сиденья, привязал один конец к оси пролетки, а другой — к откидной доске тачки.

— Держись покрепче за рукоятки,— сказал он,— в одну минуту втащим.— Он вскочил на козлы, лошадь пошла рысью, а Джонни до хруста в костях сжимал рукоятки тачки, бороздившей глубокий снег. Когда они въехали под огромный навес вокзала, Джонни отвязал веревку и положил ее обратно под сиденье пролетки.

— Спасибо,— сказал он с чувством,— вы помогли мне, как добрый самаритянин.— И тут он увидел, что кучер — тот самый, у которого они похитили шарабан, когда усаkali из «Кота и клетки», спасаясь от погони. Кучер тоже с любопытством поглядывал на Джонни, пока тот засовывал веревку под сиденье.

— А я где-то уже видел твою рожу,— добродушно сказал кучер, крепко потирая руки.

— Разве? — уклончиво ответил Джонни. — Да нет, вряд ли. Может быть, только как-нибудь на улице.

— Нет, не просто на улице, — задумчиво сказал кучер, — где-то еще. Ну, неважно, — добавил он. — А теперь, услуга за услугу, кружечка пива не помешает в такую стужу.

Будь у Джонни хоть что-нибудь, он все бы выложил кучеру, но у него не было ни гроша. Горько стало у Джонни на душе. Он много бы отдал за то, чтобы дать хоть самую малость.

— Извините, — сказал он, — но я работаю первую неделю и еще не получал жалованья, а до этого очень долго был без места.

— Да брось, — ухмыляясь, сказал кучер, — уж что-нибудь да осталось. Поройся-ка получше в кармане.

— Ей-богу, ни гроша нет!

Кучер нахмурился и сердито посмотрел на Джонни, который, нагнувшись над тачкой, делал вид, что рассматривает кипы газет.

— Ради чего же моя бедная коняга тащила в гору такую поклажу, да еще по сплошному льду? — проговорил он со злобой. — Вот как ты платишь ей добром за добро? Только потому, что бедная скотинка не христианская душа, ты не хочешь отблагодарить ее за то, что она вызволила тебя из беды? Не ломайся, гони монету и дело с концом!

— Я же вам говорю, — повторил Джонни, весь красный от смущения, — нет у меня ничего.

— Нет ничего! — сердито фыркнул кучер. — Недаром мне твоя рожа не понравилась, сразу видно, что за птица! — Он со злостью подоткнул попону вокруг ног и взял в руки вожжи.

— Знаешь, — добавил он, так яростно стегнув кобылу кнутом, что она подпрыгнула, — будь я такой сквалыгой, как ты, я бы никуда не совался. — И кобыла, пролетка и кучер галопом понеслись под гору.

Джонни погрузил газеты в багажный вагон отходящего поезда, злясь на свою мать за то, что ему нечем было заткнуть глотку кучеру. Снег все еще падал; утренняя заря тщетно силилась прорвать темное, хмурое небо; льдистое сверканье скрылось под снежным покровом, багряный отсвет поблек. Джонни построил свою тачку в каком-то углу и пошел домой завтракать.

КЕПКА В КОНТОРЕ

И вот он опять в мертвенной полутьме склада. Домой он пришел таким измученным, озябшим и мокрым, что даже поест не смог как следует и только пожевал хлеба да проглотил чашку чая. Пока он ел, мать сбегала купить на пенни борной мази и, увидев его у огня, намазала его вспухшие, стертые до крови руки. Все суставы у него ныли и болели. На глаза пришлось положить примочку из теплой воды, чтобы успокоить резь, а в это время мать, стоя на коленях, обертывала его ноги плотной бумагой,

чтобы мокрые брюки не прикасались к телу. Потом она достала из-под тюфяка чистый мешок, сделала в нем две дырки, пропустила сквозь них бечевку и, набросив мешок на плечи Джонни, связала концы узлом, чтобы защитить хотя бы спину и плечи от мокрого снега.

— Ты почти ничего не ел,— с тревогой сказала она.

— Устал очень, есть не хочется,— ответил он.

— Видно по тебе,— сказала она и слегка вздохнула.— Если уж эта работа такая тяжелая, брось ее — как-нибудь обойдемся.

Она взглянула в окно; снег ложился на землю легко-легко, словно ласка молодой матери, воркующей над новорожденным младенцем; тихо-тихо падал он, а сколько от него лишней муки рабочему человеку.— Пальто бы тебе теплое,— сказала она, обернувшись, когда Джонни уже был на пороге.— Смотри только не надрывайся; делай все спокойно и не торопясь; а если все-таки окажется неспособен, поищем что-нибудь другое. На Джесоне свет клином не сошелся.

И вот он опять в полутьме мертвецкой складывает в пачки газеты и журналы, наклеивает ярлыки, обвязывает бечевкой,— и так без конца, в тучах пыли, в тусклом свете, под топот усталых, отяжелевших, заплетающихся ног, под гул голосов, бессмысленный и невнятный. Запах талого снега, смешанный с запахом мокрой кожи, ударяет в нос, пар человеческого дыхания образует густой ореол вокруг хилого пламени газового рожка. Кругом снуют темные фигуры с тупыми, неподвижными лицами, похожие на кособокое произведения неопытного гончара,— движутся в паутине мрака молчаливой пародией на жизнь; а сверху, за стеклянными перегородками, сгорбились над своими конторками призрачные клерки, точно серые крабы в пыльном аквариуме. И все это мертвое движение и замирающий гул тонут в тумане испарений и смутном мерцании газа, а в глубине, где дверь на улицу, белеет колеблющаяся снежная завеса, заполнив всю ширину проема узорным кружевом хлопьев, которые кое-где шаловливо завихряются кверху, но потом все ложатся на землю, толстым ковром устлая тротуар и мостовую.

Чей-то мелодичный голос, глуховатый тенор, стал выкликать из полумрака названия газет, которые требовалось подобрать для одного загородного контрагента; голос приятный и мягкий, но временами в нем слышатся твердые нотки. Кто бы это мог быть? Джонни, подняв голову, всматривается в полумрак, отыскивая обладателя голоса, так мелодично выкликающего отвратительные слова: «Олли Слопер», «Вопросы и ответы», «Всякая всячина», «Еженедельник Пирсона», «Воскресный спутник», «Газетные вырезки», «Финансовый еженедельник», «Незабудки». Наконец не-подалеку от себя он видит высокого, стройного молодого человека, который стоит у стола, держа в руках пачку заказов, и читает проставленные в них названия. У него бледное, очень красивое,

очень тонкое лицо с решительными складками в углах ~~изянно~~ очерченного рта. Он нежного, но крепкого сложения; в ~~разгибание~~ плеч и прямой упругой спине чувствуются стремительность и энергия. На нем синий костюм, белую шею обхватывает скромный, но аккуратный воротничок с синим галстуком. В петлице ~~левых~~ значок с изображением кельтского креста и надписью ~~по-и~~ландски: вверху — «Гэльская лига», внизу — «Родина и язык».

— Храни вас бог,— сказал ему Джонни по-ирландски.

Ясные лучистые глаза на мгновение удивленно остановились на Джонни, потом мягкий голос с твердыми нотками в нем ответил: — Храни вас бог и дева Мария, друг.

— Вы, я вижу, состоите в Гэльской лиге,— сказал Джонни, указывая на значок в петлице.

— Я гэл,— ответил тот.— Говорю это не в укор себе и не в изидание вам.

Джонни колебался, он видел, что его собеседник куда сильнее его в ирландском языке; сам он знал довольно много слов, но фразы составлял с трудом и слишком медленно, чтобы ~~объяс~~няться складно и свободно; но так интересно было говорить на языке, который не понимали другие.

— Как вас зовут? — спросил он.— Меня зовут. О'Кэссид, Шон О'Кэссиди, я тоже гэл, родился в Дублине и горжусь этим.

— Меня зовут Шон О'Конноли,— отвечал тот,— а ирландец все равно ирландец, откуда бы он ни был родом, из Дублина, Балфаста или Корка.

Солнце вдруг разогнало сумрак на улице; снег пошел медленнее, и хлопья кружились в беспорядке, словно стараясь увернуться от солнечных лучей, спешивших приласкать иззябшую землю; завеса у входа стала теперь золотой, точно в тюрьме захлопнулась золотая дверь, снежинки были похожи на сверкающие драгоценные каменья, запутавшиеся в золотой сетке; холодные и сонные, они металась в искристой кутерьме, напоминая квакерскую деву, в опьянении солнечным вином сочетающую благочестивое раздумье с веселой пляской.

— Вы считаете, что Ирландия должна стать свободной и что англичане наши враги? — спросил Джонни.

— Да, я убежден в этом,— ответил тот.

— И я тоже! — с жаром вскричал Джонни.— *Sinn féin, sinn féin*,— прибавил он, вспомнив кондуктора конки. Он взял руку Шона О'Конноли и горячо пожал ее.— Мы с вами единомышленники,— сказал он.— Ирландия должна быть свободной, и англичане пусть убирают свои войска.

Молодой человек наклонился к Джонни и отчеканил по-ирландски со сдержанным пылом:

Как в висках набат лихорадки, звучит ее давний призыв:
Забудь друзей, брось дом свой, от жены и детей откажись
Без крова, без пропитанья, сквозь строй неприятельских рядов
Иди за бедной старушкой, не внимая мольбе родных.

Джонни испытывал какой-то особый трепетный восторг перед этим красивым юношей, который так непринужденно и спокойно произносил ирландские слова; они звучали у него не только уверенно, но даже с некоторым вызовом. Джонни отлично знал, что всякий, кто состоит в Гэльской лиге, подвергается яростной травле английского правительства и насмешкам многих соотечественников. Вот уже и сейчас вокруг них слышалось хихиканье; Конноли, правда, оставался невозмутим, как будто и не замечал этого, но Джонни весь покраснел, и ему мучительно захотелось кулаком сбить ехидные улыбки с лиц насмешников.

Случайно глянув вверх, он увидел голову Фитцджералда, заведующего, высунувшуюся из окошечка в стеклянной перегородке. Из всех сил вытягивая шею, он старался разглядеть, кто это там внизу тратит время на праздные разговоры. И еще увидел Джонни в туманном полумраке, как со всех сторон вскинулись кверху бледные лица и руки задвигались проворнее, — каждый старался показать заведующему, что он тут, во всяком случае, ни при чем.

И вот Фитцджералд заговорил, и Джонни услышал голос из поднебесья, всщавший: — Кэссиди, Кэссиди, не тратьте попусту время, оплачиваемое фирмой. Ступайте в подвал и подготовьте бандероли для утренней почты. — И Джонни увидел, что вход уже не затягивает золотая сетка; быстро ускользнули солнечные лучи с холодной улицы, быстро нависла опять с неба тьма, и снег снова стал падать медленно и плавно.

Такой молодой, а уже фений, думал Джонни, спускаясь из мрачного склада в еще более мрачный подвал, чтобы рассортировать тысячи бумажных бандеролей для завтрашней работы, наделить на них тысячи ярлыков по столько-то штук в час, как это елал его предшественник; а то как бы не нахмурился и не распек го щеголеватый дьявол за стеклянной перегородкой, приставленный следить за тем, чтобы черти помельче ни секунды не теряли даром, сортируя адскую литературу: сюда бандероли для ежедневных изданий, туда бандероли для еженедельников, а гон туда — для ежемесячников; и размашистую пометку синим карандашом на каждой, где аккуратно подколот список названий и число экземпляров, а где списка нет, такую отложить в сторону до выяснения. Да, совсем молодой, а уже фений — молодой и красивый, молодой и решительный, молодой и добрый, молодой и, быть может, опасный, потому что он, как Робеспьер, верит во все, что говорит.

— Славный малый этот Конноли, — проходя на свое место, сказал он человеку с кривыми ногами, перевязывавшему веревкой сложенные пачки. — Он кто такой тут?

— Клерк экспедиции, — коротко ответил кривоногий.

— Член Гэльской лиги, и, видно, ревностный, — продолжал Джонни. — А вы нет?

— Я? — переспросил кривоногий с удивлением в голосе. — Это вы меня спрашиваете?

— Вас, вас,— подтвердил Джонни.

— Не мешайте мне работать,— ответил тот.

Худой, долговязый мужчина макал кисть в то же ведро с клеем, и Джонни, улучив минутку, сказал ему: — Очень славный малый этот Конноли — ну вот, который говорит по-ирландски.

— А он говорит? — спросил долговязый. — Никогда не слышал.

— Ну как же,— сказал Джонни,— и хорошо говорит! Я тоже умею немножко. Хотел бы научиться лучше. А вы?

— Отойдите,— пробормотал долговязый,— отойдите от меня, приятель; тут всегда кто-нибудь подглядывает.

— А все-таки, хотели бы вы научиться? — настаивал Джонни.

— Нет, не хотел бы! — огрызнулся тот. — Только нам и заботы, что говорить по-ирландски! Горшок похлебки и дрова, чтобы сварить ее,— вот чего мне не хватает!

— Но,— упорствовал Джонни,— горшок похлебки и дрова, чтобы ее сварить,— это ведь еще не все в жизни.

— Нет, это все, когда у человека жена и трое детей, а получаешь пятнадцать шиллингов в неделю.— И он отодвинулся подалее от того места, где стоял Джонни.

Прошел уже час или около того, а Джонни все работал, согнувшись над шуршащей бумагой, как вдруг в синевато-багровое пятно света, ложившееся на стол от маленького газового рожка на стене, вползла чья-то грязная рука, и перед глазами у Джонни очутилась печатная листовка. Он прочитал, не прикасаясь к ней:

Приидите и народитесь вновь!

Большое собрание евангелистов в здании
Христианского союза.

Завтра, в 8 часов вечера

Адъютант Тримбл из Белфастской бригады Армии спасения нокаутирует Дьявола. Бывший боксер расскажет, чем он был, когда Дьявол владел его душой, и чем стал теперь, предавшись во власть Христа.

Приидите и примите дар спасения бесплатно и безвозмездно.
Благословение испросит председатель, мистер Джессон.

Джонни смял бумажку в комок и пренебрежительно швырнул на холодный пол. Христианин нарождается вновь при святом крещении. Из воды и Духа рождается он. И вся дальнейшая жизнь христианина служит подтверждением этой веры, почерпнутой у Источника; причащаясь, сподобляется он высшей благодати, ибо через таинство причастия грешный человек проникает в истинную суть и природу вечной божественности, становится сонаследником Иисуса Христа и, осененный мудростью и милостью Бога-сына, проходит свой земной путь, чтобы потом вознестись в горние выси, где в немеркнувшей славе и блаженстве ожидает его Бог-отец. Бог и Гэльская лига; не такое уж это причудливое сочетание, как может показаться иным протестантам; ибо есть ли

где-нибудь в протестантском молитвеннике более совершенное изъяснение веры, более вдохновенный призыв к божеству, чем жалоба оленя святого Патрика?

Он продолжал подписывать ярлыки на бандероли. Вдруг чья-то узкая рука появилась в небольшом круге синевато-багрового света, мутной лужицей расплывавшегося на столе, и перед глазами у Джонни очутилась вторая листовка, гласившая:

Завтра, в 8 часов вечера

Фостер-плейс

Массовый митинг

Ирландской социалистической республиканской партии

Приходите

все, все, все!

Выступают Том Линг и Джим Конноли

Рабочие, вставайте на борьбу!

На улице, на снегу, под режущим ветром устраивать митинги — у Джонни мурашки побежали по спине. Социалистическая партия — это что еще такое? Джим Конноли — однофамилец его нового приятеля, но Джонни никогда о нем не слышал. Он смял листовку в комок и уронил на холодный, холодный пол. Он огляделся, но не мог угадать, кто из соседей, согнувшихся над работой, положил на стол листовки — одну во славу Бога, другую во славу Человека. Его ни одна, ни другая не заинтересовали. Он продолжал заниматься своим делом — сортировать бандероли. Снова чья-то рука осторожно вкралась в синевато-серый отсвет на столе, и, повернув голову, Джонни увидел какую-то тень, метнувшуюся в глубь подвала. — Ползают тут, точно тараканы, — пробормотал он себе под нос, — все трусы, один только Шон Конноли не боится ничего. — Он ниже наклонился над лежавшей перед ним новой афишкой и прочел:

Ротонда, завтра вечером, в 8 часов,
большой концерт
в память событий 1798 года

Вступительное слово:

Шелмалир, Барджи Мэн и Келли из Киллана.

В программе:

Арфа. Скрипка. Флейта. Пение и декламация.

Цена билетов: 2 ш. 6 п., 2 ш. и 1 ш.

И в самом низу строчка по-ирландски:

Для вас, славные ирландские юноши и девушки!

Три зова, обращенных к нему, смиреннейшему из всех: во славу Бога, во славу Человека, во славу Родины; такие различные по существу и в то же время сходные в том, как они брошены — крадучись, с опаской, исподтишка. Все тут кругом тараканы, только разными знаками мечены: одни святым крестом, другие ирландскою арфой, третьи — какая там эмблема принята у этих со-

циалистов? Три глашатая прокрались сюда, в промозглый мрак, чтобы звать к свободе, свободе от греха, свободе от рабства, свободе от национального угнетения, и все боятся света, потому что творят правое дело. Не нравилось ему это, не хотелось даже отдаленно быть причастным к этому постоянному страху — как бы не застигли врасплох, не обвинили в праздности. Он тут погребен среди мертвецов. Если и не лежит, так сидит в гробу, где вместо савана промозглая тьма, а вместо небесного светоча синевато-серый язычок газа.

И к тому же, если он долго будет оставаться здесь, у него разболятся глаза от этого тусклого света в буром полумраке. Уже и так он натрудил их в потемках, силясь разглядеть, что делают собственные руки. Надо уходить. Надо уходить. И не просто, а подняв высоко знамя вызова. Но как это сделать?

Кто-то осторожно дотронулся до его плеча и чей-то робкий голос произнес: — Идите наверх получать жалованье. Мистер Фитцджералд велел сказать вам.

Он поднялся по грязной лестнице, прошел через весь склад и остановился внизу лестницы, на которой, в ожидании полочки, уже выстроилась длинная очередь служащих. Он заметил, что каждый из них, перед тем как толкнуть коричневую с золотом дверь с надписью «Контора», торопливо сдергивал с головы кепку или шляпу.

— Зачем это они все шапки снимают? — спросил Джонни у скуластого малого, стоявшего рядом с ним в холодной мгле у подножья лестницы.

— А ты что, приличий не знаешь? — отозвался скуластый. — Ведь мы входим туда, где сидит мистер Чарлз. Надо же показать, что мы уважаем тех, кто нам дает хлеб насущный. Надо же показать мистеру Чарлзу, как мы относимся к нему.

Ну, вот я ему покажу, как я к нему отношусь, подумал Джонни. Раз уж он все равно решил отсюда уйти, можно на прощанье разжечь пламя бунта. Он не снимет шапки. И сделает это так, чтобы все видели. Он им покажет, кто он такой. Все тело у него болело, в глазах мутилось и мелькали красные пятна, голова кружилась от навалившегося на него непосильного труда. Вставать в три часа утра, до шести-семи вечера почти не знать передышки, и за такую каторжную работу получать по пенни с четвертью в час! Ни минуты на чтение, на запоминание всего замечательного и прекрасного, про что написано в книгах. Только воскресенье оставляли они ему для отдыха и для воздания должного богу. Ладно, теперь он воспользуется случаем, чтобы воздать должное им самим.

Он взбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и остановился перед украшенной золотыми буквами дверью конторы.

— Я кепки не сниму, — сказал он громко, так чтобы все слышали. — Войду в кепке, как в бронзовом шлеме, еще даже и забрало спущу, — и он схватился за козырек своей матерчатой кепки и надвинул его чуть не на самые глаза. Остальные, в ужасе глядя

на него, сгрудились теснее, чтобы показать, что ничего общего с ним не имеют.

— Отворите ему дверь, этому храбрецу, пусть входит,— раздался снизу голос скуластого.

Джонни сильным рывком распахнул дверь и вошел. Пол в конторе был выстлан толстым гляцевитым линолеумом темно-красного цвета, для удобства посетителей стояли глубокие мягкие кресла, прямо против входа тянулся длинный барьер из полированного дерева с матовыми стеклами, сквозь которые ничего не было видно, посредине было маленькое окошечко, и над ним дощечка из толстого красного стекла с надписью «Кассир» крупными черно-золотыми буквами. Слева один угол конторы был отделен перегородкой красного дерева, тоже с матовыми стеклами, посредине ее находилась узкая дверь, на стекле которой, в пурпурной рамке, было выведено золотом: «Без доклада не входить». Джонни знал, что за всем этим красным деревом, пурпуром и золотом, восседает мистер Чарлз Джесон перед горящим камином, из которого на весь кабинет исходит атмосфера тепла, удобства и уюта. Джонни подошел к окошечку кассы и, заглянув в него, увидел совершенно лысого толстяка, склонившегося над ящиками с маленькими белыми конвертами.

— Фамилия, сэр, фамилия! — рявкнул лысый, услышав, что у окошечка кто-то стоит.

— Кэссиди, Кэссиди,— рявкнул Джонни в ответ.

Тон Джонни привел лысого в некоторое замешательство, он помедлил, потом украшенная перстнем рука вытащила один конверт из ящика и положила на полку перед окошечком. При этом кассир случайно поднял глаза и увидел у Джонни на голове кепку. Тотчас же украшенная перстнем рука потянула конверт обратно.

— Шапку надо снять,— сказал он укоризненно. Но Джонни смотрел лысому прямо в глаза и не шевельнул рукой.

— Вы слышали, молодой человек? — в голосе лысого появились угрожающие нотки.— Шапку снять нужно.

— Вы мне платите что причитается, а до моей шапки вам дела нет,— сказал Джонни, помня, что дверь позади него раскрыта и толпа на лестнице все видит и слышит.

— Кто не соблюдает приличий, тому не выдается жалованье,— сказал кассир сердито и решительно.

Тут в Джонни взыграл богатый пыл, тот самый, что овладевал Кухулином¹ в разгар битвы, и он весь надулсЯ от ярости.

— Подавай сюда деньги,— загремел он,— ты, leibide!² Сию же минуту подавай, чурбан эдакий, не то пожалеешь, и очень скоро!

Лысый отпрянул назад так стремительно, что пенсне слетело у него с носа и закачалось на ленточке перед животом. Оплывшее

¹ Герой ирландских саг.

² Ирландское бранное слово.

лицо побагровело, и, задыхаясь от негодования, он завопил: — Мистер Чарлз, мистер Чарлз!

Тогда, глядя в окошечко, Джонни увидел длинное лицо, бесцветные глаза, золотистую с проседью бородку и согбенные плечи мистера Чарлза, который вошел в кассу на цыпочках семенящей походкой, точно стареющий балетный танцор, и остановился, в недоумении глядя на кассира и на голову Джонни в окошечке.

— Что такое? В чем дело? Почему шум? Что случилось? — нервно залепетал Чарлз, стараясь принять грозный вид, но в то же время не отпуская ручку двери, чтобы при малейшем признаке опасности юркнуть в кабинет.

— Этот... этот мерзавец... Вы ничего не слышали, мистер Чарлз? Этот... этот ще-щенок, — задыхался кассир, — он не хочет снимать шапку.

— У нас такая традиция, сэр, — сказал Чарлз, обращаясь к Джонни, — и ее должно, да, должно чтить.

— Вот я ее и почтил тем, что нарушил, — сказал Джонни, — только и всего.

— Он себе позволил такие, такие выражения! Вы не слышали, мистер Чарлз? Чурбан, сказал он про меня, и еще какое-то ужасное слово, которого я никогда не слышал.

— Как он попал сюда? Кто он такой? Кто его принимал на работу? — спросил золотистобородый.

— Не знаю кто, но это была чудовищная ошибка, — выдохнул кассир.

— Ступайте себе, откуда пришли, — свирепо сказал Джонни, просунув в окошечко руку и пальцем указывая на Джесона. — Ступайте подсчитывать барыши за спиной у Иисуса; только раньше скажите этому лысому дураку, чтобы он мне отдал мои деньги, да поживее!

— Отдайте ему, заплатите ему, пусть берет, пусть все берет и убирается отсюда, — приказал Джесон. — Боже правый, как только мог попасть к нам на службу подобный субъект!

Кассир швырнул на полку перед окошечком маленький конверт. Джонни вытряхнул мелочь, которая в нем была, пересчитал и небрежно опустил деньги в карман. Потом он повернулся, протолкался через толпу, теснившуюся в дверях, сбегал вниз и вышел на улицу, в сумрак, в снег. Черным было небо, словно господь бог смотрел на Дублин черным, неласковым взглядом; и ни единая звезда не сияла в черном небе, нависшем над улицами, белыми-белыми, как будто лик города побледнел от божьего гнева.

Ладно, думал Джонни, мать будет рада, что я ушел отсюда. Теперь найдется время и для моих любимых книжек, — ведь уже не будешь вечером валиться, точно загнанная насмерть клыча.

Чуть подальше лился из широкого окна пивной поток мутного желтого света, бледно-золотистым пятном ложась на тротуар. В центре желтого сияния, точно букашка на лютике, чернела фигура; лицом к двери, втянув голову в плечи, приложив к губам

золотую трубу, музыкант наигрывал искусно и нежно тем, кто за дверью — мужчинам и женщинам, уютно попивавшим пиво внутри:

Померкло дней былых сиянье,
Увял, осыпался их цвет,
Затмился под крылом страданья
Надежд недолговечный свет¹.

Джонни побрякал девятью шиллингами в кармане, поднял повыше воротник пальто и зашагал к дому.

МЕЧ СВЕТА

Джонни жалел, что у него так мало света; мало света, чтобы читать, и мало света в собственных глазах, чтобы видеть, ибо светильник для тела есть око. Ну что ж, он все-таки видел больше, чем многие со здоровыми глазами. Странно, что бог, который даровал миру столько источников света — и солнце, и луну, и звезды, — так мало света отпустил некоторым людям. И в Ветхом и в Новом завете полным полно света; и сам Христос немало говорил о нем; он даже про себя сказал, что он — свет мира. Потом еще свет, который просветляет всякого человека, приходящего в мир, — какой это свет, кто знает? Итак, да светит свет ваш перед людьми, дабы они видели ваши добрые дела. Словом — свет туда, свет сюда, просто голова кругом идет. А между тем в иных местах как его мало! Джонни не мог припомнить почти ни одного дома, где среди бела дня не было бы темно. Солнце, говорят, светит для всех; но если оглянуться вокруг — многие ли видят его? Он мысленно перебирал улицу за улицей, в которых не бывало солнца. Где солнце в помещении «Химдим и Лидем»? Или у Джесона? Или в улыбке старика Энтони? Да в ней не больше тепла, чем в обожженном крыле моли. А у Джесона — тот держит солнце заперти в своей конторе. Древнее светило старается что есть мочи, но повсюду закрыты ставни, чтобы не пустить его или спрятать от тех, кому оно всего нужней. Как восход солнца на флаге Ирландии, всегда скрытый за короной английского короля. Великое множество рук, украшенных перстнями, заслоняет лик солнца и прячет свет его от простых смертных.

Был зимний вечер, в комнате стоял нестерпимый холод и царил унылый полумрак; только желтоватая струйка света робко пробивалась в окно, против которого, на краю тротуара, стоял газовый фонарь; вокруг его столба так давно уже кружились дети, что он стоял теперь согнувшись над улицей, словно старик, засветивший фонарь в надежде найти оброненный серебряный гршш. Джонни сидел за маленьким ветхим столом, потемневшим от времени, и усердно учил грамматику, географию, историю; крохотное пламя керосиновой коптилки ежеминутно мигало, и буквы пля-

¹ Перевод О. Румера,

сали у него перед глазами, словно они были живые и хотели вернуться от его назойливого взгляда. Когда ему надоедало заниматься, он начинал читать раскрытые перед ним на столе книги — «Венок из диких олив» Рэскина и «Покинутое селенье». Конечно, в комнате очень холодно, но на душе у него тепло, а как чувствует себя его тело, не так уж важно; однако он принял меры, чтобы по возможности оградить себя от холода: надел старую куртку поверх новой; натянул две пары рваных брюк; плотно обмотал шею шарфом, а кепку нахлобучил на лоб. С шести часов утра сидел он за книгами — пятнадцать часов подряд — и даже не устал.

Время от времени в нем пробуждалось робкое желание напиться горячего чая, но он гнал от себя эту мысль и еще глубже погружался в чтение; не на чем было согреть воду — уголь кончился, да и скудный запас чая требовал строжайшей бережливости, чтобы дотянуть до конца недели, не нарушая заведенного порядка. И керосин был на исходе. На свои последние гроши он купил полгаллона, поставил в уголок и предупредил мать, чтобы никто, кроме него, не вздумал его трогать. И вот теперь остатки керосина, мигая и коптя, догорали в лампе во славу сокровищ Голдсмита, Рэскина и Марло. Он взял лампу в руки, поднес к самому уху и осторожно качнул. Хватит еще на вечер или два, прошептал он. Ничего, до сих пор он не терпел недостатка в том, в чем имел нужду. Бог всегда посылал ему огарок свечи или каплю керосина. Мучница пустовала частенько, но масло в светильнике не иссякало, и потому свет прошлый с новой силой сияет в свете нынешнем. Теперь его не покинет свет, который просвещает всякого, приходящего в мир, ибо наверняка имеется в виду именно этот свет — тот свет, который не угаснет веками. От света минувших дней возгорится свет грядущих. Шекспир на свой лад, Марло, Голдсмит и Рэскин на свой — были светочи, указующие ему верный путь, благодетельные светочи, которые вели его к еще более полному свету в будущем.

Он тихонько расхаживал по комнате, шепотом читая про себя отрывки из Шекспира и Голдсмита, с чувством и выражением, но стараясь не шуметь, потому что в соседней комнате спала его мать и он боялся разбудить ее. День выдался для нее трудный: сначала перестирала белье Эллы — задаром, потом белье чужой женщины — за шесть пенсов и стакан портера, от которого, по словам матери, она точно ожила. Он остановился под окном и выглянул в унылый вечерний мрак. Узкий, резко очерченный серп луны сердито пытался прорвать гонимые ветром тучи, словно девушка, которая злится на ветер за то, что он треплет ее прическу и платье. За каналом высился уродливый спесивый шпиль католической церкви, точно поднятый палец пухлой руки, подзывающий суда на пути в Дублинский залив. Святой, чьим именем была названа церковь, один вышел к бряцающим оружием норманнам, пришедшим сюда, дабы снова прижать к волосатой груди город Дублин; святой, почуяв запах железа в устремленных на него

взорах, спросил: «Мир ли между нами, братья во Христе?» Они отвечали: «Кровавая война между нами, ежели вы и ваш викинг Тулс, упрямая башка, не одумаетесь и не отдадите нам всего». И святой поклонился им низко и сказал: «Все, что наше, будет ваше». Тогда одетые в железо воины, поглаживая бороды, сказали: «Добро!» — и, окруженный их копьями, щитами и секирами, святой возвратился с триумфом под ликующие крики дублинцев, которым он принес мир и разорение.

Ближе к окну, чем пузатая колокольня, мелькали сигнальные огни железной дороги, словно огненно-красные пуговицы на темно-синей мантии ночи, а в ее разметанных ветром волосах тускло поблескивала золотая диадема луны.

С товарной станции то и дело доносился грохот тяжелых вагонов, которые переводили на запасные пути, а когда собирали состав, раздавался громкий прерывистый перестук сталкивающихся буферов.

Все это Джонни видел из своего окна, и здесь — много-много лет тому назад — датчане и ирландцы сошлись в последнем кровавом бою, в последнем долгом бою между светом и тьмой. Здесь Тор с челом, как черная туча, был повержен кротким златоглавым Иисусом. Здесь жемчужно-белый голубь выклевал глаза и разорвал нутро злобному, мстительному ворону. Здесь знамение Молота оборотилось знамением Креста; и тьма и ярость бежали в страхе от милосердия и света. Здесь пронзительный глас христианских труб сливался с хриплым лаем языческих рожков под глухой рокот волн, бьющих о берег в Дублинском заливе. Дублинцы-датчане со стен своего храма богу Вотану смогреджи, как оба войска рубили, кромсали, кололи, резали друг друга, пока бесчисленные головы не усеяли воду и сушу, словно кровавые градины, оставленные грозой.

А вся пурпурная слава этого боя возникла из партии в шахматы. Брайен Бору потребовал, чтобы Мейлмурра, король Лейнстерский, доставил в Кинкору, маленький серый замок Брайена на западе, три мачтовые сосны — самые высокие, самые красивые, самые белые изнутри и золотистые снаружи, какие только растут в чудесном фиджилльском лесу. Бедняга Мейлмурра, будучи вассалом Брайена, не мог отказать ему, хотя и ненавидел своего сюзерена и втайне подбивал против него датчан. Незадолго до этого Брайен Бору, дабы улестить его, подарил ему плащ дорогого яркого шелка с золотой каймой и блестящей серебряной пряжкой. Не желая таскать лес для Брайена, король Лейнстерский уговорил вождя клана Оффали взвалить на себя один ствол, главу О'Филенов — второй, а предводителя О'Мурреев — третий. Все шло хорошо, пока у подножья горы не разгорелся спор о том, как надо обходиться с конями; кончилось тем, что глава О'Филенов обозвал Мейлмурру неучем, а тот обозвал его паршивой свцой, и О'Филен застегнул на себе камзол, повернул вспять и шагал прочь, бросив через плечо: «Дурак я, что ли, чтобы

пускаться в путь с Мейлмуррой», а Мейлмурра крикнул ему вслед: «Скатертью дорога!»

Итак, Мейлмурре пришлось сделать то, чего не доделал О'Филлен; он подобрал с земли брошенный ствол и при этом так натужился, что серебряная пряжка отскочила с его плаща и, взлетев на воздух, скрылась из глаз за вершинной самой высокой горы. Когда Мейлмурра прибыл в Кинкору, он отдал плащ своей сестре Гормлейт, супруге Брайена Бору, и та отлила ему новую пряжку из расплавленного серебра, кипевшего тут же на очаге; и все время она зудила брата за то, что он — прислужник Брайена, пляшет под его дудку, а это стыдно отпрыску рода Мейлмурра, и никогда ни отец его, ни отец его отца не делали бы этого за все богатства и сокровища Греции и Трои, вместе взятые; и незадачливый Мейлмурра, улучив минутку, когда сестра нагнулась, перекусывая нитку, крадучись отошел от нее и стал следить за ожесточенной борьбой на шахматной доске между сыном Брайена и Кевином Глендалугским; и дабы снискать милость наследника, бедняга дал ему совет, и тот, послушавшись, сделал неудачный ход и проиграл партию.

— Вот такие советы ты давал датчанам в битве под Глен Моумой, где мы их разбили,— прорычал сын Брайена Бору в побитое лицо несчастного Лейнстерского короля.

— Ежели из-за моих советов датчане тогда проиграли бой,— отвечал Мейлмурра, едва сдерживая гнев,— то теперь я дам им такой совет, что бой проиграешь ты, шенок!

— А ну! — крикнул сын Брайена Бору, вскакивая на ноги и рассыпая шахматы.— Посмей только!

Тут Мейлмурра, не помня себя от бешенства, вышел вон; а так как пить со всеми в большом покое ему уже было нельзя, то он сразу улегся спать, а среди ночи, не сказав Брайену ни полслова: ни «я поехал», ни «будьте здоровы», ни хотя бы «поцелуй меня в одно место», во весь опор ускакал из замка, пока Брайен лежал без сна на ложе под пологом и обдумывал, как бы околпачить простодушного Лейнстерского короля; узнав о его бегстве, седовласый, седобородый Брайен соскочил с постели, едва прикрыв наготу, и отправил своего любимца стремянного, уроженца Манстера, с ножом за пазухой, в погоню за Мейлмуррой и приказал вернуть беглеца, дабы поговорить с ним по душам. Стремянный немедленно пустился в путь и нагнал Лейнстерского короля на берегу Шаннона, близ Киллалу; низко поклонившись королю, он сказал, что Брайен шлет ему дружеский привет и никак не может понять, почему он покинул замок, не удостоив хозяина и словом на прощанье; но тут король оборотился и три раза подряд так хватил ничего не подозревавшего стремянного по макушке суком тиссового дерева, который держал в руке, что голова несчастного треснула в трех местах и его спешно уложили на тачку и доставили обратно в Кинкору к великому возмущению воинов Брайена: как посмел какой-то лейнстерец огреть по башке манстерца! Схватившись за

копья, они сели на коней, готовые преследовать короля, но Брайен мановением руки отставил поход, велел всем идти досыпать и объявил, что волос не упадет с головы Мейлмурры, пока он на его, Брайена, земле; но, заключил он, прижав руку к сердцу и пролив слезу, за содеянное они потребуют к ответу Лейнстерского короля на пороге его дома; а коварный Мейлмурра, прискакав восвояси, созвал королей помельче, князей, предводителей кланов — и могущественных и поплоче, — оповестив их набатом, словом, трубой, барабанным боем, цимбалами, выпелами, факелами, кострами и зажженными светильниками, и пожаловался им на то, как им помыкали, когда он был гостем в замке Кинкора; и послал Мейлмурра гонцов к викингам Оркнейских и Шетландских островов, и на остров Мэн, и в Норвегию, и в Исландию, призывая их прибыть с первой волной в Дублинский залив, объединиться с тамошними датчанами и принудить Брайена Бору дать бой на реке Лиффи, на равнине Мой Эалта и на полосе земли между Хоутом и стенами Дублина. Так партия в шахматы явилась причиной священной резни между язычниками и христианами, и богомерзкий волосатый Бродар с грозным черным вороном на груди, удирая с поля битвы, наткнулся на палатку бедного седовласого Бору, а тот стоял на коленях и жарко молился всемогущему светлому Христу, и Бродар закричал: «Вставай, старая каракатица, пришел твой смертный час», — и тут Брайен вскочил на ноги, выхватил меч, бросился на Бродара и ловким ударом наискосок срезал ему обе ноги — одну по колено, другую по щиколотку; но Бродар, испустив дикий вопль, прежде чем упасть наземь, успел во имя великого Тора рубануть благодетельным лезвием своей острой секиры по убеленной сединами голове доброго христианского короля и рассек ему голову до самых уст в то самое мгновение, когда они возгласили святое имя Иисуса Христа. И тьма крошечная объяла душу Бродара, и он низвергся в ад, а душа Брайена, осиянная светом небесным, вознеслась высоко; и мир воцарился в Ирландии, и все пустились в пляс и очень весело встретили праздник.

Довольно витать в облаках, пора опять приниматься за дело. Но он все еще медлил у окна, глядя на черные вечерние тени, на внушительный церковный шпиль, на огни железной дороги, на желтый круг света, отбрасываемый газовым фонарем у края тротуара, и на стройную молодую луну, которая выглядывала из-за темных туч, словно полускрытая занавеской прелестница, лукаво поглядывающая на слишком робкого воздыхателя.

Высокая человеческая фигура мелькнула в тусклом свете фонаря и быстро прошагала мимо. «Мистер Гарри», — прошептал про себя Джонни. Должно быть, идет на заседание церковного совета. Бедняга, нелегко ему приходится; истинно верующие протестанты недовольны, обвиняют его в приверженности к обрядам, хотя он и уверяет, что строго следует канонам. Они сразу стали коситься на него, как только его прислали в наш приход, и даже когда он первый раз вышел служить, раздался приглушенный свист, по-

тому что на нем было черное облачение, которое так красиво падало к его ногам из-под белого стихаря, а они говорили, что это сутана, как у католического патера. Когда хор запекает символ веры и мистер Гарри и остальные молящиеся поворачиваются на восток, оранжисты нарочно громко читают его и кричат «папизм!» На собраниях прихожан они вопят, что желтая бахрома на престоле превращает его в алтарь; что алые и золотые кресты на свидетельствах о конфирмации растлевают души невинных протестантских юношей и девушек, которым эти свидетельства выдают, завлекая их в пагубные сети католических суеверий. То и дело летят камни в окна церкви, и однажды кирпич попал в орган, и органисту пришлось прервать игру, к великому ужасу коленопреклоненной паствы. Весь приход говорит, что Гарри зарвался и что либо он бросит свои еретические повадки, либо ему придется уйти. У него немало и сторонников; но все они, как сам Джонни, из бедных прихожан — какой же от них толк? А те богатые, и они затягивают мошну, и мистеру Гарри очень трудно отправлять свою должность, и положение его самое незавидное, потому что члены церковного совета злятся на него и пакостят ему где только можно. Будь у Джонни деньги или хорошая работа, он непременно взял бы сторону мистера Гарри; но у него нет ни того ни другого, и потому он может только издали следить за борьбой. У него не хватило духу сознаться мистеру Гарри, что он потерял место; надо надеяться, мистер Гарри скоро спросит его о работе, и тогда он все расскажет, и мистер Гарри, конечно, подыщет что-нибудь для него. Жаль, что он не зашел сейчас, когда проходил мимо.

В дверь постучали. Это Гарри Флетчер — наверное, он. Джонни высунул в окно и вывернул шею, но было слишком темно, и он не увидел, кто стучится. Если это кто-нибудь к матери, он пошлет его к черту. Он никому не позволит будить ее. Но это, без сомнения, Гарри-еретик. Джонни вышел из комнаты, отворил входную дверь — перед ним стоял его старый друг, кондуктор конки, и, широко улыбаясь, протягивал ему руку.

— Я принес тебе песню, нарочно для тебя переписал, — сказал кондуктор, предварительно вынув изо рта трубку и сплюнув на тротуар. — И еще захватил «Речи из тюрьмы» и «Жизнь Уолфа Тона». И если у тебя есть время, я спою тебе песню, чтобы ты запомнил напев.

Джонни привел кондуктора в темную комнату, где едва приметно мерцал свет коптилки. Ему было стыдно, что он даже чашку чаю не может предложить гостю. Великолепие Голдсмита и Рэскина поблекло перед горьким сознанием, что ему нечего дать другу. Даже капельки тепла — и той не может дать.

— Потеплело, шибко потеплело, — сказал кондуктор, точно угадав горькие мысли Джонни. — Сейчас совсем не холодно.

— Я ничуть не озяб, потому и не разводил огонь, — сказал Джонни.

— Зачем зря тратить уголь? — пробормотал кондуктор,

однако Джонни с болью заметил, что гость не снимает пальто.— Вот «Жизнь»,— продолжал он, кладя на стол возле коптилки книжку в бумажной обложке.— Тебе понравится. Тут все написано — как он уговорил французское правительство послать флот в Ирландию и как он убивался, когда военные корабли, посланные для спасения Ирландии, должны были сняться с якоря, поставить паруса и плыть обратно, к берегам Франции. Ах ты, господи, какое это было горе! Когда-нибудь,— сказал кондуктор, положив руку на плечо Джонни,— ты поедешь вместе с нами в Боденстоун и на могиле Уолфа Тона помолишься, чтобы на свете стало побольше таких людей, как он. Вот здесь напечатаны речи, которые «Объединенные ирландцы» произносили на скамье подсудимых, когда им грозила смертная казнь или пожизненное заключение. Ты знаешь песню «Повстанцы нашей родины»?

— Нет,— сказал Джонни,— не знаю.

— Не знаешь? Ну так послушай, я тебе спою.

— Только потихоньку,— прошептал Джонни,— мама спит в комнате рядом.

— Ладно, я буду петь чуть слышно.— И обняв Джонни за плечи, кондуктор запел тихо, отдельно и бесхитростно:

Пусть вечно хмурится тиран, хихикает подлец:
Картуз разбойничий для нас — достойнейший венец!
И пусть могилы храбрецов навек осквернены —
Священна та земля, где спят разбойники страны!¹

Джонни чувствовал, как дрожит рука, лежащая на его плечах, и эта дрожь отдалась в его собственном сердце, и он, не шелохнувшись, дослушал горестную и смелую песню.

— Ты уже почти заучил напев «Боишься ты назвать тот год»,— снова заговорил кондуктор хрипловатым голосом, после того как они с минуту простояли в гробовом молчании.— Я немножко напою тебе, а ты подпевай тихонько, чтобы проверить, хорошо ли ты запомнил.

За храбрых наш стакан звенит,
За вечный их покой;
Иной из них далеко спит,
Иной — в стране родной.
В былые дни ушли они,
Но слава их живет,
И верным сынам, подобным вам,
Пример свой подает!

Долго стояла тишина в темной комнате с крошечным кружочком золотистого света на отливающем бронзой столе, прерываемая лишь неровным дыханьем Джонни и его друга.

Родной Ирландии поля
Укрыли их тела;
В них жизнь вдохнувшая земля
Их снова приняла;

¹ Все стихи в главе переведены В. Роговым.

Но, славный род, и в этот год
Живым, как прежде, будь,
И верным сынам, подобным нам,
Указан славный путь!

— У фениев много сил сейчас? — прошептал Джонни на ухо кондуктору.

— Боюсь, милый, что нет, боюсь, что немного, — грустно прошептал кондуктор на ухо Джонни. Потом он взял его за руку и крепко пожал ее. — А может, и много. Этого никто толком не знает. Но мы с тобой здесь, правда, ведь? А что ты читаешь? — спросил он другим, более спокойным тоном.

— «Венок из диких оливо» Джона Рэскина.

— Рэскина? Чудное имя! Ирландец?

— Шотландец. Замечательный писатель. Вот послушайте, что он пишет о войне: «Величайшая из игр, увлекательнейший спорт, джентльменская игра, за которой с таким восхищением следят прекрасные леди, — игра в войну. Она пленяет воображение; для этого спорта мы одеваемся пышнее, чем для других спортивных игр; мы идем воевать, щеголяя не только красным одеянием, как на охоте, а красным с золотом, да еще расписанным всеми цветами радуги; хотя, разумеется, удобнее было бы сражаться в сером и без перьев. К тому же ракетка и мячи для этой игры очень дороги; думается, каждому государству они обходятся ежегодно миллионов в пятнадцать, а оплачивает эти расходы, как вам известно, тяжелый труд хлебопашца и доменщика. Дорогая игра, не говоря уже о последствиях. Мы знаем, что цену за нее платит кто-то, где-то, надрываясь на убийственной работе: бриллианщик, слепнувший над драгоценными камнями; ткач, обивающий руки о станок; кузнец, задыхающийся у горна».

— А как же, с позволения сказать, мистер Рэскин предлагает нам выгнать англичан из Ирландии без этого?

— Без чего?

— Без войны. Твой Рэскин такой же пройдоха, как и все, только языком болтать умеет.

— Он и про другое писал, — слегка обиженно сказал Джонни, — и вовсе он не пройдоха. Послушайте, какую речь он держал перед дельцами, которые затеяли строить биржу в йоркширском городе Брэдфорде.

— Брось, Шон, — отмахнулся кондуктор, — на что нам какая-то биржа.

— Да послушайте одну минутку. Я прочту только маленький кусочек. «Ваш жизненный идеал — это приятный гармоничный мир, в недрах которого повсюду залегает железо и уголь. В любом живописном местечке этого мира должна быть роскошная усадьба; конюшня и каретник; сад и теплицы; подъездная аллея и роща; и обитают здесь адепты богини преуспевания — английский джентльмен, его прелестная супруга и очаровательные дети...»

— Видишь, видишь, Шон: английский джентльмен,

— Погодите минутку. Английский джентльмен или ирландский — не все ли равно?

— Нет, не все равно. Уж поверь мне, это не одно и то же.

— Но послушайте еще немножко: «Джентльмен всегда может себе позволить роскошно обставить будуар своей жены и закупить ей бриллиантов; нашить бальных туалетов дочерям; нанять доезжачих для сыновей, а самому ездить на охоту в шотландские горы. А неподалеку от усадьбы стоит фабрика, она вытянулась на четверть мили в длину, и труба ее высотой в триста футов. На этой фабрике постоянно занята тысяча рабочих, которые никогда не пьют, никогда не бастуют, каждое воскресенье ходят в церковь, а разговаривают вежливо и почтительно». Видите, в этом что-то есть.

— А что тут такого? Одна болтовня. Может, это и годится для англичан — они люди темные, всегда гонятся за пустяками. Все они такие — и бродяги без роду и племени, и лондонские лорды, неучи и грубияны, только и знают, что роются в кучках пепла, не найдут ли крупинку золота. Но мы, ирландцы, не им чета — у нас истинный свет.

— Католическая вера? — спросил Джонни.

— Нет, нет, — с досадой ответил кондуктор. — Это тоже есть у нас, но я говорю про свет свободы, которую мы отвоюем у англичан, чума их возьми.

Высокая фигура мистера Гарри Флетчера опять промелькнула мимо окна, и мгновение спустя раздался стук в дверь, ведущую на улицу.

— Это наш новый священник ко мне идет, — не без смущения сказал Джонни.

— А нельзя мне уйти потихоньку, чтобы он не видел?

— Отсюда только один выход, — ответил Джонни.

— Знаешь что, — сказал кондуктор. — Я схоронюсь вон там, за диваном, он меня не заметит в потемках. — Забежав за диван, он прикорнул на полу, и даже Джонни, хоть и знал, что кондуктор сидит там, видел только его макушку. Джонни подошел к входной двери, отворил ее и вместе с мистером Флетчером вернулся в комнату.

— Усердно занимаешься, я вижу, — сказал священник, бросив взгляд на заваленный книгами стол. — Это хорошо, скоро ты будешь знать больше, чем самые ученые из нас.

— Садитесь, — сказал Джонни, торопливо отодвигая подальше от лампы те книги, которые принес кондуктор. — Садитесь, сэр.

— Боюсь, что я помешал тебе, — заговорил священник, опускаясь на стул и поднося озябшие руки как можно ближе к закоптелому стеклу лампы. — Но я только на минутку оторву тебя от занятий. Джон, я пришел проститься с тобой и с твоей матерью.

— Проститься? — с испугом переспросил Джонни.

— Да. Мне нельзя оставаться здесь: слишком много у меня врагов.

— Боритесь против них,— с жаром сказал Джонни,— боритесь, сэр!

— Я боролся. Нет, Джон, я должен уехать, прощай. Епископ разъяснил мне, что нехорошо сеять смуту между христианами.

— Сеять смуту? Вы же соблюдали все правила.

— Я следовал их духу, это верно. Но у нас глубоко укоренились предрассудки невежественного евангелизма, и это многим мешает постичь истинный смысл Писания и церковных обрядов.

— Со мной уже говорили о том, какой вы и как служите,— сказал Джонни,— пытались настроить меня против вас. Больше всего их злит и бесит, что на стене над престолом золотыми буквами выведено: «Sanctus, Sanctus, Sanctus»¹. Говорят, что это католический алтарь, а не престол.

Мистер Гарри засмеялся мелодичным смехом, засмеялся и Джонни.— И еще они говорят, что у вас над постелью висит распятие.

— Какое зло может быть в символе спасения? — негромко сказал мистер Гарри.

— И еще они жалуются, что вы поощряете заупокойные молитвы.

— В течение многих веков церковь молилась об усопших,— сказал мистер Гарри, потирая руки и опять протягивая их к лампе,— и, отказавшись от этого, мы лишили себя изрядной доли утешения и духовной близости к дорогим нашему сердцу покойникам. Прежде чем предстать перед богом, самые лучшие из нас проходят в раю очищение. Там пребывала и душа Спасителя, и это мы имеем в виду, когда говорим, что он сошел в преисподнюю — не в геенну огненную, где мучаются грешники, а в Аид, в благословенный приют, уготованный душам тех, кто почил в покаянии и страхе божием. Нет сомнения, что должно молиться о том, чтобы бог даровал им вечный покой и немеркнущим светом озарил их страждущие души.

— По-ирландски мы о покойниках говорим: «Solus Dé dá апат» — свет господень его душе,— сказал Джонни.

— Что? — удивленно переспросил мистер Гарри.— Как это — по-ирландски?

— Ну, на ирландском языке,— смутившись, пробормотал Джонни.

— Ах да, понятно,— проговорил мистер Гарри с таким пренебрежением, что Джонни вспыхнул до ушей и выругал себя за опрометчивые слова.

— Кроме того,— продолжал мистер Гарри,— заупокойные молитвы ясно предписаны христовой воинствующей церковью.

— Конечно,— подтвердил Джонни, стараясь преодолеть замешательство, в которое его повергло неосторожное упоминание об ирландском языке.

¹ Свят, свят, свят (лат.).

— Ты помнишь чудесную молитву, которая начинается словами: «Боже всемогущий, да пребудут с тобой души почивших в вере...

— и смиренно молим тебя, дабы в милосердии своем...— подхватил Джонни, чтобы показать мистеру Гарри, что он знает молитву: — ты не медлил призвать избранных к себе и приблизил к нам царство твое, исподобил нас вкупе с почившими в истинной вере, слава — святое имя твое, вкусить вечного блаженства плотью и духом...» Кажется, ясно!

— Отцы церкви еще яснее излагают эту мысль, Джонни. Мы должны неустанно стремиться к тому, чтобы лучшие изречения, выражающие нашу веру, всегда жили в наших сердцах, пока не настанет день, когда Ирландская церковь по-братски признает свои вечные и нерушимые узы с семьей других церквей, исповедующих единую, святую, апостольскую веру. А теперь мне пора.

Он встал со стула, и Джонни заметил, что он зябко ежится от холода.— Твоя матушка дома? Можно мне проститься с ней?

— Я сейчас разбужу ее,— сказал Джонни. Но он не спешил уйти из комнаты, опасаясь, как бы мистер Гарри не обнаружил спрятанного за диваном кондуктора.— Она спит. У нее был тяжелый день, но я разбужу ее, чтобы она простилась с вами.

— Нет, нет, не надо,— решительно сказал мистер Гарри.— Пусть она, бедная, спит и отдохнет как следует. Передай ей мой привет и наилучшие пожелания.— У входной двери он подергал воротник пальто, точно хотел прикрыть им уши.— Ну, прощай, Джон. Ты хороший мальчик. Прощай, и да благословит тебя бог.

И он торопливо ушел в темноту, а Джонни, глядя ему вслед, подумал, что ни он, ни его мать уже больше не увидят мистера Гарри.

— Что вы тут болтали? — спросил кондуктор, когда Джонни вернулся в свою комнату.— Уф! Меня совсем скрючило. Вы что, передразнивали наше богослужение?

— Да нет, ничего подобного,— сердито ответил Джонни.— Мы говорили о нашей религии. Мы оба принадлежим к апостольской, к католической церкви.

— Вот так-так! А я всегда думал, что вы протестанты.

— Отчасти да. Но мы и католики.

— Как это можно в религии быть сразу и так и этак?

— Вовсе не так и этак. Святой Патрик основал обе церкви — и вашу и нашу.

— В жизни не слыхал, чтобы святой Патрик был протестантом! А все-таки вы не почитаете папу.

— Напротив, мы очень даже его почитаем.

— Разве? В жизни не слыхал, чтобы протестанты почитали папу.

— Не все протестанты, конечно. Есть такие неучи, которые ругают его и смеются над ним.

— Ну и пусть. Лишь бы они были настоящие ирландцы. А он-то к ней как?

— Кто? К кому?

— К Ирландии. Священник, который тут был.

— Ах вот что! Да он и не думает о ней.

— И развелось же у нас иностранцев!

— Он не иностранец, он ирландец.

— Ирландец — и не думает об Ирландии?

— Таких немало. И ваши католики не лучше.

— Хуже! — Кондуктор нахмурился и сжал кулаки. — Есть такие, что готовы продать ее! Да и продавали. Леонард Макнелли, Питер Пэкер и мерзавцы, которые изменили Парнеллу.

— А что вы скажете об ирландских социал-республиканцах?

— Конноли, Линги и вся их братия? Чепуха! Первое, что мы должны сделать, — это вырвать сорняк, который опутал ноги Ирландии и не дает ей двигаться вперед.

— Какой же это сорняк? — спросил Джонни.

— Ирландская парламентская партия. — Кондуктор еще больше нахмурился и крепче сжал кулаки. — Редмонд и все прихвостни спесивой, крикливой, невежественной Англии. Это новая дворцовая гвардия — в зеленых мундирах, с золотыми английскими галунами. Английский король похлопал каждого по плечу, и они стали на колени. Ну, я пошел.

Джонни спустился вниз вместе с кондуктором и открыл дверь. Угрюмая громоздкая колокольня кичливо возносила свое благочестие до самого неба; игривые тучки то скрывали, то показывали наготу молодой луны, а железнодорожные огни ярко горели, словно красные глаза хищников, притаившихся в дебрях темноты.

— Впредь я буду звать тебя «Шон», — сказал кондуктор на прощанье, пожимая Джонни руку. — А меня зовут Айамон, Айамон О'Фаррел, из лонгфордских О'Фаррелов. Ну, Slán agat, achaга¹. — Он наклонился и прошептал на ухо Джонни: — Меч света пламенем горит!

— Какой меч света?

— Фенил! — И не прибавив больше ни слова, кондуктор то-ропливо ушел, оставив Джонни на пороге двери.

Меч света! — An Claidheamh Solis; христианская вера; меч духа; свобода Ирландии; благо простого народа; пламенный меч, охраняющий путь к древу жизни. Какой это путь? Где он найдет его?

Джонни вернулся в полутемную комнату, сел за стол и подпер голову руками. Он глянул на закопченную лампу, и ему почудилось, что она превратилась в свечу, в высокую, белую, благодетельную свечу, пламя ее вытянулось, словно меч, и на пламе-

¹ Прощай, друг! (ирландск.)

неюшем острее мелькнул светлый лик Кэтлин, дочери Холлиэна¹.

Голова Джонни, отяжелев от дум, склонилась ниже. Взгляд его упал на раскрытую книгу Рэскина — там поблескивал серебряный шиллинг. Подарок Гарри Флетчера? Нет, быть не может. Шиллинг, видимо, появился после того, как он читал своему другу Рэскина. Это дар Айамона. Айамон, конечно, знал, что, если он предложит помощь, она из гордости будет отвергнута; и он просто-напросто положил шиллинг на раскрытую книгу. Джонни взял шиллинг и, вздыхая, повертел его в руках; и вдруг его бросило в дрожь: он вспомнил, что священник уехал навсегда и что ему самому придется раздобывать работу.

ЗА КРАИ РОДИМЫЙ МОЙ

Мир Джонни восстал на самого себя. Англия вела войну против бургских республик². Его брат Том, работавший временно почтальоном на жалованье двенадцать шиллингов в неделю, был призван из запаса в армию, получил обмундирование защитного цвета, каску и все прочее, промаршировал с полком Дублинских фузилеров через весь город в сопровождении Джонни, который нес его винтовку, и давно уже отбыл на фронт, пообещав Джонни привести домой клочок волос из бакенбард Крюгера. Том уехал в Наталь, в армию генерала сэра Редверса Буллера, и вот уже несколько недель о нем не было ни слуху ни духу. Не погиб ли он в сражении на Тугеле? — беспокоился Джонни, потому что они с Томом были очень привязаны друг к другу. Тысячи ирландцев заброшены в южноафриканский вельд и там сложат голову за Англию, за ее честь и, с горечью думал Джонни, за алмазные и золотые россыпи Йоганнесбурга. Напав на буров, Англия опиралась на верноподданнические заверения Базутоленда, Зулуленда, Матабелеленда, Бечуаналенда и прочих «лендов», которые дружным хором славили великую белую мать, королеву Викторню.

Весь цивилизованный мир, кроме ирландцев. Ирландия с Дублином во главе стала очагом бурных споров. Мужчины, женщины, дети — все неустанно сражались, кто на стороне англичан, кто на стороне буров. Трансваальский флаг можно было увидеть в каждом доме, в каждом окошке, в каждой руке. На улицах сами собой возникали демонстрации, они маршем проходили через весь город, встречая улюлюканьем каждый красный

¹ Символический образ Ирландии.

² В 1899—1902 годах Великобритания вела войну против южноафриканских республик Оранжевой и Трансвааля, завершившуюся превращением их в английские колонии. Поводом к войне послужил отказ президента Трансвааля Крюгера предоставить широкие политические права иностранцам, поселившимся на территории бургских республик.

мундир, и не раз нарывались на стычки с обозленной полицией. Галантерейные лавочки и газетные киоски бойко торговали бурскими эмблемами; длинные ленты враждебных Англии цветов развевались на каждой улице, пестрели чуть ли не в каждом окне. Патриоты прикалывали к лацканам пиджаков значки с портретом Крюгера, Стейна, Бота, Жубера и Девета, и всюду из уст в уста передавалась весть, что Девет — это Парнелл, воскресший из мертвых и снова ополчившийся на англичан. Редакция «Айриш индепендент» днем и ночью передавала на транспаранте последние сообщения с театра военных действий, зажигая красную лампочку в знак победы англичан и зеленую — в знак успехов бурских войск, и тысячные толпы приветствовали появление зеленой лампочки и воем и свистом встречали красную. Трансваальский комитет, организованный Гриффитом и несколькими ирландскими парламентариями, начал сбор пожертвований на санитарную повозку — подарок отважным бурам от Ирландии. Хотели созвать митинг, но лорд-наместник запретил его, и Дублин упрямо мотнул головой и сжал зубы.

Джонни и Айамон стояли в толпе, дожидаясь красной или зеленой лампочки, как вдруг на транспаранте появилось сообщение о потере англичанами десяти пушек, и улица дрогнула от громовых раскатов ликующего, дерзкого «ура». Айамон сорвал фуражку с кудлатой головы и замахал ею, как одержимый, хрипло крича вместе с толпой.

— Хоть митинг и запретили, а все-таки зря мы туда не пошли, — сказал он.

— Не стоит туда ходить, — сказал Джонни, так как ему вовсе не улыбалась стычка с полицией, а он знал, что здесь этого можно не бояться.

В толпе, как раз перед Джонни, стояла стройная девушка в нарядном темно-зеленом платье, еле доходившем ей до щиколоток, и в черной жакетке-болеро с пышными, в красную искорку рюшками на плечах, отороченными светло-зеленым суташем. На ней были высокие башмаки на шнуровке, до половины закрытые платьем, из-под которого при каждом ее быстром движении мелькала кружевная оборка белой нижней юбки. Темно-зеленая фетровая шляпка с черно-белым пером кокетливо сидела на рыжеватых локонах. Колено Джонни несколько раз коснулось ноги девушки — сначала робко, потом более решительно, и наконец он с бьющимся сердцем уверился в том, что она не отстранится от его прикосновения.

Айамон самозабвенно покачивался из стороны в сторону, насколько позволяла теснота, и, устремив в пространство невидящий взгляд, пел не то про себя, не то для всех:

Хоть был я мал, меня пленял.
Блеск нашей старины,
Когда цвели родной земли
Свободные сыны,

Ирландский дух изведаль праг,
Вразброд бежал домой.
С тех детских лет я дал обет
Вступить за отцовский край,
За край родимый мой,
За кра-ай роди-имый мо-ой¹.

Пожилая женщина в бесформенной соломенной шляпе на взлохмаченных волосах, в заплатанных ботинках — один черный, другой коричневый; коричневый начищен черным гуталином, чтобы не очень отличался от своей пары. На ней была клетчатая юбка, причем белые клетки в угоду черным вобрали в себя всю уличную и домашнюю грязь; обшарпанный подол висел фестонами, на плечах большая коричневая шаль, доходившая ей до колен. Вдруг эта женщина выскочила из толпы на тротуар, резким движением распахнула шаль и еще плотнее закуталась в нее, словно облачаясь в доспехи.

— Пусть слушает меня, кто хочет, мне все равно, — крикнула она, — потому что сегодня мы живы, а завтра — фук! — и нет нас. Каждый человек имеет право судить по-своему, так или эдак, вкривь или вкось. Вот как надо по чести и совести! Не в обиду вам будь сказано — что вы стали тут, как дураки, и ждете того, чего никто не дожидется? Хотела бы я знать, — уже взвизгивая, продолжала она, — что со всеми вами будет, если Англию разобьют!

— Помрем от радости! — ответил ей чей-то мужской голос, и толпа провозгласила «воистину» этим словам, встретив их громкими криками одобрения.

Женщина взмахнула концами шали, точно птица крыльями, неуклюже подпрыгнула и, выплясывая на тротуаре свой воинственный танец, снова взмахнула шалью и снова запахнула.

— Кричите, а сами себе не верите, — бесновалась она. — Брызжете ядовитой слюной, невежды! Лучше бы о себе порадели, чем носиться с мечтами о помощи бурам. Верьте моему слову: Англия пометит знаком смерти Крюгера и всю его шайку, и ей потребуются на это столько времени, сколько нужно сильной руке и острому ножу, чтобы очистить яблоко!

Стройная молодая девушка, касавшаяся ногой колена Джонни, сердито повернула хорошенькую головку и во все глаза уставилась на кликушу, а Джонни мысленно обозвал ту назойливой старой дурой! Гибким движением девушка выбралась из толпы и с воинственным видом, вся раскрасневшаяся, стала перед неряшливо одетой женщиной, которая ратовала за Англию.

— Шли бы вы лучше домой, милая, — свирепо сказала она, — и завалились бы спать. Не вашего это ума дело! Мы здесь люди

¹ Перевод О. Румера.

серьезные, и у нас нет желания марать свою честь и путаться в грязные дела Англии, которая напала на мирный народ!

— Генерал Робертс, генерал Френч и генерал Китченер — все трое ирландцы. Не забывают этого! — неистовствовала женщина. — Скоро, скоро пометят они знаком смерти Крюгера и его шайку.

— Да неужто! — воскликнула девушка. — И вам доподлинно это известно? Может, я читаю без всякого понятия, только, судя по сообщениям, никто еще этого не сделал — ни Гетэкр под Колсбергом, ни ваш знаменитый лорд Метуэн под Маггерсфонтейном, где тысячи несчастных солдат из Шотландской бригады навек распростились со своими женами, сестрами и невестами. И у вашего Буллера под Колензо тоже ничего не вышло.

Рослый полисмен, храбрый от сознания, что за каких-нибудь два-три квартала отсюда стоят сотни его собратьев, подошел к ним и смерил хорошенькую девушку злобным взглядом. У самого, небось, слюнки текут, подумал Джонни, ищет к чему бы придраться, лишь бы затащить девушку в участок и там лапать ее под предлогом исполнения служебных обязанностей.

— А вы полегче, полегче! — крикнул полисмен, обращаясь к девушке. — Дайте женщине сказать свое слово. Закон никому не запрещает выражать свое мнение.

— Идите сюда, душенька, — шепнул Джонни, незаметно подбравшись к девушке и робко трогая ее за руку. — Стоит ли связываться с глупой старухой. — Но девушка не вняла этому красноречивому прикосновению, и сконфуженный Джонни вернулся назад, в толпу.

— Они все ирландцы! — кричала старуха, взмахивая шалью и подпрыгивая на тротуаре после каждой фразы. — Китченер, Робертс, Келли-Кенни, Френч, Мэгон — все сражаются за Англию. Пятеро достойнейших, и все пятеро ирландцы. Не забывают этого!

— Может, вы сами забыли, как англичане кубарем скатились с Никольсон-Нэка? Пыль столбом, даже не разглядеть, как пятки сверкали! — продолжала молодая девушка. — И теперь тысячи их, тоже достойнейших, несет вниз по Тугеле, прямо к морю.

— Все ирландцы — против этого не поспоришь! — визгливо кричала старуха. — Когда старой Англии приходится туго, ирландец тут как тут! Его не удержишь, он мчится ей на выручку. Дублинские стрелки! Сыны мои верные!

Откуда-то издали, словно плеск первой приливной волны, донеслось многоголосое ура. Айамон повел носом, поднял голову и прислушался.

— Там что-то творится, — сказал он. — Пойдем, сынок!

— А чем здесь плохо? — сказал Джонни и отступил назад. — Здесь по крайней мере спокойнее.

— Кому нужен твой покой! — крикнул Айамон, устремляясь к простору широкой Дэйм-стрит вместе с хорошенькой рыжево-

лосой девушкой; и толпа, забыв о зеленых и красных лампочках, тоже ринулась туда, увлекая Джонни за собой, притиснув его вплотную к девушке, сбив с ног кликушу, которая только-только собралась подпрыгнуть, и прижав дородного полисмена к стене. Они выбежали на Дэйм-стрит и влились в огромную толпу, оглушительно кричавшую «ура» и размахивавшую сотнями бургских, ирландских, французских и американских флагов. Немного отставая от передних рядов, двигалась длинная линейка со скамьями по бокам, запряженная парой испуганных кляч из бюро похоронных процессий. Ими правил коренастый, грузный человек в шляпе, широкие поля которой закрывали ему лицо. На скамьях, друг против друга, сидело еще несколько мужчин — бледных, с плотно сжатыми губами, и среди них молодая белокурая женщина, радостно улыбавшаяся, словно ребенок, впервые попавший на гулянье.

— Смотри, Шон, смотри, сынок! — крикнул Айамон. — Что я тебе говорил? Недолго нам осталось терпеть! Который правит — это Джеймс Конноли, а тот маленький, скуластый — Артур Гриффит, а хорошенькая дамочка — Мод Гонн. Да поможет нам Христос! Мы еще добьемся свободы! Пойдем!

Лошади бежали ровной рысцой, толпа не отставала от них, а вплотную за линейкой с мрачным видом трюхали десятки полисменов в тяжелых шинелях и в касках. Те, кто был ближе к полисменам, задорно хохотали, глядя на их потные, багровые физиономии, издевались над ними, кричали: — Веселей, веселей! Коленки выше! Замучились бедные! Сено-солома, сено-солома! Грудь втянуть, живот вперед! И не стыдно так гонять несчастных? Ведь они из последних сил стараются! Что смотрит общество покровительства животным? Беглым шагом — марш! Эй, там сзади, не напирайте, им и так дышать нечем!

— Держись ближе к линейке, — сказал Айамон, таща Джонни за собой. Джонни ухватил девушку за руку, и она обвила свои тонкие пальчики вокруг его руки. Пробившись сквозь толпу, они очутились всего в нескольких шагах от линейки, совсем рядом со знаменитыми людьми, которые сидели там, настороженные, с крепко сжатыми губами. Всем было очень весело смотреть, как беспомощные, сдавленные толпой полисмены с дурацким видом тяжелой рысью топали по мостовой.

Теперь в толпе появилось еще несколько линеек — уже с полицией; они двинулись следом за пешими полисменами. А вот ворота Замка, и там, в этой глубокой ране, зияющей на теле города, удобно разместились эскадроны конной полиции. Полисмены грузно восседали на конях, и перед взорами тех, кто проходил мимо, блеснуло серебро на касках и мундирах. Мрачные фигуры, словно вмерзшие во фриз замкового фасада. Неподвижные — не звякнет ни стремя, ни удила, ни мундштук, не шелохнется ни единое перышко султанов. Говор и смех в рядах смолкли, и теперь ничего не было слышно, кроме дробного стука

шагов по мостовой, выстроив по своим рядам, чтобы в ряды фигур, выходящих из и темных форм толпы. И Джонни вспомнил последний раз, когда он / такое же зрелище, он привычно сплел по / доверчиво прильнув к своей привычной матери.

Демонстранты свернули на Парламентскую / ные, примостившие, кому-то машущие. Джонни / вистую команду, увидел, как оживил / еще одну команду, увидел сверкающие / как колыхнувшись сутанами / громкая команда — и эскадроны на / Держа девушку за руку, Джонни хотел / улице, но толпа стиснула их и / люди в линейке, встав со своих мест, / конными полисменами, а тот, кто правил, / дей, остановил их и тоже смотрел в ту / шейся толпы. Сверкающие стальные / и с размаху разили людские головы. / крики, вопли, брань. Те, кто был / к боковым улицам. Ритмичный бег / рядочным топотом. Цоканье железных / ремежку с криками тех, кто еще не / ное безмолвие конных полисменов, / посылающих лошадей прямо на / какой-то варварской музыке, разящих / дей, шарахающихся от вспышек /

Но теперь толпа ошетибилась. Жерди, палки, / тья, голые кулаки — все было пущено в /

Конники совершили ошибку: они слишком / тели на толпу, не дав ей времени / всех сторон, отрезанные от путей / сом сабель, люди волей-неволей / бились, и, пойманные теперь в / противником. Метко пущенные / ников ремешок каски; полисмены / вами, с залитыми кровью / и, повалив на землю, / дели их дубинками, и / еще не решаясь /

— Это ловушка! — / Мы попались в ловушку!

Джонни выставил локти, / давке, и, весь мокрый от / жать напор толпы. Девушка, / стояла, закрыв глаза, / открыт. Чьи-то / ках — странно / вереньках, и кровь /

вую. Опередивший всех конник пробивался сквозь толпу к Джонни и двум его соседям; он давал шенкеля лошади, размахивал саблей, зловеще поблескивающей в сером воздухе. Джонни увидел ее отсвет на лице какого-то пожилого человека, увидел, как окровавленная щека вдруг отделилась от лица, повисла, и человек с отчаянным криком подхватил ее и с размаху сел на мостовую, громко охая и изо всех сил прижимая дрожащие руки к страшной ране. Джонни все смотрел на размахивающего саблей всадника, который прокладывал дорогу к ним, Айамон все горбился, защищая руками лицо и голову, хорошенькая девушка все стояла, зажмурив глаза, широко открыв маленький красный рот. Шаг за шагом, словно тая, отступала от них толпа, и вот всего лишь несколько ярдов отделяло Джонни от взмаха саблей. Стоявший перед ним человек с ярким бурским флагом вскрикнул, когда сабля описала сверкающий круг над его головой, и, выпустив древко из рук, молча рухнул на дорогу; флаг завалился назад и лег на плечо Джонни. Всадник круто повернул лошадь, и Джонни увидел горящие, как два карбункула, глаза, устремленные на него из-под черной каски, увидел оскал крупных желтых зубов и судорожно подергивающиеся толстые губы обезумевшего полисмена. Не помня себя от страха, Джонни обеими руками ухватил древко флага и вслепую, что есть силы, ударил им всадника на вздыбленной лошади. Острый конец древка угодил полисмену пониже уха, и за секунду до того, как он, приглушенно охнув, сполз с седла и, недвижимый, растянулся на мостовой, Джонни увидел у него на шее свирепо-алую рваную рану. Джонни почувствовал, как лошадиное копыто, задев его по ноге, разорвало ему штанину от коленки до щиколотки; увидел, как Айамон ринулся к упавшему полисмену, с силой наступил ему на лицо своим тяжелым башмаком, и хотя твердый козырек каски ослабил удар, все же Джонни ясно видел, что подбитый железной скобкой каблук Айамона оставил на подбородке полисмена страшный кровавый след. Айамон рванул его за руку и крикнул: — Бежим, не то пропади, сейчас другие подоспеют!

И они бросились бежать; бегом — все трое — в переулок, бегом одну улицу за другой, до тех пор, пока шум и крики, раздававшиеся позади, не стихли.

Шмыгнув в кабачок, Айамон заказал три полпорции солодового виски — горячего, чтобы протрезвиться, как он сказал, и прогнать озноб, который нападает после жаркой схватки. Джонни улыбался, будто ему все нипочем, и вдруг выбежал на улицу и прислонился к фонарному столбу, где его и стошнило на виду у Айамона, который с тревогой следил за ним, стоя в дверях кабачка.

— Ну как? — спросил он. — Это все давка, тебя помяли в толпе. Пойдем, пропустишь стаканчик виски — и все как рукой снимет.

— Да, — сказал Джонни, — раньше были унылые. Мы думали, что всему виной пережитый страх и то, что у нас была война. Но сегодня. Нет, он не боится. И никогда не будет. Мы должны жить и стараться. Но при этом мы не должны и вору и грабительству поддаваться. назад в кабачок.

— Здорово ты саданул эту сволочь, в ушах, в глазах, в сердце. Джонни, — прямо в шкел! Мы только этим и живем. Мы только этим и котлет нарубили. Ну и посмеялся и, когда он ушел, мы смеялись наземь! Да, сегодня мы им покинули! Сидим и ждем. Э-э! — сказал он вдруг, обращаясь к бармену, — три полных стакана солодованного виски. — Три полных стакана. — И Джонни догадался, что у него не было денег на полные стаканы.

— Ничего, ничего, — шепнул бармен, — я угощаю. Ведь мне известно, где вы были и что вы делали. Защищали нашу бедную старушку?

Они обменялись рукопожатием с барменом. Джонни «защитил» свое здоровье и выпил по стакану дымящегося виски. Джонни почувствовал, как холодная свиная кожа, покрывавшая его желудок, уступила место восхитительному, жирному, теплу, и щеки у него разгорелись от удовольствия. Он увидел, что на лице девушки снова вспыхнул румянец, в потупленных глазах заиграли искорки, и еще он увидел ее груда, вымазывавшаяся под нежной защитой платья. Он поднял ее руку, чуть повыше локтя и сжал еще крепче, когда девушка радостно улыбнулась ему.

— Посмотрите на его ногу, — сказала она, показывая пальцем на разорванные брюки Джонни. — Это лопнула шнуровка. Просто чудо, что он не погиб! — И у Джонни снова стало перед глазами испуганное лицо падающего полусмертника.

— А теперь нам лучше разойтись, — сказал Джонни, когда они вышли из кабачка. — Я направо, вы налево. Нам надо, чтобы скорого свидания! — и Айамон зашагал прочь, а Джонни с девушкой отправились кружным путем на Калленду — она держала его под руку, и он крепко прижимал к себе ее плечо. Девушка спутницы вызвала у Джонни мысли, от которых он отмахивался, но сердце у него билось так сильно и быстро, что он не мог вымолвить ни слова.

— Вы немного прихрамываете, — сказала девушка, когда они переходили мост через Толку.

— Да, нога побаливает, — ответил он.

— Вот мы и пришли. — Она остановилась перед входом на небольшой улочке. — Зайдите хоть на минутку, надо поговорить, что там у вас с ногой, а завтра я заеду вам помочь.

— Нет, нет, разве можно! — смущенно прихрамывая Джонни. — Большое спасибо, — хотя ему так хотелось идти к ней и улучшить возможность обнять ее. — Нет, правда, давайте лучше поговорим.

— Вот скромник! — сказала она со смехом. — Мы будем совсем одни, так что бояться вам нечего, — и отперла дверь американским ключом, и вдруг потянула Джонни к себе, быстро проговорив: — Да ну, входите, не то соседи опять сочинят про меня бог знает что.

Из узкой прихожей они прошли направо в маленькую комнату, в которой стоял стол, накрытый белой скатертью, а на нем еда — ветчина, хлеб и яйцо в рюмочке, дожидająceся, когда его сварят. За каминной решеткой, у ярко горящего огня, восседала начищенная до блеска оловянная кастрюля. Вдоль левой стены, под окном, стояла кушетка, на ней две большие подушки — одна в малиновой, другая в темно-зеленой наволочке; два неудобных на вид стула с кожаными сиденьями. У стены напротив — шкафчик красного дерева с позолоченной вазочкой наверху и множеством фотографий самой девушки в разных позах: на пляже, с зонтиком; на резной каменной скамье, с книгой в руках; прислонившись к толстой рифленой колонне; и еще одна, на которой взгляд Джонни задержался дольше, чем на остальных: в низко вырезанном корсаже, в трико и с вызывающей улыбкой на четко очерченных губах. Пол был устлан пушистым ковром — по коричневому полю крупные синие цветы, на окнах висели красиво драпированные желтые занавески. Обои в комнате были кремовые, в полоску из желтых и розовых бутончиков, которые так и бросались в глаза. Часть бутончиков кое-где прикрывали картинки, вырезанные из рождественского номера «Остролиста», а те, что приходились над каминной доской, прятались за зеленым сюртуком Роберта Эммета, чей гордо развевающийся плюмаж красовался на портрете. Глаза Джонни быстро обежали всю эту пестроту и поскорее вернулись к фотографии хозяйки в низко вырезанном корсаже и в прелестном трико.

— Эта самая удачная, — сказала она, проследив направление его взгляда. — Я хорошая танцовщица, и когда где-нибудь затевают пантомиму или какой-нибудь спектакль с пением и танцами, меня ставят у самой рампы. И еще я получаю от дяди фунт-другой в неделю, так что дела мои неплохи. Нравлюсь я вам, — кокетливо добавила она, — в этом неприличном костюме?

— Вы красивая, — с полной серьезностью ответил Джонни. — Вы и так красивая. Вам любой наряд будет к лицу.

— Э-э! — сказала она, вся вспыхнув от удовольствия. — Я вижу, вы умеете подбирать слова, когда хотите увлечь бедную девушку. Ну, ладно! Садитесь вот сюда, сначала я займусь вашей ногой, а потом поговорим.

Девушка поставила чайник на огонь и принесла из соседней комнаты таз и полотенце. Когда вода согрелась, она налила ее в таз и, намочив мягкую полотняную тряпочку, осторожно обмыла ему голень.

— Вон какая ссадина, — сказала она, — даже кровь высту-

пила.— Когда ранка была промыта, она наложила слой вазелина на белый носовой платок и туго перевязала ему ногу.

— Теперь будет легче,— сказала она.— А попьем чаю, я зашью вам брюки.— И добавила: — Меня зовут Дэзи. Дэзи Бэтлз.— Продолжая болтать, она засыпала чаю в чайник и сварила два яйца. Потом нарезала ветчины и поставила перед Джонни одно яйцо.— Ешьте. Наверно, до смерти проголодались.

Джонни был так взволнован, так полон ожидания, что ему было не до еды, но он все же кое-как проглотил яйцо и выпил чашку чая, глядя, как она опрятно управляет с завтраком.

— Мне так помяли в этой давке и платье, и нижнюю юбку, и то, о чем не принято говорить в обществе, что теперь с ними бог знает сколько провозишься, пока приведешь в порядок. Впрочем, для нашей Ирландии ничего не жалко.

После завтрака Дэзи быстрым движением отодвинула стол в дальний конец комнаты, а кушетку поставила перед камином.

— Так будет уютнее,— сказала она.— Садитесь сюда и снимите брюки, а я пойду принесу иглку с ниткой. Ну, что же вы? — добавила она со смехом, видя, что он колеблется.— Не стесняйтесь! Честное слово, я смотреть не буду,— и выбежала из комнаты. Весь красный от волнения, Джонни снял брюки, сел на кушетку, снял и пиджак и прикрыл им голые ноги. Когда Дэзи вернулась, он увидел, что на ней темно-зеленая шаль длинной до колен, заколотая на груди большой брошкой в тускло-золотой оправе, с нагой женской фигуркой слоновой кости, четко выступающей на черном овале бархата. Дэзи села рядом с ним, взяла его брюки и стала зашивать расплосованную штанину. Джонни догадывался, что под темно-зеленой шалью ничего нет, разве только прозрачная рубашка. Испуганный, он перевел глаза на огонь в камине и увидел там полный ужаса взгляд на искаженном лице, ярко-красную полосу под ухом и расквашенный, весь в крови, подбородок. Он отвернулся от огня и стал смотреть, как Дэзи водит иглой.

— Господи! — воскликнула она, глядя на его ступни, видневшиеся из-под пиджака.— Какие у вас маленькие ноги! Да и руки тоже! — и дотронулась до них ладонью.— И ручки и ножки как у женщины. Да что это вы, язык проглотили? Никогда в жизни не разговаривали с девушками?

— Нет, разговаривал... даже по-ирландски.

— По-ирландски? Гм! Знаете ирландский?

— Конечно, знаю.

— А ну-ка, что значит «*Tabhair dham róg*»?

— Как что? «Поцелуй меня».

— Вот и поцелуйте. Будто обжечься боитесь! Нет того, чтобы приласкать девушку как следует,— сказала она,— когда Джонни робко наклонился к ней и легко коснулся губами ее щеки.— Кто поверит, что вы полисмена из седла выбили! Вот теперь все в порядке.— Она подняла на вытянутой руке аккуратно зашитые

брюки.— Теперь никто не догадается, что вы возвращаетесь домой после уличного побоища,— и бросила их на спинку стула.

— Какая у вас красивая брошка,— сказал Джонни, подсаживаясь к ней поближе.

— Нравится? — сказала она, откалывая брошку и протягивая ему.— Подарок одного старенького дядюшки. Это, будто, Венера. Рискованная дамочка — вон как, безо всего.— Легкое движение плеч — и шаль сползла вниз, оставив ее в одной рубашке и в чулках.— Дыру прожжете! — Она сдернула пиджак у него с ног и бросила на спинку стула за кушеткой.— Господи! Сердце-то у вас как бьется! Даже мне слышно!

— А у вас разве не бьется? — спросил Джонни.— Дайте послушаю.— Потянув за конец завязанной бантиком продержки, он спустил рубашку пониже, увидел ее тугие белые груди и сжал их своими горячими руками. Потом потянул рубашку с бедер кверху; Дэзи привстала, помогая ему, и легла на кушетке, дожидаясь, когда он придет к ней.

Несколько часов спустя она лежала на кушетке, укутавшись в шаль, заколотую на груди брошкой с тускло-золотой оправой вокруг нагой женщины. Но нагая женщина уже не была нагой, и его руки не тянулись сорвать темно-зеленую шаль, которая снова прятала столько сулящих счастье прелестей.

— Что ты так торопишься? — сказала она, глядя на него полузакрытыми глазами.— Побудь еще хоть немного.

— Нет, не могу,— ответил Джонни.— Надо работать.

— Работать! — повторила она.— В такой день — и работать! Какая же это работа?

— Мне надо учиться, Дэзи.

— Ну что ж,— сказала она со смешком.— Сегодня ты, кажется, многому от меня научился. Теперь будешь ученый. Придешь еще?

— Обязательно приду. А сейчас до свидания, мне пора.

— Ну и ступай,— резко проговорила она.— Никто тебя не держит.— Потом, более мягко: — Ты хороший мальчик,— и протянула ему руку.— Осторожнее! — когда он крепко стиснул ей пальцы.— Так и сломать можно. И без того чуть живая осталась,— лукаво добавила она.— А я-то глупая, думала, что с таким скромником не опасно. Не хлопай дверью.— Закрыв глаза, она откинулась на кушетку и удовлетворенно вздохнула всей грудью, когда он вышел из комнаты.

ВСЕ НЕБЕСА И ХАРМСВОРТ В ПРИДАЧУ

Арчи, старший брат Джонни, бросил наконец театр, убедившись, что от этого занятия и в голове пусто и в кармане не густо. Он сперва служил бутафором в Дублинском Королевском театре, потом совершал турне по западным графствам с передвижным театриком, который всюду показывал пьесу «Спасенные из мор-

ской пучины». Однажды вечером его поставили у входа получать плату с посетителей, и когда приток их кончился, Арчи обнаружил, что денег набралось как раз достаточно на билет третьего класса до Дублина. Поезд отходил в полночь, и Арчи, предоставив остальной труппе в меру сил своих развлекать публику, поспешил на вокзал, забился в уголок купе и на другой день явился домой, весь в белой коннемарской пыли, одетый в старую крылатку с капюшоном, в которой исполняли роль Майлса из Коппалина, имея в одном кармане три монетки по полпенни, а в другом — вареное яйцо. Вскоре после этого, прогуливаясь однажды за городом, он увидел, что какой-то рослый и хорошо одетый джентльмен атлетического сложения возится со своим велосипедом, безуспешно стараясь заклеить проколотую шину. Арчи подошел, предложил помочь, и так как руки у него были ловкие, то через самое короткое время помянутый джентльмен мог уже, к великой своей радости, продолжать путь. Пока Арчи чинил ему велосипед, они разговорились, и рослый джентльмен сказал, между прочим, что его фирме, которая называлась «Агентство Хармсворта¹ для Ирландии», нужен конторщик, и Арчи, не будь плох, предложил себя на эту должность. Услуга за услугу — Арчи приняли, назначив ему месячный испытательный срок, по истечении которого работа его была признана удовлетворительной. Тогда атлетический джентльмен — Герберт Нокс Мак-Кей, капитан милиции его величества, вместе со своим старшим компаньоном Даргавилом Карром согласились зачислить Арчи на постоянную должность с оплатой один фунт в неделю. Так что теперь Арчи уже больше года состоял доверенным клерком в ирландском отделении газетного агентства Хармсворта, которое занималось распространением таких органов, как «Вопросы и ответы», «Незабудки», «В кругу семьи», «Золотой альманах», «Домашняя беседа», «Воскресный спутник», «Смех и веселье», а также, что являлось новинкой, изданием детских газет ценою в полпенни — «Чудо-юдо», «Флаг родины», «Мужество», «Самое интересное», «Друг мальчика» и ежемесячного журнала ценою в шесть пенсов — «Хармсворт мэгэзин». Джонни тоже пристроился туда на временную работу рассыльного: он работал пять дней в неделю по пяти часов в день и получал пять шиллингов в неделю, чего хватало на уплату за квартиру, на два обеда — печенки или обрезков мяса на три пенса, картошки на два пенса — и еще оставалось два пенни на разные экстренные случаи.

Арчи, обуреваемый честолюбием, женился на дочери человека, который был сыном сына священника, но ни Джонни, ни его мать ее еще ни разу не видали, ибо потрепанная одежда Джонни делала его неподходящей компанией для столь благородной особы и дом их тоже был не таков, чтобы ввести в него дочь человека,

¹ Чарлз Уильям Хармсворт (1865—1922), более известный как виконт Нортклиф, — один из крупнейших газетных магнатов Англии.

который был сыном сына священника. Бедняга, говорят, питал пристрастие к бутылочке, и его семейство — до и после его смерти — еле-еле перебивалось с хлеба на воду. Но Джозефина Фейрбэли тем не менее оставалась леди. Как-то раз она зашла к Арчи в контору, и Джонни ее увидел, когда она проходила по коридору, — коротенькая, как обрубок, дурнушка, важная и надутая, с таким выражением лица, как будто говорила всем, кого считала ниже себя: я леди родом, я леди всем обиходом, а когда умру, то буду леди и за гробом. Другой рассыльный, нанятый задешево приютский воспитанник по фамилии Дролли, сдавленным шепотом сообщил Джонни, что это жена Арчи. Уходя, она опять прошла мимо них, свысока кивнув приютскому воспитаннику и только скользнув взглядом по Джонни, не смущенная его присутствием, ибо не знала и не ведала, кто он такой, — прошла, вскинув острый подбородок, задрав кверху нос-пуговку, преисполненная достоинства, с высокомерным отблеском в мутных, серых, ушедших под лоб глазках и надменной, насмешливой гримаской на своем гномьем личике. Джонни почувствовал укол обиды, представив себе, как нахмурились бы эти надменно приподнятые брови, как поникли бы от стыда эти горделиво вздернутые плечи, если бы правнучка пастора узнала, что он ей родственник. Но обиды его длилась одно мгновение, ибо Джонни теперь уже строил свой собственный дом, в котором не было места для брата и его жены. Все, что было за пределами этого дома, Джонни презирал, и это презрение ожесточало ему сердце. Он понимал, что брату во всех отношениях далеко до него; Арчи уже не решался вступать с ним в споры из страха обнаружить свое невежество, которое всячески старался скрыть. В настоящее время Джонни приступил к изучению немецкого языка; но при скудости своих средств он мог купить только подержанную немецкую грамматику за три пенса, такую истрепанную и изорванную, что от нее было мало толку. Приходилось ждать других времен, когда можно будет купить книгу получше. Зато английский язык он изучал непрерывно, с усердием и весельем; и уже настолько им овладел, что речь у него лилась свободно, а иногда и с блеском, и он оказывался подчас куда красноречивей, чем те, кому от рождения были предоставлены все шансы. Понятно, что на беднягу Арчи он теперь уже смотрел сверху вниз.

Поработав у Хармсворта, Джонни вскоре установил, что приютский мальчишка — сущий ябедник. Он нарочно вызывал исполненного гражданских чувств Джонни на разговоры и внимательно слушал, как тот с великим жаром и красноречием распространяется о поправных правах их несчастной родины, а затем тут же бежал к начальству и все услышанное, а иногда и больше того, изливал во всегда готовые внимать уши капитана Мак-Кея. И в дальнейшей жизни Джонни не раз убеждался в том, что приютские воспитанники опасный народ; отсюда и пошла его ненависть к христианскому милосердию, которое скупое питает желудки своих подопечных, но до отказа насыщает их сердца страхом

и раболепием. Данный блестящий продукт благочестивого воспитания не только состоял в Христианском союзе молодых людей, — усердие подвигло его, кроме того, вступить в некую банду чистых христианских юношей, возложивших на себя грязную обязанность шастать вечером по переулкам — предварительно приняв холодную ванну, дабы собственная плоть не бунтовала, — и, подобно слепням господним, впиваться жалом сурового обличения во всякого мужчину, которого они заставляли разговаривающим с проституткой; или красться по кустам вдоль проселочных дорог, где лежали, обнявшись, влюбленные парочки, и грозить, что донесут на них полицию за нарушение общественной нравственности, если у девушки колено хотя бы чуть-чуть выглядывало из-под юбки или палец мужчины дерзал прикоснуться к пуговице брюк. Джонни часто представлял себе, что произойдет, если одна из этих шелудивых божьих ищеек вздумает сунуться к нему, когда он будет с девушкой, — как он обратит эту гнусную харю в котлетку, как он ее измолотит, истолчет, и измордует, и сделает из нее мерзостный кисель, и сотрет с нее всякий образ и подобие божие, и наконец бросит этого поганца и уйдет — пусть валяется там один, покинутый, и всеми отринутый, и никому не нужный.

Однажды, когда Арчи был в банке, а Джонни дожидался, пока Дролли напишет адреса на пакетах, которые предстояло отвезти по назначению, дверь распахнулась и на пороге возник во всем блеске Герберт Нокс Мак-Кей, одетый в полную форму капитана Королевских стрелков — при сабле, ташке и всем прочем. Он помедлил в упаковочной, чтобы покрасоваться перед Джонни и приютским воспитанником. С виду он был совсем молодец — выше шести футов ростом, грудь колесом, в плечах косая сажень, но одно колено было у него с дефектом. Стоило ему пройти какую-нибудь милю, и он начинал отчаянно хромать, даром что колено было перевязано всякими обмотками и бинтами. Поэтому, облачаясь в военную форму, он всегда старался передвигаться в экипаже, чтобы не утомлять больную ногу. В ту минуту, когда он заглянул в упаковочную, Джонни читал книгу; при появлении Мак-Кея он поспешно сунул ее в карман, что, однако, не ускользнуло от глаз бравого воина. Он остановился перед Джонни — довольно-таки мрачная фигура в тускло освещенной комнате, — в своих воинственных доспехах он был словно дымный призрак военщины, просочившийся сквозь ближайшую щель из ада.

— Читаешь? А что, собственно, ты читаешь? — спросил он.

— «Жизнь Теобальда Уолфа Тона», сэра.

— Господи помилуй! — воскликнул Мак-Кей и удалился в свой кабинет. Но через мгновение его желтое лицо, увенчанное черным кивером, снова появилось в дверях.

— У нас подобных вещей не читают, — произнес он. — У нас, в агентстве Хармсворт, это не делается. Удивляюсь, как у тебя не хватило деликатности подумать о твоём почтенном брате. Эта форма, которую я ношу, — символ того, во что все служащие

у Хармсворта веруют и что они почитают; она выражает тот образ мыслей, который один только здесь допустим!

— Вы имеете в виду веру в монархию, сэр?

— Да, в монархию! И во все, что свято для всякого порядочного человека!

— Ну что ж, сэр,— отвечал ему этот неразумный энтузиаст, Джонни,— если вы уделите мне капельку вашего времени, я готов обсудить с вами этот вопрос. Буду счастлив изложить вам основы и принципы республиканизма.

— Республиканизма! Со мной? Обсудить со мной! Господи помилуй! — и воинственная фигура исчезла, хлопнув дверью.

Типичный образчик этих господ, что проповедуют — бога бойтесь, кесаря чтите, подумал Джонни, а сами и кесаря не чтят, и бога не боятся. Ибо если бы он чтил кесаря, то чтил бы и простых людей — кесарь ведь не что иное, как совершенный образ подданного; а если бы он боялся бога, то не отказался бы поговорить со своим ближним, ибо разве не сказано в писании: приидите, рассудим вместе, рек господь сил небесных. Ну да уж ладно, что я сказал, то сказал, назад не воротишь. Но по холодному блеску, мелькнувшему в глазах капитана Мак-Кея, Джонни понял уже, что порядком себе напортил и что, пожалуй, ему скоро будет нечем заплатить за квартиру, печенку и картошку.

Дожидаюсь, пока будут готовы пакеты, Джонни вспомнил кстати, как несколько времени тому назад Мак-Кей и его жена сняли новый дом и перевезли туда всю мебель, но сами еще не могли переехать, и поэтому попросили Джонни покараулить там одну или две ночи. Джонни отправился в этот большой высокий дом с красивыми окнами «фонарем», окруженный садом, в котором росли лавровые деревья. Он растопил очаг в кухне, чтобы было веселей; поискал чего-нибудь поесть, ничего не нашел, сбежал домой, где мать напоила его чаем и накормила хлебом и сыром из скудных своих запасов, и затем две ночи подряд неусыпно сторожил, держа под рукой кочергу, на случай если вломятся жулики. Наконец на третье утро под проливным дождем явились Мак-Кей с супругой и вступили во владение. Супруга сейчас же устремилась на кухню, схватила щипцы и торопливо принялась вытаскивать из огня те куски угля, которые хотя уже и разгорелись, но не успели еще накалиться докрасна; их она аккуратно складывала в очаге на приступок, дабы сберечь их для дальнейшего употребления. Мак-Кей обошел все комнаты, проверяя, все ли цело. Он высунулся в окно и сказал: — Ага, он тут занят делом, правильно. — Джонни понял, что речь идет о садовнике, ибо, посмотрев в том же направлении, увидел, что в саду какой-то человек копает грядки, набросив на плечи старый мешок.

— Не надо бы ему мокнуть на дожде,— пробормотал Мак-Кей,— он к тому же еще и кашляет. Но, видно, ему это нравится.

— Он боится,— сказал Джонни,— боится, что вы его прогоните, если он не будет работать. Сбежать сказать ему?

— Нет, нет, — возразил Мак-Кей, — зачем мешать человеку. Ему, вероятно, будет неловко принимать поправки. Нет ничего приятнее, чем сознавать, что честно зарабатываешь свой хлеб. Ну, теперь можешь идти; кажется, все в порядке.

Джонни помедлил, ожидая, что ему хоть что-нибудь заплатят, но никакой платы ему не предложили. Тогда он пожал плечами — его несколько смущала мысль о матери, которой он посулил, что это бдение прибавит шиллинг-другой к их скромному бюджету, и которая теперь вряд ли поверит, что ему так-таки ничего и не дали, — но что поделаешь! — он пожал плечами, снял свой котелок с приступка, сказал супруге Мак-Кей: — Вот вам еще место, куда складывать уголь, — и, повернувшись на каблуках, покинул этот дом и его хозяев, продолжавших усердно вытаскивать из огня непрогоревшие угли и складывать их на приступочке. Бережливость, подумал Джонни, одна из семи смертных добродетелей.

Мелкие дрянные душонки, им как раз по плечу та вера, что проповедуют их мелкие дрянные газетки, думал Джонни, следя за тем, как совершающееся в мире преломляется в сознании баронета, как Хармсворт, этот пророк вульгарного журнализма, возлагает на приспешников Маммоны венец славы, коим ранее венчались святые, мудрецы, провидцы и поэты Англии.

Старший компаньон Даргавил Карр был полной противоположностью мистеру Мак-Кею. Он был строен, красив, с мальчишеским лицом, на котором всегда играла рассеянная улыбка. Добродушный и беззаботный, он обладал тем ирландским обаянием, которое как будто говорит: пусть себе мир хоть вверх ногами перевернется, лишь бы мои желания исполнялись без отказа. Он редко появлялся в конторе, но всегда щегольски одетый, с пышной геранью или изящной розочкой в петлице, быстро кинжал всем присутствующим, еще быстрее пробежал в кабинет, откуда тотчас же слышался характерный звук — отодвигалась и опять задвигалась крышка большого бюро, снова на миг появлялся в общей комнате и исчезал, подарив каждого светлой улыбкой и ласковым приветствием. Даргавил Карр нравился Джонни. Как-то раз Джонни случилось прочитать подлинный текст договора, заключенного между Карром, с одной стороны, и Хармсвортом — с другой, в каковом договоре в надлежащих выражениях, каллиграфическим почерком было изложено следующее: за столько-то сотен фунтов, своевременно уплаченных вышепоименованным Карром вышепоименованному Хармсворту, помянутый Хармсворт, журналист, обязуется вложить в дело свой опыт и умение и основать еженедельный журнал под названием «Вопросы и ответы»; когда же упомянутый журнал будет основан и спущен в продажу, вышепоименованный Даргавил Карр, джентльмен без определенных занятий, обязуется дополнительно внести такую же сумму в фунтах стерлингов, в обмен за что он получает безусловное право на все прибыли, происходящие от продажи помянутого журнала в Ирландии, а также на все прибыли, могущие проистечь от про-

дажи в Ирландии всех дальнейших и дополнительных публикаций, буде таковые возникнут на основе издания первоначального еженедельного журнала.

Вот как получилось, что некий человек Хармсворт, вызванный к жизни судьбой и нуждами английского народа, услышал глас англичан, взывавший к нему: Приди и помоги нам,— подобно тому как столетия назад святой Патрик услышал взывавший к нему глас ирландцев. И ответил человек Хармсворт господину своему Карру: Господи, вот я, пошли меня, дабы я обстригал для тебя это дельце, и облек англичан в святость, и вразумил их по части барышей; и дабы я, превыше всего возжаждавший пуп-пулярности, мог наконец полной мерой утолить свою жажду из хвастальского ключа рекламы, улавливая простаков — простак пребудет простаком — на берегах сего потока, умножающего гадость всех, кто из него пьет. И дал ему господь мешок, и в нем двести золотых сиклей, и сказал: Гряди со славою, свин мой, и отряси крах Англии от своих шандалов, и уловляй на свой крючок иные языцы. Ибо сказано: в Дублине родится тот, перед кем преклонятся все мошны, и все алчущие и жаждущие наживы станут прославлять его, и покорятся под нозы его все могучие и сильные. Когда же сбудется реченное и ты раскинешь шатер свой в Англии, тогда я pošлю тебе еще мешок сиклей, тяжелее первого, ибо ведаю, что ты воздашь мне тем же, и даже десятирицею, когда мои сикли расплодятся в твоих руках. И ответил человек Хармсворт: господи, все, что я имею, мое.

Обязанности Джонни состояли в том, что он развозил хармсвортские газеты в почтовые отделения или в конторы тех контрагентств, которые предпочитали иметь дело непосредственно с издательством, а не через Джесона. И если очередная партия товара из Англии запаздывала, Джонни сам являлся на пристань и выуживал тюки с газетами из пароходного трюма; и помогал разбирать их и упаковывать для рассылки; а непроданные экземпляры тоже надо было упаковать, чтобы потом отвезти скупщикам макулатуры. Джонни укладывал все эти пакеты в надлежащем порядке на ручную тележку, знававшую когда-то лучшие дни, но так давно, что теперь уж в ней мало оставалось целого. Одна подпорка подломилась и болталась, как сломанная нога у лошади; в одном колесе не хватало двух спиц; одна из железных шин вечно съезжала с обода, и Джонни приходилось всюду таскать с собой молоток, чтобы время от времени ловким ударом возвращать ее на место; обе щеки давно выскочили, так что надо было обматывать втулки веревочкой, чтобы колеса не отвалились,— постоянный источник заботы для Джонни, которому приходилось все время одним глазом следить за колесами, то за тем, то за этим, а другим намечать себе путь в сутолоке городского движения. Эта отслужившая все сроки и даже купленная уже подержанной тележка была наглядным выражением той скаредной экономии, которую фирма Хармсворт всегда и во всем проводила; здесь ничего не выбрасы-

вали — ни клочка бумаги, ни обрывка веревочки, ни какой-нибудь заваливающей тесемки.

Однажды под вечер, поздней весной, Джонни, по обыкновению, весь в поту и чертыхаясь, толкал перед собою свою разболтанную тележку. На тележке были горой навалены последние номера «Хармсворт мэгэзин». Дрянной Дублин, поганый Дублин, что он дает человеку? Что он дал ему, Джонни? Нищету, горе и труд. Три его оплота. Вот врата Дублина: нищета, горе и труд. А «Хармсворт мэгэзин» и ему подобные заверяют, что здесь возродилась слава Греции и величие Рима. Правда, Гэльская лига делает все возможное, чтобы не дать ирландскому народу скатиться в бездну вульгарности и идиотизма, но пока что без большого успеха. Оранжевая обложка «Вопросов и ответов» обложила всю страну. Она у священника во внутреннем кармане сутаны; у учителя на столе; у солдата в караульной будке; у почтальона в сумке; в руках у рабочего, когда он завтракает; у полисмена, когда он идет дозором, ибо «Ответы» ничем не брезгали ради того, чтобы победить. Завтра как раз развозить этот веселенький журнальчик, и порядочный это будет груз, потому что там опять объявили какой-то конкурс: первый приз — тысяча фунтов сразу или по два фунта в неделю до конца жизни, — и уж, конечно, каждый потянет руку к этому лакомому куску. Дрянной, нудный, поганый Дублин, разгул невежества и поругание жизни!

Он вез свою тележку по Парламент-стрит, вверх по Корк-стрит, по Лорд-Эдвард-стрит, через Корн-маркет, сдавал пакеты тут, сдавал пакеты там, пока не добрался наконец до Джеймс-стрит, где свалил все остальное. Тогда он покатиł пустую тележку по Уотлинг-стрит, намереваясь вернуться домой по набережной, так как любил смотреть на реку Лиффи на закате солнца, — весело покатиł тележку мимо бесчисленных лавок, мимо старых домов, похожих на горемычных, запуганных проституток, уставших от слишком долгой жизни.

Хармсворт и его подручные! Джонни представил себе, как они собираются вокруг своего начальника, чтобы выслушать его приказание на год; вот они все тут — Бык, Плюгаш, Рыло, Гнилушка, Пустобрех, Бородавка, Клык и Капкан. И Джонни услышал, как скомандовал им начальник: — Смирно-о! Мы здесь для того, чтобы ублажать, а не для того, чтобы учить. Сообразите, что может понравиться публике, и угождайте ее прихотям. Кто мы такие, чтобы сверху вниз смотреть на невежество? Нет, взирайте на него с подобострастием, ибо в нем заключена великая сила. Снизойдите до него: расстояние для вас небольшое. Чем меньше вы будете знать, тем лучше. Что вы сами-то знаете? Что вы можете знать? Что вы хотели бы знать? Ничего. Повторяйте за мной. Заучите главные пункты. Первое: английская девушка не имеет себе равных. Второе: брак — это основа общества. И, конечно, младенец. И, само собой разумеется, Мать. Третье: во все, что будете писать о рождестве, не забывайте подкинуть веточку омелы.

Четвертое: Англия непобедима. И всегда имейте в запасе либо господа бога, либо занимательную историю. Заучите все это наизусть. Это ваш хлеб. Мы глаза мира, мы уши мира, мы голос мира. Мы несем ему новый ковчег завета. Это тоже заучите наизусть.

Сумерки уже спешили по следам угасающего дня, когда Джонни завернул свою колымагу на набережную, которая, протянувшись по этому берегу и по тому, обнимала реку, как две сильных руки обнимают стан хорошенькой девушки. На юго-западе небо было подобно ярко-зеленой мантии с золотой каймой, и эта ало-золотая кайма сверкала, как гирлянда цветов среди зелени; дальше вглубь и повыше в небе алое золото истаявало в бледный пурпур, а еще дальше и еще выше, в глухо тлеющем пурпурном сумраке, уже чуть поблескивали первые звезды. Бесчисленные пустые подводы, телеги, ломовые полки и фургоны быстро скользили мимо, и все они, магией неба, преображались в пламенные колесницы, стремящиеся в бой. Джонни видел, как золотые стрелы солнца пронизывают боковые улочки, ведущие от набережной неведомо куда. А вот на углу кучка хулиганов, стоят, привалившись к стене,— и там, куда падает согретая солнцем тень, их грубые, тупые, наглые лица превращаются в могучую бронзу, а там, куда достигают прощальные солнечные лучи,— в благородное темное золото. Мосты уходят вдаль, как золотые дороги, и гаснут мало-помалу, сменяя ризу гордыни на серую одежду кротости и мира. Джонни оставил свою хромую тележку возле тротуара и, прислонившись к парапету, стал смотреть вокруг. Вот каков он, Дублин, когда на нем почиет рука господня! Старые, обшарпанные склады и лавчонки, все в потоках вековой грязи, оделись сияющим нимбом. Дети, рожденные в грязи, еле прикрытые лохмотьями, чудом держащимися на их заляпанных грязью телах, облачились в новое платье, в шелк и атлас, сотканный лучами солнца, как будто оно, оскорбленное видом столь жалких существ, накинуло на них на всех свою царственную мантию. Высокий купол здания суда снял, как золотая роза в огромной бронзовой чаше. Река, текущая внизу, казалась теперь багряным потоком, разузоренным золотыми бликами и алой рябью. Чайки взмывали кверху или стремительно падали вниз, прорезая янтарный воздух; они трепетали на пурпурной груди реки, как белые жемчужины. А там далеко, в глубокой синеве, звезды все больше набирались смелости, с достоинством рассаживались по местам и поклонами провожали солнце, покидавшее атласный шатер неба. Джонни склонил голову и закрыл глаза, ибо все это было неизъяснимо прекрасно, и он видел теперь воочию, что и родному его городу дано было исхитить час земной прелести и крепко прижать ее к своей трепещущей груди.

Дрожь восторга прошла по телу Джонни; он смотрел на небо над собой и на реку у своих ног, и душа его ликovala: ведь все эти чудеса принадлежат ему! И даже когда пламя этой бедной жизни померкнет в черном лоне смерти, вся эта красота — и даже

больше, неизмеримо больше! — будет принадлежать ему, ему и всем людям, навеки завоеванная для них жизнью, страданиями и смертью божественного Иисуса. Он запел вполголоса, тихо и страстно, не отрывая глаз от сиреневых и золотых зданий, от расцвеченных пурпуром вод реки, от неба, подобного мантии, ниспадающей с плеч Бога-отца. Он пел тихо и страстно, тихо пел, обращая свою песнь к себе самому и ко всему прекрасному, что его окружало:

Господы! Когда людской усердный род
Кует железо или шелк прядет,
Начало и конец земных работ
Да восхвалят, да восхвалят тебя!

Веселье беззаботное детей
И смех, что в юности звучит слышней,
И радость тихая на склоне дней —
Да восхвалят, да восхвалят тебя!

И даже если бедность и нужда
Нам чувства затемнят пятном стыда
И стонут под ярмом сердца — тогда
Даруй нам силу восхвалять тебя!

На площадях богатые спуют,
На фабриках тяжел рабочий труд,
В трущобной мгле ютится бедный люд —
Даруй им милость отыскать тебя!

О, утиши наш беспокойный град,
Даруй духовный хлеб — венец наград,
Пролей цветущей розы аромат,
Мы слезно молим, молим мы тебя!

Он решил, что будет сильным; не склонится ни перед кем, не покорится; будет всегда поступать, как подобает мужчине; даже взглядом не удостоит тех презренных, что снискивают себе пропитание, раболепствуя перед властью имущими; и рука его никогда не потянется торопливо снять шляпу. Он будет вести простую, воздержанную жизнь и не станет гнаться за теми благами, что тают в руках, едва их схватишь. Его сокровища будут столь же скромны, как те, коими окружил себя святой Мак-Куа. У этого подвижника был петух, который бодрым кукареканьем будил своего хозяина в полночь, возвещая ему, что пора встретить утро молитвой; и еще у него была мышка, которая следила, чтобы святой не тратил на сон более пяти часов; если же ему случалось заспать, она покусывала его за ухо, пока от боли святой не пробуждался и не вставал со своего ложа, дабы вновь вознести моления Всевышнему; и, наконец, у него была муха, которая ползала по строчкам, пока Мак-Куа громко читал псалтырь, и останавливалась на последнем произнесенном слове, когда святой, притомившись, умолкал; и там она сидела, недвижимо, как сама смерть, пока отдохнувший подвижник не принимался вновь

¹ Эти и последующие стихи даны в переводе В. Рогова.

возглашать слова хвалы или покаяния. Но, боже мой, каково же было горе святого, когда настал для него черный день и все три его любимца вдруг умерли один за другим, на протяжении каких-нибудь трех минут. Пораженный скорбью, Мак-Куа даже написал письмо в Колмкилл, жалуясь на свою великую потерю, и вскоре получил ответ, в котором Ионская голубка советовала ему не падать духом и не удивляться тому, что так внезапно была отнята у него вся его паства, ибо в сем должно видеть прообраз непрочности всякого земного обладания; и бедный Мак-Куа понял эту кроткую шутку как напоминание о том, что не приличествует ему слишком привязываться к сокровищам этого преходящего мира. Вот и Джонни, по стопам Мак-Куа, будет искать лишь прочного и нетленного; его сокровищами станут книги, для покупки которых он будет прилежно подбирать рассыпанные по всему белу свету пенни. Из жизни он уже многое узнал, а из книг узнает еще больше; через них он постигнет мудрость и красоту, рожденную мыслями и воображением его старших братьев, более мощных умом и духом членов всечеловеческой семьи.

Он пробудился от своих мужественных мыслей и своего тихого пенья, подошел к тележке и снова покатил ее по золотой дорожке; а слева от него в вышине еще светился купол здания суда, как большая желтая роза в большой бронзовой чаше. Подальше, на углу, в фиолетовой тени, шарманщик заиграл вдруг плясовой мотив. Джонни остановился у парапета послушать. Солнце одело уличного музыканта в лиловую ризу, словно священнослужителя на религиозном празднестве. Молодая женщина в темно-красном корсаже и в черной с белым полосатой юбке стояла возле шарманщика, притоптывая ножкой в той же лужице фиолетового света и размахивая золотыми руками в такт веселой музыке. Потом она стала танцевать. Джонни глядел на нее. Смеясь, она поманила его золотой рукой. Он сбросил куртку, выхватил из кармана большой красный платок, подпоясался им, как шарфом, и подбежал к плясунье. Несколько секунд он стоял, озаренный золотыми отсветами от ее лица, отбивая такт ногой, потом, поймав ритм ее танца, сам пустился в пляс. Поодаль стояли еще люди, в более скромной одежде, ибо на них падала густая тень от высоких зданий, лишь кое-где прорезанная красными закатными лучами, — стояли и смотрели, тихонько хлопая в ладоши. Девушка схватила Джонни за руку, и они закружились в радостном безумии солнечного танца, потом расцепились, и минуту каждый плясал отдельно — она в фиолетовой тени, он в лужице золотого света, потом поменялись местами и его окутала пурпуровая тень, а она оделась в золотое сияние.

— Внуки королей! — выкрикнул Джонни, кружась в пляске. — Сыновья и дочери принцев! Мы все одной крови с Милезием! ¹

¹ Правитель Испании, сыновья которого, по преданию, завоевали Ирландию задолго до нашей эры.

— У бога в раю нет лучше красок, чем те, что сейчас вокруг нас! — задыхаясь, воскликнула девушка.

— Это горит меч света!

Фиолетовая тень сгустилась, в золотом свете появились малиновые отблески, а они всё плясали, и шарманщик всё играл, его темная рука мелькала на зеленом хрустале неба, нога азартно притоптывала в пурпурной лужице света. Наконец танцоры устали, их движение замедлилось, они кружились все тише, тише и наконец остановились совсем, обняв друг друга, а одетые в серую тень зрители хлопали тихонько в ладоши, а напоследок сказали, что вот, мол, славная парочка, и сплясали на славу, умаялись, небось, так ведь стоило того. Джонни отдал шарманщику свой последний шестипенсовик и на прощанье поцеловал девушку.

— Ты, и когда стоишь, красива, — сказал он, — а уж в пляске и слов нет сказать, до чего ты хороша. Дай тебе бог выйти замуж за хорошего человека и вырастить детей таких же красавиц, как Эмер, и таких же храбрецов, как сын Оскара¹. И дай бог, чтобы они были еще молоды, когда Ирландия станет свободной, и добрый эль будет пениться на каждом столе, и шампанское станет напитком простого народа!

Он покатил тележку дальше под ярко расписанным сводом неба, усталый, но счастливый, воздавая богу хвалу за сияние его славы, за волю к радости, живущую в сердцах людей, за ловкость и проворство своих ног в танце, за свой дар песни и смеха, за одушевлявшее его чувство победы, за свою веру в то, что десница господня твердо правит миром. Эта прозрачная зелень, и алость, и золото, и пурпур — что они были такое, как не отблеск от крыл ангелов, проходящих дозором по улицам неба?

Но уже меркло в небе ангельское сияние, и ликующие краски растворялись мало-помалу в надвигающейся темноте, только внизу, у самого горизонта, еще пламенела малиновая полоска — там, где оставался узенький просвет в неплотно задернутых занавесях ночи. И тень господня еще медлила на земле, ибо во все церкви, мимо которых проходил Джонни, потоком вливался народ. Джонни остановился возле одной из церквей, глядя, как прихожане толпятся у главного входа, а те, что поважнее, не спеша проходят в боковые двери — там надо было платить не меньше, чем шесть пенсов, а в главных дверях можно было положить и пенни в широкую щель кружки на длинной ручке, которую всем подсовывал стоявший в дверях монах; он проворно вертелся то туда, то сюда, поощрительно встряхивал кружкой перед теми, кто готов был заплатить, и угрожающе гремел ею под носом у тех, кто старался проскользнуть, не внеся дани. На доске, увенчанной готическим зубцами, была наклеена афишка, в которой сообщалось, что сегодня в этой церкви некий брат доминиканец будет читать проповедь на тему: «Ад и многие пути, ведущие туда», и когда

¹ Герои ирландских саг.

Джонни заглянул в широко раскрытую дверь церкви, ему почудилось, что оттуда пахнуло серой. Какие-то устрашающие образы замелькали в его воображении, уродливые по форме, мрачные по окраске; он увидел себя застывшим в неподвижности, крепко вмороженным в огонь вечный; языки пламени вонзались в его тело, словно стальные бивни; ледяной ураган бушевал вокруг, наполняя пламенеющий воздух удушливым дымом, повергая измученную отчаянием душу в отчаяние еще горшее; страдания его превосходили все ведомое человеку на земле, ибо бессмертие обострило все его чувства, и, пригвожденный к месту небесным правосудием, он обречен был терпеть их до скончания веков; затопленный нестерпимой мукой, он ощущал ежесекундно, что его влачат в пучину муки еще более нестерпимой; с воплем умолял он о том, чтобы ему дозволено было вновь вернуться к жизни, но уже десять тысяч лет длились его терзания, и мольбы его были бесплодны; и каждый вопль его замирал, едва вырвавшись из горла, заглушенный злорадным хохотом безжалостных демонов, низвергнутых в преисподнюю во время первой небесной битвы с силами зла. О господь всемогущий, о милосердный спаситель, прошептал Джонни, не предавай меня на страшную муку вечной смерти! Он опять заглянул в широко открытые двери церкви и увидел в дальнем ее конце сияющий алтарь, куда вели застланные ковром ступени, и яркие огоньки свечей, и веселые их отблески на большом золоченом распятии, висевшем сзади на стене; а на самом алтаре что-то белело — какой-то священный сосуд, окутанный чистым белым покровом.

Да, наш Дублин — святой город, подумал Джонни; он древнее Афин, священнее Рима, он как святой град Сион. Из каждого окна развеивается стяг — если бы только мы имели глаза, способные это видеть! — красный, коричневый, белый или голубой орарь с вышитыми на нем священными словами господа нашего или его святых; с каждой колонны, с каждой стены гирляндами свисают четки, эти драгоценности бедного люда. День и ночь звучит здесь молитвенный шепот — Отче наш или Богородица Дева, радуйся. *Sé do bheata a Mhuire dhéilis*, — пробормотал про себя Джонни, — *atà tòn de gràsa; tà an Tighearna leat*. (Бог твоя жизнь, о Мария сладчайшая; радуйся, благодатная, господь с тобою!) Пусть другие похваляются своими львами и единорогами, двуглавыми орлами и лилиями: наше достояние — святое сердце Иисусово, источающее кровь из ран, и слепок с тяжелых ключей апостола Петра, висящих на поясе у папы. В Ирландии больше было святых на квадратный дюйм поверхности, чем в любой другой стране земного шара. Все ее обитатели, ценой одного пенни в неделю, неустанно готовятся к праведной кончине; все до одного записались в армию молитвословия и прилежно молятся об искуплении бедных душ, томящихся в чистилище; и у многих, доверчиво прильнув к широкой мужской груди или стыдливо прячась между нежных девичьих персей, приютилась маленькая чудотворная иконка, которая согре-

вает бьющееся под ней сердце и изгоняет озноб страха перед смертью или возможным несчастьем из души того, кто ее носит. Святому Доминику улицы Дублина знакомы не меньше, чем улицы Калахорры; и свою руку, столь тяжко ударившую по альбигойцам, на головы дублинцев он возлагает с благоволением, ибо из трех его заветов первые два — бедность и пост — дублинцы выполняют как нельзя лучше, хотя третий — молчание — пока еще никак не могут ослепить. И святой Франциск Ассизский мог бы нарвать больше белых и алых роз на грязных разрушенных улицах Дублина, чем ему когда-нибудь удавалось нарвать в рощах у врат Портинкулы.

Темнело; с трудом разгорались уличные фонари — проходя мимо, Джонни слышал, как они шипят; дома казались черными, мрачными, угрюмыми; прохожие ковыляли по тротуару, и суставы у них хрустели, как у ревматиков; сверкающие одежды, в которых они красовались час назад, были свернуты и убраны в сундук; и Джонни был опять всего-навсего Джонни, толкавший свою калечную тележку по темной улице. Немного погодя он нагнал сгорбленного старика, обросшего седой бородой, который брел по мостовой вдоль тротуара, уныло напевая какой-то священный гимн. На старике было длинное потрепанное серое пальто, спускавшееся до самых пят. Сзади кусок полы у него оторвался и волочился по булыжникам мостовой. Седая его голова была непокрыта, и шляпу — грязный, обшарпанный котелок — он держал в руке за спиной. Он медленно брел вдоль обочины, повернувшись лицом к тротуару, настороженно следя, не обнаружит ли кто из прохожих намерения полезть в карман за мелочью, готовый в любую минуту быстро перенести шляпу из-за спины вперед и подставить тому, кто пожелал бы уронить в нее милостыню. Так он шел и шел, делая три медленных шага, потом останавливаясь, потом снова делая три шага вперед. А следом за ним и точно так же, как он, — три шага, остановка, снова три шага, — тащились с полдюжины мальчишек — жалкая аудитория еще более жалкого певца. Они с любопытством таращились на него, когда, случалось, слеза повисала на его ресницах и скатывалась по морщинистой щеке. Поравнявшись с ним, Джонни разглядел, что старик кипит от злости: при взгляде на увязавшихся за ним ребят в его слезящихся глазах вспыхивал недобрый огонек, плавный напев гимна перебивался сердитым бормотаньем. Когда он пел, голос его был жалобным и умиленным, когда обращался к ребятам — хриплым от ярости.

Если прострет над землею господь милосердную длань,

— Убирайтесь, паршивцы, не мешайте мне, гаденыши!

Рядом возлягут в согласьи хищный волк и кроткая лань.

— Чтоб вас огнем попалило, лоботрясов!

Сердце Иисусово кровью своей омыло нас от грехов

Благодать господню восславим ныне и присно и во веки веков.

Джонни покатил тележку дальше, обогнал старика и вскоре оказался рядом с двумя мужчинами, которые, оживленно переговариваясь, шли в том же направлении.

— Я вот слушал, что этот старикан поет, и, понимаешь, пришла мне в голову мысль...— говорил один.— Помнишь эту картинку-ребус, которую я никак не мог разгадать? Ту, где изображено что-то вроде оленя и потом еще какая-то буква, не то «ф», не то «д»? Так вот я теперь ее разгадал.

— Да ну? — отозвался его спутник.— Интересно! И что ж это такое, по-твоему?

— А вот что. Сперва там олень или, все равно, лань; лань — это ведь тоже олень. А потом буква «эф» или «де», «ф» или «д», понимаешь? Получается фильд. Значит, все вместе: Ланфильд.

— Вот это здорово! Прямо в точку! Только кто такой Ланфильд? Я никогда не слыхал.

— И я не слыхал. Но уж это верно, иначе быть не может. Они напечатают еще десять ребусов, уж какие — бог весть, наверно трудные! — Он потер руки, лицо его сморщилось в улыбку.— Ну, да посмотрим! Моя жена дала, видишь ли, обет — девять раз отслужить молебен, чтобы мне была удача. Уж если это не поможет, так не знаю, что еще! Ты подумай, Билл, тысяча фунтов сразу или по два в неделю до конца жизни! О господи, кабы удалось! Жил бы себе припеваючи и о завтрашнем дне не думал!

Вот где они сомкнулись — небо и Хармсворт! Исполнилось последнее пожелание Гете — света, больше света! Новоявленный британский Будда! Он грядет, грядет, грядет к нам по водам. Пионеры! О пионеры! ¹ Шелковым зонтиком в бочку, черный грум! Зумлей, бумлей, бумлей, бум! ² Катит Конго в Кентербери!

И Джонни прибавил шаг, спеша домой, ибо завтра надо будет встать пораньше: завтра выходят «Вопросы и ответы» — золотое евангелие наших дней.

КАРТИНЫ У ВХОДА

В приходе св. Варнавы ждали нового священника. А пока что каждое воскресенье приезжал священник какого-нибудь соседнего прихода — отправлять утреннюю и вечернюю службу, читать приевшиеся проповеди, дабы устоял оплот веры и не поникло знамя ее. Немногие прихожане, усердно посещавшие церковь, шептались между собой, что новый пастырь — искусный проповедник, и это было очень важно, ибо кафедра, а не святой престол — опора протестантской религии. Нового священника ожидал узкий мирок тепловатого благочестия, туманного и несмелого, которое довольствовалось чтением библии от случая к слу-

¹ Стихотворение Уолта Уитмена.

² Из стихотворения «Конго» американского поэта Вэчела Линдзи.

чаю; здесь царило то радостное, то скорбное убеждение, что господь бог лично оставляет визитную карточку на каждом крещении, свадьбе или похоронах, а вера тешилась пеннем псалма «Пребудь со мной» — в вечернюю пору, или «Свет воссиял на небесах» — в воскресный полдень, или «Внемли гласу херувимов» под веселый перезвон больших и малых колоколов — в рождественское утро. Усердных прихожан было мало, потому что от Христа здесь многого не ждали. Дети не разгибая спины трудились, с ожесточением заучивая на память библейские стихи и притчи, расплачиваясь за равнодушие своих родителей, которые в воскресные дни подолгу не жили в теплых постелях; читали газеты, смакуя описания боев, убийств и несчастных случаев или амурных шашней в альбомах богачей; наедались с раннего утра до отвала; зевая, коротали день и снова залезали в постель, как только на небе начиналась тихая пляска луны. Когда появился Гарри Флетчер, приход сонно приподнялся на локте, поглядел на того, кто пришел во имя господя, на мгновение раскрыл пошире слипающиеся глаза — и заснул крепче прежнего, когда Гарри покинул его. Здесь всеми владела смутная мысль о том, что мир, сотворенный богом, в своем роде прекрасен — и над головой и под ногами, хотя под ногами были грязь, пыль и камень. Их путь на небеса пролегал по нескончаемому улицам, между рядами унылых зданий, среди которых встречались дома попарядней, выкрашенные в ярко-красный или зеленый цвет, поблескивающие стеклом и позолотой, где путники иногда останавливались выпить. Изюм в день — подметая пол в магазине, толкая тележку в железнодорожном депо, орудуя киркой на шоссе, отвешивая чай и сахар в колониальной лавке, втаскивая ведро известки по шаткой лестнице, с утра до ночи, не присаживаясь, заполняя накладные за конторкой (либо, как Джонни, состоя инспектором общественных зданий — так в Дублине величали безработных) — все мы тут, в меру своих сил, искупаем перед богом грехопадение Адама, грех послушания, принесший на землю смерть и все наши горести, грех, который привел к еще более тяжкому и губительному первородному греху, ибо, как сказал псалмопевец, я рожден в беззаконии, и во грехе зачала меня мать моя; трудный иску, думал Джонни, ибо стоило ему встретить красивую девушку, как в сердце звучала песня:

Звезды мерцают, и травы густы,
Повсюду пышно цветут кусты...
Красавица, что же вздыхаешь ты
Блаженным летним вечером?

Но дело было не только в прелести девичьих лиц и стройных ножек, — Джонни отталкивал хмурый, колючий, серенький, промозглый туман ортодоксального протестантизма, и он тянулся к более живописному и музыкальному воплощению христовой веры. Мир красок открылся ему, они поманили его и, смеясь,

увлекли за собой. Он скопил немного денег из полученных за случайную работу и купил маленький ящичек красок. Он всегда любил рисовать и в детстве покрывал каждый клочок белой бумаги, попадавший в дом, и обратную сторону картинок в книжках изображениями битв, а позже — мужскими и женскими лицами; но теперь, когда он понял силу цвета, он страстно желал стать художником и всем нутром жаждал богатства, которое позволило бы ему покупать тюбики кобальта, красного краплака, желтого хрома, китайских белил, изумрудной зелени, сиенны и голландской сажи. Подолгу простаивал он перед большим магазином на Доусон-стрит, где продавались эти сокровища, в благоговейном восторге созерцая выставленные в витрине акварельные краски, тонкие, мягкие кисти, палитры всех размеров и видов, сложенные пирамидками тюбики, наполненные пламенеющими красками, — все так близко и все же так далеко, так далеко, что не достать рукой и не утолить заветного желания. Он то проклинал свою бедность, то кротко молился о ниспослании ему денег, дабы он мог запечатлеть на бумаге чудесные тона, которые видел его глаз и возлюбило его сердце. Он был слишком оборван, слишком робок, чтобы осмелиться переступить порог внушительной, пышной Национальной галереи. Поэтому он удовольствовался тем, что в ларьке букиниста купил за несколько пенсов две книги; в одной он нашел религиозные картины живописца по имени Фра-Анджелико, в другой были невиданные чудесные пейзажи — далекие от Дублина леса, озера, пруды, поселяне — все слитое воедино, словно внезапно прозвучавший аккорд; этого художника звали Констейбл. Зная библию и молитвенник, Джонни без труда перенесся в красочный мир Анджелико; из маленькой церкви св. Варнавы, затерянной среди пыльных угрюмых улиц, где перед бутылочной фабрикой Норс-Лотс, непрерывно извергающей черные клубы дыма, лежали груды шлака, а вокруг дровяного склада Мартина тлели кучи коры и щепок, где гурты скота, идущие на пристань, усеивали путь лепешками навоза и запах пропитанных пивом опилок, доносящийся из распахнутых дверей кабаков, смешивался с вонью истлевших лохмотьев на суетливых, назойливых нищих, — Джонни спасался бегством в нежно-голубой круг, заключающий златовласого Спасителя, облаченного в светлые желтовато-серые одежды, с блестящим шаром в прекрасной левой руке, с венчиком из темного золота, перечеркнутым алым крестом, вокруг божественной главы; а вот опять он в пурпуровой арке небес, с посохом в руке, ласково смотрит на двух монахов-доминиканцев; один из них робко касается рукой руки Спасителя, оба они в хитонах нежно-желтого цвета и широких черных плащах, искусно тронутых зеленым, и смотрят на Христа пристальным взглядом, словно смиренно называя его своим братом. И дальше он бродил с Анджелико и видел сонмы ангелов, немного чопорных в своей безгрешности; их алые, зеленые и синие одежды, осыпанные звездочками, розами или золо-

тыми лилиями, заполняли все небо, точно многоцветные млечные пути. Ему случалось тихонько про себя напевать псалмы, когда он, блуждая в небесах, встречал на испещренном гвоздиками и розами лугу все тех же прекрасных ангелов, которые трубили, раздув щеки, в золотые трубы, либо перебирали нежными белыми перстами струны цитры или арфы, вознося хвалу пресвятой деве и сыну ее, украшающему новым алмазом всенц ее славы.

И еще бродил он полями, под сенью пронизанных солнцем или обрызганных росой зеленых деревьев, взращенных вдохновением Констейбла; или, глядя на золотое великолепие зреющих колосьев, шел тихими тропками в кайме из яркой зелени, откуда робко высовывались пестрые цветы, ласково кивая головками беспечному путнику; а дальше, на выгоне, красно-бурые коровы дремали, стоя по колено в сочной траве, и медовый запах клевера струился над сонным лугом, овевая потные лица лодочников, шестом проталкивающих баржи вниз по спокойной реке, где в солнечных заводях зеленая тень зеленела гуще; приветливые домики выглядывали из-за осанистых вязов, перистых тополей и нарядных ясеней, чья пышная листва плясала на ветру, словно танцующая красавица с картины Фрагонара, и смущенная и гордая тем, что красой затмила все вокруг, а вверху сияло серебристо-серое и нежно-голубое безоблачное небо.

Так, через этих двух художников, очарование красок и линий в окружающем мире открылось ему, стало осязаемым, и он начал возводить волшебную обитель мечты из этих красок и линий, нерукотворную обитель, вечно пребывающую в его воображении: улицу, на которой он жил, населяли лучезарные святые и ангелы Анджелико, она искрилась безмятежной красотой, сотворенной Констейблом из нездешнего праха. Даже когда нечем было топить и нечего было есть, он радостно напевал про себя и дивился щедрым благам, даруемым жизнью; он пытался приобщить свою мать к этим вдохновенным видениям; но он понял, что их голоса для нее только слабый, несмелый шепот, и, услышав его, она с еще большим рвением возвращалась к материнским заботам об алой герани, золотистом гиацинте и фуксии, царственно склонявших пурпуровые колокольца и белые восковые лепестки на покорбленном, облупившемся подоконнике.

В эту сияющую обитель вошел новый священник, чтобы взять на себя опеку над приходом св. Варнавы. Он вошел тихо, сопровождаемый архиепископом, который помедлил ровно столько, сколько требовали приличия, и поспешно, в запряженной парой карете, бежал от дыма, и шлака, и щепы, и навоза, и едкого запаха, благополучно водворив на место нового пастыря, обязанного спасать души своих прихожан. Это был человек среднего роста, лет сорока пяти, с приятным лицом и темной бородкой, посеребренной сединой; глаза его то светились мудрым осенним дружелюбием, то по-зимнему сверкали холодным презрением;

у него были маленькие, изящные и сострадательные руки; выразительный, добродушный, чуть насмешливый рот; благородная строгость осанки изобличала спокойную уверенность широкого, просвещенного ума. Словом, новый священник всем взял: мало кто мог бы тягаться с ним, а если бы и нашлись такие, вряд ли даже лучший из них оказался бы равен ему.

Появление Эдуарда Моргана Гриффина всколыхнуло весь приход, ибо он был сын методистского священника и когда-то занимал должность секретаря Ирландского библийского общества, так что никто уж не сомневался, что это истинный протестант оранжистского толка, отрада и утешение для бесхитростных душ, верующих, что спасение можно заслужить бормотанием евангельских стихов. Церковный хор делал заметные успехи; Джонни, когда бывал в ударе, пел с воодушевлением, и священник убеждал его не робеть и дать себе волю. Чтение и изучение библии шло полным ходом. Миссионерский комитет процветал, и Джонни, секретарь комитета, развивал кипучую деятельность. Помещение для собраний при церкви расширили и уютно обставили. В школе стало таклюдно, что пришлось пристроить еще один флигель; и религиозная жизнь прихода, руководимая и поощряемая новым священником, стала полнокровной, налаженной и согласной. Оранжисты, пурпуристы, рыцари Черного ордена с высеченными на каменных лицах гражданскими и религиозными свободами охаживали его, улыбались ему, похлопывали по плечу. Он был окружен оранжевыми, синими, пурпуровыми эмблемами; и на первых порах все новые начинания рождались в совете и любви. Во главе оранжистов стояли: церковный староста Фрэнк Доналдсон, секретарь Дублинской центральной ложи оранжистов, для которого малейшее пятнышко краски на стене или в окне церкви означало папизм и костры на Рэтленд-сквере, где протестантов предают сожжению каждое утро, а в воскресные дни — еще и вечером. Неумолимые глаза его на бледном лице глядели всегда вперед, не видя ничего, кроме гибели, таящейся в клочке бахромы на ризе, и козней дьявола в знамении креста; Эдуард, Дусард; начальник портовых полицейских (трясучие старички, давно впавшие в детство, которые караулили склады, принадлежащие департаменту доков и портовых сооружений, в мундирах, отделанных золотом и бронзой там, где у настоящей полиции — серебро; грузчики ругательски ругали их, а возницы замахивались кнутом, когда они путались под ногами), с лицом, красным и круглым, как голландский сыр, и бычьей шеей, выпирающей из белого воротничка, словно толстый резиновый шланг; своей тяжелой кирпично-красной рукой он постоянно поглаживал щетинистые усы, а свиные глазки упорно внушали всем и каждому, что он столп протестантской религии; и, наконец, Джон Глэйзир, служащий товарного склада Большой Западной железной дороги, фанатик из фанатиков, готовый умереть за свою веру; суровое лицо его казалось изваянным из камня, на котором дожди и стужа многих столетий

оставили глубокие трещины; редкие зубы угрожающе скалились, стоило ему обнаружить малейший намек на обрядность в одной из протестантских церквей; руки судорожно сжимались, словно им не терпелось вцепиться в горло католическому патеру. Из этой троицы только Джон Глэйзир был досягаем для Джонни; и вот они стоят на высоком берегу, среди бесчисленных ромашек, и смотрят вниз, в долину, наблюдая — один глаз на зеленых, другой — на оранжевых и синих

Битву на реке Бойн.

Здесь, на этом берегу Иордана¹, выстроилось войско великого, славного, благочестивого и бессмертного короля Билли Третьего — бранденбуржцы, скандинавы, французские гугеноты, швейцарские цвинглианцы, голландская Синяя гвардия, дублинская портовая полиция под началом Эдуарда Дусарда и ребята с Сэнди-роу — с оранжевыми, синими, пурпуровыми и черными флагами; а там, на другом берегу, стоят ирландцы с одним зеленым знаменем, на котором горит восходящее солнце; эти подвигаются налево, а те — направо, и рано или поздно они сшибутся в громе сражения. На том берегу, у Динморской церкви, обзревая ирландское воинство, одетое в зеленые куртки, с большими белыми кокардами на фуражках, уныло поющее «Скорей, скорей, нельзя нам медлить», король Иаков восседает на коне, лицом к югу, и грызет пальцы от довлеющей дневн злобе его; широкополая шляпа с перьями надвинута на черные колючие брови, он крестится справа налево и слева направо (чтобы не вышло ошибки), уstraшенный ядрами, вылетающими — еще и еще — из пятидесяти протестантских пушек, которые непрерывно извергают оранжевое пламя и синий дым из рычащих жерл, и при каждом выстреле он так корчится, что чуть не падает с седла; зеленые ленты свисают у него с плеч, зеленые ленты развеваются в волосах, и на каждом дюйме каждой ленты начертано заклятье: «Эйрин, вперед!» Арфист, справа от него, пытается перекрыть грохот пушек, изо всей мочи играет «Помни доблесть Брайена, героя», а трубач, слева, до одури трубит «О не буди, я сладко сплю», дабы заглушить мотив обидной для ирландцев песенки Лиллибулери, который на тысяче и одном протестантском барабане выбивают доблестные ребята с Сэнди-роу, выстроенные впереди войска короля Билли и готовые опрокинуть чернь — чернь, верующую в бога, чье тело превращается в хлеб, и поклоняющуюся раскрашенным идолам по наущению монахов в рясах с пришитым колпаком и веревкой на брюхе — хотя место бы ей на шее; а своды церквей своих они подпирают столбами, и за каждым столбом творится свое, особое чудо... Тьфу! — Джон Глэйзир с отвращением сплюнул прямо в воды Бойна.

¹ Победу протестантских войск на реке Бойн автор сравнивает с описанным в Библии переходом евреев через Иордан.

— Если бы только Сарсфилд вырвался на волю,— сказал Джонни,— если б только Сарсфилд явился сюда, если б только Сарсфилд встал во главе своей конницы,— мы загнали бы короля Билли и его головорезов обратно к их дюнам и дамбам по ту сторону залива Зейдер-Зе.

— Он и шевельнуться не может,— злорадно вскричал Глэйзир,— потому что он скован цепью великой, как дракон, который есть дьявол и сатана. И гляди, гляди, вон там стоит муж светлый, и обнаженный меч в руке его. Ты за кого, за нас или за врагов наших? — крикнул Глэйзир, перекрывая гром барабанов, и тот ответил: — Ни то ни другое, я пришел как начальник воинства небесного.— И Глэйзир заорал в ответ: — Здорово, приятель, мы с тобой одного поля ягода!

Но вот голландская Синяя гвардия устремляется к реке по широкому берегу, топчя золотистые лютики, и — бух! в воду, подняв мушкеты над головой. Держите порох сухим, ребята, и не бойтесь ничего, ибо нет древнего витязя Финна Мак-Кула, чтобы в одно мгновение и в два счета отбросить тысячу воинов к острову Мэн, в кипящий водоворот Ирландского моря. А вон, вон — трое мерзавцев, Редмонд, Диллон и Джо Девлин, главари Ирландской парламентской партии, прячутся за круглой башней, и у ног их лежит свирепый волкодав; а на высоком дубе, на самом верхнем сукѹ, с гомрулем в кармане, сидит елейнолицый Гладстон и, поглядывая на них, соображает, какое еще зло учинить, дабы помешать торжеству протестантизма в Эйрине.

— Их гонят обратно, ирландцы гонят их обратно! — закричал Джонни, ибо зеленые куртки попрыгали в воду, ринулись вперед, выставив копыа, опрокинули Синюю гвардию, отбросили к берегу, с которого она только что кинулась в воду; стремительно наступают они, и громко звучит песня:

Сынам Трилистника слава!
Всегда бежал от них враг.
У какого найдешь ты народа
Отвагу, достойную carl¹

А король Билли на могучем белом коне скачет вдоль берега,— где благоухающие цветы таволги приникли к земле, раздавленные телами синих гвардейцев и черных папистов, и в белых чашечках их алеют последние капли отлетающей жизни,— и вопит, не помня себя от страха: — Где мои гугеноты, где мои защитники Эннискилена, где мои ребята с Сэнди-роу и где же Дусард со своей портовой полицией? Пошевеливайтесь или не миновать нам папизма, медных денег и деревянных башмаков! Отбросьте мятежников, спасите законное правительство, дайте мир и протестантизм и процветание обманутому народу Эйрина!

— Ура, Сарсфилд! — кричал Джонни.

— Ура, Вильгельм Оранский! — вопил Глэйзир.

¹ Перевод О. Румера.

И они повернулись друг к другу и схватились в рукопашную, так что кровь потекла из носов и зубы зашатались, а потом тузили друг друга, катаясь в высокой траве среди ромашек, между цветущими кустами шиповника и ежевики.

Но вот идут эннискиленцы, в оранжевых мундирах и истинно-синих штанах, с Джонстоном, покорителем Африки во главе, высоко держа факел истины и пурпурное знамя с портретом Рандолфа Черчилля,— бесстрашные воины, прискакавшие из пустыни на тряской спине козла; все они сидели на своих ягодицах и смотрели на горящий терновый куст, все они перешли Иордан с Иисусом Навином, ибо они — оранжисты, пурпуристы и рыцари Черного ордена — уподобились воинам из колена Рувимова, из колена Гадова и полуколена Манассеина, которые с оружием в руках шли впереди своих братьев, дабы братья их обрели покой на земле, дарованной богом; и поэтому у каждого на груди священное число — два с половиной; за ними по пятам — гугеноты, в черных с белым мундирах, с алым пером на тяжелых шлемах, с серебряной библией на груди, славя любовь и знание, и ведет их английский генерал, краснощекий герцог Шомбергский, крепко оковав железом свою немудрящую протестантскую совесть; а справа, вне строя, — древняя портовая полиция города Дублина, в трусиках, во главе с Эдуардом Дусардом, вооруженным ореховым жезлом, дабы обнаружить воду, когда он подойдет к реке.

— А вон, вон — белая, гладкая, постно-папистская рожа Гарри Флетчера маячит сквозь орудийный дым, а на голове папистский клобук, — ратует за ересь Афанасия Александрийского и, обратившись к востоку, молится заодно с папой! — заорал Глэйзир под треск тысячи и одного барабана, вырываясь из полунельсона Джонни. — А там, подальше, новый священник приходит св. Варнавы, приверженный догмам, а сам заигрывает с блудодействующей женой, облаченной в багряницу, упоенной кровью святых, да еще среди свиста и рева раскаленных ядер!

— Неуч ты несчастный! Не знаешь, что папа изо всей мочи молится за победу протестантского короля Билли и за поражение католика Иакова, — сказал Джонни, стараясь снова обхватить Глэйзира.

— Это ложь, вопиющая наглая ложь! — закричал Глэйзир. — Не может папа молиться за хорошее, справедливое дело! В Ватикане всю ночь жгут тысячу свечей перед тысячью икон за гибель славного короля Билли и поражение протестантов. К черту папу, и, боже, храни короля Билли! — и Глэйзир вцепился Джонни в горло.

— Сволочь, ханжа! — орал Джонни, тоже хватая за горло Глэйзира. — Боже, храни папу, и к черту короля Билли!

Они боролись среди ромашек, держа друг друга за горло, пытаясь, задыхаясь от злобы и ненависти; а пушки выплевывали свой яд, барабаны трещали во славу оружия, и Джонни видел,

как ирландцы отступают перед мушкетным огнем, перед остриями копий, шаг за шагом подаются назад, шаг за шагом уступают дорогу, шаг за шагом умирают за чужеземного короля; видел, видел, как король Иаков, повернув коня, сломя голову пустился по каменистой дороге в Дублин, а рядом с ним, понурив голову, скачет Сарсфилд, оглашая воздух криком: — Поменяемся королями и заново разыграем бой!

Джонни отшвырнул Глэйзира и вброд перешел реку, — начался отлив. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Глэйзир стоит среди синих, оранжевых и пурпурных знамен и оплакивает Джонни Уокера, защитника Лондондерри, и герцога Шомбергского, чье лицо теперь белело под жарким солнцем, словно сорванная водяная лилия. Джонни погрозил Глэйзиру кулаком и бросился бежать по раскиданным желтым ирисам и растоптанным цветам таволги, перепрыгивая через бесчисленные трупы в зеленых куртках, — прах, распростертый во прахе; дымом рассеялись надежды католиков на мессу под звон серебряного колокола; умирают мечты о красном вине и желтом эле, вкушаемых в веселии духа; течение уносит их, и они, вздыхая, сиротливо плывут по реке, вместе с грудами почерневших от грязи белых кокард.

— Стой, воротись! — закричал Джонни вслед удирающему королю. — Стой, подлец, стой, дерьмо!

Но король, припав к гриве коня, мчится вперед навстречу уготованной ему жизненной темнице¹, где он, узник тщетных надежд и желаний, будет томиться до конца своих дней. Повсюду кругом солдаты, покрытые пылью и потом, такие измученные, что и сон их не берет; все они спешат в Дулек, чтобы выйти на дублинскую дорогу; а далеко, далеко впереди, окутанные облаком пыли, бегут Редмонд, Диллон и Джо Девлин, спасаясь от свистящих ядер и грома протестантских барабанов. Вон там, направо, деревня Олдбридж горит, она вся затянута клубами черного дыма, откуда взвиваются алые султаны пламени, как только займется еще одна соломенная крыша. Поодаль, в густых зарослях терновника, мелькают бледные лица — не замечая острых шипов, там прячутся люди и с ужасом смотрят, как от их скромных жилищ остается одно дымящееся воспоминание. Еще дальше направо, где бой был особенно ожесточенным, смутно виднеется, словно сквозь закопченное стекло, доброе бородатое лицо мистера Гриффина; склонившись над умирающими, он прикасается то к синему, то к зеленому рукаву, и на его лице застыло горестное недоумение, — ибо нет травы, которая исцелила бы эту рану, и нет молитвы, способной утолить скорбь, равную этой скорби.

Джонни отвернулся и со всех ног побежал дальше, нагоняя старого генерала, который, пыхтя и отдуваясь, спасается бегством

¹ Потерпев поражение в битве на реке Бойн, Иаков II навсегда вернулся в изгнание, во Францию.

от смерти или плена. Его зеленый мундир испачкан и разорван, ноги хлюпают в промокших ботфортах, на одном плече болтается разлохмаченная эполета, усталые глаза, тусклые, как давно увядший голубой цветок, тупо глядят в пространство. Он бросил пояс и ножны, но держит в руке обнаженный меч.

— Почему вы удираете? — крикнул ему Джонни. — Неужели все ирландцы стали трусами? Почему вы не даёте отпора?

— Кто удирает? — запыхтел генерал. — Мы вовсе не удираем, да будет вам известно. Это передвижение войск осуществляется по плану, с целью занять лучшие позиции. Мы заманиваем неприятеля, юноша, а он есть исчадь ада и порождение сатаны. Он может выигрывать сражения, но мы выиграем войну. Ай! Это ядро уж больно близко подобралось к нам! Весь мир с нами. Все богобоязненные люди на нашей стороне. За бога и человечество — вот священные цели, за которые мы воюем, и только что окончившийся бой войдет в историю как героический подвиг, ибо поистине мы одержали победу над мрачным, свирепым, злодейским королем Билли и всей его разбойничьей шайкой. Он рассчитывал разгромить нас в пять минут; но потребовалось пять долгих часов ожесточенного боя, чтобы прорвать нашу оборону, благодаря чему мы выиграли время, необходимое для подготовки к сражению в более благоприятном месте.

— Я не знаю лучшего места, чем то, из которого вы удираете, — сказал Джонни.

— Вы-то, может, и не знаете, а мы знаем, но только никому не скажем, чтобы не помочь противнику. Чем вести такие подрывные разговоры, юноша, вы уж лучше прямо объявите, что вы из вражеской колонны.

— Разве я не жажду всей душой вашей победы? — сказал Джонни.

— Тогда и поступайте соответственно, — пропыхтел генерал. Его морщинистое лицо перекосилось, и он прижал руку к пояснице. — Проклятые почки, опять разгулялись, — простонал он. — Не под силу мне такие дела.

Крутящийся поток забрызганных грязью, озлобленных, потных пехотинцев, выбравшихся полями на белую дорогу, прибил Джонни к городишку Дулек. Солдаты толпами входили и выходили из домиков, из редких лавчонок, лихорадочно разыскивая питье и еду; подымали половицы, ворошили пиками солому на крышах, проверяя, не спрятана ли там пища, ибо жители деревни бежали и, укрывшись в лесу, ждали, когда волна обезумевших от голода людей откатится подальше. Драки вспыхивали между теми, кто не нашел ничего, и теми, кто нашел хоть немного. На пороге одного из домишек двое солдат, один — вооруженный палицей с острым железным наконечником, другой — саблей с широким лезвием, из последних сил отбивались от кучки солдат, увидевших полкраюхи хлеба и кусок мяса, лежавшие на столе; наступающие дрались яростно, не ду-

мая о том, что, когда они справятся с этими двумя, им нельзя будет утолить голод, а снова придется вступить в драку, защищая драгоценные дары от посягательств других вооруженных людей. Подальше, на той же узкой изъезженной улице, военные действия развернулись вокруг бочонка с пивом; уже несколько раненых отползли в сторону от места боя, а перед бочонком лежало два неподвижных тела, всем своим видом показывая, что они мертвы и требуют, чтобы их оставили в покое. В одном углу истоптанного пшеничного поля небольшая толпа, испуская дикие крики, колола копьями и рубила тяжелыми кавалерийскими саблями визжавшую свинью, и животное, обливаясь кровью, кидалось из стороны в сторону в тщетных усилиях избежать неминуемой смерти; а издали негромко, но отчетливо доносился треск протестантских там-тамов, возвещавший победоносное продвижение вперед. Многие солдаты, выжав из своих истерзанных тел последние силы, в глубоком оцепенении лежали на грязной мостовой и не шевелились, даже когда по ним ступали тяжелые сапожища. Одни здоровой рукой прижимали к груди раздробленную руку; у других голова была перевязана окровавленной тряпкой; а кто, дойдя до конца предначертанного пути, лежал распростертым в канаве, в последний раз на этом свете испрашивая милость божьей матери. Из верхнего окна двухэтажного дома молодой офицер выкрикивал команду, пытаясь водворить порядок, но измученные люди, мечущиеся, как одержимые, в поисках пищи и отдыха, не слушали его; и он стоял в окне, бледный, с отчаяньем во взоре, широко раскрытым ртом бросая тщетный призыв в кипящий водоворот толпы, заклиная солдат построиться для нового боя за священное дело. Запах крови и пота под жарким солнцем становился все нестерпимее, и отовсюду неслись громкие крики, крики обиды и злобы от горького сознания своего поражения и предчувствия грядущих бед.

— Куда мы идем? — и спрашивающий поднял палицу с железным наконечником. — Вот что нам дали, чтобы остановить скачущего коня, или отбросить раскаленное пушечное ядро, или отразить удар непобедимого меча, выкованного в толедской кузнице, а то и в самом Дамаске!

— Сволочи! — закричал другой. — Да этим коровий навоз не проколешь! Дайте нам только оружие, и мы снова пойдем в бой и проучим их, хотя бы нам нечего было пить и есть!

— Двенадцать пушек против их пятидесяти, и шесть из них увез удравший король, а другие шесть заслали туда, где они не нужны, — сказал третий. — Позор и проклятье на его голову! Встань он сейчас предо мной, недолго бы ему белым светом любоваться. Никто, как этот раззява и трус, этот король только по имени, повинен в наших увечьях и ранах!

Бедный старый Бойн, думал Джонни, переступая через бездыханное тело с прижатым к почерневшим губам крестиком из ореховых сучков; древняя река, на которой обитал Дагда, строи-

тель земли; река, известная еще Птолемию, река тысячи кораблей, как часто, хмурой зимой или звонким летом, с трепетом прислушивалась ты к громовому стуку копит *Сарго Мада* и *Ворного Сейнглейна*, боевых коней грозной богини *Морригу*, жившей атаки войны, к треску и грохоту колесницы с бронзовым диваном, в которой доблестный Кухулин носился по твоим берегам, от чего сотрясалась вся долина, как в тот день, когда волны волнобитого ключа затопили Боан, красавицу дочь короля *Нахгана*, за то, что она презрела их, и вспененные волны мощными ударами гнали ее до самого моря; или к звону щита о щит и лезву железа о железо, когда фенни разили своих врагов на поле брани. А вые ты, гордая река, только жалкий призрак былой славы, только унылая святая водица для протестантов Ульстера.

Генерал, который медленно, таща за собой *Джонни*, пробирался сквозь толпу возбужденных, озлобленных солдат к узкому проулку в западной части городка, споткнулся о корчившееся на земле тело в зеленой куртке, и тело перевернулось на спину, открыв окровавленную грудь, по которой скользили восковые пальцы, и посиневшие губы на восковом лице, шептавшие с бессильным укором: — Подумать только, что он со мной сделал! Боже милостивый, что он со мной сделал! Трус несчастный! Пощади, мол; моих бедных английских подданных, — когда увидел, как я треснул сассенаха по башке так, что брызнули его три капли мозга и он отправился в Бойн рыб кормить. Остановил меня, сукин сын, а сделай я еще полшага, миновала бы меня мушкетная пуля!

— Смотрите, — с тревогой сказал генерал, показывая рукой на север, — вон там, за холмами, движутся верхушки их оранжевых и синих знамен! Если мы еще помедлим, мы пропали. Пусть эти псы попадут в плен, они скоро узнают, что то малое, чем они владеют здесь, станет еще меньше, когда оранские лилии забелеют на берегах реки Шаннон. Ой! Как почки болят!словно богиня *Морригу* долбит их клювом! Я иду на запад, я иду к моему другу в *Йеллоу-Фэрз*, в серый замок, там ждет меня сон, сладкий сон, грустный сон.

— Покинешь флаг и свой отряд, кокарду белую растопчешь! — мрачно сказал *Джонни*, ибо теперь он ясно видел топорное, с торчащими ушами лицо *Глэйзира*, который скалил зубы и показывал ему нос с горной вершины над *Дулеком*.

— Ничего я не покидаю! — сердито ответил генерал. — Я все так же стою за борьбу в защиту нашего христианского наследства. Это будет затяжная война, и я буду весьма полезен там, куда я иду. В конце концов победит тот, кто дольше выдержит, и мы добьемся победы; но я должен выспаться и дать моим почкам как следует отдохнуть и прийти в норму. А вы ступайте через поле, выходите на дорогу и скорей добирайтесь до *Дублина*. Я иду в мой серый замок на западе, в серенький домик на западе, где тень от каштана и розы в цвету, и сладко усну лет на двести,

а то и больше; тогда мы им покажем, что не одну реку надо пересечь и что наш доблестный народ готов драться не на живот, а на смерть за трон и алтарь. Итак, до свидания, мой юный друг. Помните, что сердцем мы с вами едины, если только вы друг Ирландии, и что есть только две великие партии — только две, в конечном счете; а пока что до свидания, — и он исчез, растворившись в орудийном дыму. И Джонни, повернувшись, тоже побежал прочь, прочь от голодных и павших духом солдат, бунтующих и бесчинствующих на тесной улице Дулека; и в самое время, потому что вдогонку ему раздался насмешливый возглас Глэйзира, и, оглянувшись, он увидел, что с затянутых дымом гор в Дулек спускается инспектор Дусард во главе ископаемых из дублинской портовой полиции; они шествовали горделиво, словно олени, попирающие вереск на горных полянах, под звуки флейт и барабанов, играющих «Южную дружину» — сочинение полковника Блэкера с Сэнди-роу и Даунинг-стрит. Дальше, дальше бежал Джонни, зажмурив глаза, заткнув уши, мимо осады Атлона и Лимерика и разрушения Аугрима; и лишь на секунду приоткрыл глаза, когда увидел в яркой вспышке молнии, как Сарсфилд в дождь и ветер вскачь выезжает из ворот осажденного Лимерика во главе пятисот всадников; они мчатся во весь опор вперед, вперед, крича часовым, требующим пароль: «Сарсфилд — пароль! и Сарсфилд — наш стяг!», врасплох нападают на войска короля Билли в городе Беллиинти, врезаются в их ряды, крошат, топчут врагов; поворот — и обратно во весь опор, с саблями наголо, рубят направо и налево; О'Хогэн скачет конь о конь с Сарсфилдом, лицо его светится во мраке от радости; потом — долой с седла, и до небес взлетают взорванные осадные орудия, наведенные на стены Лимерика, и длинные понтоновые мосты, готовые перекинуться через Шаннон, взлетают с ревом и грохотом в сплошном море огня, раскидывая во все стороны стальные обломки. Это клич Ирландии с горных вершин, и враги ее, оглушенные, оторопелые, мечутся в страхе, ища спасения от разящих мечей сарсфилдцев, — вот что сделал бы Сарсфилд с пушками и мостом, будь его воля. И воспрянула бы духом Ирландия, и сыны ее носили бы имя Пáтрика не в честь святого, а в честь воина. И наконец, после вспышки кроваво-красной молнии и долгого, долгого пути, Джонни стоит на лужайке перед церковью св. Варнавы и борется за изгнание оранжистов из церковного совета.

До сих пор оранжисты составляли большинство в совете, и потому они командовали приходом и усердно травили священника, придираясь к нему за то, что им мерещился папистский огонек в его глазах; за то, что он отрицал божественное происхождение совета; за то, что отказался стать полковым священником; за то, что возражал против ежегодного оранжистского молебствия, на который оранжисты являлись в оранжевых, пурпурных и черных перевязях, увешанные серебряными значками с изображением перехода короля Билли через Бойн, или раскрытой библии, или

короны, якоря, и бог один ведает, чего еще, ведя под руку жен с приколотыми на груди оранжевыми лилиями. Они торжественно рассаживались на скамьях и пели подходящие случаю псалмы вроде «Бьет барабан, рога трубят», читали подходящие стихи из библии и слушали подходящую проповедь на подходящий текст из уст подходящего духовного лица; а приходский священник доказывал, что церковь существует для того, чтобы молиться богу, а не для прославления какого-то короля Билли, хоть бы он был невесть каким благородным, добрым и мудрым королем или человеком, и добавлял, что не пристало им осуждать католиков за их поклонение святым и сверхпоклонение пресвятой деве, раз оранжистские братья с несравненно большим пылом и пышностью поклоняются принцу Оранскому, его преподобию мистеру Уокеру и защитникам крепости Дурри; а кроме того, слыша, с каким благоговением священник читает шестую главу евангелия от Иоанна, они решили, что он намекает на зримое присутствие Христа в таинстве евхаристии. Не нравилось им и то, что он открыто покровительствовал Джонни, бедняку и оборванцу, приглашал его к себе, обсуждал с ним дела прихода, каждое воскресенье до начала службы вводил в комнату совета, и они вместе пели псалмы или молились о том, чтобы бог благословил слова проповеди и чтоб они проникли в сердца слушателей. И все это вопреки предостережениям, что Джонни — фений, и что он не скупится на язвительные замечания по поводу английского гнета в Ирландии, и что они видели своими глазами и слышали своими ушами, как он смешивал ясные заветы Священного писания с лживыми преданиями отцов церкви и пропитанными папизмом трактатами пюезитов о почитании святых и ангелов, о возрождении в купели, о заупокойных молитвах,— ибо Джонни часто в пылу спора высказывал мысли, противоречившие его собственным убеждениям. По этим причинам оранжисты постоянно возражали против планов священника, обрекая все его попытки на провал и неудачу, так что его сторонникам пришлось вмешаться и воспользоваться своим правом голоса, дабы изгнать из совета неразумную и строптивую оппозицию; Джонни старался сплотить избирателей, ходил к ним на дом и уговаривал принять более деятельное участие в жизни прихода. Многие рабочие кончали работу поздно, и время для подачи голосов было продлено до одиннадцати часов вечера. Такого жаркого боя давно не видел ни один приход, и повсюду царило молчаливое, но воинственное возбуждение. И вот Джонни стоял на лужайке у дверей школы, словно часовой на посту, и зорко следил, чтобы ни один не имеющий или лишенный права голоса не пробрался к урнам. Был апрельский вечер, прохладный воздух полнился весенним гулом, на небе сияла луна. Вот она, словно золотой диск на груди ангела в синей мантии, озаряет каждого вступающего в ее серебристый круг, преображает спесивый шпиль на церкви св. Дамнана в сверкающий клинок, занесенный огромной черной рукой, и облекает редкие, хилые кусты

а то и больше; тогда мы им покажем, что не одну реку надо перейти и что наш доблестный народ готов драться не на живот, а на смерть за трон и алтарь. Итак, до свидания, мой юный друг. Помните, что сердцем мы с вами едины, если только вы друг Ирландии, и что есть только две великие партии — только две, в конечном счете; а пока что до свидания, — и он исчез, растворившись в орудийном дыму. И Джонни, повернувшись, тоже побежал прочь, прочь от голодных и павших духом солдат, бунтующих и бесчинствующих на тесной улице Дулека; и в самое время, потому что вдогонку ему раздался насмешливый возглас Глэйзира, и, оглянувшись, он увидел, что с затянутых дымом гор в Дулек спускается инспектор Дусард во главе ископаемых из дублинской портовой полиции; они шествовали горделиво, словно олени, попирающие вереск на горных полянах, под звуки флейт и барабанов, играющих «Южную дружину» — сочинение полковника Блэкера с Сэнди-роу и Даунинг-стрит. Дальше, дальше бежал Джонни, зажмурив глаза, заткнув уши, мимо осады Атлона и Лимерика и разрушения Аугрима; и лишь на секунду приоткрыл глаза, когда увидел в яркой вспышке молнии, как Сарсфилд в дождь и ветер вскачь выезжает из ворот осажденного Лимерика во главе пятисот всадников; они мчатся во весь опор вперед, вперед, крича часовым, требующим пароль: «Сарсфилд — пароль! и Сарсфилд — наш стяг!», врасплох нападают на войска короля Билли в городе Беллинити, врезаются в их ряды, крошат, топчут врагов; поворот — и обратно во весь опор, с саблями наголо, рубят направо и налево; О'Хогэн скачет конь о конь с Сарсфилдом, лицо его светится во мраке от радости; потом — долой с седла, и до небес взлетают взорванные осадные орудия, наведенные на стены Лимерика, и длинные понтонные мосты, готовые перекинуться через Шаннон, взлетают с ревом и грохотом в сплошном море огня, раскидывая во все стороны стальные обломки. Это клич Ирландии с горных вершин, и враги ее, оглушенные, оторопелые, мечутся в страхе, ища спасения от разящих мечей сарсфилдцев, — вот что сделал бы Сарсфилд с пушками и мостом, будь его воля. И воспрянула бы духом Ирландия, и сыны ее носили бы имя Патрика не в честь святого, а в честь воина. И наконец, после вспышки кроваво-красной молнии и долгого, долгого пути, Джонни стоит на лужайке перед церковью св. Варнавы и борется за изгнание оранжистов из церковного совета.

До сих пор оранжисты составляли большинство в совете, и потому они командовали приходом и усердно травили священника, придираясь к нему за то, что им мерещился папистский огонек в его глазах; за то, что он отрицал божественное происхождение совета; за то, что отказался стать полковым священником; за то, что возражал против ежегодного оранжистского молебствия, на который оранжисты являлись в оранжевых, пурпурных и черных перевязях, увешанные серебряными значками с изображением перехода короля Билли через Бойн, или раскрытой библии, или

короны, якоря, и бог один ведает, чего еще, ведя под руку жен с приколотыми на груди оранжевыми лилиями. Они торжественно рассаживались на скамьях и пели подобающие случаю псалмы вроде «Бьет барабан, рога трубят», читали подобающие стихи из библии и слушали подобающую проповедь на подобающий текст из уст подобающего духовного лица; а приходский священник доказывал, что церковь существует для того, чтобы молиться богу, а не для прославления какого-то короля Билли, хоть бы он был певесть каким благородным, добрым и мудрым королем или человеком, и добавлял, что не пристало им осуждать католиков за их поклонение святым и сверхпоклонение пресвятой деве, раз оранжистские братья с несравненно большим пылом и пышностью поклоняются принцу Оранскому, его преподобию мистеру Уокеру и защитникам крепости Дурри; а кроме того, слыша, с каким благоговением священник читает шестую главу евангелия от Иоанна, они решили, что он намекает на зримое присутствие Христа в таинстве евхаристии. Не нравилось им и то, что он открыто покровительствовал Джонни, бедняку и оборванцу, приглашал его к себе, обсуждал с ним дела прихода, каждое воскресенье до начала службы уводил в комнату совета, и они вместе пели псалмы или молились о том, чтобы бог благословил слова проповеди и чтоб они проникли в сердца слушателей. И все это вопреки предостережениям, что Джонни — фений, и что он не скупится на язвительные замечания по поводу английского гнета в Ирландии, и что они видели своими глазами и слышали своими ушами, как он смешивал ясные заветы Священного писания с лживыми преданиями отцов церкви и пропитанными папизмом трактатами пюэнтон о почитании святых и ангелов, о возрождении в купели, о заупокойных молитвах, — ибо Джонни часто в пылу спора высказывал мысли, противоречившие его собственным убеждениям. По этим причинам оранжисты постоянно возражали против планов священника, обрекая все его попытки на провал и неудачу, так что его сторонникам пришлось вмешаться и воспользоваться своим правом голоса, дабы изгнать из совета неразумную и строптивую оппозицию; Джонни старался сплотить избирателей, ходил к ним на дом и уговаривал принять более деятельное участие в жизни прихода. Многие рабочие кончали работу поздно, и время для подачи голосов было продлено до одиннадцати часов вечера. Такого жаркого боя давно не видел ни один приход, и повсюду царило молчаливое, но воинственное возбуждение. И вот Джонни стоял на лужайке у дверей школы, словно часовой на посту, и зорко следил, чтобы ни один не имеющий или лишенный права голоса не пробрался к урнам. Был апрельский вечер, прохладный воздух полнился весенним гулом, на небе сияла луна. Вот она, словно золотой диск на груди ангела в синей мантии, озаряет каждого вступающего в ее серебристый круг, преобразует спесивый шпиль на церкви св. Дамиана в сверкающий клинок, занесенный огромной черной рукой, и облекает редкие, хилые кусты

на лужайке в одежды, прекраснее которых не ткалось для царственных плеч Соломона. Было уже без четверти одиннадцать; Джонни удостоверился по своему списку, что все его друзья прошли в школу и что несколько сомнительных избирателей и таких, которые во всеуслышание говорили о своей приверженности ортодоксальному протестантизму, пока не явились, и он мысленно подгонял стрелку часов. Как только часы в школе начали бить, Джонни, проследив за тем, чтобы двери были крепко заперты, вошел в битком набитую комнату, где счетчики уже готовились к подсчету голосов. Возле них сидел священник, рядом со своим старшим сыном, бойким подростком лет пятнадцати. Были здесь и знакомые Джонни оранжисты, и он увидел желтоволосую голову и озорное курносое лицо Джорджи Миддлтона между репообразной рожей Дусарда и худой, истощенной физиономией Доналдсона; его старый школьный товарищ перешел Иордан и стал под оранжево-синее знамя Нассауского дома, примкнул к полуколену Манассеину, к воинам колена Рувимова и Гадова.

Прошел час приглушенного шепота, пока подсчитали голоса, поданные за двенадцать честных и верных членов совета, обязанных помогать священнику во всех делах прихода. Потом в наступившей тишине итог был вручен церковному старосте для оглашения; и Джонни понял по свирепой усмешке на его лице, что сине-оранжевое знамя повержено во прах. Снова увидел он воды реки и синее небо над желтыми ирисами; снова вдохнул запах поросших таволгой берегов; услышал замирающий гром протестантских барабанов; увидел среди ромашек стройные ряды ирландцев — их ведет Сарсфилд, а Иаков, трус и растяпа, остался где-то позади.

Ни один из оранжистских кандидатов не попал в совет, и когда оранжисты встали и в злобном молчании с позором удалились, их проводили громом аплодисментов. Джонни протянул было руку проходившему мимо Джорджи Миддлтону, но тот оттолкнул ее и вышел не оборачиваясь. Глэйзир остановился перед Джонни и в упор посмотрел на него.

— Не думал я, — сказал он с горечью, — что мне доведется увидеть торжество иезуитов в нашем приходе! Но знайте все, что мы готовы драться до последнего человека и, если нужно, умереть на пороге своего дома за протестантский алтарь и протестантский трон! — И он вышел вместе со своими соратниками в волшебное сияние луны.

Приверженцы священника, исполнив свой долг и выиграв сражение, гуськом потянулись из комнаты, на прощание шепча ему в ухо добрые пожелания. Священник подошел к Джонни, тепло пожал ему руку и сказал: — Спасибо, Джонни, за все. Грустно, что пришлось пойти на это, — продолжал он со вздохом, — ибо даже небольшая распря отнюдь не желательна.

— Зато вы наконец будете окружены друзьями, — сказал Джонни.

— Я от всей души желал бы видеть вас среди них, Джон.

— Я могу быть вашим другом и не состоя в совете,— сказал Джонни, смущенный, но довольный.— Избраны более достойные люди, чем я.

— Они не подумали о вас,— сказал священник.— Я бы поставил ваше имя на первое место.— Он ласково положил Джонни руку на плечо.— У вас много прекрасных качеств, и ваше присутствие в совете было бы для меня большой поддержкой.

— Моя матушка обрадуется, что вы победили; она велела передать вам свои наилучшие пожелания.

— Поблагодарите ее, Джон. Хорошая, умная женщина. Она всегда напоминает мне мою мать,— сказал священник, и мягкий свет блеснул в его глазах.— Итак, Джон, мы, видимо, одержали победу, но я предпочел бы, чтобы не возникало надобности в битвах и чтобы мы, христиане, крепили веру в единстве духа и узах миролюбия. Спокойной ночи, друг мой, и да благословит вас бог.— Он еще раз пожал Джонни руку и вышел вместе с сыном в волшебное сияние луны.

Когда все ушли, и огни погасли, и двери заперли, Джонни не спеша отправился домой; медленно ступал он по серебристому ковру, разостланному полуночной луной,— не хотелось спать, не хотелось, чтобы кончался этот день. С его помощью оранжевое знамя было заменено зеленым флагом или синим, с пламенеющим восходящим солнцем. Каковы бы ни были его цвет и символы, изображенные на нем, как красиво поблескивал бы он на церковной башне, словно драгоценный камень, скрепляющий складки серебристой мантии луны.

Джонни встряхнулся. Слишком долго стоял он на пороге, любясь картинами у входа. Все они созданы другими. Прекрасные, сильные картины, но созданы они другими. Пора самому взяться за дело. Творить новое из своей собственной жизни. Он сам будет писать картины — да, картины, и такие, которые не стыдно повесить у входа и показать людям.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>П. Балашов. Эпопея Шона О'Кейси</i>	5
--	---

Я СТУЧУСЬ В ДВЕРЬ

<i>Рождение. Перевод В. Тонер</i>	25
<i>Сначала — зеленый росток. Перевод Н. Дарузес</i>	33
<i>Путь к исцелению. Перевод Н. Дарузес</i>	41
<i>Бедный папа. Перевод М. Лорие</i>	46
<i>Смерть отца. Перевод М. Лорие</i>	50
<i>Похороны отца. Перевод М. Лорие</i>	54
<i>Все вместе домой. Перевод М. Лорие</i>	63
<i>R. I. P. Перевод М. Лорие</i>	71
<i>Привет тебе, сиянье утра. Перевод Е. Калашниковой</i>	76
<i>Корова. Перевод Н. Дарузес</i>	84
<i>Улица пост. Перевод О. Холмской</i>	88
<i>Маленький протестант думает о реформации. Перевод М. Лорие</i>	95
<i>Только во сне. Перевод Н. Волжиной</i>	100
<i>Снова болезнь. Перевод Н. Дарузес</i>	105
<i>Чадю господне. Перевод Н. Волжиной</i>	110
<i>Великое побоище. Перевод О. Холмской</i>	123
<i>Старый странствующий стекольщик. Перевод Е. Калашниковой</i>	133
<i>Преступление и наказание. Перевод О. Холмской</i>	137
<i>Господь — судия карающий. Перевод И. Кашкина</i>	146
<i>Парад во сне. Перевод О. Холмской</i>	150
<i>Душа больше пищи и тело — одежды. Перевод Е. Калашниковой</i>	161
<i>Алое и зеленое. Перевод В. Тонер</i>	165
<i>Я стучусь в дверь. Перевод Е. Калашниковой</i>	176

НА ПОРОГЕ

В Ирландию прибывает гроб. <i>Перевод Н. Волжиной</i>	185
Шекспир стучит в окошко. <i>Перевод М. Лорие</i>	197
Королевская резиденция. <i>Перевод О. Холмской</i>	202
Боярышник. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	215
«Кот и клетка». <i>Перевод В. Топер</i>	220
Он становится взрослым. <i>Перевод Е. Калашиниковой</i>	235
Принесите лучшую одежду и оденьте его. <i>Перевод Е. Калашиниковой</i> ;	240
В поте лица. <i>Перевод Е. Калашиниковой</i>	247
Позор вору и грабителю. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	251
Чтобы ничего не пропадало. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	259
Алиса, где ты? <i>Перевод М. Лорие</i>	266
Имуществу дастся. <i>Перевод М. Лорие</i>	279
Сцена зовет. <i>Перевод Н. Волжиной</i>	291
Смерть у порога. <i>Перевод О. Холмской</i>	302
Трудись, доколе нет дня. <i>Перевод В. Топер</i>	316
Кепка в конторе. <i>Перевод Е. Калашиниковой</i>	329
Меч света. <i>Перевод В. Топер</i>	338
За край родимый мой. <i>Перевод Н. Волжиной</i>	350
Все небеса и Хармсворт впридачу. <i>Перевод О. Холмской</i>	360
Картины у входа. <i>Перевод В. Топер</i>	374

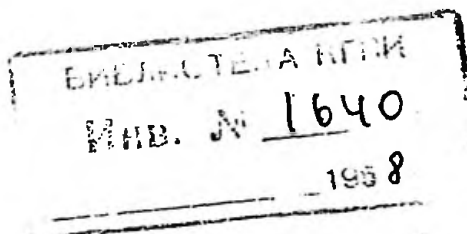
Шон О'Кейси
Я СТУЧУСЬ В ДВЕРЬ
НА ПОРОГЕ

Редактор И. В. КАРМИНА
Технический редактор А. Д. Хомяков
Корректор Н. А. Булгаков

Сдано в производство 9/X 1956 г.
Подписано к печати 19/I 1957 г.
Бумага 84 X 108¹/₃₂ = 12,3 бум. л.
24,5 печ. л. Уч.-изд. л. 25,9.
Изд. № 12/2915. Цена 14 р. 45 к. Зак. 1936.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, Ново-Алексеевская, 52.

3-я типография «Красный пролетарий»
Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.





Шон О'Кейси
Я СТУЧУСЬ В ДВЕРЬ
НА ПОРОГЕ

Редактор *И. В. КАРМИНА*
Технический редактор *А. Д. Хомяков*
Корректор *Н. А. Булгаков*

Сдано в производство 9/X 1956 г.
Подписано к печати 19/I 1957 г.
Бумага 84 X 108^{1/32} = 12,3 бум. л.
24,5 печ. л. Уч.-изд. л. 25,9.
Изд. № 12/2915. Цена 14 р. 45 к. Зак. 1936.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, Ново-Алексеевская, 52.

3-я типография «Красный пролетарий»
Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

